

РУССКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Никольский Сергей Анатольевич



Родился в 1950 г. в Луганской области (Украина). Окончил исторический и биологический факультеты Луганского педагогического института, аспирантуру Института философии Академии наук СССР, защитил кандидатскую диссертацию, был принят на работу в Институт философии.

Инициировал разработку философских проблем аграрного производства, создал сектор в Институте философии. С 1991 г. — доктор философских наук. В 1994 г. — министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Крым, советник Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ. Автор семи монографий и более ста двадцати научных и публицистических работ.

В настоящее время — заместитель директора, заведующий сектором философии культуры Института философии РАН.

• РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК • ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ •

С.А. Никольский

РУССКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

«НОВЫЕ ЛЮДИ» КАК ИДЕЯ
И ЯВЛЕНИЕ: ОПЫТ ОСМЫСЛЕНИЯ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
И КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
40–60-х ГОДОВ XIX СТОЛЕТИЯ



Прогресс-Традиция

Москва

2012

ББК 87.7
УДК 17
Н 62

*Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»*

Никольский С.А.
Н 62 Русское мировоззрение. «Новые люди» как идея и явление: опыт осмысления в отечественной философии и классической литературе 40—60-х годов XIX столетия. — М.: Прогресс-Традиция, 2012. — 624 с.: ил.

ISBN 978-5-89826-364-5

Одной из реакций отечественной философско-гуманитарной мысли на ожидаемые и состоявшиеся при Александре II либеральные реформы стал феномен «нового человека». Его изобретение и параллельно открытые философствующей русской литературой, отзывающейся на дарованные «сверху» свободы и одновременно опережающей жизнь, было обусловлено тем, что развитие капитализма в стране только начиналось.

«Новые люди», чаще всего являвшиеся в образах разночинцев — лишенных «корней» (глубинных связей с родной историей и культурой) городских жителей, — населяли художественно-философские тексты многих писателей — от Чернышевского до Достоевского — и маркировались ими то как темные «выходцы из подполья», то как светлые «завтрашние жители Земли». Вместе с тем в литературе успешно исследовались смыслы и ценности, привносимые «новыми старыми» русскими типами, представленными в повествованиях Герцена, Лескова, Сухово-Кобылина, Салтыкова-Щедрина.

Выполненный философствующими литераторами анализ как воображаемого, так и реального сознания обоих типов «новых людей» существенно обогатил картину русского мировоззрения, создаваемого отечественной классикой.

**УДК 17
ББК 87.7**

Переплет:

*Г. Мясоедов. Чтение положения 19 февраля 1861 года.
Холст, масло. 1873. Фрагмент*

ISBN 978-5-89826-364-5

© С.А. Никольский, 2012
© И.В. Орлова, оформление, 2012
© Прогресс-Традиция, 2012

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие _____	7
I. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ФИЛОСОФЫ 40–60-х ГОДОВ XIX СТОЛЕТИЯ И ПРОБЛЕМАТИКА РУССКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ _____	15
<i>Глава 1</i> Социально-политические и философские воззрения Н.П. Огарева и А.И. Герцена (годы зрелости) _____	16
<i>Глава 2</i> Социально-политические и философские взгляды П.Л. Лаврова, Н.К. Михайловского и П.Н. Ткачева _____	36
II. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ 40–60-х ГОДОВ XIX СТОЛЕТИЯ И ПРОБЛЕМАТИКА РУССКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ _____	51
<i>Глава 3</i> А.И. Герцен: размышления о русском мировоззрении и дворянских революционерах в романе «Былое и думы» _____	52
<i>Глава 4</i> «Новые люди» в снах и наяву в романах Н.Г. Чернышевского «Что делать?» и «Пролог» _____	96
<i>Глава 5</i> Моральные качества «новых людей» в ранней прозе Н.С. Лескова _____	134
<i>Глава 6</i> «Новые люди» и старые нравы в творчестве Г.И. Успенского и С. Каронина ¹ _____	166
<i>Глава 7</i> «Новые старые» русские люди глазами М.Е. Салтыкова-Щедрина _____	210

¹ Главы 6, 12 и 13 написаны В.П. Филимоновым

Глава 8

Любовь и дело в системе фундаментальных смыслов
и ценностей русского мировоззрения: «Анна Каренина»
Л.Н. Толстого _____ 317

Глава 9

«Подпольный» человек Ф.М. Достоевского _____ 385

Глава 10

«Человек с деньгами» и «свободный человек»
в драматургии А.Н. Островского _____ 509

Глава 11

«Новые люди» как преступная государственная
корпорация: расследование А.В. Сухова-Кобылина _____ 531

III. РУССКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ
В ЭКРАНИЗАЦИЯХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ _____ 541

Глава 12

«Новые люди» прозы Ф.М. Достоевского 1840–1860 гг.
в экранизациях русского, советского и российского кино _ 542

Глава 13

«Новые люди» «русской трагедии» и «русской комедии»
А.Н. Островского на отечественном экране _____ 600

Заключение _____ 622

Предисловие

Тема третьей книги исследования «Русское мировоззрение» — «новые люди» как идея и явление. Приступая к ее раскрытию, сделаю некоторые предварительные замечания. Прежде всего надо отметить, что в рассматриваемый период 40—60-х годов XIX столетия тема эта для русской гуманитарной философской и художественной мысли становится едва ли не центральной. Период отмены крепостного права многими думающими людьми нашего общества осознавался как начало новой истории России. Вчера еще половина российского общества была юридически несвободна, состояла из угнетателей и угнетенных, а буквально на следующий день эти люди начинают жить в новом, как тогда казалось, свободном состоянии. В этой парадигме для философии и художественного мышления был естествен вопрос: что собой представляет этот свободный, новый человек? Придет ли он из «старого мира» или должен быть сотворен заново, подобно ветхозаветному Адаму, но теперь уже не Богом, а обстоятельствами, средой, внешними целенаправленными или собственными усилиями? Вот тут-то и возникал первый основополагающий вопрос: кто может (имеет право и из какого «материала» он намерен создавать «нового» человека? И еще более важный вопрос: кто «вдохнет» в него новую душу и что она собой будет представлять?

Впрочем, вопросы такого рода не слишком обременяли тех, кто ставил перед собой эту задачу, — писателей прежде всего. Новое качество человека истолковывалось ими как в реально-актуальном, так и в вымышленно-проективном, просвещенческом и даже императивно-назидательном смысле. Вот почему понятие «новые люди» в равной мере корректно употреблять и как идеальные представления (например, Вера Павловна в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?») или князь Лев Николаевич Мышкин в романе Ф.М. Достоевского «Идиот»)

и в контексте рассмотрения реальных образов героев рассказов, повестей и романов, например, Н.С. Лескова.

Как и в предыдущих частях исследования, нам придется иметь дело с двумя типами мировоззрения — крестьянина и помещика, все больше расходящимися из однородного целого, зафиксированного еще Пушкиным. Причиной этого была прежде всего более насыщенная в сравнении с XVIII веком культурная и общественная жизнь сельского дворянства, пережитые страной события, в том числе война 1812 года и выступление декабристов¹. Сыграли свою роль и более активные контакты с Европой — военные походы, поездки на отдых, путешествия, длительное пребывание, привившийся обычай учить за границей детей². Все это развело мировоззрения крестьян и помещиков, разделило имевшую до этого целостность «земледелец» на две далеко отстоящие друг от друга ветви. Этому, безусловно, способствовали и результаты, достигаемые на путях развития европейской культуры, потребителем и участником становления которой оставалась наша страна.

С другой стороны, процессы медленной, но все же либерализации и повышения нравственного уровня российской жизни (ряд социальных реформ и главная из них — свершившаяся 19 февраля 1861 года отмена крепостного права) способствовали как расширению сфер проявления национального самосознания, так и более активному становлению русского мировоззрения. Вот как об этом процессе писал выдающийся отечественный философ В.С. Соловьев: «По причинам истори-

¹ Восстание декабристов не может рассматриваться только как «локальный» факт нашей истории, имевший ограниченное влияние на сознание и жизнь российского общества в силу его неизвестности широким народным слоям. О действительном значении восстания точно свидетельствует, например, А.И. Герцен: «14 (26) декабря действительно открыло новую фазу нашего политического воспитания, и — что может показаться странным — причиной огромного влияния, которое приобрело это дело и которое сказалось на обществе больше, чем пропаганда, и больше, чем теории, было само восстание, геройское поведение заговорщиков на площади, на суде, в кандалах, перед лицом императора Николая, в сибирских рудниках. ...Теория внушает убеждения, пример определяет образ действий. ...Безусловно, немому бездействию был положен конец; с высоты своей виселицы эти люди пробудили душу у нового поколения; повязка спала с глаз». *Герцен А.И. О развитии революционных идей в России. // Эстетика. Критика. Проблемы культуры. М.: Искусство, 1987. С. 230—231.*

² Надо отметить и то, что в середине XIX столетия стоимость заграничного паспорта для подданных Российской империи была снижена с 500 до 50 рублей.

ческим существовало у нас ...крепостное право. Согласно теории исключительно личной нравственности нужно было ждать, пока все помещики достигнут идеала святости и сделаются благодетелями своих крестьян, а это на деле равнялось бы увековечению крепостного права. По счастью, этот мниморусский, а на самом деле всемирно-фарисейский идеал личной святости еще не получил у нас преобладания; сначала лучшие люди, потом значительное большинство образованного общества и само правительство взглянули на дело просто, по-человечески. Они пожалели миллионы людей, страдающих от несправедливости, и захотели им действительно помочь. Зная, что это зло общественное, основанное на дурном законе, противопоставляли ему не личную мораль, к делу не относящуюся, а прямые меры к его уничтожению: писатели разъяснили обществу несправедливость старого порядка, а правительство готовило и совершило его законодательное упразднение»¹.

Вместе с тем в рассматриваемый период 40—60-х годов в ряду субъектов русского мировоззрения появляются и новые, далекие от земледелия типы. Обобщающим для них термином может быть «городской человек», что отражает, во-первых, их оторванность от природной среды, связь с которой всегда рассматривалась как одна из важнейших особенностей русского мировоззрения, и, во-вторых, как правило, отсутствие у них личной родовой истории, что отличало земледельцев-помещиков или крестьян, наследовавших историю, традиции и обычаи своей фамилии или сообщества. Впрочем, если у «городского человека» и не было собственной истории, то была собственная родина — построенный Петром I на топком месте и крестьянских костях Санкт-Петербург, город без прошлого, населенный также лишенными глубинных корней жителями. Особенно отчетливо новые городские субъекты мировоззрения — разночинцы — представлены в произведениях Ф.М. Достоевского. Для характеристики обобщенного именованного их отношения к самим себе и к миру автор «Преступления и наказания» даже придумал специальный термин — «подпольный» человек, а открытие этого феномена ставил себе в особую заслугу.

Активному включению России в европейский культурный контекст в отличие от предшествующего периода способство-

¹ Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. М.: Правда, 1989. Т. 2. С 292.

вала и новая российская философская мысль. Европейское образование русских мыслителей, их жизнь, проходившая зачастую не только в России, но и в Европе, делали их «русскими европейцами». В полной мере это относится к главным философским фигурам этого периода — А.И. Герцену, Н.П. Огареву, П.Л. Лаврову, Н.К. Михайловскому и П.Н. Ткачеву. Благодаря их творчеству русская литературная классика получила дополнительную интеллектуальную подпитку, недостаточно активную прежде сторону диалога, возможность содержательного интеллектуального взаимодействия. Конечно, многие сюжеты и идеи в русской литературной классике возникали и осмысливались благодаря развитию собственно российских социально-политических и духовно-нравственных процессов. Но влияние бурного европейского буржуазного развития, в том числе революционных катаклизмов конца 40-х годов, также сыграло важную роль.

Выполняя поставленные в исследовании задачи, следует ответить и на очевидно возникающий у внимательного читателя вопрос: неужели за прошедшие полтора столетия после создания исследуемых произведений ни у кого из ученых, сделавших предмет своего рассмотрения русскую философствующую классику, не возникали предлагаемые автором мысли, никем не избирался похожий ракурс анализа проблем? Верным ответом мне представляется — и да и нет. И если «да» понятно в том смысле, что отдельные попытки в исследованиях более специального характера встречаются, то касательно «нет» сошлюсь на наблюдение Ю.М. Лотмана. Каждому новому этапу развития культуры, полагал он, свойственно увидеть, казалось бы, давно изученные художественные тексты как «новое лицо». При этом новые исследователи часто изумлялись «слепоте» своих предшественников и не задумывались о том, что скажут о них самих те, кто придет вслед за ними. «Между тем эта поразительная способность художественных текстов давать материал для все новых открытий должна была бы привлечь внимание...»¹ Вот эта «поразительная способность художественных текстов» в каждую эпоху видеться по-новому и делает возможным для всякого поколения читателей найти в классике нечто новое, пропускаемое прежде.

¹ *Лотман Ю.М.* Чему учатся люди. Статьи и заметки. М.: Центр книги Рудомино, 2010. С. 146.

Впрочем, данное замечание о значимости читаемого — не единственное. В истории русской мысли есть точка зрения, согласно которой за русской литературой... полностью отрицаются ее мировоззренческие функции. Речь идет о широко известной позиции одного из ведущих писателей и публицистов первой волны русского зарубежья, И.Л. Солоневича. Согласно ему, русская классика не только не способствует, но, наоборот, затрудняет или даже исключает постижение русского взгляда на мир и на самого человека. «Русскую «душу» — утверждает автор «Народной монархии» — никто не изучал по ее конкретным поступкам, делам и деяниям. Ее изучали лишь «по образам русской литературы». Однако «...всякая литература, в особенности большая литература, всегда является кривым зеркалом жизни. Ее интересует конфликт и только конфликт». Вся русская литература «дала миру изысканно кривое зеркало русской души. ...В русском примере эта кривизна переходит уже в какое-то четвертое измерение. Из русской реальности наша литература не отразила почти ничего. Отразила ли она идеалы русского народа? Или явилась результатом разброда нашего национального сознания? Или, сверх всего этого, Толстой выразил свою тоску по умирающим дворянским гнездам, Достоевский — свою эпилепсию, Чехов — свою чахотку, а Горький — свою злобную и безграничную жажду денег, которую он смог кое-как удовлетворить только на самом склоне своей жизни, да и то за счет совзнаков?

Я не берусь ответить на этот вопрос. Но во всяком случае русская литература отразила много слабостей России и не отразила ни одной из ее сильных сторон. Да и слабости-то были выдуманные»¹.

В подтверждение своих слов Солоневич делает ряд литературных адресаций, отдельные из которых стоит привести для понимания направленности и содержания его аргументации. «Грибоедов писал свое "Горе от ума" сейчас после 1812 года. Миру и России он показал полковника Скалозуба, который "слова умного не выговорил сроду" — других типов из русской армии Грибоедов не нашел. А ведь он был почти современником Суворовых, Румянцевых и Потемкиных и совсем уж современником Кутузовых, Раевских и Ермоловых. Но со всех театральных подмостков России скалит свои зубы грибоедовский полковник — "золотой мешок и метит в генералы". А где же русская

¹ Солоневич И.Л. Народная монархия. М.: издательство Римис, 2005. С. 147—153.

армия? Что — Скалозубы ликвидировали Наполеона и завоевали Кавказ? Или чеховские "лишние люди" строили Великий Сибирский путь? Или горьковские босяки — русскую промышленность? Или толстовский Каратаев — крестьянскую кооперацию? Или, наконец, "мягкотелая" и "безвольная" русская интеллигенция — русскую социалистическую революцию?»¹ И так далее в этом же духе, и не один еще раз.

Думаю, что вытекающее из идеологической тенденциозности Солоневича, странно поверхностное для такого мыслителя (например, замечание о комедии Грибоедова), ложное и несправедливое заключение о русской литературе очевидно для любого непредвзятого читателя. В том числе, и в особенности, совершенно ошибочная мысль о том, что литература «не отразила ни одной из сильных сторон» России, а изображаемые ею слабости «были выдуманные». Показать отраженные в русской литературе наши национальные «сильные» и «слабые» стороны наряду с иными исследованиями — одна из задач исследования, принимаемого мной. И эта задача, как я надеюсь, по мере его осуществления решается.

В завершение еще одно замечание. Сложившаяся в России, начиная с советского периода и до настоящего времени, традиция философского исследования русской философствующей литературы в существенной мере центром своего анализа делает творчество Л.Н. Толстого и в еще большей мере Ф.М. Достоевского, что формулируется в тезисе, согласно которому русская литература XIX столетия — это прежде всего Достоевский и Толстой. К тому же в отношении Ф.М. Достоевского этому способствует и разработанность в отечественной культуре прежде всего ее религиозной составляющей, явившейся основным содержанием русской философской мысли. Мысль эту, в частности, емко сформулировал Мережковский, сказавший, что автор «Преступления и наказания» был «предвозвестителем новой религии — воистину был пророком»². Не слишком далеки от этого религиозно-философского направления и всесторонне разработанные гуманитариями религиозно-нравственные искания Л.Н. Толстого. И хотя они лежат в стороне от магистрали официального православия,

¹ Там же. С. 153.

² Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., Наука, 2000. С. 153.

Предисловие

обнаруживаются у Толстого в религиозности особого рода — «народопоклонстве».

Понимая основания сложившегося у нас «центризма» в связи с Достоевским и Толстым, хотел бы отметить следующее. В предпринимаемом исследовании я менее всего хотел бы вновь обращаться к этой традиционной схеме. Признавая значимость поднятых Толстым и Достоевским проблем, я все же намечаю цель показать, что в русской философствующей литературе есть множество иных, не менее, а, напротив, более важных вопросов, содержательных смыслов и магистральных тем. Конечно, обращение к ним разрушает сложившуюся на сегодня в гуманитарной мысли «иерархию». Однако объективное исследование заставляет признать, что мировоззренческие системы Пушкина, Гоголя, Тургенева, Гончарова и Лескова с точки зрения философии не менее значимы, чем нравственно-религиозные размышления Достоевского и Толстого. Наполняющие их произведения смыслы и ценности как сами по себе, так и в своем развитии от одного философствующего классика к другому создают поистине гигантское исследовательское пространство. К примеру, тема «позитивного дела», рассмотренная мной во второй книге исследования, равно как и тема «нового человека», которая сделана главным предметом анализа в настоящем томе, значима для самосознания современного читателя, возможно, даже более, чем какая-либо иная из числа уже известных. В этом смысле, перефразируя известную политическую формулу, я предлагаю подумать о замене «двуполярного» понимания и изображения нашего литературно-философского мира «многополярным».

I.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ФИЛОСОФЫ
40–60-х ГОДОВ XIX СТОЛЕТИЯ
И ПРОБЛЕМАТИКА РУССКОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Глава 1

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ Н.П. ОГАРЕВА И А.И. ГЕРЦЕНА (ГОДЫ ЗРЕЛОСТИ)

Рассмотрение взглядов Н.П. Огарева и А.И. Герцена в «зрелый», или, иначе сказать, заграничный, период их деятельности, имея в виду феномен «новых людей», позволяет подойти к анализу их творчества в контексте поиска ответа на фундаментальные вопросы философского исследования: что есть человек и общество; какими они должны быть и как происходят их изменения?

У Н.П. Огарева образ «нового человека» просматривается не напрямую, а через призму его размышлений о феномене русской общины, о ее историческом прошлом, настоящем и желаемом будущем. Убедившись в невозможности преобразования крепостничества посредством введения вольнонаемного труда, что Огарев, как известно, попытался сделать в своих имениях сам, он с удвоенной энергией обращается к идеям «русского социализма», который, по его мнению, может быть учрежден на основе общинного строя народного государства — федеративной республики самоуправляющихся местных общественных образований. Именно эта мысль становится ключевой для ряда его небольших, политически окрашенных социально-философских и историко-публицистических произведений и писем конца 50—70-х годов.

В этой связи в первую очередь примечательна написанная для «Колокола» в 1857 году, но не напечатанная в нем статья, симптоматично озаглавленная «Что бы сделал Петр Великий?». В этот период Огарев, преисполненный ожиданий реформаторских действий от Александра II, с учетом примера его великого венценосного предшественника, рассматривает ряд важных для России вопросов, разрешение которых видит в благой деятельности «царя-революционера». Он прямо заявляет: «Пусть условия нашего века иные, но хотелось бы, чтобы в эти новые условия опять вошла могучая личность с ясным умом и неуклонным

преследованием своей цели. Хотелось бы для России опять Петра Великого!»¹

На что же уповает Огарев в своих надеждах на «нового Петра»? На то, что государь вновь, как это было ранее, проявит свое «гениальное чутье» и обнаружит свое понимание того, что «Россия — не Азия», что «русский ум ясен и боек», а «русский человек ловок и предприимчив». Огарев рассчитывает, что царь осознает, что общество нуждается в «европейском образовании», «правильном суде», «правильном войске», а также в «сильном государстве» и «образованных людях» в его собственном царском окружении. Все это срочно необходимо, так как, с сожалением констатирует автор статьи, в настоящее время все это находится в ущербном состоянии, и потому России вновь требуется «император-вождь». Поскольку этим тезисом данная статья и завершается, то, возможно, ее столь мечтательный, неконструктивный и далекий от революционности характер и послужил причиной того, что она после написания не была напечатана сразу.

В вопросе о подготовке и проведении освободительной реформы Огарев, а также Герцен в течение второй половины 50-х — начале 60-х годов в отличие от революционных демократов А. Добролюбова и Н. Чернышевского, не занимали одной позиции. Сколько было возможно, они рассчитывали на государственную мудрость Александра II и либерально настроенных членов его кабинета. В этой связи они, естественно, подвергались нападкам с обеих противоборствующих сторон — и защитников, и ниспровергателей режима. «Нас упрекают, — писал Герцен в опубликованной в «Колоколе» в ноябре 1858 года статье, — либеральные консерваторы в том, что мы слишком нападаем на правительство, выражаемся резко, бранимся крупно.

Нас упрекают свирепо красные демократы в том, что мы мирволим Александру II, хвалим его, когда он делает что-нибудь хорошее, и верим, что он хочет освобождения крестьян.

...Шаткость в правительстве отразилась в наших статьях. Мы, следуя за ним, терялись и, откровенно досадуя на себя, не скрывали этого... Ринутые в современное движение России, мы носимся с ним по переменному ветру, дующему с Невы»².

¹ *Огарев Н.П.* Избранные социально-политические и философские произведения. М.: Политиздат, 1956. Т.2 С. 24.

² *Герцен. А.И.* Собр. соч.: В 30 т. Т. XIII. С. 361—362.

В своих нападках на царизм «красные демократы», вопреки призывам умеренного либерала Б.Н. Чичерина, «не знали меры и не угадывали пору». Герцена, в частности, особенно возмутили их нападки на русскую дворянскую интеллигенцию, на так называемых лишних людей. Так, Добролюбов в статьях «Что такое обломовщина?» и «Литературные мелочи прошлого года» отнес к обломовцам, пренебрегающим настоящим делом, Онегина, Печорина, Рудина, издевался над «мизерным характером, обнаруженным современной литературой в последнее время», утверждал, что литература «не имеет ни малейшего права приписывать себе инициативы ни в одном из современных общественных вопросов». Добролюбов, наконец, имея в виду Герцена и Огарева, всячески подрывал доверие молодежи к «старым авторитетам», «зрелым мудрецам», призывал сконцентрировать внимание исключительно на «самобытной деятельности» народных масс, а если таковой не доставало, то задуматься о путях формирования условий, при которых таковая деятельность явится в концентрированном виде. От этой позиции оставался всего один шаг до выдвинутого через несколько лет Чернышевским и обращенного к молодежи лозунга не искать союза с дворянскими революционерами, а озаботиться культивированием «нового человека», используя отдельные элементы, которые предоставляла разночинная социальная среда.

В форме политического документа эта позиция была изложена в присланной Герцену и напечатанной им в «Колоколе» 1 марта 1860 года статье «Письмо из провинции», подписанной псевдонимом «Русский Человек»¹. Обвиняя издателей лондонского журнала в раблепии, автор заявлял, что «не все в России обманываются призраками. ...Посмотрите, Александр II скоро покажет николаевские зубы». Завершал письмо словами: «... наше положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не поможет!

...Вы все сделали, что могли, чтобы содействовать мирному решению дела, перемените же тон, и пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит в набат! к топору зовите Русь».

¹ Хотя вопрос об авторстве статьи не решен до конца, многие исследователи склонны приписывать ее А.Н. Добролюбову. Впрочем, по мнению В.К. Кантора, статья могла принадлежать и Н. Огареву. См.: *Кантор В.* Срубленное дерево жизни. Можно ли сегодня размышлять о Чернышевском? // ж. «Октябрь». 2000. № 2.

В ответе Герцен заявлял, что не откликнется на этот революционный призыв до тех пор, пока останется хоть одна надежда. «К метлам надобно кричать, а не к топорам!» — заявлял он. А кроме того, в России вообще некого вырубать топором. Императорство является "постоянной реформой", дворянству в конце концов ничего не останется, как освободить крестьян с землей, да и с нерешенным вопросом об общине тоже нельзя "идти на площадь"¹.

Впрочем, после опубликования Манифеста 19 февраля 1861 года² позиции Герцена и Огарева сделались более радикальными, о чем свидетельствуют последующие статьи на тему освобождения крестьян и «новых людей». Так, в 1863 году от имени революционного общества «Земля и воля» Огарев пишет воззвание «Всему народу русскому, крестьянскому от людей ему преданных поклон и грамота», в котором разоблачает антинародную сущность царского «Положения о выходе из крепостной зависимости». Согласно царскому акту у крестьян отобрали часть принадлежащей им земли, назначили плату за ее выкуп, повысили оброки. Вместо этих действий правительства Огарев требует принять действительно справедливые меры, в том числе наделение крестьян и их последующее владение землей без оброка и выкупа, крестьянское народное самоуправление, выборный суд и свобода совести — прежде всего свобода вероисповедания. Средством введения этих мероприятий Огареву видится всероссийский Земский собор из представителей всех сословий, на котором должны быть приняты решения по следующим вопросам:

- «1) Отдача крестьянам земли без выкупа.
- 2) Отрешение чиновников и замена их людьми, народом избранными.
- 3) Совершенное уничтожение розог и всякого сечения.
- 4) Уничтожение рекрутчины и устройство народного ополчения.

¹ Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. XIV. С. 238—244.

² Напомню, что согласно ему превращение крепостного крестьянина в «свободного сельского обывателя» затянулось на долгие десятилетия (только переход с феодальных повинностей на выкуп занял 20 лет); размер выкупа в 1,5—2 раза превышал стоимость земли, отводимой крестьянину в надел; часть надельной земли отрезалась в пользу помещика; над крестьянским самоуправлением надстраивались органы помещицкой и государственной власти.

5) Запрет — чтобы без согласия народного Земского собора нельзя было налагать ни податей, ни пошлин и чтобы без его ведома никуда правительство денег не тратило.

6) Свобода веры.

7) Уничтожение всякой сословной розни, чтоб не было ни дворян, ни крестьян, ни мещан, а был бы только под одно народ русский¹. Завершается воззвание если не призывом, то решительным предувещанием о том, что скоро «придет великий, ослушной час», к которому следует тщательно готовиться. В этом же духе Огаревым были написаны и социально-политические документы: воззвания «Слово правды», «Братья солдаты! Одумайтесь — пока время», «Три вопроса», «Что-то будет?» и др.

Особое место в мировоззрении Огарева в это время начинает занимать вопрос о старообрядческой вере как «краеугольном камне настоящей русской свободы». В «Политических письмах к старообрядцам», а именно четырех «Письмах к иноку», увидевших свет в 1863—1864 годах, Огарев в концентрированном виде излагает свое представление о «крестьянском социализме» прежде всего как социализме старообрядческом.

Во-первых, несомненной ценностью старообрядчества Огарев называет «свободу веры, без которой нет общественного спасения»². Старообрядчество, далее, «зиждется на земстве. Оно зиждется на свободе каждой деревни, каждого села управляться своими выборными людьми, ибо как скоро вы допустите казенное управление, то вам свободы веры не дадут, а дадут грабящее чиновничество и казенное духовенство»³. Эта идея народ-

¹ Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. XIV. С. 98—99.

² Там же. С. 131.

³ Там же. Примечательно, что такой же вывод намного позже, в XX столетии, в отношении русского раскола XVII века, в результате которого старообрядцы потерпели поражение, а победил русский царь и согласный с ним патриарх Никон, делает и Г. Флоровский. По его мнению, в это время в России сложилось «полицейское государство», при котором «изменяется самочувствие и самоопределение власти. Государственная власть самоутверждается в своем самодовлении, утверждает свою суверенную самодостаточность. И во имя этого своего первенства и суверенитета не только требует от Церкви повиновения и подчинения, но и стремится как-то вобрать и включить Церковь внутрь себя... Государство утверждает себя само как единственный, безусловный и всеобъемлющий источник всех полномочий, и всего законодательства, и всякой деятельности или творчества... Именно в этом и состоит замысел того «полицейского государства», которое заводит и утверждает в России Петр... Государство берет на себя безраздельную заботу о религиозном и духовном благополучии народа». (Флоровский Г. Пути русского богословия. Минск, 2006. С. 85—86).

ного самоуправления у Огарева разрастается до идеи «земского царя» — народом избранного, народные условия принимающего, царствующего по совету выбранных от земств бескорыстно и по твердым законам.

В-третьих, идеи старообрядчества¹, совпадающие, по его мнению, с принципами русской народной жизни вообще, включают в себя общинное землевладение. В этом русская жизнь, полагает автор, противоположна жизни любого европейского народа. Мирское землевладение, согласно Огареву, возникло из того, что русский человек издревле продвигался с запада на восток страны и заселял пустые земли не в одиночку, а общинами-артелями. И этот «безобидный» обычай от него переняли иные народы, в том числе татары, мордва, черемисы. В соответствии с принципами общинной жизни каждый человек «обязывался перед миром нести свою тягу, а мир обязывался ему своей общей подмогой».

Разрушить этот строй жизни не смогли цари, стремившиеся закабалить русский народ. Не разрушит его, подчеркивает Огарев, и идущая с современного Запада машинная цивилизация. Напротив, «у народа, у которого земля своя, да есть мирская круговая порука, — у такого народа машины сделаются достоянием не немногих отдельных хозяев и богачей, а достоянием народным, и богатства, ими производимые, пойдут не в руки правительства и немногих богачей, а сделаются в самом деле народными богатствами, в пользу не нескольких людей, а всех и каждого»². Если на небольших частных участках земли западному земледельцу в одиночку трудно использовать машины, да и купить их одному ему не под силу, то для русского человека с его круговой порукой, привычкой к артельной жизни и большими общими полями с переделываемыми наделами это значительно проще. Таким образом, итожит Огарев, нужно признать, что в России есть всего один помещик — сельский мир и других помещиков ни теперь, ни в будущем не нужно.

И наконец, совсем как призыв к антиправительственному выступлению звучат листовки Н.П. Огарева 1869 года — «Мужичкам», «Встреча» и «Напутствие». В них автор констатирует бесправное положение крестьянства, задавленного царем,

¹ О старообрядчестве и русском расколе много нового систематически изложенного материала содержится в книге А. Глинчиковой «Раскол или срыв "русской Реформации?"» М.: Культурная революция, 2008.

² Там же. С 140.

попами и чиновничеством, и прямо призывает к сплочению крестьян, городского мещанства и солдат с целью готовить «одно всеобщее восстание». При этом, обнаруживая навыки настоящего революционера, Огарев определяет и субъекта идеологической подготовки народного выступления — юношество, которое «прониклось смыслом общинных порядков и решилось дать крестьянству направление». В завершающих листовку стихах он призывает:

«Учи того, кто не успел
С ума сойти в их жизни ложной,
Кто ищет, искренен и смел,
Рассудка простоты несложной.

Глагол — орудие свободы,
Живая жизнь, которой днесь
И вечно движутся народы...
Проникнись этой мыслью весь!

Готов ли?.. Ну! Теперь смотри —
Ступай по городам и селам
И о грядущем говори
Животрепещущим глаголом»¹.

Таким образом, если в конце 50-х годов Огарев еще питал иллюзии относительно просвещенного монарха-реформатора, то в конце жизни, уже после смерти А.И. Герцена, он без сожаления отказывается от прежних иллюзий. В листовке «Будущность», написанной в 1870 году, содержится, например, следующее признание: «Русские перемены сверху оказались такими же ничтожными, как и всякие другие перемены сверху. Перемену, или, лучше сказать, переворот, может сделать тот, кто его в самом деле хочет, кому он в самом деле составляет потребность, т.е. народ, большинство, масса. Иначе это всегда выйдет обман»².

Если обратить эти мысли на сформулированный в начале главы и важный для русского мировоззрения вопрос: «Что собой представляют и каковы должны быть человек и общество?»,

¹ Там же. С. 229.

² Там же. С. 235.

то в ответе на него у Огарева наблюдается очевидная эволюция: место пассивного объекта, в отношении которого может совершить благое дело активная выдающаяся личность — царь, замещает активный субъект-труженик. То, каков есть в действительности и каким должен быть этот труженик, Огарев лишь намечает. Но в данном случае это и не важно. Конкретизацией этого образа, причем как его реального отображения, так и фантазиями на заданную тему, как будет показано далее, займутся многие философы и литераторы. А пока обратимся к работам, выполнявшимся параллельно с Н.П. Огаревым его соратником и другом к философским и публицистическим трудам А.И. Герцена.

* * *

В обширном наследии Герцена вопрос о роли литературы в становлении национального самосознания принадлежит к числу неплохо изученных, но которому, как это ни странно, позднейшими исследователями уделялось сравнительно мало внимания. И поскольку в рассматриваемой теме «Русское мировоззрение» этот предмет является центральным, то к нему я и перейду, остановившись в том числе и на значимых для этого вопроса статьях Искандера: «О романе из народной жизни» (1857) и «Новая фаза русской литературы» (1864).

Из отечественных философов Герцен одним из первых понял, какую роль играет литература в жизни российского общества, в становлении русского самосознания и русского мировоззрения. «Одним из свойств русского духа, — отмечает он, — отличающим его даже от других славян, является способность время от времени оглядываться на самого себя, отречься от собственного прошлого, взглянуть на него с глубокой, искренней, неумолимой иронией и иметь смелость признаться в этом без цинизма закоренелого злодея и без лицемерия, которое винит себя только для того, чтобы быть оправданным другими»¹. Иностранцу, например, трудно было объяснить, почему постановка «Ревизора» производила столь сильное впечатление на русскую публику, и, напротив, ему не казалось удивительным то, что этот же спектакль, поставленный в Париже в 1854 году под названием «Русские в своем собственном изображении», провалился.

¹ *Герцен А.И.* Эстетика. Критика. Проблемы культуры. М.: Искусство, 1987. С. 313.

Осознав особую роль русской литературы в жизни общества и сделав литературу предметом социально-философского анализа, Герцен тем самым предпринял своего рода исследование природы русского человека и общества. Обратившись к литературе в России, ее начало Герцен связывает с Фонвизиним. Автор знаменитых пьес, который долгое время состоял при русском посольстве в Париже, по возвращении на родину был поражен видом открывшейся ему варварской цивилизации, что он и отразил в комедиях «Бригадир» и «Недоросль». Говорят, что после просмотра «Бригадира», по выходе из театра, князь Потемкин взял Фонвизина за руку и сказал: «Фонвизин, теперь умри!»

Нельзя полагать, будто русская литература с самого начала была демократичной в полном смысле этого слова. Хотя со времени своего возникновения русский роман, комедия или даже басня чаще всего имели отчетливо выраженный характер горькой иронии или насмешливой критики, они в силу ряда обстоятельств вызвали отклик лишь у небольшой просвещенной части общества. Обстоятельства эти были таковы.

Во-первых, русская литература изначально получила свое развитие лишь в среде дворянского меньшинства, оторванного от народа еще со времен Петра I. И положение этого класса было положением «чужаков среди собственной нации. Вместо отечества существовало государство; все трудились во имя его мощи и славы; естественная же основа, на которой покоилось здание, оставалась в полном пренебрежении. Положение это было, конечно, создано силой исторической необходимости. ... Патриархальность и бюрократия, византизм и германизм, варварская монгольская казарменная грубость и философия XVIII века, необъятное государство, где не существовало другой личности, кроме личности императора; полный разрыв между образованным классом и народом, иная одежда, иной язык, иные мысли — словом, две России (остальное — безликая масса, конгломерат человеческих особей, упорядоченных в полки разных наименований): сельская община и дворянство, которые больше столетия стояли лицом к лицу, не понимая друг друга. Одна Россия, утонченная, придворная, военная, стремящаяся к центру, окружает трон, презирая и грабя другую; другая, земледельческая, разбросанная, деревенская, мужицкая, поставлена вне закона.

Между двумя Россиями вскоре образуется связь, вернее, промежуточное звено в виде чиновника. Он не так груб, как по-

мешик, но еще более нечист на руку. Это самый отвратительный человеческий тип, какой только можно себе представить. Эта чернильная аристократия всегда выходила из самых низших слоев общества и смешивалась с аристократией крови, но никогда не возвращалась к народу»¹.

К числу обстоятельств, определивших тот факт, что литература вызывала отклик лишь у небольшой просвещенной части общества, следует отнести и то, что литературные сюжеты с неизбежностью отражали жизнь лишь того социального слоя, в котором литература зародилась и для которого существовала. «Вторая Россия» была не только неграмотна, но оставалась неизвестной, не являлась сколько-нибудь серьезным предметом интереса для «России первой». К тому же жизнь и уровень развития России народной, по крайней мере до начала XIX столетия и в особенности в связи с ростом народного самосознания после войны 1812 года, серьезного повода для внимания к ней со стороны литературы не давали.

Литература, наконец, аккумулировала в себе и в художественной форме представляла господствующие в определенной просвещенной части социума настроения и потребности. Таковыми во времена николаевского безвременья для многих людей из высшего общества, исполненных благородных стремлений, были чувства их общественной ненужности и бесполезности. Чацкий, Онегин, Ленский, Печорин — все они были не нужны самодержавной России, все были людьми «лишними». «Юная душа гонимого, униженного, жестоко притесняемого поколения с презреньем бежала от действительности и искала свой идеал вдали.

...Это идеальное существо, этот «чужой среди своих» постоянно обращал взоры на Запад, и это было вполне естественно. Родина его цивилизации, его мысли находились вне России»². Но вне России не было русского народа, и это было еще одной причиной, объясняющей, почему литература была далека от него.

Гоголь, один из первых русских литераторов обративший внимание на народ, писал не только карикатуры. При всем значении сатирического начала в его творчестве звучит и другая, не менее звучная струна. Гоголь — совсем иной человек, когда

¹ Там же. С. 312–313.

² Там же. С. 315.

«встречается с ямщиками из Малороссии, когда он переносится в мир украинских казаков или шумно пляшущих у трактира крестьян, когда рисует нам бедного старого писаря, умирающего от горя, потому что у него украли шинель... Талант его все тот же, но Гоголь нежен, человечен, полон любви; его ирония уже не ранит, не отравляет; отзывчивая, поэтическая душа переливается через край...»¹. Гоголевский «положительный» герой размышляет, чувствует, иронизирует, смеется.

С самого начала смех в русской литературе был формой выражения отечественного самосознания, как говорит Герцен, «нашим искуплением», «единственным протестом и мщением, возможным для нас», да и то в ограниченных пределах. Открытое литературой сознание обнаружило гнусность человеческой жизни, в которой не было никакой независимости, никакой личной безопасности, никакой органической связи с народом. И само существование напоминало род казенной службы. Жаловаться, протестовать открыто было невозможно, что показал пример Радищева, которого Екатерина II объявила бунтовщиком «опаснее Пугачева» и сослала в Сибирь. Что же оставалось? Выход подсказала русская литература. «Насмеяться было менее опасно: крик ярости притаился за личиной смеха, и вот из поколения в поколение стал раздаваться зловещий и иступленный смех, который силился разорвать всякую связь с этим странным обществом, с этой нелепой средой... Не существует, кажется, другого народа в мире, который вынес бы это, ни литературы, столь дерзновенной»².

Впрочем, не только смех, но горечь и ирония также были оружием русских литераторов. Образ Чацкого, «трепещущего от негодования и преданного мечтательному идеалу, появляется в последний момент царствования Александра I, накануне восстания на Исаакиевской площади; это — декабрист, это — человек, который завершает эпоху Петра I и силится разглядеть, по крайней мере на горизонте, обетованную землю... которой он не увидит»³.

С воцарением Николая I в России наступает эпоха безвременья. И в этой связи у Герцена прежде всего возникают вопросы относительно пассивности русского народа. В унисон знаменитому чаадаевскому письму он спрашивает: «...какова же была

¹ Там же. С. 316.

² Там же. С. 468.

³ Там же. С. 470.

причина этого равнодушия народа, этой апатии в несчастьях и страданиях? История русского народа представляет, в самом деле, очень странное зрелище. В течение более чем тысячелетнего своего существования русский народ только и делал, что занимал, распахивал огромную территорию и ревниво оберегал ее как достояние своего племени. Лишь только какая-нибудь опасность угрожает его владениям, он поднимается и идет на смерть, чтобы защитить их; но стоит ему успокоиться относительно целостности своей земли, он снова впадает в свое равнодушье — равнодушье, которым так превосходно умеют пользоваться правительство и высшие классы.

Поразительно, что народ этот не только не лишен мужества, силы, ума, но, напротив, наделен всеми этими качествами в избытке. Действительно, русские крестьяне более развиты, чем земледельческий класс почти во всей Европе; исключения встречаются только в Швеции, Швейцарии и Италии¹.

Отчего же положение русского крестьянства более тяжелое, чем могло бы быть? Очевидно, предполагает Герцен, — и на это наблюдение 1864 года стоит обратить особое внимание в связи с нашим дальнейшим интересом к проблеме «новых людей» — дело заключается в том, что «геологический народный пласт» существует отдельно от лежащего поверх него плодородного слоя — высшего класса с входящими в него просвещенными людьми. Именно лучшие представители этого слоя в будущем должны выступить в роли «бродила, реактива, нравственной закваски». Таким образом, некоторые определения тех, к кому будет прилагаться в дальнейшем термин «новые люди», в интерпретации Герцена названы. Это — представители «высшего класса» и люди из «просвещенного» слоя.

Однако в России после 1825 года в отличие от Европы с ее городами и народившимся классом буржуазии («химической реакции» по смешению верхнего и нижнего слоев), этого «бродила» пока, жалеет Герцен, не происходит. В нашем отечестве наступила пора «лишних» людей, которые, правда (и это было их достоинством), никогда не становились на сторону правительства, но которые также не вставали и на сторону народа (и это был их недостаток). Между «лишними» людьми и народом в России существовал и существует омут, в котором, говоря словами Пушкина, «мы все купаемся».

¹ Там же. С. 471—472.

Что думали по этому поводу «две русские партии» — славянофилы и западники? Славянофилы свое смутное предчувствие необходимости нового порядка вещей обратили в «религию прошедшего». Они «хотели воскресить» учреждения, которые никогда не давали развиваться положительной стороне существующего порядка вещей. Что же касается «Письма» Чаадаева, то оно «прогремело подобно выстрелу из пистолета глубокой ночью», после которого уже нельзя было больше спать. Но главное — между двумя лагерями возникла «независимая партия» (Белинский, Грановский, Тургенев), которая отвергла не только мрачный взгляд Чаадаева, но и «культ выходцев с того света, проповедуемый славянофилами». Именно она взяла на себя миссию продолжения дела Гоголя, равно как и воронежского прасола поэта Алексея Кольцова, поскольку, полагает Герцен, именно в его поэзии доселе неизвестный мир русского крестьянства предстал «в своей наивной, естественной простоте, в своей смиренной нищете. Россия забытая, Россия бедняков, мужиков наконец подала голос».

Впрочем, похоже, одним этим голосом дело и ограничилось. Герцен отказывает отечественной словесности 40—60-х годов в сколько-нибудь серьезной содержательной работе по дальнейшему формированию русского самосознания и мировоззрения. «...Где же тут литература? Где новые произведения, новые таланты? Где поэт, романист, мыслитель? Какие созданы типы? Наконец, какие идеалы, какой лиризм, какое страдание нашли себе выражение в искусстве?

...Воплотится ли в жизнь новая форма, к которой люди стремятся?»¹ — спрашивает он. «Оживленная деятельность, вызванная пробуждением после смерти Николая, не породила великих произведений»². И далее: похоже, в литературе наступает новая фаза развития — «фаза консервативная». В ней, правда, есть исключения. Например, драма «Гроза» Островского или «Мертвый дом» Достоевского. Но этого мало.

На мой взгляд, одной из причин столь резко отрицательного отзыва о содержании отечественной словесности был определенный аспект герценовской критики тургеневского Базарова. Базаров для Герцена, впрочем, как и Инсаров, — не живые люди, а всего лишь «носители мысли, скрытой за кулисами».

¹ Там же. С. 504.

² Там же. С. 508.

В сравнении с образами «Записок охотника», считает Герцен, это явные литературные неудачи. «Нигилист и болгарин ничего не сделали; они едва начали свой жизненный путь, и еще видна была школьная дверь, только что закрывшаяся за ними»¹.

Наверное, еще одной причиной низкой оценки Герценом состояния русской словесности можно считать и тот жизненный выбор, который для себя лично в этот период сделал Искандер: подчинение сугубо литературного творчества делу революционной пропаганды. Именно с позиций этого императива простое «писательство» выглядело в глазах достаточно молодого человека делом если не бесполезным, то явно второстепенным. В статье «Еще раз Базаров. Письмо первое» (1869), как бы встраивая самого себя в изображаемый в литературе ряд героев, Герцен отмечает, что «общество не всегда глухо и неумолимо, когда протест попадает в тон, что дело иногда удастся, что у Рудиных и Бельтовых иной раз бывает и воля, и настойчивость и что, видя невозможность деятельности, к которой они стремились по внутреннему влечению, они бросали *многое*, уезжали на чужбину и заводили, "не метавшись и не суетясь", русскую книгопечатню и русскую пропаганду»². С позиций этого критерия художественные произведения, на которые обращается герценовская критика, проверки на значимость, безусловно, не выдерживали.

И наконец, в упрек отечественной литературе 40—60-х годов Герцен ставит и то, что своим недостатком внимания к чрезвычайно важному и к тому же реальному, а не придуманному русскому историческому типу декабриста она создала у молодого поколения неверный взгляд на действительность. «Братъ Онегина за *положительный* тип умственной жизни двадцатых годов, за интеграл всех стремлений и деятельностей проснувшегося слоя — совершенно ошибочно, хотя он и представляет одну из сторон тогдашней жизни.

Тип того времени, один из великолепнейших типов новой истории, — *это декабрист*, а не Онегин. Русская литература не могла до него касаться целые сорок лет, но он от этого не стал менее значительным.

Как у молодого поколения не достало ясновидения, такта, сердца понять все величие, всю силу этих блестящих юношей,

¹ Там же.

² Там же. С. 518.

выходящих из рядов гвардии, этих баловней знатности, богатства, оставляющих свои гостиные и свои груды золота для требования человеческих прав, для протеста, для заявления, за которое — и они знали это — их ждали веревка палача и каторжная работа? — Это печальная загадка»¹.

Между тем сам точно определивший особую роль отечественной словесности в жизни российского общества, Герцен, как представляется, недооценил ее несомненную конструктивную роль в формировании русского самосознания и русского мировоззрения.

В предыдущем исследовании, а именно во втором томе «Русского мировоззрения», уже говорилось о необходимости и особой общественной значимости нового смыслового прочтения романной эпопеи И.С. Тургенева. Здесь же отмечу, что ко времени появления анализируемых статей А.И. Герцена уже были опубликованы не только значительная часть рассказов «Записок охотника» И.С. Тургенева и его повесть «Муму», но и романы «Рудин» (1855), «Дворянское гнездо» (1858), «Накануне» (1860), «Отцы и дети» (1861). К этому времени увидели свет и вызвали огромный общественный резонанс «Обыкновенная история» (1847) и «Обломов» (1859) А.И. Гончарова, а Л.Н. Толстой уже написал не только трилогию «Детство», «Отрочество» и «Юность», но также «Севастопольские рассказы» и «Казачьи рассказы». Также в это время были опубликованы циклы стихов Н.А. Некрасова, произведения писателей народнической ориентации, других значительных литераторов.

Недооценка вклада русской литературы в российское самосознание и тем самым в восприятие России представителями других наций явственно просматривалась и раньше, например в известной статье 1851 года «Русский народ и социализм. Письмо к К.И. Мишле». Поводом для статьи Герцена послужили содержащиеся в очерке французского историка о русском народе уничижительные оценки его истории, его нравственных и революционных качеств. (Герцен с негодованием заявляет, что считает долгом «подать голос, когда человек, вооруженный огромным и заслуженным авторитетом, утверждает, что Россия не существует, что русские не люди, что они лишены нравственного

¹ Там же. С. 519. В статье «Еще раз Базаров. Письмо второе» А.И. Герцен высказывается еще более определенно: «Декабристы — наши великие отцы, Базаровы — наши блудные дети». Там же. С. 524.

смысла»¹.) Вместе с тем статья Герцена полностью отвечала поставленной им для себя цели — «познакомить Европу с Русью», что включало сообщение не только сведений о русской истории, но и пропаганду идей «крестьянского социализма». В авторских мыслях о крестьянской общине состоит главная позитивная ценность статьи.

Подлинная жизнь русского народа, отмечает Герцен, заключается в его общинном бытии. Только в отношении к общине народ признает свои права и обязанности. Все выходящее за ее пределы — власть, верования, принудительный труд — рассматривается как неправильное и несправедливое, вызывает стремление избежать или уклониться от контакта любой ценой. Отсюда — сознательное лживое поведение и поступки, стремление уклониться, не сделать, не участвовать. Вне общины крестьянину все «кажется основанным на насилии. Роковая сторона его характера состоит в том, что он покоряется этому насилию, а не в том, что он отрицает его по-своему и старается оградить себя хитростью»². При этом свои собственные внутриобщинные дела крестьяне решают без обмана, конфликтов и по понятиям справедливости.

Чрезвычайно важным Герцен считает тот факт, что русская община, хотя и пережила сильные потрясения, устояла против вмешательства власти и благополучно дожидая до развития социализма в Европе. И хотя Николай I раздавил в России либерализм, на русской почве зреет другой, не менее опасный цветок: освобождение крестьян неизбежно сопряжено с освобождением земли, а это в свою очередь — «начало социальной революции, провозглашение сельского коммунизма». «Человек будущего в России — *мужик*»³, — провозглашает Герцен. И задача просвещенных людей — нового человека — внятно сформулировать стоящие перед обществом задачи и организовать их выполнение.

В заключение Герцен приводит распространенную в России сказку, в которой царь, заподозрив царицу в неверности, велел законопатить ее с сыном в бочку и бросить в море. Много лет плавала бочка по морю. Царевич рос, и скоро его голова и ноги стали упираться в днища бочки. И однажды подросший царевич говорит матери:

¹ Герцен А.И. Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1986. Т. 2. С. 154.

² Там же. С. 166.

³ Там же. С. 160.

— Государыня-матушка, позволь протянуться вволюшку.
— Сынок, — отвечала мать, — не протягивайся. Бочка лопнет, и ты утонешь в соленой воде.

Царевич смолк, а потом сказал:

— Протянусь, матушка; лучше раз протянуться вволюшку, да умереть.

«В этой сказке вся наша история», — итожит Герцен.

В какой мере русское мировоззрение является результатом исторического процесса, накопленного народом опыта, а в каком оно — результат созидательных усилий созданной им и его лучшими представителями культуры?

Ответы на этот вопрос в разные времена своей деятельности Герцен давал разные. В полной мере это касается и его отношения к русской классической литературе. Так, обнаруживаемое Герценом снижение оценки вклада русской словесности в процесс просвещения и преобразования масс в пользу прямого революционного обращения к ним, которое наблюдается у Искандера в период его лондонской деятельности, нельзя рассматривать как недооценку постепенных просветительских усилий вообще. На мой взгляд, в последний период публицистической и литературной работы Герцен демонстрирует отход от революционной позиции и обнаруживает не свойственную ему ранее симпатию к тургеневской позиции «умеренного либерализма». Так, в 1869 году в заключительной части статьи «Еще раз Базаров. Письмо четвертое» Герцен явно умеренно-либерален. В отличие от других его текстов статья эта преисполнена пафоса борьбы против всяческого рода «иконоборцев», «робеспьеровских нелепостей», «диких разрушительных призывов». Автор пишет: «Дикие призывы к тому, чтобы закрыть книгу, оставить науку и идти на какой-то бессмысленный бой разрушения, принадлежат к самой неистовой демагогии и к самой вредной. За ними так и следует разнуздание диких страстей...

Нет, великие перевороты не делаются разнуздыванием дурных страстей. Христианство проповедовалось чистыми и строгими в жизни апостолами и их последователями, аскетами и постниками, людьми, заморившими все страсти, кроме одной. Таковы были гугеноты и реформаторы. Таковы были якобинцы 93-го года. Бойцы за свободу в серьезных поднятиях оружия всегда были святы, как воины Кромвеля, — и оттого сильны.

Я не верю в серьезность людей, предпочитающих ломку и грубую силу развитию и сделкам. Проповедь нужна людям,

проповедь неустанная, ежеминутная, проповедь, равно обращенная к работнику и хозяину, к земледельцу и мешанину. Апостолы нам нужны прежде авангардных офицеров, прежде саперов разрушенья, — апостолы, проповедующие не только своим, но и противникам (выделено мной. — С.Н.).

...Дико необузданный взрыв, вынужденный упорством, ничего не пощадит... с капиталом, собранным ростовщиками, погибнет другой капитал, идущий от поколения в поколение и от народа к народу. Капитал, в котором оседала личность и творчество разных времен, в котором сама собой наслонилась летопись людской жизни и скристаллизовалась история...

Довольно христианство и исламизм наломали древнего мира, довольно Французская революция наказала статуи, картин, памятников, — нам не приходится играть в иконоборцев»¹.

Либеральность Герцена в последние годы его жизни отмечается и известными российскими исследователями его творчества. Так, И.К. Пантин в своей статье «А.И. Герцен: начало либерального социализма»² обоснованно утверждает необходимость изменения взгляда на фигуру Герцена в связи с «кризисом ... пролетарски-якобинского, ленинского направления в социализме», что, естественно, наряду с прочим, ведет к критической оценке ленинской статьи «Памяти Герцена» и к иному прочтению наследия великого мыслителя»³. Именно Герцен, полагает автор статьи, положил начало воззрению «либерального социализма», в отличие от Марксова «пролетарского», а в случае Ленина — «пролетарски-якобинского социализма». По Герцену, социализм трактовался как «постепенное претворение в жизнь идеи свободы и справедливости. Этот нравственный идеал должен быть воплощен в экономических и политических институтах, способных сделать универсальными ценности, которые узурпировала буржуазия, извратив их в собственных корыстных интересах»⁴.

Разочаровавшись в буржуазии, которая, получив свою долю свободы, равенства и братства, с легкостью предала интересы европейского пролетариата, но также и не веря в способность рабочего класса самостоятельно отстаивать свои права на эти цен-

¹ Там же. С. 545–546.

² Пантин И.К. А.И. Герцен: начало либерального социализма // Вопросы философии». 2006. № 3.

³ Там же. С. 119.

⁴ Там же. С. 120.

ности, Герцен обращает свои взоры к русской общине. Однако он не идеализирует и ее, прекрасно понимая, что требования свободы, суверенитета индивида, самоценности личности для русского крестьянина пока еще — пустой звук, что «неразвитый народ» руководствуется не разумом, а воспоминаниями и мифами, что ценностей этих, наконец, не добиваются грубой силой, насильственным переворотом. Кроме того, в общественном сознании есть и не менее серьезная проблема, которую Герцен формулирует следующим образом: «Виновато ли меньшинство, что все историческое развитие, вся цивилизация предшествующих веков была для него, что у него ум развит за счет крови и мозга других, что оно вследствие этого далеко ушло вперед от одичалого, неразвитого, задавленного тяжким трудом народа? Тут не вина, тут трагическая, роковая сторона истории...»¹ «Истина принадлежит меньшинству», поэтому все «свободное, талантливое, сильное» должно подняться, «выйти из толпы»².

Осознание Герценом огромной цивилизующей роли культуры не только как благодатного устроителя человеческой жизни, но и как действенного механизма, подготавливающего постепенный переход человека на более высокую фазу своего общественно-го развития, означает серьезный поворот в строе мыслей автора «Былого и дум».

Этими же настроениями проникнуты и письма «К старому товарищу», датированные тем же 1869 годом. В них читаем: «Народное сознание так, как оно выработалось, представляет естественное, само собой сложившееся, безответственное, *сырое* произведение разных усилий, попыток, событий, удач и неудач людского сожития, разных инстинктов и столкновений — его надобно принимать за естественный факт и бороться с ним, как мы боремся со всем бессознательным — изучая его, овладевая им и направляя его же средства — сообразно нашей цели»³. И далее: «Социальному перевороту ничего не нужно, кроме понимания и силы, знания и средств. ...Новый водворяющийся порядок должен являться не только мечом рубящим, но и силой хранительной. Нанося удар старому миру, он не только должен спасти все, что в нем достойно спасения, но оставить на свою судьбу все немешающее, разнообразное, своеобычное. Горе бедному духом и тощему смыслом перевороту, который из всего

¹ Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954—1965. Т. 6. С. 81.

² Там же. С. 96.

³ Там же. С. 534—535.

былого и нажитого сделает скучную мастерскую, которой вся выгода будет состоять в одном пропитании, и только в пропитании. ...И кто же скажет без вопиющей несправедливости, чтоб и в былом и отходящем не было много прекрасного и что оно должно погибнуть вместе с старым кораблем»¹. Нужно иметь перед собой «дальние идеалы», но отдавать себе отчет в том, что долгое время должно пройти, прежде чем наступит «совершенство большинства». Двигаться в этом направлении, полагаясь на точку зрения, что цивилизация возможна через кнут, что освобождение достанется через гильотину, нельзя. «Взять неразвитие силой невозможно», — итожит Искандер.

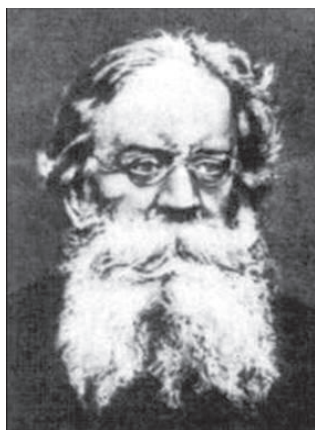
Впрочем, до смерти Александра Ивановича оставалось не более года, и потому наметившийся в его прошлых революционных надеждах на «крестьянский социализм» либерально-реформаторский мотив не получил дальнейшего развития.

¹ Там же. С. 535–536.

Глава 2

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ П.Л. ЛАВРОВА, Н.К. МИХАЙЛОВСКОГО И П.Н. ТКАЧЕВА

Обращаясь к социально-политическим и философским воззрениям известных отечественных мыслителей, многие из которых были деятелями ширящегося в стране во второй половине XIX столетия революционного движения, я, как и в предыдущей книге исследования, буду ставить цель сопоставления философских и художественных идей, которые имеют отношение к представлениям о смыслах и ценностях русского мировоззрения. Во-первых, это будут те вопросы и проблемы, которые в явном или скрытом виде стали предметом анализа мыслителей в связи с исследованием русского мировоззрения вообще и мировоззрения русского земледельца в частности. И во-вторых, те, которые не сделавшись предметом специального художественного рассмотрения, тем не менее сыграли свою роль в общественной жизни и потому оказали воздействие на существо рассматриваемых тем.



Под таким углом зрения, а также в связи с именами П.Л. Лаврова, Н.К. Михайловского и П.Н. Ткачева нам предстоит обратиться к развиваемым ими идеям истории, прогресса, личности ...

Одной из ярких фигур — теоретиков нарождающегося в России революционного народничества — был **Петр Лаврович Лавров (1823—1900)**. Его личность, прежде всего наряду с именами Герцена и Огарева, заставляет задуматься о неоднозначной трактовке в русской истории самой фигуры революционера как идейно-

го возмутителя спокойствия. В отличие от людей, чье революционное ремесло состояло в непосредственном практическом действии, теоретики революционного дела были прежде всего людьми, остро чувствующими потребности момента. С другой стороны, они ощущали призвание аккумулировать в себе максимально возможное знание, которое они привлекали для обоснования собственного теоретического построения или формулируемой задачи. Естественно, что, сознавая эту свою роль, они должны были и реально испытывали особо острое чувство личной ответственности за собственное слово, позицию, лозунг. И в этом — чувстве личной ответственности — надо отдать им должное: они, как правило, оказывались на высоте.

Иное дело, что порой сам лозунг, призыв или теоретическое обоснование какого-либо революционного действия объективно оказывались бесполезными или даже вредными. Однако увидеть это оказывалось возможным лишь намного позже, с известной исторической дистанции, и подобным каковым видением теоретики в свое историческое время, естественно, не обладали. С другой стороны, и само накопление «отрицательных результатов» тех или иных исторических действий не проходило без пользы: со временем возникало понимание того, что тот или иной вариант действий, средство, путь не ведут к намеченной благой цели или, более того, отдаляют от неё. Сказанное в полной мере относится к Лаврову — одному из первых революционно настроенных философов, который стремился изложить свои воззрения в максимально систематизированном виде.

П.Л. Лавров происходил из древнего рода потомственных дворян Псковщины, известных на Руси с начала XV века. Для продолжения семейной традиции четырнадцатилетний Петр был отдан в петербургское Артиллерийское училище, в котором, успешно успевая по всем наукам, особенно отличался в математике. Один из его учителей, всемирно известный русский академик М.В. Остроградский, так мотивировал выставляемую Лаврову высокую оценку за курс: «Полный балл — 12, по совети, могу поставить только Господу Богу, себе — 11, а уже выше 10 — никому другому». «А Лаврову сколько?» — спросили его однажды. «Ну, Лаврову, кажется, надо будет поставить то же, что и мне»¹.

¹ Володин А., Итенберг Б. Лавров. ЖЗЛ. М.: Молодая гвардия, 1981. С. 15.

Постепенно к занятиям математикой добавилось увлечение философией, которая с 1850 года николаевским режимом была признана бесполезной и даже вредной, поскольку развивалась в России германскими учеными. Уже в своих первых публичных лекциях 1860 года Лавров вопреки официально признанному мнению о философии как исключительно отвлеченной науке утверждал, что, напротив, одна из ее основных целей состоит в том, чтобы каждый человек стал активно действующей личностью, то есть ставил перед собой задачу создать философию практическую.

В соответствии с этой идеей Лавров и начал организовывать свою научную, педагогическую и публичную просветительскую деятельность. Именно за нее в 1866 году, после покушения на Александра II студента Дмитрия Каракозова¹, а также за участие в неразрешенной «Издательской артели» с формулировкой за «преступный образ мыслей», так как более ничего полковнику Михайловской Артиллерийской академии Лаврову предъявить было нечего, он был предан суду и сослан в Вологодскую губернию. Пробыв в ссылке три года, Лавров, как раз в канун революционных событий в Париже, в 1870 году бежал за границу.

Написанные в 1868—1869 годах в ссылке «Исторические письма», к рассмотрению которых я перехожу, — результат философских изысканий Лаврова 50—60-х годов. В них на стыке антропологии и практической философии автор исследует центральные для его научных интересов этого периода понятия: «цельная личность», «прогресс», «цивилизация», «идеал», «государство».

Первым вопросом, который поставил перед собой высоко ценивший систематическое исследование Лавров, был вопрос о субъекте познания. Придя к выводу, что установление истинной перспективы исторических фактов, равно как и уяснение их смысла, зависит от теоретического багажа и личности самого мыслителя, Лавров в социологическом исследовании предложил пользоваться так называемым субъективным методом, посредством которого при попытке установить законы общественного развития отрицался объективный материальный критерий. С позиций критически мыслящего субъекта Лавров ставит зада-

¹ Согласно официальной версии убить царя студенту помешал крестьянин Комиссаров, после чего Каракозов был схвачен сперва не жандармами, а людьми из толпы, которым он кричал: «Дурачье! Ведь я для вас же, а вы не понимаете!..»

чу понять процесс развития человечества, определить, что можно считать его прогрессивным развитием. В качестве гипотезы он формулирует: «Развитие личности в физическом, умственном и нравственном отношении; воплощение в общественных формах истины и справедливости — вот краткая формула, обнимающая, как мне кажется, все, что можно считать прогрессом; и прибавлю, что я в этой формуле не считаю ничего мне лично принадлежащим, более или менее ясно и полно высказанная, она лежит в сознании всех мыслителей последних веков, а в наше время становится ходячею истиною, повторяемую даже теми, кто действует несогласно с нею и желает совершенно иного»¹.

Далее, как истинный сторонник точного знания, он дает исчерпывающее и одновременно отличающееся простотой определение: «Развитие личности в физическом отношении лишь тогда возможно, когда она приобрела некоторый минимум гигиенических и материальных удобств, ниже которого вероятность страдания, болезней, постоянных забот далеко превосходит вероятность какого-либо развития, делает последнее долею лишь исключительных личностей, а все остальные обрекает на вырождение в ежеминутной борьбе за существование, без всякой надежды на улучшение своего положения»².

Развитие личности в нравственном отношении происходит лишь тогда, «когда общественная среда позволяет и поощряет в личностях развитие самостоятельного убеждения; когда личности имеют возможность отстаивать свои различные убеждения и тем самым принуждены уважать свободу чужого убеждения; когда личность сознала, что ее достоинство лежит в ее убеждении и что уважение достоинства чужой личности есть уважение собственного достоинства». Что же касается развития личности в умственном отношении, то таковое Лавров связывает с потребностью и способностью личности выработать в себе «критического взгляда на все, ей представляющееся, уверенность в неизменности законов, управляющих явлениями, и понимание, что справедливость в своих результатах тождественна с стремлением к личной пользе»³. Лишь тогда, когда физическое, умственное и нравственное развитие обществен-

¹ Лавров П.Л. Философия и социология. Избранные произведения: В 2 т. М.: Мысль, 1965. Т. 2. С. 54.

² Там же. С. 54—55.

³ Там же.

но обеспечены, можно сказать, что «все данные для прогресса налицо».

Возможность сегодняшнего появления критически мыслящих личностей, подчеркивает Лавров, оплачена огромными тяготами и лишениями всего человечества. Поэтому личности, видящие свою цель «в собственном развитии, в отыскании истины и в воплощении справедливости», осознают свою ответственность как перед предками, так и перед потомками и говорят себе: «Каждое удобство жизни, которым я пользуюсь, каждая мысль, которую я имел досуг приобрести или выработать, куплена кровью, страданиями или трудом миллионов. Прошедшее я исправить не могу, и, как ни дорого оплачено мое развитие, я от него отказаться не могу... я сниму с себя ответственность за кровавую цену своего развития, если употреблю это самое развитие на то, чтобы уменьшить зло в настоящем и в будущем. Если я развитый человек, то я обязан это сделать, и эта обязанность для меня весьма легка, так как совпадает именно с тем, что составляет для меня наслаждение: отыскивая и распространяя более истин, уясняя себе справедливейший строй общества и стремясь воплотить его, я увеличиваю собственное наслаждение и в то же время делаю все, что могу, для страждущего большинства в настоящем и будущем. Итак, мое дело ограничивается одним простым правилом: живи сообразно тому идеалу, который ты сам себе поставил как идеал развитого человека!»¹

Критически мыслящие личности, поскольку они нравственны, образованны и не принуждены заботиться о хлебе насущном, обязаны начинать действовать, — далее обосновывает свою позицию Лавров. «Ни литература, ни искусство, ни наука не спасают от безнравственного индифферентизма. Они не заключают и не обуславливают сами по себе прогресса. Они накапливают для него силы. Но лишь тот литератор, художник или ученый служит прогрессу, который сделал все, что мог, для приложения сил, им приобретенных, к распространению и укреплению цивилизации своего времени; кто боролся со злом, воплощал свои художественные идеалы, научные истины, философские идеи, публицистические стремления в произведения, жившие полной жизнью его времени, и в действия, строго соответственные количеству его сил».² При этом, сколь бы мало таковых людей ни

¹ Там же. С. 86.

² Там же. С. 92.

было и сколь бы узкой ни была сфера их деятельности, такие личности все равно сделаются «влиятельным двигателем прогресса». Лишь в этом случае интересы общества и критически мыслящей личности совпадают.

Прогресс никогда не совершается автоматически, сам собой, помимо усилий критически мыслящих личностей. Если усилия не предпринимаются, то устанавливается застой. И для того чтобы застой не наступил или чтобы его преодолеть, нужна «личная мысль» и «личная энергия», которая воплощает в себе «результат потребностей данной эпохи и работы мысли всего предшествующего времени. Всякий, кто не стремится всеми своими силами к осуществлению прогресса в том смысле, как он его понимает, борется *против* него. Таким образом, необходимость участия в борьбе за прогресс является нравственным долгом личности, которая создала смысл этого понятия»¹.

Но как участвовать в борьбе? — не может не поставить вопрос философ практического дела. Прежде всего необходимо уяснить себе и сделать ясным для других то понимание прогресса, которое усвоила себе критически мыслящая личность. Борец за прогресс должен «скреплять свою связь» со своими единомышленниками, создать и стать членом общей организации. Борец за прогресс должен понимать, что он — плоть от плоти того общества, которое он рассчитывает изменять, и потому изменение он должен начинать с самого себя, для чего прежде всего необходимо составить «план личной жизни», а далее и план общих действий организации. При этом нужно помнить, что только то представление о прогрессе может быть истинно и привлечь упорных, знающих, самоотверженных и многочисленных последователей, которое одновременно «опирается с одинаковой силой на метод науки, на эффект воображения и на расчет личного интереса»².

В полной мере этим критериям соответствует «группа социалистических мыслителей», пишет Лавров, но, естественно, по цензурным соображениям не называет имен. В своих теоретических построениях эта группа исходит прежде всего из утверждения о принципиальной ущербности существующего экономического строя. Этот строй «неизбежно вызывает неравенство и ограничение свободы для большинства, создает господство одних классов над другими. Он в экономической

¹ Там же. С. 246—247.

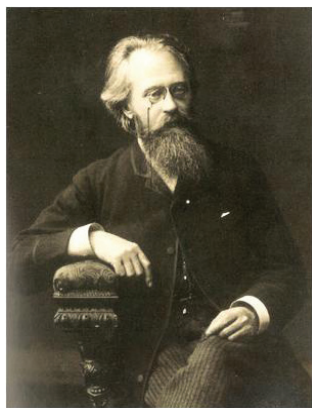
² Там же. С. 249.

конкуренции вызывает, упрочивает и узаконяет в человечестве элементы вражды между личностями, борьбы между группами и внутри групп. Он подавляет индивидуальное развитие среди миллионов людей, позволяя развиваться лишь немногим, но и тут искажая их развитие одним уже погружением их в войну всех против всех. Прогресс в настоящем возможен лишь путем радикального изменения этого неправильного экономического строя и заменю его оснований иными, допускающими всестороннее развитие каждой личности, допускающими возможно большее внесение в жизнь свободы и равенства, допускающими правду в общественной жизни. И в прошедшем прогресс заключался и мог заключаться лишь в развитии тех сторон мысли, которые уясняли людям реальное отношение вещей между собою и реальные потребности личного человеческого развития и правильного общественного строя; в усилении тех элементов общественных отношений, которые скрепляли связь между личностями и между группами и расширяли эту связь до вне-сения в нее всего мыслящего человечества. Иначе говоря, прогресс заключался и мог заключаться лишь в растущем сознании истины путем все более вырабатываемой критической мысли и в растущем воплощении в общественную жизнь солидарности между людьми, окончательно распространяющейся на все мыслящее человечество в его кооперации ко всеобщему развитию»¹. И далее — вновь открытым текстом о социализме: «В учении социализма борцы за прогресс призываются к выработке из данных реальных отношений между людьми новых отношений, допускающих солидарность между всеми мыслящими и трудящимися человеческими группами; к уяснению себе и другим тех элементов, уже существующих, которые способствуют этой перестройке, и тех, которые ей препятствуют; к выработке коллективной силы, способной воспользоваться тем, что благоприятствует изменению, и устранить или сломать препятствия, представляющиеся на этом пути; к выработке в себе и в своих товарищах по убеждению личной силы мысли и личной энергии, годной как на борьбу за прогресс с его врагами, так, еще более, для установления того общественного строя, который один может сделать возможною и упрочить солидарность между личностями и группами»².

¹ Там же. С. 259.

² Там же.

От этого пункта, как видим, остается всего один шаг до выработки рекомендаций собственно для России. Согласно Лаврову, переходу к социализму в нашей стране способствуют такие ее особенности, как сельская община, артельные союзы, отсутствие у господствующих классов традиций политической организованности. Вместе с тем серьезным препятствием для перехода к социализму является самодержавие, и потому оно должно быть разрушено. Одновременно насущной и реально выполнимой задачей подготовки социальной революции в России является развитие в интеллигенции «научной социологической мысли» и пропаганда социалистических идей в народе. Это то поле деятельности, на котором Лавров видит самого себя и своих товарищей по разработке научной революционной теории. Поэтому он с радостью принимает на себя обязанности социалистической пропаганды в России, когда ему предложили возглавить редакцию журнала «Вперед». Впрочем, это произошло позже исторического периода, который рассматривается в данной работе.



* * *

Одним из наиболее талантливых и последовательных продолжателей идей А.И. Герцена и П.Л. Лаврова был один из основателей социологии в России, **Николай Константинович Михайловский (1842—1904)**¹. Будучи студентом Петербургского института горных инженеров, в 1863 году за участие в студенческих волнениях он был из учебного заведения исключен и после непродолжительного периода времени, всецело посвященного самообразованию, занялся литературно-публицистической и собственно научной деятельностью, успешно сотрудничая с такими народнического направления журналами

¹ Известный отечественный историк, правовед и социолог М.М. Ковалевский, современник Михайловского, отмечал, что в качестве одного из творцов субъективной школы в российской социологии Михайловскому принадлежит «выдающаяся роль» в подготовке русского общества к восприятию, критике и самостоятельному построению социологии. См.: *Ковалевский М.М. Михайловский как социолог // Вестник Европы. 1913. № 4. С. 172.*

и альманахами, как «Книжный вестник», «Невский сборник», «Отечественные записки».

Фигура Михайловского интересна прежде всего тем, что в своих работах он обнаруживает себя представителем активных городских слоев нового русского общества второй половины XIX столетия, в первую очередь разночинной интеллигенции, чиновничества, мелкого и среднего дворянства. Эти социальные типы, еще вчера глубоко укорененные в деревенской России, теперь начали составлять собой поколения собственно городских жителей, все менее сохраняющих связи с сельской общностью. Мировидение именно этих социальных слоев оказывается ближе мировидению героев Н.Г. Чернышевского, Н.С. Лескова и Ф.М. Достоевского, к исследованию которых я перейду позднее.

Как истинный последователь отечественных либерально-демократических традиций, Михайловский был озабочен поиском путей и средств рационального переустройства на началах разума российской действительности, ставя во главу угла интересы и цели развитой личности и свободного народа. Пафос его научно-публицистических размышлений, совпадающий с сутью народнической идеологии, состоял в том, чтобы найти способы освобождения социальных низов для созидательного труда, выработки условий для полного расцвета человеческой индивидуальности.

Вместе с П. Лавровым, С. Южаковым и Н. Кареевым Михайловский по праву числится одним из основателей этико-социологического направления в русской социологии — субъективной школы. Все представители этого направления сходились в признании ведущей роли субъекта социального и политического действия в прогрессивном общественном развитии, но расходились в вопросе о том, кого считать таковым субъектом — отдельную личность или в целом народ. В основном сторонники русской социологической субъективной школы разделяли радикальные настроения, в соответствии с которыми в стране должна была быть разрушена система самодержавно-православных смыслов и ценностей и построена система ценностей либерально-демократического свойства. Естественно, что такого рода идеология своим прямым продолжением имела радикальные настроения в среде молодых народников, реализовавших ее в начале 70-х годов в движении «хождение в народ»¹.

¹ Одним из первых это явление, как мы помним, проанализировал

Подталкивание народа к разным формам протеста, призывы к социальной справедливости, мести имущим классам вплоть до физического устранения его представителей (вспомним слова Д. Каракозова при аресте), теоретические доводы в пользу социальной активности и солидарности в борьбе — все это входило в катехизис субъективной школы русской социологии.

Разрабатывая социологию, Михайловский прежде всего вскрывает те объективные трудности появления общественной науки, которые, на его взгляд, имеют место. Прежде всего это объективная сложность явлений общественной жизни и неизбежное при их анализе вмешательство субъективного фактора. По его мнению, человеческое сознание испытывает множественные нагрузки. Оно детерминировано унаследованным опытом, содержащим культуру, обычаи, традиционную идеологию; оно зависит от личного опыта, представленного системой индивидуальных переживаний и оценок; оно, наконец, корректируется так называемым сочувственным опытом, включающим способности человека как бы почувствовать жизнь другого, посмотреть на мир чужими глазами. Условием достоверности получаемых в результате исследования мнений является, таким образом, тщательная проверка их эмпирического содержания и отыскание их источников¹. Мнение, которое можно полагать предвзятым, становится таковым в случае, когда при его возникновении бессознательный или сознательный прошлый опыт оказывается чрезмерно влиятельным. Препятствием же этому является предшествующая умственная работа субъекта, а также его достаточно высокий нравственный уровень. То есть, выступая вслед за Г. Спенсером с позитивистских позиций, Н. Михайловский тем не менее не игнорировал психологическую сторону общественной жизни, равно как и индивидуальное человеческое начало, в чем следовал за П. Лавровым. В этой связи он недвусмысленно формулировал: «...исключительное употребление в социологии метода объективного равнялось бы, если бы оно было возможно, складыванию аршин с пудами, из чего, между прочим, следует не то, что объективный метод должен быть совершенно удален из этой

И.С. Тургенев в романе «Новь» (1876), хотя его приближение уже ощущал И.А. Гончаров в романе «Обрыв» (1869).

¹ См.: Михайловский Н.Г. Герои и толпа. Избранные труды по социологии: В 2 т. СПб.: Алетейя, 1998. Т. 1. С. 132.

области исследований, а только то, что высший контроль должен здесь принадлежать субъективному методу.

...Прогресс есть постепенное приближение к целостности неделимых, к возможно полному и всестороннему разделению труда между органами и возможно меньшему разделению труда между людьми. Безнравственно, несправедливо, вредно, неразумно все, что задерживает это движение. Нравственно, справедливо, разумно и полезно только то, что уменьшает разнородность общества, усиливая тем самым разнородность его отдельных членов»¹. За этими витиеватыми словами стоят довольно простые идеи о том, что общество должно быть устроено справедливо, а составляющие его индивиды — иметь возможность всестороннего развития своих сил и способностей, как намного яснее это уже сформулировал К. Маркс, в частности, в «Экономико-философских рукописях 1844 года». Впрочем, с марксизмом, представленным в это время в России Г.В. Плехановым, у Михайловского были серьезные расхождения.



* * *

Еще одним представителем материалистическо-позитивистской линии в русской философии, начавшим публиковаться в конце рассматриваемого периода 40—60-х годов, был видный философ, публицист и революционер **Петр Никитич Ткачев (1844—1885)**. Как и Лавров, выходец из дворянской семьи Псковской губернии, он поступил в Петербургский университет. Однако учиться ему не довелось. Начались студенческие вол-

нения, и Ткачев как один из активных участников был арестован и заключен в Петропавловскую, а затем в Кронштадтскую крепость. В середине — второй половине 60-х годов он входит в революционные организации Ишутина — Худякова, а затем Лопатина — Волховского, члены которых под видом странствующих учителей занимались пропагандой среди крестьянства революционных идей. Позднее вместе с Нечаевым Ткачев входил

¹ Там же. С. 138—139.

в комитет студенческого движения в Петербурге, был арестован и четыре года провел в тюрьме. Будучи сослан в 1873 году в ссылку, бежал за границу и с 1875 года в Женеве издает журнал «Набат», ставший в народничестве органом радикально-экстремистского направления.

Среди тем, имеющих отношение к рассматриваемой проблематике в период до конца 60-х годов, можно указать лишь на большую статью П. Ткачева «Что такое партия прогресса (по поводу «Исторических писем» П.Л. Миртова¹. 1870)?». При всей общности общедемократических оснований, на которых строят свои рассуждения Лавров и Ткачев, главное возражение Ткачева автору «Исторических писем» состоит в том, что для него прогресс — субъективное понятие. «Для автора, — пишет Ткачев, — понятие прогресса — к какой бы области знаний оно ни применялось — имеет чисто формальный характер; человек наполняет эту категорию каким-нибудь субъективным понятием, каким-нибудь собственным, самим им созданным идеалом, и вот этот-то идеал, это-то субъективное понятие и есть для него критерий прогресса. ...В одно и то же время одно и то же явление может быть двумя людьми с одинаковым правом рассматриваемо и как симптом прогресса, и как симптом регресса. Все зависит от точки зрения, от того субъективного идеала, который они делают критерием прогресса»². И этот «произвол субъективности» имеет место в отношении явлений как природы, так и общества. С этим Ткачев категорически не согласен. Ведь если не может быть объективного критерия прогресса для истории, то не может быть и объективного критерия для истины. Однако человечество никогда не откажется от признания того, что для истины, равно как и для прогресса, критерии всегда есть. Это — очевидность, то есть «нечто такое, что каждый субъект, — каковы бы ни были вообще его личные воззрения, — считает для себя безусловно убедительным, т.е. истинным. Общность нашей физической, а следовательно, и психической природы делает возможным существование таких *нечто*. Эти-то *нечто* мы имеем право считать истинными *сами по себе* потому, что они истинны не для одного меня или вас, а для всех людей вообще»³.

Применительно к общественному развитию таким, каким оно, по мнению Ткачева, должно быть, эти «*нечто*» означают,

¹ Псевдоним П.Л. Лаврова.

² Ткачев П.Н. Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1957. Т. 1. С. 467.

³ Там же. С. 470.

что «общество только тогда *вполне* может достигнуть своей задачи, когда оно: во-первых, объединит жизненные цели всех своих членов, т.е. поставит их в совершенно одинаковые условия воспитания и дальнейшей деятельности, сведет к одному общему знаменателю, к одной общей степени все хаотическое разнообразие индивидуальностей, выработавшееся путем регрессивного исторического движения; во-вторых, приведет в гармонию средства с потребностями, т.е. будет развивать в своих членах только те потребности, которые могут быть удовлетворены данной производительностью труда или которые могут непосредственно увеличить эту производительность или уменьшить трату на поддержание и развитие индивидуальности; в-третьих, всем потребностям каждого будет в равной мере гарантирована возможная степень ...удовлетворения. Осуществить все эти три условия в возможно полной степени — вот конечная цель общества, и цель совершенно объективная, вытекающая из самой сущности человеческого общежития. Человеческое общежитие не может иметь другой задачи, как способствовать осуществлению жизненных целей образующих его индивидов. Жизненная цель каждого индивида состоит в сохранении и поддержании своей индивидуальности. Когда все члены общества стоят на одинаковой ступени развития человеческой индивидуальности, тогда их жизненные цели одинаковы, они находятся в полной гармонии с общественной целью. Где нет этой гармонии, где общество не иначе может осуществить цель одних, как обидев других, где разнообразие индивидуальностей порождает разнообразие и противоречие индивидуальных целей, там осуществление обществом его задачи логически немыслимо.

...Итак, установление возможно полного равенства индивидуальностей ...и приведение потребностей всех и каждого в полную гармонию со средствами к их удовлетворению — такова конечная, единственно возможная цель человеческого общества, таков верховный критерий исторического социального прогресса. Все, что приближает общество к этой цели, то прогрессивно; все, что удаляет, то регрессивно»¹.

Между тем, как справедливо указывали в своей вводной статье к сочинениям П.Н. Ткачева В.Ф. Пустарнаков и Б.М. Шахматов, социология Ткачева, несмотря на содержащуюся в ней тенденцию к объективизму, не выходит за рамки субъ-

¹ Там же. С. 507—508.

ективистской в своей основе народнической социологии. Что же касается спора между Ткачевым и Лавровым, то это скорее не спор, а столкновение «"видовых" концепций внутри одной "родовой" народнической социологии». И даже то, что Ткачев на словах апеллирует к Марксу, к его материалистическому пониманию истории, не предохраняет народника от субъективистского подхода к пониманию общественного развития. В предисловии к «К критике политической экономии» К. Маркса необходимыми компонентами материалистического понимания истории называются способ производства, диалектика производительных сил и производственных отношений, диалектика экономического базиса, политической и юридической надстройки и форм общественного сознания. У Ткачева же экономическая структура влияет лишь на формирование осознанного личного интереса, личных «расчетов и соображений».

II.

**ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
И ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ
40—60-х ГОДОВ XIX СТОЛЕТИЯ
И ПРОБЛЕМАТИКА РУССКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ**

Глава 3

А.И. ГЕРЦЕН: РАЗМЫШЛЕНИЯ О РУССКОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ И ДВОРЯНСКИХ РЕВОЛЮЦИОНЕРАХ В РОМАНЕ «БЫЛОЕ И ДУМЫ»

Пятьдесят глав «Былого и дум», писавшихся одним из выдающихся мыслителей XIX столетия А.И. Герценом в течение шестнадцати лет, с 1852 по 1868 год, в контексте поставленных в проекте «Русское мировоззрение» задач вызывают закономерный интерес. Во-первых, как глубокое и авторитетное личное свидетельство о русской жизни и общественной атмосфере тех лет, когда Герцен находился в России. Такого рода знание позволяет лучше ориентироваться при размышлении о содержании и путях развития русского мировоззрения. Во-вторых, в плане формулирования автором ряда базовых черт и особенностей русского мировоззрения, заинтересованно увиденных и намеренно выделенных им из действительности. И наконец, в-третьих, с точки зрения исследования процесса развития сознания самого автора — формирования и эволюции значимых для него смыслов и ценностей, в том числе обнаруживающих себя в контексте темы дворянских революционеров и «новых людей». А поскольку эта проблема специально в известной мне литературе не рассматривается, то ценным в отношении ее является любое авторитетное свидетельство. В данном случае я хотел бы привести мысль известного философа и социолога второй половины XIX столетия К.Н. Леонтьева, в частности восхитавшегося «аристократической позицией» Герцена, которого «ужаснула ...прозаическая перспектива сведения всех людей к типу европейского буржуа и честного труженика. ...Герцен был настолько смел и благороден, что этой своей аристократической брезгливости не скрывал. И за это честь ему и слава»¹. Думаю, что не менее Герцена должна была пугать (и, по всей видимости, пугала) перспектива «выведения», создания «новых людей», что

¹ Леонтьев К. Собр. соч.: В 9 т. М., 1912. Т. 6. С. 28—29.

стало одной из задач революционных демократов, поставленных самим себе. При этом, если идея описания европейского буржуа как нового человеческого типа вполне соотносится с реальной историей Англии, Германии и Франции, о чем Герцен пишет преимущественно во второй части своего автобиографического романа, то есть вытекает из анализа естественно возникающего на европейской сцене нового, капиталистического социального типа, то с идеей «честного труженика» в его российской версии все обстоит по-другому.

«Честный труженик», он же в транскрипции русских революционных демократов и включившегося в эту логику исследования Ф.М. Достоевского, — причина появления «нового человека» на российской общественной сцене. Этот социальный тип культивируется и имплантируется в реальную действительность искусственно, в результате специальных усилий, а именно философских и литературных изысков тех, кто поставил целью создать в российском общественном сознании так называемых революционных демократов. Исторически же, реально он возникает в России из кругов так называемых разночинцев — нового социального слоя, возникшего еще в петровские времена. По определению В. Даля, разночинец — это «человек неподатного состояния, но без личного дворянства и не приписанный ни к гильдии, ни к цеху»¹. Первоначально в него входили нижние придворные чины — конюхи, повара, садовники, отставные нижние воинские и статские чины, в том числе отслужившие солдаты и канцеляристы. Слой пополнялся за счет обедневших дворян, мещан, купцов, духовенства. К 60-м годам XIX столетия разночинцы были освобождены от подушной подати и рекрутской повинности. Будучи лично независимыми, разночинцы могли получить образование, но не могли заниматься торговлей, ремеслами, владеть землей и крестьянами. Для них была открыта лишь государственная служба. Позднее в слой разночинцев влились журналисты, лекари, репетиторы.

Таким образом, в середине XIX столетия русские разночинцы никак не походили на вариант европейского «третьего сословия», состоявшего в значительной степени из торгового и ремесленного люда. То есть, если в Европе «третье сословие» составляли люди, занятые делом, то в России оно было представлено

¹ *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. 4. С. 41.

прежде всего «пролетариями умственного труда», в том числе мелким чиновничеством, массой разнообразного канцелярского народца, от которого зависела работоспособность огромной бюрократической машины Российской империи, главной своей целью имевшей удержание гигантской территории. Ничего не имея против этой нужной обществу касты управленцев низового звена, тем не менее следует отметить, что их положение в жизни от европейского третьего сословия отличалось тем, что они производительной силой не были, а были силой, способствующей управлению, то есть заведомо элементом не основным, а вторичным, вспомогательным.

Будучи порождением одной из функций государственного управления, слой этот, естественно, также не имел никакой сколько-нибудь длительной собственной истории, никаких собственных, только ему присущих исторических корней. Возникла функция — возник и слой, исчезла функция или ее часть — исчез и слой или его часть. Само собой, слой этот не был преемником и продолжателем ни крестьянской, ни помещичьей, ни дворянской культуры. (В то время как купцы были продолжением и известной специализацией производителей — крестьян и ремесленников, а ремесленники, в известной части, — продолжением и специализацией домашних промыслов тех же крестьян.)

С культурой вообще по большому счету разночинный слой соотносился так, как соотносятся между собой мера веса и мера длины. Культура для него, часто вопреки образованию, не представляла ценности. Это, конечно, не значило, что отдельные выходцы из разночинных слоев никак к ней не приобщались, в том числе не становились деятелями культуры. Однако для них это была тоже своего рода функция тех задач, которые они перед собой ставили: если задача требовала отношения к культуре, то таковое (отношение) производилось, а поскольку для большинства разночинцев 60-х годов это отношение укладывалось в термин «нигилизм», то именно отрицательное отношение к дворянской культуре и было главным содержанием «культуры» разночинцев.

О незрелом (в смысле развиваемом с нуля) разночинском нигилизме в этой связи точно писал, например, Писарев: «Эта незрелость составляет существующий факт, но в существовании этого факта не виноваты наши писатели. Все мы воспитывались в душевной среде, в узких понятиях, под влиянием мертвящих

предрассудков; все мы, становясь на свои ноги, принуждены были развить свою связь с нашим прошлым, переделывать сверху донизу весь строй наших понятий, выкуривать из нашего мозга ту нелепую демонологию, которая заменяла нам в детстве трезвые понятия о мире, о природе и человеке»¹. (В содержание этой «демонологии», требовавшей коренного переосмысления с точки зрения основной массы разночинцев, от лица которых в данном случае говорит Писарев, естественно, включалась дворянская культура.) Все сказанное о «новом человеке» в полной мере относится и к рассматриваемой далее оппозиции: «дворянские революционеры» — «новые люди — революционные демократы». В их отношении к действительности есть много существенных различий. Однако в этом перечне нужно выделить коренные, связанные с их конечными целями. Если для «новых людей — революционных демократов» таковой, несомненно, была революция, чем дальше, тем больше понимаемая как великая очистительная катастрофа, уничтожающая «старое» общество, то есть делающая легитимным и единственно возможным появление «нового человека» как «человека ниоткуда», то «дворянским революционерам», к которым, без сомнения, вопреки ленинским манипуляциям принадлежал и А.И. Герцен, ситуация виделась намного сложнее. Проблема формирования политической воли новых революционных слоев российского общества (неважно, о ком шла речь — об артельном крестьянстве или о пролетариате) Герценом, в особенности в последний период жизни, рассматривалась как проблема, связанная с миром культуры, умственным и нравственным развитием общества. Если окультуривания народа не происходит, полагал Искандер, то в случае революции народы, «ринутые в движение ...неотразимо увлекают с собой или давят все, что попало на дороге, хотя бы оно было и хорошо»².

В контексте обсуждения темы «дворянские революционеры» — «новые люди — революционные демократы» по отношению к первым часто всплывает аналогия: они-де — «лишние люди» или их потомки. Очевидно, рассчитывая задеть «благородных» — «лишних людей», и Герцена в том числе, Н. Добролюбов в статье «Благонамеренность и деятельность» писал: «Нам пришло в голову: что, если бы Костина (героя од-

¹ Писарев Д.И. Соч.: В 6 т. СПб., 1894. Т. I. С. 292.

² Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954—1965. Т. 6. С. 81.

ного из рассказов Плещеева, «благонамеренного юношу») поселить в Англии, не давши ему, разумеется, годового содержания, что бы он стал там делать? На что бы годился?.. По всей вероятности, и там умер бы с голоду, если бы не нашел случая давать уроки русского языка... Да там о нем не пожалели бы, потому что людей, одаренных благонамеренностью, но не запасшихся характером и средствами для осуществления своих благих намерений, там давно уже перестали ценить»¹. Герцен не мог не реагировать на столь грубый утилитаризм. Для него, как отмечает Н. Эйдельман, «лишние люди» — это и декабристы, и Пушкин, и Рылеев, и Якушкин, и Пущин. В николаевское время аристократия и канцеляристы перемешались, — «канцелярия и казарма мало-помалу победили гостиную и общество». Против этого как раз и восстали «лишние люди», романтики и аристократы, не умевшие, за что их корят, взяться за топор и за шило. Верно, «Чаадаев ...не умел взяться за топор, но умел написать статью, которая потрясла Россию и провела черту в нашем развитии... Чаадаева *высочайшей ложью* объявили сумасшедшим и взяли с него подписку не писать... Чаадаев сделался праздным человеком.

Иван Киреевский, положим, не умел сапог шить, но умел издавать журнал: издал две книжки — запретили журнал... Киреевский сделался лишним человеком... Заслуживают ли они симпатии или нет, это пусть себе решает каждый как хочет. Всякое человеческое страдание, особенно фаталистическое, возбуждает наше сочувствие, и нет ни одного страдания, которому нельзя было не отказать в нем»². Об этом Искандер также много размышляет и в романе «Былое и думы».

Возникающая первоначально в процессе исследования автобиографического романа трудность — как выделять и анализировать типичное в индивидуальной рефлексии и единичном восприятии, притом что автор не ставил перед собой конкретной цели — в художественной форме обобщать типичное, — постепенно «снимается» сама собой. Текст показывает, что равное внимание Герцен уделяет как собственной персоне, что естественно для автобиографического произведения, так и иной задаче — в процессе рассмотрения общественных явлений выявить и обобщить типичные черты ряда социальных слоев. При

¹ Добролюбов Н.А. Полн. собр. соч.: В 6 т. М.; Л., 1934—1939. Т. 2. С. 243.

² Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954—1965. Т. 14. С. 321—326.

этом череда поколений, попадающих в авторское поле зрения, довольно значительна: от принадлежащих уже «тому свету» представителей отживших исторических классов до молодых революционеров России и Европы. И все это — через глубокие личные размышления и переживания.

В этой связи, касаясь вопроса о «жанре» своего произведения в письме к И.С. Тургеневу от 25 декабря 1856 года, А.И. Герцен констатирует: в моем романе «и факты, и слезы, и хохот, и теория»¹. В силу этого, как справедливо отмечал известный литературовед В.А. Туниманов, ««Былое и думы» — книга для всех и на все времена, неисчерпаемый источник для писателей, политиков, философов, историков, педагогов, социологов, критиков, лингвистов»².

Не претендуя на полноту охвата всего спектра представленных в автобиографическом романе философских тем, остановлюсь на наиболее значимых, на мой взгляд, которые к тому же согласуются с сюжетами, поднятыми в исследовании «Русское мировоззрение» ранее, или с теми, которые впервые намечены к рассмотрению в данной работе.

* * *

Дальнейший разговор о «новом человеке» и о возможности его появления — либо как результата постепенных реформ, либо как итога революционного переворота и столь же революционных преобразований — для содержательного ведения требует понимания общего для времени 40—50-х годов смыслового фона. Эту задачу, как уже было отмечено, в известной степени и решает автобиографический роман, дающий нам представления не только о событиях, но и об их ценностно-культурном фоне. Так, уже во второй главе романа Герцен обращается к одной из самых популярных в России и широко обсуждавшейся в кругах «высшего света» теме «глубокого разврата слуг». При этом он сразу же ставит ее в плоскость более широкого философского обсуждения — о возможности и пределах нравственности человека, живущего в условиях личной несвободы, в российских условиях крепостного права. Согласно авторской трактовке противоположное для человека несвободное состояние — корень всех возможных отклонений от нравственных императивов, которые

¹ Герцен А.И. Цит. соч. Т. 8. С. 444.

² Туниманов В.А. А.И. Герцен и русская общественно-литературная мысль XIX в. СПб.: Наука, 1994. С. 111.

могут быть субъекту предъявлены. «Много толкуют у нас о глубоко разврате слуг, особенно крепостных. Они действительно не отличаются примерной строгостью поведения, нравственное падение их видно уже из того, что они слишком многое выносят, слишком редко возмущаются и дают отпор. Но не в этом дело. Я желал бы знать: которое сословие в России меньше их развращено? Неужели дворянство или чиновники? Быть может, духовенство?

Что же вы смеетесь?

Разве одни крестьяне найдут кой-какие права...

Разница между дворянами и дворовыми так же мала, как между их названиями. Я ненавижу... демагогическую лесть толпе, но аристократическую клевету на народ ненавижу еще больше. Представляя слуг и рабов распутными зверями, плантаторы отводят глаза другим и заглушают крики совести в себе. Мы редко лучше черни, но выражаемся мягче, ловчее скрываем эгоизм и страсти; наши желания не так грубы и не так явны от легости удовлетворения, от привычки не сдерживаться, мы просто богаче, сытее и вследствие этого взыскательнее»¹.

В своих наблюдениях относительно якобы «особой развращенности» крепостных-слуг Герцен солидарен со всеми русскими писателями, чье творчество рассматривалось. Вспомним оценки и замечания Пушкина, Гоголя, Тургенева, подробные рассказы и анализ Толстого и Гончарова, наблюдения Аксакова и Григоровича. Однако в отличие от перечисленных авторов Герцен обращается к предмету как философ — вводит сущностный и сравнительный (в масштабах нации) ракурс, тем более что, задумываясь о мировом процессе переустройства общественной жизни вообще, он сравнивает русские явления с виденным в Европе. И вот к каким выводам он, в частности, приходит: «Разврат в России вообще не глубок, он больше дик и сален, шумен и груб, растрепан и бесстыден, чем глубок. Духовенство, запершись дома, пьянствует и обжирается с купечеством. Дворянство пьянствует на белом свете, играет напропалую в карты, дерется с слугами, развратничает с горничными, ведет дурно свои дела и еще хуже семейную жизнь. Чиновники делают то же, но грязнее, да, сверх того, подличают перед на-

¹ Герцен А.И. Цит. соч. Т. 8. С. 36.

чальниками и воруют по мелочи. Дворяне, собственно, меньше воруют, они открыто берут чужое, впрочем, где случится, похулы на руку не кладут.

Все эти милые слабости встречаются в форме еще грубейшей у чиновников, стоящих за четырнадцатым классом, у дворян, принадлежащих не царю, а помещикам. Но чем они хуже других как сословие — я не знаю.

Перебирая воспоминания мои не только о дворовых нашего дома и Сенатора (один из старших братьев отца А.И. Герцена. — С.Н.), но о слугах двух-трех близких нам домов в продолжение двадцати пяти лет, я не помню ничего особенно порочного в их поведении. Разве придется говорить о небольших кражах... но тут понятия так сбиты положением, что трудно судить: *человек-собственность* не церемонится с своим товарищем и поступает запанибрата с барским добром. Справедливее следует исключить каких-нибудь временщиков, фаворитов и фавориток, барских барынь, наушников; но, во-первых, они составляют исключение, это — Клейнмихели конюшни, Бенкендорфы от погреба, Перекусихины в затрапезном платье, Помпадур на босую ногу; сверх того, они-то и ведут себя всех лучше, напиваются только ночью и платья своего не закладывают в питейный дом.

Простодушный разврат прочих вертится около стакана вина и бутылки пива, около веселой беседы и трубки, самовольных отлучек из дома, ссор, иногда доходящих до драк, плутней с господами, требующими от них нечеловеческого и невозможного. Разумеется, отсутствие, с одной стороны, всякого воспитания, с другой — крестьянской простоты при рабстве внесли бездну уродливого и искаженного в их нравы, но при всем этом они, как негры в Америке, остались полудетьми: безделица их тешит, безделица огорчает; желания их ограничены и скорее наивны и человечественны, чем порочны¹.

Вино и чай, кабак и трактир — две постоянные страсти русского слуги; для них он крадет, для них он беден, из-за них он выносит гонения, наказания и покидает семью в нищете. Ничего нет легче, как с высоты трезвого опьянения патера Метью² осуждать пьянство и, сидя за чайным столом, удивлять-

¹ Вспомним хотя бы о слуге Ильи Ильича Обломова Захаре, о его кражах мелочи с барского стола и неизменных походах в трактир и на завалинку, где он был центром компании таких же, как и он, слуг, но где его уважали как равного и он сам себя уважал.

² «Трезвым опьянением» Герцен иронически называет деятельность ирланд-

ся, для чего слуги ходят пить чай в трактир, а не пьют его дома, несмотря на то, что дома дешевле.

...Пить чай в трактире имеет другое значение для слуг. Дома ему чай не в чай; дома ему все напоминает, что он слуга; дома у него грязная людская, он должен сам поставить самовар; дома у него чашка с отбитой ручкой и всякую минуту барин может позвонить. В трактире он вольный человек, он господин, для него накрыт стол, зажжены лампы, для него несется с подносом половой, чашки блестят, чайник блестит, он приказывает — его слушают, он радуется и весело требует себе паюсной икры или расстегайчик к чаю»¹.

В анализе пьянства русского человека как не самого тяжелого, но отчетливо видного порока интересно сопоставить отношение к нему у Герцена и, например, у Толстого. Вспомним хотя бы дядю Ерошку из повести «Казачья», который первоначально сошелся с Олениным именно на той почве, что барин Дмитрий не отказывал старому станичнику в выпивке. Там нетрезвость Ерошки не вызывает ни у автора, ни у нас, читателей, отрицательной реакции. Мы просто не замечаем ее. Отчасти потому, что виноградное вино или водка не являются в тамошней местности необычным предметом или дорогим товаром. Они даже не товар, а один из элементов природной среды, которым естественно пользуются взрослые здоровые люди. Вино у казаков — часть вольной жизни, нормального самочувствия, своего рода полноты бытия. Вино не мешает людям быть человеческими, нравственными, добрыми, смелыми и честными. Надо конечно же отметить и то, что это вино пьют люди свободные, удалые, чувствующие свое достоинство и умеющие за себя постоять. В «Казаках» вино, достоинство и честь станичника, равно как и его конь и оружие, — вещи одного порядка.

Иное — в средней полосе России, в зоне несвободы, крепостного права. Здесь нет винограда, и «вином» зовется скверный алкоголь, самодельная — самогон или иным кустарным способом произведенная водка, годная только на то, чтобы человек смог «утопить» в вине свою печаль, одурманить себя, на время отрешиться от действительности. Здесь у «вина» иная общественная функция и человек, его употребляющий, не ждет от него хотя и временного, но более глубокого, чем обычно, ощущения сво-

ского священника Т. Матью, проповедовавшего неупотребление спиртного и занимавшегося с 1833 года организацией обществ трезвости. Там же. С. 499.

¹ Герцен А.И. Цит. соч. Т. 8. С. 36—38.

боды, полноты сил, радости. «Вино, — отмечает Герцен, — русского человека оглушает, дает ему возможность «забыться, искусственно веселит, раздражает; это оглушение и раздражение тем больше нравятся, чем меньше человек развит и чем больше сведен на узкую, пустую жизнь. Как же не пить слуге, осужденному на вечную переднюю, на всегдашнюю бедность, на рабство, на продажу? Он пьет через край — когда может, потому что не может пить всякий день; это заметил лет пятнадцать тому назад Сенковский в "Библиотеке для чтения". В Италии и южной Франции нет пьяниц, оттого что много вина. Дикое пьянство английского работника объясняется точно так же. Эти люди сломились в безвыходной и неровной борьбе с голодом и нищетой; как они ни бились, они везде встречали свинцовый свод и суровый отпор, отбрасывавший их на мрачное дно общественной жизни и осуждавший на вечную работу без цели, снедавшую ум вместе с телом. Что же тут удивительного, что, пробив шесть дней рычагом, колесом, пружиной, винтом, человек дико вырывается в субботу вечером из каторги мануфактурной деятельности и в полчаса напивается пьян, тем больше, что его изнурение не много может вынести»¹.

Еще одной темой, рассмотрение которой позволит лучше понимать дальнейшие рассуждения о дворянских революционерах, о реформаторском или революционном путях появления в российском социуме типа «нового человека», нужно выделить тему нравственности человека, облеченного властью. К ней Герцен в своем романе обращается неоднократно, в том числе и на примере личного опыта жизни в ссылке в Вятской губернии. И может быть, здесь одним из самых ярких примеров оказывается реальная фигура его тамошнего начальника — губернатора Тюфяева. Обратиться к этой персоне интересно также и в связи со сравнением нравственности господ и слуг. Особенность этой фигуры в высшем чиновном ранге Российского государства состоит, согласно Герцену, в том, что «власть губернатора вообще растет в прямом отношении расстояния от Петербурга, но она растет в геометрической прогрессии в губерниях, где нет дворянства, как в Перми, Вятке и Сибири...

Тюфяев был восточный сатрап, но только деятельный, беспокойный, во все мешавшийся, вечно занятый, Тюфяев был бы свирепым комиссаром Конвента в 94 году, — каким-нибудь Карье.

¹ Там же. С. 38.

Развратный по жизни, грубый по натуре, не терпящий никакого возражения, его влияние было чрезвычайно вредно. Он не брал взяток, хотя состояние себе-таки составил, как оказалось после смерти. Он был строг к подчиненным; без пощады преследовал тех, которые попадались, а чиновники крали больше, чем когда-нибудь. Он злоупотребление влияний довел донельзя; например, отправляя чиновника на следствие, разумеется, если он был заинтересован в деле, говорил ему: что, вероятно, откроется то-то и то-то, и горе было бы чиновнику, если б открылось что-нибудь другое»¹.

Эта типичная для российской власти фигура также интересна для исследования и потому, что в романе подробно представлен ее жизненный путь — подъем с самых низов до вершин исполнительной власти и, следовательно, оптимальное с точки зрения достижения поставленной цели (власти) ее поведение. «Тюфяев, — повествует Герцен, — родился в Тобольске. Отец его чуть ли не был сослан и принадлежал к беднейшим мещанам. Лет тринадцати молодой Тюфяев пристал к ватаге бродящих комедиантов, которые слоняются с ярмарки на ярмарку, пляшут на канате, кувыркаются колесом и проч. Он с ними дошел от Тобольска до польских губерний, потешая православный народ. Там его, не знаю почему, арестовали и, так как он был без вида, его, как бродягу, отправили пешком при партии арестантов в Тобольск. Его мать овдовела и жила в большой крайности, сын клал сам печку, когда она развалилась; надобно было приискать какое-нибудь ремесло; мальчику далась грамота, и он стал наниматься писцом в магистрате. Развязный от природы и изощривший свои способности многосторонним воспитанием в таборе акробатов и в пересыльных арестантских партиях, с которыми прошел с одного конца России до другого, он сделался лихим дельцом.

В начале царствования Александра в Тобольск приезжал какой-то ревизор. Ему нужны были деловые писаря, кто-то рекомендовал ему Тюфяева. Ревизор до того был доволен им, что предложил ему ехать с ним в Петербург. Тогда Тюфяев, у которого, по собственным словам, самолюбие не шло дальше места секретаря в уездном суде, иначе оценил себя и с железной волей решился сделать карьеру.

¹ Там же. С. 236—237.

И сделал ее. Через десять лет мы его уже видим неутомимым секретарем Канкрин, который тогда был генерал-интендантом. Еще год спустя он уже заведует одной экспедицией в канцелярии Аракчеева, заведовавшей всею Россией; он с графом был в Париже во время занятия его союзными войсками.

Тюфяев все время просидел безвыходно в походной канцелярии и *à la lettre* не видал ни одной улицы в Париже. День и ночь сидел он, составляя и переписывая бумаги с достойным товарищем своим Клейнмихелем.

Канцелярия Аракчеева была вроде тех медных рудников, куда работников посылают только на несколько месяцев, потому что если оставить долее, то они мрут. Устал наконец и Тюфяев на этой фабрике приказов и указов, распоряжений и учреждений и стал проситься на более спокойное место. Аракчеев не мог не полюбить такого человека, как Тюфяев: без высших притязаний, без развлечений, без мнений, человека формально честного, снедаемого честолюбием и ставящего повинование в первую добродетель людскую. Аракчеев наградил Тюфяева местом вице-губернатора. Спустя несколько лет он ему дал пермское воеводство. Губерния, по которой Тюфяев раз прошел по веревке и раз на веревке, лежала у его ног¹.

«Удушливая пустота и немота русской жизни», отмечает Герцен, оказываются благоприятной средой для бурного роста и процветания «тюфяевых» как человеческого чиновного типа. Герцен приводит несколько имевших место историй, которые во всей конкретности рисуют нравы и отношения губернской бюрократической среды. Ложь, лицемерие, подлость, ничем не ограниченная власть «первого лица» — столь же необходимые условия жизни, как наличие в атмосфере кислорода. Столкновение с сосланным под тюфяевское начало автора «Былого и дум» было неизбежно. И оно не заставило себя ждать. «...Приглашения Тюфяева на его жирные, сибирские обеды были для меня истинным наказанием. Столовая его была та же канцелярия, но в другой форме, менее грязной, но более пошлой, потому что она имела вид доброй воли, а не насилия.

Тюфяев знал своих гостей насквозь, презирал их, показывал им иногда когти и вообще обращался с ними в том роде, как хозяин обращается с своими собаками: то с излишней фамильярностью, то с грубостью, выходящей из всех пределов, — и все-

¹ Там же. С. 235—236.

таки он звал их на свои обеды, и они с трепетом и радостью являлись к нему, унижаясь, сплетничая, подслуживаясь, угождая, улыбаясь, кланяясь.

Я за них краснел и стыдился.

Дружба наша недолго продолжалась. Тюфяев скоро догадался, что я не гожусь в «высшее» вятское общество.

Через несколько месяцев он был мною недоволен, через несколько других он меня ненавидел, и я не только не ходил на его обеды, но вовсе перестал к нему ходить. Проезд наследника спас меня от его преследований, как мы увидим после.

Притом необходимо заметить, что я решительно ничего не сделал, чтоб заслужить сначала его внимание и приглашения, потом гнев и немилость. Он не мог вынести во мне человека, державшего себя независимо, но вовсе не дерзко; я был с ним всегда en règle¹, он требовал подобострастия.

Он ревниво любил свою власть, она ему досталась трудовой копеечкой, и он искал не только повиновения, но вида беспрекословной подчиненности. По несчастию, в этом он был национален.

Помещик говорит слуге: "Молчать! я не потерплю, чтоб ты мне отвечал!"

Начальник департамента замечает, бледнея, чиновнику, делающему возражение: "Вы забываетесь, знаете ли вы, с кем вы говорите?"

Государь "за мнения" посылает в Сибирь, за стихи морит в казематах — и все трое скорее готовы простить воровство и взятки, убийство и разбой, чем наглость человеческого достоинства и дерзость независимой речи.

Тюфяев был настоящий царский слуга, его оценили, но мало. В нем византийское рабство необыкновенно хорошо соединилось с канцелярским порядком. Уничтожение себя, отречение от воли и мысли перед властью шло неразрывно с суровым гнетом подчиненных. Он бы мог быть статский Клейнмихель, его «усердие» точно так же превозмогло бы все, и он точно так же штукатурил бы стены человеческими трупами, сушил бы дворец людскими легкими, а молодых людей инженерного корпуса сек бы еще больше за то, что они не доносчики.

У Тюфяева была живучая, затаенная ненависть ко всему аристократическому, ее он сохранил от горьких испытаний. Для

¹ Корректен (франц.).

Тюфяева каторжная канцелярия Аракчеева была первой гаванью, первым освобождением. Прежде начальники не предлагали ему стула, употребляли его на мелкие комиссии. Когда он служил по интендантской части, офицеры по-армейски преследовали его, и один полковник вытянул его на улице в Вильне хлыстом... Все это взошло и назрело в душе писаря; теперь, губернатором, его черед теснить, не давать стула, говорить ты, поднимать голос больше, чем нужно, а иной раз отдавать под суд столбовых дворян».

Создавая портрет одного из высших чиновников российского общества, Герцен не просто дает нам представление об одном из человеческих типов. В пермском губернаторе мы также видим своего рода «нового человека», разночинца, хотя и возвышающегося на иной ступени социальной лестницы. Он тоже, как и наши будущие знакомцы — герои Чернышевского, человек без культурной основы, без почвы, без корней. И, таким образом, в социуме начинает формироваться не только оппозиция «эксплуататоры — эксплуатируемые», но и более долговременная и глубокая: люди с культурной основой (дворянские революционеры и дворянские реформаторы в том числе) и люди без культурной основы (разночинцы и новая власть — «тюфяевы»). Думаю, что избираемые ими методы преобразования действительности были радикально отличны: первые отдавали предпочтение реформам, вторые видели исключительно революционный путь.

Образом Тюфяева Герцен вместе с тем задает границы и возможным представлениям об одном из характерных типов русского мировоззрения 40-х годов, описывает присущие ему смыслы и ценности. Конечно, нельзя полагать, что на основе этого материала у нас появляется непосредственная возможность продолжить содержательное рассмотрение сущностных характеристик того мировоззрения, которое начало формулироваться в результате рассмотрения художественной прозы и философских сюжетов. Но, согласимся, задаваемые автобиографическим романом рамки поиска, равно как их содержание, а также тональность и ценностная окраска описанных личных переживаний Герцена служат хорошими ориентирами и критериями для дальнейшего исследования.

* * *

В контексте уже обсуждавшегося ранее идеологического сюжета «Россия — Запад», в том числе и с обращением к его

философским аспектам, сфокусированным начиная со второй половины 30-х годов XIX столетия в славянофильстве и западничестве, интересны и связанные с этим сюжетом проблемы, по поводу которых размышляет автор «Былого и дум». Так, уже в начале романа он делает замечание о непосредственно наблюдаемой им домашней попытке «европейской прививки» к стилю русской жизни и хозяйствования. «Отец мой провел лет двенадцать за границей, брат его — еще дольше; они хотели устроить какую-то жизнь на иностранный манер без больших трат и с сохранением всех русских удобств. Жизнь не устраивалась, оттого ли, что они не умели сладить, оттого ли, что помещицья натура брала верх над иностранными привычками?»¹ Вспомним, что такого же рода попытки описывают в своих произведениях Тургенев, Гончаров, а позднее — может быть, всего полнее в сюжетах о Константине Левине — и Лев Толстой.

Попытки размышлять, а в отношении того, что заслуживало позитивной оценки, и перенимать, всегда были обычным делом в любой стране. Россия в этом отношении не представляет собой ни уникальный счастливый случай, ни типичный досадный пример. Это тем более естественно, что в нашей огромной стране, включающей десятки народов, климатических зон, способов хозяйствования и образов жизни, вести речь о каком-то одном или небольшом числе стандартов жизни и хозяйственной практики правители, слава Богу, додумывались очень редко. В этом контексте почему бы было не попробовать (или, как часто говаривали в то время, — «испробовать») и какой-нибудь доселе неизвестный способ или метод хозяйствования? Дело, однако, этим, как правило, не исчерпывалось. По разным поводам, но с неизменной горечью о преклонении перед иностранным просто за то, что оно иностранное, говорили, начиная с Фонвизина и Грибоедова, многие русские литераторы, в том числе и непосредственно обращавшиеся к проблематике русского мировоззрения.

Не обходит этой темы и Герцен. Он, например, пишет: «Мы до сих пор смотрим на европейцев и Европу в том роде, как провинциалы смотрят на столичных жителей, — с подобострастием и чувством собственной вины, принимая каждую разницу за недостаток, краснея своих особенностей, скрывая их, подчиняясь и подражая. Дело в том, что мы были застрашены и не оправи-

¹ Там же. С. 23.

лись от насмешек Петра I, от оскорблений Бирона, от высокомерия служебных немцев и воспитателей-французов. Западные люди толкуют о нашем двоедушии и лукавом коварстве; они принимают за желание обмануть — желание выказаться и похвастаться. У нас тот же человек готов наивно либеральничать с либералом, прикинуться легитимистом, и это без всяких задних мыслей, просто из учтивости и из кокетства; бугор de l'approbativité¹ сильно развит в нашем черепе.

"Князь Дмитрий Голицын, — сказал как-то лорд Дюрам, — настоящий виг, виг в душе".

Князь Д. В. Голицын был почтенный русский барин, но почему он был "виг", с чего он был "виг" — не понимаю. Будьте уверены: князь на старости лет хотел понравиться Дюраму и прикинулся вигом².

Наряду с заключениями о невинном намерении в общении прикинуться «просто из учтивости и из кокетства» Герцен был далек от присоединения к славянофильской анафеме европеизму. Более того. Он понимает истоки славянофильской реакции на действительность. «Славянизм, или русицизм, — пишет он, — не как теория, не как учение, а как оскорбленное народное чувство, как темное воспоминание и верный инстинкт, как противудействие исключительно иностранному влиянию существовал со времени обритуа первой бороды Петром I.

Противудействие петербургскому терроризму образования никогда не переменялось: казенное, четвертованное, повешенное на зубцах Кремля и там пристреленное Меншиковым и другими царскими потешниками, в виде буйных стрельцов, отравленное в равелине Петербургской крепости, в виде царевича Алексея, оно является, как партия Долгоруких при Петре II, как ненависть к немцам при Бироне, как Пугачев при Екатерине II, как сама Екатерина II, православная немка при прусском голштинце Петре III, как Елизавета, опиравшаяся на тогдашних славянофилов, чтоб сесть на престол (народ в Москве ждал, что при ее коронации избыют всех немцев).

Все раскольники — славянофилы.

Все белое и черное духовенство — славянофилы другого рода.

Солдаты, требовавшие смены Баркляя де Толля за его немецкую фамилию, были предшественники Хомякова и его друзей.

¹ Желание понравиться (франц.).

² Там же. С. 124.

Война 1812 года сильно развила чувство народного сознания и любви к родине, но патриотизм 1812 года не имел старообрядчески-славянского характера. Мы его видим в Карамзине и Пушкине, в самом императоре Александре. Практически он был выражением того инстинкта силы, который чувствуют все могучие народы, когда чужие их задевают; потом это было торжественное чувство победы, гордое сознание данного отпора. Но теория его была слаба; для того чтоб любить русскую историю, патриоты ее перекладывали на европейские нравы; они вообще переводили с французского на русский язык римско-греческий патриотизм и не шли далее стиха:

Pour un coeur bien né, que la patrie est chère!»

Славянофильство и западничество обоюдно стимулировали свое развитие. Так, славянофилы от историко-православных изысканий к политическим перешли не без участия западника Белинского, с которым они постоянно полемизировали. Еще более они активизировались после появления «Письма» Чаадаева. Произведение это, отмечает Герцен, «было своего рода последнее слово, рубеж. Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, — все равно, надобно было проснуться.

Что, кажется, значат два-три листа, помещенных в ежемесячном обозрении? А между тем такова сила речи сказанной, такова мощь слова в стране, молчащей и не привыкнущей к независимому говору, что «Письмо» Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию. Оно имело полное право на это. После "Горе от ума" не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление. Между ними — десятилетнее молчание, 14 декабря, виселицы, каторга, Николай. Петровский период переломился с двух концов. Пустое место, оставленное сильными людьми, сосланными в Сибирь, не замещалось. Мысль томилась, работала — но еще ни до чего не доходила. Говорить было опасно — да и нечего было сказать; вдруг тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала речи для того, чтоб спокойно сказать свое *lasciate ogni speranza*»¹.

* * *

¹ Оставьте всякую надежду (*итал.*). Там же. С. 139

Говоря об отечественной истории 40-х годов XIX столетия, о временах, в которые жил Герцен, нельзя обойти молчанием содержание мировоззрения декабристов, с которых эта эпоха начиналась. Именно их идеи ограничения самодержавия, конституции и правопорядка, отмены крепостного права позднее были трансформированы в идеи о свободе, демократии и правах человека. То, что эти идеи материализовались раньше не в России, а на Западе, — результат исторического развития, из которого, однако, вовсе не следует, что нечто, состоявшееся на Западе в более ранний период, уже по одной этой причине не должно рассматриваться как возможный закономерный этап развития русской истории. И то, что этот этап в России в конце концов все же состоялся, также нельзя считать продуктом слепого подражания. Люди, поддающиеся столь легковесному суждению, наряду с прочими ошибками непомерно высоко ставят роль внешних факторов и чрезмерно принижают роль факторов внутренних.

Вот почему нередко раздающиеся сегодня предостережения против «следования» западному пути, как правило, лишены не только рационального основания, но и своей собственной исторической основы. Ведь если бы мы вняли этому предостережению, то нам пришлось бы отказаться и от тех идеалов, за которые отдали свои жизни декабристы, и, напротив, признать, что то, что делало, в частности, русское правительство Николая I, было правильное и точное следование «исконно русскому пути». Ответить же разумно на вопрос, почему путь национальной изоляции и заведомого неприятия выработанных человечеством (в другой стране и другой нацией) фундаментальных и важных для общего человеческого развития смыслов и ценностей является негодным для России, нельзя.

Вот как об идеях свободы, демократии и прав человека пишет младший современник декабристов Герцен, когда говорит о себе и своих товарищах в те времена. «После декабристов все попытки основывать общества не удавались действительно; бедность сил, неясность целей указывали на необходимость другой работы — предварительной, внутренней. Все это так.

Но что же это была бы за молодежь, которая могла бы в ожидании теоретических решений спокойно смотреть на то, что делалось вокруг, на сотни поляков, гремевших цепями по владимирской дороге, на крепостное состояние, на солдат, засекаемых на Ходынском поле каким-нибудь генералом Дашкевичем, на

студентов-товарищей, пропадавших без вести. В нравственную очистку поколения, в залог будущего они должны были негодовать до безумных опытов, до презрения опасности. Свирепые наказания мальчиков 16—17 лет служили грозным уроком и своего рода закалом; занесенная над каждым звериная лапа, шедшая от груди, лишенной сердца, вперед отводила розовые надежды на снисхождение к молодости. Шутить либерализмом было опасно, играть в заговоры не могло прийти в голову. За одну дурно скрытую слезу о Польше, за одно смело сказанное слово — годы ссылки, белого ремня, а иногда и каземат; потому-то и важно, что слова эти говорились и что слезы эти лились. Гибли молодые люди иной раз, но они гибли, не только не мешая работе мысли, разъяснявшей себе сфинксовую задачу русской жизни, но оправдывая ее упования¹.

Прервем цитирование, для того чтобы указать на важный для дальнейшего рассмотрения вопрос о «новых людях» как движущей силе революции и о реформе как альтернативном способе развития. Не вызывает сомнения, что предпринятая в советский период трактовка, в соответствии с которой вся история борьбы против царизма была сведена к одной лишь силе — революционным демократам — и при которой начисто элиминировался не менее эффективный в долгосрочной перспективе путь дворянского революционного реформизма, трактовка эта хоть и на время удалась, но теперь себя изжила. «Новые люди» хоть и появились, но жили не в пустыне и среди «старых» людей, носителей и продолжателей национальной культуры.

И далее у Герцена: «Черед был теперь за нами. Имена наши уже были занесены в списки тайной полиции. Первая игра голубой кошки с мышью началась так. Когда приговоренных молодых людей отправляли по этапам, пешком, без достаточно теплой одежды, в Оренбург, Огарев в нашем кругу и И. Киреевский в своем сделали подписки. Все приговоренные были без денег, Киреевский привез собранные деньги коменданту Стаалю, добрейшему старику, о котором нам придется еще говорить. Стааль обещался деньги отдать и спросил Киреевского:

- А это что за бумаги?
- Имена подписавшихся, — сказал Киреевский, — и счет.
- Вы верите, что я деньги отдам? — спросил старик.
- Об этом нечего говорить.

¹ Там же. С. 144—145.

— А я думаю, что те, которые вам их вручили, верят вам. а потому на что ж *нам беречь их имена*. — С этими словами Стааль список бросил в огонь и, само собою разумеется, поступил превосходно»¹.

Обратим внимание на любопытный и в иных формах, но, что важно, повторяющийся и позднее пример, когда власть имущие и потенциально «власть меняющие» оказываются по одну сторону баррикады, вступают в своего рода нравственный сговор. Какова могла быть основа этого «союза»? Что стояло за явным потворством власти ее врагам? Очевидно, у обеих сторон было общее понимание необходимости перемен, и если даже не было единства в понимании средств изменения положения вещей, о чем, кстати, речь между ними не велась, да и не могла вестись, то все же было нечто общее, обеспечивающее взаимное доверие и, как следствие, помощь. Этим общим для коменданта и Киреевского было, без сомнения, единство их собственной дворянской истории, присущего ей и одинаково разделяемого набора идеалов и ценностей, общей памяти, наконец. Обе стороны понимали, что их общей целью является поиск общего блага, осуществляемый ненасильственно, путем согласия и реформ. Возможным, наконец, это было потому, что в словосочетании «дворянский революционер» акцент делался на первом слове, что было бы невозможно в словосочетании «революционер разночинный». К тому же не последним скрепляющим этот союз моментом было и то, что обе стороны ощущали за своей спиной дыхание нового народившегося варвара — революционных разночинцев и «тюфяевых».

Продолжим цитирование романа. «Огарев сам сvez деньги в казармы, и это сошло с рук. Но молодые люди вздумали поблагодарить из Оренбурга товарищей и, пользуясь случаем, что какой-то чиновник ехал в Москву, попросили его взять письмо, которое поверить почте боялись. Чиновник не преминул воспользоваться таким редким случаем для засвидетельствования всей ярости своих верноподданнических чувств и представил письмо жандармскому окружному генералу в Москве.

Тогда на месте А.А. Волкова, сошедшего с ума на том, что поляки хотят ему поднести польскую корону (что за ирония — свести с ума жандармского генерала на короне Ягеллонов!), был Лесовский. Лесовский, сам поляк, был не злой и не дурной че-

¹ Там же. С. 145.

ловек; расстроив свое именье игрой и какой-то французской актрисой, он философски предпочел место жандармского генерала в Москве месту в яме того же города.

Лесовский призвал Огарева, К<етчера>, С<атина>, Вадима, И. Оболенского и прочих и обвинил их за сношения с государственными преступниками. На замечание Огарева, что он ни к кому не писал, а что если кто к нему писал, то за это он отвечать не может, к тому же до него никакого письма и не доходило, Лесовский отвечал:

— Вы делали для них подписку, это еще хуже. На первый раз государь так милосерд, что он вас прощает, только, господа, предупреждаю вас, за вами будет строгий надзор, будьте осторожны.

Лесовский осмотрел всех значительным взглядом и, остановившись на К<етчере>, который был всех выше, постарше и так грозно поднимал брови, прибавил:

— Вам-то, милостивый государь, в вашем звании как не стыдно?

Можно было думать, что К<етчер> был тогда вице-канцлером российских орденов, а он занимал только должность уездного лекаря.

Я не был призван, вероятно, моего имени в письме не было.

Угроза эта была чином, посвящением, мощными шпорами. Совет Лесовского попал маслом в огонь, и мы, как бы облегчая будущий надзор полиции, надели на себя бархатные береты à la Karl Sand и повязали на шею одинакие *трехцветные шарфы!*

Полковник Шубинский, тихо и мягко, бархатной ступней подбиравшийся на место Лесовского, цепко ухватился за его слабость с нами, мы должны были послужить одной из ступенек его повышения по службе — и послужили.

Но прежде прибавлю несколько слов о судьбе Сунгурова и его товарищей.

Кольрейфа Николай возвратил через десять лет из Оренбурга, где стоял его полк. Он его простил за чахотку так, как за чахотку произвел Полежаева в офицеры, а Бестужеву дал крест за смерть. Кольрейф возвратился в Москву и потух на старых руках убитого горем отца.

Костенецкий отличался рядовым на Кавказе и был произведен в офицеры, Антонович тоже.

Судьба несчастного Сунгурова несравненно страшнее. Пришедши в первый этап на Воробьевых горах, Сунгуров попросил у офицера позволения выйти на воздух из душной избы,

битком набитой ссыльными. Офицер, молодой человек лет двадцати, вышел сам с ним на дорогу. Сунгуров, избрав удобную минуту, свернул с дороги и исчез. Вероятно, он очень хорошо знал местность, ему удалось уйти от офицера, но на другой день жандармы попали на его след.

Когда Сунгуров увидел, что ему нельзя спастись, он перерезал себе горло. Жандармы привезли его в Москву без памяти и исходящего кровью.

Несчастный офицер был разжалован в солдаты.

Сунгуров не умер. Его снова судили, но уже не как политического преступника, а как беглого поселщика: ему обрили полголовы. Мера оригинальная и, вероятно, унаследованная от татар, употребляемая в предупреждение побегов и показывающая, больше телесных наказаний, всю меру презрения к человеческому достоинству со стороны русского законодательства.

К этому внешнему сраму сентенция прибавила один удар плетью в стенах острога. Было ли это исполнено, не знаю. После этого Сунгуров был отправлен в Нерчинск в рудники.

Имя его еще раз прозвучало для меня и потом совсем исчезло.

В Вятке встретил я раз на улице молодого лекаря, товарища по университету, ехавшего куда-то на заводы. Мы разговорились о былых временах, об общих знакомых.

— Боже мой, — сказал лекарь, — знаете ли, кого я видел, ехавши сюда? В Нижегородской губернии сажу я на почтовой станции и жду лошадей. Погода была прескверная. Взошел этапный офицер, приведший партию арестантов пообогреться. Мы с ним разговорились; услышав, что я лекарь, он попросил меня дойти до этапа взглянуть на одного больного из пересыльных, притворяется, что ли, он или вправду крепко болен. Я пошел, разумеется, с намерением во всяком случае подтвердить болезнь колодника. В небольшом этапе было человек восемьдесят народу в цепях, бритых и небритых, женщин, детей; все они расступились перед офицером, и мы увидели на грязном полу, в углу, на соломе какую-то фигуру, завернутую в кафтан ссыльного.

— Вот больной, — сказал офицер.

Лгать мне не пришлось: несчастный был в сильнейшей горячке; исхудалый и изнеможенный от тюрьмы и дороги, полубритый и с бородой, он был страшен, бессмысленно водил глазами и беспрестанно просил пить.

— Что, брат, плохо? — сказал я больному и прибавил офицеру: — Идти ему невозможно.

Больной уставил на меня глаза и пробормотал: "Это вы?" Он назвал меня.

"Вы меня не узнаете", — прибавил он голосом, который ножом провел по сердцу.

— Извините меня, — сказал я ему, взяв его сухую и каленую руку, — не могу припомнить.

— Я — Сунгуров, — отвечал он.

— Бедный Сунгуров! — повторил лекарь, качая головой.

— Что же, его оставили? — спросил я.

— Нет, однако дали телегу.

После того, как я писал это, я узнал, что Сунгуров умер в Нерчинске. Именье его, состоявшее из двухсот пятидесяти душ в Бронницком уезде под Москвой и в Арзамасском, Нижегородской губернии, в четыреста душ, *пошло на уплату за содержание его и его товарищей в тюрьме в продолжение следствия*. Семью его разорили, впрочем, сперва позаботились и о том, чтоб ее уменьшить: *жена Сунгурова была схвачена с двумя детьми и месяцев шесть прожила в Пречистенской части; грудной ребенок там и умер. Да будет проклято царствование Николая во веки веков, аминь!*¹

Николаевское время было тягостно для дворянских революционеров не только своими ужасами, но и противоречием между должным, о котором в процессе образования человек получал представление, и сущим, о котором ему не уставали твердить родные и к которому его постепенно приучала реальная жизнь. Герцен называет это противоречиями «слов учения и былями жизни». К тому же, зная жизнь в Европе, он утверждает, что противоречие это «между воспитанием и нравами нигде не доходило до таких размеров, как в дворянской Руси». Правда, «число воспитывающихся у нас всегда было чрезвычайно мало; но те, которые воспитывались, получали — не то чтоб объемистое воспитание — но довольно общее и гуманное; оно очеловечивало учеников всякий раз, когда принималось. Но человека-то именно и не нужно было ни для иерархической пирамиды, ни для преуспевания помещичьего быта. Приходилось или снова расчеловечиться — так толпа и делала, — или приостановиться и спросить себя: «Да нужно ли непременно служить? Хорошо ли действительно быть помещиком?» Засим для одних, более слабых и нетерпеливых, начиналось праздное

¹ Там же. С. 145—148.

существование корнета в отставке, деревенской лени, халата, странностей, карт, вина; для других — время искуса и внутренней работы. Жить в полном нравственном разладе они не могли, не могли также удовлетвориться отрицательным устранением себя; возбужденная мысль требовала выхода. Разное разрешение вопросов, одинаково мучивших молодое поколение, обусловило распаденье на разные круги¹. Люди делились, появлялись и те, которые вставали на защиту существующего порядка вещей.

Но кроме откровенных защитников царизма, с которыми спорит Герцен, ему приходилось сталкиваться и с интеллигентами, завсегдатаями столичных салонов, прикрывавшихся лозунгом «Самодержавие, православие, народность»². Так, он описывает один из таких споров, возникших в связи с обсуждением письма Чаадаева. Примечательно, что нападающий на Чаадаева не названный в романе магистр защищает свою славянофильскую позицию идеями «целости народа», «единства отечества», «святынь», которых нельзя касаться. На что следует вмешательство Белинского: «— Что за обидчивость такая! Палками бьют — не обижаемся, в Сибирь посылают — не обижаемся, а тут Чаадаев, видите, зацепил народную честь — не смей говорить; речь — дерзость, лакей никогда не должен говорить! Отчего же в странах больше образованных, где, кажется, чувствительность тоже должна быть развитее, чем в Костроме да Калуге, — не обижаются словами?

— В образованных странах, — сказал с неподражаемым самодовольством магистр, — есть тюрьмы, в которые запирают безумных, оскорбляющих то, что целый народ чтит... и прекрасно делают.

Белинский вырос, он был страшен, велик в эту минуту, скрепив на больной груди руки и глядя прямо на магистра, он ответил глухим голосом:

¹ Там же. С. 39.

² Вот как видит Герцен идеологический смысл этого лозунга: «Для того чтоб отрезаться от Европы, от просвещения, от революции, пугавшей его с 14 декабря, Николай, с своей стороны, поднял хоругвь православия, самодержавия и народности, отделанную на манер прусского штандарта и поддерживаемую чем ни попало — дикими романами Загоскина, дикой иконописью, дикой архитектурой, Уваровым, преследованием униат и «Рукой всевышнего отечество спасла. ...Николай бежал в народность и православие от революционных идей». Там же. С. 137.

— А в еще более образованных странах бывает гильотина, которой казнят тех, которые находят это прекрасным»¹.

Споры, как видим, были нешуточные. Однако это были споры относительно путей дальнейшего развития России. И пожалуй, трудно отыскать по этому поводу более точные и прочувствованные слова, чем те, которые произнес много лет спустя сам Искандер в «Колоколе» 1861 года: «...мы были противниками их, но очень странными. У нас была *одна любовь, но неодинакая*.

У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы — за пророчество: чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как *сердце билось одно*.

Они всю любовь, всю нежность перенесли на угнетенную мать. У нас, воспитанных вне дома, эта связь ослабла. Мы были на руках французской гувернантки, поздно узнали, что мать наша не она, а загнанная крестьянка, и то мы сами догадались по сходству в чертах да по тому, что ее песни были нам роднее водевилей; мы сильно полюбили ее, но жизнь ее была слишком тесна. В ее комнатке было нам душно: все почернелые лица из-за серебряных окладов, все попы с причетом, пугавшие несчастную, забитую солдатами и писарями женщину; даже ее вечный плач об утраченном счастье раздирал наше сердце; мы знали, что у ней нет светлых воспоминаний; мы знали и другое — что ее счастье впереди, что под ее сердцем бьется зародыш, то наш меньший брат, которому мы без чечевицы уступим старшинство. А пока:

Mutter, Mutter, lass mich gehen,
Schweifen auf den wilden Hohen!²

Такова была наша семейная разладица лет пятнадцать тому назад. Много воды утекло с тех пор, и мы встретили горный дух, остановивший наш бег, и они, вместо мира мошей, натолкнулись на живые русские вопросы. Считаться нам странно, патентов на понимание нет; время, история, опыт сблизили нас

¹ Там же. С. 33—34

² «Мать, мать, отпусти меня, позволь бродить по диким вершинам!» (нем.).

не потому, чтоб они нас перетянули к себе или мы — их, а потому, что и они и мы ближе к истинному воззрению теперь, чем были тогда, когда беспощадно терзали друг друга в журнальных статьях, хотя и тогда я не помню, чтобы мы сомневались в их горячей любви к России или они — в нашей.

На этой вере друг в друга, на этой общей любви имеем право и мы поклониться их гробам и бросить нашу горсть земли на их покойников с святым желанием, чтоб на могилах их, на могилах наших расцвела сильно и широко молодая Русь!»¹. Такова была общая основа двух важнейших течений отечественной философии, двух разнящихся взглядов на русский мир, его прошлое, настоящее и будущее.

Конечно, лозунг «Самодержавие, православие, народность» имел не только «расширительную» славянофильскую трактовку, но и собственное историческое наполнение, о котором следует сказать в связи с его последующей неоднократно повторяющейся реанимацией, в том числе и в наши дни. Сформулированный впервые в 1832 году товарищем министра народного просвещения С.С. Уваровым, он на долгие десятилетия стал государственной идеологией Российской империи. Причина его долгожительства заключалась в том, что он как нельзя лучше отвечал потребности власти довериться постепенному и органическому развитию, протекавшему в то же время под ее контролем. Вот как оценивал одну из острейших задач того исторического периода развития, в который ему довелось царствовать, Николай I, впервые воспринявший уваровскую «теорию официальной народности»: «Нет сомнения, крепостное право в нынешнем его положении у нас есть зло для всех ощутительнейшее и очевидное, но прикасаться к нему *теперь* было бы делом еще более гибельным»². То есть признаваемые необходимыми перемены отодвигались на неопределенное будущее, а их успех должен был обеспечиваться самим ходом вещей.

Опытный политик и администратор, Уваров точно почувствовал умонастроение власти, предложив царю амбициозный проект постепенного изменения умонастроения большинства подданных империи посредством институтов народного просвещения. В соответствии с этим замыслом возглавляемое им ми-

¹ Там же. С. 170—171.

² МIRONENKO С.В. Страницы тайной истории самодержавия: Политическая история России первой половины XIX столетия. М., 1990. С. 187.

нистерство должно было стать центром административной власти России. По мнению министра, страна могла рассчитывать на процветание при условии, что религиозные, политические и нравственные идеалы как «древняя ограда государственных уставов» сохраняли свою прежнюю силу. К сожалению, положение, при котором появилась доктрина, было таково, что идеалы были «рассеяны преждевременной и поверхностной цивилизацией, мечтательными системами, безрассудными предприятиями», не были «соединены в единое целое, лишены центра, ... были принуждены противостоять людям и событиям». Слова эти Уваров адресовал времени правления Александра I с его попытками, надеждами и разочарованиями, которое он точно назвал «административный сен-симонизм».

Однако формула была и откликом на французскую революцию июля 1830 года, поражение которой в борьбе с властью императора истолковывалось как свидетельство политического тупика такого рода развития событий. Появившееся в теоретических обоснованиях революционного движения во Франции слово «цивилизация» как материальные и духовные достижения французской нации и человечества вообще в интерпретации Уварова стало синонимом неприемлемого для России социального опыта. В противоположность идее цивилизации, в своей формуле Уваров в полной мере раскрыл потенциал отечественного «просвещенного консерватизма». Согласно ему без религии русский народ «обречен на гибель», так как скатывается на низшую ступень нравственного порядка. При этом для Уварова не важна божественная природа православия. Воспринимает его он лишь функционально и ценит в нем лишь традиционность, в том числе укорененность в политической структуре государства¹.

Самодержавие — необходимейшее условие существования империи в ее нынешнем виде. Все, кто думает иначе, не знают страны, ее положения, желаний и нужд. И Уваров предупреждает: «Приняв химеры ограничения власти монарха, равенства прав всех сословий, национального представительства на европейский манер, мнимо-конституционной формы правления,

¹ Примечательно, что поданный царю документ был написан на французском, и, хотя этот язык давал несколько возможностей назвать православие, безразличие к этому самого Уварова приводит к тому, что в тексте он употребляет словосочетание «Вера предков». Термин «православие» был вставлен в документ позднее.

колосс не протянет и двух недель, более того, он рухнет прежде, чем эти ложные преобразования будут завершены»¹.

В отличие от самодержавия как принципа народность — характеристика состояния общества, при которой в каждой его национальной личности сохраняются «главные черты». Ответственность за поддержание и распространение этого состояния лежит на власти и созданной ею системе народного образования. Эволюция народности должна привести к возникновению адекватных ей правительственных органов и общественных институций в целом. Однако радикальных новшеств здесь не предвиделось: народность должна была в полной мере реализовать себя лишь и исключительно через самодержавие. Таким образом, «триада» была в конечном счете формой выражения традиционалистских ценностей.

Реализация «триады» была отнюдь не простой задачей. Начать с того, что в России XIX столетия между ее основными сословиями — дворянством и крестьянством — общего было не больше, чем между испанским конкистадором и аборигеном Нового Света. Непересекающимися были не только обычаи, но и язык. Более того, как и во всех традиционных обществах, русская элита для большего своего отличия от «черного» народа вела свое происхождение не из национальных, а из нерусских корней — германских, литовских или татарских родов, что позволяло с большим психологическим комфортом мотивировать свои особые права и особый образ жизни.

Однако, начиная с Отечественной войны 1812 года, у нации появился иной опыт — опыт общего оборонительного военного предприятия. Эти мысли стали формулироваться декабристами, что обозначало точку перехода от имперских структур к институтам национального государства.

С этим идейным фоном Уваров должен был считаться. И потому в его интерпретации народность есть не столько тренд к национальному государству, сколько субъективные «убеждения» каждого русского в том, что его личные религиозные, политические и нравственные убеждения и принципы — залог благополучия страны, русский — тот, кто верит в свою церковь и своего государя. То есть те, кто не исповедует православия, кто стоит за Конституцию, те против церкви и против царя и,

¹ Уваров С.С. Доклады министра народного просвещения С.С. Уварова императору Николаю I / Публикация М.М. Шевченко // Река времен. Книга истории и культуры. Кн. I. М., 1995. С. 71.

следовательно, те — не русские, а в транскрипции XIX столетия — и вовсе «изверги».

Перед Уваровым, наконец, стояла и задача «остаться в Европе», поскольку эволюционное развитие страны вовсе не предполагало изоляции от остального мира. Говоря словами Уварова, задача заключалась в том, чтобы «идти в ногу с Европой и не удалиться от нашего собственного места ...взять от просвещения лишь то, что необходимо для существования великого государства, и решительно отвергнуть все то, что несет в себе семена беспорядка и потрясений». Причем делать это предстояло не в военно-мобилизационной атмосфере, когда вполне органичным смотрелся призыв «За Веру, Царя и Отечество!», а в мирное время.

В заключение экскурса о смысле популярной национальной «триады» хотел бы воспользоваться точным выводом, содержащимся в обстоятельном историческом исследовании А. Зорина: «Интеллектуальная драма русского государственного национализма состояла в том, что ключевая для нее категория «национальности» или «народности» (*nationalité*, *Volkstum*) была выработана западноевропейской общественной мыслью для легитимации нового социального порядка, шедшего на смену традиционным конфессионально-династическим принципам государственного устройства. Уваровская триада объявляла традиционными камнями русской народности именно те институты, которые народность призвана была разрушить — господствующую церковь и имперский абсолютизм. Выполняя политический заказ русской монархии, Уваров попытался совместить требования времени и консервацию существующего порядка, но его европейское воспитание оказалось сильнее усвоенного традиционализма, и народность подчинила себе и православие, и самодержавие, превратив их в этнографически-орнаментальный элемент национальной истории»¹.

* * *

С точки зрения понимания общей атмосферы российской жизни тех лет и природы самодержавия наряду с прочим заслуживает внимания государственный механизм принятия решения относительно судеб отдельных людей — их достоинства, чести

¹ Зорин А. Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII — первой трети XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 374.

и самой жизни. Прежде всего, и об этом Герцен пишет особенно подробно, в отношении его самого. Приведу в полном объеме очень показательное, на мой взгляд, описание процедуры нового изгнания Герцена из Санкт-Петербурга, состоявшегося всего лишь через полгода после возвращения из вятской и владимирской ссылки.

Вызов в жандармерию случился, как в России водится искони, поздним вечером. На глазах беременной жены Герцена уходит конвойный офицер. Будущий издатель «Колокола» доставлен в жандармскую часть. «За большим столом, возле которого стояло несколько кресел, сидел один-одинехонек старик, худой, седой, с зловещим лицом. Он для важности дочитал какую-то бумагу, потом встал и подошел ко мне. На груди его была звезда, из этого я заключил, что это какой-нибудь корпусный командир шпионов.

— Видели вы генерала Дубельта?

— Нет.

Он помолчал, потом, не смотря мне в глаза, морщась и сводя бровями, спросил каким-то стертым голосом (голос этот мне ужасно напомнил нервно-шипящие звуки Голицына *juniora* московской следственной комиссии):

— Вы, кажется, не очень давно получили разрешение приезжать в столицы?

— В прошедшем году.

Старик покачал головой.

— Плохо вы воспользовались милостью государя. Вам, кажется, придется опять ехать в Вятку. Я смотрел на него с удивлением.

— Да-с, — продолжал он, — хорошо показываете вы признательность правительству, возвратившему вас.

— Я совершенно ничего не понимаю, — сказал я, теряясь в догадках.

— Не понимаете? — это-то и плохо! Что за связи, что за занятия? Вместо того, чтоб первое время показать усердие, смыть пятна, оставшиеся от юношеских заблуждений, обратить свои способности на пользу, — нет! Куда! Все политика да пересуды, и все во вред правительству. Вот и договорились; как вас опыт не научил? Почему вы знаете, что в числе тех, которые с вами толкуют, нет всякий раз какого-нибудь мерзавца, который лучше не просит, как через минуту прийти сюда с доносом.

— Ежели вы можете мне объяснить, что все это значит, вы меня очень обяжете, я ломаю себе голову и никак не понимаю, куда ведут ваши слова или на что намекают.

— Куда ведут?... Хм... Ну, а скажите, слышали вы, что у Синего моста будочник убил и ограбил ночью человека?

— Слышал, — отвечал я пренаивно.

— И, может, повторяли?

— Кажется, что повторял.

— С рассуждениями, я чай?

— Вероятно.

— С какими же рассуждениями? — Вот оно — склонность к порицанию правительства. Скажу вам откровенно, одно делает вам честь, это ваше искреннее сознание, и оно будет, наверно, принято графом в соображение.

— Помилуйте, — сказал я, — какое тут сознание, об этой истории говорил весь город, говорили в канцелярии министра внутренних дел, в лавках. Что же тут удивительного, что и я говорил об этом происшествии?

— Разглашение ложных и вредных слухов есть преступление, не терпимое законами.

— Вы меня обвиняете, мне кажется, в том, что я выдумал это дело?

— В докладной записке государю сказано только, что вы способствовали к распространению такого вредного слуха. На что последовала высочайшая резолюция об возвращении вас в Вятку.

— Вы меня просто страшаете, — отвечал я. — Как же это возможно за такое ничтожное дело сослать семейного человека за тысячу верст, да и притом приговорить, осудить его, даже не опросив, правда или нет?

— Вы сами признались.

— Да как же записка была представлена и дело кончено прежде, чем вы со мной говорили?

— Прочтите сами.

Старик подошел к столу, порылся в небольшой пачке бумаг, хладнокровно вытащил одну и подал. Я читал и не верил своим глазам; такое полнейшее отсутствие справедливости, такое наглое, бесстыдное беззаконие удивило даже в России.

Я молчал. Мне показалось, что сам старик почувствовал, что дело очень нелепо и чрезвычайно глупо, так что он не нашел более нужным защищать его и, тоже помолчав, спросил:

— Вы, кажется, сказали, что вы женаты?

— Женат, — отвечал я.

— Жаль, что это прежде мы не знали, впрочем, если что можно сделать, то граф сделает, я ему передам наш разговор. Из Петербурга во всяком случае вас вышлют.

Он посмотрел на меня. Я молчал, но чувствовал, что лицо горело, все, что я не мог высказать, все, задержанное внутри, можно было видеть в лице. Старик опустил глаза, подумал и вдруг апатическим голосом, с притязанием на тонкую учтивость, сказал мне:

— Я не смею дольше задерживать вас; желаю душевно, — впрочем, дальнейшее вы узнаете.

Я бросился домой. Разъедающая злоба кипела в моем сердце, это чувство бесправия, бессилия, это положение пойманного зверя, над которым презрительный уличный мальчишка издевается, понимая, что всей силы тигра недостаточно, чтоб сломить решетку.

...Грустно сидели мы вечером того дня, в который я был в III отделении, за небольшим столом — малютка играл на нем своими игрушками, мы говорили мало; вдруг кто-то так рванул звонок, что мы поневоле вздрогнули. Матвей бросился отворять дверь, и через секунду влетел в комнату жандармский офицер, гремя саблей, гремя шпорами, и начал отборными словами извиняться перед моей женой: «Он не мог думать, не подозревал, не предполагал, что дама, что дети, чрезвычайно неприятно...»

Жандармы — цвет учтивости, если б не священная обязанность, не долг службы, они бы никогда не только не делали доносов, но и не дрались бы с форейторами и кучерами при разъездах. Я это знаю с Крутицких казарм, где офицер *désolé*¹ был так глубоко огорчен необходимостью шарить в моих карманах.

Поль-Луи Курье уже заметил в свое время, что палачи и прокуроры становятся самыми вежливыми людьми. "Любезнейший палач, — пишет прокурор, — вы меня дружески одолжите, приняв на себя труд, если вас это не беспокоит, отрубить завтра утром голову такому-то". И палач торопится отвечать, что "он считает себя счастливым, что такой безделицей может сделать приятное г. прокурору, и остается всегда готовый к его услугам — палач". А тот — третий, остается преданным без головы.

¹ Опечаленный (*франц.*).

- Вас просит к себе генерал Дубельт.
- Когда?
- Помилуйте, теперь, сейчас, сию минуту.
- Матвей, дай шинель.

Я пожал руку жене — на лице у нее были пятны, рука горела. Что за спех, в десять часов вечера, заговор открыт, побег, драгоценная жизнь Николая Павловича в опасности? "Действительно, — подумал я, — я виноват перед будочником, чему было дивиться, что при этом правительстве какой-нибудь из его агентов прирезал двух-трех прохожих; будочники второй и третьей степени разве лучше своего товарища на Синем мосту? А сам-то будочник будочников?"

Дубельт прислал за мной, чтоб мне сказать, что граф Бенкендорф требует меня завтра в восемь часов утра к себе для объявления мне высочайшей воли!

...Когда я взшел в его кабинет, он сидел в мундирном сертуке без эполет и, куря трубку, писал. Он в ту же минуту встал и, прося меня сесть против него, начал следующей удивительной фразой:

— Граф Александр Христофорович доставил мне случай познакомиться с вами. Вы, кажется, видели Сахтынского сегодня утром?

— Видел.

— Мне очень жаль, что повод, который заставил меня вас просить ко мне, не совсем приятный для вас. Неосторожность ваша навлекла снова гнев его величества на вас.

— Я вам, генерал, скажу то, что сказал графу Сахтынскому, я не могу себе представить, чтобы меня выслали только за то, что я повторил уличный слух, который, конечно, вы слышали прежде меня, а может, точно так же рассказывали, как я.

— Да, я слышал и говорил об этом, и тут мы равны; но вот где начинается разница — я, повторяя эту нелепость, клялся, что этого никогда не было, а вы из этого слуха сделали повод обвинения всей полиции. Это все несчастная страсть *de dénigrer le gouvernement*¹ — страсть, развитая в вас во всех, господа, пагубным примером Запада. У нас не то, что во Франции, где правительство на ножах с партиями, где его таскают в грязи; у нас управление отеческое, все делается как можно келейнее... Мы выдвигаемся из сил, чтоб все шло как можно тише и глаже, а тут

¹ Чернить правительство (франц.).

люди, остающиеся в какой-то бесплодной оппозиции, несмотря на тяжелые испытания, стращают общественное мнение (выделено мной как неустаревающий уже скоро двести лет пример доводов против гласности, демократии и прав человека в России. — С.Н.), рассказывая и сообщая письменно, что полицейские солдаты режут людей на улицах. Не правда ли, ведь вы писали об этом?

— Я так мало придаю важности делу, что совсем не считаю нужным скрывать, что я писал об этом, и прибавлю к кому — к моему отцу.

— Разумеется, дело неважное; но вот оно до чего вас довело. Государь тотчас вспомнил вашу фамилию и что вы были в Вятке и велел вас отправить назад. А потому граф и поручил мне уведомить вас, чтоб вы завтра в восемь часов утра приехали к нему, он вам объявит высочайшую волю.

— Итак, на том и останется, что я должен ехать в Вятку, с больной женой, с больным ребенком, по делу, о котором вы говорите, что оно не важно?..

— Да вы служите? — спросил меня Дубельт, пристально вглядываясь в пуговицы моего вицмундирного фрака.

— В канцелярии министра внутренних дел.

— Давно ли?

— Месяцев шесть.

— И все время в Петербурге?

— Все время.

— Я понятия не имел.

— Видите, — сказал я, улыбаясь, — как я себя скромно вел. Сахтынский не знал, что я женат, Дубельт не знал, что я на службе, а оба знали, что я говорил в своей комнате, как думал и что писал отцу..

— Помилуйте, — перебил меня Дубельт, — все сведения, собранные об вас, совершенно в вашу пользу, я еще вчера говорил с Жуковским, — дай бог, чтоб об моих сыновьях так отзывались, как он отозвался.

— А все-таки в Вятку..

— Вот видите, ваше несчастье, что докладная записка была подана и то многих обстоятельств не было на виду. Ехать вам надобно, этого поправить нельзя, но я полагаю, что Вятку можно заменить другим городом. Я переговорю с графом, он еще сегодня едет во дворец. Все, что возможно сделать для облегчения, мы постараемся сделать; граф — человек ангельской доброты.

...На другой день в восемь часов я был в приемной-зале Бенкендорфа. Я застал там человек пять-шесть просителей; мрачно и озабоченно стояли они у стены, вздрагивали при каждом шуме, жались еще больше и кланялись всем проходящим адъютантам. В числе их была женщина, вся в трауре, с заплаканными глазами, она сидела с бумагой, свернутой в трубочку, в руках; бумага дрожала, как осиновый лист. Шага три от нее стоял высокий, несколько согнувшийся старик, лет семидесяти, плешивый и пожелтевший, в темно-зеленой военной шинели, с рядом медалей и крестов на груди. Он время от времени вздыхал, качал головой и шептал что-то себе под нос.

...Наконец двери отворились à deux battants¹, и взошел Бенкендорф. Наружность шефа жандармов не имела в себе ничего дурного; вид его был довольно общий остзейским дворянам и вообще немецкой аристократии. Лицо его было измято, устало, он имел обманчиво добрый взгляд, который часто принадлежит людям уклончивым и апатическим.

...Сколько невинных жертв прошли его руками, сколько погибли от невнимания, от рассеяния, оттого, что он занят был волокитством — и сколько, может, мрачных образов и тяжелых воспоминаний бродили в его голове и мучили его на том пароходе, где, преждевременно опустившийся и одряхлевший, он искал в измене своей религии заступничества католической церкви с ее всепрощающими индульгенциями...

— До сведения государя императора, — сказал он мне, — дошло, что вы участвуете в распространении вредных слухов для правительства. Его величество, видя, как вы мало исправились, изволил приказать вас отправить обратно в Вятку; но я, по просьбе генерала Дубельта и основываясь на сведениях, собранных об вас, докладывал его величеству о болезни вашей супруги, и государю угодно было изменить свое решение. Его величество воспрещает вам въезд в столицы, вы снова отправитесь под надзор полиции, но место вашего жительство предоставлено назначить министру внутренних дел.

— Позвольте мне откровенно сказать, что даже в сию минуту я не могу верить, чтоб не было другой причины моей ссылки. В тысяча восемьсот тридцать пятом году я был сослан по делу праздника, на котором вовсе не был; теперь я наказываюсь за слух, о котором говорил весь город. Странная судьба!

¹ На обе створки (франц.).

Бенкендорф поднял плечи и, разводя руками, как человек, исчерпавший все свои доводы, перебил мою речь:

— Я вам объявляю монаршую волю, а вы мне отвечаете рассуждениями. Что за польза будет из всего, что вы мне скажете и что я вам скажу — это потерянные слова. Переменить теперь ничего нельзя, что будет потом, долею зависит от вас. А так как вы напомнили об вашей первой истории, то я особенно рекомендую вам, чтоб не было третьей, так легко в третий раз вы, наверно, не отделаетесь.

Бенкендорф благосклонно улыбнулся и отправился к просителям. Он очень мало говорил с ними, брал просьбу, бросал в нее взгляд, потом отдавал Дубельту, перерывая замечания просителей той же грациозно-снисходительной улыбкой. Месяцы целые эти люди обдумывали и приготавливались к этому свиданию, от которого зависит честь, состояние, семья; сколько труда, усилий было употреблено ими прежде, чем их приняли, сколько раз стучались они в запертую дверь, отгоняемые жандармом или швейцаром. И как, должно быть, щемящи, велики нужды, которые привели их к начальнику тайной полиции; вероятно, предварительно были исчерпаны все законные пути, — а человек этот отделяется общими местами, и, по всей вероятности, какой-нибудь столоначальник положит какое-нибудь решение, чтоб сдать дело в какую-нибудь другую канцелярию. И чем он так озабочен, куда торопится?

Когда Бенкендорф подошел к старику с медалями, тот стал на колени и вымолвил:

— Ваше сиятельство, взойдите в мое положение.

— Что за мерзость, — закричал граф, — вы позорите ваши медали! — И полный благородного негодования, он прошел мимо, не взяв его просьбы. Старик тихо поднялся, его стеклянный взгляд выражал ужас и помешательство, нижняя губа дрожала, он что-то лепетал.

Как эти люди бесчеловечны, когда на них приходит каприз быть человеческими!

Дубельт подошел к старику, взял просьбу и сказал:

— Зачем это вы, в самом деле? — Ну, давайте вашу просьбу, я пересмотрю.

Бенкендорф уехал к государю»¹.

¹ Герцен А.И. Цит. соч. Т. 8. С. 54—64.

* * *

Еще одна поднимаемая Герценом в романе «Былое и думы» тема, которая в дальнейшем получит свое развитие в мировоззренческом плане у других авторов и пригодится в предлагаемых читателю размышлениях, — тема ревности и страсти, то есть состояний человеческого сердца и души, наиболее тесным образом связанных с любовью и семьей. Подробно эти важные для русского мировоззрения темы будут исследованы Львом Толстым, Федором Достоевским, Николаем Чернышевским. у Герцена же мы находим лишь его собственные наблюдения, выполненные скорее социологически и журналистски, чем философски и художественно. Но и они ценны, поскольку не только характеризуют его собственную мировоззренческую систему, но и позволяют принимать их во внимание как суждения выдающегося человека о современной ему эпохе с характерным для нее пониманием этих проблем.

«Ревность... Верность... Измена... Чистота... Темные силы, грозные слова, по милости которых текли реки слез, реки крови, — слова, заставляющие содрогаться нас, как воспоминание об инквизиции, пытке, чуме... и притом слова, под которыми, как под дамокловым мечом — жила и живет семья.

Их не выгонишь за дверь ни бранью, ни отрицанием. Они остаются за углом и дремлют, готовые при малейшем поводе все губить: близкое и дальнее, губить нас самих...

Видно, надобно оставить благое намерение тушить дотла такие тлеющие пожары и скромно ограничиться только тем, чтоб разрушительный огонь человечески направить и укротить. Логикой страстей обуздать нельзя, так, как судом нельзя их оправдать. Страсти — факты, а не догматы.

Ревность, сверх того, состояла на особых правах. Сама по себе сильная и *совершенно естественная* страсть — она до сих пор, вместо обуздания, укрощения, была только подстрекаема. Христианское учение, ставящее, из ненависти к телу, все плотское на необыкновенную высоту, аристократическое поклонение своей крови, чистоте породы развило до нелепости понятие несмываемого пятна, смертельной обиды. Ревность получила *jus gladii*¹, право суда и мести. Она сделалась *долгом чести*, чуть не добродетелью. Все это не выдерживает ни малейшей критики, но затем все же на дне души остается очень реальное и не-

¹ Право меча (*лат.*).

сокрушимое чувство боли, несчастья, называемое ревностью, — чувство элементарное, как само чувство любви, противостоящее всякому отрицанию, — чувство "ирредуктибельное"¹.

...Тут опять те вечные грани, те кавдинские фуруклы, под которые нас гонит история. С обеих сторон *правда*, с обеих — ложь. Бойким *entweder — oder*² и тут ничего не возьмешь. В минуту полного отрицания *одного* из терминов он возвращается, так как за последней четвертью месяца является с другой стороны первая.

Гегель *снял* эти пограничные столбы человеческого разума, подымаясь в *безусловный дух*; в нем они не исчезали, а *преобразовались*, исполнялись, как выражалась немецкая теологическая наука, — это мистицизм, философская теодицея, аллегория и самое дело, намеренно смешанные. Все религиозные примирения непримиримого делаются *искуплениями*, то есть священным преобразованием, священным обманом, таким разрешением, которое не разрешает, а дается на веру. Что может быть противоположнее *личной воли и необходимости*, а верой и они легко примиряются. Человек безропотно в одно и то же время принимает справедливость наказания за поступок, который был предопределен.

...Безусловный, «перехватывающий» дух Гегеля заменен у Прудона грозною идеей Справедливости.

Но и ею вряд ли разрешатся вопросы страстей. Страсть сама по себе несправедлива. Справедливость отвлекается от личностей, она междулична — страсть только индивидуальна.

Тут выход не в суде, а в человеческом развитии личностей, в выводе их из лирической замкнутости на белый свет, в *развитии общих интересов*.

Радикально уничтожить ревность — значит уничтожить *любовь к лицу*, заменяя ее любовью к женщине или к мужчине, вообще — любовью к полу. Но именно только *личное, индивидуальное* и нравится, оно-то и дает колорит, *tonus*, страстность всей нашей жизни. Наш лиризм — *личный*, наше счастье и несчастье — *личное* счастье и несчастье. Доктринаризм со всей своей логикой так же мало утешает в личном горе, как и римские консоляции³ с своей риторикой. Ни слез о потере, ни слез ревности вытереть нельзя и не должно, но можно и должно достиг-

¹ Несократимое (*франц.*).

² Или — или (*нем.*).

³ Утешительные речи (*лат.*).

нуть, чтоб они лились человечески... и чтоб в них равно не было ни монашеского яда, ни дикости зверя, ни вопля уязвленного собственника»¹.

И далее: «Здоровая жизнь человека равно бежит от монастыря и от скотного двора, от бесполя инока, поставленного церковью выше брака, и от бездетного удовлетворения страстей...

Брак для христианства — уступка, непоследовательность, слабость. Христианство смотрит на брак так, как общество на конкубинат.

Монах и католический поп приговорены к вечному безбрачью в награду за глупую победу свою над человеческой природой.

Вообще христианский брак мрачен и несправедлив, он восстанавливает неравенство, против которого проповедует евангелие, и отдает жену в рабство мужу. Жена пожертвована, любовь (ненавистная церкви) пожертвована, выходя из церкви, она становится излишней и заменяется долгом и обязанностью. Из самого светлого, радостного чувства христианство сделало боль, истому и грех. Роду человеческому приходилось или вымереть, или быть непоследовательным. Оскорбленная жизнь протестовала.

Протестовала она не только фактами, сопровождаемыми раскаянием и угрызением совести, а сочувствием, реабилитацией. Протест начался в самый разгар католичества и рыцарства.

Грозный муж, Рауль Синяя Борода, в латах, с мечом, своевольный, ревнивый и беспощадный, босой монах, угрюмый, безумный, изувер, готовый мстить за свои лишения, за свою ненужную борьбу, тюремщики, палачи, лазутчики... и где-нибудь в башне или подвале рыдающая женщина, юноша паж в цепях, за которых никто не вступится. Все мрачно, дико, везде кровь, ограниченность, насилие и латинская молитва в нос.

Но за спиной монаха, исповедника и тюремщика... стоящих на страже брака с грозным мужем, отцом, братом, слагается в тиши *народная легенда*, раздается песня, ходит из места в место, из замка в замок, с трубадуром и миннезингером — она поет за несчастную женщину. Суд разит — песня отпускает. Церковь предаст анафеме любовь вне брака — песня проклинает брак без любви. Она защищает влюбленного пажа, падшую жену, угнетенную дочь не рассуждением, а сочувствием, жалостью, плачем.

¹ Там же. С. 203—205.

Песня для народа — его светская молитва, его *другой* выход из голодной, холодной жизни, душевной тоски и тяжелой работы»¹.

Эти размышления — не досужие выдумки. Герцену на собственном опыте пришлось пережить перипетии, содержанием которых были любовь и ревность. Так, многие страницы V части «Былого и дум» посвящены описанию его личной истории, связанной с любовью-привязанностью к его жене со стороны одного из герценовских друзей, немецкого поэта Гервега. Его психологические движения и реальные поступки, продиктованные, как показывает Герцен, «мозговыми страстями», сопровождаемыми «ложной правдой», «психической невоздержанностью» и «эстетической истерикой», стоившие много нервов Александру Герцену и его жене Наталье, подробно и с глубоким пониманием случившегося представлены в романе. К феноменам любви и страсти как важным частям русского мировоззрения я обращусь несколько позднее на примере других высоких литераторов. Однако и тогда, когда этот анализ будет проведен, полученный в его результате вывод в полной мере может быть отражен философичными замечаниями Герцена: «... ни слез о потере, ни слез ревности вытереть нельзя и не должно, но можно и должно достигнуть, чтоб они лились человечески...»

* * *

И наконец, еще один сюжет, к которому стоит обратиться как к важному свидетельству современника и очевидца, связан с «типом петрашевцев», который, как социологически точно определяет Герцен, сложился в Петербурге «под конец карьеры Белинского», «после меня до появления Чернышевского». Понимание этого типа для проводимого мной исследования важно потому, что именно он сделался центральным предметом анализа Н.Г. Чернышевского в его романе «Что делать?», равно как и для некоторых романов Ф.М. Достоевского.

Энгельсон, о котором идет речь в «Былом и думах», появился в Ницце в конце 1850 года и сразу же стал искать знакомства Герцена. Рекомендован он был как «замешанный в деле Петрашевского», по которому, кстати, проходил и молодой Достоевский, к которому фактически отношения не имел и потому был полицией отпущен, хотя и рекомендовался в качестве «друга Петрашевского».

¹ Там же. С. 206—207.

Петрашевы, «окруженные дрянными и мелкими людьми, гордые вниманием полиции и сознанием своего превосходства при самом выходе из школы, они слишком дорого оценили свой отрицательный подвиг или, лучше, свой подвиг в возможности. Отсюда — безмерное самолюбие. Не то здоровое, молодое самолюбие, идущее юноше, мечтающему о великой будущности, идущее мужу в полной силе и в полной деятельности, не то, которое в былые времена заставляло людей совершать чудеса отваги, выносить цепи и смерть из желания славы, но, напротив, самолюбие болезненное, мешающее всякому делу огромностью притязаний, раздражительное, обидчивое, самонадеянное до дерзости и в то же время неуверенное в себе.

Между их запросом и оценкой ближних несоразмерность была велика. Общество не принимает векселей на будущее, а требует готовую работу за свое наличное признание. Труда и выдержки у них было мало, того и другого хватило только для пониманья, для усвоенья — разработанного другими. Они хотели жатвы за намерение сеять и венков за то, что у них кромы были полны. "Обидное непризнание общества" их мучило и доводило до несправедливости к другим, до отчаяния и *Fratzenhaftigkeit*¹.

Знаменательно первое появление Энгельсона у Герцена: «Извиняясь и осыпая меня комплиментами, он с необыкновенной быстротой и сильной мимикой рассказал мне, что я ему спас жизнь и именно вот каким образом. Пропадая с тоски в Петербурге, выключенный из лица за какой-то вздор, гнушаясь службой, которую должен был принять, и не видя никакого выхода ни для себя лично, ни вообще, он решился отравиться и, за несколько часов до исполнения своего намерения, пошел бродить без определенной цели по улицам, зашел к Излеру и взял книжку «Отечественных записок». В ней была моя статья «По поводу одной драмы». Чтение мало-помалу захватило его внимание, ему стало легче, ему стало стыдно, что он так подчиняется горю и отчаянию, когда общие интересы растут со всех сторон и зовут все молодое, все имеющее силы, и Энгельсон вместо яда спросил полбутылки мадеры, еще раз перечитал статью и с тех пор сделался горячим поклонником моим.

Он просидел до поздней ночи и ушел, прося позволения скоро возвратиться. Сквозь его спутанную речь, прерываемую отступлениями и эпизодами, можно было видеть сильно устроен-

¹ Дурачества (нем.). Там же. С. 344.

ную голову, резкую диалектическую способность и еще яснее — сломанность, бросающую его из одной крайности в другую, от негодования, обиженного горем и удрученного печалью, до иронического гаерства, от слез до кривляния.

Он оставил меня под странным впечатлением. Сначала я ему не доверял, потом уставал от него, — он как-то слишком сильно действовал на нервы, но мало-помалу я привык к его странностям и был рад оригинальному лицу, разрушавшему монотонную скуку, наводимую гуртовым большинством западных людей»¹.

Энгельсон, как скоро понял Герцен, обладал рядом несомненных талантов, однако ни одного из них он в себе не развил. «Дикие и полные сил побеги талантов росли и глохли в неустоявшейся душе его — и от домашних тревог, отнимавших половину времени, и от хватанья за все на свете, от филологии и химии до политической экономии и философии. в этом смысле Энгельсон был чисто русский человек, несмотря на то, что отец его был финляндского происхождения»².

Появление социального «типа петрашевцев» Герцен относит к свойствам «николаевского времени», когда вся система казенного воспитания во всех государственных учебных заведениях заключалась в выработке у воспитуемых «религии слепого повиновения», за успешное следование которой полагалась награда в виде власти той или иной степени. в воспитанниках поощрялось главным образом честолюбие и ревнивое завистливое соревнование. Однако позитивной конкретной цели молодые люди перед собой не видели. Напротив, в них формировалось чувство безысходной стабильности, что вызывало у них сознание бессилия и заблаговременную «усталь перед работой». Молодые люди превращались в усталых, подозрительных, ревнивых ипохондриков, «были заражены страстью самонаблюдения, самоисследования, самообвинения, они тщательно поверяли свои психические явления и любили бесконечные исповеди и рассказы о нервных событиях своей жизни. ...Вглядываясь с участием в их покаяния, в их психические себябичевания, доходившие до клеветы на себя, я, наконец, убедился потом, что все это — одна из форм того же самолюбия. Стоило вместо возраженья и состраданья согласиться с кающимся, чтоб увидеть, как легко уязвляемы и как беспощадно мстительны эти Магдалины обо-

¹ Там же. С. 335—336.

² Там же. С. 339.

их полов. Вы перед ними, как христианский священник перед сильными мира сего, имеете только право торжественно отпустить грехи и молчать.

У этих нервных людей, чрезвычайно обидчивых, содрогавшихся, как мимоза, при всяком чуть неловком прикосновении, была, с своей стороны, непостижимая жесткость слова. Вообще, когда дело шло об отместке, выражения не мерились, — страшный эстетический недостаток, выражающий глубокое презрение к лицу и оскорбительную снисходительность к себе. Необузданность эта идет у нас из помещичьих домов, канцелярии и казарм, но как же она уцелела, развилась у нового поколения, перескакивая через наше? Это — психологическая задача.

...Для пустой и мимолетной мести, для одержания верха в споре не щадили ничего, и я часто с ужасом и удивлением видел, как они, начиная с самого Энгельсона, бросали без малейшей жалости драгоценнейшие жемчужины в едкий раствор и плакали потом. С переменой нервного тока начинаются раскаяния, вымаливание прощенья у поруганного кумира. Небрезгливые, они выливали нечистоты в тот же сосуд, из которого пили.

Раскаяния их бывали искренни, но не предупреждали повторений. Какая-то пружина, умеряющая действие колес и направляющая их, у них сломана; колеса вертятся с удесyтеренной быстротой, ничего не производя, но ломая машину; гармоническое сочетание нарушено, эстетическая мера потеряна, — с ними жить нельзя, им самим с этим жить нельзя.

Счастья для них не существовало, они не умели его беречь. При малейшем поводе они давали бесчеловечный отпор и обращались грубо со всем близким. Иронией они не меньше губили и портили в жизни, чем немцы приторной сентиментальностью. Странно, люди эти жадно хотят быть любимыми, ищут наслаждения, и, когда подносят ко рту чашу, какой-то злой дух толкает их под руку, вино льется наземь, и с запальчивостью, отброшенная чаша валяется в грязи»¹. Обобщая свои размышления о современных ему русских характерах и социальных типах, в начале VI части романа Герцен итожит: «...как грозен современный человек в мнениях и идеалах, как громко плачет он и как скромно выполняет свои программы, как добры его желания и как слабы мышцы»².

¹ Там же. С. 345—346.

² Герцен А. И. Цит. соч. М., 1957. Т. 11, с. 9.

* * *

Приведенные наблюдения и выводы великого Искандера, поставившего перед собой цель «искать суда своих» и пребывающего в уверенности, что «восстановление правды дороже мести», сами по себе, как ясно из текста, не стали предметом анализа. В этом, на мой взгляд, проявляется особенность автобиографического романа. Автор не сочиняет персонажи, но делает не менее ценное: придает обобщающий характер, «философизует» явленную непосредственно ему жизненную реальность, создавая тем самым закрепленный во времени, в котором он жил, свой собственный опыт, свое чувственное переживание, свой культурно-интеллектуальный стандарт. Все это — как свидетельство подлинного «жителя тех времен» — еще неоднократно пригодится нам при анализе смыслов и ценностей русского мировоззрения, воссозданных из глубин национального духа и предъявленными миру отечественными философами и литераторами.

Глава 4

«НОВЫЕ ЛЮДИ» В СНАХ И НАЯВУ В РОМАНАХ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО «ЧТО ДЕЛАТЬ?» И «ПРОЛОГ»

В истории России есть фигуры, историческая значительность которых проистекает не только от их собственного масштаба, но и от иных факторов. В их числе — репрессивные, несоразмерные и незаслуженные действия властей, равно как и меры идеологического и фальсификаторского характера, которые по отношению к этим фигурам предпринимались позднейшими политиками или теоретиками, перелицовывавшими историю «под себя» и свои действия. Политикам и теоретикам эти фигуры понадобились в качестве «ступеньки» к их собственному «пьедесталу», как «теоретические предшественники», которые, в отличие от них, гениальных, конечно же, «недодумывали», «останавливались перед», «недопонимали»¹. Для некоторых из фигур, наконец, их значительность проистекает из того, что в их исследованиях ими были затронуты некоторые явления, действительно важные для будущего.

К числу таких фигур, по отношению к которым применимо все перечисленное, на мой взгляд, принадлежит Н.Г. Чернышевский². Этот мыслитель, как известно, непомерно превоз-

¹ Кроме известных высоких оценок о Чернышевском В. Ленина, сошлюсь и на не менее значимую его характеристику как литературного «гения», данную, в частности, одним из теоретизирующих и практикующих большевиков — *А.В. Луначарским*. См., например, статью «Н.Г. Чернышевский как писатель» в его сборнике «Статья о литературе». М., Художественная литература, 1957.

² Учитывая то, что в анализе творчества «Н.Г.Ч.» по большинству позиций я не могу согласиться с точкой зрения глубоко уважаемого мной исследователя В.К. Кантора, но вместе с тем, отдавая должное его компетентности и несомненным заслугам в неустанном творческом наполнении копилки современного гуманитарного знания, я считаю своим долгом адресовать читателя к одной из его работ на эту тему: статье в журнале «Октябрь», № 2 за 2000 год «Срубленное дерево жизни... Можно ли сегодня размышлять о Чернышевском?». С данным текстом также можно ознакомиться в книге «Русский европеец как явление культуры». М., РОССПЭН, 2001. Что же касается непосредственно моей главы о романах Чернышевского «Что делать?» и «Пролог», то спорить по их поводу указанная статья В.К. Кантора возможности не предоставляет.

носился Лениным и последующей советской идеологией как первый русский революционный демократ. То ли случайно, то ли гениально предугадав то, что после революционного переворота (не важно, желаемого или не желаемого Чернышевским) новой власти понадобятся и «новые люди», он активно этой идейной конструкцией занялся. По отношению к нему, наконец, также был произведен неправый и беспощадный суд. «В деле Чернышевского, — писал В.С. Соловьев, — не было ни суда, ни ошибки, а было только заведомо неправое и насильственное деяние, с заранее составленным намерением. Было решено изъять человека из среды живых — и решение исполнено. Искали поводов, поводов не нашли, обошлись и без поводов»¹.

В итоге по прошествии ста пятидесяти лет нашим современникам он в равной мере известен и как автор одного из первых «идеологических», по определению М.М. Бахтина, романов со знаменательным подзаголовком «Из рассказов о новых людях»², и как человек, в отношении которого правительство Александра II осуществило юридически необоснованное судебное преследование и наказание, в том числе исполнило акт гражданской казни, а затем на долгие годы сослало в каторгу.

Процедура акта гражданской казни нам хорошо известна благодаря оставленным запискам М.П. Сажина, сподвижника теоретика анархизма М.А. Бакунина, участника Парижской коммуны и I Интернационала. Вот как он описывал увиденное зрелище: «...Посредине площади стоял эшафот — четырехугольный помост высотой аршина 1,5 — 2 от земли, выкрашенный черною краскою. На помосте высился черный столб, и на нем,

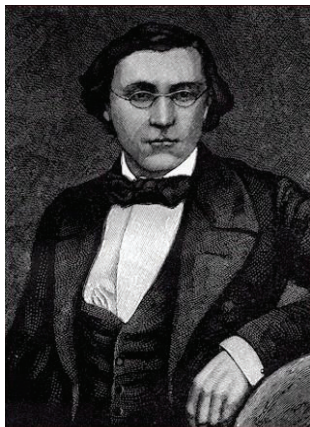
¹ Соловьев В.С. Из литературных воспоминаний. Н.Г. Чернышевский. Сос. в 2-х т. Т. 2. М., 1989. С. 649.

² По поводу этого термина В. Кантор, например, замечает: «Я не буду писать о евангельских парафразах в текстах Чернышевского, замечу только, что так возмущающее многих словосочетание "новые люди" не им придумано, а напрямую заимствовано из Евангелия. Да и в русской литературе имеет устойчивую традицию. Напомню из "Повести временных лет", как после Крещения князь Владимир назвал крестившихся русичей: "Владимир же был рад, что познал Бога сам и люди его, посмотрел на небо и сказал: "Христос Бог, сотворивший небо и землю! Взгляни на новых людей этих и дай им, Господи, познать тебя истинного Бога, как познали тебя христианские страны"». И далее: «Впоследствии, в "Что делать?", он о таких людях скажет: "новые люди", лучшие среди которых — "двигатели двигателей", "соль соли земли". Опять же евангельский парафраз: "Вы — соль земли", — говорит Христос своим ученикам (Мф. 5, 13)». Кантор В. Указ. соч., с. 16.

на высоте приблизительно одной сажени, висела железная цепь. На каждом конце цепи находилось кольцо, настолько большое, что через него свободно могла пройти рука человека, одетого в пальто. Середина этой цепи была надета на крюк, вбитый в столб.

...После довольно долгого ожидания появилась карета, ...и вскоре мы увидели, как на эшафот поднялся Н.Г. Чернышевский... Над затихшей площадью послышалось чтение приговора. ...Когда чтение кончилось, палач взял Чернышевского за плечо, подвел к столбу и просунул его руки в кольцо цепи. Так, сложивши руки на груди, Чернышевский простоял у столба около четверти часа». Затем «палач вынул руки Чернышевского из колец цепи, поставил его на середине помоста, быстро и грубо сорвал с него шапку, бросил ее на пол, а Чернышевского принудили встать на колени; затем взял шпагу, переломил ее над головою Н.Г. и обломки бросил в разные стороны. После этого Чернышевский встал на ноги, поднял свою шапку и надел на голову. Палачи подхватили его под руки и свели с эшафота»¹.

Как разночинный философ, публицист и романист **Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889)** явился на арену общественной и литературной жизни России



в то время, когда, по оценке В.С. Соловьева, противоречия между «славянофилами» и «западниками» в существенной мере сгладились, но внутри «западников» появилось разделение на «идеалистов-либералов» и «реалистов-радикалов». В какой мере «радикалы» были «реалистами», нам еще предстоит выяснить. Но вот то, что именно к их числу традиционно относят Чернышевского, сомнению не подлежит.

¹ Сажин о гражданской казни Н.Г. Чернышевского. в кн. Чернышевский Н. «Что делать: Критика и комментарии». М.: ООО №Издательство АСТ», 2002. С. 562—563.

Революционный радикализм Чернышевского¹ — сына священника, слушателя духовной семинарии и студента историко-филологического факультета Петербургского университета подтверждается его представлениями о том, что Россия может избежать капиталистического пути развития посредством крестьянской революции, которую должны готовить профессиональные революционеры, а также используя неизвестную в Европе и традиционную для крестьянства общинную организацию производства и жизни. Влиянию идей Чернышевского даже приписывается возникновение в России революционной организации «Земля и воля»², а его роману — заслуга обобщения опыта жизни нового поколения людей — созидателей (не только «нигилистов»!), а также прославления революции и революционеров. С этих позиций, в трактовке В.И. Ленина, Чернышевский был «революционным демократом, он умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя — через препоны и рогатки цензуры — идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей»³. С этих позиций чудесным образом оказывалось, что и состоявшееся в 1861 году освобождение крестьян было фактом незначительным, не более как «побочным продуктом революционной борьбы»⁴, что пойти на этот шаг Александра II заставило движение крестьянских низов (сколько-нибудь значительных движений таковых в истории не зафиксировано. — С.Н.), равно как и натиск «революционной партии» (не столько реальной, сколько «фигуральной». — С.Н.) со страниц «Современника», «Русского слова», «Колокола»⁵.

«Революционность» основного произведения Чернышевского романа «Что делать?» позднейшими исследователями в угоду

¹ О том, что Чернышевский именно в таком качестве был почитаем и широко (в том числе — включением в школьную программу) пропагандируем в советское время, свидетельствует и тот факт, что его произведения неоднократно издавались. Так, в 1939—1953 годах вышло полное собрание его сочинений в шестнадцати томах.

² Ст. «Чернышевский Николай Гаврилович» в кн. «Философы России XIX—XX столетий». М.: «Книга и бизнес», 1995. С. 647.

³ Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 20. С. 175.

⁴ Там же. С. 179.

⁵ Для понимания широты реального процесса можно вспомнить, что тираж, например, «Колокола» в лучшие времена не превышал трех тысяч экземпляров.

большевистской идеологии была многократно преувеличена¹, о чем явственно свидетельствует уже тот факт, что писался роман во время заключения автора в Петропавловской крепости и передавался для печатания в «Современнике» через посредство жандармов — чинов III отделения. Факт этот говорит о том, что самой властью, при всей ее изощренности в отношении революционных движений (вспомним хотя бы историю со второй высылкой Герцена), «подрывной потенциал» романа не фиксировался. Напротив, со стороны властей автору оказывалась явная помощь, поскольку, как они верно полагали, изображенные в произведении так называемые новые люди не могли не вызвать неприятие со стороны сколько-нибудь образованных и нравственных читателей.

По поводу романа молчали и те, кто это произведение, казалось бы, должны были бы приветствовать. Так, из числа тех, кого в России того времени относили к либералам, не было ни одного известного философа или литератора, кто бы сколько-нибудь высоко оценил сочинение Чернышевского. Единственный умеренно-обнадеживающий отзыв об основной идее романа (при жесткой уничижительной оценке его художественности) принадлежит одному из главных оппонентов разработчика идеологии «нового человека», Н.С. Лескову.

Суть его критики сводилась к тому, что, может быть, дело, которое предлагает совершить Н.Г. Чернышевский «во всяком благоустроенном государстве, от Кореи до Лиссабона», и нужно, но вот только в природе «добрых людей», которых вывел в своем произведении автор, «мы даже вовсе не видали»². Замечание это было тем более убийственно, что Лескову повидать в России довелось немало.

Большое число литературных откликов на роман имели строго-критический характер. И.С. Тургенев, до выхода романа ценивший Чернышевского за острый ум, в письме Толстому пишет, что теперь от него отрекся, и шутя заявляет: «Я готов истреблять таких людей, как Чернышевский, всеми дозволенны-

¹ Приведу, к примеру, довольно расхожую оценку, относящуюся к советскому времени: «Мировоззрение Чернышевского и Добролюбова было истоком и одновременно вершиной революционно-демократической идеологии в России». в кн.: «Публицисты 1860-х годов». ЖЗЛ. М., «Молодая гвардия», 1981. С. 9.

² *Лесков Н.С.* Николай Гаврилович Чернышевский в его романе «Что делать?» // Библиотека русской критики. Критика 60-х годов XIX века». М., «Астрель», 2003. С. 220, 222.

ми и недозволенными средствами. Во всяком случае книга его есть отвратительная мертвечина»¹.

Одна из наиболее обстоятельных статей, анализирующих роман Чернышевского, принадлежит поэту А.А. Фету и В.П. Боткину — литературному критику и брату известного врача С.П. Боткина. И поскольку в ней одинаково подробно рассматриваются художественные достоинства, этические и политико-экономические посылки романа, мне представляется важным остановиться именно на этой работе.

Фет и Боткин начинают с обращения к намеренно уничижительному «признанию» Чернышевского в том, что у него «нет ни тени таланта» и что он даже языком владеет плохо. Это, мягко говоря, странное мелочно-разночинное ерничество, предпринимаемое в расчете «задеть» «благородную» публику, имеющую высокую родословную, вскоре уравнивается фантастическим по своей самонадеянности признанием и оценкой автором своего собственного таланта. «Впрочем, моя добрейшая публика, толкуя с тобой, надобно договаривать все до конца; ведь ты хоть и охотница, но не мастерица отгадывать недосказанное. Когда я говорю, что у меня нет ни тени художественного таланта и что моя повесть очень слаба по исполнению, ты не вздумай заключить, будто я объясняю тебе, что я хуже тех твоих повествователей, которых ты считаешь великими, а мой роман хуже их сочинений, — с прославленными сочинениями твоих знаменитых писателей ты смело ставь наряду мой рассказ по достоинству исполнения, ставь даже выше их — не ошибешься! В нем все-таки больше художественности, чем в них; можешь быть спокойна на этот счет»².

«Не слишком ли самонадеянна и смешна подобная претензия? Или в самом деле у нас такой избыток талантливых писателей-романистов? Попробуем счесть: Толстой, Тургенев, Писемский, Гончаров, — кто еще? — Никого»³, — отвечают на этот выпад Фет и Боткин. И далее: претензия Чернышевского на величие — не просто «жалкие усилия паука подняться за орлом». Все произведение — предлагаемый неопитам конкретный пример «нахальства и наглости», явленных в качестве «краугольного камня» разночинно-демократической революционной

¹ Цит. по: *Луначарский А.В.* Статьи о литературе. М.: Художественная литература, 1957. С. 215.

² Там же. С. 225—226.

³ Там же. С. 226.

доктрины. «Величающаяся наглость, охорашивающееся бесстыдство — догматы нового учения. Это катехизис, который говорит: "Вы желаете ничем не заслуженного успеха, блистательного торжества громкой галиматьи — будьте прежде всего наглы и не забывайте, что самому добродушному слепцу стоит выдать себя за *очковую змею* и самой близорукой бездарности нахально провозгласить себя публично человеком умнейшим, — и успех несомненен. Вспомните, как *туна публика*»¹.

Впрочем, заявленная Чернышевским в романе высочайшая самооценка — не элемент художественности особого рода. Мы располагаем и другими, не менее серьезными аналогичными свидетельствами. Так, за два месяца до начала работы над романом Чернышевский писал жене из Алексеевского равелина: «Наша с тобой жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, и наши имена все еще будут милы людям; и будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти о всех, кто жил в одно время с нами»².

* * *

Если говорить коротко и нелицеприятно о концептуальной идее романа Чернышевского, то это, пожалуй, самонадеянная наглость не во всем заурядных людей в своей натужной страсти сделаться необычными. Они живут и поступают так, как будто не было и нет тысячелетней культуры, великих творений гениев и талантов, выстраданных и созданных тяжким трудом. У них все элементарно и просто. Они как будто пришли на голое место и с помощью кухонного здравого смысла открывают азбучные истины, посредством которых они претендуют на решение вековых вопросов морали, справедливости и добра. Их единственный критерий — немедленная и явная польза. Их единственная доктрина — «разумный эгоизм». Имя их — «новый человек». На самом же деле — это «человек ниоткуда».

По мере анализа романа наше критическое отношение к его героям будет подкрепляться аргументами. Однако еще до того зададимся вопросом: как это явление — не реальность, а фантомная (виртуальная, как сказали бы мы сегодня) манифестация «новых людей» как особого социального типа — стало возможным? Вопрос этот масштабен, и рассматривать его мне придется

¹ Там же. С. 227.

² Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1953. Т. 14. С. 456.

не однажды, поскольку в творчестве многих крупных литераторов второй половины XIX века он был одним из центральных. Однако сейчас обращу внимание прежде всего на следующее.

Так называемые новые люди в известном отношении действительно были новы: их родословная не была связана с основными классами России — крестьянством или дворянами. Своим появлением в обществе они были обязаны все усиливающемуся присутствию в общественной жизни страны, наряду с деревенскими — городских начал. По мере развития в стране капитализма и связанного с ним роста городов в обществе все больше стало появляться и профессий, прежде довольно редких. Это были профессии, которые представляли разного рода служащие, чиновники, мелкие ремесленники. Дети этих людей, не имея за плечами сколько бы то ни было длительной истории развития собственного социального слоя, с неизбежностью чувствовали себя появившимися как бы на ровном месте, в известном смысле — «людьми из небытия». Единственной возможностью закрепиться в жизни для них было получение образования, дальнейшая служба, преподавание, занятия науками. В отличие от крестьян они не имели земельного надела, а в отличие от дворян — родового состояния, сколько-нибудь длительной семейной истории и соответственно развитого самосознания. Собственное, своего рода интеллектуальное занятие, включая уроки, переписывание, исполнение курьерских и прочих мелких обязанностей, первоначально было то единственное, что давало им надежду на устройство в жизни, но не обещало даже самым талантливым сколько-нибудь надежного положения, не говоря уже об общественных высотах. Их положение было своего рода новым крепостным состоянием, закрывавшим для образованной молодежи пути к общественному росту. Естественно, оно было воспринимается как особого рода несправедливость, ограничение, остро переживаемое и нередко требующее действия. Вот почему все «новые люди» в той или иной степени были заражены бациллой Родиона Раскольникова, героя романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Они, наверное, как никакой другой слой тогдашней России, были способны к тому, что именовалось «поступком», «делом», будь то убийство «твари ничтожной» — старушки-процентщицы или покушение на российского самодержца. С определенной стороны их жизненную позицию в качестве поэтической клятвы «революционера 61-го года» выразил стихом Н.А. Добролюбов:

«Я — ваш, друзья, — хочу быть вашим,
На труд и битву я готов, —
Лишь бы начать в союзе нашем
Живое дело вместо слов».

Настроение определенной, революционно настроенной части «новых людей» передавал и уже упоминавшийся нами революционер-демократ П.Н. Ткачев. Он свидетельствует: «Основной вопрос, который обсуждался тогда в кружках молодых людей, — это вопрос о том, что делать — что делать для того, чтобы освободить страну от подлого экономического и политического деспотизма, который подавлял, уничтожал и разорял ее... что делать для того, чтобы реализовать в частной и общественной жизни моральные и социальные идеи, запечатленные в сердцах молодежи? Чернышевский в своем романе подошел ко всем этим вопросам»¹.

Посмотрим же вместе с современниками Чернышевского, Фетом и Боткиным, что представляют идеи «новых людей» в конкретных проявлениях характеров и в поступках главных героев его романа — Веры Павловны, Лопухова, Кирсанова и вовсе «особого человека», «двигателя двигателей» Рахметова.

Лопухов — студент Петербургской медицинской академии, живущий уроками, не бедствующий. Правда, было время, когда он нуждался. «Такое время, — приводит свое наблюдение Чернышевский, — очень благоприятно для кутежа не только со стороны готовности, но и со стороны возможности: пить дешевле, чем есть и одеваться». «...Такому порядочному человеку, как Лопухов, — не проходят мимо этого экономического свидетельства авторы статьи, — нужно было не менее 20 копеек, чтобы напиться сивухой, а если бы он съедал 3 ф. (не менее 1 килограмма 300 грамм. — С.Н.) хлеба, то это стоило бы не более 4,5 коп. Таковы все расчеты автора, проверяемые действительностью»², — едко отзываются критики о демонстрируемом автором «знании жизни».

Сходный результат проверки действительностью ожидает любого интересующегося и в отношении главного замысла — идеи романа — устройства швейных мастерских на принципах

¹ Цит. по: Пинаев М.Т. Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?». Комментарий. М.: Просвещение, 1988. С. 55.

² В кн.: Чернышевский Н. Что делать? Критика и комментарии. М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. С. 75.

«справедливости». Установка все делить «поровну между всеми» утопична, поскольку тут же, наряду с прочим, низведет к нулю стоимость сколько-нибудь квалифицированного труда. Платить одинаково закройщице, «разогревательнице утюгов» и организуемому все хозяйство менеджеру — экономическая бессмыслица, возможная лишь в горячечной социалистической фантазии или у девственного в экономических познаниях писателя, что на деле и демонстрирует Чернышевский.

Еще более серьезные вопросы возникают в отношении исповедуемой «новыми людьми» морали. Следуя логике изложения в романе историй жизни героев, читатель не может не насторожиться ввиду очевидной идейной близости передового человека Лопухова и отживающего осколка старого времени — матери Веры Павловны, персонажа настолько отрицательного, что даже Верочка ее ненавидит¹. Вот как резонирует по этому поводу автор: «Подобно ей он (Чернышевский сообщает о матери Верочки и Лопухове. — С.Н.) говорил, что все на свете делается для выгоды, что когда плут плутует, нечего тут приходить в азарт — что тот плут вовсе не напрасно плут, а таким ему и надобно быть по его обстоятельствам, что не быть ему плутом, не говоря уже о том, что это невозможно, — было бы нелепо, просто сказать, глупо с его стороны»². Да и сама Марья Алексеевна через некоторое время после знакомства с Лопуховым не только полностью одобряет его «методу», но и начинает с почтением относиться к ученому изложению полностью разделяемых и проповедуемых им и ею, как оказывается, общих идей: «Какой умный, основательный, можно сказать, благородный молодой человек! Какие благоразумные правила внушает Верочке! И что

¹ Сам по себе факт наличия такого чувства у дочери к матери явно тяготеет к тому, чтобы стать серьезным вопросом морального толка. Впрочем, Чернышевский факт ненависти дочери к матери подает лишь как один из обычных житейских мотивов, не более. «Верочка опять видела прежнюю Марью Алексеевну. Вчера ей казалось, что из-под *зверской оболочки* проглядывают человеческие черты, теперь опять *зверь*, и только. Верочка усиливалась победить в себе *отращение*, но не могла. Прежде она только *ненавидела* мать, вчера думалось ей, что она перестает ее ненавидеть, будет только жалеть — теперь опять она чувствовала *ненависть*, но и жалость осталась в ней». Там же. С. 44. (Выделено мной. — С.Н.) Ну чем не христианские качества в «новом» человеке? Интересно, могла ли Верочка при определенных обстоятельствах разделить обычай некоторых варварских племен, в которых не то что ненавидимых, а просто бесполезных стариков убивают?)

² Там же. С. 105.

значит ученый человек: ведь вот я то же самое стану говорить ей — не слушает, обижается: не могу на нее потрафить, потому что не умею по-ученому говорить. А вот как он по-ученому то говорит, она и слушает, и видит, что правда, и соглашается. Да, недаром говорится: ученье — свет, неученье — тьма. Как бы я-то воспитанная женщина была, разве бы то было, что теперь? Мужа бы в генералы произвела, по провиантской бы части место ему достала или по другой по какой по такой же. Ну, конечно, дела бы за него сама вела с подрядчиками-то: ему где — плох! Дом-то бы не такой построила, как этот. Не одну бы тысячу душ купила. А теперь не могу. Тут надо прежде в генеральском обществе себя зарекомендовать, — а я как зарекомендую? — ни по-французски, ни по-каковски по-ихнему не умею. Скажут: манер не имеет, только на Сенной ругаться годится. Вот и не гожусь. Неученье — тьма. Подлинно: ученье — свет, неученье — тьма»¹.

«Ученый моралист» Лопухов в своих рассуждениях и намерениях устроить жизнь исключительно на принципах полезности идет столь далеко, куда даже не может помыслить зайти «зверь» Марья Алексеевна. Заметив, что его жена Верочка начала заглядываться на Кирсанова, «новый человек» предлагает ей столь же «новый» выход из положения.

«— Верочка, — начал он через неделю: — мы с тобою живем, исполняя старое поверье, что сапожник всегда без сапог, платье на портном сидит дурно. Мы учим других жить по нашим экономическим принципам, а сами не думаем устроить по ним свою жизнь. Ведь одно большое хозяйство выгоднее нескольких мелких? Я желал бы применить это правило к нашему хозяйству. Если бы мы стали жить с кем-нибудь, мы и те, кто стал бы с нами жить, стали бы сберегать почти половину своих расходов. Я бы мог вовсе бросить эти проклятые уроки, которые противны мне, — было бы довольно одного жалованья от завода, и отдохнул бы, и занялся бы ученою работою, восстановил бы свою карьеру. Надобно только сходиться с такими людьми, с которыми можно ужиться. Как ты думаешь об этом?»

Вера Павловна уж давно смотрела на мужа теми же самыми глазами, подозрительными, разгорающимися от гнева, какими смотрел на него Кирсанов в день теоретического разговора. Когда он кончил, ее лицо пылало.

— Я прошу тебя прекратить этот разговор. Он неуместен.

¹ Там же. С. 102—103.

— Почему же, Верочка? Я говорю только о денежных выгодах. Люди небогатые, как мы с тобою, не могут пренебрегать ими. Моя работа тяжела, часть ее отвратительна для меня.

— Со мною нельзя так говорить, — Вера Павловна встала, — Я не позволю говорить с собою темными словами. Осмелюсь сказать, что ты хотел сказать!

— Я хотел только сказать, Верочка, что, принимая в соображение наши выгоды, нам было бы хорошо...

— Опять! Молчи! Кто дал тебе право опекуновствовать надо мною? Я возненавижу тебя! — Она быстро ушла в свою комнату и заперлась.

Это была первая и последняя их ссора.

До позднего вечера Вера Павловна просидела запершись. Потом пошла в комнату мужа.

— Мой милый, я сказала тебе слишком суровые слова. Но не сердись на них. Ты видишь, я борюсь. Вместо того чтобы поддержать меня, ты начал помогать тому, против чего я борюсь, надеясь, — да, надеясь устоять.

— Прости меня, мой друг, за то, что я начал так грубо. Но ведь мы помирились? Поговорим.

— О да, помирились, мой милый. Только не действуй против меня. Мне и против себя трудно бороться.

— И напрасно, Верочка. Ты дала себе время рассмотреть свое чувство, ты видишь, что оно серьезнее, чем ты хотела думать вначале. Зачем мучить себя?

— Нет, мой милый, я хочу любить тебя и не хочу, не хочу обижать тебя.

— Друг мой, ты хочешь добра мне. Что ж, ты думаешь, мне приятно или нужно, чтобы ты продолжала мучить себя?

— Мой милый, но ведь ты так любишь меня!

— Конечно, Верочка, очень; об этом что говорить. Но ведь мы с тобою понимаем, что такое любовь. Разве не в том она, что радуешься радости, страдаешь от страдания того, кого любишь? Муча себя, ты будешь мучить меня.

— Так, мой милый: но ведь ты будешь страдать, если я уступлю этому чувству, которое — ах, я не понимаю, зачем оно родилось во мне! Я проклинаяю его!

— Как оно родилось, зачем оно родилось, — это все равно, этого уже нельзя переменить. Теперь остается только один выбор: или чтобы ты страдала, и я страдал через это; или чтобы ты перестала страдать, и я также.

— Но, мой милый, я не буду страдать, — это пройдет. Ты увидишь, это пройдет.

— Благодарю тебя за твои усилия. Я ценю их, потому что они показывают в тебе волю исполнять то, что тебе кажется нужно. Но знай, Верочка: они нужны кажутся только для тебя, не для меня. Я смотрю со стороны, мне яснее, чем тебе, твое положение. Я знаю, что это будет бесполезно. Борись, пока достаёт силы. Но обо мне не думай, что ты обидишь меня. Ведь ты знаешь, как я смотрю на это; знаешь, что мое мнение на это и непоколебимо во мне, и справедливо на самом деле — ведь ты все это знаешь. Разве ты обманешь меня? Разве ты перестанешь уважать меня? Можно сказать больше: разве твое расположение ко мне, изменивши характер, слабеет? Не напротив ли, — не усилятся ли оно оттого, что ты не нашла во мне врага? Не жалею меня: моя судьба нисколько не будет жалка оттого, что ты не лишишься через меня счастья. Но довольно. Об этом тяжело много говорить, а тебе слушать еще тяжелее. Только помни, Верочка, что я теперь говорил. Прости, Верочка. Иди к себе думать, а лучше почитать. Не думай обо мне, а думай о себе. Только думая о себе, ты можешь не делать и мне напрасного горя»¹.

«Заботясь» о самочувствии, любовных чувствах и нравственном спокойствии жены, прагматик (у Чернышевского повсюду в ходу термин «материалист», но речь — о прагматизме. — С.Н.) Лопухов под предлогом большей экономии хозяйства «на троих», чем «на двоих», предлагает Верочке вариант совместной жизни с ним, Лопуховым, и одновременно с Кирсановым. И когда получает отказ, попыток не оставляет, но переносит их на Кирсанова, а затем поручает «особенному человеку» Рахметову.

Рахметов же человек и вовсе особенный. «Таких людей, как Рахметов, — сообщает автор, — мало: я встретил до сих пор только восемь образцов этой породы (в том числе двух женщин); они не имели сходства ни в чем, кроме одной черты. Между ними были люди мягкие и люди суровые, люди мрачные и люди веселые, люди хлопотливые и люди флегматические, люди слезливые (один с суровым лицом, насмешливый до наглости; другой с деревянным лицом, молчаливый и равнодушный ко всему; оба они при мне рыдали несколько раз, как истерические женщины, и не от своих дел, а среди разговоров о разной разности; наедине, я уверен, плакали часто), и люди, ни от чего не переставав-

¹ Там же. С. 266—268.

шие быть спокойными. Сходства не было ни в чем, кроме одной черты, но она одна уже соединяла их в одну породу и отделяла от всех остальных людей. Над теми из них, с которыми я был близок, я смеялся, когда бывал с ними наедине; они сердились или не сердились, но тоже смеялись над собою. И действительно, в них было много забавного, все главное в них и было забавно, все то, почему они были людьми особой породы. Я люблю смеяться над такими людьми».

Это «главное», о чем говорит Чернышевский, в Рахметове было то, что «все, кто его знал, знали его под двумя прозвищами; одно из них уже попадалось в этом рассказе — "ригорист"; его он принимал с обыкновенною своею легкою улыбкою мрачноватого удовольствия. Но когда его называли Никитушкой или Ломовым, или по полному прозвищу Никитушкой Ломовым, он улыбался широко и сладко и имел на то справедливое основание, потому что не получил от природы, а приобрел твердостью воли право носить это славное между миллионами людей имя»¹.

Славен, по мнению Чернышевского, Рахметов был не только силой, но и тем, что мы сегодня назвали бы моральной неразборчивостью и эгоизмом, которые, если и не вызывают восхищения, но тем не менее и не осуждаются автором романа. Чернышевский приводит примеры общения Рахметова с разными людьми. Так, ему было свойственно соблюдать в общении то же правило, как в чтении: «не тратить времени над второстепенными делами и с второстепенными людьми, заниматься только капитальными, от которых уже и без него изменяются второстепенные дела и руководимые люди. Например, вне своего круга, он знакомился только с людьми, имеющими влияние на других. Кто не был авторитетом для нескольких других людей, тот никакими способами не мог даже войти в разговор с ним. Он говорил: "Вы меня извините, мне некогда", и отходил. Но точно так же никакими средствами не мог избежать знакомства с ним тот, с кем он хотел познакомиться. Он просто являлся к вам и говорил, что ему было нужно, с таким предисловием: "Я хочу быть знаком с вами; это нужно. Если вам теперь не время, назначьте другое". На мелкие ваши дела он не обращал никакого внимания, хотя бы вы были ближайшим его знакомым и упрашивали вникнуть в ваше затруднение: "мне некогда", говорил он и отворачивался. Но в важные дела вступался, когда это было нужно

¹ Там же. С. 276—277.

по его мнению, хотя бы никто этого не желал: "я должен", говорил он. Какие вещи он говорил и делал в этих случаях, уму непостижимо»¹.

Вот в этом же ключе — «непостижимости умом» — Рахметов и исполняет последнюю волю Лопухова в разговоре с Верочкой. В нем он, между прочим, ухитряется договориться до обвинения покойника Лопухова в «эгоизме», поскольку хотя тот сам, будучи «просвещенным», смотрел на брак как на некую условность, но вот в своей жене этого отношения «выработать» так и не сумел. В результате она не согласилась на жизнь втроем, и Лопухов вынужден был покончить с собой.

Своими проповедями «новые люди» неоднократно спасают — наставляют на путь истинный разных несчастных: от нравственно погибающей в своей семье Веры Павловны до спасенной Кирсановым от злодея-жениха Катерины Васильевны Полозовой. Все это, однако, некий лирический, хотя и нравоучительный фон, на котором разворачивалось главное событие романа «Что делать?»: устройство новых образчиков хозяйственной жизни — швейных мастерских. Впрочем, это, согласно Чернышевскому-западнику, — новое дело только для отсталой России. Как становится ясно после знакомства с еще одним персонажем — «человеком дела», выросшим в России американцем Чарльзом Бьюмонтом, — все это уже есть в Америке. Бьюмонт (вернувшийся под этим именем в Россию Лопухов) — естественно, того же поля ягода, что и прочие герои. Для него также естественно забывать «о лицах, когда заинтересован делом», и это также не мешает ему, когда он оказывается в «своей среде» — среди «новых людей». Упоминание в этом контексте Лондона — намек «Н.Г.Ч.» на Герцена и революционную эмигрантскую деятельность, к которой приобщился Лопухов.

И наконец, последнее, что требуется для полноты смысловой трактовки романа, — это обращение к знаменитым снам Веры Павловны. Их, как известно, четыре. В первом, сопутствующем оставлению Верой Павловной ненавидимого ею родного семейства, а шире — и всей подлежащей изменению российской жизни, — «снился ей, что она заперта в сыром, темном подвале. И вдруг дверь растворилась, и Верочка очутилась в поле, бегает, резвится и думает: «Как же это я могла

¹ Там же. С. 285.

не умереть в подвале?» — «Это потому, что я не видала поля; если бы я видала его, я бы умерла в подвале», — и опять бежит, резвится. Снится ей, что она разбита параличом, и она думает: «Как же это я разбита параличом? Это бывают разбиты старики, старухи, а молодые девушки не бывают». «Бывают, часто бывают, — говорит чей-то незнакомый голос, — а ты теперь будешь здорова, вот только я коснусь твоей руки, — видишь, ты уж и здорова, вставай же». — Кто ж это говорит? — А как стало легко! — вся болезнь прошла, — и Верочка встала, идет, бежит, и опять на поле, и опять резвится, бежит, и опять думает: «Как же это я могла переносить паралич?» — «это потому, что я родилась в параличе, не знала, как ходят и бегают; а если б знала, не перенесла бы», — и бежит, резвится. А вот идет по полю девушка, — как странно! — и лицо, и походка, все меняется, беспрестанно меняется в ней; вот она англичанка, француженка, вот она уж немка, полячка, вот стала и русская, опять англичанка, опять немка, опять русская, — как же это у ней все одно лицо? Ведь англичанка не похожа на француженку, немка на русскую, а у ней и меняется лицо, и все одно лицо, — какая странная! И выражение лица беспрестанно меняется: какая кроткая! какая сердитая! вот печальная, вот веселая, — все меняется! а все добрая, — как же это, и когда сердитая, все добрая? но только, какая же она красавица! как ни меняется лицо, с каждою переменою все лучше, все лучше. Подходит к Верочке. — «Ты кто?» — «Он прежде звал меня: Вера Павловна, а теперь зовет: мой друг». — «А, так это ты, та Верочка, которая меня полюбила?» — «Да, я вас очень люблю. Только кто же вы?» — «Я невеста твоего жениха». — «Какого жениха?» — «Я не знаю. Я не знаю своих женихов. Они меня знают, а мне нельзя их знать: у меня их много. Ты кого-нибудь из них выбери себе в женихи, только из них, из моих женихов». — «Я выбрала...» — «Имени мне не нужно, я их не знаю. Но только выбирай из них, из моих женихов. Я хочу, чтоб мои сестры и женихи выбирали только друг друга. Ты была заперта в подвале? Была разбита параличом?» — «Была». — «Теперь избавилась?» — «Да». — «Это я тебя выпустила, я тебя вылечила. Помни же, что еще много невыпущенных, много невылеченных. Выпускай, лечи. Будешь?» — «Буду. Только как же вас зовут? Мне так хочется знать». — «У меня много имен. У меня разные имена. Кому как надобно меня звать, такое имя я ему и сказываю. Ты меня зови любовью к людям. Это и есть мое

настоящее имя. Меня немногие так зовут. А ты зови так». — И Верочка идет по городу: вот подвал, — в подвале заперты девушки. Верочка притронулась к замку, — замок слетел: «идите» — они выходят. Вот комната, — в комнате лежат девушки, разбиты параличом: «вставайте» — они встают, идут, и все они опять на поле, бегают, резвятся, — ах, как весело! с ними вместе гораздо веселее, чем одной! Ах, как весело!»¹

В соответствии с трактовкой этого образа в советские времена Вере Павловне встретилась мировая революция, которая одна лишь и способна освободить людей от прежней ненавистной жизни. Впрочем, революционным демократам уже тогда было понятно, что нечто внешнее не может просто изменить самого человека, превратить его из человека «старого» в человека «нового». И рецепт настоящего «внутреннего» изменения человека предлагается в остальных снах. «Темный подвал» и «паралич» во сне — положение закрепощенного народа, а выход в поля — отмена крепостного права.

Во втором сне Вера Павловна видит «поле, и по полю ходят муж, то есть миленький, и Алексей Петрович, и миленький говорит:

— Вы интересуетесь знать, Алексей Петрович, почему из одной грязи родится пшеница такая белая, чистая и нежная, а из другой грязи не родится? Эту разницу вы сами сейчас увидите. Посмотрите корень этого прекрасного колоса: около корня грязь, но эта грязь свежая, можно сказать, чистая грязь; слышите запах сырой, неприятный, но не затхлый, не скиснувшийся. Вы знаете, что на языке философии, которой мы с вами держимся, эта чистая грязь называется реальная грязь. Она грязна, это правда; но всмотритесь в нее хорошенько, вы увидите, что все элементы, из которых она состоит, сами по себе здоровы. Они составляют грязь в этом соединении, но пусть немного переменится расположение атомов, и выйдет что-нибудь другое: и все другое, что выйдет, будет также здоровое, потому что основные элементы здоровы. Откуда же здоровое свойство этой грязи? Обратите внимание на положение этой поляны: вы видите, что вода здесь имеет сток, и потому здесь не может быть гнилости.

— Да, движение есть реальность, — говорит Алексей Петрович, — потому что движение — это жизнь, а реальность и жизнь одно и то же. Но жизнь имеет главным своим элемен-

¹ Там же. С. 115—117.

том труд, а потому главный элемент реальности — труд, и самый верный признак реальности — дельность.

— Так видите, Алексей Петрович, когда солнце станет согревать эту грязь и теплота станет перемещать ее элементы в более сложные химические сочетания, то есть в сочетания высших форм, колос, который вырастает из этой грязи от солнечного света, будет здоровый колос.

— Да, потому что это грязь реальной жизни, — говорит Алексей Петрович.

— Теперь перейдем на эту поляну. Берем и здесь растение, также рассматриваем его корень. Он также загрязнен. Обратите внимание на характер этой грязи. Нетрудно заметить, что это грязь гнилая.

— То есть фантастическая грязь, по научной терминологии, — говорит Алексей Петрович.

— Так; элементы этой грязи находятся в нездоровом состоянии. Натурально, что, как бы они ни перемещались и какие бы другие вещи, не похожие на грязь, ни выходили из этих элементов, все эти вещи будут нездоровые, дрянные.

— Да, потому что самые элементы нездоровы, — говорит Алексей Петрович. — Нам нетрудно будет открыть причину этого нездоровья...

— То есть этой фантастической гнилости, — говорит Алексей Петрович.

— Да, гнилости этих элементов, если мы обратим внимание на положение этой поляны. Вы видите, вода не имеет стока из нее, потому застаивается, гниет.

— Да, отсутствие движения есть отсутствие труда, — говорит Алексей Петрович, — потому что труд представляется в антропологическом анализе коренною формою движения, дающего основание и содержание всем другим формам: развлечению, отдыху, забаве, веселью; они без предшествующего труда не имеют реальности. а без движения нет жизни, то есть реальности, потому это грязь фантастическая, то есть гнилая. До недавнего времени не знали, как возвращать здоровье таким полянам; но теперь открыто средство; это — дренаж: лишняя вода сбегает по канавам, остается воды сколько нужно, и она движется, и поляна получает реальность. Но пока это средство не применено, эта грязь остается фантастическою, то есть гнилою, а на ней не может быть хорошей растительности; между тем как очень натурально, что на грязи реальной являются хорошие растения, так

как она грязь здоровая. Что и требовалось доказать: Queadum, как говорится по-латыни¹.

В этом сне «Н.Г.Ч.» поет осанну труду. При этом на примере новейшего исследования химика Юстаса Либиха «Химия в приложении к земледелию и физиологии» рассказывается о пользе тепла, воздуха и умеренной влажности для произрастания растения и роли химических элементов для повышения плодородия почвы. За образами «дренажа» — быстрого механического устранения с поля излишков влаги и химической подкормки растений — стоят все те же «революция» и «реформа». При этом революционный эффект «теперь открытого средства» перевозносится, а надеяние объявляется признаком гниения. «Дренаж, а не химическое улучшение земли привлечен Чернышевским для опасной политической аллегории!» — восхищенно восклицал не так давно советский комментатор².

Наряду с этими «захватывающими» мыслями во втором сне излагается и прагматический замысел «новых людей» относительно того, как злые люди могут против своей воли оказаться полезными для доброго — революционного дела. При этом, за образами «злых-вредных» людей стояли феодалы-помещики, а образы «злых-полезных» обозначали исторически более прогрессивную буржуазию.

Излагает третий сон, естественно, «сестра сестер» — сама революция:

«— Я не люблю твою мать, — говорит она Верочке, — но она мне нужна.

— Разве без нее нельзя вам?

— После будет можно, когда не нужно будет людям быть злыми. А теперь нельзя. Видишь, добрые не могут сами стать на ноги, злые сильны, злые хитры. Но видишь, Верочка, злые бывают разные: одним нужно, чтобы на свете становилось хуже, другим, тоже злым, чтобы становилось лучше: так нужно для их пользы. Видишь, твоей матери было нужно, чтобы ты была образованная: ведь она брала у тебя деньги, которые ты получала за уроки; ведь она хотела, чтоб ее дочь поймала богатого зятя ей, а для этого ей было нужно, чтобы ты была образованная. Видишь, у нее были дурные мысли, но из них выходила польза человеку: ведь тебе вышла польза? А у других злых не так.

¹ Там же. С. 171—173.

² См.: Пинаев М. Т. Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?». Комментарий., М.: Просвещение, 1988. С. 104.

Если бы твоя мать была Анна Петровна, разве ты училась бы так, чтобы ты стала образованная, узнала добро, полюбила его? Нет, тебя бы не допустили узнать что-нибудь хорошее, тебя бы сделали куклой, — так? Такой матери нужна дочь-кукла, потому что она сама кукла, и все играет с куклами в куклы. А твоя мать человек дурной, но все-таки человек, ей было нужно, чтобы ты не была куклой. Видишь, как злые бывают разные? Одни мешают мне: ведь я хочу, чтобы люди стали людьми, а они хотят, чтобы люди были куклами. А другие злые помогают мне, — они не хотят помогать мне, но дают простор людям становиться людьми, они собирают средства людям становиться людьми. А мне только этого и нужно. Да, Верочка, теперь мне нельзя без таких злых, которые были бы против других злых. Мои злые — злы, но под их злою рукою растет добро. Да, Верочка, будь признательна к своей матери. Не люби ее, она злая, но ты ей всем обязана, знай это: без нее не было бы тебя.

— И всегда так будет? Нет, так не будет?

— Да, Верочка, после так не будет. Когда добрые будут сильны, мне не нужны будут злые, Это скоро будет, Верочка. Тогда злые увидят, что им нельзя быть злыми; и те злые, которые были людьми, станут добрыми: ведь они были злыми только потому, что им вредно было быть добрыми, а ведь они знают, что добро лучше зла, они полюбят его, когда можно будет любить его без вреда»¹.

Этот сон, посвященный личным взаимоотношениям Верочки с мужчинами, сильно восхищал, в частности, верного сподвижника Ленина А.В. Луначарского: «Это настоящий анализ того, как в человеке просыпается чувство, которое он не хочет осознавать, которое он с ужасом в действительности отталкивает»².

Третий сон выбивается из общего ряда сновидений, поскольку в нем Чернышевским разбирается вопрос, кого больше любит (должна любить) Вера Павловна: своего нового или своего прежнего мужа. Эта попытка экскурса в психологию еще менее удачна с содержательной и художественной точки зрения, чем все остальное, имеющее по крайней мере то оправдание, что представляет собой усилие по созданию революционно-демократической утопии.

¹ Чернышевский Н.Г. «Что делать? Критика и комментарии». М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. С. 177—179.

² Цит. по: Пинаев М.Т. С. 132.

Зато в заключительном, четвертом сне проективная революционно-демократическая патетика в образе «социалистического общества», как комментировали этот сон в советское время, обретает полную силу. «Золотистым отливом сияет нива; покрыто цветами поле, развертываются сотни, тысячи цветов на кустарнике, опоясывающем поле, зеленеет и шепчет подымающийся за кустарником лес, и он весь пестреет цветами; аромат несется с нивы, с луга, из кустарника, от наполняющих лес цветов; порхают по веткам птицы, и тысячи голосов несутся от ветвей вместе с ароматом; и за нивою, за лугом, за кустарником, лесом опять виднеются такие же сияющие золотом нивы, покрытые цветами луга, покрытые цветами кустарники до дальних гор, покрытых лесом, озаренным солнцем, и над их вершинами там и здесь, там и здесь, светлые, серебристые, золотистые, пурпуровые, прозрачные облака своими переливами слегка оттеняют по горизонту яркую лазурь»¹.

«Город. Вдали на севере и востоке горы: вдали на востоке и юге, подле на западе, море. Дивный город. Не велики в нем дома, и не роскошны снаружи. Но сколько в нем чудных храмов! Особенно на холме, куда ведет лестница с воротами удивительного величия и красоты: весь холм занят храмами и общественными зданиями, из которых каждого одного было бы довольно ныне, чтобы увеличить красоту и славу великолепнейшей из столиц. Тысячи статуй в этих храмах и повсюду в городе, — статуи, из которых одной было бы довольно, чтобы сделать музей, где стояла бы она, первым музеем целого мира. И как прекрасен народ, толпящийся на площадях, на улицах: каждый из этих юношей, каждая из этих молодых женщин и девушек могли бы служить моделью для статуи. Деятельный, живой, веселый народ, народ, вся жизнь которого светла и изящна. Эти дома, не роскошные снаружи, — какое богатство изящества и высокого умения наслаждаться показывают они внутри: на каждую вещь из мебели и посуды можно залюбоваться. И все эти люди, такие прекрасные, так умеющие понимать красоту, живут для любви, для служения красоте. Вот изгнанник возвращается в город, свергнувший его власть: он возвращается затем, чтобы повелевать, — все это знают. Что ж ни одна рука не поднимается против него? На колеснице с ним едет, показывая его народу, прося

¹ Чернышевский Н.Г. «Что делать? Критика и комментарии». М.: ООО «Издательство «АСТ», 2002. С. 374.

народ принять его, говоря народу, что она покровительствует ему, женщина чудной красоты даже среди этих красавиц, — и, преклоняясь перед ее красотой, народ отдает власть над собою Пизистрату, ее любимцу. Вот суд; судьи — угрюмые старики, народ может увлекаться, они не знают увлечения»¹.

«Здание, громадное, громадное здание, каких теперь лишь по несколько в самых больших столицах, — или нет, теперь ни одного такого! Оно стоит среди нив и лугов, садов и рощ. Нивы — это наши хлеба, только не такие, как у нас, а густые, густые, изобильные, изобильные. Неужели это пшеница? Кто ж видел такие колосья? Кто ж видел такие зерна? Только в оранжерее можно бы теперь вырастить такие колосья с такими зернами. Поля, это наши поля; но такие цветы теперь только в цветниках у нас. Сады, лимонные и апельсиновые деревья, персики и абрикосы, — как же они растут на открытом воздухе? О, да это колонны вокруг них, это они открыты на лето; да, это оранжереи, раскрывающиеся на лето. Рощи — это наши рощи: дуб и липа, клен и вяз, — да, рощи те же, как теперь; за ними очень заботливый уход, нет в них ни одного больного дерева, но рощи те же, — только они и остались те же, как теперь. Но это здание, — что ж это, какой оно архитектуры? Теперь нет такой; нет, уж есть один намек на нее, — дворец, который стоит на Сайденгамском холме: чугун и стекло, чугун и стекло — только. Нет, не только: это лишь оболочка здания, это его наружные стены; а там, внутри, уж настоящий дом, громаднейший дом: он покрыт этим чугунно-хрустальным зданием, как футляром; оно образует вокруг него широкие галереи по всем этажам. Какая легкая архитектура этого внутреннего дома, какие маленькие простенки между окнами, — а окна огромные, широкие, во всю вышину этажей! Его каменные стены — будто ряд пилястров, составляющих раму для окон, которые выходят на галерею. Но какие это полы и потолки? Из чего эти двери и рамы окон? Что это такое? серебро? платина? Да и мебель почти вся такая же, — мебель из дерева тут лишь каприз, она только для разнообразия, но из чего ж вся остальная мебель, потолки и полы? «Попробуй подвинуть это кресло», — говорит старшая царица. Эта металлическая мебель легче нашей ореховой. Но что ж это за металл? Ах, знаю теперь, Саша показывал мне такую дощечку, она была легка, как стекло, и теперь уж есть такие серьги, брошки, да, Саша

¹ Там же. С. 376—377.

говорил, что, рано или поздно, алюминий заменит собою дерево, может быть, и камень. Но как же все это богато! Везде алюминий и алюминий, и все промежутки окон одеты огромными зеркалами. И какие ковры на полу! Вот в этом зале половина пола открыта, тут и видно, что он из алюминия. «Ты видишь, тут он матовый, чтобы не был слишком скользок, — тут играют дети, а вместе с ними и большие; вот и в этом зале пол тоже без ковров, — для танцев». И повсюду южные деревья и цветы; весь дом — громадный зимний сад.

Но кто же живет в этом доме, который великолепнее дворцов? «Здесь живет много, очень много; иди, мы увидим их». Они идут на балкон, выступающий из верхнего этажа галереи. Как же Вера Павловна не заметила прежде? «По этим нивам рассеяны группы людей; везде мужчины и женщины, старики, молодые и дети вместе. Но больше молодых; стариков мало, старух еще меньше, детей больше, чем стариков, но все-таки не очень много. Больше половины детей осталось дома заниматься хозяйством: они делают почти все по хозяйству, они очень любят это; с ними несколько старух. А стариков и старух очень мало потому, что здесь очень поздно становятся ими, здесь здоровая и спокойная жизнь; она сохраняет свежесть». Группы, работающие на нивах, почти все поют; но какой работою они заняты? Ах, это они убирают хлеб. Как быстро идет у них работа! Но еще бы не идти ей быстро, и еще бы не петь им! Почти все делают за них машины, — и жнут, и вяжут снопы, и отвозят их, — люди почти только ходят, ездят, управляют машинами. И как они удобно устроили себе; день зноен, но им, конечно, ничего: над тою частью нивы, где они работают, раскинут огромный полог: как подвигается работа, подвигается и он, — как они устроили себе прохладу!»¹

«Цветы завяли; листья начинают падать с деревьев; картина становится уныла. "Видишь, на это скучно было бы смотреть, тут было бы скучно жить, — говорит младшая сестра, — я так не хочу". — "Залы пусты, на полях и в садах тоже нет никого, — говорит старшая сестра, — я это устроила по воле своей сестры царицы". — "Неужели дворец в самом деле опустел?" — "Да, ведь здесь холодно и сыро, зачем же быть здесь? Здесь из 2000 человек осталось теперь десять — двадцать человек оригиналов, которым на этот раз показалось приятным разнообразием остать-

¹ Там же. С. 384—386.

ся здесь, в глуши, в уединении, посмотреть на северную осень. Через несколько времени, зимою, здесь будут беспрестанные смены, будут приезжать маленькими партиями любители зимних прогулок, провести здесь несколько дней по-зимнему".

— Но где ж они теперь? "Да везде, где тепло и хорошо, — говорит старшая сестра: — на лето, когда здесь много работы и хорошо, приезжает сюда множество всяких гостей с юга; мы были в доме, где вся компания из одних вас; но множество домов построено для гостей, в других и разноплеменные гости и хозяева поселяются вместе, кому как нравится, такую компанию и выбирает. Но, принимая летом множество гостей, помощников в работе, вы сами на 7—8 плохих месяцев вашего года уезжаете на юг, — кому куда приятнее. Но есть у вас на юге и особая сторона, куда уезжает главная масса ваша. Эта сторона так и называется Новая Россия". — "Это где Одесса и Херсон?" — «Это в твоё время, а теперь, смотри, вот где Новая Россия».

Горы, одетые садами; между гор узкие долины, широкие равнины. «Эти горы были прежде голые скалы, — говорит старшая сестра. — Теперь они покрыты толстым слоем земли, и на них среди садов растут рощи самых высоких деревьев: внизу во влажных ложбинах плантации кофейного дерева; выше финиковые пальмы, смоковницы; виноградники перемешаны с плантациями сахарного тростника; на нивах есть и пшеница, но больше рис». — «Что ж это за земля?» — «Поднимемся на минуту повыше, ты увидишь ее границы». На далеком северо-востоке две реки, которые сливаются вместе прямо на востоке от того места, с которого смотрит Вера Павловна; дальше к югу, все в том же юго-восточном направлении, длинный и широкий залив; на юге далеко идет земля, расширяясь все больше к югу между этим заливом и длинным узким заливом, составляющим ее западную границу. Между западным узким заливом и морем, которое очень далеко на северо-западе, узкий перешеек. «Но мы в центре пустыни?» — говорит изумленная Вера Павловна. «Да, в центре бывшей пустыни; а теперь, как видишь, все пространство с севера, от той большой реки на северо-востоке, уже обращено в благодатнейшую землю, в землю такую же, какую была когда-то и опять стала теперь та полоса по морю на север от нее, про которую говорилось в старину, что она «кипит молоком и медом». Мы не очень далеко, ты видишь, от южной границы возделанного пространства, горная часть полуострова еще остается песчаную,

бесплодную степью, какую был в твое время весь полуостров; с каждым годом люди, вы русские, все дальше отодвигаете границу пустыни на юг. Другие работают в других странах: всем и много места, и довольно работы, и просторно, и обильно. Да, от большой северо-восточной реки все пространство на юг до половины полуострова зеленеет и цветет, по всему пространству стоят, как на севере, громадные здания в трех, в четырех верстах друг от друга, будто бесчисленные громадные шахматы на исполинской шахматнице. «Спустимся к одному из них», — говорит старшая сестра.

Такой же хрустальный громадный дом, но колонны его белые. «Они потому из алюминия, — говорит старшая сестра, — что здесь ведь очень тепло, белое меньше разгорячается на солнце, что несколько дороже чугуна, но по-здешнему удобнее». Но вот что они еще придумали: на дальнейшее расстояние кругом хрустального дворца идут ряды тонких, чрезвычайно высоких столбов, и на них, высоко над дворцом, над всем дворцом и на полверсты вокруг него растянут белый полог. «Он постоянно обрызгивается водою, — говорит старшая сестра. — Видишь, из каждой колонны подымается выше полога маленький фонтан, разлетающийся дождем вокруг, поэтому жить здесь прохладно; ты видишь, они изменяют температуру, как хотят». — «А кому нравится зной и яркое здешнее солнце?» — «Ты видишь, вдали есть павильоны и шатры. Каждый может жить, как ему угодно; я к тому веду, я все для этого только и работаю». — «Значит, остались и города для тех, кому нравится в городах?» — «Не очень много таких людей; городов осталось меньше прежнего, — почти только для того, чтобы быть центрами сношений и перевозки товаров, у лучших гаваней, в других центрах сообщений, но эти города больше и великолепнее прежних; все туда ездят на несколько дней для разнообразия; большая часть их жителей беспрестанно сменяется, бывает там для труда, на недолгое время». — «Но кто хочет постоянно жить в них?» — «Живут, как вы живете в своих Петербургах, Парижах, Лондонах, — кому ж какое дело? кто станет мешать? Каждый живи, как хочешь; только огромное большинство, 99 человек из 100, живут так, как мы с сестрою показываем тебе, потому что это им приятнее и выгоднее. Но иди же во дворец, уж довольно поздний вечер, пора смотреть на них»¹.

¹ Там же. С. 387—390.

«Они входят в дом. Опять такой же громаднейший, великолепный зал. Вечер в полном своем просторе и веселье, прошло уж три часа после заката солнца: самая пора веселья. Как ярко освещен зал, чем же? — нигде не видно ни канделябров, ни люстр; ах, вот что! — в куполе зала большая площадка из матового стекла, через нее льется свет, — конечно, такой он и должен быть: совершенно, как солнечный, белый, яркий и мягкий, — ну, да, это электрическое освещение. В зале около тысячи человек народа, но в ней могло бы свободно быть втрое больше. «И бывает, когда приезжают гости, — говорит светлая красавица, — бывает и больше». — «Так что ж это? разве не бал? Это разве простой будничным вечер?» — «Конечно». — «А понынешнему, это был бы придворный бал, как роскошна одежда женщин, да, другие времена, это видно и по покрою платья. Есть несколько дам и в нашем платье, но видно, что они оделись так для разнообразия, для шутки; да, они дурачатся, шутят над своим костюмом; на других другие, самые разнообразные костюмы разных восточных и южных покровов, все они грациознее нашего; но преобладает костюм, похожий на тот, какой носили гречанки в изящнейшее время Афин, — очень легкий и свободный, и на мужчинах тоже широкое, длинное платье без талии, что-то вроде мантий, иматиев; видно, что это обыкновенный домашний костюм их, как это платье скромно и прекрасно! Как мягко и изящно обрисовывает оно формы, как вышает оно грациозность движений! и какой оркестр, более стартистов и артисток, но особенно, какой хор!» «Да, у вас в целой Европе не было десяти таких голосов, каких ты в одном этом зале найдешь целую сотню, и в каждом другом столько же: образ жизни не тот, очень здоровый и вместе изящный, потому и грудь лучше, и голос лучше», — говорит светлая царица. Но люди в оркестре и в хоре беспрестанно меняются: одни уходят, другие становятся на их место, — они уходят танцевать, они приходят из танцующих.

У них вечер, будничным, обыкновенным вечер, они каждый вечер так веселятся и танцуют; но когда же я видела такую энергию веселья? но как и не иметь их веселью энергии, неизвестной нам? — Они поутру наработались. Кто не наработался вдоволь, тот не приготовил нерв, чтобы чувствовать полноту веселья. И теперь веселье простых людей, когда им удается веселиться, более радостно, живо и свежо, чем наше; но у наших простых людей скудны средства для веселья, а здесь средства богаче,

нежели у нас; и веселье наших простых людей смущается воспоминанием неудобств и лишений, бед и страданий, смущается предчувствием того же впереди, — это мимолетный час забытья нужды и горя — а разве нужда и горе могут быть забыты вполне? разве песок пустыни не заносит? разве миазмы болота не заражают и небольшого клочка хорошей земли с хорошим воздухом, лежащего между пустынею и болотом? А здесь нет ни воспоминаний, ни опасений нужды или горя; здесь только воспоминация вольного труда в охоту, довольства, добра и наслаждения, здесь и ожидания только все того же впереди. Какое же сравнение! И опять: у наших рабочих людей нервы только крепки, потому способны выдерживать много веселья, но они у них грубы, не восприимчивы. А здесь: нервы и крепки, как у наших рабочих людей, и развиты, впечатлительны, как у нас; приготовленность к веселью, здоровая, сильная жажда его, какой нет у нас, какая дается только могучим здоровьем и физическим трудом, в этих людях соединяется со всею тонкостью ощущений, какая есть в нас; они имеют все наше нравственное развитие вместе с физическим развитием крепких наших рабочих людей: понятно, что их веселье, что их наслаждение, их страсть — все живее и сильнее, шире и сладостнее, чем у нас. Счастливые люди!»¹.

Столь длинное цитирование потребовалось мне для того, чтобы читатель вспомнил и вновь ощутил все достоинства теоретического багажа «новых людей» как альтернативы людям в России существующим, тем более что и в дальнейшем это главное содержание темы настоящего тома исследования будет востребовано в связи с другими авторами и произведениями.

* * *

Большевики во главе с Лениным, совершившие вооруженный переворот в России в октябре 1917 года, нуждались в переписывании истории для обоснования необходимости и даже неизбежности своих действий. И Чернышевский, равно как и «перелицованный» под революционного демократа Герцен², в этом качестве им был необходим. Не случайно Ленин в своей книге, названной так же, как и роман Чернышевского, писал: «...роль передового борца может выполнить только партия, руководи-

¹ Там же. С. 391—392.

² В связи с этим я хотел бы сослаться на свою статью «А.И. Герцен: дворянский революционер, но не революционный демократ» // Вопросы философии, 2010. № 12.

мая передовой теорией. а чтобы хоть сколько-нибудь конкретно представить себе, что это означает, пусть читатель вспомнит о таких предшественниках русской социал-демократии, как Герцен, Белинский, Чернышевский...»¹

Еще более откровенно на этот счет высказывался Сталин: «Руководители революционных рабочих всех стран с жадностью изучают поучительнейшую историю рабочего класса России, его прошлое, прошлое России, зная, что кроме России реакционной существовала еще Россия революционная, Россия Радищевых и Чернышевских, Желябовых и Ульяновых, Халтуринных и Алексеевых»².

Мнение о рассматриваемом романе «Что делать?» было бы неполным без того, чтобы не привести оценки тех современников, которые хотя и не разделяли взглядов революционного демократа Чернышевского, но все же стояли рядом с ним по одну сторону баррикад. В этой связи интересна точка зрения Герцена, занимавшего, вопреки ленинской перелицовке истории, умеренно-либеральные позиции и выступавшего против революционных идей, за реформационные преобразования. Отмечу, что поскольку в романе «Н.Г.Ч.» нет прямых призывов к революционному насилию, то и повода для прямой конфронтации у Герцена нет. В этой связи он ценит роман как взгляд на возможную проекцию развития страны, и в этой связи — на «новых людей». Вот его мнение, высказанное в письме к Огареву.

«Когда ты начнешь роман Чернышевского? Это очень замечательная вещь — в нем бездна отгадок и хорошей и дурной стороны ультралибералистов. Их жаргон, их аляповатость, грубость, презрение форм, натянутость, комедия простоты — много хорошего, здорового, воспитательного... Но, боже мой, что за слог, что за проза в поэзии (сны Веры Павловны), что за представитель семинарии и Васильевского острова!»³ И далее: «Господи, как гнусно написано, сколько кривлянья... что за слог!.. Мысли есть прекрасные, даже положения — и все полито из семинарски-петербургски-мещанского урыльника...»⁴

¹ Ленин В.И. Соч. Т. 5. С. 342. Цит. по: Баскаков В.Г. Мировоззрение Чернышевского. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1956. С.3.

² Там же. С. 8.

³ Цит. по: Пирумова Н.М. Александр Герцен. Революционер, мыслитель, человек. М.: «Мысль», 1989. С. 196.

⁴ Там же. С. 195.

Итак, с одной стороны, «хорошее, здоровое, воспитательное», а с другой — все это все-таки только мысли «ультранигилистов», то есть не тех, кто способен к созиданию и для кого переделка (реформирование) существующего является только начальной стадией процесса преобразования.

Несколько позднее, в восьмидесятые годы, в связи с повестью Ф.М. Достоевского «Записки из подполья» и рассказом «Крокодил», написанных в известном смысле как критический ответ на роман «Что делать?» и на появление в общественной жизни отдельных типажей такого же рода, внимание к этому произведению Чернышевского было возбуждено вновь. Однако и критические доводы против его идей стали более серьезны. Так, одно из самых глубоких возражений принадлежит В.С. Соловьеву, высказанному в «Третьей речи» в память Достоевского (февраль 1883 года). Приведу его подробно.

По мнению философа, наступивший после отмены крепостного права исторический период развития российского общества характеризуется тем, что получившая еще при крещении залог высшей духовной веры Россия теперь ищет для себя «свободного нравственного определения». В эту пору нравственного брожения для нее все неумолимо встает вопрос: для чего жить и что делать? Однако «спрашивать прямо: что делать? — значит предполагать, что есть какое-то *готовое* дело, к которому нужно только приложить руки, значит — пропускать другой вопрос: готовы ли сами делатели?». Этим перенесением акцента Соловьев сразу же обезоруживает казавшуюся твердокаменной аргументацию сторонников революционного насилия. Дело, по Соловьеву, не в том, что загодя есть какое-то истинное содержание, истинная концептуальная модель, «единственно верная теория» (как любили повторять марксисты), существующая независимо от людей, и задача лишь в том, чтобы в соответствии с этой теорией изменить действительность, в которой сами собой окажутся и каким-то счастливым и неизвестным образом измененные люди. «Теория» не падает с неба, а люди не меняются по команде и мгновенно.

«...Во всяком человеческом деле, большом и малом, физическом и духовном, одинаково важны оба вопроса: что делать и кто делает? ...Предмет дела и качества делателя неразрывно связаны между собою во всяком деле: а там, где эти две стороны разделяются, там настоящего дела и не выходит. Тогда прежде всего искомое дело раздвояется. С одной стороны — выступа-

ет образ идеального строя жизни, устанавливается некоторый определенный «общественный идеал». Но этот идеал принимается независимо ни от какой внутренней работы самого человека: он состоит только в некотором, заранее определенном и извне принудительном экономическом и социальном строе жизни; поэтому все, что может человек сделать для достижения этого *внешнего* идеала, сводится к устранению внешних же *препятствий* к нему. Таким образом, сам идеал является исключительно только в будущем, а в настоящем человек имеет дело только с тем, что противоречит этому идеалу, и вся его деятельность от несуществующего идеала обращается всецело на разрушение существующего, а так как это последнее держится людьми и обществом, то все это дело обращается в насилие над людьми и целым обществом. Незаметным образом общественный идеал подменяется противоположной деятельностью. На вопрос: что делать? — получается ясный и определенный ответ: убивать всех противников будущего идеального строя, т.е. всех защитников настоящего». Забегая несколько вперед, нельзя не отметить: в полной мере и детально обрисована российская ситуация Октябрьского переворота и первых лет Советской власти.

«При таком решении дела, — продолжает Соловьев, — вопрос: готовы ли делатели? — действительно является излишним. Для *такого* служения общественному идеалу человеческая природа в теперешнем своем состоянии и с самых худших своих сторон является вполне готовой и пригодной. В достижении общественного идеала путем разрушения все дурные страсти, все злые и безумные стихии человечества найдут себе место и назначение; такой общественный идеал стоит всецело на почве господствующего в мире зла. Он не представляет своим служителям никаких нравственных условий, ему нужны не духовные силы, а физическое насилие, он требует от человечества не *внутреннего обращения*, а *внешнего переворота*»¹.

Провидчески обрисованная В.С. Соловьевым ситуация общественного преобразования однозначно делала акцент на упорной реформаторской работе, на идеале «*внутреннего обращения*, а не *внешнего переворота*». Вот почему крестный отец краха России в октябре 1917 года, Ленин всегда числил революционера Н. Чернышевского своим духовным предшественником и ненавидел реформатора Вл. Соловьева.

¹ Соловьев В.С. Литературная критика. М.: Современник, 1990. С. 51—52.

* * *

Не обошли своим вниманием фигуру Чернышевского и его романы специалисты «позднего» советского времени, в том числе и те, кто активно переосмысливал наше прошлое в период так называемой перестройки. Прежде всего, я имею в виду исследование А.И. Володина, Ю.Ф. Карякина и Е.Г. Плимака «Чернышевский или Нечаев?». Сопоставляя эти два исторических персонажа, авторы ставят перед собой цель показать «трудность перехода от теоретической революционной мысли к революционному делу, трудность, возникающую в любом достаточно широком освободительном движении XIX в.». По их справедливому замечанию, «эти трудности «перевода» теории в практику удесятерились в странах полуфеодальных, с самодержавным политическим строем»¹. Что же касается «подлинного» Чернышевского, то он не столько «предшественник» ленинско-сталинского большевизма и революционаризма (хотя такие термины авторы, естественно, в то время употреблять не могли), сколько мыслитель, настроенный реформистски, развивавший идеи предпочтительности эволюционного пути развития общества. «Обыкновенный путь, — приводит слова «Н.Г.Ч.» А.И. Володин с соавторами, — к изменению гражданских учреждений нации — исторические события (читай: революции. — *Авт.*) ... Подобным путем всегда изменялись гражданские учреждения во Франции; до конца XVII века им изменялись они и в Англии. Но этот способ слишком дорого обходится государству, и счастлива нация, когда прозорливость ее законодателя предупреждает ход событий. ...В Англии прочный законный порядок, которого никто не осмеливается и никто не желает нарушать, потому что мирным путем законного требования и прения торжествует всякая сознанная обществом потребность; во Франции этого нет, там как ни ясно сознавай общество, как ни разумно доказывай оно необходимость реформы, реформа достигается только насильственным путем, — вот главное различие». И продолжают: Чернышевским «эволюционное движение мыслится как предпочтительное, но возможное только после того, как общество пройдет фазу революций, после того, как изменится его социальная и политическая структура»².

¹ Володин А.И., Карякин Ю.Ф., Плимак Е.Г. Чернышевский или Нечаев?: о подлинной и мнимой революционности в освободительном движении России 50—60-х годов XIX века. М.: «Мысль», 1976. С. 6—7.

² Там же. С. 23.

Более того, в подтверждение своей гипотезы авторы цитированного исследования ставят вопрос о поиске Чернышевским реформационного тренда в действиях администрации Александра II, в том числе — в анализе понятия «государственный человек»¹. По их мнению, на этом пути «Н.Г.Ч.» доходит до выражения «признательности» в адрес дворянских революционеров. Они цитируют знаменательные слова Чернышевского на этот счет: «Беспристрастный человек едва ли станет отрицать, что в дворянском сословии находилось и находится очень много людей, заслуживающих признательность патриота своими заслугами делу общественной жизни вообще, и, в частности, находится много людей, самым благородным и полезным образом содействовавших разрешению вопроса о крепостном праве.

...Редкое благородство и бескорыстие в образе мыслей соединялось у этих людей с доблестью воли, столь же редкою. Эти люди — лучшие граждане своей родины. За таких людей извиняются недостатки всей нации, как же не примириться ради них с сословием, к которому, в частности, они принадлежат?»²

Итак, постепенность перемен, наличие в среде правящего класса тех, кто не готов отстаивать его жизненные интересы. И наконец, понимание того, что реформаторский путь может быть достаточно длинным. Так, еще в XVII веке Мильтон и Локк просвещали своих современников англичан относительно необходимости введения конституции и предусмотренных ею свобод. Но реальностью это стало только в XIX веке.

Вместе с тем приведенные тезисы относительно умеренности позиции Чернышевского отнюдь не значат, что «Н.Г.Ч.» вовсе отказывался от идеи революционного развития России, пути хотя и менее предпочтительного, но зато, с его точки зрения, более реального. Не вызывает сомнений, что позиция безымянного автора «Письма из провинции» (возможно, Н. Огарева, а возможно, как полагает А.И. Володин с соавторами, Н. Добролюбова) была близка, если не разделялась Чернышевским в полной мере. Вот строки из этого документа: «Нет, наше положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не поможет! Эту мысль уже вам, кажется, высказывали, и оно удивительно верно, другого спасения нет. Вы все сделали, что могли, чтобы содействовать мирному решению дела, пере-

¹ Там же. С. 29—32.

² Там же. С. 38.

мените же тон, и пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит в набат! к топору зовите Русь. Прощайте и помните, что сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царей, и не вам ее поддерживать»¹.

Реформа 1861 года не оправдала надежд ни народа, ни умеренных реформаторов, ни тем более революционно настроенных слоев. В своих «Письмах без адреса» Чернышевский дает критическую оценку событий этого периода, в результате которых «общие принципы прежнего порядка были оставлены в покое», а дело свелось к частным преобразованиям, при которых интересы дворянства почти не были затронуты и произошел грабеж крестьян под видом их освобождения.

Выход из создавшегося положения Чернышевский видит в самодеятельности народа. Однако что это такое, он и сторонники решительных действий из «левого» лагеря революционной демократии, которых не страшили «реки крови» и которые взывали к «неумолимости» топора, понимали по-разному. И точка зрения «Н.Г.Ч.», как полагают А.И. Володин и его соавторы, нашла свое полное воплощение в романах о «новых людях».

По их мнению, разговор о «новых людях» ведется Чернышевским в более широком контексте — прежде всего, его понимания «общего хода истории». Ход этот таков, что реакция ведет сначала к умеренной, а затем и к резкой критике; радикализм ведет к умеренному, а затем и к реакционному консерватизму, а потом — снова к умеренному либерализму. В этой логике будущее сулит революционерам не «почивание на лаврах» победы, а «изгнание со сцены», отложенное во времени удовлетворение победными результатами. К тому же дело революции никогда не бывает сделано с первого раза, и этому в немалой степени способствуют так называемые плуты — бесчестные политики, вместе с реакцией «сгоняющие со сцены» революционеров. Да и «неглупые люди» обладают тем свойством, что не позволяя водить себя за нос поодиночке, очень даже склонны к этому, будучи объединены в группы. «Тайной всемирной истории» Чернышевский полагает тот факт, что «на ход исторических событий гораздо сильнее влияние имели отрицательные качества человека, нежели положительные». А вот разгадка этой тайны, по мнению А.И. Володина и его соавторов, состоит в том, что тайна эта до сих пор была тайной для эксплуататор-

¹ Там же. С. 133—134.

ского общества, в котором государственная власть отчуждена от народа. «Используя ее (власти. — С.Н.) рычаги, «плуты» вроде Миттерниха или Наполеона и получали возможность до поры до времени распоряжаться жизнью и судьбами миллионов людей»¹.

Что же касается самого феномена «новых людей», то это, по мнению авторов исследования «Чернышевский или Нечаев?», люди почти идеальные, с набором всевозможных добродетелей и высоких личных качеств. И это, утверждают они, не только «идеальный тип», но «жизненный образ» многих соратников «Н.Г.Ч.», к которым они, впрочем, относят не только революционных демократов, но и дворянских революционеров. В этом их оценки совпадают с мнением Ленина, который полагал, что для него, равно как и для многих поколений русских революционеров, роман «Что делать?» дал «заряд на всю жизнь»².

* * *

Рассмотрев основные идеи романа «Что делать?», можно обратиться к более позднему и более зрелому произведению Н.Г. Чернышевского — написанному в ссылке роману «Пролог» (1867—1871 гг.). И хотя оба произведения описывают общественную жизнь 50-х годов XIX столетия, но во втором, по общему признанию исследователей, читатель имеет дело с Чернышевским, который начал избавляться от радужных «романтических» ожиданий 1861—1862 годов (времени написания «Что делать?») и осмысливать сложность движения страны по «европейскому пути» в реалиях поражения России в Крымской войне. В это время, как замечает один из большевистских почитателей «Н.Г.Ч.», соратник Ленина А.В. Луначарский, писатель уже «скептически относился к надеждам революционного порядка... Блестящим и раздирающим памятником этих сомнений, этого научного скептицизма Чернышевского является так мало оцененный в нашей литературе роман его "Пролог"»³.

Будучи вынужденным для полноты исследования обратиться к очередному произведению «Н.Г.Ч.», не могу не «отвести душу» повторным обращением к оценке Герцена относительно «художественных достоинств» произведения: «Господи, как гнусно написано, сколько кривлянья... что за слог!..» Однако

¹ Там же. С. 178.

² Ленин В.И. О литературе и искусстве. М., 1960. С. 650.

³ Луначарский А.В. Статьи о литературе. М., 1957. С. 287.

этой оценки, без сомнения, не существовало для советского литературоведения, поскольку оно выполняло титаническую работу, оправдывая революционаризм и тем расчищая авгиевы конюшни советского тоталитаризма, для чего, в частности, вело непримиримую борьбу с дворянскими революционерами и либералами. Так, например, в комментариях ко второму тому собрания сочинений Чернышевского читаем: «Рисую картину борьбы и споров вокруг реформы, писатель показывает ее сугубо буржуазный характер. Разоблачая крепостников, он с не меньшей, если не с большей яростью нападает на «прекраснодушных» либералов, маскировавших свои истинные интересы красивыми фразами о «благе народа». «Красноречивые партизаны разных прекрасных идей», как презрительно называл он либералов еще в романе "Что делать?", наносили большой вред освободительному движению в России, и революционные демократы вели с ними непримиримую борьбу»¹. По мнению советских литературоведов, в этом романе Чернышевский изображает себя и ряд видных деятелей своего времени. Себя — в образе Волгина, в Савелове — одного из главных авторов реформы 1861 года — Н.А. Милютина, в образе генерал-адъютанта Чаплина — М.Н. Муравьева-«вешателя», в образе Румянцева — либерала К.Д. Кавелина, в Левицком — критика Н.Г. Добролюбова.

Тема романа «Пролог» — общественно-политическая борьба накануне реформы Александра II по отмене крепостного права. И если позиции либералов открыто высмеиваются, то вдвойне интересно остановиться на точке зрения самого Чернышевского — в романе Волгина. Вот фрагмент его рассуждений по вопросу о том, из-за чего ведется борьба между прогрессистами (либералами) и помещичьей партией.

«Из-за того, с землею или без земли освободить крестьян. Это колоссальная разница.

— Нет, не колоссальная, а ничтожная, — находил Волгин. — Была бы колоссальная, если бы крестьяне получили землю без выкупа. Взять у человека вещь или оставить ее у человека, но взять с него плату за нее — это все равно. План помещичьей партии разнится от плана прогрессистов только тем, что проще, короче. Поэтому он даже лучше. Меньше проволочек, — вероятно, меньше и обременения для крестьян. У кого из крестьян

¹ *Осьмаков Н.* Примечания. // Чернышевский Н.Г. Собрание сочинений в пяти томах. М.: Правда, 1974. Т. 2. С. 524.

есть деньги, те купят себе землю. У кого нет, тех нечего и обязывать покупать ее: это будет только разорять их. Выкуп — та же покупка. Если сказать правду, лучше пусть будут освобождены без земли»¹.

Волгин, однако, не изображается исключительным провидцем. В какой-то момент он «попадает» на либеральный замысел так подать дело об освобождении крестьян, чтобы сравнительно некрупные помещики (владельцы тысяч, а не десятков тысяч душ) стеснили себя согласием с хитрым либеральным замыслом. Для этого предполагалось вначале подать им более радикальный вариант, а после, когда он будет отвергнут, им будет «легче» согласиться с вариантом умеренным, но все же достаточно радикальным. Для этого надо речами и искусным дипломатическим «штурмом покорить провинциальных магнатов».

Впрочем, скоро этот замысел потерпел крах. Дело, согласно очередным «снам» «Н.Г.Ч.», приняло совсем иной оборот, и Волгин погружается в мрачные размышления: «Жалкая нация, жалкая нация! Нация рабов, — снизу доверху, все сплошь рабы...» — думал он и хмурил брови.

Он не любил дворянства. Но бывали минуты, когда он не имел вражды к нему. Можно ли ненавидеть жалких рабов?»² Таково основное смысловое ядро первой части романа «Пролог», названное «Пролог пролога».

Если посмотреть на вторую часть романа «Пролог» — «Из дневника Левицкого за 1857 год» — как на продолжение размышлений, рассмотренных в части первой и — шире — в контексте романа «Что делать?», то в ней прежде всего интересны следующие идеи. Российское общество, как полагает Левицкий, «не занимается ничем, кроме пустяков». К таковым он, как ни странно, относит и вопрос об освобождении крестьян. Сравнивая их освобождение с освобождением невольников-рабов в США, он указывает на значительную, как полагает, разницу. Положение негров на свободном севере и крепостническом юге было радикально различно. В России иное. Во-первых, жизнь вольных и крепостных мужиков различалась не в пример меньше. Во-вторых, отмена крепостного права сводится к тому, что крестьянин не получает землю даром, а платит. К тому же платит не за землю (сама земля цены не имеет), а за право ра-

¹ Чернышевский Н.Г. Собрание сочинений в пяти томах. М.: Правда, 1974. Т. 2. С. 240.

² Там же. С. 252.

ботать на ней. Так было до отмены крепостного права, так осталось и после его отмены.

Но до отмены крепостного права помещик по отношению к крестьянину имел не только имущественную, но и административную власть. Пусть, например, из двадцати миллионов крестьян, находившихся под управлением помещиков, двести тысяч имели плохих хозяев. Они, естественно, от реформы выиграют. Но остальные-то имели помещиков хороших. А ведь известно, что наилучший администратор тот, кто имеет прямую личную выгоду от благосостояния управляемых. Так вот теперь, после реформы, подавляющее большинство крестьян таких администраторов лишается. А в сочетании с необходимостью платить за право работать на земле их положение делается еще хуже.

Но все это, — передает Левицкий свой разговор с Волгиным, — «вздор перед общим характером национального устройства». А вот этот «общий характер национального устройства», — полагает Волгин, — который должен «охранять правду и защитников ее», и есть то наиболее серьезное, чем следует заниматься.

К сожалению, «общество не хочет думать ни о чем, кроме пустяков», в том числе не желает допустить литературы, которая бы занималась не пустяками. «Всякая серьезная мысль ненавистна ему», и нечего пытаться навязывать обществу того, что ему ненавистно. Надо ждать. «Придет серьезное время. Когда?» Не важно. Надо сохранить себя для него. И ждать, пока в Европе, скорее всего во Франции, «не подымется буря и не пойдет по остальной Европе, как это было в 1848 году».

Сказать, что это непременно будет, нельзя. Это только вероятно. Хорошо ли это? Не очень. Лучше, если улучшения пойдут постепенно. И «чем ровнее и спокойнее ход улучшений, тем лучше».

...Но так или иначе, придет серьезное время. Почему это несомненно? Потому, что связи наши с Европою становятся все теснее, а мы слишком отстали от нее. Так или иначе, она подтянет нас вперед к себе.

Придет серьезное время. Пойдут вопросы о благе народа. Нужно будет кому-нибудь говорить во имя народа. Я должен буду приберечь себя к тому времени¹. Такова позиция Левицкого. Такова ли позиция самого «Н.Г.Ч.»? Вполне вероятно. Во всяком случае, по воспоминаниям его современни-

¹ Там же. С. 312—316.

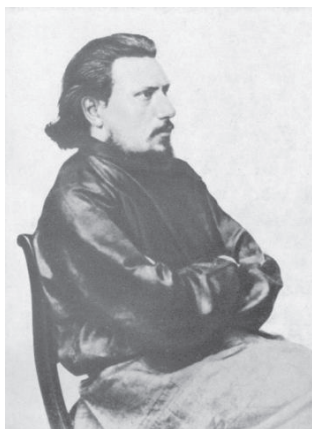
ков — идейных соратников, главные его надежды были связаны именно с продуктивной работой по изменению самого русского народа. В Европе, считал он, демократические партии привыкли идеализировать народ, «возлагать на него такие надежды, которые никогда не осуществлялись, а приводили еще к горшему разочарованию. ...Он, Чернышевский, знает, что центр тяжести лежит именно в народе, в его нуждах, от игнорирования которых погибает и сам народ, как нация или как государство. Но только ни один народ до сих пор не спасал сам себя... Сама история не давала указаний на этот путь; его не открыли пока ни практика, ни теория политики. До сих пор получавший власть народ только разрушал свое счастье, и партии, даже народные, получая власть в свои руки, также не могли направить ее на благо народа. Но при власти партий все же более вероятности сделать что-нибудь в пользу народа, чем при отсутствии всяких политических форм, а следовательно, и всякой возможности предпринять что-либо в указанном направлении»¹.

Завершая рассмотрение романного творчества Н.Г. Чернышевского под углом зрения его главной идеи — появления в России «новых людей», еще раз отмечу то, с чего начал. Дошедший до нас «Н.Г.Ч.» — не только сложный феномен, составленный из собственных, закамуфлированных из-за цензуры образов и идей, но и результат исторической преформации позднейшего коммунистически-советского тоталитаризма. Насколько нам необходимо и значимо разобраться в этом феномене сегодня — вопрос, на который ответит само время. Для меня же, в рамках исследования процесса развития русского мировоззрения в контексте литературно-художественного и философского творчества, важно было остановить на нем внимание прежде всего как на мыслителе, не только поставившем тему «нового человека», но и сделавшем ее новым идейным направлением. И по нему, этому направлению, как будет показано далее, пошли многие, для многих же содержание этого направления явно показало его ложность.

¹ «Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников». Саратов, 1959. Т. 2. С. 135—136.

Глава 5

МОРАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА «НОВЫХ ЛЮДЕЙ» В РАННЕЙ ПРОЗЕ Н.С. ЛЕСКОВА



Творчество **Николая Семеновича Лескова (1831—1895)** — одного из величайших русских писателей XIX столетия в силу ряда обстоятельств долгое время не оценивалось по достоинству. Так случилось потому, что в начале 60-х годов, в то время, когда Лесков только начинал свою писательскую карьеру¹, российская общественная и культурная жизнь была чрезвычайно политизирована. Разворачивающиеся в стране события были столь серьезны и значимы для будущего, что положение писателя, пытавшегося неспешно, глубоко и по возможности бес-

пристрастно разобраться в их существе, было очень непросто. Острота, важность и злободневность стоящих перед Россией как актуальных, так и «проклятых» вопросов требовали однозначных, быстрых и определенных ответов. Казалось, само время исключало возможность спокойного анализа и глубоко продуманных выводов, учета особенностей и полутонов. А.М. Горький по этому поводу отмечал: «В рассказах Лескова все почувствовали нечто новое и враждебное заповедям времени... Лесков сумел не понравиться всем: молодежь не испытывала от него привычных ей толчков "в народ", напротив, в печальном рассказе «Овцебык» чувствовалось предупреждающее — "Не зная броду — не суйся в воду!"... Людям необходимо было верить в свободомыслие мужика, в его жажду социальной правды, а Лесков печатает рассказ "Овцебык", в этом рассказе семинарист пытается внушить мужикам, что вся-

¹ Об обстановке, в которой начинал писать Н.С. Лесков, см. подробную статью Л.А. Аннинского «Катастрофа в начале пути» в т.1 собрания сочинений Н.С. Лескова в шести томах. М.: АО «Экран», 1993.

кий лесопромышленник — враг им, мужики соглашаются с пропагандистом... «Это ты правильно!» и тотчас доносят на него купцу: «Гляди, он не в порядке!» Бедняга пропагандист повесился, убедясь, что "через купца — не перескочишь"¹.

В известной степени о реакции на свое раннее творчество Лесков мог бы сказать то, что говорил о себе после опубликования «Дыма» Тургенев: его все и со всех сторон «принялись бить палками». Однако в обозначенном положении между Тургеневым и Лесковым имелось существенное отличие. За плечами у автора «Записок охотника» стояло всероссийское и мировое признание, он уже более полутора десятков лет был известен как один из лучших русских писателей. Лесков же, достигший к тому времени тридцатилетнего рубежа, тем не менее свою писательскую карьеру только начинал. Вот почему его положение — необходимость обороны от нападков как со стороны революционно-демократического, так и со стороны право-либерального и правительственного лагеря — было несравненно более сложным.

Задаваясь вопросом о том, почему Н.С. Лесков так поздно начал писать, его сын Андрей в фундаментальном исследовании об отце ответа на этот вопрос не находит, ограничиваясь лишь констатацией очевидного: «Трехлетние деловые странствия по родной земле ознакомили с экономикой и бытовыми условиями всех слоев населения в самых различных участках России, со всем многообразием отраслей промышленности в каждой отдельной местности. Все это приковывало к себе жадное внимание любознательного, молодого, наблюдательного и хорошо подготовленного жизнью Лескова»².

Нападки были сильны. Революционные демократы не могли согласиться с его критическим изображением персонажей-нигилистов, с его отрицанием идеи о возможности насильственного прогрессивного переустройства русского мира. (Вспомним хотя бы критическую статью Лескова о романе Чернышевского «Что делать?».) Либералы, солидаризируясь с ним в неприятии самодержавно-крепостнических порядков, в то же время не прощали писателю изображения «ходатаев за народ» людьми хотя и заблуждающимися, но, как правило, субъективно чест-

¹ Горький М. Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941. С. 90, 91.

² Лесков А. Жизнь Николая Лескова. По его личным, семейным и семейным записям и памятям: В 2 т. М., Художественная литература, 1984. Т. 1. С. 186.

ными. Объективно возникшая ситуация травли была усугублена также и тем, что в отношении тех, кто считал писателя идейным противником, Лесков не вырабатывал какой-либо тактики, равно как и не производил отбора среди исследуемых явлений. Так, например, в своих публицистических очерках «Из мелочей архиерейской жизни» он воссоздал ряд бытовых картин, в которых, в дополнение к уже критически обрисованным в его текстах социальным группам, присовокупил изображенных в неблагоприятном свете высших духовных иерархов.

В общем, «критики не знали, как быть с Лесковым — с каким общественным направлением связать его творчество. Не реакционер (хотя объективные основания для обвинения его в этом были), но и не либерал (хотя многими чертами своего мировоззрения он был близок к либералам), не народник, но тем более не революционный демократ, Лесков (как позднее и Чехов) был признан буржуазной критикой лишенным «определенного отношения к жизни» и «мировоззрения». На этом основании он был зачислен в разряд «второстепенных писателей», с которых много не спрашивается и о которых можно особенно не распространяться»¹.

Традиция неприятия лесковского творчества продолжалась и в советское время, и причина этого заключалась в том, что, за исключением небольшого числа произведений, автор не вписывался в коммунистическую трактовку «проклятого прошлого» и «новых людей», как они подавались в романах того же «Н.Г.Ч.». Да и в прямых текстах о современности Лесков давал такие оценки современной ему революционной демократии, что лучшее, что можно было сделать «зодчим коммунистического сознания», — не упоминать о них вовсе. Глубокий знаток жизни, автор «Некуда» понимал, что если в результате «насилия во благо» и можно помыслить достижение какого-то позитивного результата, то польза от него будет многократно перекрыта ответным насилием, неминуемо становящимся «насилием во зло». Впрочем, доводы о том, что зло рождает только зло и от этого его в мире становится только больше, не доходили до сознания советских партийно-государственных функционеров, и потому Лесков фактически был под запретом вплоть до середины 50-х — начала 60-х годов XX столетия.

¹ Громов П., Эйхенбаум Б. Н.С. Лесков (Очерк творчества) // Лесков Н.С. Собр. соч. в 11 т. М.: Гос. изд-во художественной литературы, 1956. С. XV.

Между тем Лесков знал и живописал русского человека, крестьянина в том числе, основательно, беспристрастно и детально. Сам он по этому поводу говорил так: «Я смело, даже, может быть, дерзко, думаю, что я знаю русского человека в самую его глубь, и не ставлю себе этого ни в какую заслугу. Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, а я вырос в народе на гостомельском выгоне с казанком в руке, я спал с ним на росистой траве ночного, под теплым овчинным тулупом, да на замашной панинской толчее за кругами пыльных замашек, так мне непристойно ни поднимать народ на ходули, ни класть его себе под ноги. Я с народом был свой человек...»¹

Такие заявления, естественно, не означали писательского автоматически «высокого мнения» о русском народе, как того требовали, например, славянофилы. Лесков беспристрастно изображал разных людей из народа, разную народную жизнь. Так, в первые годы писательства он, по свидетельству сына, «о чем только не писал» — «о борьбе с народным пьянством, о торговой кабале, о раскольничьих браках, о колонизационном расселении малоземельного крестьянства, о поземельной собственности, о народном хозяйстве, о лесосбережении и о дворянской земельной ссуде, о женской эмансипации, о народной нравственности, о привилегиях, о народном здоровье, об уравнивании в правах евреев и т.д.»².

Стремление Лескова к изображению действительности «как она есть» также не означало отсутствия у него собственной политической позиции. Напротив, в 1863 году в «Письмах из Парижа» Лесков отмечает: «...в литературе последовал великий раскол: из одного лагеря, с одним общим направлением к добру, образовались две партии: "постепеновцев" и "нетерпеливцев"... я тогда остался с "постепеновцами", умеренность которых мне казалась более надежною»³. В целом, отвергая любое действие, ведущее к насильственному переустройству русского мира, Лесков четко обозначал себя поборником деятельного, позитивного начала, в частности — активной торгово-промышленной деятельности, всего, что открывало дорогу буржуазного развития страны.

Вот как пишет по этому поводу один из современных серьезных исследователей его творчества, Л.А. Аннинский:

¹ Лесков А. Там же. С. 192.

² Лесков А. Там же. С. 197.

³ Лесков Н. «Воспоминания о П. Якушкине». в кн.: «Сочинения Павла Якушкина». 1884, СПб, с. L.

«Направление» Лескова — это "направление" широкого демократизма; это позиция человека, безусловно принимающего и поддерживающего реформы, человека безусловно прогрессивных взглядов, человека, безусловно враждебного охранительству, ретроградности и бюрократическому застою русской жизни. Лесков вышел из разночинства, он рано сознал себя как просветитель, "конституционалист" и сторонник реального раскрепощения народа; он в этих убеждениях был тверд и никогда им не изменил. При этом учтем и то, что, в отличие, скажем, от Достоевского с его общечеловеческими безднами и Толстого с его нравственным максимализмом, Лесков в вопросах реальной политики — человек здравого смысла и практически трезвого взгляда на вещи. Именно поэтому он — "постепеновец" и "реформист", противник крайних радикалов и изболититель бунтарских элементов в общественном движении. Он боится практического срыва, боится реальной реакции, боится ответной крайности — и все его знание России, весь его жизненный опыт, вся выношенная за тридцать лет установка на практический результат, а не на "отвлеченную философию", — все это вполне объясняет его "направление"»¹.

Позиция «постепеновца», само собой, была неприемлемой для писателей и критиков революционно-демократической ориентации, о чем без обиняков заявлял, например, Д. Писарев: «На таких джентльменов, как гг. Писемский, Ключников и Стебницкий (тогдашний псевдоним Н. Лескова. — С.Н.), все здравомыслящие люди смотрят как на людей отпетых. С ними не рассуждают о направлениях; их обходят с тою осторожностью, с какою благоразумный путник обходит очень топкое болото»².

Говоря о начальном периоде творчества Лескова, обязательно нужно сказать и о времени, в которое он начал писать. Отмена крепостного права, произведенная «сверху» правительством-«европейцем», дарованные свободы и реформы далеко не всеми оценивались как благо, да и безусловным благом не были. Значительные социальные слои, в том числе и среди земледельческого сословия, вовсе не считали сделанное делом добрым и полезным. Малоземельное крестьянство, получив не столько землю, сколько возможность ее выкупа и перспективу стать собственником, в лице значительного числа «слабосильных»

¹ См. цит. ст. Л.А. Аннинского «Катастрофа в начале пути». С. 680.

² Писарев Д.И. Соч.: В 4 т. М.: Гослитиздат, 1956. Т. 3. С. 260.

членов общины без «забот» прежнего хозяина-помещика почувствовало себя еще хуже. (В этой связи вспомним трезвое указание Чернышевского — Волгина в романе «Пролог» об административной ответственности значительной части помещиков за своих крестьян при крепостном праве и, главное, о привычке последних к этому положению.) Большая часть помещиков, жившая за счет неэффективного труда крестьянина, так же не видела способов продления своей беззаботной жизни, хотя и сохраняла возможность жить по-старому в довольно длительный, хотя и обозримый период. «Новых» же людей, соответствующих «новому времени» свободы и потому без оговорок приветствовавших его, в стране было мало, а возможно, не было и вовсе.

Вот как, по его собственному определению, «на старости лет» Лесков отзывался о времени, когда революционные демократы ждали появления в стране «новых людей» и самозабвенно о них писали: «Хотел бы я воскресить Чернышевского и Елисеева: что бы они теперь писали о "новых людях"?.. Если исправничий писец мог один перепороть толпу беглых у меня с барок крестьян, при их же собственном содействии, то куда идти с таким народом? «Некуда»!.. Рахметов Чернышевского это должен был бы знать!.. Ведь с этим зверьем разве можно что-нибудь создать в данный момент?

— Однако у вас, Николай Семенович, никакого просвета не видно.

...Я же чем виноват, если действительность такова!.. Удивительно, как это Чернышевский не догадывался, что после торжества идей Рахметова русский народ, на другой же день, выберет себе самого свирепого квартального... Идеи, которые некому и негде осуществлять, скверные идеи!.. а романом "Некуда" я горжусь...»¹

Тем не менее вектор дальнейшего исторического развития России мыслящими людьми был обозначен, и встал вопрос: каков должен быть человек «нового времени» и из какого «человеческого материала» он будет создан? Иными словами, тема «нового времени и нового человека», наряду с уже рассмотренной во втором томе исследования в связи с проблемой «позитивного дела», сделалась одной из центральных для философствующей русской классики 40—60-х годов XIX столетия. Векторы поиска, однако, были разнонаправленны.

¹ Цит. по ст. Л.А. Аннинского. С. 690.

Так, например, в творчестве Ф.М. Достоевского поиски ответа на эти вопросы шли в глубь человеческого естества, в «природу человека», как бы мы сказали сегодня. В произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина основное внимание было уделено технологиям создания и функционирования общества и уж затем — человеческому существу. Своим путем шел и Лесков. По крайней мере, в ранней прозе 60-х годов познавательные интенции его литературного философствования четко ориентированы на довольно искусственное, но вместе с тем вполне реальное общественное явление — заботу «новых людей» русской (отчасти разночинной, отчасти аристократической) интеллигенции привить «новой жизни» новые идеи, образцы мировидения, образцы поведения и жизни.

Однако в какой мере эти попытки имели место в реальности, а насколько были плодом художественных фантазий, вопрос далеко не праздный. Именно об этом — инициировании появления реального общественного явления посредством его изначального создания в пространстве художественного произведения — Лесков говорит в примечательной статье, посвященной роману Н.Г. Чернышевского «Что делать?»¹.

Избранная Чернышевским методология была противоположна методологии «натуральной школы». Перед художественным произведением не ставилась задача максимально беспристрастно, объективно отражать действительность. Напротив, действительности предлагалось видеть в художественном произведении образец для собственного преобразования. То есть, мысли, фантазии художника предполагалось выступить в форме образца, модели, порой даже тщательно проработанного примера, в соответствии с которым жизни предписывалось измениться. Именно по этой причине, отвергая саму возможность рассмотрения этого «романа» как произведения художественного, Лесков предрекает его недолгую жизнь: «В будущем он не проживет долго».

Что же побудило Чернышевского взяться за создание столь экзотического продукта? На этот вопрос Лесков дает прямой ответ: «На изготовление романа его вызвали обстоятельства, от него не зависящие: потребность деятельности и невозможность

¹ Лесков Н.С. Николай Гаврилович Чернышевский в его романе «Что делать?». // Библиотека русской критики. Критика 60-х годов XIX века. М.: Астрель, 2003.

ее в другой форме»¹. Ответ этот, достоверность которого, учитывая абсолютную непредвзятость и столь же абсолютную проницательность Лескова как мыслителя, я оцениваю очень высоко. Но, анализируя этот ответ, правомерно задать вопрос: есть ли объективная общественная и экономическая потребность (если не условия) в деятельности такого рода? Ведь цель деятельности такого рода (революционизаторской в своей основе) предполагает не безделицу, а смену или, по крайней мере, потрясение основ общественного уклада? Более того. Только что прошедшее в стране освобождение от крепостного права десятков миллионов и, по крайней мере, лишение еще нескольких миллионов привычного способа существования создали определенный вакуум в привычном укоренении прошлого социально-экономического уклада. Ведь в нем, как очевидно, не произошло естественное вызревание радикальной перемены — освобождения. Освобождение было привнесено в уклад «сверху», и, значит, социально-экономическая система к этому явлению еще не адаптировалась. И теперь, вместо этой естественной адаптации, ей (социально-экономической системе) вновь предлагается чуждая ей, не вызревшая в ней самой перемена, связанная, как минимум, с искусственным созданием новых субъектов экономической деятельности, носителей новой идеологии, отрицающих идеологию прежнюю. Так что же это за такая, обуревающая Чернышевского и ему подобных революционных демократов «потребность деятельности»? Откуда она берется, на чем основывается? Похоже, что «конечная точка», из которой эта потребность произрастала, было всего лишь идеологическое состояние умов, революционная нетерпеливость такого рода деятелей. Это, я думаю, четко понимал Лесков, и именно за это его понимание, обнаруживающее авантюризм и социальную безответственность революционных деятелей, они его и возненавидели.

Раскрыв причины, побудившие Чернышевского взяться за создание своего программного произведения, Лесков, далее, прибегает к его философско-литературному анализу. И в том, как этот анализ осуществляется, и тем более в том, какие выводы на его основе делаются, явственно обнаруживается правомерность и продуктивность подхода к русской классической литературе как к особой форме философствования, как к специ-

¹ Там же. С. 213.

фической системе непрерывно развивающихся смыслов и ценностей, образующих, постоянно порождающих то, что мы имеем русским мировоззрением. Для лучшего понимания того, как Лесков выполняет философско-методологический анализ ряда существенных мировоззренческих явлений русской классики середины XIX века, следует прибегнуть к подробному рассмотрению его статьи о романе Чернышевского.

«Была, — начинает Лесков, — (и это очень недавно) на Руси ужасная эпоха фразерства, страшного, разъедающего и все импонирующего фразерства. Тургеневский Рудин — сын этой эпохи и ее памятник. Началась другая эпоха. Пошел запрос на Инсаровых. Инсаровых оказалось очень мало. Потому как инсаровское дело нам непривычное. Явились Базаровы. Тургенев переживал эти метаморфозы и, стоя с мастерской кистью в руке, срисовал их в свой прелестный альбом. Все они стоят перед нашими глазами, от слабовольного, нравственного импотента Рудина до сильного и честного Базарова. Тип Базарова многим нравится, многим не нравится. Мне лично он нравится, но я бы позволил себе пожелать ему быть несколько мягче, не мусолить собою без нужды непривычного глаза, не раздражать без дела чужой барабанной перепонки и даже, пожалуй, не замыкать сердца для чувств самых нежных, ибо они не мешают героизму.

Уроды Рудины, после предания этого типа посмеянию, шатались без дела. Неспособность к самостоятельному труду, неспособность «слепую бабу кормить» была в них очень уж ярка.

...Талантливым пером Тургенева обрисован Базаров, произнесено слово «нигилизм», и завелись, или стали разводиться, думаете, *нигилисты*? Нет, стали разводиться, или, лучше сказать, никто не стал разводиться, а рудинствующие импотенты стали импотентами базарствующими.

...*Нигилисты*, которых мы видим и которые нам успели надоест своими гадостями, достались нам по наследству, а сгруппировал их и дал им пароль и лозунг... Иван Сергеевич Тургенев. После его «Отцов и детей» стали надюжаться эти уродцы российской цивилизации. Начитавшись Базарова, они сошлись и сказали: «Мы сила». Что ж нам делать теперь? Так как они никогда не думали о том, *что* им *делать*, то, разумеется, сделали то, что делают обезьяны, то есть стали копировать Базарова. Как же его копировать? Ну, обыкновенный прием карикатуристов в ход. Взял самую резкую черту оригинала, увеличил ее так, чтобы она в глаз била, вот и карикатурное сходство. То и сде-

лано. Базаровских знаний, базаровской воли, характера и силы негде взять, ну копируй его в резкости ответов, и, чтоб это было позаметнее — доведи это до крайности. Гадкий нигилизм весь выразился в пошлом отрицании всего, в дерзости и в невежестве. Отрицание это будто бы и есть самый нигилизм, а дерзость и невежество его последствия. Дерзость и невежество нигилиствующих Рудиных не имеют пределов и доходят до злобы.

...У людей этого разбора сострадание не в нравах. Посадите такого господина на какое хотите место, он сейчас и пойдет умудряться, как бы ему побольнее съехать *не своего*. ...Велите ему двух сотрудников рассчитать: нигилисту даст деньги, а не нигилиста десять дней проводит. ...Что ему до того, что у этого сотрудника жена без башмаков, дети чаю не пили, хозяин с квартиры гонит? Квартира *отрицается*, потому фаланстерия будет; жена *отрицается*, потому что в «естественной» жизни (у животных, например) нет жен; дети и подавно *отрицаются*, их община будет воспитывать; родители им не нужны.

...Жалеть никого не следует, потому что
Век жертв очистительных просит.

Помогать — нечего рваться, потому что «чему уцелеть, то останется». Чувства — вздор, любовь — вздор, совесть — вздор, идеи — вздор, все вздор, не вздор только *мы*, ибо *мы* есмь *мы*. Это еще старые типы, обернувшиеся только другой стороной. Это Ноздревы, изменившие одно ругательное слово на другое.

...Такова в большинстве грубая, ошалелая и грязная в душе толпа пустых ничтожных людишек, исказивших здоровый тип Базарова и опрофанировавших идеи нигилизма¹.

Такова, по мнению Лескова, реальность. Как же соотносится с ней своим романом Чернышевский? А никак не соотносится. В нем, в отличие от прежде высказываемых «отрицаний» и «антипатий», автор сообщает о своих симпатиях. В романе он «вывел людей, которые трудятся до пота, но не из одного желания личного прироста. Они вовсе свободны от всеобщего эписиерства (торгашества, узости. — С.Н.). Напротив, начав дело, так сказать, ни с чего, они тотчас вводят во все его выгоды всех мизераблей-работников и сами остаются хозяевами-распорядителями. Отсюда, по выводу автора, вытекает все хорошее для работающих; дело идет честно, в рабочей семье поселяется взаимное доверие, совет да любовь. Удовольствия и все

¹ Там же. С. 214—217.

блага жизни каждому члену рабочей артели достаются очень дешево, никто не изнурен, не "лишний на пиру жизни". Никто ни к чему не принуждается. Напротив, коноводы дела люди очень мягкие, с которыми каждому легко, которые никого не обрывают, а терпеливо идут к своей предложенной цели, заботясь прежде всего о водворении в общине самой широкой честности, свободы отношений и взаимного доверия»¹. Через представление об этих людях и их деле читатель и получает ответ на вопрос, «что делать желает г. Чернышевский».

Такие люди, говорит Лесков, очень нравятся и ему самому. Вот только в действительности он таких людей не встречал. «... Они в натуре не ведут дел так счастливо, проваливаются, даже бывают посмешищем для экономических весельчаков». «Новые люди» Чернышевского, по мнению Лескова, просто «хорошие люди». И делать свое хорошее дело они могут в любом «благоустроенном государстве от Кореи до Лиссабона. Нужно только для этого *добрых людей*, каких вывел г. Чернышевский, а их, признаться сказать, очень мало»².

Привести столь значительные выдержки из статьи Лескова о романе Чернышевского понадобилось для того, чтобы отметить две вещи. Первая: в диктуемом времени поиске ответа на вопрос «Как возможно в России позитивное дело? В отличие от попыток Тургенева, Гончарова и Толстого в этот же период — 40—60-х годов — в русской философствующей литературе намечается новое направление. Его смысл — не поиск в реальности субъектов позитивного действия, анализ процесса их становления и дальнейшей возможности деятельности в условиях России, а их, этих субъектов, выдумывание, их создание посредством фантазии художника, питающейся, кроме прочего, и социалистическими утопиями.

Конечно, в жизни бывали случаи, когда утопии обретали реальное существование. В конце концов и сама отмена крепостного права есть материализованная утопия, под которую началось преобразование реальной России. И вот в этом-то случае (вторая причина обращения к статье Лескова) это явление заслуживало подробного рассмотрения.

Это-то — анализ философско-нравственного содержания модели, под которую предполагается изменять действительную

¹ Там же. С. 219.

² Там же. С. 222.

жизнь и, более того, по матрице которой предлагается «наладить производство» «новых людей», именно такой анализ и стал осуществлять начинающий писатель Н.С. Лесков. Иными словами, анализ попыток «новых людей» привить реальной русской жизни новые идеи, образцы мировидения и образы жизни становится его главным занятием в ранних произведениях, среди которых рассказы «Овцебык» (1862) и «Котин доилец и Платонида» (1867), повесть «История одной бабы» (1863), очерк «Леди Макбет Мценского уезда» (1864) и роман «Некуда» (1864), на которых я и остановлюсь.

* * *

В центре рассказа «Овцебык» — судьба странного человека, своим характером, поведением и устремлениями напоминающего одновременно не только «лишних людей» русской классической литературы, но и начавших появляться в романной прозе Тургенева героев, ставящих перед собой цели, намного превосходящие их силы и возможности и потому недостижимые.

Василий Петрович Богословский, именуемый «Овцебык» и определяемый в советском литературоведении как «разночинец-революционер», уже прозвищем подтверждает свою принципиальную несовместимость с российским миром. Он и в самом деле даже внешностью производит впечатление чего-то искусственного, какого-то мутанта, в силу своих взглядов на жизнь и характера, не имеющего возможности закрепиться в обществе, тем более завести семью и оставить после себя потомство. Он и живет не как все — большею частью в природе, в дороге, снимаясь со своего временного, мало-мальски обустроенного места по первому душевному порыву. Причем поводом к уходу может быть все что угодно, в том числе абсолютное и категорическое следование собственному нравственному уставу. Так, автор сообщает нам об уходе из помещичьей семьи, когда Овцебык, не соглашаясь равнодушно наблюдать бесстыдные домогательства избалованного хозяйского дитяти, преследующего замужнюю дворовую девушку, дает ему оплеуху и тут же, как есть, не заходя в свою комнату, покидает имение. Вот как он сам сообщает об этом случае: «...Зло меня такое взяло, что я вошел в сени, да и дал ему затрещину.

— Такую, что у него из уха и из носа кровь хлынула, — засмеявшись, подсказал Челновский.

— Какая там на его долю выросла.

- Что же вам мать?
— Да я ее после не глядел. Я из людской прямо в Курск пошел.
— Сколько же это верст?
— Сто семьдесят; да хоть бы и тысяча семьсот, так это все равно.

Если бы вы видели в эту минуту Овцебыка, то не усомнились бы, что ему в самом деле *все равно*, сколько верст не пройти и кому ни дать затрещину, если, по его соображениям, затрещину эту дать следует¹.

Овцебык — не идеолог-болтун, а идеолог-просветитель, а в перспективе — и идеолог-конструктор, желающий насаждать в мире истину, по-своему устраивать жизнь и стремящийся обрести последователей. Отсюда — его попытки искать собеседников и возможных товарищей среди староверов, простых мужиков-крестьян, работников. Его поиски — последовательная цепь разочарований. Вот вывод о раскольниках и крестьянах:

«— ...Я сам себя обманул. Я думал найти там город, а нашел лукошко.

— Раскольники не допустили вас до своих тайн?

— До чего допускать-то? — с негодованием вскрикнул Овцебык. — Только ведь за секретом все и дело. Понимаете, этого-то слова-то "Сезам, отворись", что в сказке говорится, его-то и нет! Я знаю все их тайны, и все они презрения одного стоят. Сойдутся, думаешь, думу великую зарешат, ан черт знает что — "благая честь да благая вера". В вере благой они останутся, а в чести благой тот, кто в чести сидит. Забобоны да буквоедство, лестовки из ремня да плетъ бы ременную подлиннее. Не их ты креста, так и дела до тебя нет. А их, так нет, чтоб тебе подняться дали, а в богадельню ступай, коли стар или слаб, и живи при милости на кухне. А молод — в батраки иди. Хозяин будет смотреть, чтоб ты не баловался. На белом свете тюрьму увидишь. Все еще соболезнуют, индюки проклятые: "Страху мало. Страх, говорят, исчезает". А мы на них надежды, мы на них упования возвращаем!.. Байбаки дурацкие, только морочат своим секретничаньем.

Василий Петрович с негодованием плюнул.

— Так, стало быть, наш здешний простой мужик лучше?

¹ Лесков Н.С. Цит. соч. Т. 1. С. 42.

Василий Петрович задумался, потом еще плюнул и спокойным голосом отвечал:

— Не в пример лучше.

— Чем же особенно?

— Тем, что не знает, чего желает».

Так же не получается у него просвещать и найти сподвижников среди монахов и богомольцев. Из монастыря его изгоняют, ничего не выходит и из его общения с крестьянами. Впрочем, в этом он не одинок. Тут же терпят неуспех и местные немцы, которые пытаются «вводить культурные порядки с полудикими людьми. "Обезьяну, — говорил он (Овцебык о немцах. — С.Н.), — сейчас сделает", и немец действительно, как нарочно, ошибался в расчете и делал обезьяну»¹.

Одна из причин неуспехов Овцебыка состоит в том, что он, как его определил местный взявшийся ему покровительствовать деловой человек, «ни барин, ни крестьянин, да и ни на что никуда не годящийся». Вскоре, впрочем, это начинает понимать и сам Овцебык. В своем письме рассказчику он сообщает: «Делать мне здесь нечего, и я одним себя утешаю, что нигде, видно, нечего делать oprичь того, что все делают: родителей поминают, да свои брюхи набивают». И далее: «Разрешил я себе "Русь, куда стремишься ты?", и вы не бойтесь: я отсюда не пойду. Некуда идти»².

Так, уже в одном из первых рассказов Лескова появляется столь многозначное и многозначительное для всего его раннего творчества корневое слово — «некуда». Не может перемахнуть через это слово Овцебык — с помощью ременного пояска сводит счеты с жизнью. Об это слово споткнутся и так же канут в никуда другие герои лесковской прозы.

Обращение к «тайнам души» русского человека, ставшее одной из магистральных линий лесковского творчества, обнаруживается и в его раннем тексте «Язвительный. Рассказ чиновника особых поручений». Повествование начинается с, кажется, малозначимой детали, по отношению к которой не сразу можно сказать, какое отношение она имеет к дальнейшему сюжету, зачем она. Деталь эта — особая комната при канцелярии, сделанная как особое место для курения — современным языком «курилка». В ней собираются, чтобы «поболтать, посплетничать,

¹ Там же. С. 81.

² Там же. С. 85.

посмеяться, посовеститься». Упомянувшийся косвенно рассказ одного из ее посетителей своей «моралью» имел убеждение рассказчика, «что в нашей административной организации обнаружить зло — значит сделать шаг к его искоренению». Вот это-то наивное убеждение вкупе с реально созданным элементом порядка — курилкой и становится проверочной конструкцией для последующего изложения.

Сам же рассказ — о том, как в одно из имений пребывающего за границей некоего князя направляется новый управляющий — проживший семь лет в России и прекрасно говорящий по-русски англичанин Стюарт Яковлевич Ден. Он готов к неустанному труду и уверен, что этим, а также неукоснительным следованием избранной системе можно все преодолеть.

Через некоторое время повествователя — чиновника особых поручений требует к себе губернатор, получивший от мужиков жалобу на нового управителя. В чем же дело? Счет? Нет. Ведет какие-нибудь свои личные делишки или неравнодушен к «красненьким повязочкам»? Нет. Что же?

«— А как тебе сказать... очень хорош, — похуже надо, вот и жалобы. Не по нутру мужикам.

— Да отчего не по нутру-то?

— Порядки спрашивает, порядки, а мы того терпеть не любим.

— Работой, что ли, отягощает? — все добиваюсь я у Рукавишникова.

— Ну какое отягощение! Вдвое против прежнего им теперь легче...»¹

По мере дальнейших расспросов выясняется, что Ден задумал строить винокуренный завод, чтоб не пропадали хлебные излишки и был дополнительный корм для скотины. Вот только отказался от услуг заезжих строителей, заломивших втридорога и решил поручить работу своим мужикам, для чего отменил их ежегодный поход в соседнюю Украину на заработки. Да заработков, как выясняется, у них там и не было. А была разгульная жизнь, после которой некоторые семейства рисковали остаться с проваленными носами. Здесь же, на строительстве завода, он обещал денег несравненно больше.

Недовольство мужиков вылилось в «неожиданный» бунт и поджог завода, мастерских, мельницы, прачечной и дома князя. Самого Стюарта Яковлевича сильно побили и прогнали.

¹ Там же. С. 17.

Приехавший в деревню повествователь, доискиваясь причин, узнает, что одного из предполагаемых злоумышленников Ден сильно обидел тем, что не отпустил-таки на Украину и в наказание за самовольную отлучку сажал в кресло на рабочем дворе и велел ничего не делать. «Ребята, значит, работают, а я чтоб ... перед всем миром сложимши руки сидел. Просил топора, что давайте рубить буду. "Нет, говорит, так сиди"». А кроме того, для пушего наказания привязывал провинившегося к специально вбитому в кресло гвоздику ниткой, «как воробья».

Чиновник особых поручений, собравший для разговора мужиков, сообщает им княжескую волю: князь прощает им содеянное и не дает делу хода. Не будет ни следствия, ни плетей, ни экзекуции, ни каторжной работы. Но и крестьяне должны просить прощения у управляющего и жить по-прежнему. Мужики просить прощения согласились, но принять управителя обратно и жить с ним по-старому отказались категорически.

«— Да отчего нельзя-то?

— Он язвительный».

А коль так, то в село приехали следователи и судейские, троих крестьян сослали в каторгу, а с десяток — в арестантские роты. Причина твердого отказа крестьян кроме как словом «язвительный» не объясняется никак. И, думаю, это потому, что за такого рода поведением стоит большое и сложное явление. Разбираться в его природе придется многократно и в разных подходах, один из которых, раскрывающий только небольшую часть этого феномена, заключается в следующем рассуждении из другого рассказа Лескова.

«Скажи ты мне, — говорила она, — что это такое значит: знаю ведь я, что наши орловцы первые на всем свете воры и мошенники; ну, а все какой ты ни будь шельма из своего места, будь ты хуже турке Испулатки лупоглазого, а я его не брошу и ни на какого самого честного из другой губернии променять не согласна?

Я ей на это отвечать не умел. Только, бывало, оба удивляемся:

— Отчего это в самом деле?»¹

* * *

Уже в первых сочинениях Лесков обнаруживает свое стремление к исследованию среди «новых людей» не только характе-

¹ Там же, с. 152.

ров незаурядных, но и пребывающих в пограничных состояниях, в которых они во всей полноте обнаруживают глубинные, определяющие их жизнь идеи и чувства. В этом он, как видим, следует в свойственной русской классике традиции «гоголевской школы», в том числе сосредоточивающей внимание на магистральных для нее, обозначенных ранее темах — «ума и сердца», «живого и мертвого», «природы и дома».

Вместе с тем в некоторых отношениях Лесков даже предугадывает ее, русской классики, будущий интерес к темам, имеющим отношение к пониманию природы человека. Это случилось, например, с темой «любви — страсти». На мой взгляд, написанный существенно позднее Львом Толстым роман «Анна Каренина» (1878), о котором речь впереди, как исследование любви в крайней форме ее существования, было продолжением начатого Лесковым рассмотрением этого феномена в повести «Житие одной бабы» (1863), и в особенности в очерке «Леди Макбет Мценского уезда» (1864). Однако лесковскому социально-нравственному анализу, в отличие от преимущественно психологического анализа Льва Толстого, был свойствен иной ракурс, ориентация не столько на внутреннее, сколько на внешнее — на обстоятельства, в силу которых то или иное явление делается возможным.

Если взглянуть на раннее творчество Лескова с точки зрения предпринимаемого исследования смыслов и ценностей русского мировоззрения в его повороте к «новому» человеку, то нужно отметить следующее. Автор «Овцебыка» впервые в русской классике большое внимание уделяет той практике, тому жизненному контексту, из которого это мировоззрение произрастает. Он пока еще не заботится выведением и формулированием тех ценностей и идей, которые кажутся ему определяющими для русского мировоззрения. Главное внимание автор «Некуда» сосредоточивает на описании и понимании той жизни, которую ведут его герои, русские крестьяне прежде всего. И, отмечу еще раз, знает он эту жизнь и умеет сообщить о ней так, как никто другой до него.

Идея повести «Житие одной бабы» в своей наиболее общей формулировке звучит достаточно крамольно не только по отношению к социальному устройству сельской России 60-х годов XIX столетия, но и в отношении идеи приверженности русского народа православию, во всяком случае — к его практическому воплощению. Героиня повести — сперва девочка, потом де-

вушка и женщина Настя — живое воплощение христианского способа жизни. Она всех любит, от всех безмолвно терпит, не жалея себя, трудится, не задумываясь, жертвует собой. И она же — самое несчастное создание в деревне и в родной семье. Случается так, что желая поправить свои финансовые делишки, ее брат Костик выдает Настю за уродливого и придурковатого Григория — сына своего состоятельного по деревенским меркам «компаньона». Не имея возможности противиться, Настя принимает «крест», но отныне живет как «полумертвая». Когда же придурок-муж на год застревает на заработках на Украине, прижившись у дворничихи в Харькове, Настя поддается любовному влечению и уступает ухаживаньям действительно полюбившего ее и так же страдающего в несчастливом браке Степана.

В момент возвращения Григория, Настя, как и Овцебык, в то же мгновение, в чем ее застало событие, оставляет дом и бежит со Степаном. Будучи схвачены, они отправляются под конвоем к своим домам, но по дороге Степан умирает от тифа, а Настя лишается рассудка. В родной деревне она отказывается жить в доме и все бродит по полям и лесам в поисках возлюбленного. При этом, принимая за Степана каждого встречного мужчину, она этими «добрыми людьми» беззастенчиво используется как любовница, чем мужики затем прилюдно бахвалятся.

Среди немногих светлых героев повести одна из наиболее подробно представленных — фигура бывшего купца, а ныне лекаря, старичка Крылушкина. Своими заботой, вниманием и любовью он возвращает Настю к жизни, хотя «добрые люди» и в этот раз, теперь уже «с простоты», не преминули рассказать ей, чем она занималась в безумии, и в доказательство «назвали Сидора, Петра, Ивана», причем сделали это так, что она перестала сомневаться.

Но окончательный удар по судьбе Насти наносит не деревенский мир, а российское государство, в лице своих чиновников вздумавшее прекратить целительскую практику Крылушкина и отправившее незаконно пребывающую у него Настю в сумасшедший дом, после которого она уже не оправилась и однажды в своих возобновленных скитаниях в поисках Степана замерзла в лесу.

В описании природных картин и обстоятельств крестьянской жизни Лесков безжалостно («фотографически», как позднее говорил он сам) объективен. В его прозе нет брошенного «со стороны» путешествующего барина-охотника взгляда на кре-

стьянский мир, какой мы замечаем у Тургенева. Вспомним, что о Хоре мы знаем лишь по его успешной усадьбе, а о Бирюке — по его беззаветному служению хозяину. Не знаем мы, какой ценой Хорь «держит» в повиновении своих домашних и чем Бирюк кормит свою малолетнюю дочку, живя в пустом доме. До жизни «крестьянского низа», этого, как показывает Лесков, ада на земле, не доходят и герои Гончарова, тем более если события разворачиваются среди дворни в «благословенной» Обломовке. В ней люди страдают от лени и обжорства, а не от тяжелого труда и голода.

Конечно, и Тургенев, и Гончаров многое знают о крестьянской жизни и сообщают об этом своим читателям. Только у них эта жизнь, жизнь деревенского низа, не только не делается, как у Лескова, центром исследования, но затрагивается лишь по ходу дела, поверхностно. У Лескова же это именно центр, и то, какой крестьянская жизнь предстает перед нами, приводит в ужас.

В этой связи, может быть, одно из самых жутких мест повести — смерть ребенка Насти, случившаяся в остроге. «...Ребенок был такой маленький и худенький. Еще в материнской утробе он заморился, и там ему было плохо; там он делил с матерью ее горе и муки. Теперь он лежал твердый, замерзший. На нем уже была надета рубашечка, которую ему сшили и прислали Настины подруги, арестантки бродяжного отделения. А личико у него было синее, сдвинутое в горькую гримасу, с каким-то старческим выражением невыносимой муки. Точно он, взглянув на что-то ужасное, почувствовал ужасную боль, сморщился от этой боли и умер, унося с собой в могилу знак оттиснутой на нем земной муки»¹.

В некоторых местах повествования Лесков возвышает авторский голос до обличительной публицистики. Так, он сообщает о своеобразном национальном, хотя и географически ограниченном в его повествовании русском явлении-забаве под названием «порка детей». «У нас от самого Бобова до Липихина матери одна перед другой хвалились, кто своих детей хладнокровнее сечет, и сечь на сон грядущий считалось высоким педагогическим приемом. Ребенок должен был прочесть свои вечерние молитвы, потом его раздевали, клали в кровать и там секли. Потом один жидомор помещик, Андреем Михайловичем его звали, выдумал еще такую моду, чтобы сечь детей в кульке. Это

¹ Там же. С. 367.

так делал он с своими детьми: поднимет ребенку рубашечку на голову, завяжет над головою подольчик и пустит ребенка, а сам сечет, не державши, вдогонку. Это многим нравилось, и многие до сих пор так секут своих детей. Прощение только допускалось в незначительных случаях, и то ребенок, приговоренный отцом или матерью к телесному наказанию розгами без счета, должен был валяться в ногах, просить пощады, а потом нюхать розгу и при всех ее целовать. Дети маленького возраста обыкновенно не соглашались целовать розги, а только с годами и с образованием входят в сознание необходимости лобызать прутья, припасенные на их тело. Маша была еще мала; чувство у нее преобладало над расчетом, и ее высекли, и она долго за полночь все жалостно всхлипывала во сне и, судорожно вздрагивая, жалась к стенке своей кровати.

Беда у нас родиться смиренным да сиротливым — замнут, затрут тебя, и жизни не увидишь. Беда и тому, кому бог дает прямую душу да горячее сердце нетерпеливое: станут такого колотить сызмальства и доколотят до гробовой доски. Прослывешь у них грубияном да сварою, и пойдет тебе такая жизнь, что не раз, не два и не десять раз взмолишься молитвою Иова многострадательного: прибереи, мол, только, господи, с этого света белого! Семья семьею, а мир крещеный миром, не дойдут, так доедут; не изоймут мытьем, так возьмут катаньем»¹.

И еще: «Сызмальства у нас к этой скверности приучаются и в мужичьем быту и в дворянском. Один у другого словно перенимает. Мужик говорит: «За битого двух небитых дают», «не бить — добра не видать», — и колотит кулачьями; а в дворянских хоромах говорят: «Учи, пока впоперек лавки укладывается, а как вдоль станет ложиться, — не выучишь», и порют розгами. Ну, и там бьют и там бьют. Зато и там и там одинаково дети, вдоль лавок под святыми протягиваются. Солидарность есть не малая.

Эх, Русь моя, Русь родимая! Долго ж тебе еще валандаться с твоей грязью да с нечистью? Не пора ли очнуться, оправиться? Не пора ли разжать кулак, да за ум взяться? Схаменися, моя родимая, многохвальная! Полно дурачиться, полно друг дружке отирать слезы кулаком да палкой. Полно друг дружку забивать да заколачивать! Нехай плачет, кому плачется. Поплачь ты и сама над своими кулаками: поплачь, родная, тебе есть над чем

¹ Там же. С. 297. Такого рода наблюдениями и обобщениями пересыпана проза Лескова, что в конце концов делает вполне естественным наше согласие с его оценкой крестьян как людей «полудиких».

поплакать! Авось отлегнет от твоей груди, суровой, недружливой, авось полегчеет твоему сердцу, как прошибет тебя святая слеза покаянная!»¹

Анализ пограничных ситуаций, в которых человек оказывается по своей воле или воле обстоятельств, Лесков продолжает в очерке «Леди Макбет Мценского уезда». Эта на первый взгляд выпадающая из тематического строя произведений раннего периода лесковского творчества вещь тем не менее обозначает собой еще одну нащупываемую писателем границу поведения человека в мире. И если в «Овцебыке» это граница одержимости человека идеей, а в «Истории одной бабы» — мучительства человека человеком, то в очерке о Катерине Львовне Измайловой это граница любовной страсти. И за каждой из трех границ искателя, отважившегося ступить на этот путь, ожидает один и тот же результат-ответ: дальше в этой жизни идти некуда. Катерина Львовна и Овцебык кончают с собой, в бесчисленных муках гибнет Настя.

Возвращаясь к принципиальной теме данной книги исследования — теме «нового» человека, нужно отметить, что «новыми» людьми в прозе Лескова люди становятся не благодаря фантазиям и мечтаниям автора, а потому что они оказываются в новых для себя ситуациях или по-новому ведут себя в тех обстоятельствах, которые уже бывали в жизни прежде, но в которых «по-новому» еще не вел себя никто.

Жестокость жизни, создаваемой полудикими и, кажется, лишь о себе заботящимися людьми, не оставляет никакой надежды на лучшее. Но человеческий ум не смиряется, и вот в отдельных головах возникает проект переустройства жизни на принципиально иных, чем до того было принято, началах, а некоторые — неизвестно почему и каким образом — находят в себе силы организовать на новых началах новую для себя жизнь.

В этой связи удивителен ранний рассказ Лескова «Котин доилец и Платонида». Из раскольничьей с суровыми нравами семьи изгоняется девушка, посмевшая послушаться слова своего дяди и решившая жить с молодым пономарем. По прошествии некоторого времени девушка рождает сына, а пономарь гибнет. Не имея никакого жилья и средств к существованию, девушка идет в женский монастырь, а ребенка, мальчика, дабы ему было разрешено остаться с матерью, выдает за девочку. Так Константин

¹ Там же. С. 284—285.

Пизонский до двенадцати лет считался окружающими, да и сам себя числил девочкой, а затем мать, выведя его из монастыря, отдала в духовное приходское училище. В училище жизнь парнишки не заладилась: он часто по ошибке говорил о себе как о девочке, его травили товарищи, а учителя, решив, что способностей у ребенка нет, усугубили положение придирками и побоями. После училища Константина отдали в армию, и три года он был дьячком в полковой церкви, а затем по ходатайству больной матери отпущен домой. Мать вскоре умерла, и Пизонский оказался один и без крыши над головой. Разыскивая дальнюю родню, у побирušки-нищенки он находит двух девочек — дальних родственниц (пяти лет и двух годов), у которых также никого нет. Вот как произошла эта встреча и было принято решение: «Посмотрев на детей, он сел около них на травку и обнял их обеими руками.

— Голубятки! — заговорил он, — плохо вам тут у бабушки?

Дети пугливо прижались одна к другой, сначала долго друг на друга смотрели и потом разом тихо заплакали.

Пизонский опустил в карман руку и, достав оттуда немного смятую печеную луковицу, обдул прилипшие к ней крошки хлеба, разломил ее ногтями и подал сироткам. ...

— Бьет вас бабушка, детки? — начал прямо Пизонский, поглаживая девочек по головкам.

— Бот, — прошептали тихо дети.

— И больно?

— Боно, — проронили они еще тише и робче и, смаргивая слезы, напряженно смотрели с раздирающей детской тоскою на ту же глупо блестящую пуговицу.

Пизонский развздыхался. Дробные слезы ребячьи непереносимы. Необъятная любовь и нежность овладели сердцем Пизонского в виду этих слез. Он готов был все сделать, чтобы отереть эти слезы; но что мог для кого-нибудь сделать он — нищий, калека и урод, когда сотни людей, представляя себе его собственное положение, наверное, почитают его самого обреченным на гибель?»¹

И тем не менее Константин решается на, казалось бы, невозможное. Он крадет детей. Временно поселившись в чулане у одной старушки, он обустроивает его для жизни. «Пизонский, пользуясь теми часами, когда наигравшиеся дети засыпали, на-

¹ Там же. С. 229.

таскал на бабушкин двор мешком глины, вымазал чулан самым тщательным образом, напихал в подполье земли, сложил крошечную печурку и, наконец, спокойно крякнул.

У-у! как богат и как счастлив был теперь Пизонский, и каким назидательным примером он мог бы служить для великого множества людей, разрешающих проблематические трактаты о счастье!»¹ Чтобы назидание для любителей поговорить о несправедливости мира и о невозможности для отдельного человека что-либо в этом мире изменить было более зримым, приведу выдержку из лесковского описания предпринятых Константином Ионычем действий (а именно так теперь своего героя величает Лесков). «Достигнув того, что малосмысленную Милочку можно было оставлять под надзором Глаши, Константин Ионыч начал отлучаться на короткое время из дома и после каждой такой отлучки возвращался всегда домой с покупками, на которые истратил последние два рубля, принесенные им из солдатчины. Прежде всего Пизонский пришел домой с старым муравленым горшком; потом он в несколько приемов натаскал к себе разных негодных баночек, пузырьков и бутылочек и, наконец, принес чернильных орешков, меду и голландской сажи. С этими препаратами и с этим материалом Пизонский уселся перед печкой за химические занятия. Дня через два он вышел из дому с большой бутылкой чернил и с деревянным ящиком черной, лоснящейся ваксы. На чернилах Пизонский сбанкрутовал, потому что сторожа присутственных мест делали чернила на казенные деньги и, следовательно, могли продавать этот продукт на сторону гораздо дешевле Пизонского; но его свежая вакса оказалась гораздо лучше сухой синей ваксы, получаемой в плитках из Москвы, и эта часть коммерции его выручила. Константин Ионыч совсем ожил и стал еще смелее и предприимчивее. Скоро Старый Город увидал его беспрестанно снующего из дома в дом с набитым ваксою деревянным ящиком и с дешевыми, очень прочными самодельными щетками. Пизонский летал с своим ящиком во все дома, в лавки, в присутственные места, на постоянные дворы; везде он тихо и не спеша снискивал себе общую расположенность, со всеми знакомился и всякому на что-нибудь пригожался. В уездном суде часы были лет двадцать с таким частым боем, что никто не мог счесть, сколько они ударили — час или двенадцать; Пизонский снял часы, попилил, постучал, и они ста-

¹ Там же. С. 242.

ли бить отчетисто: раз, два, три — как следует. Отцу протопопу Туберозову он устроил в окне жестяной вентилятор. Отец протопоп похвалил его и сказал: "Да, ты не изящен, но не без таланта". Городскому голове Котин сделал деревянную ногу, чтобы чистить на ней его высокие голенища, и тот тоже не преминул похвалить его. Дьякону Ахилле приправил, по его просьбе, шпоры к сапогам, в которых дьякон намеревался ездить верхом в деревню к знакомым. Правда, что шпоры эти жили недолго, потому что встретивший Ахиллу со шпорами протоиерей Туберозов тут же велел эти шпоры отломить; но тем не менее и эти шпоры все-таки тоже были за Пизонского. Потом Пизонский кому починил зонтик, кому полудил кастрюлю, кому спаял изломанные медные вещи, склеил разбитую посуду, и Старый Город не успел оглянуться, как Пизонский в самое короткое время прослыл в нем самым преполезным человеком. Теперь, кажется, если бы Пизонский сам задумал почему-нибудь оставить Старый Город, так все бы заговорили в один голос: "Нет, как же это мы останемся без Константина Ионыча?" Почтмейстерша, слывшая за большую хозяйку и великую ехидну, даже уж вперед несколько раз публично выражала такое мнение, что без Пизонского в Старом Городе и жить было бы невозможно¹.

Думаю, что трактовка образа Котина Пизонского (так замордованный товарищами и учителями ребенок в психологическом ступоре писал на доске свое имя «Константин») Лесковым мыслилась не иначе, как нечто, высказываемое «в пику» поискам «новых» людей революционными демократами. Однако, продолжая начатую во второй книге тему «позитивного дела», нельзя не предположить следующее. Возникшее, возможно, с Гоголя — с оставленного без ответа вопроса Чичикова в адрес предпринимателя Муразова — как он заработал свой первый миллион, и начинается размышление в русской литературе о проблеме «позитивного дела». Тема эта, как отмечалось, захватила Тургенева-романиста, Гончарова, Льва Толстого, Чернышевского. Продолжилась она и позднее, в частности в прозе и драматургии Чехова. У автора «Трех сестер», в большом рассказе «Моя жизнь» главный герой Мисаил Полознев проделывает примерно такой же путь, как и Котин Пизонский: он приучает своих сограждан к тому, что имеет и реализует одно из прав свободного человека — право заниматься тем де-

¹ Там же. С. 242—243.

лом, которое он выбрал для себя сам. Как и у Лескова, это рассказ о «самостроительстве» человека вопреки обстоятельствам. Отмечу, однако, что в заявлении этого права в русской классической литературе Лесков был, пожалуй, первым.

То, что на тему «нового» человека, в том числе и в трактовке революционных демократов, Лесков реагировал с самого начала творчества, видно и по некоторым косвенным признакам, обнаруживаемым в текстах на другие сюжеты. Так, в «Леди Макбет...», рисуя одну из арестанток, которая ни в чем не делала отказа никому из помогающих ее арестантов-мужчин, автор иронично замечает: «Такие женщины очень высоко ценятся в разбойничьих шайках, арестантских партиях и петербургских социально-демократических коммунах»¹. Но вот вопрос — как позитивно переустроить жизнь, как сделать так, чтобы в ней торжествовали добро и справедливость, Лесков задавал себе постоянно.

Если же говорить об этом в общем, то тот путь, на который указывали русские литераторы-классики, о чем шла речь в предыдущей книге исследования, «нетерпеливцам» казался длинным и заранее не обеспеченным. К тому же, как точно определил Лесков в цитировавшейся статье о Чернышевском, «дерзость и невежество нигилиствующих Рудиных не имеют пределов и доходят до злобы», а «новых», на самом деле — «добрых людей», мало. И другого ответа, кроме как продолжать упрямо и неуклонно делать свое «позитивное» дело, «постепеновцы», Лесков в том числе, не знали. Вместе с тем вести себя так, будто ничего не происходит, и не отвечать «нетерпеливцам» тоже было нельзя. И потому Н.С. Лесков пишет роман «Некуда».

* * *

То, с какою ненавистью и изощренной подлостьюотреагировала на появление романа так называемая прогрессивная социал-демократическая литературная общественность, само по себе — достаточно яркое свидетельство ее исторической оценки. Я уже цитировал высказывания по этому поводу Д. Писарева и, чтобы не приводить длинный перечень прочих подобных, сошлюсь на итожащее замечание М. Горького по поводу травли Лескова: «Это было почти убийство»². За написанный роман автор «Некуда» платил многим. Но, может быть, самой дорогой

¹ Там же. С. 134.

² *Горький М.* Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941. С. 87.

была плата отлучением от печатания: «...я ряды лет лишен был возможности работать...», — приводит его признание сын¹.

Что же так возмутило и стало причиной столь сильной ненависти «прогрессивной общественности»? Разгадка дается самим автором, когда он говорит о том, что просто срисовал картину «развития борьбы социалистических идей с идеями старого порядка. Там не было ни лжи, ни тенденциозных выдумок, а просто *фотографический отпечаток* того, что происходило»². Вглядимся и мы в этот старый, но уцелевший под воздействием времени дагерротип.

Роман начинается приездом в родные места двух девушек — Лизы Бахаревой и Женни Гловацкой, окончивших учебу в московском институте и проникнутых «прогрессивными» идеями. Не буду подробно пересказывать содержание романа. Остановлюсь на его главных линиях и структуре.

Две девушки — два основных сюжетных русла, посредством которых нам показывают разные истории «течения болезни», которой заразились и которую обе вынесли из «просвещенного» заведения. Лиза, не нашедшая ожидаемых сердечности и понимания в семье, с родным домом рвет, пускается в полубродяжническую жизнь «новых людей», делается причиной преждевременной смерти своих родителей и в конце концов умирает. Женни, сосредоточившаяся спервоначалу на заботе-любви к своему старику-отцу, этой любовью и последовавшей затем обычной «мещанской» жизнью — замужеством и семьей — спасается сама и впоследствии неоднократно, хотя и безуспешно, пытается спасти Лизу. При этом в заботе Женни о своей семье не было ничего сверхъестественного, но с ее приездом все в доме «пошло жить. Ожил и помолодел сам старик, сильнее зацвел старый жасмин, обрезанный и подвязанный молодыми ручками; повеселела кухарка Пелагея, имевшая теперь возможность совещаться о соленьях и вареньях, и повеселели самые стены комнаты...

Вообще она стала хозяйкой не для блезирю, а взялась за дело плотно, без шума, без треска, тихо, но так солидно, что и люди и старик-отец тотчас почувствовали, что в доме есть настоящая хозяйка, которая все видит и обо всех помнит.

¹ *Лесков Андрей.* Жизнь Николая Лескова. М.: Художественная литература, 1984. Т. 1. С. 252.

² Там же. С. 253.

И стало всем очень хорошо в этом доме»¹.

Собственно основное действие романа начинается с появления в нем «новых людей». При этом, несмотря на все их индивидуальное различие, у них есть и общие, объединяющие их черты. Одна из них — их неустройство, неадекватность жизни, причем происходит это, как правило, не из-за стечения каких-то неблагоприятных обстоятельств или вообще внешних трудностей, а по их собственному нерасположению к гармонии с самими собой и с внешним миром. Причем их дисгармоничность очень редко идет от какой-то высокой цели, как это показано, например, фигурой швейцарца Райнера, приехавшего в Россию по идейным соображениям социалистического толка². Райнер, кстати, и оказывается наиболее привлекательной, выделяющейся своей искренностью, беззаветностью в служении делу, работоспособностью и честностью фигурой среди «кодла», по определению Лескова, «новых людей». Он, кстати, тот единственный финансовый источник, за счет которого безбедно месяц из месяца бездельничают «коммунары» и который они беззастенчиво обворовывают, в том числе и тогда, когда он серьезно заболевает.

У «ассоцианеров», поскольку каждого из них Лесков изображает не только в сообществе, но и индивидуально, вообще все «через пень-колоду» и «лишь бы как». Так, дом одного из них — какое-то нагромождение помещений, не приспособленных для жизни, стол таков, что одинаково может быть отнесен и к обеденному, и к письменному, и к игорному, и даже к швальному. А кресло, на которое присаживается в этом доме доктор Розанов, тут же подламывается. Все коммунары — люди праздные, во всяком случае ежедневное ничегонеделание не вызывает у них отторжения, а житье за чужой счет — внутреннего протеста. Верховодит ими некто Белоярцев — ловкий тип, явный авантюрист, живущий одним днем, который находит удовольствие в командовании, позерстве и самолюбовании.

«Коммуна» как практическая реализация социалистического замысла соотносима в романе с неким «теоретическим центром» — кружком-салоном известной «либеральными на-

¹ Лесков Н.С. Цит. соч. Т. 2. С. 130—131.

² В скобках надо отметить, что сама по себе дисгармоничность человека с миром, то, что мы называем неудовлетворенностью, не может заранее считаться его пороком. Напротив, часто это является основанием для позитивного преобразования мира. То есть всегдашний вопрос: в чем и ради чего возникает и выдерживается дисгармония?

строениями» маркизы и сворой болтающих на «революционную проблематику» старых дев, названных в романе «углекислыми феями Чистых Прудов», живущих в доме, известном под именем «вдовьего загона». Все идеи маркизы, вводит нас в существо дела автор, происходили вследствие того, что она, как говорят поляки, «имела зайца в голове». И вот этот-то заяц «до такой степени беспутно шнырял под ее черепом, что догнать его не было никакой возможности. Даже никогда нельзя было видеть ни его задних лапок, ни его куцого, поджатого хвостика. Беспокойное шнырянье этого торопливого зверька чувствовалось только потому, что из-под его ножек вылетали: "чела общественной лестницы" и прочие умные слова, спутанные в самые беспутные фразы.

...К тому же маркиза была поэт: ее любила погребальная муза»¹.

Обо всех этих персонажах мы узнаем посредством одного из героев романа — доктора Розанова, волею судеб оказывающегося в контактах со всеми персонажами и выступающего от лица нормального человека — автора. Его личная история, равно как и профессия, позволяет нам видеть и сопоставлять реальный (нормальный) мир обычных людей и ирреальный (отчасти придуманный и фальшивый) мир людей «новых». И точно так же как в ирреальном мире есть свои центры силы вроде маркизы «с зайцем в голове», в мире реальном есть нормальные люди, занятые трудом или серьезными делами (как доктор-исследователь Лобачевский), которым до мира юродствующего нет никакого дела. В размышлениях об этом мире Розанову припоминается «труженик Нечай с его нескончаемою работою и спокойным презрением к либеральному шутовству, а потом этот спокойно следящий за ним глазами Лобачевский, весь сколоченный из трудолюбия, любознательности и настойчивости; Лобачевский, не удостоивающий эту суету даже и нечаевского презрительного отзыва, а просто игнорирующий ее, не дающий Араповым, Баралам, Бычковым и tutti frutti даже никакого места и значения в общей экономии общественной жизни»².

Только два персонажа среди «новых» людей могут вызвать симпатии читателя. Это Райнер — подлинный поборник социалистической идеи — и несостоявшийся ученый, выросший

¹ Там же. С. 321—322.

² Там же. С. 406—407. Tutti frutti (*итал.*) — всякая всячина.

в России поляк Юстин Помада. Оба в конце концов уходят от болтовни в реальное политическое дело и заканчивают свой путь гибелью в составе разбитого русскими войсками польского отряда повстанцев. Впрочем, обе эти фигуры случайны не только для занимающего их некоторое время конкретного дела — «ассоциации», но и для жизни вообще. Так, Райнер — случайно выживший в своей стране добровольный пришелец в чужую ему Россию. Еще более случайный в этой жизни незадачливый и, по сути, бездельный (в помещичьей семье он «преподавал» детям чистописание) кандидат юридических наук учитель Помада. Вот, например, что с ним происходит уже в самом начале романа, в момент приезда домой Лизы Бахаревой. Размышляя о некоей благоприятной для себя неожиданной возможности, которая в один момент переменит его жизнь, Помада говорит сам себе: «Стоит ведь вытерпеть только. Ведь не может же быть, чтоб на мою долю таки-так уж никакой радости, никакого счастья. Отчего?.. Жизнь, люди, встречи, ведь разные встречи бывают!.. Случай какой-нибудь неожиданный... ведь бывают же всякие случаи...»

Эти размышления Помады были неожиданно прерваны молнией, блеснувшей справа из-за частокола Бахарева сада, и раздавшимся тотчас же залпом из пяти ружей. Лошади хрпнули, метнулись в сторону, и, прежде чем Помада мог что-нибудь сообразить, взвившаяся на дыбы пристяжная подобрала его под себя и, обломив углые перила, вместе с ним свалилась с моста в реку»¹. Случай этот стоил Помаде сильнейших ушибов и вывиха, от которых он оправлялся долго. При этом надо сказать, что из подобного рода «неожиданностей» слагается вся жизнь этого нелепого, симпатичного и честного, но удивительно не приспособленного к жизни героя романа.

К магистральным критическим размышлениям Лескова о природе и путях становления в России «позитивного дела» и возможности появления действительно «новых (добрых) людей», как о них говорит автор «Некуда» в цитированной статье о Чернышевском, непосредственно примыкает рассказанная в романе история о «бунте» и последовавшей за ним массовой смерти сидящих в клетках соловьев.

Вот она: «Комната, в которой я спал с соловьями, выходила окнами в старый плодovitый сад, заросший густым вишенником, крыжовником и смородинойю.

¹ Там же. С. 49.

В хорошие ночи я спал в этой комнате с открытыми окнами, и в одну такую ночь в этой комнате произошел бунт, имевший весьма печальные последствия.

Один соловей проснулся, ударился о зеленый коленкоровый подбой клетки и затем начал неистово метаться. За одним поднялись все, и начался бунт. Дед был в ужасе.

— Ему приснилось, что он на воле, и он умрет от этого, — говорил дед, указывая на клетку начавшего бунт соловья.

Птицы нещадно металась, и к утру три из них были мертвы. Я смотрел, как околевал соловей, которому приснилось, что он может лететь, куда ему хочется.

Он не мог держаться на жердочке, и его круглые черные глазки беспрестанно закрывались, но он будил сам себя и до последнего зевка дергал ослабевшими крыльями¹.

История эта, приведенная в романе в связи с иным сюжетом — медленным угасанием отца Лизы — Егора Николаевича Бахарева, на самом деле многозначна. В лесковских размышлениях о свободе в России и «новых людях» она обозначает еще одну, к сожалению, также тупиковую, линию анализа возможностей развития страны. Мечтания о действительной свободе и действительно позитивном деле в России, в которой только что сама власть приказала отменить рабство для своих подданных, вдвойне утопичны, потому что в отличие от соловьев, когда-то до поимки живших на свободе, жителям этой страны ничего подобного не снится. Точнее, давно нет тех поколений, которые бы помнили, что такое — жизнь на свободе, и своей тоской могли бы добавить воли к свободной жизни другим. Это не значит, что вовсе не нужно делать попыток к изменению жизненных условий. Это значит лишь то, что задача эта не так проста, как представляется изображенным в романе «новым людям».

Сами же эти «новые люди» ничего, кроме недоумения, а зачастую и презрения, ни у автора, ни у читателя не вызывают. Вот, например, их, так сказать, групповой портрет: «Это была самая разнокалиберная орава. Тут встречались молодые журналисты, подрукавные литераторы, артисты, студенты и даже два приказчика.

Женская половина этого кружка была тоже не менее пестрого состава: жены, отлучившиеся от мужей; девицы, бежавшие от семейств; девицы, полюбившие всеми сердцами людей, не

¹ Там же. С. 512.

имевших никакого сердца и оставивших им живые залогов своих увлечений, и *tutti quanti* в этом роде.

Все это были особы ...умственного пролетариата...

Другие из *людей дела* вовсе не имели никаких определенных средств и жили непонятным образом, паразитами на счет имущих, а имущие были тоже не бог весть как сильны и притом же вели дела свои в последней степени безалаберно. ...Здесь преобладала полная беззаботливость о себе и равносильное равнодушные к имущественным сбережениям ближнего. Жизнь не только не исчезла в заботах о хлебе, но самые недостатки и лишения почитались необходимыми украшениями жизни. Неимущий считал себя вправе пожить за счет имущего, и это все не из одолжения, не из-за содействия, а *по принципу*, «по гражданской обязанности». Таким образом, на долю каждого более или менее работающего человека приходилось по крайней мере по одному человеку, ничего не работающему, но постоянно собирающемуся работать»¹.

По оценке старой крестьянки — няни Лизы Бахаревой, по приказу умершего Лизино отца охранительно сопровождающей девушку в ее странствиях в мире «новых людей», одни из описанных персонажей были «простяки и подаруи», а другие — «дармоеды и объедалы». Однако и ее, неграмотной старухи, трезвая оценка расходится с затуманенной социалистическими фантазиями оценкой честного Райнера: «"Это и есть те полудикие, но не вывихнутые цивилизацией люди, с которыми должно начинать дело", — подумал Райнер и с тех пор всю нравственную нечисть этих людей стал рассматривать как остатки дикости свободолюбивых, широких натур»².

Впрочем, в конце концов Райнер прозревает. В своем заключительном разговоре с Лизой он произносит приговор «делу» «новых людей»: «...от всей души желаю, чтобы так или иначе скорее уничтожилась жалкая смешная попытка, профанирующая учение, в которое я верю. Я, социалист Райнер, буду рад, когда в Петербурге не будет Дома Согласия. Я благословлю тот час, когда эта безобразная, эгоистичная и безнравственная куча самозванцев разойдется и не станет мотаться на людских глазах»³. И в этом же разговоре звучит и естественное продолжение «социалистической затеи» — надежда на то, что если Россия

¹ Там же. С. 543—544. *Tutti quanti (итал.)* — все такие.

² Там же. С. 545.

³ Там же. С. 630.

не годна для этого эксперимента, то не одна же она страна на свете: «Так клином земля русская и сошлась для нас!» — с пафосом провозглашает неугомонно-фанатичная Лиза.

И в самом деле — мировой революционер Райнер отправляется воевать в Польшу. Лиза же, так и не сломленная в своем желании включиться в истинную борьбу за «новое время», умирает. Последние слова ее, сказанные Женни, таковы: «...с ними у меня общего... хоть ненависть... хоть неумение мириться с тем обществом, с которым вы все миритесь... а с вами... ничего, — добавила она и захлебнулась»¹.

Но ни этой печальной нотой завершается роман. Многократно и постоянно звучащее в разных негативных контекстах его ключевое слово «некуда» в финале обретает неожиданно позитивный смысл. Рассуждая о продолжающейся в печати болтовне литературных «новых людей», один из подлинных людей дела, не чуждый к тому же и исполнения обязанностей, связанных с зарождающимся в России земством, так итожит свою речь: «Я, брат, точно, сердит. Сердит я раз потому, что мнедохнуть некогда, а людям все пустяки на уме; а то тоже я терпеть не могу, как кто не дело говорит. Мутоврят народ тот туда, тот сюда, а сами, ей-право, великое слово тебе говорю, дороги никуда не знают, без нашего брата не найдут ее никогда. Все будут кружиться, и все сесть будет некуда»².

Дорогу и место, на которое может на время опуститься уставший русский путник, определяют, полагает Лесков, настоящие люди дела. Естественно, такой вывод оказался сильно не по нраву разворачивающимся в России революционерам и «углекислым феям Чистых Прудов». Впрочем, хотя в настоящем времени им не было места, их историческое время, к сожалению, все-таки было впереди.

¹ Там же. С. 691.

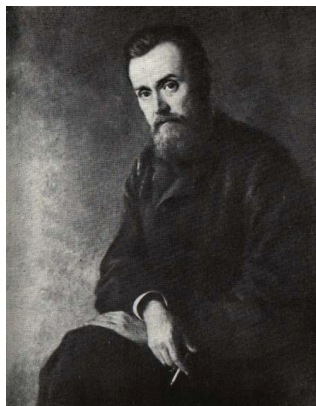
² Там же. С. 708.

Глава 6

«НОВЫЕ ЛЮДИ» И СТАРЫЕ НРАВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ Г.И. УСПЕНСКОГО И С. КАРОНИНА¹

В 1860-е годы в России активизируется народническое движение, а вместе с ним получает развитие и народническая литература, первыми среди представителей которой следует назвать Г. Успенского, С. Каронина, А. Энгельгардта².

С именем **Глеба Ивановича Успенского (1843—1902)** в отечественной литературе связана серьезная попытка исследовать



влияние капитализма на судьбы русского крестьянства. В своих очерках «Из деревенского дневника», «Крестьянин и крестьянский труд» и «Власть земли» Г. Успенский утверждает обусловленность нормальной и, пожалуй, счастливой жизни крестьянина его связью с землей, которую нарушают формирующиеся капиталистические отношения и цивилизация, приходящая вместе с ними. «...Для сохранения русского земледельческого типа, — пишет он, — русских земледельческих порядков и стройности, основанной на условиях земледельческого труда, всех народных частных и общественных отношений, необходимо всячески противодействовать разрушающим эту стройность влияниям; для этого необходимо уничтожить все, что мало-мальски носит чуждый земледельческому порядку

порядков и стройности, основанной на условиях земледельческого труда, всех народных частных и общественных отношений, необходимо всячески противодействовать разрушающим эту стройность влияниям; для этого необходимо уничтожить все, что мало-мальски носит чуждый земледельческому порядку

¹ Глава написана В.П. Филимоновым.

² Хотя многие произведения авторов, чье творчество исследуется в настоящей главе, относятся не только к периоду 60-х годов, но и к более позднему времени — 70-м и даже 80-м годам XIX столетия, тем не менее содержательно их «присутствие» более «к месту» в данном томе, посвященном проблематике «нового человека».

признак: керосиновые лампы, фабрики, выделяющие ситец, железные дороги, телеграфы, кабаки, извозчиков и кабатчиков, даже книги, табак, сигары, папиросы, пиджаки и т.д. и т.д. Все это необходимо смести с лица земли для того, чтобы Иван Ермолаевич (персонаж очерков Успенского, крестьянин-средняк. — *В.Ф.*), воспитывавшийся в условиях земледельческого труда, на них построивший все свои взгляды, все отношения, на них основавший целый, особый от всякой цивилизации, своеобразный "крестьянский" мир, мог свободно и беспрепятственно развивать эти своеобразные начала...

Но если бы такое требование было в самом деле предъявлено, то едва ли бы нашелся в настоящее время хотя один человек, который бы определил его иначе, как крайним легкомыслием. Да и сам Иван Ермолаевич... не променяет керосиновой лампы на лучину и не посадит свою жену за "прясло", когда есть деньги, чтобы купить ситчику. И выходит поэтому для всякого что-нибудь думающего о народе человека задача поистине неразрешимая: цивилизация идет, а ты, наблюдатель русской жизни, мало того, что не можешь остановить этого шествия, но еще, как уверяют тебя и как доказывает сам Иван Ермолаевич, не должен, не имеешь ни права, ни резона соваться, ввиду того, что идеалы земледельческие прекрасны и совершенны. Итак — остановить шествие *не можешь*, а соваться *не должен!* Между тем сам Иван Ермолаевич... чувствует себя весьма нехорошо и вырабатывает... взгляды на окружающее вполне непривлекательные...»¹ В результате прихода в деревню «нового быта» и его причины — капиталистических отношений в традиционном для России земледельческом слое, наряду с прочими последствиями, появляются и новые социальные слои деревенских «новых людей».

Упираясь в неразрешимость задачи сохранения и развития «русского земледельческого типа» в условиях капитализации страны, Г. Успенский по логике своих размышлений должен признать, как ни катастрофично это звучит, конец эпохи традиционного полутоварного-полунатурального, но в обоих случаях кустарного земледелия, конец эпохи крестьянства в России и общины как основной формы его бытия. Наблюдая пореформенные изменения в деревне в цикле «Новые времена, новые заботы» (1873), Успенский регистрирует исторический момент

¹ Успенский Г. Избранные произведения. М.: Московский рабочий, 1949. С. 386—387.

перемен в отношениях к собственности. Не только у помещика, но и у крестьянина появляются новые мысли и чувства, доселе неведомые ни тому ни другому. Как только какой-то кусок леса или поля стал чужим, «барин сообразил, что все это — "мое", и как только увидел это же самое мужик, то и он тоже сообразил, что ведь это — "наше"»¹. Эти переживания были до того новыми, что аппетит к «моему» и «нашему» стал возрастать не по дням, а по часам.

В практике крестьянской жизни это новое восприятие и ощущение собственности не получило, по описанию Г. Успенского, естественного, органического развития. Так, крестьяне деревни Распясово, которая у писателя выступает примером восприятия русским мужиком пореформенных хозяйственных преобразований, возбуждались неопределенными мечтаниями от рассказов солдат и богомольцев, приносивших сведения из «большого мира». Они уносились мыслями в утопические дали, что так свойственно русскому мужику, в то время как их взаимоотношения с господами все больше запутывались в бюрократических лабиринтах. Они «возлагали надежды на бога, а убеждение в правоте своего дела основывалось у них исключительно на мечтаниях в темные осенние и зимние вечера и ночи...

...Не понимая путем того, что читал приехавший чиновник, они догадывались, однако, что в бумаге нет ничего насчет того, чтобы все "повернуть к ним", как обещано, и потому говорили, что эта бумага "не та", что подписывать ее не будут...»².

В конце концов, все мечты и надежды распясовцев были разрушены, «они ничего не могли сообразить ввиду очевидности их неудачи, и, вместо того, чтобы негодовать, шуметь и буйствовать..., они совершенно ослабли духом, отчаялись, пали в глубоко-упорную апатию. "Помереть!" — было единственным желанием почти всех распясовцев...»³. Мироощущение столкнувшихся с капиталистическими отношениями распясовцев рифмуется с вахлачиной Н.А. Некрасова и щедринскими глуповцами, с их необыкновенной способностью во всякую минуту необходимости принятия серьезного самостоятельного решения погружаться в стагнацию. И распясовцы, действительно, стали помирать, пока всех их не отдали под суд.

¹ Успенский Г. И. Избранные произведения. М.: Художественная литература, 1990. С. 195.

² Там же. С. 196.

³ Там же. С. 201.

Само то, что Глеб Успенский, создавая образ деревни Распоясово, осуществляет это в жанровых рамках притчевых обобщений, подчеркивает его стремление воспроизвести некую существенную черту крестьянского мироощущения в России в целом. Его распясовец ослаб духом и потерял все. Сознание своей глупости «отозвалось в характере распясовцев полным презрением друг к другу. Они, как собаки, грызлись и вредили друг другу на новых местах; всякому было отвратительно видеть в другом набитого дурака, который, из-за своего невежества и дурости, разорился сам и других разорил... ..Закончив долготерпение и бедности сознанием своей глупости, ничтожества, такого ничтожества, которое может быть во всякое время выкинуто вон, как сор, распясовец чувствовал внутри себя полный разгром, разврат и стал пропивать все, что оставалось, стал воровать...»¹.

В этой ситуации полной растерянности, морального упадка и расслабления, в которые впадает русский мужик-«распясовец», только что вышедший из полусонного состояния «крепи» и не справившийся с накатившей на него капитализацией, в это время является как раз капиталистический «хищник» с его теорией «человек — полтина», которую он активно внедряет в распясовскую среду, чем окончательно оглушает крестьянина, лишает его прежней минимальной по нынешним меркам, но все же индивидуальной самостоятельности в организации хозяйственной жизни. Этот «хищник» — опять же «новый человек», купец новой формации, существенно отличающийся от купца «старомодного». Что же такое был этот прежний купец?

«Старомодный купец, как скажет всякий, кто имел с ним дело, жил обманом, богатство приходило к нему темными путями, и слова «темный богач» так же справедливы по отношению к старомодному купцу, как поговорка: «не обманешь — не продашь» — справедлива относительно его деятельности. В нем все было обман. Женился он обыкновенно не на женщине, а на сундуке, но притворялся, что он — семейный человек и живет в страхе божием, зная, что все в его семье точно так же притворяются и лгут, как и он сам. Обходительность и ловкость, которыми он щеголял перед покупателем, пришедшим к нему в лавку, были не более как средством «отвести» покупателю глаза, «заговорить зубы» и всучить тем временем гнилое, линючее

¹ Там же. С. 202.

или спустить против настоящей меры на вершок, а то и на целый аршин, если удастся... Так думали про старинного купца все, да так думал и он сам, потому что, хоть иной раз он и наживал большие капиталы, хоть иной раз и ловко удавалось ему «обойти» покупателя, — в глубине души он чувствовал, что дело его «не чисто», что каждую минуту его могут уличить и поступить на законном основании, да и на том свете, пожалуй, будет не очень хорошо. Вот почему старомодный купец считал своею глубокою обязанностью радеть ко храму божию, заглушать голос совести стопудовым колоколом или пудовой свечкой местному образу, с которою он обыкновенно, пыхтя и обливаясь потом, пробирался посреди толпы, наполнявшей храм, толкая публику направо и налево. Жертвы храму божьему успокаивали его душу, сознававшую, что она не очень чиста, но едва ли они могли успокоить его насчет неумолимого закона, которому нельзя ставить никаких свечек, который не нуждается в колокольном звоне. И действительно, закон, начиная будочником и кончая губернатором, постоянно стоял над старомодным купцом в самом угрожающем виде. Купец был дойною коровою всех, кто представлял собою какую-нибудь власть. Он давал взятки, подносил хлеб-соль, жертвовал, подписывал на альбом видов, который общество задумало поднести значительному лицу, проезжавшему из столицы, делал иллюминации «в честь»... участвовал карманом в каком-то аллегри «в пользу» и т. д., не говоря о том, что пирог с приличной закуской — причем всегда должна быть отличнейшая икра и редкостнейшая рыба (две вещи, неразрывно связанные с словом «купец», как неразрывно связана с этим же словом «лисыя шуба» и возглас: «кипяточку!») — этот пирог не сходил у него со стола для званых и незваных. Квартальный, городничий, частный пристав, брендмейстер, судейский крючок, ходатай и т. д. — все это шло к нему в дом, в лавку и брало деньги, ело икру, рыбу, пило водку, постоянно грозилось и требовало благодарности за снисхождение. Старомодный купец всем платил, всех кормил, чувствуя себя виновным, и, только миновав все эти препоны, то есть накормив, оделив всех, мог завтра опять «заговаривать зубы» и «отводить глаза». Недаром стародавний купец одевался в лисий мех: нечто лисье было во всей его деятельности, а травля, гораздо более оживленная и деятельная, чем бывает травля на настоящую лисицу, преследовала старомодного купца изо дня в день, из года в год. И вот, нагавшись вдоволь, напотевшись за чаем и из страха наказания за

свои плутни, этот лиса-человек кончал тем, что под конец жизни прятал свои деньжонки, скопленные обманом и криводушием, в сундук и, чтобы спокойно дожить остаток дней, должен был притворяться нищим, уверять всех и каждого, что у него за душой нет копейки, а в доказательство справедливости этих слов — питался одной только редькой¹.

Однако постепенно капитализм утверждается не только в крупных городах, но и в провинциальном захолустье, и вот уже на смену старомодному купцу приходит купец-предприниматель новой формации, работающий в изменившихся социально-экономических условиях. Посмотрим, что именно в этом «новом человеке», в этом «хищнике» видит Г. Успенский.

«Ничего общего с этого рода типом (купцом старомодным. — В.Ф.) Иван Кузьмич Мясников не имеет; в физиономии его нет ни той слашавости, которая замечалась у прежнего купца в моменты спуска аршина на четверть против настоящей меры, ни страха, являвшегося при появлении квартального. Напротив, физиономия Ивана Кузьмича — физиономия смелая, уверенная, и эту открытую смелость Иван Кузьмич не прячет даже в бороду, потому что «по нонешнему времени» он эту бороду бреет. Такая существенная разница между старым и новым представителем капитала объясняется тем, что старый тип считал свое дело в глубине души «не совсем чтобы по-божески», а новый, напротив, ничуть не сомневается в том, что его дело — настоящее и что отечество даже обязано ему благодарностью за то, что он жертвует своим капиталом на общую пользу и хотя действует из личных выгод, но зато дает другим хлеб, оживляет «мертвые местности» и капиталы, как пишут в газетах (с которыми Иван Кузьмич частую знаком), капиталы, которые, по словам газет и по убеждению Ивана Кузьмича, бог знает сколько времени лежали бы без движения, если бы он, Мясников, не приложил к ним своих рук. В этом убеждении Ивана Кузьмича укрепляет общественное мнение, мнение печати и та действительная нищета, среди которой его капиталы, его хлеб — действительно благоденствие. Вот почему взгляд его прям и прост, вот почему ему нет надобности ни вилять, ни бояться: он действует на законном основании. И нет поэтому Ивану Кузьмичу никакой надобности тащить к местному образу пудовую золоченую свечку, чтобы тем успокоить свою совесть, — совесть эта покойна, потому что Иван Кузьмич «дает просто обо-

¹ Там же. С. 189—190.

рот своим капиталам», а это не запрещено, и в Писании ничего грозного на этот счет не сказано. Вот почему и причт того прихода, к которому принадлежит Иван Кузьмич, уж и не ждет от него никакого финансового поощрения, раз навсегда решив, что тут много «не пообедает», «не разъесться». Действуя на законном основании, Иван Кузьмич совершенно покоен и с этой стороны, зная наверное, что его никто не посмеет тронуть: на все у него есть патенты; везде заплачено что следует; без заискивания, без страха, не с заднего крыльца, не тайком в темном углу сунуто, «дадено» в руку, а прямо «заплачено» «что вам следует», и благодаря этому начальство не только не может принять относительно его той угрожающей позы, в которой оно постоянно фигурировало пред купцом старого типа, но по примеру духовенства знает, что тут «больше не ухватишь», и держит себя в почтительном от Ивана Кузьмича отдалении. Словом, сознание, что капитал — сила, что прятать его в сундук — глупость, что делать на этот капитал оборот, что покупать и продавать можно решительно все, что продается и покупается, что получение барыша тоже вполне разрешено и допущено, — все это проводит резкую границу между старомодным купцом и купцом нового типа и делает последнего спокойным, уверенным и не боящимся ничего ни здесь, ни там.

И вот, вместо того чтобы по старому обычаю, отправляясь в дорогу по делам, отслужить с водосвятием напутственный молебен, как это делал прежний купец, когда ехал за гнилым товаром в Москву; вместо того чтобы дать окропить себе лицо и окропить внутренность кибитки и даже внутренность шапки ямщика, Иван Кузьмич, в качестве «нового типа», кладет в карман шестиствольный, заряженный шестью пулями револьвер и совершенно спокойно отправляется «оживлять» мертвые места и капиталы, отправляется в глубину русской глуши, где этих капиталов везде лежат непочатые углы, совершенно недоступные для купца старого закала.

И, словно сказочный богатырь, наделенный непомерно силою денег, Иван Кузьмич начинает буквально двигать горами. Прикоснется он с своими капиталами к дремучему темному бору, грозно шумевшему тучам и грозам: «вороти назад, держи около», и с материнской заботливостью дававшему приют тысячам зверей и птиц, и — глядишь, в две-три недели после появления в этом лесу Ивана Кузьмича — лес исчез, и уж больше нет этого дремучего богатыря! Разбежался зверь; с шумом, карканьем и плачем разлетелись птицы, и остались одни бревна, кое-где придавившие

зайца, спасавшегося бегством, поленицы дров, брусья. а скоро и это исчезнет отсюда, и останется голое, изрытое место да деньги в кармане Ивана Кузьмича, какие-то разноцветные маленькие бумажки, которые тотчас вновь идут в дело, и — глядишь, где-нибудь в другом глухом уголке идет стон и рев, и рекою льется кровь быков, свиней и овец... Стадо превращается в мясо, в солонину, в сало, в шкуры, в пуды, в фунты — и все это скоро исчезает, уезжает на скрипучих возах, оставив после себя пустое пастбище да бумажки разноцветные в кармане Ивана Кузьмича, тотчас идущие на какое-нибудь новое дело... Но какого бы рода дело это ни было, всегда что-то очень похожее на опустошение, на исчезание, на смерть чего-то, что было и чего не стало, остается по приведении этого дела к окончанию. Надо отдать справедливость твердости характера и нервов Ивана Кузьмича; он никогда почти не испытывал этого ощущения смерти — ни тогда, когда, треща и крича испуганными птицами и не хотевшими сдаваться топору стволами, падали тысячи деревьев, ни тогда, когда под ножом умирали тысячи быков, тысячи рыб, ни тогда, когда тысячи других тварей, оставленных живыми, с ревом, хрюканьем или беспомощным бляньем, битком набитые в вагоны, крепко-накрепко запертые, увозились на убой неведомо куда. Все это было для него: триста двадцать пять сажень дров, пятьсот пудов сала и столько-то голов скота. Покончив со всеми этими еще недавно живыми саженьями и пудами, он чувствовал только усталость, утомление и убеждался, что деньги достаются не даром, что труда он кладет в них много и что прозвища «благодетель», «кормилец», которые иной раз приходилось Ивану Кузьмичу слышать в оживляемых им глухих местах, «пожалуй что» и справедливые прозвища.

И в самом деле, как в сущности ни проста система оборотов капитала, которой придерживается Иван Кузьмич, как ни прост прием обогащения, основанный на том, чтобы в корень извести все, что произвели природа или чужие руки, как ни просто, проглотивши этот многолетний труд природы и человека, положить потом себе в карман чистые деньги, но условия жизни глухих мест бывают иной раз таковы, что и такая система действия, такая голая купля готового добра, такое бесследное уничтожение естественных и трудовых богатств могут, поистине, считаться благодеяниями, а Иван Кузьмич — действительным благодетелем...»¹

¹ Там же. С. 190—192.

Однако купец новой формации ничего бы не смог, если бы не было «распоясовцев». В каком же положении пребывают они? В массе своей крестьянин, как его видит Глеб Успенский, нищ и несчастен. И причины его обнищания в пореформенное время выглядят почти мистикой. В цикле очерков «Из деревенского дневника» повествователь беседует с крестьянином, производящим впечатление нищего. в чем же причина? «Пищи нету», — отвечает несчастный. В то же время в деревне этого крестьянина идут большие постройки, и свободное время крестьян, то есть конец мая и июнь, может быть хорошо оплачено поденной работой. Но у собеседника повествователя нет ни лошади, ни жены, а зять — в солдатах, и сам крестьянин «ослаб». «Случись неуправка, — говорит он, — никому, братец ты мой, отвечать за тебя неохота». При этом деревня, где живет горемыка, самая богатая. И весь край, Приволжье — степная Самарская губерния — истинная «житница русской земли».

Повествователя тревожит трудноразрешимый в пореформенной России вопрос (вспомним Льва Толстого): «Что же еще нужно, чтобы человек здешний был в достатке?» Обедневшие крестьяне утверждают, что и на общину они рассчитывать не могут (например, на общинные леса, общинную кассу): «они» «нам» не дадут. Таким образом, делает довольно туманный вывод Глеб Успенский, в глубине деревенских порядков есть какие-то «не-совершенства интеллектуальные», достойные того, чтобы обратить на них внимание.

Об этом же, но уже определенно в укор обществу в очерках «Крестьянин и крестьянский труд» Успенский заключает: «Не раз, глядя на эту почти добровольную отдачу себя на съедение всем, кто пожелает, всем, у кого загребиста лапа, я в глубоком унынии восклицал, конечно в мыслях моих: "Боже мой! какие же нужны еще казни египетские, чтобы сокрушить в Иване Ермолаевиче это непоколебимое невнимание к «собственной пользе"!» Ведь это невнимание делает то, что через десять лет (много-много) Ивану Ермолаевичу и ему подобным нельзя будет жить на свете: они воспроизведут к тому времени два новых сословия, которые будут теснить и напирать на «крестьянство» с двух сторон: сверху будет наседать представитель третьего сословия, а снизу тот же брат мужик, но уже представитель четвертого сословия, которое неминуемо должно быть, если будет третье. Этот представитель четвертого деревенского сословия непременно будет зол... и неумолим в мщении, а мстить он будет

за то, что очутился в дураках, то есть поймет наконец (и очень скоро), что он платится за свою дурачность, что он был и есть дурак, дурак темный, отчего и разозлился сам на себя. И горько заплатятся за это все те, кто, по злumu, хитрому умыслу, по невниманию или равнодушию, поставили его в это «дурацкое» положение. Другим словом нельзя определить этого положения, ибо если в русской деревне завелся хронический нищий, то только существованием какого-то неумного места в организации общественной, ничем другим это явление объяснить нельзя. Все есть для того, чтобы такого явления не было, — а оно уже есть; никакими резонами, мало-мальски подходящими к тому, что определяется словами "необходимость", "неизбежность", нельзя этого явления объяснить. Представитель русского четвертого сословия есть продукт бессердечной общественной невнимательности — ничего более»¹.

«Несовершенства интеллектуальные» касаются духовной жизни человека, но со стороны просто элементарного здравого смысла жизнь крестьянина, как ее описывает Успенский (как и вообще литераторы этого направления), кажется абсурдной, лишенной права и закона. Так, в очерках «Из деревенского дневника» писатель рассказывает, как крестьяне забили насмерть молодого конокрада. При виде мертвого на всех напал страх. «Никто не думал, что убьет до смерти, всякий бил за себя..., не считал, что и другие бьют. А как увидели два покойника — оторопь и обуяла всех... Все врассыпную. "Не я... не я... не я..." ... Суд был. И точно — ничего не было. Всех оправдали»².

А причина всего этого животного безумия — в лошади. Она и есть «главное действующее лицо» всей истории, заглушающее совесть крестьян и оправдывающее, даже и с точки зрения повествователя, их действия. Что такое для крестьянина лошадь? Лошадь — скотина хозяйственная, украсть ее — значит разрушить или существенно ослабить платежную силу крестьянского двора. «Хозяйственный ореол лошади помрачал всякие соображения о страданиях человека... до того, что... оказывалось позволительным ухлопать человека, как собаку, и не чувствовать при этом ничего, кроме сознания, что вот, мол, "теперь стало на этот счет потише"»³.

¹ Успенский Г. Избранные произведения. М.: «Московский рабочий», 1949. С. 262.

² Там же. С. 299.

³ Там же. С. 318

Невольно вспоминается щедринская формула мироощущения крестьян: русский крестьянин не просто беден, а беден осознанием своей бедности. Это та бедность, которая пронизывает страхом за свое физическое существование все поры крестьянской (да и помещичьей, как было показано выше) жизни, когда изъятие из нее лошади равносильно гибели всей крестьянской семьи. За этими описаниями крестьянского быта — сущностные черты крестьянского мироощущения, порожденные его природно-животным бытием, в котором он переживает себя как неотъемлемую часть этого бытия: и животного, и иного природного мира. Поэтому так трудно, видимо, договориться повествователю даже и с вполне разумным представителем крестьянства. Повествователь недоумевает (цикл «Крестьянин и крестьянский мир»): он живет в деревне и находится в ежедневном общении с хорошей крестьянской семьей, ведущей основательное, подлинно крестьянское, то есть исключительно земледельческое, хозяйство. Но как в первый день знакомства, так и по прошествии длительного времени ни он, ни крестьянская семья не могут проникнуться интересами друг друга. Не принимает глава этой семьи, уже знакомый нам Иван Ермолаевич, и так называемого «подстоличного» мужика, с которым у повествователя между тем общий язык находится. Вот основные хозяйственные «доводы» крестьянина и «подстоличного» мужика.

«И как это я погляжу на вас, — говорит Иван Ермолаевич: — как вы живете бессовестно! Вам бы только-только где рублевку сорвать, и всего лучше, ежели даром... Это для вас первое удовольствие... а чтобы хозяйствовать, работать как следует, на это у вас охоты нет... На чаях да на сахарах пропьете рублевки-то, а там овес покупать еще с осени надо, и хлеб покупной едите, и кругом в долгу как в шелку... Коли ежели ты крестьянин, так ты должен справляться так, чтобы тебе бы в люди ни за чем не ходить, чтобы и хлеб, и овес, и «все-всякая», чтобы все было при доме. Это и есть крестьянство, а ежели, вот как ваш брат, начнет пахать да в пол-деле бросит да за рублевкой там, или за тетеревом, или там за барином за каким погонится, чтобы какую-нибудь там от него бумажку выхватить, это ничего не стоит. Тут одно только расстройство для хозяйства, а от этих рублевок да тетерок — только один вред. Положим, что ты и двадцать и четвертную сорвешь там

с кого-нибудь, и то окроме как вреда ничего нет, потому хозяйство забываешь...»¹

На это следует отповедь «подстоличного» мужика:

«Послушать ежели тебя, — говорит он, свертывая из газетной бумаги папиросу: — то уж, сделай милость, извини, а только что разговор твой вполне довольно глуп. Ты уж, сделай милость, будь так добр, на эти мои слова не огорчайся, но что окончательно твои слова есть больше ничего, как одна глупость... и когда это бывало, скажи ты на милость, чтобы мужику от денег был вред? Ты опомнись-ка немножко, подумай, что такое твои слова? Двадцать целковых — вред! Мужику! Да сделай милость, не хочешь ли, мы испробуем? Давай вот мне сейчас двадцать-то пять рублей, ну, если даже так возьмем, хошь пятьдесят целковых ты мне давай — и гляди, какой со мной случится припадок от этого... По твоим словам оказывается, будто бы это будет вред, особливо ежели задаром?... Так вот давай испробуем... Ты выноси деньги, а я, видишь, вот у меня мешок кожаный сделан для этого, для вреда-то, а я их в мешок спрячу... а ты гляди, что будет. Может, я от этого кашлять начну или захромаю, а может, и невредим останусь... Овса тебе? Давай деньги-то, я тебе и овса представлю и хлеба, ежели тебе требуется, покуда ты там будешь ковыляться с «Андревной-то»... Выноси деньги-то! Чего ж молчишь? Скажите, пожалуйста, какую вывел рацею!.. Четвертная вред — мужику-то!.. Ну нет, друг любезный, я так думаю, что мужика деньгами никак невозможно испортить... От денег — расстройство! Ах ты, курносый ты человек, больше ничего... Послушать тебя, так действительно что смеху подобно... Кабы нам этого вреда-то побольше да почаще, так мы бы как бы дела-то справляли... а то от овса — польза, а от денег — вред!.. Выдумал, нечего сказать, искусно!..»²

«Подстоличный» мужик для крестьянина тоже «новый человек», то есть мужик, отбившийся от хозяйства, «подпорченный» цивилизацией. Таких мужиков Иван Ермолаевич не то что недолюбливает, а даже ненавидит. И может быть, ненавидит как раз за их свободу, за возможность оторваться от диктата земли. В философии земледельческого труда, которую выстраивает в своих очерках Г. Успенский, во всех отношениях, кажется, полноценное крестьянское бытие Ивана Ермолаевича как

¹ Там же. С. 250.

² Там же. С. 250—251.

раз и не имеет исторической перспективы, становится все менее и менее возможным, в отличие от «подстоличного» жития, а иногда и бродяжничества.

Успенский не только сочувствует крестьянину, но и задается кардинальными вопросами о самом способе его существования. «На том самом месте, где Иван Ермолаевич «бьется» над работой из-за того только, чтоб быть сытым, точно так же бились, ни много ни мало как тысячу лет, его предки и, можете себе представить, решительно ничего не выдумали и не сделали для того, чтобы хоть капельку облегчить ему возможность быть «сытым». Предки, тысячу лет жившие на этом самом месте (и в настоящее время давно распаханное «под овес» и в виде овса съеденные скотиной), даже мысли о том, что каторжный труд из-за необходимости быть сытыми должен быть облегчаем, не оставили своим потомкам; в этом смысле о предках нет ни малейших воспоминаний. У Соловьева, в «Истории», еще можно кое-что узнать насчет здешнего прошлого; но здесь, на самом месте, «никому» и «ничего неизвестно». Хуже той обстановки, в которой находится труд крестьянина, представить себе нет возможности, и надобно думать, что тысячу лет тому назад были те же лапти, та же соха, та же тяга, что и теперь. Не осталось от прародителей ни путей сообщения, ни мостов, ни малейших улучшений, облегчающих труд. Мост, который вы видите, построен потомками и еле держится. Все орудия труда первобытны, тяжелы, неудобны и т. д. Прародители оставили Ивану Ермолаевичу непроездное болото, чрез которое можно перебираться только зимой, и, как мне кажется, Иван Ермолаевич оставит своему мальчишке болото в том же самом виде. И его мальчонко будет вязнуть, «биться с лошадей», так же как бьется Иван Ермолаевич. Но, оставив прародителей в стороне, я, в качестве человека постороннего деревенской жизни и деревенскому труду, решительно недоумеваю и теряюсь в догадках, объясняя себе это видимое мне и совершенно непостижимое для меня равнодушие — положим, хоть в Иване Ермолаевиче — относительно «облегчения» этой необходимости быть «сытым». Я решительно не понимаю, почему Иван Ермолаевич, который непременно поднимает обрывок веревки или гвоздя, если они попадутся ему на дороге, теряет, в лице многих таких же, как и он, истинных «крестьян», сотни, тысячи рублей на продуктах собственного своего каторжного труда, сотни, даже тысячи, которые несомненно облегчили бы, улучшили его благосостояние и дали бы возможность забо-

титься о мальчишке более, чем о жеребенке. В отношении этого равнодушия к собственной выгоде на моих глазах происходят удивительные нелепости. Например, сено в здешних местах — продукт, могущий доставить почти такую же денежную поддержку, как лен в Пскове или пшеница в Самаре, с тою, однако, разницею, что сено растет «даром». Косят его здесь все крестьяне, в том числе и Иван Ермолаевич, и потому что вывезти его летом нельзя, — так как местность перерезана болотом, — продает его «по нужде» на месте за самую ничтожную цену кулакам и барышникам, которые, дождавшись зимы, то есть времени, когда болото замерзнет, вывозят сено в Петербург и продают его втридорога. На глазах всех здешних крестьян постоянно, из года в год, происходят такие, например, вещи: местный кулачок, не имеющий покуда ничего, кроме жадности, занимает на свой риск в соседнем ссудном товариществе полтораста рублей и начинает в течение мая, июня, июля месяцев, самых труднейших в крестьянской жизни, покупать сено по пяти или много-много по десяти копеек за пуд; при первом снеге он вывозит его на большую дорогу, где немедленно ему дают тридцать и более копеек за пуд. На глазах всего честного мира человек, не шевельнув пальцем, наживает поистине кучу денег, которые при всех и кладет себе в карман. Каким образом Иван Ермолаевич дорожит гвоздем, говоря: «он денег стоит», и не дорожит сотнями рублей, которые он бросает кулаку на разживу? Ежегодно деревня накашивает до сорока тысяч пудов сена, и ежегодно кулачишко кладет в карман более пяти тысяч рублей серебром крестьянских денег у всех на глазах, не шевеля пальцем. Дорожит ли человек своим трудом, поступая таким образом? Если он дорожит, то неужели вся деревня (двадцать шесть дворов) не может, во имя облегчения общего труда, сделать того же, что и кулачишко? Они могут занять «на нужду» в двадцать шесть раз больше, чем кулачишко, и, следовательно, «могут» быть не в кабале, «могут» даже «сделать» цену своему товару, могут ждть цен и т. д. И ничего этого нет. Тысячу лет не могут завалить болота на протяжении четверти версты, что сразу бы необыкновенно увеличило доходность здешних мест, а между тем все Иваны Ермолаевичи отлично знают, что эту работу «на веки веков» можно сделать в два воскресенья, если каждый из двадцати шести дворов выставит человека с топором и лошадью»¹.

¹ Там же. С. 257—258.

«Что именно дает Ивану Ермолаевичу, — спрашивает далее Успенский, — переносить свое труженическое существование? Что держит его на свете, и из каких лакомых приправ сварена та чечевичная похлебка, за которую он явно продает свое первородство? Неужели, в самом деле, Иван Ермолаевич и его тысячелетние предки "бьются" только из-за податей? Или, в самом деле, из-за куска хлеба?» Ответы на свои вопросы Глеб Успенский обнаруживает в «поэзии земледельческого труда». Но в этой «поэзии» есть и то, что еще более запутывает вопросы и делает несущественными ответы. Результат труда крестьянина, размышляет писатель, не только в том, что благодаря ему он сыт. В этом труде «невидимо покоятся и существеннейшие его интересы». Ведь «земледельческий труд поглощает и его мысль, сосредотачивает в себе почти всю его умственную и даже нравственную деятельность и даже как бы удовлетворяет нравственно. Ни в какой иной сфере, кроме сферы земледельческого труда... мысль его так не свободна, так не смела, так не напряжена, как именно здесь, там, где соха, борона, овцы, куры, утки, коровы и т.д. Он почти ничего не знает насчет "своих прав", ничего не знает о происхождении и значении начальства, не знает, за что началась война и где находится вражеская земля и т.д., потому что он заинтересован своим делом, ему некогда знать и интересоваться всем этим... Случайности природы он сосредотачивает в Боге. Случайности всевозможной политики — в царе... ..Но в *своем* деле он вникает во всякую мелочь; у него каждая овца имеет имя, смотря по характеру...»¹.

По убеждению Глеба Успенского, «творчество в земледельческом труде, поэзия его, его многогранность составляют для громадного большинства нашего крестьянства жизненный интерес, источник работы мысли, источник взглядов на все окружающее его, источник едва ли даже не всех его отношений — частных и общественных»². И далее: «Множество явлений русской жизни, русской действительности оказываются необъяснимыми или объясняются фальшиво, ложно и досадно терзают вашу наблюдательность потому только, что источник этих явлений отыскивается не в особенностях земледельческого труда, сотканного из непрерывной сети на первый взгляд ничтожных мелочей, а в чем-либо другом»³. Такой видится Г. Успенскому сущность

¹ Там же. С. 267.

² Там же.

³ Там же. С. 271.

крестьянского мировидения, его неделимое, центральное и неизменное ядро.

Рассуждения писателя перекликаются с тем, как определяет суть мужицкого бытия герой «Анны Карениной» Константин Лёвин. При этом очевидно, что в них столько же желания постичь пути взаимодействия с крестьянской средой, сколько и утопической неконкретности в самом определении. От этого и возникает представление о некоей «тайне» народной жизни, вызывающей стороной своей обращенной к дворянскому интеллигенту, как бы требуя от него немедленного ответа. Успенский твердо верит в то, что «множество явлений русской действительности оказываются необъяснимыми или объясняются фальшиво... потому только, что источник этих явлений отыскивается не в особенностях земледельческого труда, а в чем-то другом».

Можно согласиться, конечно, с тем, что постижение «поэзии земледельческого труда» есть путь к пониманию того, почему, например, крестьяне до смерти забивают юного конокрада. Но сама попытка утвердить этот положительный тезис нуждается в такой сложной, многосторонней и разветвленной системе доказательств, что дело, кажется, только все больше запутывается. Чувствует это и сам Глеб Успенский, а поэтому от «поэзии» очень скоро переходит к «прозе». Ведь никуда не денешь, понимает он, «каторжную сторону труда», его историческую неизменность, другие особенности крестьянской жизни, вытекающие из непомерной тяжести такого труда. Не может не беспокоить его и тот факт, что, кажется, не так уже этот труд и «держит» крестьянина на земле, если в классической русской словесности встречается такое количество «отщепенцев», совершающих бесконечное странствие по миру. При этом их «странствие» часто не менее, чем сам труд, отмечено «поэзией».

В цикле очерков Г. Успенского «Власть земли» (1882) разворачивается история крестьянина Ивана Петрова, по прозвищу Босых. Это совсем иной, чем Иван Ермолаевич, тип. Иван Босых «принадлежит к тому ненужному, непонятному, даже прямо постыдному для такой земли, как Россия, классу деревенских людей — классу, народившемуся в последние двадцать лет, — который волей-неволей приходится назвать "деревенским пролетариатом". Деревенский пролетариат — еще один, народившийся и обитающий в пореформенной деревне социальный класс «новых людей». Г. Успенский полагает, что этого класса в России могло бы и не быть, если бы мероприятия государства

и общества, обращенные к народу, «дорожили народным мирознанием», которое, как утверждает писатель, связано с «поэзией земледельческого труда». Писатель видит причины пролетаризации крестьянства, например, в постоянном нарушении прав мужика, пренебрежении его человеческим достоинством. Мужик, решающий в качестве присяжного судьбу человека, может быть выпорот в волостном правлении «до крови» только за то, что, например, будучи под хмельком, не очень вежливо окликнул старшину. Но чтобы молча и безропотно сносить постоянные посягательства на человеческие свои права, крестьянину, полагает Г. Успенский, надо отказаться от всякой нравственности, от всякой духовной жизни, от всякой возможности жить по своему разуму.

Сообщая историю Ивана Босых, повествователь рассказывает о родителях Петрова, которых помнит вся деревня: когда-то были первые хозяева. Но их потомок бросил хозяйство, бьет жену. Дети его по целым дням шляются в грязных лохмотьях по деревне без призора. Иван Босых в качестве «нового человека», то есть на более легком и денежно выгодном, по сравнению с крестьянским, заработке на железной дороге совсем «пропал». Стал пьянствовать и кутить, а когда его прогнали с работы, он был рад вернуться в свой разоренный нуждой дом. Он рад был, когда начальник дистанции «дал ему по шее и из легкой жизни опять свергнул в трудную».

Успенский пытается открыть фундаментальную «тайну» приговоренности русского крестьянина к своему месту даже тогда, когда он, как Иван Босых, «бросил хозяйство». Тайна заключается, разъясняет писатель, в том, что «огромнейшая масса русского народа до тех пор и терпелива и могуча в несчастиях, до тех пор молода душою, мужественно сильна и детски кротка... до тех пор сохраняет свой могучий и кроткий тип, покуда над ним царит власть земли, покуда в самом корне его существования лежит невозможность послушания ее повелений, покуда они властвуют над его умом, совестью, покуда они наполняют все его существование... ..Оторвите крестьянина от земли, от тех забот, которые она налагает на него, от тех интересов, которыми она волнует крестьянина, — добейтесь, чтобы он забыл — "крестьянство" — и нет этого народа, нет народного мирозерцания, нет тепла, которое идет от него. Остается один пустой аппарат пустого человеческого организма. Настает душевная

пустота, "полная воля", т.е. неведомая пустая даль, безграничная пустая ширь, страшное "иди, куда хошь"...»¹

Слова Успенского звучат так, как будто вековая прикрепленность крестьянина к земле, ее власть над ним и во второй половине XIX века так же сильны, как и столетие тому назад. Однако, повторим это еще раз, листая русскую классику, мы то и дело встречаемся с ситуацией отрыва крестьянина от земли. И всегда это — «даль», всегда — «ширь» то есть то же самое «иди, куда хошь». Так что корневая связь мужика с землей превращается в миф ввиду твердой реальности отрыва крестьянина от почвы. Может быть, это обстоятельство и понуждает Глеба Успенского, размышляющего о «власти земли», вспомнить былинную-«загадку» о Святогоре и Микуле Селяниновиче, одном из немногих персонажей как фольклорного, так и авторского отечественного искусства, полной мерой ощущающего «тягу земную». Г. Успенский все более погружается вслед за А. Кольцовым, у которого и позаимствовал формулу «поэзии крестьянского труда», в утопическое пространство мифа о принципиальной неподвижности, застылости крестьянина-земледедца в теле матери-природы, которой он живет, своим каждодневным существованием воспроизводя ее испоконвечный круг. По существу, к этому мифу, привлекательно сглаживающему противоречия реального бытия русского мужика, возвращаются едва ли не все русские классики. Правда, мифология Успенского отличается тем, что вырастает из чистой этнографии, документальной очерковости. Но и он, и другие классики отечественной словесности, вопреки этому мифу, то и дело заставляют своих народных персонажей пренебречь «земной тягой» и отправиться в путь.

В цикле очерков «Власть земли» Г. Успенский говорит о земледедце вообще, о некоем абсолютном его бытии и о том, что может произойти с таким земледедцем, если это его абсолютное, неподвижное бытие нарушить. Возможно, где-то в глубине былинного сюжета русский крестьянин и является таковым, но в сюжете словесности XIX века он существенно отделен от синкретной слитности с землей. Но отделенный от земледельческого труда крестьянин, крестьянин как «новый человек», по словам Г. Успенского, опошляется. Ведь «у земледедца нет шага, нет поступка, нет мысли, которые бы принадлежали не земле. Он весь в кабале у этой травинки зелененькой. Ему до такой

¹ Там же. С. 333.

степени невозможно оторваться куда-нибудь на сторону из-под ига этой власти, что когда ему говорят: "Чего ты хочешь, тюрьмы или розог?" — то он всегда предпочитает быть высеченным, предпочитает перенести физическую муку, чтобы только сейчас же быть свободным, потому что хозяин его, земля, не дожидается: нужно косить — сено нужно для скотины, скотина нужна для земли. И вот в этой-то ежеминутной зависимости, в этой-то массе тяготы, под которой человек сам по себе не может и пошевелиться, тут-то и лежит та необыкновенная *легкость* существования, благодаря которой мужик Селянинович мог сказать: "*меня любит мать сыра земля*..." ...»¹.

Выстраивая образ неумолимой «земной тяги» как положительного начала в формировании крестьянского земледельческого бытия, Г. Успенский, как представляется, одновременно и нарушает гармонию трудного и трудового единства мужика и земли. Вот какое продолжение имеют процитированные выше строки: «И точно любит: она забрала его в руки без остатка, всего целиком, но зато *он и не отвечает* ни за что, ни за один свой шаг. Раз он делает так, как *велит* его хозяйка-земля, он ни за что не отвечает... а главное — какое счастье не выдумывать себе жизни, не разыскивать интересов и ощущений, когда они сами приходят к тебе каждый день, едва только открыл глаза!.. Ни за что *не отвечая*, ничего *не придумывая*, человек живет только *слушаясь*, и это ежеминутное, ежесекундное послушание, превращенное в ежеминутный труд, и образует *жизнь*, не имеющую, по-видимому, никакого результата (что выработают, то и съедят), но имеющую результат именно в самой себе.

Для чего растет вот этот дуб? Какая ему польза сто лет тянуть из земли соки? Что ему за интерес каждый год покрываться листьями, потом терять их и, в конце концов, кормить желудями свиней? Вся польза и интерес жизни этого дуба именно в том и заключается, что он *просто растет*, просто зеленеет, так, сам не зная зачем. То же самое и жизнь крестьянина-земледельца: вековечный труд — это и есть жизнь и интерес жизни, а результат — нуль»².

Такая закабаленность матерью-природой есть, на наш взгляд, та безусловная правда жизни крестьянина-земледельца, которая в поэзии Н.А. Некрасова оборачивается демонической властью

¹ Там же. С. 334.

² Там же. С. 337.

языческого божества (и у Г. Успенского, кстати говоря, природа — не тварь, а творящая сила), постоянно угрожающего крестьянину погибелью в образе суровой Зимы. А власть природы «сотрудничает» у Некрасова с властью социальной — властью государства, помещика, превращая жизнь крестьянина в сплошное страдание. Возникает образ двойной «крепи»: со стороны матери-природы и барина-отца (государства). И то и другое воссоединяется в образ некой безликой, давящей до уничтожения силы, требующей от мужика безусловного рабского повиновения. Так крестьянин действительно превращается в раба, от которого нечего ждать ответственности за поступки, поскольку все они заранее оправданы властью этой Силы.

Но ведь существует и логика Истории, и ее власть, которая изнутри существования крестьянина кажется незначимой, точнее говоря, не имеет никакого определяющего объяснения ни с точки зрения персонажа-крестьянина, ни с точки зрения повествователя. Так, Иван Босых у Г. Успенского рассказывает об обнищании их когда-то довольно крепкого семейства. После того как его выгнали с железной дороги, он за домашнее хозяйство взялся с радости, «как медведь начал ворочать вокруг дому». Но проработал так недолго. Краткосрочность своего трудового энтузиазма Иван объясняет так: «Уж раньше было мое хозяйство все в расстройстве, в разбросе, да и настояще избаловался насчет вина. Захватит, затоскуешь — и выпьешь... Н-ну, а уж попала муха — какая тут работа? с вина хозяином не будешь — иди спи... а хозяйство стоит... Так и пошло день за день, слабей да слабей, вот и достукался до поденщины...»¹

Таково объяснение происходящего с Иваном в его собственной трактовке: захватит, затоскуешь! Какова же природа этой тоски? Извечная русская «нудьга» или же попросту муки алкоголика? Во всяком случае здесь действует уже иная, чем хтоническая или социально-государственная, власть, олицетворенная в спиртном, тоже своеобразном божке крестьянской жизни. Многие связывают эту тоску с бесконечной беспросветностью жизни мужика, похожей на то поле, которое он пашет в щедринской сказке «Коняга». Такое унылое и тяжелое существование тяжелее самой смерти, судя по образам поэзии Некрасова.

Доискиваясь смысла Иванова «расстройства», повествователь узнает историю Босых, начиная от времен прадедовских, из глу-

¹ Там же. С. 348.

бины, так сказать, «золотого века» семейства. Именно таким видится крестьянину его прошлое — как время утопического «всегда», чему и крепостное право не помеха. Оно, крепостное право, и у Кольцова выносится за скобки поэтического сюжета. И так, в прежнее время семья Босых, их дом — первые были в крестьянском хозяйствовании. И скотина, и люди — один к одному. И «босыми» их прозывали потому, что весь род силачи были. Когда в моду ввели сапоги, дед Ивана никак не мог эту обувь на ногу надеть. «Первое, что нога у него как столб какой, прости господи, или вот как тумба какая; а второе, как надел сапог — ступить не может; неловко, ноги горят от жара. А вот босиком так в трескучий мороз десять верст пройдет, только дым от ног идет...»¹

Как видим, «золотому веку» семьи Ивана и свои первотворцы-герои нужны, сродни мифологическому Микуле Селяниновичу. Таков описанный дедушка, которого Иван помнит уже перед самой его кончиной. А в расцвет героической эпохи, рассказывали, «бывало, захворает чем, занедужает — никогда на печку не лез, а зимою ли, летом ли — прямо в бор, кости поразмять, да там, в бору-то, топором того натворит, страсти поглядеть что!.. Чисто медведь с волками дрался — столь много наломано, нарубано, навалено... Размается на работе, раздымет его всего, а прибежит домой, рубаху мокрую снял — и здоров. Только всего и леченья его было...»²

Это, конечно, совсем не похоже на некрасовского Прокла из поэмы «Мороз, Красный нос», которого сводит в могилу то ли зима, то ли невыносимая жизнь крестьянина. Но на страницах русской классики время от времени возникают и богатыри вроде деда Ивана Босых. Их «богатырство» часто в то же время заключается даже не в физической силе, а в некоей естественной внутренней цельности, бесконфликтности. Таков, в каком-то смысле, некрасовский Савелий из поэмы «Кому на Руси жить хорошо», но таков и толстовский Платон Каратаев — это все разные стороны единого мифа о «золотом веке», а точнее, о некоей внутренней сущности русского мужика, непреходящей и неизменной, не требующей доказательств, а поэтому чаще всего толкуемой сквозь религиозные представления.

Семейство Босых, по рассказам Ивана Петрова, было, что называется, семейство «элитное». «Вот за это-то самое, за нашу

¹ Там же. С. 359.

² Там же.

породу, наше семейство и было у барина на примете; в солдаты из нашей семьи барин никого не отдавал, а все отсаживал в другие свои деревни на развод племя... То девку возьмет — парня ей купит под кадриль, Еруслана какого-нибудь, в Самарскую губернию отсадит, то брата с женой, с сыном в курень... Так и растыкал всех по одиночке. Остался я один с бабой и с дедом, а отец с матерью и бабушка в холеру померли...»¹

Как видим, и «золотой век» не был таким уж благостным: социальное разымало природную силу семейства. Поскольку с точки зрения барина семья Босых, выглядела чем-то вроде элитной породы животных, он усердно занимался социальной селекцией, в результате чего семья распалась. Поэтому-то Иван Петров и называет себя «последышем».

Цельность русского крестьянского «богатирства» схватывается отечественной словесностью как бы на излете, на самом пороге распада. Вот и в рассказе Ивана Босых мы видим умирающего патриарха, кончина которого исторически совпадает с отменой крепостного права, с «освобождением», заставившим «новые порядки узнавать». Это и есть логика истории, вступающая в сложный диалог с «властью земли». «А новые-то порядки нашему брату трудноваты. Первое, что при барине мы знали одно — работу; что скажут, то и делали: навалим ему хлеба; свезем в город, деньги он возьмет и уж как сам знает, так и путается с начальством, — а тут то тот, то другой тормозит... Да, деньги... Они хоть и не велики да добывать-то их мы непривычны...»²

Так Иван познакомился с «тенетами деревенских биржевых операций». Новые порядки, то есть проникновение первых семян капитализма в деревню, по Успенскому, озаменовали фактически конец крестьянского земледельческого мира, фундаментально опирающегося на порядки, установленные «властью земли». Г. Успенский убежден, что здесь дает о себе знать национальная катастрофа, нависшая над земледельческой Россией и аукнувшаяся в конкретной жизни Босых неизбывной тоской. «...Остался я без лошади, и такое меня взяло зло, такая лютость, точно бес меня осенил. Жена было заголосила, а ее бить... Теперь я без лошади и без коровы, и сено не на чем возить, и драть грозятся — кипит у меня все нутро... Завыла она. Я — раз ее в грудь, а брюхатая была; и это, что брюхатая-то она

¹ Там же.

² Там же. С. 361.

не вовремя, тоже меня озлило... Стала она кричать, а я злей да злей; побелело у меня в глазах от злости... Прр-ямо в кабак!»¹

Существенно, что сам Глеб Успенский в каждом из циклов своих очерков в центр ставит именно такую крестьянскую судьбу, и именно она волнует нас своей несомненной достоверностью. На второй план уходит в сюжетах Успенского земледельческий миф или его отражение. Так, например, в цикле очерков «Кой про что» (1885) встречаем деревенского парнишку Петьку, ставшего «навек новым», «фабричным, машинным человеком». Он вышел из захудалой крестьянской семьи. «Скучно, страшно, холодно в захудалом дворянском доме, в захудалой дворянской семье, — отмечает Успенский, — но в захудалой крестьянской семье страшно и холодно до ужаса! Какая угнетающая душу и мысль тоска и пустота, а главное, бессмыслица веет от этого хлама, который там и сям валяется на разоренном дворе! Что такое означают эти старые оглобли, эти два сломанных колеса, эта бочка, рассохшаяся и развалившаяся? Зачем этот пустой хлев, эти ворота на одной петле, эти пустые кадки, шайки с признаками корма и следами капусты? В доме нет *силы*, нет тепла, цели в труде, и весь этот хлам ужасает своею бессмыслицею, тяжело-весностью, топорностью, а главное — полнейшею невозможностью найти в своем сознании какую-нибудь связь бездушного хлама с удручающим испугом пред жизнью, пред белым днем, пред каждым живым человеком»².

В Петькином доме «не было силы на крестьянство». Успенский регистрирует разницу между Петькой и «настоящими крестьянскими ребятишками», которые и не подобоострастны, и не завистливы, и свободны в силу своей естественности. Эти крестьянские дети, которые возникают в воображении писателя как антитеза Петьке, очень напоминают соответствующий образ у Некрасова, с той только разницей, что Г. Успенский как бы не замечает известной театральности, «невсамделишности» образа. На фоне театральных крестьянских ребят, которые не кажутся такими уж «настоящими», фабричный Петька выглядит еще более убедительным в своей реалистичности.

Серьезной убедительностью переживаний наполняется и рассказ ямщика из цикла «Невидимки»: «Упираемся идти в отход всячески и уж изо всех сил дом бережем! У нас этого нет, чтоб

¹ Там же. С. 365.

² Успенский Г., 1958. С. 348.

на фабрику уйти, пока Бог хранит... а трудно! И бабам трудно, и мужикам невольно... ..невмоготу жить стало. Арендуем землю по тридцать рублей под лен... Нельзя без денег обойтись, то и дело: «отдай, отдай!» ...В прежнее время прямо возили в город в первые руки, и цена была хорошая, а теперича Господь наслал на нас саранчу — «скупщиков»!.. ... Да и земля-то не родит, исчахла... а все крепимся, все к дому жмемся, не хотим оторваться или, сохрани Господь, баб наших пустить в отход...»¹

В условиях «новых порядков» удержать крестьянский дом от распада, судя по словам ямщика, стоит немалых усилий. Здесь и «власть земли» не помогает, поскольку земля утратила свою властную силу и крестьянин должен бы вернуть эту силу ей, но лишен понимания того, что с ним и вокруг него происходит. Логика исторических событий, логика правды, диктуемой «новыми людьми», оказывается гораздо более «властной», нежели двойная «крепь» — природы и господ. Правда, именно влиянием этой крепости и объясняется такая малоподвижность и неуверенность крестьянина перед надвигающимися на него «новыми порядками». Привычный к послушанию, долготерпению вкупе с безответственностью, он оказался неготовым выпутываться из «тенет биржевых операций», требующих максимума самостоятельности. «И банк есть, и земля есть, и мужик есть, которому земля нужна, все есть! — сетует все тот же ямщик. — И все бы хорошо, да замешался между ними тремя жадный человек, такой же наш брат мужик, как волк, и все на свою сторону норovil обернуть, и банк, и землю...»²

Странное, почти мистическое явление этот новый «жадный человек», «новый человек» чичиковской породы, но все из тех же самых мужиков. Почему-то нет на него никакой управы, а напротив — он со всем и всеми управляется. Он как раз тот редкий, исключительный экземпляр мужицкой самостоятельности, такой дефицитной в широкой крестьянской массе. Не он ли дальний родственник незабываемому тургеневскому Хорю и самый близкий — чеховскому Ермолаю Лопехину? А крестьянская масса между тем все более и более впадает в глубокую тоску воспоминаний о временах безответственного растительного существования под приглядом барина и властью «зеленой травки»...

¹ Там же. С. 416 — 417.

² Там же. С. 416.

* * *

Над процессами капитализации деревни размышляет и другой писатель народнического направления — **С. Каронин (Н.Е. Петропавловский) (1853—1892)**. Недолгая его жизнь была насыщена событиями активной революционной борьбы: народническая пропаганда, арест, суд по «процессу 193-х», Петропавловская крепость, высылка на пять лет в Сибирь. По словам Г.В. Плеханова, в произведениях Каронина отразился важнейший из социально-исторических процессов — разложение старых деревенских порядков, исчезновение крестьянской непосредственности, выход народа из детского периода его развития, появление у него новых чувств, новых взглядов



на вещи и новых умственных потребностей. Подобно тому как у Некрасова собирательный образ русского крестьянства является в вахлаках, у Щедрина — в глуповцах, у Решетникова — в подлиповцах, у Успенского — в распясовцах, так и Каронин создает для нашего мужика имя нарицательное — парашкинцы.

Первый очерк Каронина «Безгласный», написанный в Петропавловской крепости, послужил началом его основного писательского цикла «Рассказы о парашкинцах». Прозе

Каронина свойственна очерковость, погруженность в крестьянский быт, в реальную жизнь деревни пореформенного времени. Вместе с тем его произведениям свойственна известная мифологичность, что позволило Горькому в его воспоминаниях назвать Каронина «одним из творцов "священного писания" о русском мужике, искренно веровавшим в безграничную силу народа»¹. Но при этом самый очевидный плод социально-экономического творчества народа — устройство крестьянской жизни, «мир», «община» — всем строем очерков Каронина подвергается сомнению.

В рассказе «Фантастические замыслы Миная» в который раз является перед русским читателем поэтический тип крестьянина, сродни тургеневскому Калинычу. Минай, отчаянный мечта-

¹ Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М.: Гослитиздат, 1949—1956. Т. 10. С. 306.

тель и фантазер, человек с душой вольной птицы, всем своим существом неразрывно связан с парашкинским крестьянским «миром». В трудные минуты жизни он всякий раз «обращал глаза на мир и ждал: вот-вот мир что ни на есть придумает. Мир для него был крепостью, где он спасался от неприятеля. А неприятелей у него было много...»¹.

Но «мир» не спас Миная от голода и разорения. Напротив, все те, кто оставался в селе, неминуемо превращались в нищих. Кое-как могли существовать лишь те парашкинцы, которые уходили на заработки. Процветали же и обогащались только люди, противостоявшие «миру», живущие не по мирским, а по эгоистическим, частнособственническим законам. В этой связи у Каронина появляется тип, порожденный «новыми порядками», — Епишка Колупаев. Епишка — кабатчик, чуть не со слезами вымоливший у парашкинцев право держать этот самый кабак. Потом ему удалось с помощью каких-то подвохов купить землю у барина. И с тех пор Епишка преобразился. Вся картина этого преобразования показана у Каронина с точки зрения Миная, ненавидящего кабатчика. Кабака Епишка не бросил и при этом опутал парашкинцев сетью обязательств (вот они — тенета!), так что вытурить его уже было невозможно. Минай на сходе общины на чем свет ругал кабатчика, но иногда почти немедленно после этого отправлялся в кабак и просил водки в долг. В конце концов понуждаемый голодом Минай заключил с Епифаном Колупаевым договор, по которому за мешок муки продал и себя, и все свое нищее хозяйство. Вскоре, бросив на произвол судьбы жену и детей, Минай убегает в город, спасаясь от епишкинской «каторги».

Присмотримся к фигуре «миroeда», которая все чаще возникает на страницах прозы к концу XIX столетия. По этому поводу Г.В. Плеханов делает важный вывод в своих критических очерках, посвященных народническому направлению в отечественной словесности, в частности осмысливая в этих произведениях образ кулака. В процессе разложения деревни и одновременного неизбежного распада общины в условиях капитализации страны у крестьянина, по убеждению русского марксиста, есть два выхода: или оставить деревню и искать счастье на стороне, как это и случилось с Минаем, или примкнуть к деревенскому «третьему сословию», сделаться кулаком, который

¹ Каронин С. (Н.Е. Петропавловский). Соч.: В 2 т. М.: Государственное издательство художественной литературы. Т. 1. С. 54.

мог и питаться получше, и не опасаться розог, заготовленных в волостном правлении. Г.В. Плеханов считает этот второй путь наиболее продуктивным в создавшихся условиях. Он ссылается на А.Н. Энгельгардта, который утверждает, что кулаками в деревне становятся, по большей части, очень талантливые и выдающиеся люди. Действительно, в «Письмах из деревни» читаем: «Известной долей кулачества обладает каждый крестьянин, за исключением недоумков, да особенно добродушных людей, вообще карасей. Каждый мужик в известном смысле кулак, шука, которая на то и в море, чтобы карась не дремал... ..У крестьян страшно развит эгоизм, индивидуализм, стремление к эксплуатации. Зависть, недоверие друг к другу, подкапывание одного под другого, унижение слабого перед сильным, высокомерие сильного, поклонение богатству — все это сильно развито в крестьянской среде. Кулаческие идеалы царят в ней. Каждый гордится быть шукой и стремится пожрать карася»¹.

И уход крестьян из деревни, и укрепление кулака особенно понимаются Плехановым как процессы исторически прогрессивные, связанные с рождением новых форм общественного производства. Отметим здесь и другое важное обстоятельство — рост личностного самосознания крестьянина в условиях капитализации России и отражение этого процесса в произведениях той же народнической литературы. Герой из крестьянской среды начинает рефлексировать по поводу происходящего с ним и вокруг него, в «опчесе». Ведь не случайно, как отмечает Плеханов, и у Глеба Успенского, и у Златовратского, например, есть образы людей из народа, которые берутся за кулаческую наживу затем только, чтобы «оградить от поругания свое человеческое достоинство»².

Другое дело, что ни у каждого крестьянина доставало материальных средств, чтобы войти в кулаческую среду. А кроме того, здесь требуются и особые морально-психологические качества, о которых пытается сказать Энгельгардт, чтобы ускользнуть, ловить случай. В цикле очерков Каронина «Снизу вверх. (История одного рабочего)» (1883—1886) ведут диалог представитель «крестьянской буржуазии» Иван Шаров и его приятель Михаила Лунин, покинувший деревню и ставший примерным пролетарием. Михайло осуждает способность Ивана «вертеться»...

¹ Энгельгардт А.Н. Из деревни. 12 писем. 1872—1887. М.: Сельхозгиз, 1956. С. 397—398.

² Плеханов Г.В. Собр. соч. Т. 5. С. 82

«... — Без этого нельзя, пропадешь, — возражал последний. — Надо ловить случай, без дела сидеть — смерть...

— Да разве ты работаешь? По-моему, ты только бегаешь зря.

— Может, и зря, а иной раз и подвернется счастье, а уж тут... На боку лежа, ничего не добудешь. За счастьем-то надо побегать...»¹.

Так проявляет себя нарождающееся в крестьянине личностное противостояние рабскому прозябанию и под «властью земли», и под всякой иной властью, к чему оказывается готовым не всякий деревенский житель. Тот же Минай на самом деле страшно завидует оборотистости Епишки и его способности противостоять «опчисву». Его думы все время упираются в эту способность кабатчика — быть свободным от крестьянского «мира». «Епишка ни с чем не связан, Епишка никуда не прикреплён; Епишка может всюду болтаться... Минай неминуемо приходил к выводу, что для получения удачи необходимы следующие условия: не иметь ни сродственников, ни знакомых, ни "опчисва" — жить самому по себе. Быть от всего оторванным и болтаться, где хочешь... Но Епишка теперь уже не гуляет по воле попутного ветра: он утвердился. Главная его сила в том, что он знает никого не хочет. Сидит себе на своей земле и в ус не дует... "Апчесвенной" тяготы на нем нет, ни за кого он не болеет; знай себе хватает в обе руки... .. Чтобы хорошо жить, надо быть оторванным от всего, гулять по воле ветра и все делать одному и на свой страх...»²

Но у Миная как раз и не развита эта способность противостоять диктату общины, к которой, как мы знаем, он привязался. Кроме того, он знал, что «опчисво» не так-то легко отпускает своих членов, и всякий воображаемый побег в сознании Миная оканчивался одной роковой репликой от лица «опчисва»: «Ложись!» Таким образом, на подвиг кулачества не так легко решиться. Это выглядит исключительным моментом индивидуального противостояния всему — от «власти земли» до «опчисва», — что так или иначе пресекает его самодеятельность, развитие способности выбирать и ответственно принимать решение самому.

С точки зрения Плеханова, здесь действует еще более страшная, нежели государство, сила, толкающая Россию на путь ка-

¹ Каронин С. Соч в 2 т. М.: Государственное издательство художественной литературы. Т. 1. С. 295.

² Там же. С. 105, 106.

питализма. «Она называется внутренней логикой народных экономических отношений. И нет власти, которая могла бы остановить ее действие! Она проникает везде, ее влияние сказывается повсюду, она накладывает свою печать на все попытки крестьян улучшить свое хозяйственное положение»¹. Действие «логики народных экономических отношений» отражено, по мнению Плеханова, в рассказе Каронина «Братья» (1881), примыкающим по своему содержанию к основным циклам крестьянских рассказов писателя, в которых развивается тема разложения общины, классового расслоения в деревне.

Крестьяне села Березовка переселились из внутренней России в одну из привольных степных губерний. На родине они бедствовали. На новых местах им удалось добиться некоторого материального довольства. Но на прежнем месте, где они жили в нужде и несчастье, у них тем не менее «была одна душа», как говорили старики. На новых же местах началось внутреннее разложение общества, завязалась борьба между индивидом и «миром». «Мало-помалу каждый сельский житель стал сознавать, что он ведь человек, как все! и создан для себя, и больше ни для кого, как именно для себя! и каждый ведь сам может жить, устраиваясь без помощи бурмистра, кокарды и "опчисва"... Каждый из сельских жителей часто думал об этих явлениях; и решительно не было ни одного человека, который в свободные минуты не думал бы купить себе участочек, завести "лавочку, что ли, ин кабак". Никто из мужиков не осуждал нравственно людей, живших подобными предприятиями; напротив — "любезное это дело!". Людей такого сорта уважали, считали "шельмовство" одною из способностей человеческого разума. и в то же самое мгновение каждый из березовцев уважал мир, покоряясь ему и продолжая жить в нем»².

Плеханов видит в этих событиях залог дальнейшего роста пролетарского сознания в крестьянских массах. Нам же хотелось бы пристальнее взглянуть на то, что происходит в сознании, в психике, так сказать, отдельного, частного человека, вылупляющегося из «сплошного», по выражению Г. Успенского, крестьянского «мира». Этот человек, прежде всего, начинает требовать «примерки» всех социально-экономических процессов на него как на индивидуальность, хочет их, эти процессы, с той же ин-

¹ Плеханов Г.В. Собр. соч. Т. 5. С. 117.

² Каронин С. Т. 1. С. 481—483.

дивидуальной точки зрения и оценивать. Вот почему на страницах каронинской прозы то и дело возникают понятия «совесть», «мысль», в «темной области» которых и произошла «самая поразительная из перемен». А в «темной» этой области произошел раскол. «Явились две совести, две нравственности. Мужик уважал мир, но уважал и человека, который жил без всякого мира; он думал, что надо жить в мире, но было бы, пожалуй, лучше выехать из него; он был общинник, признавая в то же время право на полную особность; он жил в деревне "соопча", не считая дурным делом бросить ее и зажить в лавочке; он растерялся в этих мыслях, не решив, как лучше — пахать мирскую землю или попробовать другое "рукомесло", остаться на миру, "кабак" завести, считать мир храмом или обворовать его и не считать такого дела постыдным. Этот раскол совести сделал возможными такие явления, в возможность которых никто раньше не поверил бы...»¹

Описываемый «раскол совести» всегда носит индивидуально-личностный характер, конкретизируется в психике, сознании конкретного человека, а в литературном произведении — в образе определенного персонажа. И здесь принципиальным моментом является то, что это образ человека уже не из образованной среды, как это бывало до сих пор в русской литературе, а из среды крестьянской.

Г.В. Плеханов отмечает важную особенность новой для крестьянства, для деревни социально-психологической ситуации, состоящую в том, что на сторону новых форм общественного бытия «склонялись наиболее энергичные и наиболее даровитые натуры», хотя эти буржуазные формы заставляют подобные искания принимать «очень некрасивый вид»².

В рассказе «Братья» главные персонажи — Иван и Петр Сизовы. Иван, наивный, как ребенок, привержен «миру». Он и бывает истинно счастлив, когда приходится исполнять какое-либо мирское дело сообща. Петр же, умный, настойчивый, деятельный, изобретательный, себялюбивый, презирает общину. Он становится кулаком. И «мир» уважает его, перед ним все снимают шапки, его называют «башкою». Ивана и Петра посылают прикупить у казны на общий счет участок земли. По пути между ними возникает знаменательный диалог, — предвещающий дальнейшие события, диалог о «кулацкой» совести.

¹ Там же. С. 483.

² Плеханов Г.В. Т. 5. С. 118.

«... — Ну-у!.. — протянул глухо Петр. — Совесть, брат, темное дело...

— А мир? — спросил Иван.

— Какой такой мир! — презрительно заметил Петр... — Каждый свою пользу наблюдает, хотя бы в миру. Разве мир тебя произродил? ... Мир тебя поит, кормит?

— Ты не туда...

— Нет, я туда... Каждый гнет свою линию. Как есть ты человек и больше ничего. А мира нет...»¹

По завершении дела выясняется, что купчая оформлена на имя Петра Сизова, что для Ивана оказалось совершенной неожиданностью. Как же ведет себя «мир», к которому так был привязан Иван? Общинники откололи его, ни в чем не повинного, но даже пальцем не тронули Петра. А Петр сказал «опчисву», что купчая «не для них писана», и обещал возратить со временем деньги, чего не сделал, конечно. А березовцы поговорили-поговорили, да и пошли обрабатывать по найму у Петра Тимофеевича Сизова у них же украденный участок земли...

С точки зрения Плеханова, нравственная аморфность и бессилие общины ничуть не лучше кулацкой предприимчивости и неразборчивости Петра Сизова. Однако не все даровитые люди деревни этого периода становятся кулаками. На соответствующее стечение обстоятельств может рассчитывать лишь меньшинство. «Большинству же приходится приспособливаться к переживаемому деревней историческому процессу иначе: оно или покидает деревню, или продолжает там жить, устраиваясь на новых началах, забывая о той тесной, органической связи, которая соединяла когда-то членов одной общины. ... Индивидуализм, внедряясь в деревню со всех сторон, окрашивает решительно все чувства и мысли крестьянина»².

В то же время Плеханов предостерегает от того, чтобы считать торжество индивидуализма только отрицательным явлением. Вторжение его в русскую деревню «пробуждает к жизни такие стороны крестьянского ума и характера, развитие которых было невозможно при старых порядках и в то же время было необходимо для дальнейшего поступательного движения народа...»³.

Впрочем, литература 70—80-х годов XIX столетия регистрировала не столько «поступательное движение народа», сколько

¹ Каронин С. Т. 1. С. 490.

² Плеханов Г.В. Т. 5. С. 121.

³ Там же.

растерянность большинства конкретных крестьян, их неустойчивость, метания в новых условиях. А что касается исторической перспективы, то, забегая далеко вперед, всмотримся, например, в «странных людей» В. М. Шукшина и увидим в них те же беспокойство, метания и растерянность, а вместе с тем и взрывоопасность их мгновенных прозрений относительно того, что с ними происходит. Интересно, что некоторые сюжетные ситуации, диалоги, которые предлагает проза Каронина, живо напоминают об основе новеллистического сюжета Шукшина — о психологии съехавшего с корня жителя деревни.

Персонажи Каронина уже в 1880-е годы противостоят синкретной цельности мифа о традиционном крестьянском типе — о таком, например, крестьянине, какого рисует в своей прозе Л.Н. Толстой. Один из наиболее ярких таких типов у Каронина предстает в рассказе «Деревенские нервы» — крестьянин Гаврило. (Обратим внимание на вполне «шукшинское» название рассказа.) Он, по старым деревенским меркам, достаточно зажиточный человек, чем-то напоминающий нам Ивана Ермолаевича из очерков Г. Успенского. Но на него, в отличие от Ивана Ермолаевича, «вдруг нападает невыносимая безысходная тоска, под влиянием которой у него из рук валится всякая работа». Чтобы разрешить свою тоску, Гаврило обращается к священнику (вспомним «Верую!» В.М. Шукшина), поскольку его так «здорово приперло», что он готов «хотя бы руки на себя наложить». А далее следует диалог, как будто позаимствованный из прозы Шукшина, который мы процитируем достаточно полно, поскольку, с нашей точки зрения, он наглядно демонстрирует зарождение новых форм самосознания крестьянина — героя отечественной словесности.

«— ... Что ты говоришь? Разве можно иметь такие греховные мысли? — недовольным тоном сказал батюшка...

— Грешно — это справедливо. Потому, против Бога. Вот я и пришел насчет души поговорить... Болит у меня, прямо надо сказать, душа, тоскую, а об чем, об каких случаях, того не знаю... Дивное дело! Жил, жил, всё ничего, а тут вдруг вон куда пошло! И хотел бы дознаться, отчего это бывает?

— Как же она у тебя болит, душа-то?

— Да так, сам не знаю, в каком роде... вижу, что главная сила в душе. Отчего это бывает?

— Тоска, говоришь?

— Не одна тоска, а всё. Иной раз ску-учно станет! и до того уж дойду, что сам как есть не в своем виде...

— Трудись хорошенько. Скука происходит от праздности, — посоветовал батюшка.

— Так ведь я допрежь этой пакости не отлынивал от работы и сейчас бы рад работать, да не могу! Скучно!.. Тошно мне смотреть на все... и рад бы приспособить себя к делу, а, между прочим, скучно... Отчего это бывает?

— От различных причин бывает... — многозначительно ответил батюшка, но в полной мере недоумевая.

— А то случается, что я все думаю разные мысли, — продолжал Гаврило.

— Какие же мысли?

— Да мысли-то, по правде сказать, не настоящие, а все больше предсмертные приходят мне в голову...

— То есть как это предсмертные? — спросил батюшка, побледнев и с сердцем.

— Да так, о смертях, вишь, я все думаю, — пояснил Гаврило.

— Дуришь, я вижу, ты!..

... — Сам вижу, грех, а не могу.. Вижу которого, например, человека и думаю: «Зачем ты живешь?» И про себя у меня такие же мысли. Делал бы, работал бы с удовольствием, а не знаю, что к чему.. Потому я и спрашиваю, как бы эту хворь вывести... очень она меня убивает!

— Да я не понимаю, какая хворь! По-моему, дурь одна... какая это хворь! — нетерпеливо сказал батюшка, которому стал надоедать этот разговор.

— Жизни не рад — вот какая моя хворь! Не знаю, что к чему, зачем... и к каким правилам... — упорно настаивал Гаврило.

— Ты ведь землешапец? — строго спросил батюшка.

— Землешапец, верно.

— Чего же тебе еще? Добывай хлеб в поте лица твоего и благо ти будет, как сказано в писании...

— А зачем мне хлеб? — пытливо спросил Гаврило.

— Как зачем! Ты уж, брат, кажется, замололся... Хлеб потребен человеку.

Батюшка проговорил это лениво, не зная, как отвязаться от странного мужичонки.

— Хлеб, точно, ничего... хлеб — оно хорошее дело. Да для чего он? Вот какая штука-то! Нынче я ем, а завтра опять буду есть его... Весь век сваливаешь в себя хлеб, как в прорву какую,

как в мешок пустой, а для чего? Вот оно и скучно... Так и во всяком деле, примешься хорошо, начинаешь работать да вдруг спросишь себя: зачем? для чего? и скучно...

— Так ведь тебе, дурак, жить надо! Зачем ты и работаешь, — сказал гневно батюшка.

— А зачем мне надо жить? — спросил Гаврило.

Батюшка плюнул.

— Тьфу! ты, дурак эдакий!

— Ты уж, отец, не изволь гневаться. Ведь я тебе рассказываю, какие мои предсмертные мысли... я и сам ведь не рад; уж до той меры дойдет, что тошно, болит душа... Отчего это бывает?

— Будет тебе молоть! — сказал строго батюшка, собираясь покончить странный разговор.

— Главное — деваться мне некуда! — возразил грустно Гаврило.

— Молись Богу, трудись, работай... Это все от лени и пьянства... Больше мне нечего тебе присоветовать. А теперь ступай с богом, — и батюшка при этом решительно встал...»¹

Попытка разрешить свои «проклятые» вопросы заканчивается совсем по-шукшински: Гаврило начинает чудить, грубить священнику, затем оскорбляет фельдшера, дерется со старшиной и попадает за все это в острог. Его спасает тот же фельдшер, обративший внимание суда на болезненное состояние подсудимого. Успокоился Гаврило в городе, где нашел место дворника. «Разве можно что-нибудь думать о метле или по поводу нее? у него в жизни метла одна и осталась, — итожит С. Каронин. — Вследствие этого мыслей у него больше не появлялось. Он делал то, что ему приказывали. Если бы ему приказали этой же метлой бить по спинам жильцов, он не отказался бы. Жильцы его не любили, как бы понимая, что этот человек совсем не думает. За его позу перед воротами они называли его "идолом". А между тем он виноват был только тем, что оборванные деревней нервы сделали его бесчувственным»².

Г.В. Плеханов объясняет состояние Гаврилы, как и других подобных ему персонажей Каронина, социально-историческими причинами, тем главным образом, что общество вошло в состояние некой болезненной кризисности. Физически и нравственно здоровые люди живут, работают, учатся, борются,

¹ Каронин С. Т. 1. С. 504 — 506.

² Там же. С. 516.

а больные — задают себе неразрешимые вопросы. «Употребляя выражение Сен-Симона, можно сказать, что болезненное стремление разрешить неразрешимое свойственно критическим и чуждо органическим эпохам общественного развития. Но дело в том, что и в критические эпохи под этим стремлением задумываться над неразрешимыми вопросами скрывается вполне естественная потребность открыть причину испытываемой людьми неудовлетворенности. Как только она открыта, как только люди, переставшие удовлетворяться своими старыми отношениями, находят новую цель в жизни, ставят перед собой новые нравственные задачи, от их склонности к неразрешимым метафизическим вопросам не остается и следа. Из метафизиков они вновь превращаются в живых людей, о живом думающих, но думающих уже не по-старому, а по-новому...»¹ Так Плеханов толкует социально-историческую тенденцию в становлении самосознания русского крестьянства.

Между тем в истории русской литературы отрыв крестьянина от его корней, преодоление «власти земли», уход в бесконечное странствие, народнение «проклятых» вопросов в его пробуждающемся самосознании есть величина едва ли не постоянная. Похоже, русский крестьянин переживает болезнь кризиса, о которой так убедительно говорит Плеханов, еще со времен Микулы Селяниновича, который оставляет свои земледельческие заботы и отправляется вместе с Вольгой за «получкой». Во всяком случае это состояние переживается большинством из персонажей «Записок охотника» Тургенева — и так вплоть до 1880-х годов, когда на свет являются «съехавшие с корня» крестьяне С. Каронина, так разительно похожие на героев В.М. Шукшина, возникших в русской прозе почти через сотню лет. А в 1980-е годы кризисная надломленность крестьянского мирознания есть уже общее место, когда даже мужики, вроде Хоря, впадают в эту, как выражается Гаврило, хворь.

Самого Гаврилу можно отнести к «крепким» мужикам. Об этом мы узнаем из рассказа «Две десятины» (цикл «Рассказы о пустяках», 1882). Он ничего не умел и ни к чему не питал склонности, что не касалось земли. Он похож на Ивана Ермолаевича из очерков Г. Успенского «Власть земли». В беседах с людьми интеллектуального труда Гаврило, подобно Ивану Ермолаевичу, производит впечатление человека туповатого, поскольку во вре-

¹ Плеханов Г.В. Т. 5. С. 125.

мя таких бесед думает о своем, о том, что связано с его землепашеской призванностью. «Душа и сердце Гаврилы, — поясняет Каронин, — были зарыты в землю. Он походил на растение, которое неразрывно соединено с землей и, вырванное, засыхает и чахнет, годно только на съедение скоту»¹.

Однако это свое «растительное» существование, что специально подчеркивается писателем-народником, Гаврило не переживал как состояние рабски зависимое. Ведь самый яркий признак рабства — это ощущение неволи, а «у Гаврилы и ему подобных душа и сердце *сознательно* были зарыты в землю, составлявшую неразрывную часть его самого»². Крестьянин пахал более двадцати лет, ничего не получая в награду, кроме нечеловеческой усталости. Всю жизнь мечтал, как бы еще больше вспахать и засеять, и, «собирая ежегодно вместо настоящих плодов березовую кашу, приходил в отчаяние, но ни разу не пришла ему в голову мысль, что земля — его враг, что он должен ее бросить и бежать без оглядки на поиски других занятий. Гаврило, после всех бед, какие приносила ему земля, сделался только жаднее — вот и все»³.

Нам трудно согласиться с этими акцентами Каронина, следуя даже его собственной логике. Ведь писатель то и дело обнаруживает именно нутряную, глубоко инстинктивную привязанность крестьянина к земле. Как раз такое бессознательное рабство и делает его прозрение собственной неволи особенно катастрофическим. В новых условиях, требующих индивидуальной независимости, особенно острым становится переживание приговоренности поступать так, как требует того власть земли и общины. Наступает медленное, но неизбежное осознание бессмысленности такого существования на фоне открывшейся свободы в области личного, частного предпринимательства. Вот Гаврило получает письмо от сына, в котором тот сообщает, что живет в городе, «в трактире для чистки посуды», получает рубль жалованья, в надежде занять место полового и теперь для него земля «не предоставляет никакого интереса». Конечно, крестьянина задевает то, что сын порывает с деревенским житьем, задевает прежде всего самоволие сына, не известная до сих пор свобода детей от «власти земли», от власти традиций, а значит и от родительской власти. Кроме того, отказ сына вернуться до-

¹ Каронин С. Т. 1. С. 195.

² Там же.

³ Там же. С. 196.

мой разрушил самые «лучезарные» мечтания Гаврилы. Ведь сын был послан в город на заработки, чтобы на добытые им средства приобрести еще один клочок земли и все так же продолжать бесконечно ее пахать. Отказ сына нанес удар по самому фундаменту бессознательных представлений Гаврилы по корневой связи его с землей, обесмыслив все старания крестьянина и поставив его перед необходимостью принимать нетрадиционные решения. Причем вызов этот был брошен Гавриле как бы от самого его нутра, от его крови.

Драматизм ситуации, в которой оказывается с точки зрения отечественной словесности русский крестьянин, состоит в том, что прозрение относительно природы его зависимости от земли и общины приходит к нему слишком поздно, исторически поздно. Слишком поздно он осознает свою действительную отделенность от общинного тела, от природы и земли, наконец, от власти «сильных мира сего». Только к концу XIX века в русской прозе у крестьянина возникает стойкое стремление сделать решительный шаг за границы деревенской жизни, что, конечно, продиктовано соответствующими социально-историческими нуждами. Но ведь и сами эти нужды слишком робко осваивались в социально-экономической жизни страны, принимая болезненно искаженные формы. Литературный крестьянин покидает деревню, когда уже предельно «подопрет» и станет невмоготу, а сама жизнь в ней приобретет катастрофически уродливое выражение. И когда писатель начинает с наивной добросовестностью изображать такую жизнь, его, оказывается, очень легко обвинить в ползучем натурализме. Вспомним хотя бы описание убогой жизни подлиповцев в известном романе Ф. Решетникова. Подобные же картины, в смысле удручающей натуралистичности, возникают и в прозе С. Каронина, и в произведениях Г. Успенского. Так что складывается ощущение неизбежности, может быть, даже вынужденности такого писательского видения, когда речь идет о жизни деревни конца XIX столетия.

Затянувшийся процесс пробуждения личностного миропонимания крестьянина, его неготовность воспринять и осознать то, что с ним происходит в данный исторический момент, резонируют дикими абсурдными взрывами в поведении, поступках отщепившегося от своей почвы крестьянина, неадекватностью его оценки мира и самооценки. В прозе того же Каронина все чаще встречаются диалоги, поражающие своей внешней ало-

гичностью, за которой скрываются какие-то внутренние метания персонажей. Поэтому крестьянин, охваченный этой «хворью», так невнятен окружению, которое и само балансирует на краю пропасти. Его «тоска», «скука» делают Гаврилу или Ивана Ермолаевича на какое-то время чужаком в знакомом ему мире, и тем абсурднее кажется его общение с когда-то понятными и доступными ему людьми.

Мы слышали беседу Гаврилы со священником, по определению призванным понимать душевные нужды своего прихожанина. Но рефлексии Гаврилы странны для уха священника, поскольку непривычны да и нелепы в устах крестьянина. Будучи «низовым» героем отечественной словесности, Гаврила здесь «не по чину берет», поднимается на несколько уровней выше в сравнении с привычной литературной иерархией, то есть на уровень рефлексирующих интеллигентов русской классики, так любимых ею. Не случайно Плеханов видит близость размышлений крестьянина толстовским поискам истины в знаменитой «Исповеди» писателя. На самом деле вопросы, возникающие в мятущемся сознании Гаврилы, даже тривиальны по мере своей распространенности в слоях «мыслящей» интеллигенции во все времена. Эти вопросы так или иначе задает себе едва ли не каждый человек с более или менее развитым самосознанием в определенный период своей жизни. Но в сознании уже вполне зрелого по годам крестьянина они исторически возникают едва ли не впервые — и возникают катастрофически вдруг, совершенно неожиданно для самого человека.

Вот еще один диалог — уже из рассказа «Ученый» (цикл рассказов о парашкинцах). Герой этого произведения, подобно шукшинскому Моне Квасову, очертя голову бросается в «науку». Как замечает повествователь, «сумасшедшая голова дяди Ивана была полна невозможностей». Между им и писарем Семенычем, вполне образованным, по мнению дяди Ивана, человеком, происходит беседа, которую Иван затевает, чтобы прояснить для себя очередной «проклятый» вопрос.

« — Думал я, Семеныч, наведаться у тебя... Ты, Семеныч, не сердись...

— Ну-ка?

— Например, мужик...

Дядя Иван остановился и сосредоточенно смотрел на Семеныча.

— Мужик у нас счету нет, — возразил последний.

— Погоди, Семеныч... Ты, Семеныч, не сердись... Ну, например, я мужик, темнота, одно слово — невежество... а почему?

В глазах дяди Ивана появилось мечтательное выражение.

У Семеныча и косушка вылетела из головы; он даже плюнул.

— Ну, мужик — мужик и есть! Ах ты, дурья голова!

— То-то я и думаю: почему?

— Потому — мужик, необразованность... Тьфу! дурья голова! — с удивлением плюнул Семеныч, начиная хохотать.

Иван опять лег навзничь. По его лицу прошла тень; видно было, что какая-то мысль мучительно билась в его голове, а он не мог ни понять ее, ни выразить

— Стало быть, в других царствах тоже мужик? — рассеянно спросил он.

— В других царствах-то?

— Ну?

Семеныч насмешливо поглядел на лежащего.

— Там мужика не дозволяется... Там этой нечистоты нет! Там его духу не положено! Там, брат, чистота, наука.

— Стало быть, мужика...

— Ни-ни!

— Наука?

— Там-то? Да там, надо прямо говорить, ежели, например, ты сунешься с образиной своей, там на тебя собак напустят! Потому ты зверь зверем!

— Тсс! — ответил Иван и изумленно посмотрел на Семеныча...»¹

Вопрос Ивана не так глуп, как это представляется его приятелю Семенычу. в нем видна попытка социального самоопределения как признак личностного роста, с одной стороны, а с другой — противостояние той унификации крестьянства, которая свойственна государственной на него точке зрения и которая в превращенной балагурством форме звучит в репликах Семеныча. В словах последнего есть также и определение места, отводимого мужику в социальной иерархии нации. Есть в этом скоморошьем диалоге и отзвук того, что отмечает Плеханов, вспоминая как в семидесятых годах он встретился в Берлине с артелью русских крестьян Нижегородской губернии, работавших на одной из сукновальных фабрик прусской столицы. «Мы помним, — пишет философ, — какое впечатление произвело на них знакомство с заграничными порядками и с материальным

¹ Там же. С. 40.

положением рабочих. "Нет страны хуже России!" — восклицали они с каким-то грустным ожесточением и охотно соглашались с нами, когда мы говорили, что пора бы русскому крестьянству подняться на своих угнетателей»¹.

Плеханов видит в Иване из рассказа Каронина потенцию такого радикального протеста, который гаснет, как полагает философ-марксист, из-за того, что Ивана позвали в волость и там розгами «напомнили ему о его гражданских обязанностях». Мы бы хотели избежать такой революционной прямолинейности в толковании того, что происходит с героями Каронина, хотя нельзя отрицать, что метания этих персонажей могут разрешиться и неуправляемым бунтом. Но этот бунт ни в коем случае не имеет под собой никакой «революционной сознательности». Он откровенно стихийен, и есть выражение все той же тоски от неопределенности, от некоей подвешенности персонажа в социальном воздухе эпохи. Отсюда и развитой смеховой элемент в метаниях и дяди Ивана, и Гаврилы. Они очень естественно входят в карнавальную среду русского балагурства, присутствующего и на страницах прозы Каронина, а тем более это свойственно далеким потомкам каронинских героев — в прозе уже не раз упомянутого В.М. Шукшина. Так в прозе Каронина рождается трагикомизм, который теперь всегда будет сопровождать в литературе героя такого типа.

С. Каронин так разворачивает сюжет цикла о парашкинцах, что распад, исчезновение деревни становятся все более неизбежными, а потому рассказы наполняются чувством безысходной печали. Один из заключающих цикл рассказов носит название «Последний приход Демы». Дема Лукьянов — почти нарицательный тип крестьянина, «съехавшего с корней» окончательно и бесповоротно. На деревне он считает себя «лишним, даже невозможным». Более всего в его странствиях Дему привлекает свобода, но не как «осознанная необходимость», а как свобода от принятия на себя каких бы то ни было обязательств и решений. Существенно и то, что «вне деревни его не оскорбляли, деревня же предлагала ему ряд самых унижительных оскорблений»². Заметим, что для каждого из каронинских крестьян-отщепенцев принципиальным в их стремлении покинуть деревню является то, что вне деревни его человеческое

¹ Плеханов Г.В. Т. 5. С. 132.

² Каронин С. Т. 1. С. 121.

достоинство не страдает. Теперь в герое такого происхождения созревает чувство собственного достоинства — это становится открытием для крестьянина в прозе Каронина.

Наиболее выразительно такое открытие переживает главный герой цикла «Снизу вверх» Михайло Лунин. Этот персонаж становится завершением сюжетной линии становления крестьянского мирознания в прозе Каронина. Как отмечает Плеханов, Михайло Лунин становится сознательным пролетарием, что понимается как вершина саморазвития крестьянского сознания. Сравнивая Лунина с Иваном Ермолаевичем из очерков Г. Успенского, Плеханов приговаривает последнего к прошлому. «Он живет или хотел бы жить так, как жили его "прародители", за исключением, конечно, крепостного права. Михайло Лунин с содроганием и ужасом слушает рассказы о жизни "прародителей" и старается создать себе возможность иной, *новой* жизни, обеспечить себе иное, лучшее *будущее*. Словом, один представляет собою старую, крестьянскую, допетровскую Русь, другой — новую, нарождающуюся, рабочую Россию, ту Россию, в которой реформа Петра получает, наконец, свое крайнее логическое выражение»¹

Г.В. Плеханова радуется «процесс разложения старых деревенских порядков», который, судя по тому, как он отразился в российской словесности, к концу XIX — началу XX в. достиг кульминации. Классик русского марксизма соответствующим образом пытается сориентировать «демократическую интеллигенцию», которая, по его мнению, все еще «продолжает искать опоры в старых народных "идеалах"»². Философ справедливо полагает, что каронинский «ученый» дядя Иван далеко уже ушел от Ивана Ермолаевича. Ведь его, как мы видели, осаждают «проклятые» вопросы, о существовании которых герой «Власти земли» и не подозревает. «Раз начали появляться такие вопросы в крестьянской голове, можно с полной уверенностью сказать, что старому, сплошному крестьянскому быту пришел конец»³. А то, что и у Ивана, и у Егора Панкратова опускаются руки и все в конце концов завершается кабаком, так это обстоятельство только «показывает лишний раз, что современная деревня представляет собой среду, крайне неблагоприятную для развития кре-

¹ Плеханов Г.В. Т. 5. С. 133.

² Там же. С. 137.

³ Там же. С. 136.

стьянской мысли»¹. Вот Михайло Лунин рано покинул деревню и поэтому, как полагает Плеханов, уцелел. И если бы дядя Иван попал на место Лунина, он, по всей вероятности, тоже бы стал «сознательным пролетарием». «Дядя Иван относится к Михайле как человек, поставивший себе известную цель, относится к человеку, достигшему этой цели... Дядя Иван является антиподом Ивана Ермолаевича в *стремлении*, Михайло Лунин — антиподом его в *действительности*. Нам заметят, вероятно, что немного рабочих попадают в такие благоприятные для умственного развития условия, в какие попал Лунин. Это верно. Но не в этом дело. Важно то, что современная русская жизнь, благодаря распадению сплошного быта, создает и чем далее, тем в большем числе будет создавать таких личностей, как Егор Панкратов, дядя Иван и Михайло Лунин. Важно то, что, как ни плохо положение русского рабочего, но все-таки городская жизнь гораздо более деревенской благоприятна для дальнейшего умственного и нравственного развития подобных личностей»².

Плеханов видит зарево грядущих пролетарских революций, сметающих угнетателей всех мастей. Каково же место деревни в этой буче, «боевой, кипучей»? Похоже, ей не находится места в грядущем обществе. Однако важен вопрос, который уже в 60-е годы XX века поставил В.М. Шукшин и который остро стоял, судя по литературе этого периода, и в конце XIX века. Мы видим, откуда деревня уходит, но куда она приходит? Распад современной Плеханову и Каронину деревни есть одновременно и распад традиционного земледелия, действительно всем своим существом связанного с «властью земли», то есть подчиняющегося естественным требованиям природы. Вглядимся в образ деревни, возникающий у Каронина в последнем рассказе цикла о парашкинцах «Куда и как они переселились»: «Повсюду кругом веяло запустением и заброшенностью. Река тихо катила свои мутные струи, берега ее поросли мелким кустарником, а ее поверхность покрылась лопухами и кашкой, как поверхность озера. Нигде не видно тропинок, даже дорога, ведущая к мосту, заросла травой, только сам мост уцелел, хотя его никто больше не поправлял, и он, видимо, готов был запрудить собой реку. Где же дворы? Прежде деревня далеко тянулась в два порядка вдоль реки, а теперь остались от улицы одни только следы. На

¹ Там же.

² Там же.

месте большинства изб виднеется пустое пространство, заваленное навозом, щепками и мусором и поросшее крапивой. Кое-где вместо изб просто ямы. Несколько десятков изб — вот все, что осталось от прежней деревни. Стоял, без видимой причины, еще один сорт изб, в которых не было ни дверей, ни окон, ни даже потолка, а около них не находилось никаких строений, так что издали они казались срубам, употребляющимися для ловли зверей. В нескольких местах просто торчали поверх крапивы и полыни печи с полуразрушенными трубами, как после пожара, истребившего дом и изгнавшего его обитателей. В трех-четыре местах лежали огромные кучи навозной золы, которая во время ветра поднималась вверх и вместе с остатками другого разного сора носилась в воздухе над этой пустыней¹.

Это образ уже как бы потусторонней, умершей деревни, отчетливо перекликающийся с тем образом, который оформился вполне гораздо позднее, в первые десятилетия XX века, в прозе Андрея Платонова. Кажется, что именно в деревне, изображенной Карониным, загодя строились те гробы, которые в платоновском «Котловане» извлекаются на свет Божий, чтобы принять крестьянские тела отошедшей в небытие деревни. Каронин с публицистической прямолинейностью подтверждает наличие эсхатологических настроений в своей прозе: «От прежней деревни действительно остался один труп». А немногочисленные обитатели этой деревни превратились в равнодушные тени мертвецов, привидений. «Все это были люди, сросшиеся с землей, на которой они жили так крепко, что связали свою судьбу с ней. Если земля худала, худали и жители, сидящие на ней. В этой связи заключалось даже своего рода удобство, потому что для парашкинцев была нечувствительна собственная захудалость, когда все вокруг них носило следы истощения и бедности. Поля вокруг деревни уже не засеивались сплошь, как прежде; во многих местах желтели большие заброшенные плешины: там и сям земли покрылись вереском, кое-где вновь появились незаметные раньше болота, засеянные же поля были тощи по качеству и незначительны по количеству. А бродивший по кустарникам скот едва волочил ноги, паршивый, худой, с ребрами наружу и с обостренными спинами, на которые часто садились галки и клевали мясо. Но парашкинцы были равнодушны ко всему...»²

¹ Каронин С. Т. 1. С 131—132.

² Там же. С. 132.

Вопрос, прозвучавший в названии рассказа, уже подразумевает ответ: деревня переселилась в смерть. Едва ли не платоновской речевой формулой подкрепляет этот ответ Каронин: парашкинцы «приспособлялись к смерти, сокращая свою жизнь до нуля»¹. Некий «солдат Ершов», как и все парашкинцы «приспособлявшийся к загробной жизни», сделал попытку вывести равнодушные тени крестьян из умирающей деревни. Но и уйти им не удалось, охраняемым «заботливостью» властей. И все же угроза парашкинцев («Нам уже все едино! Мы убежем!») не осталась без последствий: деревня источилась. Одни бежали в город; другие ушли неизвестно куда и никем после не могли быть отысканы; третьи бродили по окрестностям, не имея ни семьи, ни определенного пристанища. «Так кончили парашкинцы, — завершает цикл писатель, — вместе с ними кончился и героический период деревни»².

* * *

Завершая анализ художественной и очерковой прозы Г. Успенского и С. Каронина, нужно отметить следующее. Фиксируемое наблюдателями завершение известного этапа развития российского крестьянства в пореформенный период, его отделение от материнского тела традиционной русской деревни имело как негативное, так и в известном смысле позитивное продолжение. Первое, негативное, было связано с деградацией прежних жизненных и хозяйственных устоев, обусловленной ими психологии и сознания как отдельного крестьянина, так и «мира» в целом. Второе, позитивное, сопрягается с появлением в деревне, прежде всего из среды самих крестьян, действительно «нового» человека, разного рода «новых людей». Конечно, это были не те созданные отечественной романистикой «новые люди», которыми была наполнена столичная жизнь, бредившая о революции благодаря деятельности философствующих кружковцев, равно как и целенаправленному творчеству Н.Г. Чернышевского. Но тем важнее для реальной жизни были эти не придуманные, а подсмотренные в реальной действительности социальные типы. Именно они все увереннее заявляли о себе и все увереннее определяли ход действительной жизни.

¹ Там же. С. 139.

² Там же. С. 147.

Глава 7

«НОВЫЕ СТАРЫЕ» РУССКИЕ ЛЮДИ ГЛАЗАМИ М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА



Содержательно говорить о философско-художественном анализе российской действительности, представленном в творчестве **Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина** (1826—1889), возможно, лишь сделав некоторые предваряющие замечания.

Во-первых, потому, что писатель нередко сам называет свои произведения «исследованиями»¹, и, значит, мы можем в определенной мере относиться к ним именно как к таковым. Сформулированная таким образом творческая задача художника, к при-

меру, нашла свое отражение в нетрадиционности жанра одного из классических произведений Щедрина, «Господа ташкентцы» (1869), которое, по литературоведческой характеристике, «колеблется между» циклом очерков и общественным романом². Впрочем, к этому жанру могут быть отнесены и другие произведения Щедрина — «Губернские очерки» (1857), «Помпадурсы и помпадурши» (1863) и «История одного города» (1869).

Само собой, исследование предполагает работу по несколько иным законам, чем законы художественного произведения: в нем, в частности, цель обнаружения истины ставится выше сюжетно-композиционных или нравственно-эстетических за-

¹ Так, например, начинается его введение в текст «Господа ташкентцы. Картины нравов». См.: *Салтыков-Щедрин М.Е.* Собр. соч.: В 10 т. М.: Правда, 1988. Т. 3. С. 67.

² Сам Щедрин об этом пишет так: «...в намерениях моих было написать ежели не роман в собственном значении этого слова, то более или менее законченную картину нравов, в которой читатель мог бы видеть как источники «ташкентства», так и выражение этого явления в действительности». *Салтыков-Щедрин М.Е.* Там же.

дач. К тому, чтобы осуществлять именно философско-художественное исследование, Щедрин был готов не только благодаря своим огромным способностям и внутреннему складу, но и тому большому жизненному опыту, который дала ему государственная служба, в том числе и на высоких должностях.

Во-вторых, писатель, как правило, обращается к феноменам общероссийского и исторического масштаба. Его герои не просто являют собой типичные образчики отдельных социальных групп, но в своем философско-художественном обобщении дают представление о социально-культурных пластах, характерных для целых общественных укладов страны. Нередко эти представления включены в литературные образы, ставшие знаковыми для отечественной словесности. Таким образом, творческий метод Щедрина был изначально философичен: он шел от явлений к героям, а не наоборот. При этом центр тяжести его рассуждений часто оставался в части анализа именно явлений, что характерно для натур философического склада.

Щедрин, далее, часто ставит своей целью и сугубо философские задачи — например, рассмотреть характеристики русского человека, пребывающего в состоянии как управляющего, так и управляемого, которые ему представляются наиболее значимыми. И адресуется он к ним именно как к таковым.

Проза Щедрина, наконец, может рассматриваться не только сама по себе (что вполне правомерно, и так почти всегда и делается), но и более широко — как определенное, очень существенное звено в контексте поисков русского литературного философствования. Так, одна из аналогий, которая приходит на ум, — это сравнение щедринского литературного исследования с романским литературно-философским исследованием Тургенева. Но если у автора «Записок охотника» поиск путей будущего развития России связан, как я старался показать ранее, с проблемой позитивного дела, то у автора «Господ ташкентцев», «Сатир в прозе», сказок и «Истории одного города» — иное. Щедрин исследует сам порок, покоящийся в системе управления, взятой со стороны как управляющих, так и, что особенно важно, управляемых. Он, например, как это будет показано далее, в деталях рассматривает процесс управления губернским обществом разными способами — от вполне варварского, сопряженного с насилием и даже убийствами обывателей, до вполне цивилизованного — посредством вовлечения их в преобразовательные замыслы либерального толка. Впрочем,

на этой последней стезе никому из градоначальников удержаться не доводится. При либерализме едва начавшее выражаться в душах обывателей древо гражданственности сжигается новым политическим поворотом, и кончает эта история все тем же обычным для русской истории и привычным для населения приказом: «Влепить!»

Сделав эти предварительные замечания, начну рассмотрение творчества Салтыкова-Щедрина не как обычно — с ранних произведений, а с текста, написанного зрелым мастером, — вполне классического цикла «очерков — романа» «Господа ташкентцы. Картины нравов», опубликованного в 1869 году.

* * *

В связи с замечанием о философской цели исследования характеристик русского человека, прежде всего, приведу один из примеров щедринского способа рассмотрения задач такого рода. «В рассказах Глинки (композитора), — пишет Щедрин, — занесен следующий факт. Однажды покойный литератор Кукольник, без приготовлений, "необыкновенно ясно и дельно" изложил перед Глинкой историю Литвы, и когда последний, не подозревая за автором "Торквато Тассо" столь разнообразных познаний, выразил свое удивление по этому поводу, то Кукольник отвечал: "Прикажут — завтра же буду акушером"».

Ответ этот драгоценен, ибо дает представление о «мере талантливости» и «игры ума» (не знаний, а именно «игры ума», как в одном месте подчеркивает Щедрин) русского человека.

Но он еще более драгоценен в том смысле, что раскрывает некую тайну, свидетельствующую, что упомянутая выше талантливость находится в теснейшей зависимости от «приказаний». «Ежели мы не изобрели пороха, — объясняет автор, — то это значит, что нам не было это приказано; ежели мы не опередили Европу на поприще общественного и политического устройства, то это означает, что и по сему предмету никаких распоряжений не последовало. Мы не виноваты. Прикажут — и Россия завтра же покроется школами и университетами; прикажут — и просвещение, вместо школ, сосредоточится в полицейских управлениях. Куда угодно, когда угодно и все что угодно. Литераторы ждут мания, чтоб сделаться акушерами; повивальные бабки стоят во всеоружии, чтоб по первому знаку положить начало родовспомогательной литературе. Все начеку, все готово устремиться куда глаза глядят.

По-видимому, такая всеобщая готовность должна бы произвести в обществе суматоху и толкотню. Однако ж ничего подобного не усматривается. Везде порядки, везде твердое сознание, что толкаться не велено. Но прикажите — и мы изумим мир дерзостными поступками.

Уверенность в нашей талантливости так велика, что для нас не полагается даже никакой профессиональной подготовки. Всякая профессия доступна нам, ибо ко всякой профессии мы от рождения вкус получили. Свобода от наук не только не мешает, но служит рекомендацией, потому что сообщает человеку букет «свежести». «Свежесть», в свою очередь, дает талантливости характер неудержимой и ни перед чем не останавливающейся похотливости. Человек, постоянно готовый и постоянно вожделеющий, — это своего рода нерушимая стена. Это развязный малый, перед которым всякая специальность немедленно сдается на капитуляцию. Назовите рядом с «свежим» человеком какого-нибудь «умника», — и всякий сразу поймет, сколько горечи и презрения слышится в этом последнем названии. «Умник!» — ведь это засоренная голова! Это человек, изнемогающий под бременем собственного бессилия!»¹.

В связи со сделанным писателем выбором относительно того, о каких характеристиках русского человека он считает целесообразным говорить в первую очередь, отмечу следующее. Этот выбор, как представляется, в принципе может быть обусловлен остротой какой-то конкретной и актуальной жизненной проблемы, которую отчетливо видит автор. Так, живучесть в общественном сознании идей об онтологической «талантливости», «игривости ума» и «свежести» русских имела под собой и определенное мировоззренческое основание. Тезис «для русского человека нет ничего недостижимого, нужно только приказать» охотно разделялся многими идеологами-почвенниками. Они всерьез полагали, что для русского человека якобы в силу наличия у русского социума творческой силы в сравнении с «загнивающими» социумами европейскими не требовалось ничего, кроме, говоря словами Щедрина, «чистоты сердца и не вполне поврежденного ума».

К счастью, отмеченное Щедриным столь нелестное наблюдение было не универсальным, а исторически конкретным. Русский человек такого рода, как отмечает сам автор «Господ ташкентцев», мог быть субъектом только одного переживаемого

¹ Там же. С. 68—69.

Россией общественного состояния — социально-политического строя общественной крепости, давно пережитого Европой. Именно для него была реальностью технология «прикажут — сделаем все, что угодно». И ее реальность объяснялась прежде всего «простотой задач», не только выдвигаемых, но и мыслимых. «...Требовались только *простые* сапоги, *простое* платье, *простая* музыка, то есть такие именно вещи, для выполнения которых совершенно достаточно двух элементов: приказа и готовности. Кукольник знал, что говорил, когда вызывался хоть сейчас быть акушером»¹.

Однако как только речь начинала заходить о чем-то сколько-нибудь сложном, требующем знаний, опыта, свободного состояния, равно как и систематического упорного труда, то из всей русской талантливости и готовности выполнить любое приказание образовывалось «пустое место», которое было не просто «пустым местом», но имело свою многотрадальную и многовековую историю. И эта история, констатирует Щедрин, не может сослужить нам сколько-нибудь добрую службу в нынешний — то есть, после отмены крепостного права, момент, когда «каждому придется жить за собственный счет». Вот в этом — отсутствии собственного багажа, общественной практики с определенной историей, которую не только сложно технологически, но равно сложно как морально, так и мировоззренчески взять откуда бы то ни было «со стороны» и, смилив гордость, этот факт признать — и заключается реальная российская проблема, отнюдь не «рассосавшаяся» сама собой в истории вплоть до наших дней.

Размышляя о том, как в новых исторических условиях будет эволюционировать русская «талантливость и готовность следовать приказаниям», Щедрин намечает несколько возможных путей ее развития. Среди них — признание, что новые условия закономерны и следует искать способ к ним приспособляться, а значит, что-то менять в самих себе. Такое решение требует известного ума и потому нереалистично.

Но есть и способ — в самую пору. Согласно ему «талантливость» предполагает легкие способы решения проблем типа составления проекта вавилонской башни. И если даже таким путем проблема не решится, то «талантливость» легко перетечет в самые близкие ее пониманию общественные формы — «измену и бунт». Врагов найти! — таково будет решение вопро-

¹ Там же. С. 71.

са. А вслед за обнаружением названных явлений, естественно, следует их благородное «обуздание». «А что же, — спрашивает Шедрин, — кроме обузданий, произвела на свет наша талантливость за все время ее векового и притом вполне беспрепятственного существования?»¹

Для лучшего понимания решения проблем таким способом Шедрин приводит пример. Скажем, начальник департамента призывает к себе столоначальника и дает ему поручение открыть Америку. Для столоначальника закрыт способ, согласно которому «новые условия закономерны и следует искать способ к ним приспособиться», то есть признать, что с этим заданием русские опоздали и Америка уже открыта. Он, конечно, может попытаться заволоклить дело — разослать запросы и решить дело «измором». Но это опасно, так как наверняка не понравится директору департамента, а вот привычный способ — врагов найти! — весьма хорош. Ведь согласно ему все Колумбы должны быть «обузданы» и «приведены к общему знаменателю». Этот способ решения проблем так близок русскому сердцу! «Нам все еще чудится, что надо нечто разорить, чему-то положить предел, что-то стереть с лица земли. Не полезное что-нибудь сделать, а именно только разорить. Ежели признаться по совести, то это собственно мы и разумеем, говоря о процессе созидания»², — итожит Шедрин.

В своих исследованиях для всех деятелей-«обуздывателей» автор «Господ ташкентцев» обнаруживает единую основу — «теорию митрофанства» (от имени известного героя фонвизинской комедии «Недоросль»). Митрофанушки признают только одну зримую в общественной жизни вещь — табель о рангах. Только она одна воспринята ими и оправданна в своем западном (тут уж ничего не попишешь!) происхождении. Из всего просвещения митрофанушки усвоили только ее. В остальном же Запад, ее породивший, давно — ничто. «Мнения, что Запад разлагается, что та или другая раса обветшала и сделалась неспособною для пользования свободой, что западная наука поражена бесплодием, что общественные и политические формы Запада представляют бесконечную цепь лжей, в которой одна ложь исчезает, чтоб дать место другой, — вот мнения, наиболее любезные Митрофану»³. И, как обычно, больше всего достается Франции,

¹ Там же. С. 74.

² Там же. С. 76.

³ Там же. С. 78.

которая, как известно, «выдумала две вещи: ширину взглядов и канкан».

Однако жить в таком мире даже для митрофанов делается чем дальше, тем труднее. Все настоятельнее требуется «новое слово». И потому время от времени митрофаны вынуждаемы перенимать с Запада какую-нибудь «новую штуку». Но поскольку она — «штука» — перенимается ими «независимо от общих форм жизни, то весьма естественно, что она их же бьет в лоб. Мир открытий и изобретений, в глазах Митрофанов, есть мир подробностей, существующий *an sich und fur sich* (в себе и для себя) и не имеющий внутренней связи с общим строем жизни»¹. Вот почему русские митрофаны постоянно попадают впросак, будь то, если на мгновение перенестись в сегодняшний день, компьютеризация, всенародный интернет, нанотехнологии или еще какая-нибудь инновация. Впрочем, и это неудобное положение не заставляет их делать сколько-нибудь серьезных социально-политических выводов. Что же далее?

Щедрин формулирует вывод, звучащий одновременно как диагноз и как приговор: «...если каждое новое открытие или усовершенствование приводит лишь к тому, что бьет в лоб, и ежели при этом нет даже поползновения определить причину такого странного действия открытий и усовершенствований, то остается одно из двух: или закутаться в саван, или обратиться в дикое состояние.

И за всем тем нас ждет еще «новое слово»... но, боже мой! Сколько же есть прекрасных и вполне испытанных старых слов, которых мы даже не пытались произнести, как уже хвастливо выступаем вперед с чем-то новым, которое мы, однако ж, не можем даже определить!»²

«На все, что история выдвигала перед Россией в последние годы, — продолжает Щедрин, — неизменно следовал один ответ: "Погодите! Еще время не пришло!"

— Нужно сословие адвокатов? — погодите! Еще время не пришло!

— Есть гласный и уставный суд? — ...

— Есть земские деятели? — ...

— Есть опыты крестьянского самоуправления? — ...

Но машина истории не только не имеет механизма заднего хода, но и тормозов. На смену феодальному приходит новый ка-

¹ Там же. С. 82.

² Там же. С. 83.

питалистический строй. И что же он застает? «Подготовки нет, а ремесленность уже проникает всюду. Ремесленность самого низшего сорта, ремесленность, ничего иного не вожделеющая, кроме гроша. Надул, сосводничал, получил грош, из оного копейку пропил, другую спрятал — в этом весь интерес настоящего. Когда грошей накопится достаточно, можно будет задрать ноги на стол и начать пить без просыпу: в этом весь идеал будущего.

Молчание — вот единственный ясный результат, который покуда выработала наша так называемая талантливость. Затем, в ожидании того таинственного "нового слова", которому предстоит обновить мир, все-таки остается во всей своей неприкосновенности очень серьезный вопрос:

Где ж элементы будущего?»¹

Намечая контуры теории русского человека сорта «Митрофанушка», (а именно это и делает своими произведениями Щедрин. — С.Н.), мыслитель прежде всего отмечает его историческую укорененность. Она прослеживается как в имени, которое этому явлению дается, так и в отсылках к конкретным фрагментам общественной жизни. Вместе с тем уже в следующей главе «очерков — романа» Щедрин вводит новое имя — «ташкентцы». Зачем оно понадобилось наряду с уже данными именами митрофанушек и цивилизаторов?

Дело, на мой взгляд, объясняется тем, что этим новым именем называется определенный вид деятельности, к которому в силу разных причин принуждены обратиться митрофанушки. «Ташкентец» у Щедрина — Митрофанушка, занятый просветительской деятельностью. Явление это, ставшее в известном смысле одной из характерных черт общественной жизни России в 60 — 70-х годах XIX столетия, было знамением времени. Под этим именем начали осуществляться реформы Александра II, в том числе и непосредственно относящаяся к образованию университетская реформа. Под этим именем на деревню начали обращать внимание революционные демократы, включая их знаменитые «хождения в народ». Под этим именем в «интеллектуальных и революционных лабораториях» (вспомним о Лаврове, Михайловском, Ткачеве и Чернышевском) стали создаваться труды и проектироваться опыты, имеющие целью обуздать или прервать исторические процессы, «высочить» из колеи исторического развития, изобрести человека ниоткуда —

¹ Там же. С. 84.

«нового человека». Естественно, что находящийся в известном смысле «на острие» государственного просветительского творчества не только в качестве писателя, но и в чине высокого государственного чиновника, Щедрин не мог не обратить внимание на это веяние в общественной жизни страны.

Однако «ташкентец»-просветитель не мог быть и не был свободен от родовых связей с Митрофанушкой, и потому он прежде всего не какой-нибудь просветитель в определенной сфере, а «просветитель вообще, просветитель на всяком месте и во что бы то ни стало; и притом просветитель, свободный от наук, но не смущающийся этим, ибо наука, по его мнению, создана не для распространения, а для стеснения просвещения. Человек науки, — размышляет Щедрин, — прежде всего требует азбуки, потом складов, четырех правил арифметики, таблички умножения и т. д. "Ташкентец" во всем этом видит неуместную придирку и прямо говорит, что останавливаться на подобных мелочах — значит спотыкаться и напрасно тратить золотое время. Он создал особенный род просветительной деятельности — просвещения безазбучного, которое не обогащает просвещаемого знаниями, не дает ему более удобных общежительных форм, а только снабжает известным запахом»¹. Так, например, тот просвещенный, который пьет херес «очень старый», считает себя просветителем относительно того, кто пьет херес «просто старый», и т. д. Градацию эту можно перенести во всякую иную сферу — например, «в сравнительную сферу сюртуков и поддевок, ресторанов и харчевен, кокоток, имеющих ложу в бельэтаже, и кокоток, безнадежно пристающих к прохожему в Большой Мещанской, и т. п.»².

Человек, занимающий низшую ступень в любой подобной иерархии, для «просвещения» открыт максимально, ибо у него нет единственного против «просвещения» средства, с помощью которого можно отражать «безазбучное просветительство», — нет знания азбуки. В силу этого «он стоит со всех сторон открытый, и любому охочему человеку нет никакой трудности приложить к нему какие угодно просветительные задачи»³.

Ташкент, таким образом, ни в коем случае не есть понятие географическое. «Как термин отвлеченный, Ташкент есть страна, лежащая всюду, где бьют по зубам и где имеет право гражд-

¹ Там же. С. 85.

² Там же.

³ Там же. С. 86.

данственности предание о Макаре, телят не гоняющем. Если вы находитесь в городе, о котором в статистических таблицах сказано: жителей столько-то, приходских церквей столько-то, училищ нет, библиотек нет, богоугодных заведений нет, острог один и т. д., — вы можете сказать без ошибки, что находитесь в самом сердце Ташкента. Наверное, вы найдете тут и просветителей и просвещаемых, услышите крики: «ай! ай!», свидетельствующие о том, что корни учения горьки, а плоды его сладки, и усмотрите того классического, в поте лица снискивающего свою лебеду, человека, около которого, вечно его облюбовывая, похаживает вечно несытый, но вечно жрущий ташкентец. Но училищ и библиотек все-таки не найдете»¹. И далее: «Истинный Ташкент устраивает свою храмину в нравах и в сердце человека. Всякий, кто видит в семейном очаге своего ближнего не огражденное место, а арену для веселонравных походов, есть ташкентец; всякий, кто в физиономии своего ближнего видит не образ божий, а ток, на котором может во всякое время молотить кулаками, есть ташкентец; всякий, кто, не стесняясь, швыряет своим ближним, как неодушевленную вещь, кто видит в нем лишь материал, на котором можно удовлетворять всевозможным проказливым движениям, есть ташкентец. Человек, рассуждающий, что вселенная есть не что иное, как выморочное пространство, существующее для того, чтоб на нем можно было плевать во все стороны, есть ташкентец...

Нравы создают Ташкент на всяком месте; бывают в жизни обществ минуты, когда Ташкент насильно стучится в каждую дверь и становится на неизбежную очередь для всякого существования. Это в особенности чувствуется в эпохи, которые условлено называть переходными»². Таковой эпохой и было время, последовавшее после отмены в России 19 февраля 1861 года крепостного права.

* * *

В начале произведения Щедрин-повествователь принимает на себя роль героя, от имени которого ведется рассказ, что дает читателю дополнительную возможность проникнуться интимностью рассуждений рассказчика. к этому располагает и сам предмет — цивилизирующее начало в России. Герой рассказа —

¹ Там же. С. 90.

² Там же. С. 91.

воспитанник одного из военно-учебных заведений — слышит об этом уже на первой лекции: «Стоя на рубеже отдаленного Запада и не менее отдаленного Востока, Россия призвана провидением». И т. д. и т. д.

Слова эти тогда же поразили мое впечатлительное воображение. Для меня сделалось ясным, что задача России двойственна: во-первых, установить на прочном основании принцип беспрепятственности иллюминаций (политика внутренняя) и, во-вторых, откуда-то нечто брать и куда-то нечто передавать (политика внешняя). Если верить московским публицистам, то первая задача уже давным-давно решена. Несмотря на то, что торжества имеют характер праздников переходящих, наше солнце настолько дисциплинированно, что заранее справляется с календарем, когда ему следует играть. Тогда и играет. Но вторая задача, уже во времена моей юности, причиняла мне немало беспокойств. Я слышал и понимал, что тут есть какие-то «плоды», которые следует где-то принимать и куда-то передавать, но что это за «плоды», в каких лесах они растут и каким порядком их передавать, то есть справа ли налево или слева направо, — этого никак не мог взять себе в толк. «Налево кругом!» — раздавалось в моих ушах; но и этот воинственный клич как-то не утешал, а еще пуше раздражал меня.

— Иван Петрович! — спрашивал я почтенного нашего профессора, — зачем же нам передавать чужие плоды, если у нас есть свои собственные?

— Коли у тебя есть, так никто тебе не препятствует! — отвечал Иван Петрович с тем равнодушием, которое в то время одно только и одушевляло наших педагогов и которое, казалось, так и говорило: «Что ты пристаешь ко мне за разъяснениями? Я свое дело сделал: отзвонил — и с колокольни долой!»

— Но откуда брать? Куда передавать? — продолжал я настаивать.

— Придет пора да время — все узнаешь. Скажут: «спасибо» — значит, потрафил; надерут вихор — значит, проштрафился, надо начинать сызнова. — Итак, милостивые государи! находясь на рубеже отдаленного Запада и не менее отдаленного Востока, Россия самим провидением призвана...

Я страдал невыносимо. Систематизируя все слышанное мною, я приходил к следующим выводам:

1) что у нас своих плодов нет;

2) что мы должны только передавать, даже не заглядываясь на то, что передаем: руками взял, руками и отдал — вот и все;

и 3) что мы рискуем при этом быть выдранными за вихор.

Результаты неясные, не удовлетворявшие даже тогдашних моих детских требований...

Но с течением времени самые трудные загадки разгадываются»¹.

Герой бросается «цивилизовать» на Запад, но, не найдя там подходящего предмета, устремляется во внутренние губернии России. Вскоре, однако, он убеждается, что и там уже все «процивилизовано». Тем не менее сделанные наблюдения не пропадают даром, и герой начинает формулировать для себя известную закономерность цивилизующего начала. Оно всегда осуществляется под одним и тем же лозунгом — кличем «Жрать!». Поэтому куда бы оно ни было направлено, оно «истребляет туземных баранов и, взамен того, научает обывателей удовлетворяться духовною пищею! Кто в выигрыше? кто в проигрыше? те ли, которые уделяют пришельцу частицу стад своих, или те, которые, в возмат за это, приносят с собой драгоценнейший из всех плодов земных — просвещение?»²

Философски-художественная адресация Щедрина к одной из характерных для российской власти форм взаимодействия с собственным населением-подданными, впервые выполненная им в русской литературе, должна быть отмечена особо. Именно такая форма взаимодействия, во-первых, является родовой, то есть сопровождает российскую власть на протяжении всего ее существования, лишь время от времени — в связи с историческими условиями — несколько изменяясь. И во-вторых, обнаруживает своего рода воспитательную функцию, то есть неуклонно формирует, создает для себя население-подданных именно по этому «цивилизаторскому» образцу. В частности, в XX веке мы вновь увидим эту власть за ее «цивилизаторским» занятием в форме ленинского, а затем и сталинского террора, равно как и во времена Хрущева, Брежнева и иных российских правителей. Что же впервые подметил и чем поделился с читателем Щедрин?

Прежде всего, он открывает нам закономерную эволюцию своего героя, от имени которого начато повествование. Оказывается, в молодые годы он и сам был «либералом», то есть с воодушевлением произносил слова: «добро, красота, истина». Под влиянием «идей 48 года» он с друзьями провозглашал:

¹ Там же. С. 105—106.

² Там же. С. 113.

«Время требует величия души!» Но вот ему встретились «нигилисты», которым он не сумел объяснить, зачем нужно стремиться к добру, и они подняли его на смех. С тех пор все начало неудержимо меняться, а «после "отрицания" пришло "неуважение авторитетов", потом "безверие", потом "посягательство на чужую собственность", затем еще и еще... Теперь я чувствую, что я пришел, что я у пристани...»¹.

Вот, например, власти объявили поход против «неблагоденных». Кого же следовало причислять к ним? «Если вы имели с вашим соседом процесс; если вы дали займы денег и имели неосторожность напомнить об этом; если вы имели несчастье доказать дураку, что он дурак, подлецу — что он подлец, взяточнику — что он взяточник; если вы отняли у плута случай сплутовать; если вы вырвали из когтей хищника добычу — это просто-напросто означало, что вы сами вырыли себе под ногами бездну. Вы припоминали об этих ваших преступлениях и с ужасом ожидали. Не было закоулка, куда бы ни проникла "благоденность"...

Провинция колыхалась и извергала из себя целые легионы чудовищ ябеды и клеветы...

От Перми до Тавриды,
От хладных финских скал
До пламенной Колхиды...

Отовсюду устремлялись стада «благоденных», чтобы выместить накипевшие в сердцах обиды...

Они рыскали по стогнам, становились на распутьях и вопили. Обвинялся всякий: от коллежского регистратора до тайного советника включительно. Вся табель о рангах была заподозрена. Сводились счеты; все прошлое ликвидировалось сразу... Делалось ясным, что, как бы ни тщился человек быть "благоденным", не было убежища, в котором бы не настигала его "благоденность" еще более благоденная»².

Щедрин приводит несколько примеров «цивилизаторских» акций, предпринятых героем в столице. Вот он с товарищами из специально созданного властями общества «Робкого усилия благоденности» глубокой ночью звонит в квартиру одного из «неблагоденных», находит его читающим какую-то физиологическую книгу, с негодованием вырывает ее у «неблаго-

¹ Там же. С. 134.

² Там же. С. 140.

намеренного» из рук, топчет, а затем забирает «неблагоданмеренного» в участок.

В квартире у другого он с удивлением ни одной книги или бумаг не обнаруживает. «Вас изумляет отсутствие книг и бумаг? — поспешил он объяснить, заметив на моем лице недовольное движение, — но поймите же, наконец, что, начиная с сорок восьмого года, я периодически подвергаюсь точно таким посещениям, как в настоящую минуту. Кажется, этого достаточно, чтобы получить некоторую опытность»¹.

«Цивилизатору» встречаются разные люди, философствующие в том числе. Вот, к примеру, примечательная речь одного из «неблагоданмеренных». «— Мне кажется, господа, — говорил он, — что вы бьете совсем не туда, куда следует, и что, видя в занятиях умственными интересами что-то враждебное обществу, вы кидаете последнему упрек, которого оно даже не заслуживает!.. Ужели оно и в самом деле так расслаблено, что не может выдержать напора мысли, и первая вещь, от которой прежде всего необходимо остеречь его, — это преданность интересам мысли? Почему вы думаете, что для общества всего необходимее невежество? Почему, когда в обществе возникает какое-нибудь замешательство, первые люди, которые делаются жертвами вашей подозрительности, суть именно люди мысли, люди исследования? Согласитесь, что такое странное явление нельзя даже объяснить иначе, как глубоким презрением, которое вы питаете не только к обществу, но и к самим себе?

Я слушал его с удовольствием, да и нельзя было иначе, потому что *au fond il y a du vrai dans tout ceci!*.. (в сущности все это правильно!..) Иногда мы действительно пересаливаем и как будто чересчур охотно доказываем миру, что знаменитое хрестоматическое двустишие: "Науки юношей питают" и пр. улетучивается из нас немедленно, как только мы покидаем школьные скамьи.

Я невольно вздохнул при этом соображении.

Он продолжал:

— Допустим, однако же, что наука вредит; но ведь во всяком случае, это такой вред, который доступен только немногим, большинству же не может при этом угрожать ни малейшей опасности. Вы говорите: общество лишь тогда может быть счастливо, когда оно невежественно, — прекрасно! Но с чего же вы берете, что эта невежественность так легко доступна для посягательства

¹ Там же. С. 137.

науки? И ежели общество действительно так невежественно, что считает состояние невежества лучшим залогом своего спокойствия, то как же допустить в нем ту легкомысленную жажду к знанию, которая будто бы до того сильна, что требует каких-то экстраординарных мер для предупреждения увлечения ею?

Удовольствие мое возрастало. Он продолжал:

— Одно что-нибудь: или общество желает знания и, следовательно, может безопасно выдержать его, или оно не терпит знания — и в таком случае, конечно, само постоит за свою святыню, само отобьется от нападений и защитит свое право на свободу от наук. Бояться за общество, столь крепко убежденное, предпринимать искусственные и не всегда ловкие меры для ограждения его, — не значит ли это без надобности волновать его и даже указывать такие просветы, которых оно никогда не увидало бы, не будь вашей бессознательной услуги?

Удовольствие возрастало с каждой минутой. Я думал: ах, если бы так все рассуждали! если бы все понимали, что вместо того, чтобы преследовать науку, лучше всего поступать так, как бы ее совсем не было... Наука! Что такое наука? *Parlez-moi de ça! Qu'est-ce que c'est que cette "наука", et ou avez-vous pêché cet animal-la!* (Скажите, пожалуйста! Что это такая за "наука" и где вы выловили это существо!)

Вот, по моему мнению, единственный разговор, который может допустить, по этому поводу, истинно прозорливая внутренняя политика!

Но "он" продолжал:

— Но ведь придется же наконец понять — хоть в этом и тяжело сознаться, что совсем без наук тоже обойтись нельзя; что народы, которые питают к наукам презрение...

"Он" остановился, точно обрезал: очевидно, "он" понял, что я слушал "его" с удовольствием.

— Идемте! — сказал он, надевая на голову картуз.

Маррш!»¹

Герой-«цивилизатор», по собственному признанию, «дошел почти до ясновидения и угадывал "негодяев" там, где другие усматривали только действительных статских советников. Но с другой стороны, эта же возбужденность чувства мешала мне ясно понимать, что в числе множества прихотливых форм, которыми облекается либерализм, есть некоторые, прикасаться

¹ Там же. С. 143—144.

к которым не всегда безопасно... Особенности трудности в этом смысле представляют формы, называемые действительными статскими советниками»¹.

И случилось так, что с одним из своих товарищей он поспорил на то, что при обыске у очередного «неблагоденного» он его прямо на квартире... высечет.

«Он» был до того виноват, что даже не возражал. "Он" кротко лег и кротко же встал, не испустивши ни стога, ни жалобы.

— Ваша фамилия, ваши занятия? — сурово спросил я.

— Начальник отделения NN департамента, статский советник Перемолов! — отвечал он, упираясь глазами вниз (очевидно, ему было стыдно).

Представьте мое изумление! это был... не "он"!!

Я пытался как-нибудь выпутаться и запутался еще больше. Мне следовало просто-напросто уйти, показав вид, что общественная немезида удовлетворена. Вместо того я уперся, перерыл всю его скаредную квартиру, думая найти хоть что-нибудь, хоть букву какую-нибудь, которая могла бы мне послужить оправданием. Разумеется, я ничего не нашел, кроме доказательств его душевной невинности... Тогда я стал придирается.

— Но как же осмелились вы, милостивый государь, вводить меня в заблуждение? — накинулся я на него.

Но он уже понял и, убедившись в своей невинности, начал обнаруживать твердость души.

— Нет, это вам так не пройдет! — говорил он, постепенно приходя в раздражение и как бы ободряя себя своим собственным криком. — Нет! это что же? Этак всякий с улицы пришел, распорядился и ушел!.. Нет, это не так!.. в этих делах надо глядеть, да и глядеть...

— Но поймите, что тут вашей вины гораздо больше, нежели моей...

— Ничего я не хочу понимать! я слишком хорошо понимаю! Это черт знает что! Пришел, распорядился и ушел! Н-н-н-е-ет!

Он вдруг остервенился, начал скакать на меня, подставляя к моему лицу кулаки... Так что даже наконец я оскорбился.

— Понимаете ли вы, милостивый государь, что вы меня оскорбляете? — сказал я с достоинством.

— Я его оскорбляю! Милости просим! я! Он со мной, как с младенцем... и я его оскорбляю! Я... его!.. Ах!

¹ Там же. С. 147.

Словом сказать, загородил такую чепуху, что хоть святых вон выноси! Одно мгновение в моей голове мелькнуло: не попросить ли прощения? Но странное дело! я вдруг как-то понял, что это последний мой подвиг, и покорился...»¹ На следующий день героя вызвали к его начальнику — генералу..

Автор подробно сообщает о том, из каких людей и как набираются рекруты в команды «благонамеренных» для производства «цивилизаторских» действий, какие чувства движут этими людьми. Среди таковых прежде всего угадываются жажда власти и предоставляемая этой властью форма самоутверждения через подчинение себе — вплоть до физического — других, более достойных людей.

Впрочем, в прозе Щедрина мы еще не находим анализа внутреннего мира «цивилизатора», не видим его индивидуального лица. Это придет в русское мировоззрение вообще и в литературу в частности существенно позднее. А пока философствующий художник Щедрин стремится передать нам в деталях историю становления «цивилизаторов» преимущественно посредством изложения внешней канвы событий.

Этому посвящены и четыре так называемые параллели в разделе «Ташкентцы пригготовительного класса». Не ставя цели анализировать героев всех четырех глав, остановлюсь лишь на одном персонаже из «параллели второй» — семнадцатилетнем ученике второго (!) класса, многолетнем второгоднике Хмылове по прозвищу «палач».

Сын мелкого помещика, обладающего «необузданным нравом», и кто был, как еще характеризует его Щедрин, «чрез меру лих», Хмылов-младший по своим задаткам способен пойти еще дальше. Он, к примеру, вовсе бесчувствен. Это относится как к переживаниям разного рода, так и к физической боли. Проистекает это от того, что в его собственной семье его почти не замечают даже тогда, когда он приезжает на летние каникулы. Мать заботит только, что он слишком много ест, а отец видит в нем лишь негодный для дома и продолжения семейного дела «предмет».

Преодолевать боль Хмылов вынужден и в «заведении», где порют не только за проступки, но и для профилактики. Впрочем, намереваясь уйти от ненавистной учебы «в полк», Хмылов в своем выработанном бесчувствии видит даже особое качество, для военной жизни необходимое.

¹ Там же. С. 150—151.

« — Вы, маменька, про чувства не говорите со мною», — заявляет он матери в одном из разговоров. — Я даже когда меня дерут — и то стараюсь не чувствовать. У нас урядник Купцов, прямо скажу, шкуру с живого спускает, так если бы тут еще чувствовать...

"Палач" постепенно одушевляется; он ощущает твердую почву под ногами.

— Один раз, — говорит он, — я товарища искалечил, так меня сам инспектор бил. Бьет это, с маху, словно у него бревно под руками, бьет, да тоже вот, как вы, приговаривает: бесчувственный! Так я ему прямо так-таки в лицо и сказал: ежели, говорю, Василий Ипатыч, так бьют, да еще чувствовать...

«Палач» от волнения задыхается, словно пойманная крыса; лицо его вспыхивает, ноздри раздуваются, и сам он от времени до времени вздрагивает.

— Меня вот товарищи словно волка травят, — продолжает он, — соберутся всей ватагой, да и травят. Так если б я чувствовал, что бы я должен был с ними сделать?

Он смотрит на мать в упор; глаза его сверкают таким диким блеском, что Арина Тимофеевна, не понявшая ни одного слова из всего, что говорил сын, пугается.

— Да ты обалдел, что ли, как на мать-то смотришь! — начинает она, но «палач» уже ничего не слышит.

— Теперича, к примеру, я хочу в юнкера поступить, — гремит он, — так ежели начальство мне скажет: «Хмылов! разорви!» — как, по-вашему? Я и в то время должен какие-нибудь чувства иметь? Извините-с!»¹

Ну разве не прав «палач»? Разве и в самом деле не пыткой было бы для него «иметь чувства»? Разве может кто-нибудь осудить, и разве было бы справедливо осуждать его за это «бесчувствие»? Похоже, не существует «палач» отдельно от окружающего его мира, и потому не существует претензий, которые можно было бы отнести исключительно к нему как отдельной личности. Вот такой рисуется Щедриным «обычная» русская проблема «индивида и среды». И исходя из этого ее реалистического описания становится понятна наивность, школярское нетерпение, равно как и генетическое презрение к народу и влачимои им жизни, которые демонстрировали уже появившиеся и еще обещающие появиться в будущем революционеры всяческих мастей.

¹ Там же. С. 230—231.

Не всем «русским печальникам» были по нутру жестокие страницы Щедрина. Но без них не было бы многого в истинном понимании России, которую он глубоко любил. Уже в первом крупном произведении «Губернские очерки», появившемся в 1856 — 1857 годах, Щедрин схватывает две важнейшие характеристики современного ему русского мира — его, в философском смысле, «окраинность» и «милую слепоту» как фундаментальные характеристики мировоззрения значительной части его жителей. Избранный им для анализа город Крутогорск — в миниатюре вся Россия. «Въезжая в этот город, вы как будто чувствуете, что карьера ваша здесь кончилась, что вы ничего уже не можете требовать от жизни, что вам остается только жить в прошлом и переваривать ваши воспоминания.

И в самом деле, из этого города даже дороги дальше никуда нет, как будто здесь конец миру. Куда ни взглянете вы окрест — лес, луга да степь; степь, лес и луга; где-где вьется прихотливым извивом проселок, и бойко проскачет по нем телега, запряженная маленькою резвою лошадкой, и опять все затихнет, все потонет в общем однообразии...

Крутогорск расположен очень живописно; когда вы подъезжаете к нему летним вечером, со стороны реки, и глазам вашим издалека откроется брошенный на крутом берегу городской сад, присутственные места и эта прекрасная группа церквей, которая господствует над всею окрестностью, — вы не оторвете глаз от этой картины. Темнеет. Огни зажигаются и в присутственных местах, и в остроге, стоящих на обрыве, и в тех лачужках, которые лепятся тесно, внизу, подле самой воды; весь берег кажется усеянным огнями. И бог знает почему, вследствие ли душевной усталости или просто от дорожного утомления, и острог и присутственные места кажутся вам приютами мира и любви, лачужки населяются Филемонами и Бавкидами, и вы ощущаете в душе вашей такую ясность, такую кротость и мягкость... Но вот долетают до вас звуки колоколов, зовущих ко всенощной; вы еще далеко от города, и звуки касаются слуха вашего безразлично, в виде общего гула, как будто весь воздух полон чудной музыки, как будто все вокруг вас живет и дышит; и если вы когда-нибудь были ребенком, если у вас было детство, оно с изумительною подробностью встанет перед вами; и внезапно воскреснет в вашем сердце вся его свежесть, вся его впечатлительность, все верования, вся эта милая слепота, которую впо-

следствии рассеял опыт и которая так долго и так всецело утешала ваше существование»¹.

Отмечу сразу бросающееся в глаза, очевидное: ту же самую тональность и даже тождество определенного типа русского мировосприятия, отмечаемого Гоголем в «Старосветских помещиках» (откуда, собственно, и происходят «Филемон» — Афанасий Иванович и «Бавкида» — Пульхерия Ивановна), Тургеневым в некоторых рассказах «Записок охотника» и в образах Фимушки и Фомушки Субочевых в романе «Новь», а также Гончаровым в «Обломове». «Кротость и мягкость», «милая слепота», нежелание куда-то стремиться и что-то делать, тем более — преобразовывать — вот одна из сторон патриархального русского мира и сопутствующего ему мировоззрения. «Вы видите, вы чувствуете, что здесь человек доволен и счастлив, что он простодушен и открыт именно потому, что не для чего ему притворяться и лукавить. Он знает: что бы ни выпало на его долю — горе ли, радость ли, — все это его родное, его собственное, и не ропщет. Иногда только он промолвит: «Господи! кабы не было блох да станových, что бы это за рай, а не жизнь была!» — вздохнет и смирится пред рукою Промысла, соделавшего и Киферона, птицу сладкогласную, и гадов разных»². И не требуется ему по большому счету ни плодов производить, чтобы «передавать их» с Запада на Восток или с Востока на Запад, да и вообще общаться с внешним миром. Потому так и распространены в России мнения о том, что Запад, например, — гнилой и тлетворный, а мы — «особые», умом не постижимые и только вере подвластные.

Для этой изоляции и государственная машина приспособлена. Здесь же, в философской прелюдии — во введении к «Губернским очеркам», есть эпизод, в котором описывается, как получили чиновники бумагу, читали-читали, ничего не поняли. Что делать? Позвали архивариуса (знаменательная фигура — «хранитель старины», то есть, в философском смысле, адресовались к опыту предков). «Понимаешь?» — спрашиваем мы. "Понимать не понимаю, а отвечать могу". Верите ли, ваше превосходительство, ведь и в самом деле написал бумагу в палец толщиной, только еще непонятнее первой. Однако мы подписали и отправили»³.

¹ Там же. Т. 1. С. 27—28.

² Там же. С. 31.

³ Там же. С. 33.

А вот и еще одно обстоятельство, поддерживающее существование русского патриархального типа мировосприятия, — воспетая всеми великими отечественными литераторами русская дорога. Дорога, которая предназначена не столько для передвижения, тем более активного промышленного, сколько для сообщений между ближними соседями, да и то в состоянии рассеянности или мечтательности путников, по ней едущих. И все же: «Дорога! Сколько в этом слове заключено для меня привлекательного! Особливо в летнее теплое время, если притом предстоящие вам проезды неуютительны, если вы не спеша можете расположиться на станции, чтобы переждать полуденный зной, или же вечером, чтобы побродить по окрестности, — дорога составляет неисчерпаемое наслаждение. Вы лежа едете в вашем покойном тарантасе¹; маленькие обывательские лошадки бегут бойко и весело, верст по пятнадцати в час, а иногда и более; ямщик, добродушный молодой парень, беспрестанно оборачивается к вам, зная, что вы платите прогоны, а пожалуй, и на водку дадите. Перед глазами вашими расстилаются необозримые поля, окаймляемые лесом, которому, кажется, и конца нет. Изредка попадается по дороге починок из двух-трех дворов или же одиноко стоящая сельская расправа, и опять поля, опять лес, земли-то, земли-то! то-то раздолье тут земледельцу! Кажется, и жил бы и умер тут, ленивый и беспечный, в этой непробудной тишине!

Однако вот и станция; вы утомлены немного, но это — то приятное утомление, которое придает еще более цены и сладости предстоящему отдыху. В ушах ваших еще остается впечатление звуков колокольчика, впечатление шума, производимого колесами вашего экипажа. Вы выходите из вашего тарантаса и немного пошатываетесь. Но через четверть часа вы снова бодры и веселы, вы идете бродить по деревне, и перед вами развертывается та мирная сельская идиллия, которой первообраз так цельно и полно сохранился в вашей душе. С горы спускается деревенское стадо; оно уж близко к деревне, и картина мгновенно оживляется; необыкновенная суeta проявляется по всей улице; бабы выбегают из изб с прутьями в руках, преследуя тощих, малорослых коров; девчонка лет десяти, также с прутиком,

¹ Повозка в виде огромного корыта, концами своими уставленного на ее перекладку и задке, в которое набрасывались как попало сено, перины, одеяла и подушки и сверх которых громоздился путник. Такая конструкция предохраняла от нескончаемых беспокойных толчков, в ней сладко было отдыхать. — *С.Н.*

бежит вся впопыхах, загоня теленка и не находя никакой возможности следить за его скачками; в воздухе раздаются самые разнообразные звуки, от мычания до визгливого голоса тетки Арины, громко ругающейся на всю деревню. Наконец стадо загнано, деревня пустеет; только кое-где по завалинкам сидят еще старики, да и те позевывают и постепенно, один за другим, исчезают в воротах. Вы сами отправляетесь в горницу и садитесь за самовар. Но — о чудо! — цивилизация и здесь преследует вас! За стеною вам слышатся голоса.

— Как тебя зовут? — спрашивает один голос.

— Кого? — отвечает другой.

— Тебя.

— Меня-то?

— Ну да, тебя.

— Зовут-то?

— Ах, чтоб тебя...

— Раздаются аплодисменты¹.

— Аким, Аким Сергеев, — торопливо отвечает голос. Ваше любопытство заинтересовано; вы посылаете разведать, что происходит у вас в соседях, и узнаете, что еще перед вами приехал сюда становой для производства следствия да вот так-то день-деньской и мается.

Вам внезапно делается грустно, и вы поспешно велите закладывать лошадей.

И снова перед вами дорога, снова свежий ветер нежит ваше лицо, снова обнимает вас тот прозрачный полумрак, который на севере заменяет летние ночи. а полный месяц кротко и мягко освещает всю окрестность, над которою вьется, как пар, легкий ночной туман...»²

Впрочем, рассуждать о достоинствах и недостатках русской дороги безотносительно к личности повествователя дело — ошибочное. Дорога — не столько материальный объект, обладающий конкретными характеристиками сам по себе, сколько обстоятельства, создающие для русского человека возможность переживать те или иные, в том числе и глубоко личностные, состояния. Она всего лишь условие, как ручка в руке пишущего, позволяющая беспрепятственно пролиться на бумагу его мыслям и чувствам. Дорога в такой же мере и состояние,

¹ Пощечины. — С.Н.

² Там же. С. 33 — 35.

при котором переживания и мысли едущего по ней русского принимают определенные направления своего течения, рождая определенные образы, в том числе, а может, и главным образом, извлекая их из памяти, из запасников лично пережитого.

Дорога «не представляет никаких привлекательных качеств, за которые следовало бы ее любить... По всему протяжению ее идет жестокий и по местам, в полном смысле слова, изуродованный мостовник, на котором и патентованные железные оси ломаются без малейших усилий. В тех немногих местах, где тиранство мостовника исчезает, колеса экипажа глубоко врезаются или в сыпучие пески, или в глубокую, клейкую грязь. Одним словом, это именно такая дорога, от которой, при частой езде, можно поглупеть, вследствие сильных толчков в темя и в затылок. И за всю эту пытку путник ниоткуда не получает никакого вознаграждения; ничто не привлекает его взора, ничто не ласкает его уха, а обоняние поражается даже весьма неприятно. По сторонам тянется тот мелкий лесочек, состоящий из тонкоствольных, ободранных и оплешивевших елок, который в простонародье слывет под именем «паршивого»; над леском висит вечно серенькое и вечно тоскливое небо; жидкая и бледная зелень дорожных окраин как будто совсем не растет, а сменяющая ее по временам высокая и густая осока тоже не ласкает, а как-то неприятно режет взор проезжего. По лесу летает и поет больше птица ворона, издавна живущая в разладе с законами гармонии, а над экипажем толпятся целые тучи комаров, которые до такой степени нестерпимо жужжат в уши, что кажется, будто и им до смерти надоело жить в этой болотине. И если над всем этим представить себе неблагоприятные туманы, которые, особливо по вечерам, поднимаются от окрестных болот, то картина будет полная и, как видится, непривлекательная.

А тем не менее я люблю ее. Я люблю эту бедную природу, может быть, потому, что, какова она ни есть, она все-таки принадлежит мне; она сроднилась со мной, точно так же как и я сжился с ней; она лелеяла мою молодость, она была свидетельницей первых тревог моего сердца, и с тех пор ей принадлежит лучшая часть меня самого. Перенесите меня в Швейцарию, в Индию, в Бразилию, окружите какую хотите роскошную природой, накиньте на эту природу какое угодно прозрачное и синее небо, я все-таки везде найду милые мне серенькие тоны моей родины,

потому что я всюду и всегда ношу их в моем сердце, потому что душа моя хранит их, как лучшее свое достояние»¹.

В середине XIX столетия в русский мир начинают входить капиталистические реалии. Вместе с ними понемногу трансформируется патриархальный быт, система взаимоотношений, само мировоззрение жителей. Постепенно отодвигается в прошлое «милая слепота». Правда, на ее место чаще всего не приходит нечто лучшее. Глядя на «новых» людей в изображении Щедрина, и в самом деле иногда хочется пожалеть об «уходящей натуре», тех же старосветских помещиках. Обратимся к нескольким рассказам «Губернских очерков», в которых изображаются «новые» люди, рисуются картины новых нравов.

В очерке «Госпожа Музовкина» перед нами предстает хозяин постоялого двора Аким Прохоров, глубокий старик «ста годков с небольшим», окруженный многочисленным семейством, произошедшим в том числе от шести сыновей, младшему из которых не менее пятидесяти. Не напоминают ли они тургеневского Хоря с его хутором, все обитатели которого — его, Хоря, дети и родственники? Или, может быть, он похож на семейство крепкого крестьянина старика Дутлова из рассказа Льва Толстого «Утро помещика»? Теперь, с изменившимся временем, если эти персонажи и кажутся нам похожими, то только на первый взгляд. В частности, потому, что второй сын старика Акима Прохорова — Кузьма уже давно управляет графскими людьми в Москве. Отрезанный ломоть, с которым отец не знает что делать, потому как справедливо опасается, что после его смерти Кузьма «обидит» своих братьев. и потому задумал Аким произвести раздел при жизни. Однако Кузьма — против. После смерти отца он, как второй по старшинству, готов отодвинуть от прямого наследования старшего сына, своего брата, объявив его, очевидно, не без помощи графа, «малоумным». Отец увещевает Кузьму не делать худого дела. Но доводы Кузьмы просты: «Нет, говорит, воля твоя, батюшка, святая, а только уж больно у тебя хозяйство хорошо! Хочу, говорит, надо всем сам головой быть, а Ванюшку не пушу!»² Конечно, подобное наверняка случалось и в прежние патриархальные времена, однако если бы это явление было сколько-нибудь значительным, то, по всей вероятности, оно не осталось бы незамеченным ни Тургеневым, ни Толстым.

¹ Там же. С. 181—182.

² Там же. С. 186.

То, что такого рода явления все больше становятся характерной отличительной приметой именно времени раннего русского капитализма, Щедрин подтверждает и другими очерками. К примеру, Марья Петровна Музовкина. Она — потомственная дворянка, однако, преследуя цель выклянчить у повествователя деньги, без колебаний идет на унижение, в частности характеризует себя вполне в духе героя Достоевского — сына Лизаветы смердящей — Смердякова: «Я имею счастье быть лично известною вашим папеньке-маменьке... конечно, перед ними я все равно, что червь пресмыкающийся, даже меньше того...»¹ Ее попытка случайно срывается из-за появления приятеля повествователя, который давно живет в уезде, прекрасно осведомлен о похождениях «потомственной дворянки» и иначе как Скорпионой Аспидовной Музовкину не называет. В итоге повествователь в вспомоществовании отказывает, и разгневанная Марья Петровна подает на него прошение в суд, в котором «изображает»: «Такого-то числа, месяца и года, собравшись я, по усердию моему, на поклонение св. мощам в *** монастырь, встречена была на постоялом дворе, в деревне Офониной, здешним помещиком, господином Николаем Иванычем Щедриным, который, увлекши меня в горницу.. (следовали обвинительные пункты).

И потому о таком насильственном со мною поступке господина помещика Щедрина, доводя до сведения *** уездного суда»²...

А вот — старинный, с юношеских лет, приятель повествователя Павел Петрович Лузгин безвыездно, больше полутора десятков лет, живущий в своем имении. Оказавшись по делам службы в уезде, повествователь заезжает к нему в гости. в разговоре выясняется, что приятель Лузгина, Кречетов, ведет тяжбу, и Лузгин обращается к гостю с просьбой «как-нибудь» оказать ему содействие: иными словами — обойти закон.

«— То есть вам желательно бы было, чтобы в вашу пользу смошенничали?

— Э, брат, как ты резко выражаешься! — сказал Лузгин с видимым неудовольствием, — кто же тут говорит о мошенничествах! а тебя просят, нельзя ли *направить* дело.

— Да я-то что ж могу тут сделать?

¹ Там же. С. 187.

² Там же. С. 194.

— А ты возьми в толк, — человек-то он какой! золото, а не человек! для *такого человека душу* прозакладывать можно, а не то что мельницу без торгов отдать!

— Да я-то все-таки тут ничего не могу.

— Э, любезный! дрянь ты после этого!

...Принесли водки; Лузгин начал как-то мрачно осушать рюмку за рюмкой; даже Кречетов, который должен был привыкнуть к подобного рода сценам, смотрел на него с тайным страхом.

— А ты не будешь пить? — спросил меня Лузгин.

— Нет, я не пью.

— Разумеется, разумеется — куда ж тебе пить? Пьют только свиньи, как мы... выпьем, брат, Василий Иваныч!

Мне приходилось из рук вон неловко. С одной стороны, я чувствовал себя совершенно лишним, с другой стороны, мне как-то неприятно было так разительно обмануться в моих ожиданиях¹.

Нельзя сказать, что, создавая подобные примечательные портреты, Щедрин порицает или презирует своих героев. Он исследует, притом использует всякую возможность для того, чтобы понять их характер, поведение и открывающиеся жизнью возможности или, напротив, разобраться в том, как прежние устремления угасают. В очерке «Скука» свои критические наблюдения он дополняет размышлениями о том, как ко многим, прежде уповавшим на прогресс, со временем приходит обратное — примирение с действительностью: «...Примирение совершается вообще очень просто. Оглядишься вокруг себя, всмотришься в окружающих людей, и поневоле сознаешь, что все они, право, недурные ребята. Они не глупы — и это первый пункт; они гостеприимны и общежительны, а стало быть, и добры — это второй пункт; они бедны и сверх того снабжены семействами, и потому самое чувство самосохранения вынуждает их заботиться о средствах к существованию, каковы бы ни были эти средства, — это третий пункт. Рассудок без труда принимает эти причины и удовлетворяется ими. Ибо что сказать против них? Как бы вы ни были красноречивы, как бы ни были озлоблены против взяток и злоупотреблений, вам всегда готов очень простой ответ: человек такое животное, которое, без одежды и пищи, ни под каким видом существовать не может. Понятно? следовательно...

¹ Там же. С. 334—335.

Отчего же, несмотря на убедительность этих доводов, все-таки ощущается какая-то неловкость в то самое время, когда они представляются уму с такою ясностью? Несомненно, что эти люди правы, говорите вы себе, но тем не менее действительность представляет такое разнообразное сплетение гнусности и безобразия, что чувствуется невольная тяжесть в вашем сердце... Кто ж виноват в этом? Где причина этому явлению?

— В воздухе, — отвечает мне искреннейший мой друг, Яков Петрович, тот самый, который изобрел *хвещов* и мазь для рашения конских волос на человеческих головах.

В воздухе! да не может же быть, чтоб весь воздух был до такой степени заражен гнилыми миазмами, чтоб не было никаких средств очистить его от них. Прочь их, эти испарения, которые не дают дохнуть свободно, которые заражают даже самого здорового человека!

— Э, батюшка, нам с вами вдвоем всего на свой лад не переделать! — отвечает мне тот же изобретатель растительной мази, — А вот лучше выпьем-ка водочки, закусим селедочкой да сыграем пулечку в вистик: печаль-то как рукой снимет!

Ну, и выпьем...

...Выпили мы по рюмочке, и подлинно, я прозрел.

А всему виной моя самонадеянность... я думал, в кичливом самообольщении, что нет той силы, которая может сломить энергию мысли, энергию воли! и вот оказывается, что какому-то неопрятному, далекому городку предоставлено совершить этот подвиг уничтожения. И так просто! почти без борьбы! потому что какая же может быть борьба с явлениями, заключающими в себе лишь чисто отрицательные качества?»¹

Правда, примирение не всегда возможно для людей, которые когда-то все же проявляли несогласие с действительностью, в помыслах или в реальности восставали против нее и так и не приучили себя мириться, по словам другого классика, со «свинцовыми мерзостями жизни». Но для общества — это уже скандал, до которого допускать нельзя. Потому-то и культивируется в нем в явном и неявном виде особое состояние человека — покорность. Щедрин — чиновник, исследователь и художник — прекрасно сознает это и потому много внимания уделяет рассмотрению этого феномена, используя в том числе и собственный опыт.

¹ Там же. С. 260—262.

Во-первых, о покорности повествователю говорили, начиная с детских лет. Ему внушали, что «покорностью цветут города, благоденствуют селения, что она дает силу и крепость недужному на одре смерти, бодрость и надежду истомленному работой и голодом, смягчает сердца великих и сильных, открывает двери темницы забытому узнику...

— Загляните в скрижали истории, — говаривал мне воспитатель мой, студент т-ской семинарии, — загляните в скрижали истории, и вы убедитесь, что тот только народ благоденствует и процветает, который не уносится далеко, не порывается, не дерзает до вопроса. Процветают у него искусства и науки; конечно, и те и другие составляют достояние только немногих избранных, но он, погруженный в невежество, не знает, как налюбоваться, как нагордиться тем, что эти избранные — граждане его страны. "Это, — говорит он, — мои искусства, мои науки!" Произведения его фабрик, его промышленности первенствуют на всех рынках; нет нужды, что он сам одет в рубище: он видит только, что его торговля овладела целым миром, все ему удивляются, все завидуют, и вот, в порыве законной гордости, он восклицает: "О, какой я богатый, довольный и благоденствующий народ!"

Посмотрите на этого юношу: он только что сошел с школьной скамьи; вид его скромн, щеки розовы, поступь плавна и благонравна, глаза опущены вниз... Он получил чудесный аттестат от своих наставников и воспитателей; успехи его были отличные, нравственность беспримерная; нет того балла, нет той цифры, которою можно было бы выразить удовольствие начальников. Где же ключ ко всему этому? где, как не в том, что этот юноша — покорный юноша? Он беспрекословно выучивал наизусть заданные странички, от "мы прошлый раз сказали" до "об этом мы скажем в следующий раз"; он аккуратно в девять часов снимал с себя курточку, и хотя не всегда имел желание почивать, но, во всяком случае, благонравно закрывал глазки и удерживал свое ровненькое дыханьице, чтобы оно как-нибудь не оскорбило деликатного слуха его наставника... О, это пре-благовоспитанненькое дитя, самое покорненькое дитя на свете! Для него не существовало ни стола, ни стула, ни книги, а было: "стульчик", "столик", "книжечка"; он никогда не бегал, не суетился, его не видали ни распотевшим, ни раскрасневшимся... в глазах его, правда, не видно блеску, не видно огня молодости...

но зато какая покорность! Боже, какая покорность! О, дайте мне расцеловать его, дайте обнять его, это милое, *покорное* дитя!»¹

Покорное дитя, далее, превращается в покорного юношу, а затем и во взрослого, в чиновника, например. Покорно выслушивая наставления начальника, он пронизывается его проницательностью, глубокомыслием, обширностью взглядов. Постепенно он вмещает в себя премудрости бюрократии. Какой труд являет его любая крохотная мысль, в которую упаковываются громаднейшие помыслы, величайшие начинания, необъятнейшие планы. И во всем, кроме выражения чувств преданности и покорности, он отменно краток.

Покорность, наконец, не синоним чего-то низменного. «Покорность не значит подлость, не значит искательство и низкопоклонничество, не значит слабоумие и апатия; покорность не наушничество, не лукавство исподтишка, не лицемерие... Это особая, своеобразная добродетель, с помощью которой человек многое выигрывает и ровно ничего не проигрывает»².

Особенно благодатное место для культивирования чувства покорности представляет собой русская провинциальная среда. Повествователь вспоминает, что когда он ехал в Крутогорск, то казалось, в самой случайности выбора для него этого городка нашло свое проявление высшее предопределение. Он готовился найти и положить «на алтарь Отечества» ту частичку пользы, которую мог найти и положить именно он. Сколько свежести и чистоты, сколько жажды добра и истины излучала сама его личность! И вот, по прошествии времени, какие перемены иницированы, какие подвиги совершены? И льются горькие слова о русской провинции, о России:

«О провинция! ты растлеваешь людей, ты истребляешь всякую самодеятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, даже самую способность желать! Ибо можно ли называть желаниями те мелкие вожделения, исключительно направленные к материяльной стороне жизни, к доставлению крошечных удобств, которые имеют то неоцененное достоинство, что устраняют всякий повод для тревог души и сердца? Какая возможность развиваться, когда горизонт мышления так обидно суживается, какая возможность мыслить, когда кругом нет ничего вызывающего на мысль? Когда человек испытывает горь-

¹ Там же. С. 262—263.

² Там же. С. 263—264.

кую нужду, когда вместе с тем все вокруг него свидетельствует о благах жизни, все призывает к ней, тогда нет возможности не пробуждаться даже самой сонной натуре. Воображение работает, самолюбие страдает, зависть кипит в сердце, и вот совершаются те великие подвиги ума и воли человеческой, которым так искренно дивится покорная гению толпа. Что нужды, что подготовительные работы к ним смочены слезами и кровавым потом; что нужды, что не одно, быть может, проклятие сорвалось с уст труженика, что горьки были его искания, горьки нужды, горьки обманутые надежды: он жил в это время, он ощущал себя человеком, хотя и страдал...

Да, жалко, поистине жалко положение молодого человека, заброшенного в провинцию! Незаметно, мало-помалу, погружается он в тину мелочей и, увлекаясь легкостью этой жизни, которая не имеет ни вчерашнего, ни завтрашнего дня, сам бессознательно делается молчаливым поборником ее. А там подкрадется матушка-лень и так крепко сожмет в своих объятиях новобранца, что и очнуться некогда. Посмотришь кругом: ведь живут же добрые люди, и живут весело — ну, и сам станешь жить весело.

О, вы, которые живете другою, широкою жизнью, вы, которых оставляют жить и которые оставляете жить других, — завидую вам! и если когда-нибудь придется вам горько и вы усомнитесь в вашем счастье, вспомните, что есть иной мир, мир зловоний и болотных испарений, мир сплетен и жирных кулебяк — и горе вам, если вы тотчас не поспешите подписать удовольствие вечному истцу вашей жизни — обществу!»¹

Провинция гнетет и гнет человека до тех пор, пока не сделает совершенно покорным себе или не сломает. В своем воздействии на человека провинция — это, говоря словами «крутогорского Мефистофеля», — сплошной «фатализм», когда каждый член общества не только догадывается, но «безошибочно знает, что думает в известную минуту его сосед...» А Крутогорск (провинциальная Россия) — это не страшилище, каким его в своей интерпретации пытались иногда изобразить русские писатели, Гоголь например, а, согласно Щедрину, «помойная таки яма порядочная!.. и какие зловонные испарения от нее поднимаются, если б вы знали!»².

Что же это за явление, выступающее в русском мировоззрении под разными именами: «среда», которая «заедает», «сила об-

¹ Там же. С. 264—265.

² Там же. С. 313.

стоятельств», которая доминирует над личностью, «общество», чьи «суждения только и святы», или «провинция», наконец? Да мало ли какими еще именами в русской мысли называется этот феномен?

Дело, однако, как представляется, не столько в феномене «провинции — среды» как таковом, сколько в том его содержании, которое наследует или принимает для себя как нечто непреодолимое каждый индивид. Необходимость отказываться от собственного видения мира, от сообразного своим понятиям и психике поведения¹, в конечном счете от собственного мышления и одновременно необходимость обретения покорности в качестве одного из своих главных свойств — все это проявления более общего явления — несвободы человека, его крепостного ли, жалованного прижизненного или наследственно-дворянского состояния, любой формы зависимости вообще. в любом случае названные проявления несвободы — коренные, атрибутивные качества человека, материально и духовно обусловленного чем-то или кем-то извне, существующего в авторитарном обществе. Если ему «повезло» и он появляется на свет в слое, приближенном к верховному правителю, то он вместе с набором необходимых степеней покорности наследует и некоторый набор «свобод», определяющих его поведение по отношению к тем, кто «располагается» в нижних этажах иерархии. Если же «не повезло», то «сила обстоятельств» включается в полной мере и заставляет приспособливаться, в частности вырабатывать в себе универсальную и спасительную покорность.

Конечно, в обоих случаях человек может попытаться противостоять «наследственности», «среде» или той же самой «провинции». Но это требует мужества и мужества, постоянного. Надолго ли хватает его? Чаше всего если оно и было, то увядает вместе с юностью. Вспоминает об этом и повествователь: «Были, однако ж, и у меня иные времена, окружали меня иные люди — все иное! Были глубокие верования, горячие убеждения, была страсть к добру... куда все это девалось?»

Где-то вы, друзья и товарищи моей молодости? Ведете ли, как и я, безрадостную скитальческую жизнь или же утонули в отличиях, погрязли в почестях и с улыбкой самодовольствия посматриваете на бедных тружеников, робко проходящих мимо вас с по-

¹ В этой связи Шедрин так говорит об одном персонаже: он «...усердно смеется, когда того требуют обстоятельства или когда видит, что другие смеются». Там же. С. 357.

нуренными головами? Многие ли из вас бодро выдержали пытку жизни, не смирились перед гнетущею силою обстоятельств, не прониклись духом праздности, уныния и любоначалия?

Господи! неужели нужно, чтоб обстоятельства вечно гнели и покалывали человека, чтоб не дать заснуть в нем энергии, чтобы не дать замереть той страстности стремлений, которая горит на дне души, поддерживаемая каким-то неугасаемым огнем? Ужели вечно нужны будут страдания, вечно вопли, вечно скорби, чтобы сохранить в человеке чистоту мысли, чистоту верования?»¹

«Новые» люди не возникают, как это мечталось революционным демократам, от чтения социалистической литературы. Они — хотя и первый, но все же продукт предкапиталистической и раннекапиталистической эпохи, — органически вырастают из времени предшествующего, из людей «старых». Вот, например, Владимир Константиныч Буеракин, герой одноименного очерка, сын богатых и благородных родителей, отец которого был «усердным помещиком». Усердие это, однако, было всего лишь баловством, данью моде, желанию слыть за оригинала. И сын воспринял отцовскую «квази-жизнь», стремление казаться оригинальным в полной мере. Повествователь знает своего героя с юношеских лет. «Всякому из нас, — делится своими наблюдениями Шедрин, — памятно, вероятно, эти дни учения, в которые мы не столько учимся, сколько любим поговорить, а еще больше послушать, как говорят другие, о разных взглядах на науку и в особенности о том, что надо во что бы то ни стало идти вперед и развиваться. Под словом "развиваться" разумеются нередко вещи весьма неопределенные, но всегда привлекательные для молодежи. Если немногие, вследствие этих разговоров, получают положительный вкус к науке, зато очень многие делаются дилетантами и до глубокой старости стоят за просвещение и за *comme il faut*, которое они впоследствии начинают не шутя смешивать с просвещением.

...В сущности, Владимир Константиныч был весьма близко к своему папа, по пословице: «От свиньи не родятся бобренки, а всё поросенки». В нем обретался тот же дилетантизм, то же бессилие к чему-нибудь определенному и положительному; только формы были несколько мягче и общедоступнее»².

¹ Там же. С. 266—267.

² Там же. С. 337—339 .

В разговоре с повествователем Буеракин находит интересное сравнение поведения русского чиновника с народной плясовой песней и одновременно танцем «камаринская», в котором нет никакой логики движений, а все подчинено буйной фантазии исполнителя. И даже если такого танцора научить определенной последовательности движений, то это все равно не гарантия того, что при следующем исполнении она будет воспроизведена. «И каким образом, спрашиваю я вас, — озадачивает Буеракин повествователя, — прекратите вы этот танец, если он в нравах, если в воздухе есть что-то располагающее к нему? Ну, положим, вы его остановили, вы размяли ему надлежащим образом руки и ноги, научили становиться в пятую позицию, делать *chasse en avant, pas de cosaque* и проч. Но что же из этого? Выпустили вы его из-под вашей ферулы, смотрите, — а он опять отплясывает комаринскую... Так-то, мой милейший!» Буеракин уверяет, что в соответствии с этим взглядом на жизнь он и хозяйство свое устраивает: «...у меня такое глубокое убеждение в совершенной ненужности вмешательства, что и управляющий мой существует только для вида, для очистки совести, чтоб не сказали, что овцы без пастыря ходят»¹.

На деле, однако, оказывается, что управляющий Буеракина — немец — человек, неуклонно проводящий в жизнь свои представления о порядке и организации дела, и потому воплощать свои представления о «хозяйствовании» на манер «камаринской» пляски Буеракин бессилён. Так, управляющий немец определяет наказать розгами старосту за то, что он прилюдно управляющего оскорбил — назвал, «колбасой», и сколько Буеракин не старается отклонить исполнение этого решения, немец стоит на своем. Так, идущий с немцем новый социальный уклад понемногу переделывает российскую действительность.

Еще один шествующий из старого в новое время типаж — сорокалетний прожигатель жизни, некто по фамилии Горехвастов, во всем облике которого отчетливо видно, что в нем «материя преобладает над духом». Но Горехвастов — не только кутила и карточный шулер. Он, что особенно характерно для людей такой породы, еще и отчаянный «русский патриот». Всякий раз, наткнувшись на тему патриотизма, Горехвастов несказанно одушевляется:

« — А все оттого, что вот здесь, в этом сердце, жар обитает! все оттого, хочу я сказать, что в этой вот голове свет присутствует,

¹ Там же. С. 341.

что всякую вещь понимаешь так, как она есть, — ну, и спокоен! Я, Николай Иванович, патриот! я люблю русского человека за то, что он не задумывается долго. Другой вот, немец или француз, над всякою вещью остановится, даже смотреть на него тошно, точно родить желает, а наш брат только подошел, глазами вскинул, руками развел: «Этого-то не одолеть, говорит: да с нами крестная сила! да мы только глазом мигнем!» И действительно, как почнет топором рубить — только щепки летят; генияльная, можно сказать, натура! без науки все науки прошел! Люблю я, знаете, иногда посмотреть на нашего мужичка, как он там действует: лежит, кажется, целый день на боку, да зато уж как приметя, так у него словно горит в руках дело! откуда что берется!..

— Генияльная натура, доложу я вам, ...науки не требует, потому что до всего собственным умом доходит. Спросите, например, меня... ну, о чем хотите! на все ответ дам, потому что это у меня русское, врожденное! А потому я никогда и не знал, что такое горе!»¹

Задумавшись как-то о своей будущности, Горехвастов решает... сделаться «капиталистом». Впрочем, в доступном его пониманию смысле: оказалось, что это означает обжулить в карты коммерсанта, что и было успешно исполнено. Однако в другой раз «капиталист» был схвачен за руки, удостоился «подлеца» и выброшен в окошко. Примерно таким же образом завершается и его встреча с повествователем: в дом является полицмейстер и арестовывает Горехвастова по подозрению в краже казенных денег.

«Губернские очерки» Щедрина — огромное и разнообразное в своих сюжетах и образах философско-литературное полотно, и дальнейшие исследования наверняка выявят в нем еще много глубокого, не увиденного при первом приближении. В заключение остановлюсь на финальном его очерке с важным для русского мировоззрения названием «Дорога». И если в первый раз в «Очерках» Щедрин отзывается о дороге как о чем-то спрягаемым с приятностью для человека, то в этот раз дорога рисуется иной. Сопоставляя щедринскую и гоголевскую дорогу или путь, по которой несется птица-тройка, невольно погружаешься в новые, задаваемые Щедриным понятия-образы, по-новому начинаешь смотреть на сделавшиеся хрестоматийно-привычными представления о сопутствующих тройке удали, удаче и, кажется, самом счастье.

¹ Там же. С. 358—359.

Зимняя дорога. Какая великолепная картина! «Лошади быстро несутся по первому снегу; колокольчик почти не звенит, а словно жужжит от быстроты движения; сплошное облако серебристой пыли подымается от взбрасываемого лошадиными копытами снега, закрывая собою и сани, и пассажиров, и самых лошадей... Красивая картина! Да, это точно, что картина красива, однако не для путника, который имеет несчастье в ней фигурировать»¹. Несущаяся из-под копыт снежная пыль слепит и режет глаза, к тому же совершенно лишает едущего возможности открыть рот. Она, наконец, «вообще содержит человека в каком-то насильственном заключении, не позволяя ему ни распахнуться, ни высморгать нос... Господи! да скоро ли же станция?»².

При воспоминании о станции в голову почему-то начинают лезть совершенно «канальские», но как-то очень подходящие ко всей дорожной ситуации сюжеты вроде того, что на станции у старого зрителя непременно должна оказаться молодая и хорошенькая жена, вроде как «род дочери», и тут же невольно в спину ямщику летит вопрос: «А не забыли ли мы взять с собой рому?»

Спускаются сумерки, и начинает падать снег. «Снег этот тает на моем лице и образует водные потоки, которые самым неприятным образом ползут мне за галстук. Сверх того, с некоторого времени начинаются ухабы, которые окончательно расстраивают мой дорожный туалет.

— Стой! — кричу я ямщику и привстаю в санях, чтобы покрепче запахнуть, — отчего тут столько ухабов пошло?

— Да вот черти с хлебом в Богородско тянутся — всю дорогу с первопута исковеркали! — отвечает ямщик и, злобно грозя кнутом тянущемуся мимо нас обозу, прибавляет: — Счастлив ваш бог, шельмы вы экие, что барин остановиться велел: насыпал бы я вам в шею горячих!

Но я уже закутался; колокольчик опять звенит, лошади опять мчатся, кидая ногами целые глыбы снега... Господи! да скоро ли же станция?

"Отчего же, однако, он назвал их шельмами, — думаю я, — и чем они провинились перед ним, что хлеб в Богородское везут?" Вопрос этот сильно меня интересует, и я вообще нахожу, что ямщик поступил крайне неосновательно, обругав мужиков. "Почему же он обругал их? — спрашиваю я себя, — может быть,

¹ Там же. С. 514.

² Там же.

думает, что вот он в ямщики от начальства пожалован, так уж, стало быть, в некотором смысле чиновник, а если чиновник, то высший организм, а если высший организм, то имеет полное право отводить рукою все, что ему попадается на дороге: «Ступай, дескать, топ cher, ты в канаву; ты разве не видишь, топ cher, что тут в некотором смысле элевант едет». И так все это тихо, вежливым манером... Но скажите, однако ж, на милость, отчего мужик, простейший мужик, так легко претворяется в чиновника? Оттого ли, что чиновнику веселее жить на свете? Или оттого, что прежде сотворен был чиновник, а потом уже человек, и по этой причине самый инстинкт или, лучше сказать, естество заставляет человека тяготеть в чиновника?»¹.

Но вот дорога выходит на равнину. Внезапно наступает тишина. «Равнины тоже не дышат; где-где всколышется круговым ветром покрывающий их белый саван, и кажется утомленному путнику, что вот-вот встанет мертвец из-под савана... Грустно.

А грустно потому, что кругом все так тихо, так мертво, что невольно и самому припадает какое-то страстное желание умереть...»². И не случайно. Повествователю вдруг начинает казаться, что он смертельно устал, ничего больше не хочет и, пожалуй, даже не против расстаться с самой жизнью. И тут, чудится ему, ему навстречу возникает какая-то странная процессия, движущаяся под звуки дикой, нестройной музыки. В ней он различает лица своих крутогорских знакомцев — героев «Губернских очерков». На их лицах написана забота и испуг, все чего-то ждут и как-будто трепещут.

"Что это значит?" — спрашиваю я себя.

— Неужели вы ничего не слыхали? — говорит мне мой добрый приятель Буеракин, внезапно отделяясь от толпы, — а еще считаетесь образцовым чиновником!

— Нет, я не слыхал, не знаю...

— Разве вы не видите, разве не понимаете, что перед глазами вашими проходит похоронная процессия?

— Но кого же хоронят? Кого же хоронят? — спрашиваю я, томимый каким-то тоскливым предчувствием.

— "Прошлые времена" хоронят! — отвечает Буеракин торжественно, но в голосе его слышится та же болезненная, праздная

¹ Там же. С. 515.

² Там же. С. 518.

ирония, которая и прежде так неприятно действовала на мои нервы...»¹.

Не напрасно слышится ирония. Не наступил еще час похорон прошлых времен, как и сомнителен сам вопрос о возможности для них такового часа. По крайней мере, от Гоголя до Щедрина минуло уже не одно десятилетие, а и чиновники, и дороги, и сами мысли о них — все те же.

* * *

Особенность текстов Щедрина как специфических философско-художественных исследований феноменов общероссийского и исторического масштаба в силу того, что в своих рассуждениях и обобщениях автор скорее шел от прозреваемых явлений к героям, чем наоборот, свое, возможно, наиболее яркое воплощение обнаруживает в жанре сказок.

В отечественном литературоведении сказки Щедрина мудрено именуются «щедринской эзоповской системой», чем, очевидно, стремятся подчеркнуть их жанровую связь не столько с предшествующими народными и авторскими сказками, сколько с баснями. При этом в качестве особенных элементов поэтической формы щедринской сказочной сатиры отмечаются гипербола, фантастика и образность, а также «прием зоологических уподоблений»².

В этой связи исследователями указывается на имеющуюся, по их мнению, связь щедринских уподоблений человека животным традициям, развиваемым французским социалистом Шарлем Фурье. В его труде «Новый промышленный и общественный мир» действительно есть некоторые характеристики подобного рода. Так, отмечая, что на земле есть «130 видов змей, 42 вида клопов, столько же видов жаб», он полагает их «верным зеркалом» «цивилизованных душ» некоторых прекрасных парижан³. В русле этого наблюдения, — в советские времена литературоведы обязательно подчеркивали отмечаемую Лениным классовую направленность сказок Щедрина, на примере которых русское общество училось «различать под приглаженной и напомаженной внешностью образованности крепостника-помещика его хищные интересы»⁴.

¹ Там же. С. 520.

² Бушмин А. Сказки Салтыкова-Щедрина. Л.: Художественная литература, 1976. С. 23.

³ См.: Фурье Ш. Избр. соч. М., 1939. Т. 2. С. 418.

⁴ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 43.

Все эти наблюдения, на мой взгляд, сомнений не вызывают, но все же малопродуктивны. Очевидно, что художественные средства, о которых говорят специалисты в области литературного творчества, активно использовались и используются литераторами, работающими не только в жанре сказок, но и в других жанрах. А что касается особой роли приема зоологических уподоблений для научения «различать хищные интересы», то пусть это замечание останется на своем месте в истории как одна из характеристик его (замечания) автора. Сегодня вряд ли найдется сколько-нибудь грамотный исследователь, который стал бы всерьез говорить об эвристическом потенциале этого приема.

Но почему все-таки Щедрин обращается к этому жанру? Одной из причин такого обращения к жанру сказок и требующимся для него художественным средствам выразительности является то, что авторы (Щедрин и другие) ставили перед собой философские вопросы, отвечать на которые удобнее всего было именно в фантастически-обобщенной форме.

Что, скажем, намеревался выразить Пушкин своей «Сказкой о мертвой царевне и о семи богатырях»? Многое, конечно. Но, наряду с прочим, мысль о всепобеждающей и даже отменяющей саму смерть силе любви. Очевидно, что фантастический замысел, нужный человечеству, как полагал автор, идеал (пусть недостижимый, но придающий жизни смысл), в иной, кроме как в сказочной форме, выражен быть не мог.

Главное сущностное отличие всякой сказки в том, что она допускает, делает в мыслях (а на время чтения, как кажется, и в реальности) то, что объективно невозможно. Для требующего материализации в действительности философского знания сказочный жанр — одна из немногих возможностей рациональной формулировки того, что к сфере рационального по большому счету отнесено быть не может. Философская сказка, далее, не только фантазирует, но и фантастически вопрошает — в форме имитации рациональности ставит перед человеком проблемы, которые не могут быть рациональными средствами сегодня описаны. То есть таким образом формулируются и проблемы завтрашнего дня. А те вопросы, которые философия изобрела, делаются одной из ее (философии) форм включения в реальность.

Под этим углом зрения предпринимаемое литературоведами в недавнем прошлом сведение поднимаемой Щедриным проблематики всего лишь к бичеванию социальных пороков, к изображению отрицаемых явлений и типов в низком и смешном

виде, — все это представляется мне разного рода упрощениями по отношению к Щедрину, что, само собой, затрудняет его адекватное прочтение. Как и Гоголя, великого предшественника автора «Господ ташкентцев» на поприще философствующей литературы (и сатиры как одного из ее жанров), Щедрин заботит не столько задача изображения и бичевания порока, сколько возможность задавать вопросы и доискиваться причин, порок порождающих. Более того: есть сказки, в которых вообще ставится вопрос, к пороку имеющий отношение лишь вторичное, а касающийся первооснов человеческого бытия, как, например, в сказке «Пропала совесть». Вопрос: что такое совесть и можно ли без нее жить? — это не обличение злых помещиков посредством образа медведя.

Щедрин как философствующий литератор во многом идет значительно дальше современных ему собратьев по перу. Он, например, в отличие от Чернышевского рассматривал процесс становления личности не столько как результат действия обстоятельств, сколько и главным образом как продукт самостоятельного творчества индивида. Он, в частности, полагал, что прошло время объяснения личностных поступков «условиями среды» или принадлежностью к определенному сословию. В этой связи в «Сатирах в прозе» в вступительном разделе «К читателю» замечал: «Еще не так давно (а может быть, даже и совсем не "давно") мы не только с снисходительностью, но даже с крайним равнодушием взирали на гражданские и нравственные убеждения людей, с которыми нам приходилось идти бок о бок в обществе. Нам сдавалось, что убеждения составляют нечто постороннее, сложившееся силою внешних обстоятельств, силою фатализма и отнюдь не причастное личной жизненной работе каждого из нас. Совесть наша затруднялась мало, смущалась еще менее. Если требовалось определить признаки известного явления, сделать оценку известного поступка, мы, без излишних хлопот, посылали эту покладистую совесть в тот темный архив, в котором хранилась попорченная крысами и побитая молью мудрость веков, и без труда отыскивали на пожелтевших столбцах ее все, что было нужно для удовлетворения непритомливых наших потреб.

Там, в этом мрачном хранилище наших жизненных воззрений, лежали всегда готовые к нашим услугам связки старых дел, надписи на которых гласили: убеждения дворянские, убеждения мещанские, убеждения холопские. Кодекс мудрости, общечеловеческий и приличий, кодекс условной нравственности, условной

истины и условной справедливости был весь тут налицо: стоило только заглянуть в него, и мы наверное знали, как следует поступить нам в данном случае, как следует вести себя вообще. Таким образом, мы узнавали, что дворянину не полагалось приличным заниматься торговлею, промыслами, сморкаться без помощи платка и т.п., и не полагалось неприличным поставить на карту целую деревню и променять девку Аришку на борзого щенка; что крестьянину полагалось неприличным брить бороду, пить чай и ходить в сапогах, и не полагалось неприличным пропонтировать сотню верст пешком с письмом от Матрены Ивановны к Авдотье Васильевне, в котором Матрена Ивановна усерднейше поздравляет свою приятельницу с днем ангела и извещает, что она, слава богу, здорова.

В эти недавние, счастливые времена мы знакомились друг с другом, заводили дружеские связи, женились и посягали по соображениям, совершенно не имеющим никакого дела до убеждений. То есть, коли хотите, они и были, эти убеждения, но то были убеждения затылка, убеждения брюшной полости, но отнюдь не убеждения мысли.

...Даже в том безвестном, но крепко сплоченном духовными узами меньшинстве людей мыслящих, на котором с любовью отдыхает взор исследователя явлений нашей общественной жизни, в тех немногочисленных кружках, которые в самые безотрадные эпохи истории, несмотря на существующую окрест слякоть и темень, все-таки прорываются там и сям, как зеленющие оазисы будущего на песчаном фоне картины настоящего, в тех кружках, где необходимость нравственного убеждения, как внутреннего смысла всей жизни, признается за бесспорную истину, где члены относятся друг к другу, с точки зрения убеждений, с крайней строгостью и взыскательностью, — даже там существовала какая-то патриархальная снисходительность в суждениях о лицах, стоящих вне жизни и условий кружка и пользующихся каким-нибудь значением на поприще общественной деятельности»¹.

Возможностью делать в мыслях, а на время чтения — и в художественной реальности действительно реальным то, что объективно в действительности неосуществимо, Щедрин начал пользоваться уже в 1869 году. В этот год в «Отечественных записках» появляются три первые сказки Щедрина: «Повесть о том,

¹ *Салтыков-Щедрин М.Е.* Собр. соч. М.: Правда, 1951. Т. 2. С. 245—246.

как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть» и «Дикий помещик». Уже в этих сказках, в их искусственно созданной конструкции реальная жизнь получает возможность испробовать какие-то возможные для себя, но по разным причинам не осуществленные или вообще не осуществимые формы и способы. В сказочном жанре Щедриным занимательно-непринужденно дается ответ на вопрос: а что было бы, если бы?.. — и рассматриваются варианты ответа. Впрочем, и сами формулируемые вопросы есть определенная форма философствования. И характер этих вопросов — предмет для понимания, суждения и оценки их автора.

Сюжет сказки «Пропала совесть» всецело нереален и потому максимально философичен. Однажды в жизни людей случилось событие: пропала совесть. «По-старому толпились люди на улицах и в театрах; по-старому они то догоняли, то перегоняли друг друга; по-старому суетились и ловили на лету куски, и никто не догадывался, что чего-то вдруг стало недоставать и что в общем жизненном оркестре перестала играть какая-то дудка. Многие начали даже чувствовать себя бодрее и свободнее. Легче сделался ход человека: ловчее стало подставлять ближнему ногу, удобнее льстить, пресмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать. Всякую *болезнь* вдруг как рукой сняло; люди не шли, а как будто неслись; ничто не огорчало их, ничто не заставляло задуматься; и настоящее, и будущее — все, казалось, так и отдавалось им в руки, — им, счастливым, не заметившим о пропаже совести.

...Исчезли досадные призраки, а вместе с ними улеглась и та нравственная смута, которую приводила за собой обличительница-совесть. Оставалось только смотреть на божий мир и радоваться: мудрые мира поняли, что они, наконец, освободились от последнего ига, которое затрудняло их движения, и, разумеется, поспешили воспользоваться плодами этой свободы. Люди остервенелись; пошли грабежи и разбой, началось вообще разорение»¹.

Для чего же нужна человеку совесть? Что она держала в человеке? Посредством чего она производила свои действия и заставляла следовать своим велениям? Эти вопросы стоят за занимательным сюжетом сказки.

Первым тряпицу-совесть подбирает пьяница, совершенно не имеющий ничего для заклада в трактире. И совесть начи-

¹ Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч. в 10 т. М.: Правда, 1988. Т. 8. С. 324 — 325.

нает действовать. В нем пробуждается осознание действительности, потом восстанавливается память, начинает говорить воображение. «Память без пощады извлекала из тьмы постыдного прошлого все подробности насилий, измен, сердечной вялости и неправд; воображение облекало эти подробности в живые формы. Затем, сам собой, проснулся суд...

Жалкому пропойцу все его прошлое кажется сплошным безобразным преступлением. Он не анализирует, не спрашивает, не соображает: он до того подавлен вставшею перед ним картиною его нравственного падения, что тот процесс самоосуждения, которому он добровольно подвергает себя, бьет его несравненно сильнее и строже, нежели самый строгий людской суд. Он не хочет даже принять в расчет, что большая часть того прошлого, за которое он себя так клянет, принадлежит совсем не ему, бедному и жалкому пропойцу, а какой-то тайной, чудовищной силе, которая крутила и вертела им, как крутит и вертит в степи вихрь ничтожною былинкою. Что такое его прошлое? почему он прожил его так, а не иначе? что такое он сам? — все это такие вопросы, на которые он может отвечать только удивлением и полнейшею бессознательностью»¹.

Впрочем, сознание, память, воображение пьянице ни к чему. Он не умеет с ними обращаться, в его существе они не находят заложенных и одновременно выстроенных культурой опор, при взаимодействии с которыми эти человеческие свойства оказались бы полезными, начали бы позитивную работу по восстановлению разрушенной личности. Вместо личности в данном человеческом существе потерянная (а на самом деле странствующая по миру) совесть не находит поля для взаимодействия. И пьяница, в котором поместилась совесть, не может ничего, кроме как лить слезы на смех праздной толпе.

Очевидно, что Щедрина, первым предложившему читателю данный тип философского рассуждения в сравнении с литераторами, обратившимися к этой тематике позднее, сравнительно просто. У него еще не исчерпан запас вариантов возможных мысленных ходов, не разрушены иллюзии-надежды, из которых он может черпать гипотетические позитивные ответы на резонный вопрос: как поправить дело? И он легко предлагает свой ответ. В том, что мир остался без совести, виновата несвобода человека, царящий в русском обществе «гнет». В этом слу-

¹ Там же. С. 325.

чае, на мой взгляд, в известном смысле повторяется ситуация, имевшая место с тургеневским Инсаровым-революционером, которому предстояло вернуться на родину и освободить страну от завоевателей-турок. Но вот то, с чем придется иметь дело последующим революционерам — с обществом, привыкшим жить в условиях рабства и потому не очень свободу ценящим, — оказывается задачей несравненно более трудной, которую пинком ноги «по ящику», как советовал Добролюбов, не решить. Смеющаяся над плачущим пьяницей толпа тому яркое подтверждение. Толпа, будь она сколько-нибудь более продвинутой по этому пути философского размышления о роли совести в жизни человека и общества, уразумела бы, что и она «настолько же подъяремная и изуродованная духом, насколько подъяремен и нравственно искажен взывающий перед нею пропоец»¹.

Странствие совести продолжается: к кабатчику Прохорычу, к надзирателю по фамилии Ловец, к финансисту еврею Шмулю Давыдовичу Бржозкому, к генералу, командующему благотворительным учреждением.

Нигде не нужна совесть, отовсюду ее гонят, все от нее стараются избавиться. И наконец, находит она успокоение в сердце маленького ребенка. «Растет маленькое дитя, а вместе с ним растет в нем и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нем большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, коварства и насилия, потому что совесть будет не робкая и захочет распоряжаться всем сама»².

И все бы ничего, но, похоже, чем больше думала на этот счет русская философствующая классика, тем отчетливее сознавала: и этой надежды нет. У Н.С. Лескова в воспоминаниях о нем его сына Андрея примерно об этом же времени находим: «В шутливую минуту, в разговорах о детях и их воспитании, Лесков, без большого простодушия, читает вслух шутливое четверостишие Шумахера к памятнику баснописца Крылова:

Лукавый дедушка с гранитной высоты
Глядит, как резвятся вокруг него ребята,
И думает себе: «О милые зверята,
Какие, выросши, вы будете скоты!»

¹ Там же. С. 326.

² Там же. С. 335.

— Скажете — грубо? — спрашивал он, окончив. — А куда не денешься — верно! я всегда с этой мыслью смотрю на всех этих отпрысков так называемых «хороших семей», которыми засижены наши модные дачные места. Да и далеко ли от деда Митрича из «Власти тьмы», заверявшего свою внучку Анютку: «Еще как изгадаешься-то!» — заканчивал он ссылкой на Толстого¹.

Никогда не был и не хочу, чтобы меня числили среди «друзей детства», — писал Лесков в одном из писем. «Пусть с ними дружит кто хочет и кто может дружить с *неизвестными величинами*, но я питаю более дружбы к тому, *что я знаю за хорошее и полезное*: я дорожу дружбою взрослых и зрелых людей, доказавших жизнью свою нравственную силу, прямоту, честность, умеренность и воздержание. Этим людям я друг и хотел бы жить и умереть с ними; но что до детей, то их потому только, что они *дети*, — я нимало не люблю и часто ужасаюсь за них и за их матерей и отцов»².

Суров был Николай Семенович. Ведь дружба с детьми и любовь к ним «как бы авансом», а не за те добрые дела, которые они, может быть, совершат в будущем (и в этом Лесков прав), совершенно очевидно предполагают и особый контекст выстраиваемых с ними отношений. Дети видят и чувствуют, что их любят, хотя наверняка как-то ощущают, что вроде бы и не за что. Но эта атмосфера любви «авансом» не проходит даром. Ребенок растет в окружении добра, а не равнодушия и зла. И, значит, в нем с большей вероятностью могут развиваться именно добрые, а не злые качества и чувства. Так что надежды Щедрина о помещении совести в душу ребенка не напрасны. Во всяком случае они из надежд того рода, которые, даже будучи не оправданны, сожалений не вызывают. А вот «механизм» того, как сделать, чтобы совесть не покинула человека и после того как он вырастет, — предмет особых размышлений, которым по большому счету и занималась вся русская философствующая классическая литература.

Перспективы дальнейшего развития основных классов российского общества после реформы 1861 года — тема сказки

¹ *Андрей Лесков. Жизнь Николая Лескова.* М., Художественная литература, 1984. Т. 2. С. 269. Шумахер Петр Васильевич (1817—1891), поэт. И небольшая, допущенная Н.С. Лесковым, неточность: Анютка — не внучка Митрича. Митрич в семье Анисьи и ее младшей дочери Анютки человек посторонний — работник, нанятый со стороны.

² Там же, с. 269—270.

«Дикий помещик». Урезанное в своих имущественных и хозяйственных возможностях отечественное крестьянство после реформы переживало в некоторых отношениях еще более тяжелые времена, чем находясь в крепостном состоянии. За определенную крестьянам сверх минимального надела землю приходилось платить. Отошедшие к помещикам наделы, покосы, пастбища, леса и водные источники все более жестко от крестьян, нередко пользовавшихся ими ранее, теперь охранялись. Эти действия помещиков Щедрин и обозначил тем мудрым словом, которое прочитал будущий дикий помещик в правительственной газете «Весть». Слово это было «старайся!».

«И начал он стараться, и не то чтоб как-нибудь, а все по правилу. Курица ли крестьянская в господские овсы забредет — сейчас ее, по правилу, в суп; дровец ли крестьянин нарубить по секрету в господском лесу соберется — сейчас эти самые дрова на господский двор, а с порубщика, по правилу, штраф.

— Больше я нынче этими штрафами на них действую! — говорит помещик соседям своим, — потому что для них это понятнее.

Видят мужики: хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил он их так, что некуда носа высунуть: куда ни глянут — все нельзя, да не позволено, да не ваше! Скотинка на водопой выйдет — помещик кричит: «Моя вода!», курица за околицу выбредет — помещик кричит: «Моя земля!» И земля, и вода, и воздух — все его стало! Лучины не стало мужику в светец зажечь, прута не стало, чем избу вымести»¹. И попросили крестьяне бога, чтоб устранил их из имения глупого помещика, и бог их услышал. Забрал крестьян с помещичьей земли.

Наступили для помещика плохие времена. Не стало у него ни еды, ни жизненных удобств. Все в запустение пришло. Однако он не сдавался, укреплял дух чтением правительственной газеты и время от времени говорил: «Нет, лучше совсем одичаю, лучше пусть буду с дикими зверьми по лесам скитаться, но да не скажет никто, что российский дворянин, князь Урус-Кучум-Кильдибаев, от принципов отступил!»²

И все бы ничего, да перестали от исчезнувших мужиков доходы в казну поступать, и государство этим непорядком озабочилось. Кончилось, как известно, тем, что в имение вновь на-

¹ Салтыков-Щедрин М.Е. Цит. соч. Т. 8. С. 336.

² Там же. С. 341

садили мужика, а помещика изловили. А «изловивши, сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету "Весть" и, поручив его надзору Сеньки, уехал.

Он жив и доньне. Раскладывает гранпасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит»¹.

О российском социально-экономическом укладе и третья хорошо известная щедринская сказка — «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». В ней намеченные в «Диком помещике» обобщения доходят до своего предельного вида. Россия в сказке — остров-страна, на котором оказываются генералы, территория с огромными природными богатствами. «Пошел один генерал направо и видит — растут деревья, а на деревьях всякие плоды. Хочет генерал достать хоть одно яблоко, да все так высоко висят, что надобно лезть. Попробовал полезть — ничего не вышло, только рубашку изорвал. Пришел генерал к ручью, видит: рыба там, словно в садке на Фонтанке, так и кишит, и кишит.

"Вот кабы этакой-то рыбки да на Подьяческую!" — подумал генерал и даже в лице изменился от аппетита.

Зашел генерал в лес — а там рябчики свищут, тетерева токуют, зайцы бегают.

— Господи! еды-то! еды-то! — сказал генерал»².

Но только, как узнает читатель посредством чтения генералами газеты, правящие слои отечества заняты не каким-либо созидательным делом, а в основном тем, что едят производимое народом. Едят в Москве, едят в Туле, в Вятке, в Пензе, в Рязани... И сообразили генералы, что их привычная российская жизнь неожиданно нарушилась по одной причине: из нее исчез мужик. И, стало быть, нужно его отыскать. И в самом деле, вскоре нашли мужика, да притом такого, что в мыслях у него не было генералам противоречить, разве что спервоначалу убежать попытался. Но вскоре свое вполне удовлетворительное сословное самосознание обнаружил: «начал мужик на бобах разводить, как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужицким его трудом не гнушались!»³.

¹ Там же. С. 343.

² Там же. С. 318.

³ Там же. С. 323.

Все сделал мужик, в том числе вернул генералов по их желанию на Большую Подьяческую, за что и получил рюмку водки и пятак серебра: «веселись, мужичина!».

* * *

Проза Щедрина лишена сколько-нибудь законченных системных идей «позитивного» свойства. В ней нельзя найти попыток того рода, которые есть в романах И.С. Тургенева, когда автор последовательно рассматривает эволюцию их главных героев — например, от рассуждающих о преобразованиях «идеологов» до практиков — людей «дела». В ней нет и фантазий, подобных тем, которые находим в романах Н.Г. Чернышевского о «новых» людях. Однако, будучи лишенной всего этого, проза Щедрина тем не менее конструктивна. Так, свое внимание философствующий художник сосредоточивает на структуре русского общественного порока, имеющего разные имена, но одно происхождение — длительную жизнь в неволе. И то, как он это делает, коренным образом отличается не только от умеренных либералов, к лагерю которых принадлежал Тургенев, но и от сладкоречивых славянофилов, к которым склонялся Достоевский. Да и как Щедрин, нередко испепеляющий своими сатирами самодержавие, мог, например, принять подобострастие славянофила Ивана Аксакова, выказываемого им в отношении власти: давая однажды объяснения Третьему отделению насчет своего образа мыслей, Аксаков писал про царя, что «народ вполне верит ему и знает, что всякая гарантия (речь шла о Конституции. — С.Н.) только нарушила бы искренность отношений и только связала бы без пользы руки действующим»¹.

Столь же критически относился Щедрин и к претендующим на «независимость» попыткам Ф.М. Достоевского воззвать к «всеобщему духовному примирению», к братским чувствам, которые он предполагал у угнетателей, равно как и у тех, кто были угнетены. По словам Щедрина, такого рода призывы — не что иное, как все те же «арбузные корки» славянофильства, которыми питался автор «Преступления и наказания».

Один из первых подходов Щедрина к проблематике народного сознания и сознания власть имущих — «Сатиры в прозе» (1863), предшествовавшие язвительной пародии на историю и жизнь славянства вообще и русских в частности, под названи-

¹ Цит. по: *Турков А.* Салтыков-Щедрин. М.: Молодая гвардия, 1964. С. 108.

ем «История одного города» (1869). В «Сатирах», говоря о времени, наступившем после реформы 1861 года, одной из его определяющих особенностей Щедрин называет «конфуз». Раньше в стране было проще — все жили, все делали и все поступали по извечному российскому принципу «тяп да ляп — и карабь». Но теперь (неизвестно почему и откуда это началось, — скрыто иронизирует по поводу российских реформ автор), все вдруг сконфузились и оплошали почти поголовно. «Конфуз проник всюду; конфуз в сердцах помещиков, конфуз в соображениях почтенного купечества, конфуз в литературе и журналистике, конфуз в умах администраторов. Последние сконфузились сугубо — и за себя и за других. Они почему-то сообразили, что все бремя эпохи конфуза лежит на их плечах и что, следовательно, им предстоит учетверить свою собственную конфузливость, дабы укрепить корни этого невиданного у нас растения в сердцах прочих человеков. Зубатов видимо оторопел, Удар-Ерыгин, как муха, наевшаяся отравы, сонно перебирает крыльями. Оба видят, что на смену им готовится генерал Конфузов, и оба из кожи лезут, чтоб предьявить кому следует, что они ничего, что они и сами способны сконфузиться настолько, насколько начальство прикажет»¹.

Вот, к примеру, Зубатов. «Когда ему докладывают, что такой-то исправник не соскочил с колокольни, не утонул в стакане воды, не пролез сквозь ушко иглиное, он не ржет, как озаренный: "Под суд! под суд его!" — а кротко замечает: "Ах, любезный! Надо еще справиться: может быть, у него свои резоны есть!" Когда ему объясняют, что такой-то Замухрышкин целый уезд грабит, он предварительно полюбопытствует, сколько у него детей, и, получивши сведение, что шестеро, молвит: "Oh, les enfants! les enfants! ils font commettre bien des crimes!" (О, дети! дети! они заставляют делать много преступлений!) — причем непременно погладит по головке своего Колю»².

Еще одна особенность переживаемого страной реформенного времени — неожиданно проснувшаяся в россиянах страсть к говорению. Явление это, отмечает автор «Сатир», возникло как-то неожиданно и в противоположность исконным русским традициям. А традиции древнего отечественного витийства легко умещались в четыре разряда:

¹ Щедрин Н. (М.Е. Салтыков). Собр. соч. М.: Правда, 1951. Т. 2. С. 255.

² Там же.

«*Красноречие Марса*. "Не рассуждать! Руки по швам!" При этом, гласит предание, нередко случалось и так, что Марс, вместо слов, ограничивался простым рычанием, что, без сомнения, представляет самую сжатую форму для изъяснения чувств и мыслей.

Красноречие сельское. Но об этом виде красноречия я много распространяться не стану: оно вполне резюмировано г. Тургеневым в звуке: "чуки-чюк! чуки-чюк!"

Красноречие бюрократическое. "Да вы знаете ли, милостивый государь! Да как вы осмелились, государь мой! Да известно ли вам, что я вас туда упеку, куда Макара телят не гонял!"

Красноречие торжественное или, так сказать, обеденное. "Очень рад, господа, что имею случай... тово... это таперича доказывает мне, что вы с одной стороны... чувства преданности... ну и прочее... а с другой стороны и я, без сомнения, не примину... от слез не могу говорить... господа! За здоровье Крутогорской губернии!"

Одним словом, пользуясь указаниями опыта и бывшими примерами, мы имели полное право догадываться, что у нас скорее может процветать балет, нежели драматическое искусство¹. Но теперь, в условиях объявленных Александром II реформ, в том числе судебной (с избираемыми народом мировыми судами и присяжными заседателями), университетской и местного самоуправления, по стране разлилась волна говорения. Какова же была причина столь внезапного явления? Что заставило россиян заменить прежнее необузданное молчание на столь же необузданную болтовню? — спрашивает автор и дает ответ.

Первая причина та, что «нам вышло позволение говорить, подобно тому, как выходят: отставка, определение, отсрочка, новые формы и т.д. Спрашивается: если вышла человеку отставка, может ли он продолжать служить? Если вышла человеку новая форма одежды, может ли он продолжать ходить в старой? Подобно сему, если вышло человеку дозволение говорить, может ли он молчать? И самое нежелание с его стороны воспользоваться предоставленным правом не должно ли быть признано равносильным послушанию воле начальства?»².

А если посмотреть на вопрос с точки зрения наших традиций, без которых нам, как известно, никуда, то надо бы знать, как по

¹ Там же, с. 335.

² Там же. С. 336.

этому поводу думал Гостомысл, какой смысл давали этому явлению Рюриковичи и как — «прямо или перекосясь» — взирали на него, собирая дань, Батыевичи.

Секрет здесь, очевидно, в том, что Гостомысл «разрешил» единоплеменникам призвать варягов из-за моря. Равно как и в том, что Рюриковичи «разрешали» своим «добрым подданным полянам колотить добрых подданных кривичей, а кривичам — добрых подданных родимичей. И все эти поляне, кривичи и родимичи не только не задают себе вопроса, откуда и на какой конец этот град колотушек, но, пользуясь данным разрешением, с бескорыстной отчетливостью тузят друг друга и по сулам, и под микитки, и в рожество! Вот Батыевичи, любезно разрешающие нашим предкам платить им дани многи, и предки не только пользуются этим дозволением, но даже всякий раз произносят при этом "хи-хи". Вот Иван Грозный, разрешающий утопить в Волхове целое народонаселение, вот Петр Великий, разрешающий дворянам вступать на службу и брить бороды... Боже! Как делается легко, как все становится ясно, если перенесешь вопрос на историческую почву! и что бы мы стали делать, если бы не было у нас этой исторической почвы? Пожалуй, смотря на наших нынешних ораторов, мы и впрямь могли бы подумать, что они заговорили — чего доброго — не дождавшись разрешения!...»¹.

Еще одной причиной внезапно прорвавшейся болтливости стало то, что на Руси внезапно расплодилось много неизвестно откуда взявшихся пришельцев, странных людей, которые вдруг, ни с того ни с сего стали утверждать, что вечно спать невозможно.

Итак, россияне начали говорить. Но как и о чем? Щедрин предоставляет нам ответ и на этот вопрос. Во-первых, в современном говорении утрачена сжатость. Мы уже не говорим больше: «Цыц, собака!» Желая содрать с ближнего кожу, мы не высказываемся об этом прямо, а употребляем, например, слова «с истинным прискорбием». Мы знаем, что всякая речь должна быть обставлена приличными делу словами и заключать в себе силлогизмы. В нашей речи, далее, стало много того, что обнаруживает нашу принадлежность к человечеству. Мы не удовлетворяемся именами «ваше превосходительство», «благородие» и «баре». И наконец, речь наша сделалась современной. Мы, например, условились заранее, что откупа — мерзость, взяточ-

¹ Там же. С. 337—338.

ничество — мерзость, казнокрадство — мерзость, а крепостное право — и вовсе вещь, которой нет названия. «Но, господи! Что за горечь кипит в наших сердцах, когда мы произносим эти слова! Какое горькое дрожание усматривается на побледневших губах наших... Словом, чтобы определить характер нашего витийства одним термином, можно назвать его размазисто-стыдливо-пустопорожним»¹.

Интересно, что пришедшее сверху повеление к говорению не имеет никаких оснований в действительности. Ни жизнь, ни наука не дают россиянам содержания для витийства. «Шли мы все по отлогому месту, не знали ни оврагов, ни пригорков, не ехали, можно сказать, а катились. Урожай у нас — божья милость, неурожай — так, видно, богу угодно; цены на хлеб высоки — стало быть, такие купцы дают; цены низки — тоже купцы дают... Господи! и жарко нам, и объелись-то мы и не умеем-то и не знаем-то... поневоле со всякою мыслью свыкнешься, со всяким фактом примиришься! о чем тут думать, чем озабочиваться! Жили как-нибудь прежде, проживем как-нибудь и теперь и после! и точно, мы не думали и не размышляли; разве по хозяйству что-нибудь укажешь, да и то больше рукой, а не словом...»²

Привычка жить по распоряжению, в соответствии с дозволениями или запретами, то есть, как это формулирует Щедрин, «под начальством», — универсальная российская черта. В этой связи и надобность суда как средства, с помощью которого справедливо, по законам, разрешаются спорные ситуации, отпадает сама собой. Эта привычка не обращаться к суду к тому же подкрепляется и специфическими, далекими от цивилизации и культуры чертами русского характера. «...Мы, россияне, от рождения нашего питаем к судам нелюбовь. Одаренные от природы воображением впечатлительным и характером живым, даже строптивым, мы требуем, чтоб дела решались немедленно, а желания наши удовлетворялись беспрепятственно. Что бы это такое было, если б существовали одни суды и не существовало начальства? Страшно подумать, но предугадать не трудно. Во-первых, обыватели пришли бы в уныние; во-вторых, в делах произошел бы застой. Результат же всего этого — хаос, среди которого люди стремились бы не к тому, чтобы сделать себе

¹ Там же. С. 343.

² Там же. С. 343—344.

одолжение, но к тому, чтобы поедать друг друга, подобно ...прожорливым инфузориям»¹.

В полной мере эта глуповско-российская привычка к начальству и нелюбовь к судам приложима и к сфере законотворчества. Забегая несколько вперед, напомним об одном из череды глуповских градоначальников — Феофилакте Иринарховиче Беневоленском (друге и товарище Сперанского по семинарии). Вступивши в должность, он решил реализовать с детских лет копившуюся в нем страсть к писанию законов. Однако вскоре к своему несчастью обнаружил, что в городах законов издавать нельзя. Как разъяснил ему помощник: « — Без закона все, что угодно, можно! ... только вот законов писать нельзя-с»².

Однако и в отношении тех законов, которые все же были, у глуповских градоначальников нашлось противодействие. Один из них, Василиск Бородавкин, дабы облегчить себе управление жителями, сочинил для себя устав, озаглавленный «О нестеснении градоначальников законами», первый и единственный параграф которого гласил: «Ежели чувствуешь, что закон налагает тебе препятствие, то, сняв оный со стола, положи под себя. И тогда все сие, сделавшись невидимым, много тебя в действии облегчит»³.

Таким образом, закон, суд и, как очевидно глуповцам, следующее за ними неперемное «поедание друг друга» в их мирозерцании никак не вписывается. Впрочем, на то есть и другая причина. Здесь Щедрин открывает нам еще одну из глуповских тайн. «...Истинное глуповское мирозерцание состоит в отсутствии какого бы то ни было мирозерцания.

...Но, с другой стороны, нам могут заметить, что отсутствие мирозерцания есть такая же нелепость, как отсутствие масла в каше, как отсутствие дегтя в колесах мужицкой телеги. Подобно тому как каша без масла обдирает горло вкушающего, скажет мой возражатель, так и жизнь без мирозерцания должна всечасно обдирать мозги глуповцев, что, очевидно, невозможно, если принять в соображение продолжительность среднего термина глуповской жизни (от ста до ста двадцати лет, но вороны глуповские живут и долее).

Мне самому неоднократно приходило на мысль это возражение, и я всякий раз должен был внутренне соглашаться, что

¹ Там же. С. 381.

² *Салтыков-Щедрин М.Е.* Собр. соч.: В 10 т. М.: Правда, 1988. Т. 2. С. 399.

³ Там же. С. 377—378.

оно справедливо. В самом деле, как-таки прожить жизнь без мирозерцания не только целому и в своем роде знаменитому городу, но даже и отдельному человеку? Ведь таким образом на каждом шагу будешь стучаться лбом об стену, будешь попадать ногами в лужу и дойдешь, наконец, до такой неопрятности, которая не только в Глупове, но и в доме умалишённых терпима быть не может. Я думаю, сам Михаил Петрович¹ должен был чувствовать это, стучаясь то об Ярослава, то о Мстислава, то об Ивана Берладника, и не нащупывая из них ни которого.

Итак, я обязан сознаться, что мирозерцание есть, но мирозерцание, пришедшее извне (как извне же приходят град и поветрия разные) и управляющее Глуповым наравне с прочими городами и весями. Это не то тонкое, доступное лишь внутреннему постижению мирозерцание, которое дает себя чувствовать как продукт целого строя жизни, но мирозерцание внешнее, мирозерцание, которое можно ощущать, которое можно облобызывать, но на которое можно и наплевать; одним словом — мирозерцание вроде знаменитых правил: "Цветов не рвать, травы не мять, птиц и рыб не пугать".

Выучивши наизусть эти правила, можно жить легко и приятно. Стоит только смиренно гулять по дорожке, и если обладаешь какой-нибудь гнусной привычкой, как, например, кряхтишь во всю мочь или откашливаешься (это пугает рыб), или ногами дрыгаешь (это наносит вред прозябанию трав), то можно и совсем в сад не ходить»².

Вообще, вопросы, подобные вопросам о законах и суде, до недавнего времени в Глупове даже не обсуждались. Да и само общество какое было, было именно такое, какое требуется в соответствии описанному выше управлению! Это было то общество так называемых «хороших» людей, о которых мудрая русская пословица гласит: «Сальных свечей не едят и стеклом не утираются!» Глупов — «управляющие и управляемые — все это, взятое вместе, представляло такую сладостную картину гармонии, такое умирительное позорище взаимных уступок, доброжелательства и услуг, что сердцу делалось больно и самый нос начинал ощущать как бы прилив благородных чувств»³. Что же такое были эти так называемые хорошие люди?

¹ Речь об историке М.П. Погодине. — С.Н.

² Там же. С. 478—480.

³ Щедрин Н. (М.Е. Салтыков). Собр. соч. М.: Правда, 1951. Т. 2. С. 460.

«Между "хорошими" людьми доброго старого времени (old merry Glouppoff)¹ много было плутов, забулдыг и мерзавцев pur sang². Почему они назывались «хорошими» людьми, а не канальями, это тайна глуповской почвы и глуповской природы. Но, разбирая дело внимательно, полагаю, что это происходило оттого, что над упомянутыми выше качествами парило какое-то добродушие, какая-то атласистость сердечная, при существовании которых как-то неловко думать о вменяемости. Для объяснения прибегну к примерам. Бывало, "хороший" человек выпорот вплотную какого-нибудь Фильку и вслед за тем скажет другому такому же "хорошему" человеку: "А пойдём-ко, брат, выпьем по маленькой". Разве это не добродушие? Или, например, передернет нечаянно в карты (за что тут же получит возмездие в рождество) и вслед за этим воскликнет: «А не распить ли нам бутылочку холодненького?» Разве это не атласистость сердечная?

...Надо сказать правду, что «хороший» человек старого времени не имел обширных сведений в области наук. По части истории запас его познаний не выходил из круга рассказов о том, как в тринадцатом году русский бился с немцем об заклад, что сотворит такую пакость, от которой у него, немца, глаза на лоб полезут, — и действительно сделал пакость на славу. По части географии он мог утвердительно сказать только то, что на том самом месте, где он в настоящее время играет в карты и закусывает, рос некогда непроходимый лес и что недавно еще уездный стряпчий Толковников из окна своей квартиры бивал из ружья во множестве дупелей и бекасов. Юридическое образование его ограничивалось: по части прав состояния — отсылкою грубиянов на конюшню; по части гражданского права — выдачею заемных писем и неплатежом по ним.

И между тем жили, пили, ели, женились и посягали, славословили, занимали начальственные места и пользовались покровительством законов...

"Хороший" человек имел привычки патриархальные. Обедал рано и в послеобеденное время любил посвятить час-другой гострическим сновидениям, сопровождая это занятие аккомпанементом всевозможных шипящих звуков, которыми так изобилуют преисподние глуповских желудков. По исполнении этого он, по крайней мере в продолжение двух часов, не мог прийти

¹ Старый веселый Глупов.

² Чистой крови.

в себя и вплоть до самого вечера чувствовал себя глупым. Тут выпивалось несчетное количество графинов холодного квасу; тут испускались такие страшные потяготы и позовоты, от которых содрогались на улице прохожие. "Господи! какая тоска!" — беспрестанно восклицал он, отплевываясь во все стороны, и в это время не суйся к нему на глаза никто: разобьет зубы!

"Хороший" человек имел слабость к женскому полу и взятых им в полон крепостных девиц называл "канарейками".

— Ну, брат, намеднись какую мне канарейку из деревни прислали! — говорил он своему другу-приятелю, — просто персик!

И при этом причмокивал, обонял и облизывался.

В обращении с «канарейками» он не затруднялся никакими соображениями. Будучи того убеждения, что канарейка есть птица, созданная на утеху человеку, он действовал вполне соответственно этому убеждению, то есть заставлял их петь и плясать, приказывал им любить себя и никаких против этого возражений не принимал. Если же со временем канарейка ему прискучивала, то он ссылал ее на скотный двор или выдавал замуж за камердинера и всенепременно присутствовал на свадьбе в качестве посаженного отца.

"Хороший" человек в непривычном ему обществе терялся. В гостиной, в особенности в присутствии женщин, он был застенчив, как фиалка, и неразговорчив, как пустынножитель. В таких тесных обстоятельствах он с мучительным беспокойством поглядывал на дверь, ведущую в кабинет хозяина, где, как ему известно, давным-давно поставлена водка и разложен зеленый стол, и пользовался первым удобным случаем, чтоб бочком-бочком проскользнуть в обетованную дверь. Вообще, он любил натянуться дома, в халате, с добрыми знакомыми, и называл это жуировать жизнью; в публику же показывался редко, и то в клубах, и притом лишь тогда, когда ему было известно, что там соберутся такие же теплые други-приятели, как и он сам. Напившись, наевшись и досыта наигравшись в карты, он, ложась на ночь спать, с легким сердцем восклицал: "Вот, слава богу, я наелся, напился и наигрался!"

В это хорошее старое время, когда собирались где-либо "хорошие" люди, не в редкость было услышать следующего рода разговор:

— А ты зачем на меня, подлец, так смотришь? — говорил один "хороший" человек другому.

— Помилуйте... — отвечал другой "хороший" человек, нравом помирнее.

— Я тебя спрашиваю не "помилуйте", а зачем ты на меня смотришь? — настаивал первый "хороший" человек.

— Да помилуйте-с...

...Бац в рыло!..

— Да плюй же, плюй ему прямо в лохань! (так в просторечии назывались лица "хороших" людей!) — вмешивался случавшийся тут третий "хороший" человек.

И выходило тут нечто вроде светопреставления, во время которого глазам сражающихся, и вдруг, и поочередно, представлялись всевозможные светила небесные...

"Хороший" человек был патриот по преимуществу. Он зарождался, жил и умирал в своем милом Глупове. Он был, так сказать, продуктом местных нечистот; об них одних болело его сердце; к ним одним стремились его вожделения, и никаких иных навозных куч он не желал, кроме тех, которыми окружено было его счастливое детство. Петербурга он не любил и не понимал; он охотно допускал, что хорошие люди могут зарождаться в Москве, в Рязани, в Тамбове и, разумеется, в Глупове; но в Петербурге, по его мнению, могут существовать только выморозки, не имеющие ни малейшего понятия о том, что за блаженство есть буженину, когда она изжарена в соку и притом легонько натерта чесноком...

Повторяю: тип «хорошего» человека исчезает, и вместе с тем исчезает и глуповское добродушие, и глуповская сердечная атласистость. Фильку наказывают по-прежнему, но уже без прибауток; передергивают в карты по-прежнему, но, получая возмездие в рождество, уже протестуют и притворяются оскорбленными»¹.

* * *

К тематике, сюжетам и образам, развиваемым в «Сатирах в прозе», писатель вновь обратился в несравненно более широко известном тексте — сатирических очерках «История одного города», крупном произведении, опубликованном в 1869 году, когда вышел в отставку и занялся исключительно писательским трудом.

В своих, как он говорил, «провинциальных романсах», Щедрин предпринимает философско-сатирическое исследова-

¹ Там же. С. 460—462.

ние всех уровней существующего в России самодержавного порядка, жизни не по закону, а по воле начальства, что предполагает безропотное подчинение темного российского народа (жителей города Глупова) развращенной от своеволия и беззакония власти, олицетворенной в черед сменяющих друг друга градоначальников. И хотя сам автор открещивался от прямых аналогий глуповской истории с историей российского государства, тем не менее не только событийные, но и сущностные аналогии в них просматриваются ясно.

Аналогии обнаруживаются уже в летописных и щедринских описаниях российских изначальных времен. «Был... — открывает свою «Историю» Щедрин, — в древности народ, головоотяпами именуемый, и жил он далеко на севере, там, где греческие и римские историки и географы предполагали существование Гиперборейского моря. Головоотяпами же прозывались эти люди оттого, что имели привычку "тяпать" головами обо все, что бы ни встретилось на пути. Стена попадетя — об стену тяпают; Богу молиться начнут — об пол тяпают. По соседству с головоотяпами жило множество независимых племен, но только замечательнейшие из них поименованы летописцем, а именно: моржееды, лукоеды, гусееды, клюковники, куралесы, вертячие бобы, лягушечники, лапотники, чернонебые, долбежники, проломленные головы, слепороды, губошлепы, вислоухие, кособрюхие, ряпушники, заугольники, крошевники и рукоуси. Ни вероисповедания, ни образа правления эти племена не имели, заменяя все сие тем, что постоянно враждовали между собою. Заключали союзы, объявляли войны, мирились, клялись друг другу в дружбе и верности, когда же лгали, то прибавляли «да будет мне стыдно», и были наперед уверены, что «стыд глаза не выест». Таким образом взаимно разорили они свои земли, взаимно надругались над своими женами и девами и в то же время гордились тем, что радушны и гостеприимны»¹.

Обратимся теперь к историческому источнику. В одном из древнейших российских летописных памятников, «Повести временных лет», читаем: «...сели славяне по Дунаю, где теперь земля Венгерская и Болгарская. От тех славян разошлись славяне по земле и прозвались именами своими от мест, на которых сели. ...Когда волохи напали на славян дунайских, и поселились

¹ *Салтыков-Щедрин М.Е.* Собр. соч.: В 10 т. М.: Правда, 1988. Т. 2. С. 298—299.

среди них, и притесняли их, то славяне эти пришли и сели на Висле и прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли поляки, другие ляхи — лутичи, иные — мазовшане, иные — поморяне.

Так же и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие — древлянами, потому что сели в лесах, а другие сели между Припятью и Двиною и назвались дреговичами, иные сели по Двине и назвались полочанами, по речке, впадающей в Двину, именуемой Полота, от нее и назвались полочане»¹.

В древнерусских летописях повествуется об обычаях, законах и нравах племен. Так, если поляне были тихого и кроткого нрава, стыдливы перед снохами и сестрами, матерями и родителями, то иными были древляне. Они жили звериным обычаем, по-скотски: убивали друг друга, ели все нечистое, у них не было браков, а девиц они умыкали у воды. Радимичи, вятичи и северяне жили в лесу, как звери, и «срамословили» при отцах и снохах. Между селами устраивались игрища, на которых исполнялись пляски и бесовские песни, и здесь же умыкали себе жен, коих было по две и по три. А если кто умирал, то устраивали по нему тризну, а затем делали большую колоду, возлагали на нее мертвеца и сжигали, а после, собрав кости, вкладывали их в небольшой сосуд и ставили на столбах по дорогам. Этого же обычая держались кривичи и прочие язычники, не знающие закона Божьего.

Как и славяне, глуповцы, устав от взаимных разорений и надругательств, решают (пригласить) искать себе князя (градоначальника), что делается по совету Добромысла (в российской истории — новгородского старца Густомысла). «Начало Российской Истории, — читаем в «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина, — представляет нам удивительный и едва ли не беспримерный в летописях случай: славяне добровольно уничтожают свое древнее народное правление и требуют государей от варягов, которые были их неприятелями. Везде меч сильных или хитрость честолюбивых вводили самовластие (ибо народы хотели законов, но боялись неволи): в России оно утвердилось с общего согласия граждан»². Широко известны летописные слова, приписываемые русичам, чудим, кривичам и иным славянским племенам: «Земля наша велика

¹ Изборник. Повести Древней Руси. М.: Художественная литература, 1986. С. 24.

² Карамзин Н.М. История государства Российского. СПб., 1851. Т. 1. С. 112.

и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами».

В глуповской истории, как и в российской, — вплоть до воцарения первого «самодержца» Ивана Грозного, — так же было двадцать два градоначальника (царя). В том числе шесть градоначальниц (цариц). Щедринские «романсы» изобилуют и портретно-характерологическими сходствами их героев с российскими историческими деятелями. Так, глуповский градоначальник Грустилов похож на Александра I, а Угрюм-Бурчеев, пытавшийся перестроить жизнь глуповцев в соответствии с уставом пребывания в остроге, — на Аракчеева и Николая I.

Описанная Щедриным история города Глупова разнообразна по сюжетам, но поражает своим направленным против человечности содержанием — разнообразнейшими зловредными действиями правителей. Среди таковых — принуждения глуповцев к непосильным государственным поборам и местным «даням», наполняющим карманы градоначальников, понуждения участвовать в разного рода проектах: от «войн "за просвещение"» с выращиванием для потребления и на продажу горчицы, разведения персидской ромашки, устройства под домами каменных фундаментов и учреждения в Глупове академии — до морения голодом, фальшивых тревог, стрельбы по жителям из пушек в ходе войсковых маневров и доведения населения до полного одичания. В последнем случае глуповцы обносились до наготы, стали обрастать шерстью и сосать лапы.

Один только раз жители попробовали протестовать тем, что написали жалобу «во все места Российской империи», в которой сообщали, что начальство у них «неискусное, ко взиманию податей строгое, к подаянию же помощи мало поспешное». А заканчивали тем, что «и дальше терпеть согласны», однако опасаются, как бы градоначальник их перед высшими властями «не оклеветал». К слову сказать, опасаться было чего, так как многие правители, не умея справиться с подначальным населением, призывали войсковые команды.

Вообще, готовность снести все зло, в отношении их творимое, — странная, неоднократно отмечаемая в истории, устойчивая характеристическая особенность глуповцев-россиян:

«— Мы люди привышные! — говорили одни, — мы потерпеть можем. Ежели нас теперича всех в кучу сложить и с четырех концов запалить — мы и тогда противного слова не молвим!

— Это что говорить! — прибавляли другие, — нам теперь можно! Потому мы знаем, что у нас есть начальники!»¹

Как врач, имеющий дело с застарелым и опасным недугом, в диагнозе и описании болезни Шедрин беспощаден. Один только раз в «Истории» он изменяет своему едкому сарказму и обращает наше внимание на действительно героическое поведение народа. Я имею в виду описание сцены городского пожара, когда близкое к реальности изображение ужасного бедствия заставляет автора сменить манеру письма. В тексте, содержащем суровое авторское наблюдение над человеческим горем, звучат редкие гордо-торжественные слова об обыденном русском героизме. На крик матери «Матренка где?» «выходит из толпы парень и с разбега бросается в пламя. Проходит одна томительная минута, другая. Обрушиваются балки одна за другой, трещит потолок. Наконец парень показывается среди облаков дыма; шапка и полушубок на нем затлелись, в руках ничего нет. Слышится вопль: Матренка! Матренка! где ты?»². К счастью, Матренка действительно со страху убежала на огород и там, между грядами, заснула.

И вот ведь как интересно! В крайней, смертельно опасной ситуации, когда нужно ставить на кон свою жизнь, не ждет приказания от начальства русский человек, сам распоряжается своей жизнью, смертельно рискует ей. Отчего же в других случаях он так пассивен и покорен?

В череде глуповских градоначальников, как правило отличающихся друг от друга лишь степенью проявления личного эгоизма, непреклонности и жестокости в достижении цели, есть две фигуры иного образа действий. Это назначенный на место градоначальника Негодяева «черкашенин» Микаладзе и подполковник Прыщ, в другом месте именуемый автором майором.

Первый назван автором «зачинателем» того мирного пути, по которому чуть-чуть было не пошла глуповская цивилизация. «Благотворная сила его действий была неуловима, ибо такие мероприятия, как рукопожатие, ласковая улыбка и вообще кроткое обращение, чувствуются лишь непосредственно и не оставляют

¹ Там же. С. 344. «Долгое рабство, — отмечал в своих размышлениях о русском народе А.И. Герцен, — факт не случайный, оно, конечно, отвечает какой-то особенности национального характера. Эта особенность может быть поглощена, побеждена другими, но может победить и она. Если Россия способна примириться с существующим порядком вещей, то нет у нее впереди будущего...»

² Там же. С. 359.

ярких и видимых следов в истории. Они не производят переворота ни в экономическом, ни в умственном положении страны, но ежели вы сравните эти административные проявления с такими, например, как обозвание управляемых курицыными детьми или непрерывное их сечение, то должны будете сознаться, что разница тут огромная. Многие, рассматривая деятельность Микаладзе, находят ее не во всех отношениях безупречною. Говорят, например, что он не имел никакого права прекращать просвещение, — это так. Но, с другой стороны, если с просвещением фаталистически сопряжены экзекуции, то не требует ли благоразумие, чтоб даже и в таком очевидно полезном деле допускались краткие часы для отдохновения? И еще говорят, что Микаладзе не имел права не издавать законов, — и это, конечно, справедливо. Но, с другой стороны, не видим ли мы, что народы самые образованные наипаче почитают себя счастливыми в воскресные и праздничные дни, то есть тогда, когда начальники мнят себя от писания законов свободными?»¹ Впрочем, деятельность Микаладзе продолжалась недолго. Имея неукротимое и даже «горячее стремление к женскому полу», сей правитель вскоре умер от истощения сил.

Второй градоначальник, вошедший в глуповскую историю как благодетель, был подполковник Прыщ. Сей муж, приехав в город и нанося визиты прочим городским властям, развил перед ними программу совершенно неожиданную.

« — Я человек простой-с, — говорил он одним, — и не для того сюда приехал, чтобы издавать законы-с. Моя обязанность наблюдать, чтобы законы были в целости и не валялись по столам-с. Конечно, и у меня есть план кампании, но этот план таков: отдохнуть-с!

Другим он говорил так:

— Состояние у меня, благодарение Богу, изрядное. Командовал-с; стало быть, не растратил, а умножил-с. Следственно, какие есть насчет этого законы — те знаю, а новых издавать не желаю. Конечно, многие на моем месте понеслись бы в атаку, а может быть, даже устроили бы бомбардировку, но я человек простой и утешения для себя в атаках не вижу-с!

Третьим высказывался так:

— Я не либерал и либералом никогда не бывал-с. Действую всегда прямо и потому даже от законов держусь в отдалении.

¹ Там же. С. 395.

в затруднительных случаях приказываю поискать, но требую одного: чтоб закон был старый. Новых законов не люблю-с. Многое в них пропускается, а о прочем и совсем не упоминается. Так я всегда говорил, так отозвался и теперь, когда отправлялся сюда. От новых, говорю, законов увольте, прочее же надеюсь исполнить в точности!

Наконец, четвертым он изображал себя в следующих красках:

— Про себя могу сказать одно: в сражениях не бывал-с, но в парадах закален даже сверх пропорции. Новых идей не понимаю. Не понимаю даже того, зачем их следует понимать-с.

Этого мало: в первый же праздничный день он собрал генеральную сходку глуповцев и перед нею формальным образом подтвердил свои взгляды на администрацию.

— Ну, старички, — сказал он обывателям, — давайте жить мирно. Не трогайте вы меня, а я вас не трону. Сажайте и сейте, ешьте и пейте, заводите фабрики и заводы — что же-с! все это вам же на пользу-с! По мне, даже монументы воздвигайте — я и в этом препятствовать не стану! Только с огнем, ради Христа, осторожнее обращайтесь, потому что тут недолго и до греха. И имущества свои поपालите, сами погорите — что хорошего!»¹

Опасавшиеся подвоха глуповцы вскоре, однако, убедились, что Прыщ и в самом деле не чинит им препятствий. В результате доходы от их деятельности в короткий срок — от года до двух лет — выросли в три и даже в четыре раза. Они стали зажиточнее, спокойнее и увереннее в себе. Но вместе со свободой у глуповцев, как отмечает Щедрин, начал развиваться и ее извечный спутник — анализ. «Неокрепшие в самоуправлении», жители города начали подумывать, а нет ли в происходящем какой-то чертовщины, и вследствие этого стали усиленно следить за Прыщом.

Отчего же упомянутые начальники не чинили бед глуповцам? Микаладзе, как сообщает нам автор, — потому, что был полностью поглощен своей собственной (терпимой в глуповском обществе) страстью. Лишь однажды у него произошло сражение с мужем одной из посещаемых им в ночи дам, да и то это ничтожное событие даже не попало в городскую летопись, к которой постоянно адресуется автор.

Интереснее возможное объяснение стихийного либерализма (живи сам и жить давай другим) подполковника Прыща.

¹ Там же. С. 406.

Щедрин сообщает нам, что вскоре один из глуповских чиновников — предводитель, одержимый страстью к еде, начал принюхиваться к запахам, издаваемым подполковником. («— Пахнет от него! — говорил он своему изумленному наперснику, — пахнет! Точно вот в колбасной лавке!») И однажды, к неопишескому изумлению и ужасу иных глуповцев, он решился действовать. «Произошло несколько сцен, почти неприличных. Предводитель юлил, кружился и наконец, очутившись однажды с Прыщом глаз на глаз, решился.

— Кусочек! — стонал он перед градоначальником, зорко следя за выражением глаз облюбованной им жертвы.

При первом же звуке столь определенно формулированной просьбы градоначальник дрогнул. Положение его сразу обрисовалось с той бесповоротной ясностью, при которой всякие соглашения становятся бесполезными. Он робко взглянул на своего обидчика и, встретив его полный решимости взор, вдруг впал в состояние беспредельной тоски.

Тем не менее он все-таки сделал слабую попытку дать отпор. Завязалась борьба; но предводитель вошел уже в ярость и не помнил себя. Глаза его сверкали, брюхо сладостно ныло. Он задыхался, стонал, называл градоначальника "душкой", "милкой" и другими не свойственными этому сану именами; лизал его, нюхал и т. д. Наконец с неслыханным остервенением бросился предводитель на свою жертву, отрезал ножом ломоть головы и немедленно проглотил...

За первым ломтем последовал другой, потом третий, до тех пор, пока не осталось ни крохи...

Тогда градоначальник вдруг вскочил и стал обтирать лапками те места своего тела, которые предводитель полил уксусом. Потом он закружился на одном месте и вдруг всем корпусом грохнулся на пол.

На другой день глуповцы узнали, что у градоначальника их была фаршированная голова...

Но никто не догадался, что, благодаря именно этому обстоятельству, город был доведен до такого благосостояния, которому подобного не представляли летописи с самого его основания¹.

Что может заключить о сообщаемом читатель? Очевидно, что финал этой истории сопровождают два неявных, но все же содержащихся в тексте вывода. Во-первых, желательность на-

¹ Там же. С. 410.

личия у российской власти здравого смысла и того, что можно было бы назвать стихийным либерализмом. Только в соответствии с ними правитель не гнетет своих подданных, не уничтожает их трудов. При этом его собственная голова может представлять собой что угодно, включая вместилище для фарша — перемешанной однородной массы измельченных продуктов, в том числе разнообразных несистематизированных знаний, мнений и идей. Второй же вывод — об обязательности наличия у жителей навыков к самоуправлению. В этом случае, могло бы стать, и сама власть в виде градоначальников им бы не потребовалась в полном объеме.

Впрочем, последнее замечание — из области, на которую писательское занятие Салтыкова-Щедрина не распространялось. Напротив, в чем-то вспоминая прошедшие николаевские, а в чем-то почти предугадывая будущие советские времена, он создает образ Угрюм-Бурчеева — высшей точки развития российской власти, достигнув которой, как он полагал, история в прежнем ее виде должна была прекратиться.

Образом Угрюм-Бурчеева, равно как и другими персонажами «Сатир в прозе» (1863) и «Истории одного города» (1869), Щедрин в определенном смысле откликается и на вошедшую тогда в общественно-политическую и литературную российскую моду тему «новых людей». Напомню, что роман «о новых людях» Чернышевского вышел в 1863 году, а тургеневские «Отцы и дети» и «Дым» — соответственно в 1862 и в 1867 годах.

Угрюм-Бурчеев — этот «простой, изнуренный шпицрутенами прохвост» так же как и иные «новые люди», возникает из «ниоткуда». Выделиться из общей массы чиновников ему позволяет готовность отрубить себе указательный палец правой руки, дабы доказать любовь к своему начальнику. За это — отрубленный палец — его назначают глуповским градоначальником. И этот поступок — «альфа и омега» той родословной, того духовного наследия, которым располагает сей «идиот», как неустанно величает его Щедрин.

Примечательно, что в отличие от прочих городских начальников Бурчеев не обладает каким-то фантастическим или органическим отклонением — органчиком с записанным в нем текстом «Не потерплю!» и «Разорю!», фаршированной головой или некротимым сластолюбием. Внешне он ничем не отличим (кроме «стального взгляда светлых глаз») от прочих людей, однако совершенно не похож на них своим образом жизни и привычками.

Так, «он спал на голой земле и только в сильные морозы позволял себе укрыться на пожарном сеновале; вместо подушки клал под голову камень; вставал с зарею, надевал вицмундир и тотчас же бил в барабан; курил махорку до такой степени вонючую, что даже полицейские солдаты и те краснели, когда до обоняния их доходил запах ее; ел лошадиное мясо и свободно пережевывал воловьи жилы. В заключение, по три часа в сутки маршировал на дворе градоначальнического дома, один, без товарищей, произнося самому себе командные возгласы и сам себя подвергая дисциплинарным взысканиям и даже шпицрутенам («причем бичевал себя не притворно, как предшественник его, Грустилов, а по точному разуму законов», прибавляет летописец).

...На лице его не видно никаких вопросов; напротив того, во всех чертах выступает какая-то солдатски-невозмутимая уверенность, что все вопросы давно уже решены. Какие это вопросы? Как они решены? — это загадка до того мучительная, что рискуешь перебрать всевозможные вопросы и решения и не попасть именно на те, о которых идет речь. Может быть, это решенный вопрос о всеобщем истреблении, а может быть, только о том, чтобы все люди имели грудь, выпяченную вперед на манер колеса. Ничего неизвестно. Известно только, что этот неизвестный вопрос во что бы то ни стало будет приведен в действие. А так как подобное противоестественное приурочение известного к неизвестному запутывает еще более, то последствие такого положения может быть только одно: всеобщий панический страх»¹.

Как человек ограниченный, Бурчеев поклонялся одному богу — простоты и прямолинейности. Разума он не признавал вовсе, считая его не только не благодетелем, но злейшим врагом человека, поскольку именно из него исходят обольщения и опасные «привередничества».

Говоря о бурчеевском поклонении «простоте», Щедрин обозначает ее реальных поклонников — коммунистов и социалистов. Он, правда, впрямую не говорит об «общественных работах», фаланстерах и иных прочих формах «коллективной жизни». Но то, что успевают сделать в Глупове Угрюм-Бурчеев, — из этой области. А реализует Бурчеев свой проект в точности в соответствии с давно составленным и продуманным до мелочей планом.

¹ Там же. С. 446.

«Еще задолго до прибытия в Глупов, он уже составил в своей голове целый систематический бред, в котором, до последней мелочи, были регулированы все подробности будущего устройства этой злосчастной муниципии. На основании этого бреда вот в какой приблизительно форме представлялся тот город, который он вознамерился возвести на степень образцового.

Посредине — площадь, от которой радиусами разбегаются во все стороны улицы, или, как он мысленно называл их, роты. По мере удаления от центра, роты пересекаются бульварами, которые в двух местах опоясывают город и в то же время представляют защиту от внешних врагов. Затем форштадт, земляной вал — и темная занавесь, то есть конец свету. Ни реки, ни ручья, ни оврага, ни пригорка — словом, ничего такого, что могло бы служить препятствием для вольной ходьбы, он не предусмотрел. Каждая рота имеет шесть сажен ширины — не больше и не меньше; каждый дом имеет три окна, выдающиеся в палисадник, в котором растут: барская спесь, царские кудри, бураки и татарское мыло. Все дома окрашены светло-серою краской, и хотя в натуре одна стороны улицы всегда обращена на север или восток, а другая на юг или запад, но даже и это упущено было из вида, а предполагалось, что и солнце и луна все стороны освещают одинаково и в одно и то же время дня и ночи.

В каждом доме живут по двое престарелых, по двое взрослых, по двое подростков и по двое малолетков, причем лица различных полов не стыдятся друг друга. Одинаковость лет сопрягается с одинаковостью роста. В некоторых ротах живут исключительно великорослые, в других — исключительно малорослые, или застрельщики. Дети, которые при рождении оказываются необещающими быть твердыми в бедствиях, умерщвляются; люди крайне престарелые и негодные для работ тоже могут быть умерщвляемы, но только в таком случае, если, по соображениям околоточных надзирателей, в общей экономии наличных сил города чувствуется излишек. В каждом доме находится по экземпляру каждого полезного животного мужеского и женского пола, которые обязаны, во-первых, исполнять свойственные им работы и, во-вторых, размножаться. На площади сосредоточиваются каменные здания, в которых помещаются общественные заведения, как то: присутственные места и всевозможные манежи: для обучения гимнастике, фехтованию и пехотному строю, для принятия пищи, для общих коленопреклонений

и проч. Присутственные места называются штабами, а служащие в них — писарями. Школ нет, и грамотности не полагается; наука числ преподается по пальцам. Нет ни прошедшего, ни будущего, а потому летосчисление упраздняется. Праздников два: один — весной, немедленно после таянья снегов, называется "Праздником неуклонности" и служит приготовлением к предстоящим бедствиям; другой — осенью, называется "Праздником предержащих властей" и посвящается воспоминаниям о бедствиях, уже испытанных. От будней эти праздники отличаются только усиленным упражнением в маршировке.

Такова была внешняя постройка этого бреда. Затем предстояло урегулировать внутреннюю обстановку живых существ, в нем захваченных. В этом отношении фантазия Угрюм-Бурчеева доходила до определительности поистине изумительной.

Всякий дом есть не что иное, как поселенная единица, имеющая своего командира и своего шпиона (на шпионе он особенно настаивал) и принадлежащая к десятку, носящему название взвода. Взвод, в свою очередь, имеет командира и шпиона; пять взводов составляют роту, пять рот — полк. Всех полков четыре, которые образуют, во-первых, две бригады и, во-вторых, дивизию; в каждом из этих подразделений имеется командир и шпион. Затем следует собственно Город, который из Глупова переименовывается в "вечно-достойная памяти великого князя Святослава Игоревича город Непреклонск". Над городом царит окруженный облаком градоначальник, или, иначе, сухопутных и морских сил города Непреклонска обер-комендант, который со всеми входит в пререкания и всем дает чувствовать свою власть. Около него... шпион!!

В каждой поселенной единице время распределяется самым строгим образом. С восходом солнца все в доме поднимаются; взрослые и подростки облакаются в единообразные одежды (по особым, опробованным градоначальником рисункам), подчищаются и подтягивают ремешки. Малолетние сосут на скорую руку материнскую грудь; престарелые произносят краткое поучение, неизменно оканчивающееся непечатным словом; шпионы спешат с рапортами. Через полчаса в доме остаются лишь престарелые и малолетки, потому что прочие уже отправились к исполнению возложенных на них обязанностей. Сперва они вступают в "манеж для коленопреклонений", где наскоро прочитывают молитву; потом направляют стопу в "манеж для телесных упражнений", где укрепляют организм фехтованием

и гимнастикой; наконец, идут в "манеж для принятия пищи", где получают по куску черного хлеба, посыпанного солью. По принятии пищи выстраиваются на площади в каре и оттуда, под предводительством командиров, повзводно разводятся на общественные работы. Работы производятся по команде. Обыватели разом нагибаются и выпрямляются; сверкают лезвия кос, взмахивают грабли, стучат заступы, сохи бороздят землю, — все по команде. Землю пашут, стараясь выводить сохами вензеля, изображающие начальные буквы имен тех исторических деятелей, которые наиболее прославились неуклонностью. Около каждого рабочего взвода мерным шагом ходит солдат с ружьем и через каждые пять минут стреляет в солнце. Посреди этих взмахов, нагибаний и выпрямлений прохаживается по прямой линии сам Угрюм-Бурчеев, весь покрытый потом, весь преисполненный казарменным запахом, и затягивает:

Раз — первой! раз — другой! —

а за ним все работающие подхватывают:

Ухнем!

Дубинушка, ухнем!

Но вот солнце достигает зенита, и Угрюм-Бурчеев кричит: "Шабаш!" Опять повзводно строятся обыватели и направляются обратно в город, где церемониальным маршем проходят через "манеж для принятия пищи" и получают по куску черного хлеба с солью. После краткого отдыха, состоящего в маршировке, люди снова строятся и прежним порядком разводятся на работы впредь до солнечного заката. По закате всякий получает по новому куску хлеба и спешит домой лечь спать. Ночью над Непреклонском витает дух Угрюм-Бурчеева и зорко стережет обывательский сон...

Ни бога, ни идиолов — ничего...

В этом фантастическом мире нет ни страстей, ни увлечений, ни привязанностей. Все живут каждую минуту вместе, и всякий чувствует себя одиноким. Жизнь ни на мгновение не отвлекается от исполнения бесчисленного множества дурацких обязанностей, из которых каждая рассчитана заранее и над каждым человеком тяготеет как рок. Женщины имеют право рожать детей только зимой, потому что нарушение этого правила может воспрепятствовать успешному ходу летних работ. Союзы между молодыми людьми устраиваются не иначе, как сообразно росту и телосложению, так как это удовлетворяет требованиям правильного и красивого фронта. Нивелляторство, упрощенное до

определенной дачи черного хлеба, — вот сущность этой кантонистской фантазии...»¹

Столь пространное описание бурчеевского замысла приведено для того, чтобы появилась возможность его сопоставления, например, с шедринским литературным близнецом — сценами жизни, труда и счастливого отдыха «людей будущего» в снах героини Чернышевского Веры Павловны. Напомню, что до недавнего, советского, времени это столь любимое Лениным «художественное» произведение было одним из важнейших в школьной программе для старшеклассников, а содержащиеся в нем фантазии и образы были тем, что вполне серьезно предлагалось в качестве подлинных образцов смыслов и ценностей русской культуры.

Естественно, что приведенный бурчеевский близнец ни под каким видом не мог быть упомянут, не то чтобы сравним с образцом школьным. Само собой, никто и ни под каким видом не мог указать на ужасающую аналогичность живописуемого Чернышевским «коммунистического» и проектируемого Угрюм-Бурчеевым военизированной-поселенического «счастья» с реалистической фантастикой романа Андрея Платонова «Котлован», тем более что советскому читателю ничего об этом великом произведении не было известно и прочитать его он возможности не имел.

В предложенных аналогиях есть и более глубокая, мировоззренческая основа. Прежде всего, она касается грандиозности замысла, его масштабов и связанных с этим неизбежных изменений во всем строе жизни как жителей конкретной страны, так и людей, населяющих планету. У Чернышевского, например, гигантские дворцы из алюминия и особого стекла, под которыми укрываются целые города и поля, — атрибут не только «близкого» будущего России с ее «новыми людьми», но и мира в целом, поскольку развитие всех стран должно идти по схемам, в которые верит автор «Что делать?».

В «Котловане» Платонова будущее человечества так же легко просматривается за преобразованиями и судьбой российских героев. Но может быть, Платонов изобретал нечто несообразное времени и вовсе фантастическое? До времени не ставя перед собой цель подробного анализа подобного рода советских проектов, — время их рассмотрения впереди, когда я обращусь к со-

¹ Там же. С. 449—452

ветской литературе 30-х годов XX столетия, — сейчас приведу лишь один пример вполне серьезного партийного (большевистского) к ним обращения. Вот как проблема коммунистического преобразования мира виделась российским марксистам через несколько лет после их прихода к власти.

Консервативное крестьянство — огромное большинство России, полагали они, никак не может понять, что если «век буржуазии» был «веком пара», то «век социализма» будет «веком электричества». Электрификация сельского хозяйства превратит раздробленных мелких собственников в общественных работников, варварские орудия заменит последним словом техники, ликвидирует диспропорции между развитием промышленности и сельского хозяйства, противоположность между городом и деревней. Но чтобы выйти на этот невиданно высокий уровень развития производительных сил, социализму, как и капитализму, требуется свое «первоначальное социалистическое накопление»¹. Основное содержание этого процесса при социализме, согласно идеям одного из ведущих российских идеологов того времени, члена большевистского политбюро Н.И. Бухарина, — мобилизация живой производительной силы путем ее принуждения.

Однако в отношении городского пролетариата эта задача усложняется тем, что он не представляет собой целостность. Есть «передовые слои», есть «середина» и есть «шкурники». (Последние, как правило, стоят ближе всего к «мелкой буржуазии» — крестьянству.) Отсюда совершенно необходима принудительная дисциплина пролетариата по отношению к самому себе. Все это в конечном счете создает возможности для уничтожения буржуазной «свободы труда», так как последняя несовместима с плановым коммунистическим хозяйством, включающим плановое распределение рабочих сил. Вот почему, полагал Бухарин, можно утверждать, что «...режим трудовой повинности и государственного распределения рабочих рук при диктатуре пролетариата выражает уже сравнительно высокую степень организованности всего аппарата и прочности пролетарской власти вообще»².

¹ Сущность "первоначального капиталистического накопления", состоящая в сгоне крестьян с земли, превращении их либо в пролетариев, либо в бродяг с последующим физическим уничтожением в соответствии с законом о бродяжничестве, раскрыта К. Марксом на примере Англии в XXIV главе "Капитала".

² Бухарин Н. Экономика переходного периода. М., 1920. С. 145.

Одним из непоколебимых сторонников «военно-коммунистических» приемов перехода к новому строю был и другой видный теоретик и руководитель партии большевиков, Е.А. Преображенский¹. В написанном в 1921 году научно-футурологическом эссе «От нэпа к социализму. Взгляд в будущее России и Европы» этот теоретик от лица героя произведения — профессора русской истории Минаева (который, будучи «гармонически развитой личностью», одновременно с профессорскими занятиями также служит слесарем в железнодорожных мастерских) рассказывает в 1970 году о событиях после введения нэпа. Прежде всего, обращается к своим слушателям профессор-слесарь, следует попытаться в истинном свете представить тех людей, которые участвовали в революции. «Вам, например, трудно поверить, что великие дела этой эпохи совершали люди с такими слабостями, недостатками, иногда с преступными наклонностями, почти всегда с необычайно низким культурным уровнем, как было в действительности, поскольку мы говорим об общей массе, а не об отдельных единицах или небольших группах»². Эти люди с психологией, представляющей из себя поле сражения между «вчера» и «завтра», несли на себе все вековое варварство и некультурность.

Что же было в России, начиная с 1921 года? После введения нэпа в экономике воцарился «рыночный хаос». Финансируемая Госбанком и руководимая ВСНХ промышленность функционировала капиталистически — например, торговала не только с необобществленной частью хозяйства, но и внутри социалистического сектора. Экономике начали потрясать кризис перепроизводства и дефицит, средства тратились неоправданно и т. п. В этих условиях должно было возобладать плановое начало. Государство взяло все в свои руки: было известно — сколько, чего, кому, как, из чего, куда и когда должно быть произведено и поставлено. Интересы производителей и потребителей замечательно совпали.

Но этим были решены не все проблемы. Оставалось необобществленное сельское хозяйство. Государство начало планомер-

¹ В отличие от него Н.И. Бухарин, вначале отнесшийся к нэпу как к похоронам Октября, впоследствии во многом пересмотрел свои взгляды, за что и получил от Сталина и его клики в конце 20-х годов ярлык защитника интересов кулачества и идеолога "правых".

² *Преображенский Е.* От НЭПа к социализму. Взгляд в будущее России и Европы. М., 1922. С. 81.

ную и всеохватывающую работу по учету крестьянского производства и рынка. Посредством рычагов цен сельское хозяйство стало включаться в плановое регулирование. Но все же проблема равномерного развития промышленности и сельского хозяйства оставалась. Нужно было переходить от мелкотоварного производства к крупному социалистическому земледелию. Этот шаг сделать до поры не удавалось. Люди еще «не поняли» всех преимуществ социализма. Нужен был, кроме того, длительный период «всеобщей слежки друг за другом», чтоб качественная и продуктивная работа сделалась привычной, стала «инстинктом труда», выковавшимся из «разумного принуждения». (Вспомним, что и в проектах Угрюм-Бурчеева обязательной фигурой на всех уровнях государственной и производственной пирамиды неизменно присутствовала фигура шпиона. Ну не провидец ли Шедрин?)

Одновременно Советское государство начало испытывать «ограниченность своих экономических средств для мощного движения вперед», подкрепляет свою позицию Преображенский, который, так же как и Бухарин, активизировал свою не только практическую, но и теоретическую деятельность в условиях, когда формальный лидер Ленин, был серьезно болен. Требовалось, — резюмирует он, новое перераспределение производительных сил Европы. «Психологически это выражалось в известном "натиске на капиталистические страны", во все более и более нервном ожидании пролетарской революции на Западе и в нетерпении, напоминавшем нетерпение 1917—1920 гг.»¹. Развитие производительных сил России толкало ее в Европу с тем, чтобы ускорить поворот ее производительных сил в сторону России. «Если б революция на Западе заставила себя долго ждать, такое положение могло бы привести к агрессивной социалистической войне России с капиталистическим Западом при поддержке европейского пролетариата»².

Этого не произошло: революция в Европе, фантазирует далее Преображенский, сама стучалась в двери. Массы разочаровались в капитализме. События разворачивались стремительно. Возникли Советская Австрия и Советская Германия. Против них выступили Польша и Франция, но внутри этих стран начались восстания рабочих. В войну вступила Советская Россия.

¹ Там же. С. 119.

² Там же. С. 120.

Конница Буденного лавиной прокатилась по степям Румынии и воссоединила Болгарию и Россию. Красная Армия и вооруженные силы Советской Германии вступили в Варшаву. Победа пришла к пролетариату Франции и Италии. Помощь буржуазии Северо-Американских Соединенных Штатов, спешившая через океан, опоздала. Возникла Федерация Советских республик Европы с единым плановым хозяйством. Промышленность Германии соединилась с русским земледелием. Советская Россия, перегнавшая до этого Европу в политической области, теперь «скромно заняла свое место экономически отсталой страны позади передовых индустриальных стран пролетарской диктатуры»¹. Таков, как считал Преображенский, должен был быть весьма вероятный, если не неизбежный, переход России и других стран Европы от капитализма к коммунизму.

«Нет ничего опаснее, — итожит свое мнение об Угрюм-Бурчееве и ему подобных Щедрин, — как воображение прохвоста, не сдерживаемого уздой и не угрожаемого непрерывным представлением о возможности наказания на теле. Однажды возбужденное, оно сбрасывает с себя всякое иго действительности и начинает рисовать своему обладателю предприятия самые грандиозные. Погасить солнце, повертеть в земле дыру, через которую можно было бы наблюдать за тем, что делается в аду, — вот единственные цели, которые истинный прохвост признает достойными своих усилий. Голова его уподобляется дикой пустыне, во всех закоулках которой восстают образы самой привередливой демонологии. Все это мятется, свистит, гикает и, шумя невидимыми крыльями, устремляется куда-то в темную, безрассветную даль...»²

А теперь задумаемся: есть ли существенное отличие планов Угрюм-Бурчеева по перегораживанию реки «от сих до сих» с последующим созданием «сухого места» и с планом города-казармы, с одной стороны, от планов перекраивания европейской географии большевиками — с другой? Еще раз подчеркну: все это не имело никакого отношения к истинным потребностям и формулируемым желаниям как глуповцев (россиян), так и европейцев.

В предложенных к рассмотрению аналогиях между замыслами героев Щедрина, Чернышевского и Платонова есть и еще

¹ Там же. С. 137—138.

² *Салтыков-Щедрин М.Е.* Цит. соч. С. 461.

одно мировоззренческое основание. Оно связано с представлениями автора «Что делать?», щедринского персонажа и героев «Котлована» о том, как они понимают тот процесс, которым заняты и который обозначается словом «создавать». И в этом, к чести Угрюм-Бурчеева, он один мыслит свое действие в полной мере адекватно, то есть технологично и операционально. Он один понимает, что «создавать» — значит, прежде всего, уничтожать уже существующее. (У Чернышевского нет описаний уничтожения прежней жизни — сны счастливо избавляют их наблюдателя от этих неизбежных ужасов.) Вот как это подается у Щедрина.

«Когда Угрюм-Бурчеев изложил свой бред перед начальством, то последнее не только не встревожилось им, но с удивлением, доходившим почти до благоговения, взглянуло на темного прохвоста, задумавшего уловить вселенную. Страшная масса исполнительности, действующая как один человек, поражала воображение. Весь мир представлялся испещренным черными точками, в которых, под бой барабана, двигаются по прямой линии люди, и все идут, все идут. Эти поселенные единицы, эти взводы, роты, полки — все это, взятое вместе, не намекает ли на какую-то лучезарную даль, которая покамест еще задернута туманом, но со временем, когда туманы рассеются и когда даль откроется... Что же это, однако, за даль? что скрывает она?

— Казар-р-мы! — совершенно определительно подсказывало возбужденное до героизма воображение.

— Казар-р-мы! — в свою очередь, словно эхо, вторил угрюмый прохвост и произносил при этом такую несосветимую клятву, что начальство чувствовало себя как бы опаленным каким-то таинственным огнем...

...Но в том виде, в каком Глупов предстал глазам его, город этот далеко не отвечал его идеалам. Это была скорее беспорядочная куча хижин, нежели город. Не имелось ясного центрального пункта; улицы разбегались вкривь и вкось; дома лепились кое-как, без всякой симметрии, по местам теснясь друг к другу, по местам оставляя в промежутках огромные пустыри. Следовательно, предстояло не улучшать, но создавать вновь. Но что же может значить слово "создавать" в понятиях такого человека, который с юных лет закалился в должности прохвоста? — "Создавать" — это значит представить себе, что находишься в дремучем лесу; это значит взять в руку топор и, помахивая

этим орудием творчества направо и налево, неуклонно идти куда глаза глядят. Именно так Угрюм-Бурчеев и поступил¹.

Глуповского градоначальника окоротила стихия: он не смог укротить реку — остановить ее и очистить сухое место. Героев Чернышевского — по крайней мере в их снах — не останавливало ничто. Герои «Котлована» останавливались лишь собственной смертью. Но и эта ничем не устранимая, фатальная перспектива их тоже не пугала: жить было ужаснее².

Все «планы» бурчевых и фантазии чернышевских были бы пустым звуком, если бы не попадали на благодатную почву российской готовности «потерпеть», даже и в том случае, если весь народ «в кучу сложить и с четырех концов запалить». Над этим феноменом русского мировоззрения думали многие мыслители. Вспомним, как размышлял об этом Герцен: какова «причина этого равнодушия народа, этой апатии в несчастьях и страданиях? История русского народа представляет, в самом деле, очень странное зрелище. В течение более чем тысячелетнего своего существования русский народ только и делал, что занимал, распахивал огромную территорию и ревниво оберегал ее как достояние своего племени. Лишь только какая-нибудь опасность угрожает его владениям, он поднимается и идет на смерть, чтобы защитить их; но стоит ему успокоиться относительно целостности своей земли, он снова впадает в свое равнодушие — равнодушие, которым так превосходно умеют пользоваться правительство и высшие классы.

Поразительно, что народ этот не только не лишен мужества, силы, ума, но, напротив, наделен всеми этими качествами в избытке. Действительно, русские крестьяне более развиты, чем земледельческий класс почти во всей Европе»³.

¹ Там же. С. 453.

² Приведенная аналогия «Щедрин — Чернышевский — Платонов», выходящая за пределы XIX столетия в век XX, кажется вполне реальной. В подтверждение этого я могу привести наблюдение известного отечественного философа-марксиста М.А. Лифшица, который хотя и пребывал в конфронтационных отношениях с советской властью, но в целом рассматривал ее как опыт, который нуждается в улучшении и может быть улучшен. Так вот, о рассматриваемом явлении — насильственном целенаправленном преобразовании человеческой природы — он писал как о своеобразной властной «революции сверху», прямо указывая на Щедрина как исследователя «самодержавного терроризма» и на его героя «нивелизатора Угрюм-Бурчеева». См.: *Лифшиц Мих.* Что такое классика? М.: Искусство XXI век, 2004. С. 49.

³ *Герцен А.И.* Эстетика. Критика. Проблемы культуры. М.: Искусство, 1987. С. 471— 472.

На поставленный вопрос о равнодушии народа, его апатии в несчастьях и страданиях ответа у Герцена не находим. Нет его и у многих других отечественных мыслителей — литераторов и философов. Но может быть, мы приблизимся к нему после исследования феномена русского мировоззрения в его совокупности?

* * *

В литературоведческих исследованиях о сборнике рассказов «Помпадуры и помпадурши», публиковавшихся с 1863 по 1874 год, нет ответа на существенный вопрос, который возникает в связи с прочтением этого произведения. Если этот сборник содержательно стоит в одном ряду с «Историей одного города», а изображенные в нем герои суть одни и те же персонажи (губернаторы, градоначальники и их бюрократия)¹, то зачем автору понадобилось выделять их в отдельное произведение и давать особое имя?

Вошедшие после Щедрина в русский язык слова «помпадуры» и «помпадурши», как известно, происходят от имени всесильной фаворитки французского короля Людовика XVIII маркизы де Помпадур. Слова прижились, поскольку давали имя широко распространенной в России практике назначения людей на ответственные (в том числе и с точки зрения возможностей для личного «кормления») посты государственного управления не по их профессиональным, личным и деловым качествам, а по знакомству, по преданности, по глубине проявленного кем-то «искательства», в том числе, как нам хорошо известно по современности, и не безвозмездного.

Однако если между героями «Истории» и «Помпадуров» по их должностному положению нет значительных различий, то с точки зрения авторского исследования стоящих за ними явлений различия эти существенны. Явления под именами «Микаладзе», «Прыщ» или «Угрюм-Бурчеев» рассматриваются Щедриным в содержании их деятельности безотносительно к политико-идеологическим процессам и веяниям, распространенным в кругах столичной и местной бюрократии. Для них в самом общем виде обозначен общий фон — время после отмены крепостного права и первых административных и судебных реформ Александра II начала 60-х годов. В этих явлениях

¹ Именно это утверждается, например, Г. Ивановым, автором примечаний к цитируемому мной Собранию сочинений Щедрина. (Т. 2, с. 484).

участвуют прежде всего жители города, которые предстают перед читателем либо как их участники с заранее расписанными ролями, либо как безгласный объект их действия¹. К тому же сами явления хозяйственно-материальны, то есть имеют своей целью в первую очередь хозяйственную жизнь жителей и лишь во вторую — образ мыслей и поведение. Приведу еще один пример такого явления. Так, прибывший в город начальник, начал с того, что «спросил книгу, подложил ее под себя и затем, бия себя в грудь, сказал предстоявшим:

— Я вам книга, милостивые государи! Я — книга, и больше никаких книг вам знать не нужно!»².

Иного рода явления рисуются Щедриным в случае с «помпадурями». В отличие от ориентированных на хозяйственные и вообще материальные действия градоначальников, эти персонажи служат автору для того, чтобы через них либо раскрыть политико-идеологическую подоплеку перемен, происходящих в России, либо хотя бы указать на веющие на нее европейские ветры. Посредством образов «помпадуров» Щедрин сообщает о мировоззренческих ориентациях, настроениях, упованиях губернской бюрократии, что позволяет нам понять, насколько вообще возможны задуманные царем реформы сверху.

Диапазон мировоззренческого разнообразия оказывается чрезвычайно широк. Он простирается от сложных отношений между разными политическими «партиями» внутри хотя и отдаленных, но все же несколько цивилизованных губерний России — до полной дикости, явленной, например, «прынцем Иззедином-Музафером-Мирзой в Ямудском крае». Описание «действий» «прынца», так и не доехавшего до Петербурга с целью набраться ума-разума для проведения реформ, завершают его слова: «Домой ездal, риформа начал. Народ гонял, помпадур сажал: риформа кончал»³. Перейдем, однако, к более подробному рассмотрению произведения.

Героem первой помпадурской истории выступает Дмитрий Павлович Козелков (среди товарищей известный под именем

¹ В этой связи Щедрин формулирует: «Обыватель есть не что иное, как административный объект, все притязания которого могут быть разом рассечены тремя словами: не твое дело!». А кроме того, он (объект) «находится в том завидном положении, когда оно, ни в коем случае, ни от каких перемен ни выиграть, ни проиграть ничего не может». (*Салтыков-Щедрин М.Е.* Цит. соч. С. 211, 217).

² Там же. С. 29.

³ Там же. С. 290.

Козленок), обычный мелкий петербургский чиновный бездельник, которого к тридцати годам «обуяла тоска» и который потому решил с помощью своей дальней родственницы, выжившей из ума старухи, получить протекцию и назначение градоначальником в дальнюю Семиозерскую губернию. Прибыв на место, кроме глобального намерения «установить равновесие между спросом и предложением», Козелков ставит перед собой и общественно-политическую цель. «Что нужно, чтобы общество жило в единении? — нужно удалить от него такие мысли, которые могут служить поводом для раздоров и пререканий»¹ — так он формулирует и сам же пытается разрешить этот вопрос.

Возможность познакомиться с умонастроениями и политическими ориентациями бюрократической элиты и губернских помещиков предоставляется читателю через сюжет выборов предводителя дворян. По этому случаю в обществе, повествует Шедрин, составилось несколько партий.

Главных, как водится, было две: «консерваторы» и «красные». Лозунгом «консерваторов» было: «шествуй вперед, но по временам мужайся и отдыхай!». На это «красные» возражали: «отдыхай, но по временам мужайся и шествуй вперед!». Внутри партий было много разветвлений. Так, у «консерваторов» была партия «маркизов», которая утверждала, что главное достоинство предводителя должно состоять в том, чтобы он обладал «грасами». Ее предводителем был ветхий старикашка, почти совершенно выживший из ума, но с помощью парика, вставных зубов и корсета казавшийся еще молодцом; он очень мило сюсюкал, называл семиозерских красавиц «*belle dame*» и любил играть маркизов на домашних спектаклях.

Другая была партия «крепкоголовых», которая утверждала, что для предводителя нужно только одно: чтоб он шел неуклонно. Сторонники ее были многочисленны и славились дикою непреклонностью убеждений, вместимостью желудков, исполинскими размерами затылков, необычайною громадностью кулаков и способностью производить всякого рода шумные манифестации, то есть подносить шары на блюде, кричать «ура!» и зыком наводить трепет на противников. «Между "крепкоголовыми" самыми заметными личностями были Созонт Потапыч Праведный и Яков Филиппыч Гремикин. Праведный происходил из приказных; это был мозглявый старичишка, весь словно

¹ Там же. С. 73.

изъеденный желчью, весь сведенный непрерывною судорогой, которая, как молния в грозных облаках, так и вилась во всем его брэнном теле. Но репутацию этот человек имел ужаснейшую. Говорили, что, во время процветания крепостного права, у него был целый гарем, но какой-то гарем особенный, так что соседи шутя называли его Дон Жуаном наоборот; говорили, что он на своем веку не менее двадцати человек засек или иным образом лишил жизни; говорили, что он по ночам ходил к своим крестьянам с обыском и что ни один мужик не мог укрыть ничего ценного от зоркого его глаза. Весь околоток трепетал его; крестьяне, не только его собственные, но и чужие, бледнели при одном его имени; даже помещики — и те пожимались, когда заходила об нем речь. Пять губернаторов сряду порывались "упечь" его, и ни один ничего не мог сделать, потому что Праведного защищала целая неприступная стена, состоявшая из тех самых людей, которые, будучи в своем кругу, гадливо пожимались при его имени. Зато, как только пронеслась в воздухе весть о скорой кончине крепостного права, Праведный, не мешкая много, заколотил свой господский дом, распустил гарем и уехал навсегда из деревни в город. Здесь он занялся в обширных размерах ростовщичеством, ежедневно посещал клуб, но в карты не играл, а поджидал, не угостит ли его кто-нибудь из должников чаем. В партии "крепкоголовых" он представлял начало письменности и ехидства; говорил плавно, мягко, словно змей полз; голос имел детский; когда злился, то злобу свою обнаруживал чем-то вроде хныканья, от которого вчуже мороз подирал по коже. Словом сказать, это был человек мысли. Напротив того, Гремикин был человек дела. Здоровенный, высокий, широкий в кости и одаренный пространым и жирным затылком, он рыком своим поражал, как Юпитер громом. Он был не речист и даже угрюм; враги даже говорили, что он, в то же время, был глуп и зол, но, разумеется, говорили это по секрету и шепотом, потому что Гремикин шутить не любил¹

Наконец, третья партия называлась партией «диких» и также была довольно многочисленна. Члены ее были люди без всяких убеждений, приезжали на выборы с тем, чтобы попить и поесть на чужой счет, целые дни шатались по трактирам и удивляли полых силою клапшотсов и умением с треском всадить желтого в среднюю лузу. Многие из них были женаты и обладали много-

¹ Там же. С. 93—94.

численными семействами, но все сплошь смотрели холостыми, дома почти не жили, никогда путным образом не обедали, а все словно перехватывали на скорую руку. К общественным делам они были холодны и шары всегда и всем клали направо.

Партия «красных» также делилась на три отдела: на так называемых стригунов, скворцов и плакс или канюк. К «стригунам» принадлежали сливки семиозерской молодежи, люди с самоновейшими убеждениями и наилучшим образом одетые. «Стригуны» мечтали о возрождении и в этих видах очень много толковали о *principes* (принципах). На Россию они взирали с сострадательным сожалением. В крестьянской реформе видели «попытку... прекрасную», но в то же время утверждали, что если б от них зависело, то, конечно, дело устроилось бы гораздо прочнее. Впрочем, в отношении «принципов» «стригуны» (либералы по наклонностям) никогда ни до чего договориться не могли, так как полагали, что принципы можно при желании сделать из чего угодно, в том числе и из регулярного посещения бани. С другой стороны, выше всего на свете они ценили вкусную еду и канкан.

«Скворцы» собственных убеждений не имели. Это были веселые и совершенно пустые малые, которые вполне сошлись бы со «стригунами», если бы политические теории последних о самоуправлении, о прерогативах земства и бюрократическом невмешательстве не держали их в постоянном страхе. Что же касается «плакс или канюк», то партия эта была немногочисленна и почти исключительно состояла из мировых посредников.

Достижение своей цели «хорошо вести дела» (хотя собственно дела от него никак не зависели и никто его ни к каким делам за ненадобностью не подпускал) помпадур Козелков видел в том, чтобы «всех удовлетворить». При этом он, освоившись на новом месте, и сам преобразился. «Козелков даже и говорить стал как-то иначе. Прежде он совестился; скажет, бывало, чепуху — сейчас же сам и рот разинет. Теперь же он словно даже и не говорил, а гудел; гудел изобильно, плавно и мерно, точно муха, не повышающая и не понижающая тона, гудел неустанно и час и два, смотря по тому, сколько требовалось времени, чтоб очаровать, — гудел самоуверенно и, так сказать, резонно, как человек, который до тонкости понимает, о чем он гудит. И при этом не давал слушателю никакой возможности сделать возражение, а если последний ухитрялся как-нибудь вернуть свое словечко, то Митенька не смущался и этим: выслушав возра-

жение, соглашался с ним и вновь начинал гудеть как ни в чем не бывало. И действительно, внимая ему, слушатель с течением времени мало-помалу впадал как бы в магнетический сон и начинал ощущать признаки расслабления, сопровождаемого одновременным поражением всех умственных способностей. Мнилось ему, что он куда-то плывет, что его что-то поднимает, что впереди у него мелькает свет не свет, а какое-то тайное приятие, которое потому именно и хорошо, что оно тайное и что его следует прямо вкушать, а не анализировать»¹.

Существование помпадура в среде, в которой никто и ни при каких обстоятельствах не берет на себя смелость и заботу показать ему его бесполезность и ничтожество, поощряет его к попыткам саморазвития. Так, перестав удовлетворяться пустым говорением, он формулирует необходимость обеспечения его «публицистом».

«— Под публицистом я разумею такого механика, которому я мог бы подать мысль, намекнуть, а он бы сейчас привел все это в порядок!

— Если вашему угодно что-нибудь приказать, то, кажется, мы всегда...

— Нет, это не то! я вижу, что вы меня не понимаете! Вы исполняете свои обязанности (разговор идет с начальником канцелярии. — *С.Н.*), а публицист должен исполнять свои! В Петербурге это ведется так: чиновники пишут свое, публицисты — свое. Если начальник желает распорядиться келейно, то приказывает чиновнику; ежели он желает выразить свою мысль в приличной форме, то призывает публициста! Вы меня поняли?

— Понял-с.

— Следственно, вы должны понять и то, что человек, который бы мог быть готовым во всякое время следовать каждому моему указанию, который был бы в состоянии не только понять и уловить мою мысль, но и дать ей приличные формы, что такой человек, повторяю я, мне решительно необходим. В настоящее время я без рук: ибо, спрашиваю я вас, в чем, собственно, заключается моя обязанность? Моя обязанность заключается в том, чтобы подать мысль, начертить, сделать наметку... но сплотить все это, собрать в одно целое, сообщить моим намерениям гармонию и стройность — все это, согласитесь, находится уже, так сказать, вне круга моих обязанностей, на все это я дол-

¹ Там же. С. 113.

жен иметь особого человека! Вы меня поняли? Вы поняли, что я хочу вам сказать?

— Но какие же, вашеество, будут занятия у этого публициста?

— Выслушайте меня. Вы уже знаете из объяснений со мной, что на мне собственно лежит, так сказать, внутренняя политика — и ничего больше. Все эти бумаги: донесения, предписания, подтверждения — все это только печальная необходимость, которой я подчиняюсь единственно потому, что куда это так требуется. Но главное — все-таки политика. Что такое "политика"? Политика, почтеннейший Разумник Семеныч, — это такое обширное понятие, которое в немногих словах объяснить довольно трудно. Политика — это все. Достаточно будет, если я на первый раз скажу вам, что политика может быть разных родов: может быть политика здравая и может быть политика гибельная; может быть политика, ведущая к наилучшему концу, и может быть политика, которая ни к чему, кроме расстройств, не приводит. Но для того, чтобы мысль моя была для вас еще яснее, очерчу в легком абрисе мою собственную политику. Я желаю, во-первых, чтобы у меня процветала торговля, во-вторых, чтобы священное право собственности было вполне обеспечено и, в-третьих, наконец, чтобы порядок ни под каким видом нарушен не был. Вот моя внутренняя политика. Но будем продолжать нить нашего рассуждения. Имея таким образом определенную внутреннюю политику, я, с одной стороны, должен быть весьма озабочен ею, с другой же стороны, эта самая озабоченность должна на каждом шагу возбуждать во мне самые разнообразные мысли. При настоящем моем, так сказать, изолированном положении, что делается с моими мыслями? Хотя и горько, но я должен сознаться, что большая их часть забывается и исчезает бесследно. Я мыслю и в то же время не мыслю, потому что не имею в распоряжении своем человека, который следил бы за моими мыслями, мог бы уловить их, так сказать, на лету и, в конце концов, изложить в приличных формах. Вот здесь-то, почтеннейший Разумник Семеныч, именно и нужен мне публицист, то есть такой механик, которому я мог бы во всякое время сказать: "Вот, милостивый государь, моя мысль! Теперь не угодно ли вам привести ее в надлежащий вид!" Вы меня поняли?

— Понимаю, вашеество, и осмелюсь, с своей стороны, доложить...

— Знаю, почтеннейший Разумник Семеныч, знаю! и ко всему мною же высказанному могу прибавить одно: вы меня знаете и,

следственно, можете быть уверены, что я всегда готов ходатайствовать перед высшим начальством за достойнейших!

В тот же день публицист был отыскан. Это был некто Златоустов, учитель словесности в семиозерской гимназии, homo scribendi peritus (человек, опытный в писании), уже несколько раз помешавший в местной газете статейки о предполагаемых водопроводах и о преимуществе спиртового освещения перед масляным. Вечером он уже имел с Митенькой продолжительное совещание, во время которого держал себя очень ловко, то есть смотрел своему амфитриону в глаза, улыбался и по временам нетерпеливо повертывался в кресле, словно конь, готовый по первому знаку заржать и пуститься в атаку. Одним словом, показал вид, что сочувствует и понимает»¹.

Итак, с одной стороны, помпадур Козелков озаботился продвижением в общественное сознание своих «идей». Однако с другой, не получая адекватной реакции на инициативы, он стал задумываться о своем истинном положении и предназначении в губернии. В частности, о соотношении своих «упований» и «решений» с действительным их воплощением. И тут он выяснил, что первым его естественным ограничителем, как ни странно, выступает закон, «который в известных случаях разрешает, в других — связывает. И до того времени ему, конечно, было небезызвестно, что закон есть, но он представлял его себе в виде переплетенных книг, стоящих в шкафу. Когда эти книги валялись по столам и имели разорванный и замасленный вид, то он называл это беспорядком; когда они стояли чинно на полке, он был убежден, что порядок у него в лучшем виде. Но разрешающей или связывающей силы закона он не знал и даже скорее предполагал, что закон есть не что иное, как дифирамб, сочиненный на пользу и в поощрение помпадурам. И так как он был человек скромный и всегда краснел, когда его в глаза хвалили, то понятно, что он не особенно любил заглядывать в законы.

И вот, в одно прекрасное утро, когда он предположил окончательно размахнуться, правитель канцелярии объявил ему о существовании закона, который маханию руками поставляет известные пределы.

— Возьмем хоть бы лозу, — сказал он, — есть случаи, в которых действие ее признается полезным, и есть другие, в которых действие сие совсем не допускается-с.

¹ Там же. С. 127—129.

— Что ж, вы, что ли, будете указывать мне, когда можно и когда нельзя? — спросил "он" несколько иронически.

— Не я-с, а закон-с.

— Весьма любопытно.

На этот раз разговор исчерпался; но в то же утро, придя в губернское правление и проходя мимо шкафа с законами, помпадур почувствовал, что его нечто как бы обожгло. Подозрение, что в шкафу скрывается змий, уже запало в его душу и породило какое-то странное любопытство.

Что заключается в этих томах, глядящих корешками наружу? Каким слогом написано то, что там заключается? Употребляются ли слова вроде "закатить", "влепить", которые он считал совершенно достаточными для отправления своего несложного правосудия? Или, быть может, там стоят совершенно другие слова? И точно ли там заключается это странное слово "нельзя", которое, с самой минуты своего вступления в помпадуры, он считал упрямленным и о котором так не в пору напомнил ему правитель канцелярии?

Все это было до такой степени любопытно, что, несмотря на то, что он всячески старался не выказать своего беспокойства, но под конец не выдержал-таки и, как-то боязливо улыбаясь, обратился к правителю канцелярии:

— А, нуте-с: желаю я, например, подвергнуть телесному наказанию мещанина Прохорова... как-с? разрешите вы мне или нет?

— Мне что же-с! не я, а закон-с.

— Ну, положим, хоть бы и закон-с?

Правитель канцелярии направился было к шкафу, но на полдороге остановился.

— Келейно высечь-с? — спросил он.

— Нет, не келейно, а как следует... по закону-с!

Правитель канцелярии раскрыл том и показал статью о лицах, изъятых от телесного наказания.

Он прочитал однажды; потом как-то механически повторил прочитанное по складам. На него вдруг пахнуло чем-то совершенно новым и неожиданным.

— А в указе, который по сему предмету издан был, даже прямо истолковано, — объяснял между тем правитель канцелярии, — что мещане потому от телесного наказания изъеются, что они, как образованные, имеют больше чувствительности...

— А в каком университете Прохоров образование получил?

— Какое образование-с... просто дикий человек-с!

— Влепить ему!»¹

Из дальнейших бесед с начальником канцелярии, однако, следовало, что такое пренебрежение законом не может пройти бесследно. На вопрос же Козелкова, до каких пор он может нарушать закон, последовал ответ: «до поры, до времени-с». Эта многозначная, многозначительная и столь же неопределенная фраза не давала покоя жаждущему определенности помпадуру. Кроме того, из дальнейшего разговора с мудрым Разумником Семенычем всплыла и до сих не упоминаемая фигура ревизора, могущего выступить для помпадура врагом. Но как соотносятся между собой ревизор и шкаф с законами? И Козелков принялся рассуждать.

«Что такое ревизор? Это человек, сложенный из такого же материала, как и он, помпадур. Это помпадур в квадрате — и ничего больше. Он приступает к делу с такими же голыми руками, как и самый последний из помпадуров. Он может знать, что происходит в шкафу с законами, но может и не знать — дело от того отнюдь не пострадает. Он тоже ограничен словами "до поры до времени" и, стало быть, в свою очередь, должен состоять в непрерывном опасении другого ревизора. Этот последний будет уже помпадур в кубе, но все-таки не более как помпадур, имеющий в виду грядущего вдали помпадура четвертой степени. Какое же отношение ко всему этому может иметь шкаф с законами?

Но, быть может, в этом шкафу заключался не самый источник "поры" и "времени", а только тот материал, который давал возможность в удобный, по усмотрению, момент определить "пору" и "время"? Это ли хотел сказать правитель канцелярии?

Вероятнее всего, последний именно так и разумел это дело. Он был слишком опытен в обращении с шкафами, чтобы видеть в них что-нибудь больше, нежели простые шкафы. За бытность его в этой должности, перед глазами его преемственно прошло до десятка помпадуров, и все они исчезли, как дым, именно в силу правила: до поры до времени. В этом правиле заключалась, по мнению его, вся жизнь. Он распространял его не только на помпадуров, но и на всю природу, на все окружающее. Видел ли он беззаветное ликование или осторожность, доходящую до трепета, он говорил: до поры до времени, и всегда оказывался

¹ Там же. С. 135—136.

пророком. На ликующего человека набегал помпадур и с словами: "Ты что горло-то распустил?" — приказывал взять его в часть. Тот же помпадур набегал и на осторожного человека и с словами: "Прятаться, что ли, ты от меня хочешь?" — тоже приказывал взять его в часть. Даже и самого себя правитель канцелярии не исключал из этого правила и знал, что и для него придет пора и время»¹.

Однако если для правителя канцелярии «закон жизни "до поры, до времени" был несомненен, то с ним не мог согласиться помпадур Козелков. Пытаясь найти разгадку в самой действительности, он, как многие герои русских литературных произведений (Чичиков, герои соллогубовского «Тарантаса» или некрасовские крестьяне, например), отправляется в мир. Ответ на вопрос, нужны ли помпадуры и от каких источников — от повелений помпадуров или предписаний законов — эта жизнь питается, Козелков пожелал узнать от самого народа, «чистого сердцем и нищего духом».

Первое, что поразило его в процессе шествия по базарной площади, где жители города скапливаются и куда он направился прежде всего, так это то, что народ, не знающий о том, что он — помпадур, совершенно его не замечает. Полицейского унтер-офицера замечает, дорогу уступает, знаки внимания и всяческой готовности обрести если не дружбу, то хотя бы временное расположение, выказывает, а ему, помпадуру, у которого этих ничтожных унтер-офицеров множество, нет. Кроме того, и сами слова «закон» и «помпадур» ни разу не долетели до его слуха! Торговец кожами, к которому Козелков обратился, не узнал его и не знал его, градоначальника, имени. А на вопрос: «как живете?», — последовал тот же загадочный ответ: «до поры, до времени».

Козелков не унимается:

«— Почтеннейший! — обратился он к мещанину, — я человек приезжий и имею надобность до вашего градоначальника. Каков он?

— А как вам, сударь, сказать. Нужды мы до сих пор в господине градоначальнике не видели.

— Однако ж?

— Так точно-с. От съезжей покуда бог миловал, а о прочем о чем же нам с господином градоначальником разговор иметь?

— Стало быть, так живете, что и опасаться вам нечего?

¹ Там же. С. 139—140.

— Ну, тоже не без опаски живем. И в Писании сказано: блюдите да опасно ходите. По нашему званию каждую минуту опасаться должно.

— Чего же вы боитесь? о градоначальнике, как вы сами сейчас сказали, даже понятия не имеете — закон, что ли, вам страшен?

— И о законе доложу вам, сударь: закон для вельмож да для дворян действие имеет, а простой народ ему не подвержен!

— Не понимаю.

— Да и не легко понять-с, а только действительно оно так точно. Потому народ — он больше натуральными правами руководствуется. Поверите ли, сударь, даже податей понять не может!

— Однако чего же nibудь да боитесь вы?

— Планиды-с. Все до поры до времени. У всякого своя планида, все равно как камень с неба. Выйдешь утром из дому, а воротишься ли — не знаешь. В темном страхе — так и проводишь всю жизнь.

— Но я надеюсь, что господин градоначальник настолько справедлив, что ежели вы ничего не сделали...

В это время к беседующим подошел сельский священник и дружески поздоровался с продавцом картин.

— Вот, отец Трофим, господин приезжий сведение о господине градоначальнике получить желают.

— Надобность имеете? — спросил отец Трофим.

— Да-с, надобность.

— Личного знакомства с господином градоначальником не имею, да и надобности до сих пор, признаться, не виделось, но, по слухам, рекомендовать могу. К храму божьему прилежен и мзду приемлет без затруднения... Только вот с законом, по видимому, в споре находится.

— А они вот и насчет законов тоже разговорились, — вставил свое слово продавец картин, — спрашивают, боится ли простой народ закона?

— Закон, я вам доложу, наверху начертан. Все равно, как планета...»¹

Неизвестно, чем бы закончились душевные терзания и умственные искания помпадура Козелкова, если бы, как гром среди ясного неба, он не был заменен новым градоначальником. И если при Козелкове, «который любил соединять вели-

¹ Там же. С. 150—151.

чие с приветливостью и даже допускал, что самые заблуждения людей не всегда должны иметь непременно последствием расстреляние», при котором горожане «стали в глаза говорить друг другу комплименты, называть друг друга "гражданами", уверять, что другой такой губернии днем с огнем поискать, устраивать по подписке обеды в честь чьего-нибудь пятилетия или десятилетия, а иногда и просто в ознаменование беспримерного дотоле увеличения дохода с питий или бездоимочного поступления выкупных платежей»¹ губерния зажила несколько по-человечески, то при новом начальнике все вернулось на круги своя.

«По внешнему виду, в нем не было ничего ужасного, но внутри его скрывалась молния.

Как только он почуял, что перед ним стоят люди, которые хотя и затаили дыхание, но все-таки дышат, — так тотчас же вознегодовал.

Но он был логичен. Он не вошел даже в разбирательство, кто перед ним: консерваторы или либералы.

И вот он раскрыл рот. Едва он сделал это, как молния, в нем скрывавшаяся, мгновенно вылетела и, не тронув нас, прямо зажгла древо гражданственности, которое было насаждено в душах наших...

Случайность эта спасла нас. При кликах всеобщей суматохи, он дал каждому из нас по несколько щипков и затем всецело предался внутреннему ликованию.

Но по мере того, как он щипал нас, мы чувствовали, как догорает наше милое, дорогое древо гражданственности.

— О древо! — уныло восклицали мы, — с какими усилиями мы возрастили тебя и, возрадив, с каким торжеством публиковали о том всему миру! и что ж! пришел некто — и в одну минуту испепелил все наши насаждения!

Мы уцелели — но уже без древа гражданственности. Мы не собираемся вокруг него и не щебечем. Мы не знаем даже, надолго ли "он" оставил нам жизнь... Но, соображаясь с веяниями времени, твердо уповаем, что жизнь возможна для нас лишь под одним условием: под условием, что мы обязываемся ежемгновенно и неукоснительно трепетать...»²

Итак, история помпадура Козелкова закончилась тем же, с чего, по воле случая, она и началась. Впрочем, тема либе-

¹ Там же. С. 170.

² Там же. С. 180—181.

ральных исканий и насаждения «древа гражданственности» в горожанах Щедриным была продолжена образом другого помпадур.

Еще один представленный в полноте характера и деяний помпадур — Феденька Кротиков, в отличие от Дмитрия Павловича Козелкова, при всей изначальной похожести на представленного ранее, в своей вотчине — Навозном краю — развернул целую политическую эпопею. В помпадуры он угодил почти что случайно: как-то в компании сболтнув хлесткую фразу, вроде того, что Россию губит излишняя централизация и что ее необходимо децентрализовать, то есть эмансипировать помпадуров, усилив их власть. При этом он обладал добрым сердцем и потому отличался от злых помпадуров, которые, не обладая никакими знаниями и, следовательно, ограничениями, руководствовались лишь нахальством. Они во все вмешивались, всем мешали, везде видели посягательство на собственную власть или попытку ее оскорбления. Поэтому они с утра до вечера все искали, как бы кого истребить, скрутить, согнуть в бараний рог.

Напротив, помпадурская праздность, хоть и невежественная, но соединенная с добродушием, не только не вредила обывателю, но даже представляла некоторые выгоды. Добрый помпадур, отмечает Щедрин, застенчив; он никому не мешает и даже избегает лишних объяснений, потому что боится сболтнуть что-нибудь несообразное и выказать несостоятельность. Значение своей политики он полагает лишь в том, чтобы не препятствовать другим. Он посещает клуб и всех призывает к согласию. Он ездит на пироги, обеды и ужины и всем желает благополучия. Хороши добрые, невежественные помпадуры! Таким — добрым — был и Феденька Кротиков.

Вместе с тем он, в отличие от Козелкова, не был бездеятелен. У него была программа, состоящая из ряда пунктов. Прежде всего, в видах поднятия народного духа, он полагал необходимым всенародно объявить: «1) что занятие курением табака свободно везде, за нижеследующими исключениями (следовало 81 п. исключений); 2) что выбор покроя одежды предоставляется личному усмотрению каждого, с таковым, однако ж, изъятием, что появление на улицах и в публичных местах в обнаженном виде по-прежнему остается недозволительным, и 3) что преследование за ношение бороды и длинных волос прекращается, а все начатые по сему предмету дела предаются забвению, за

исключением лишь нижеследующих случаев (поименовано 33 исключения)»¹.

Первое время административных подвигов Феденьки Кротикова было лучшим. «Это было время либерализма безудовольного, которому не только не служило помехой отсутствие мудрости, но, напротив того, сообщало какой-то ликующий характер. Феденька рвался вперед, нимало не думая о том, какие последствия будет иметь его рвение. Он писал циркуляры о необходимости заведения фабрик, о возможности, при добром желании, населить и оплодотворить пустыни, о пользе развития путей сообщения, промыслов, судоходства торговли, и изъявлял надежду, что земледелие, споспешествуемое, с одной стороны, садоводством, а с другой — разведением улучшенных пород скота, принесет желаемые плоды и, таким образом, оправдает возлагаемые на него надежды. Он призывал к себе для совещания купцов и доказывал им неотложность учреждения кожевенных и мыловаренных заводов, причем говорил: прошу вас, господа, а в случае надобности, даже требую. Он приглашал дворян и говорил, что дворянское сословие всегда было опорой, а потому и теперь должно первое подать пример. В ожидании же результатов этой судорожной деятельности, он делал внезапные вылазки на пожарный двор, осматривал лавки, в которых продавались съестные припасы, требовал исправного содержания мостовых, пробовал похлебку, изготовляемую в тюремном замке для арестантов, прекращал чуму, холеру, оспу и сибирскую язву, собирал деньги на учреждение детского приюта, городского театра и публичной библиотеки, предупреждал и пресекал бунты и в особенности выказывал страстные порывы при взыскании недоимок»².

К несчастью, относительного успеха помпадур достиг лишь по части пресечения бунтов и взыскания недоимок. Ко всем прочим его инициативам общество отнеслось безучастно. Фабрики не учреждались, холера не прекращалась, судоходство не развивалось, купцы продолжали коснеть в невежестве, а земледелие, споспешествуемое сибирскою язвою, давало в результате более лебеды, нежели истинного хлеба. Это тем более озадачило Феденьку, что он, как вообще все администраторы подобного рода, не имел надлежащей выдержки и был скорее способен

¹ Там же. С. 183.

² Там же. С. 184.

являть сердечную пылкость, нежели упорство в преследовании административных целей.

Феденька разочаровался в либерализме, воочию убедился в лживости идеи, согласно которой «либеральный дух охватил Россию». Он не обнаружил в российском обществе той инициативы, которая отличает истинно великие народы. В этой связи в своем циркуляре в Петербург он даже пожаловался на то, что «упразднение крепостного права многие надежды оставило без осуществления, а прочие и совсем прекратило», что «помещики, под влиянием досады, возбужденной в них упразднением крепостного права, бросились вырубать принадлежащие им леса и продавать оные за бесценок. К сожалению, ощутительной выгоды от сего они не получили никакой, а стране между тем причинили несомненный ущерб»¹.

Кроме отмены крепостного права, тормозом общественного развития Кротиков начал подозревать появление гласных судов и земских управ, равно как случившуюся на другом конце Европы Парижскую коммуну и франко-прусскую войну. Впрочем, хотя международные факторы вскоре отпали, дело развития Навозного края все не шло. И вот в этот момент, когда последние надежды казались утраченными навсегда, Феденька вдруг открыл, что мощным стимулом прогресса является система, «которая позволяет без всякого повода, без малейшего факта бить тревогу и ходить войною вдоль и поперек, приводя в трепет оторопелых обывателей...»².

Борьба как цель и одновременно как процесс, как привычное и достойное в глазах многих занятие, оказалась, кроме всего прочего, и очень удобной для градоначальника. Для него исчезла необходимость что-то понимать, а возникла нужда «определять направление», «ставить задачи», «разворачивать знамена», «бодрить дух».

Вынимая из глубин российского сознания и формулируя эту увлекательную для населения страны, постоянно возникающую в ее истории привычную задачу — задачу борьбы (наряду с неизбежным — защитой Отечества, — история полна и изобретаемых государством новаций: бесконечные продвижения на новые территории, благостное окультуривание, умиротворение и в то же время «цивилизация» диких народов и племен), Щедрин при-

¹ Там же. С. 187.

² Там же. С. 191.

бегает к установлению прямых связей своего анализа-повествования с широкими пластами русской философствующей прозы. Вот выдержки из этого текста: душою задуманного заговора будет, конечно, он сам, Феденька, — «...рыцарь без страха и упрека... Пособниками у него будут: правитель канцелярии, два чиновника особых поручений, отрекшиеся от либерализма, и все частные пристава. Для большего эффекта можно будет еще прихватить Ноздрева, Тараса Скотинина и Держиморду. Ассистенты: предводитель и командир гарнизонного батальона»¹.

В процессе борьбы Кротикову пришлось сменить либерализм на консерватизм в поставив во главу угла всегда необходимый и безоговорочно всеми поддерживаемый принцип нравственного возрождения. Взглянув в этом новом качестве на своих прежних товарищей либералов, помпадур Навозного края «выказал при этом такую решимость, что многие тут же раскаялись и только этим успели избежать заслуженной кары. Первым принес покаяние правитель канцелярии Лаврецкий и увлек за собой чиновников особых поручений Райского и Веретьева. Лаврецкий в это время уже являл собой только жалкое подобие прежнего Лаврецкого. Он до того ожирел, что лишь с трудом понимал, какие идеи — либеральные и какие — консервативные. Притом же, имея большое семейство и мотовку-жену, он не мог пренебрегать и жалованьем, тем больше, что Дворянское Гнездо, приносившее при крепостном праве прекрасный доход, теперь ровно ничего не давало. Поэтому, когда Феденька объявил ему, что отныне им предстоит борьба, то он как-то апатически пожевал губами и, сказав: "Что ж... по мне, пожалуй", отправился в канцелярию писать циркуляр о благополучном вступлении Феденьки в новый фазис административной проказливости. Что же касается до Райского и Веретьева, то первый из них не решался выйти в отставку, потому что боялся огорчить бабушку, которая надеялась видеть его камер-юнкером, второй же и прежде, собственно говоря, никогда не был либералом, а любил только пить водку с либералами, какового времяпровождения, в обществе консерваторов, предстояло ему, пожалуй, еще больше. Из остальных либералов Марк Волохов отнесся к Феденькиным проказам как-то загадочно, сказав, что ему кто ни поп, тот батька и что таких курицыных детей, как обыватели Навозного, всяко возрождать можно. Затем остался

¹ Там же. С. 193.

Рудин, который, подобрав небольшую шайку "верных", на скорую руку устроил комитет общественного спасения и в полном его составе отправился агитировать страну в тот край, где помпадурствовал Петька Толстолобов»¹.

Ответ на вопрос о том, почему Щедрина понадобилось не только для акцентирования своей идеи, но и вполне иронически включать в текст героев Фонвизина, Гоголя, Гончарова и Тургенева, нужно искать в истории литературы, в том числе среди сведений о личных симпатиях и антипатиях Щедрина по отношению к авторам «Недоросля», «Ревизора», «Обрыва», «Дворянского гнезда» и «Рудина». Что же до моего мнения, то я думаю, что этот беспрецедентный в истории литературы прием, кроме прочего, позволяет читателю глубже осознать историческую масштабность произносимого автором приговора российской действительности.

Помпадур, сменивший свой политический курс с либерального на консервативный и теперь определяемый расплывчатым словом «борьба», внес еще более неопределенности тем, что сделал ставку на доселе неизвестные в городе социальные слои: всех выбывших из строя либералов Феденька немедленно заменил «шалопаями». «Тут прежде всего фигурировали: Ноздрев, Тарас Скотинин и Держиморда (разыскивали и Сквозника-Дмухановского, но оказалось, что он умер, состоя под судом), которые и сделались главными исполнителями всех Феденькиных предначертаний. Шалопаи сновали по улицам, насупивши брови, фыркая во все стороны и не произнося ни единого звука, кроме "го-го-го!". Вид их навел в либеральном лагере такую панику, что даже либералы посторонних ведомств ("независимые", как они сами себя называли) — и те струсили. Уныло бродили они по улицам, копя вздохами твердь небесную, не решаясь оставить ни службы, ни либерализма, путаясь между зависимостью и независимостью и ежемгновенно терзаясь надеждой, что их простят. Но шалопаи не прощали. С зоркостью коршуна намечали они скрывающегося в кустах либерала и тотчас же ошпыльвали его, испуская при этом злорадно-ироническое цырканье. Ряды либералов странным образом поредели, и затем в течение какого-нибудь месяца погибли все молодые насаждения либерализма. Земская управа прекратила покупку плевалниц, ибо Феденька по каждой покупке входил в пререкания; присяжные

¹ Там же. С. 201—202.

выносили какие-то загадочные приговоры, вроде "нет, не виновен, но не заслуживает снисхождения", потому что Феденька всякий оправдательный или обвинительный (все равно) приговор, если он был выражен ясно, считал внушенным сочувствием к коммунизму и галдел об этом по всему городу, зажигая восторги в сердцах предводителей и предводительш»¹.

На столь странный выбор поддерживающей его общественной силы мудрый Феденька отвечал, что сейчас такое время, что ничего определенного ни в либеральном, ни в консервативном смысле определить нельзя, и потому остается лишь опираться на мерзавцев.

Впрочем, и в этом выборе помпадур опасался зайти слишком далеко. Тут, однако, очень кстати поспело известие из Франции о том, что тамошние власти публично отреклись от сатаны, и Феденька замыслил сделать подобное в Навозном. С этой целью он обратился к известному в губернии Пустыннику, который, вопреки неизвестно как сложившемуся общественному мнению, терпеть не мог уединения и жил в постоянном веселии в кругу друзей и почитателей. Само собой, что, выслушав предложение помпадура возглавить «отречение от сатаны», он отказался, поручив, однако, Феденьке, ежели тот все же вызовет для сражения и публичного посрамления черта, плюнуть ему в рожу.

Более того. Выведенный наконец из равновесия домогательствами Феденьки, он высказал ему свое мнение:

«— ...С сатаной полемику вести хочешь! А я так думаю, что из всего этого пикник у вас, у благонамеренных, выйдет! Делать тебе нечего — вот что!

...А ты, извини ты меня, завистлив очень. Своего-то у тебя дела нет, так ты другим помешать норовишь. Ан вот и вред. Изволь, спрошу я тебя: управа ли, суд ли — чем они тебе поперек горла встали? пошто ты на всяк час их клянeshь? Дело свое они делают — достоверно знаю, что делают! тебя не замают — чего еще нужно! Да и люди отменные! Заговорят — заслушаешься: ровно на гусях играют! Скажи ты мне, Христа ради, какую такую строптивость ты в них заметил?

...Это все у тебя от думы. Брось! пушай другие думают! Эку сухоту себе нашел: завидно, что другие делами занимаются — за чем не к нему все дела приписаны!»²

¹ Там же. С. 202.

² Там же. С. 206—207.

Тем не менее помпадур публичное отречение от прежних заблуждений провел, о чем и выпустил соответствующий циркуляр. Одновременно он полностью отказался от услуг либерала Лаврецкого и положился на Скотинина с Ноздревым и Держимордой, которые неумоимо блюли, чтоб «сегодняшние скотининские предначертания были выполнены неукоснительно. В продолжение целого дня они врывались в частные жилища, делали выемки, хватали, ловили, расточали и к ночи являлись к Скотнину с целыми ворохами захваченных книг и бумаг, которые Кутейкин принимал для дальнейшего рассмотрения. Ноздрев, по свойственной ему пылкости нрава, не раз порывался взять взятку, но Держиморда постоянно его удерживал.

— Рано! — увещевал он, — надобно сначала хорошенько себя зарекомендовать! Потом наверстаем!

А Феденька, видя, что у него день и ночь кипит деятельность, утешался этим и говорил:

— On me dit que ce sont des chenapans — est-ce que j'en doute! Mais ils font à merveille mes affaires, et c'est tout ce qu'il me faut! (Мне говорят, что это мерзавцы, — разве я в этом сомневаюсь! Но они чудесно обделывают мои дела, а это все, что мне нужно!)»¹.

Преследование обывателей имело вполне содержательное наполнение. Так, была объявлена борьба за покаяние и против материализма. В своем циркуляре Феденька писал: «Лучше совсем истребить науки, нежели допустить превратные толкования», а «Скотинин, как дважды два четыре, доказал ему, что всякое усилие, делаемое человеком, с целью оградить себя от каких-либо случайностей, есть бунт против неисповедимых путей. А посему: не следует ни пожаров тушить, ни принимать какие-либо меры против голода или повальных болезней. Все это посылается не без цели, но или в видах наказания, или в видах испытания. Следовательно, и в том и в другом случае не требуется ничего, кроме покорности и твердости в перенесении бедствий.

— Я, вашество, сам на себе испытал такой случай, — говорил Тарас. — Были у меня в имении скотские падежи почти ежегодно. Только я, знаете, сначала тоже мудровал: и ветеринаров приглашал, и знахарям чертову пропасть денег просадил, и попа в Егорьев день по полю катал — все, знаете, чтоб польза была.

¹ Там же. С. 214.

Хоть ты что хочешь! Наконец я решился-с. Бросил все, пересек скотниц и положил праздновать ильинскую пятницу. И что ж, сударь! с тех пор как отрезало. Везде кругом скотина, как мухи мрет, а меня бог милует!»¹.

Однако и в этом интеллектуальном прозрении, к которому помпадур подошел через отрицание либерализма, консерватизма и через приятие учения о борьбе, он все же не был оригинален. Теория, до которой Феденька додумался лишь трудным процессом либеральных разочарований, «была во все времена основанием всех верований обывателей, всей их жизни. Исстари они безропотно помирали, исповедуя, что против беды да попушения, как ни мудруй, ничего не поделаешь. Исстари повелось у них так, что сегодня человек пироги с начинкой ест, а завтра он же, под окнами у соседей, куски выпрашивает. При всем своем простодушии, Феденька отлично постиг это свойство навозенцев. Он понял, что если край будет и вконец разорен вследствие набегов Ноздрева и Держиморды, то у него все-таки останется мужицкая спина, которая имеет свойство обрастать гуще и пушистее по мере того, как ее оголяют.

Итак, и Феденька, и Навозный край зажили на славу, проклиная либералов за то, что они своим буйством накликali на край различные бедствия. Сложилась даже легенда, что бедствия не прекратятся, покуда в городе существует хоть один либерал, и что только тогда, когда Феденька окончательно разорит гнездо нечестия, можно будет не страховать имущество, не удобрять полей, не сеять, не пахать, не жать, а только наполнять житницы...»².

Но не всегда в окормляемых помпадуром краях происходили столь существенные события как только что представленная смена политических ориентиров. Бывали и времена, как, к примеру, в первые дни Великого поста, когда веселия и обильных застолий не наблюдалось, вообще ничего не происходило. Более того, даже на возникшее было желание посетить со скуки редакцию «нашей уважаемой газеты» с целью покалякать и узнать, не предвидится ли новых реформ, в упреждение от главного редактора была получена записка: «Приходить незачем; реформ нет и не будет; калякать не о чем»³.

¹ Там же. С. 215.

² Там же. С. 217—218.

³ Там же. С. 218.

Пытаясь спастись от скуки, «сажусь, однако, беру первую попавшуюся под руку газету и приступаю к чтению передовой статьи. Начала нет; вместо него: "Мы не раз говорили". Конца нет; вместо него: "Об этом поговорим в другой раз". Срединка есть. Она написана пространно, просмакована, даже не лишена гражданской меланхолии, но, хоть убей, я ничего не понимаю. Сколько лет уж я читаю это "поговорим в другой раз!" Да ну же, поговори! — так и хочется крикнуть...

Я с детских лет имею вкус к русской литературе. Всегда был усердным читателем, и, могу сказать по совести, даже в то время, когда цензор одну половину фразы вымарывал, а в остальную половину, в видах округления, вставлял: «О ты, пространством бесконечный!» — даже и в то время я понимал. Отсеку, бывало, одно слово, другое от себя прибавлю — и понимаю. Но именно нынче возник у нас особенный отдел печатного слова, который решительно ничего не возбуждает во мне, кроме ропота на провидение. Это отдел передовых газетных статей. Читаю, читаю — и ничего ухватить не могу. Только что за что-нибудь ухвачусь, — глядь, уж пропало. Точно сквозь сито так и льется, так и исчезает...

Прежде у нас не было ни гласных судов, ни земских учреждений, но была цензура. При содействии цензуры литература была вынуждаема отсутствием своих собственных политических и общественных интересов вымещать на Луи-Филиппе, на Гизо, на французской буржуазии и т.д. Несмотря на это, писали не только понятно, но даже занятно. Как ни слаба была связь между мной и Луи-Филиппом, но мне было лестно, что русская журналистика не одобряет его внутренней политики. Во внушениях, делаемых Гизо, я видел известное мирозерцание; я толковал себе их так: уж если Гизо так проштрафился, то что же должно сказать о действительном статском советнике Держиморде? И вот, вместе с устроителями февральских банкетов, я кричал: à bas Louis-Philippe! à bas Guizot! (Долой Луи-Филиппа! долой Гизо!), кричал искренно и горячо, хотя лично ничего от того не выигрывал, что Луи-Филипп был 24 февраля 1848 года уволен без прошения в отставку. Выигрывал не я, а мое мирозерцание, выигрывали те политические и общественные идеалы, к которым я себя приурочивал.

Теперь у нас существуют всевозможные политические и общественные интересы. Все дано нам: и гласный суд, и земские учреждения, а сверх того многое оставлено и из прежнего. Тут-

то бы и поговорить. По поводу одного порадоваться, по поводу другого излить гражданскую скорбь. Ведь дело идет уж не о дотации герцога Немурского (напели мы за нее порядком Луи-Филиппу в свое время!), а о собственной нашей дотации, в форме гласностей, устностей и т.п. А между тем никто ничему не радуется, никто ни о чем не печалится. Как будто бы никаких дотаций и не бывало. Спыхватился было г. Головачев, издал книгу "Десять лет реформ"... целых десять лет! Но и он никого не утешил и не опечалил, а многих даже удивил.

— Видели, под стеклом "Десять лет реформ" стоят? — изумляясь, спрашивали одни.

— Какие "Десять лет реформ"? когда? зачем? — изумлялись в ответ другие.

И только.

Словом сказать, вкус к французской буржуазии пропал, а надежда проникнуть, при содействии крестьянской реформы, в какую-то таинственную суть не выгорела. И остался русский человек ни при чем, и не на ком ему свое сердце сорвать. В результате — всеобщая, адская скука, находящая себе выражение в небывалом обилии бесформенных общих фраз. Ничего, кроме азбуки, в самом пошлом, казенном значении этого слова. Менандр проводит мысль, что надо жить в ожидании дальнейших разъяснений. Агатон возражает, что жить в ожидании разъяснений не штука, а вот штука — прожить без всяких разъяснений. А бедный дворянин Никанор идет еще дальше и лезет из кожи, доказывая, что в таком обширном государстве, как Россия, не должно быть речи не только о "разъяснениях", но даже о "неразъяснениях" и что всякому верному сыну отечества надлежит жить да поживать, да детей наживать. И все это говорится с сонливою серьезностью, говорится от имени каких-то "великих партий", которые стоят-де за "нами" и никак не могут поделить между собою выеденного яйца. Скучное время, скучная литература, скучная жизнь. Прежде хоть "рабы речи" слышались, страстные "рабы речи", иносказательные, но понятные; нынче и "рабых речей" не слыхать»¹.

Еще один изображаемый Щедриным помпадурский тип — из деятельных преобразователей природы и общества. Его властвование мы не наблюдаем. Он только готовится направиться в назначенный ему город Паскудск. Сережа Быстрицын происходил

¹ Там же. С. 219—221.

из семейства мелких помещиков Чухломской губернии. В отличие от уже явленных типов, он, прежде всего прагматик, не лишенный, однако, страсти к конструированию масштабных замыслов. Он отдает себе отчет в том, что в истории отечественных помпадурств нет образцов, которыми стоило бы руководиться. «Это не зиждители, — говорит он, — а заплатных дел мастера. ... Никто не смотрит вглубь, никто не видит корня». Программа, которую он себе составил, отчетлива и, как ему представляется, предельно практична. «Иссушать и уничтожать только болота, а прочее все оплодотворять. Это, коли хочешь, тоже своего рода внутренняя политика, но политика созидающая, а не расточающая. Затем я приступаю ко второй половине моей программы и начинаю с того, что приготавливаю почву, необходимую для будущего сеяния, то есть устраняю вредные элементы, которые могут представлять неожиданные препятствия для моего дела. Таких элементов я главнейшим образом усматриваю три: пьянство, крестьянские семейные разделы и общинное владение землей. Вот три гидры, которые мне предстоит победить»¹.

На возражение собеседника, что все названное Быстрицыным находится под покровительством закона, следует вопрос: можно ли с любым обывателем, который сидит у себя дома и думает, что находится под покровительством закона, сделать все, что угодно, а, выражаясь образно, поступить с ним по столь любимому в России звуку "фьють"? Ответ очевиден, и потому Сережа с упоением спрашивает: но «ежели я, как помпадур, имею возможность обойти закон ради какого-то «фьють», то неужели же я поцеремонюсь сделать то же самое, имея в виду совершить нечто действительно полезное и плодотворное?»².

Объяснить свои идеи Быстрицын готов самолично, явившись на крестьянский сход. Он очень надеется на то, чтобы его вполне поняли. Но если этого не произойдет, то тогда (делать нечего) он поручит продолжать дело разъяснения исправнику.

Намерения Сережи Быстрицына собеседник пересказывает своему другу, и далее, переходя на новую форму изложения сюжетной линии, Щедрин выходит на собственное формулирование очень важных вещей, которые случились в России спустя немногим более пятидесяти лет с приходом к власти большевиков. В сатирической форме, в самых больших фантазиях не предпо-

¹ Там же. С. 231.

² Там же. С. 234.

лагая мысли о реальности высмеиваемого, автор «Помпадуров и помпадурш» оказывается провидцем кровавого будущего своего народа. Учитывая важность затронутой темы, воспроизведу диалог касательно планов нового помпадура полностью.

«И знаешь, что он ответил мне? Он ответил: если можно обойти закон для того, чтобы беспрепятственно произносить "фюить", то неужели же нельзя его обойти в видах возрождения? И я вынужден был согласиться с ним!

— И "ты вынужден был согласиться с ним!" — передразнивал меня Глумов.

— Да, потому что, если можно делать все, что хочешь, то, конечно, лучше делать что-нибудь полезное, нежели вредное!

Я так искусно играл силлогизмом: "полезная вещь полезна; Быстрицын задумал вещь полезную; следовательно, задуманное им полезно", — что Глумов даже вытаращил глаза. Однако он и на этот раз сдержал себя.

— Ну, хорошо, — сказал он, — ну, Быстрицын упразднит общину и разведет поросят...

— Не одних поросят! Это только один пример из множества! Тут целая система! скотоводство, птицеводство, пчеловодство, табаководство...

— И даже хреноводство, горчицеводство... пусть так. Допускаю даже, что все пойдет у него отлично. Но представь себе теперь следующее: сосед Быстрицына, Петенька Толстолобов, тоже желает быть реформатором а-ля Пьер ле Гран (Петр Великий). Видит он, что штука эта идет на рынке бойко, и думает: сем-ка, я удеру штуку! прекращу празднование воскресных дней, а вместо того заведу клоповодство!

— И опять-таки преувеличение! Клоповодство! Преувеличение, душа моя, а не возражение!

— Хорошо, уступаю и в этом. Ну, не клоповодством займется Толстолобов, а устройством... положим, хоть фаланстеров. Ведь Толстолобов парень решительный — ему всякая штука в голову может прийти. А на него глядя, и Феденька Кротиков возопиет: а ну-тко я насчет собственности пройду! и тут же, не говоря худого слова, декретирует: жить всем, как во времена апостольские живали! Как ты думаешь, ладно так-то будет?

Увы! я даже не мог ответить на вопрос Глумова. Я страдал, я так жаждал "отрадных явлений", я так твердо был уверен в том, что не дальше как через два-три месяца прочту в "нашей уважаемой газете" корреспонденцию из Паскудска, в которой будет

изображено: "С некоторого времени наш край поистине сделался ареной отрадных явлений. Давно ли со всех сторон стекались мирские приговоры об уничтожении кабаков, как развратителей нашего доброго, простодушного народа, — и вот снова отовсюду притекают новые приговоры, из коих явствует, что сельская община, в сознании самих крестьян, является единственным препятствием к пышному и всестороннему развитию нашей производительности!» Да, я ждал всего, я надеялся, я предвкусывал! И вдруг — картина! Клоповодство, фаланстеры, возвращение апостольских времен! И, что всего грустнее, я не мог даже сказать Глумову: ты преувеличиваешь! ты говоришь неправду! Увы! я слишком хорошо знал Толстолобова, чтобы позволить себе подобное обличение. Да, он ни перед чем не остановится, этот жестоковыйный человек! он покроет мир фаланстерами, он разрежет грош на миллион равных частей, он засеет все поля персидской ромашкой! И при этом будет, как вихрь, летать из края в край, возглашая: га-га-га! го-го-го! Сколько он перековеркает, сколько людей перекалечит, сколько добра погадит, покамест сам наконец попадет под суд! А вместо него другой придет и начнет перековерканное расковеркивать и опять возглашать: га-га-га! го-го-го! Ведь были же картофельные войны, были попытки фаланстеров в форме военных поселений, были импровизированные, декорационные селения, дороги, города! Что осталось от этих явлений! И что стоило их коверканье и расковерканье?

— А я бы на твоём месте, — продолжал между тем Глумов, — обратился к Быстрицыну с следующей речью: Быстрицын! ты бесспорно хороший и одушевленный добрыми намерениями человек! но ты берешься за такое дело, которое ни в каком случае тебе не принадлежит. Хороша ли сельская община или дурна, препятствует ли она развитию производительности или не препятствует — это вопрос спорный, решение которого (и в особенности решение практическое) вовсе до тебя не относится. Предоставь это решение тем, кто прямо заинтересован в этом деле, сам же не мудрствуй, не смущай умов и на закон не наступай! Помни, что ты помпадур и что твоё дело не созидать, а следить за целостью созданного. Созданы, например, гласные суды — ты, как лев, стремись на защиту их! Созданы земства — смотри, чтобы даже ветер не смел венуть на них! Тогда ты будешь почтен и даже при жизни удостоишься монумента. Творчество же оставь и затем — гряди с миром.

— Но что же, наконец, делать? — воскликнул я с тоскою, — что делать, ежели, с одной стороны, для административного творчества нет арены, ежели, с другой стороны, суды препятствуют, земства препятствуют, начальники отдельных частей препятствуют, и ежели, за всем тем, помпадур обладает энергией, которую надобно же как-нибудь поместить!.. Где же исход?

— А ежели человек уж через край изобилует энергией, то существует прелестное слово "фюить", которое даже самого жестоковыйного человека по горло удовлетворить может!

— Фюить! помилуй! да это, наконец, постыдно!

— Постыдно, даже глупо, но до известной степени отвечает потребностям минуты. Во-первых, нечего больше говорить. Во-вторых, это звук, который, как я уже сказал, представляет очень удобное помещение для энергии. В-третьих, это звук краткий, и потому затрогивающий только единичные явления. Тогда как пресловутое жидительство разом коверкает целый жизненный строй...»¹

Но неужели нет никакой надежды на лучшую жизнь, спросит иной читатель. И, как бы отвечая на этот запрос, Щедрин завершает свою эпопею утопией под названием «Единственный».

Этот необыкновенный помпадур даже среди необыкновенных был самый необыкновенный. Он был самым простодушным помпадуром в целом мире. Ни наук, ни искусств он не знал; но если попадалась под руку книжка с картинками, то рассматривал ее с удовольствием. в особенности нравилась ему повесть о похождениях Робинзона Крузо на необитаемом острове (к счастью, изданная с картинками). «В администрации он был философ и был убежден, что самая лучшая администрация заключается в отсутствии таковой.

...Иногда он развивал свои административные теории очень подробно.

— Всякий, — говорил он, — кого ни спросите, что он больше любит, будни или праздник? — наверное ответит: праздник. Почему-с? а потому, государь мой, что в праздник начальники бездействуют, а следовательно, нет ни бунтов, ни соответствующих им экзекуций. Я же хочу, чтоб у меня всякий день праздник был, а чтобы будни, в которые бунты бывают, даже из памяти у всех истребились!

Или:

¹ Там же. С. 240—243.

— До сих пор так было, что обыватель тогда только считал себя благополучным, когда начальник находился в отсутствии. Сии дни праздновали и, в ознаменование общей радости, ели пироги. Почему, спрашиваю я вас, все сие именно так происходило? А потому, государь мой, что, с отъездом начальника, оставалась тишина. Никто не скакал, не кричал, не спешил, а следовательно, и не сквернословил-с. я же хочу, чтобы на будущее время у меня так было: если я даже присутствую, пускай всякий полагает, что я нахожусь в отсутствии!

Но что более всего привлекало к нему сердца — это административная стыдливость, доходившая до того, что он не мог произнести слово «сечь», чтоб не сгореть при этом со стыда»¹.

Выяснив, что в каждой из подписываемых им ежедневно бумаг содержалось указание сечь, он приказал не давать на подпись более одной, а впоследствии, когда в своих устремлениях достаточно укрепился, то и вовсе перестал бумаги подписывать. В своих жизненных принципах он руководствовался, в частности, тем, что явлений не существует, если их существования не признавать. Так, в отношении французской революции 1789 года он заключил: просто-напросто умные люди об умных предметах промежду себя разговор хотели иметь, а господам французским квартальным показалось, что какие-то революции затеваются-с! Что же до каких-то назревающих и требующих разрешения дел, то он полагал, что нужно вести себя так, чтобы дело это «измором изныло» и тем самым к разрешению пришло.

Изучив вопрос о выборе помпадурши, он пришел к выводу, что большинство историй кончалось трагически, и потому для себя решил быть предельно осторожным и никоим образом себе не навредить. Потому в конце концов его выбор пал на вдовую дочь содержателя кабака, которую он выбрал «за сахарное тело и за простоту».

Живя таким образом и приучив в конце концов к своему поведению все городское начальство, он добился того, что не только власть предержащие, но и простые обыватели приобрели сытый и спокойный вид. В довершение ко всему он вообще перестал сноситься с внешним миром, и город был забыт. Но когда о нем вспомнили, то, увидев всеобщее благоденствие, сильно удивились. В изданном по этому случаю документе говорилось: «Да ведомо будет всем и каждому, ...что лучше одного помпаду-

¹ Там же. С. 244.

ра доброго, нежели семь тысяч злых иметь, на основании того общепризнанного правила, что даже малый каменный дом все-таки лучше, нежели большая каменная болезнь"»¹.

На этом помпадурские истории завершились, но Щедрин дополняет текст еще несколькими рассказами о помпадурах, услышанных от иностранцев. В них в сжатом виде вновь перечисляются основные помпадурские качества и характеристики. Так, в частности, о назначении помпадура говорится: «У помпадура нет никакого специального дела; он ничего не производит, ничем непосредственно не управляет и ничего не решает. Но у него есть внутренняя политика и досуг. Первая дает ему право вмешиваться в дела других; второй позволяет разнообразить это право до бесконечности»². Однако подобного рода наблюдения не добавляют ничего существенного к тому, что было сказано Щедринным ранее.

Обращение к Щедрину как одному из ярких выразителей русского мировоззрения наряду с прочим предполагает и знание о том, как к нему в этой связи относились его современники. Как и в случаях с другими философствующими литераторами, важно понимать — осознавал ли сам автор и его коллеги по литературе, во-первых, его намерение сказать нечто, относящееся именно к мировоззрению россиян и, во-вторых, как это сказанное оценивали современники. Напомню, что в отношении, например, И.С. Тургенева и А.И. Гончарова адекватного понимания того, что они делали в плане анализа русского мировоззрения, не было впрочем, и сам факт анализа практически не замечался не только современниками, но и литературоведами и философами советского времени.

Щедрина в этом смысле не повезло еще сильнее. Прежде всего, многие из создаваемых им образов, равно как и оценка всего им совершаемого в плане анализа российской действительности, грубо (если не сказать — примитивно) использовались в политических целях деятелями коммунистического толка, Ульяновым-Лениным прежде всего. Приведу одну из «глубоких» оценок, высказанных этим политиком: Щедрин учил русское общество «различать под приглаженной и напوماженной внешностью обрзованности крепостника-помещика, его хищные интересы»³.

¹ Там же. С. 262.

² Там же. С. 276.

³ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 43.

Что же касается современников Щедрина, то они также не проявили в оценках его творчества достаточной прозорливости. Вот как, например, отзывался об «Истории одного города» известный умеренно-либеральный западник А.С. Суворин, в своей журналистской и писательской деятельности исходивший из принципов широкой политической свободы, терпимости и неприятия узкого национализма. Всерьез отнесясь к представленной в «Истории» хронологии (щедринский Глупов основан в 1762 году), образу глуповского летописца и сравнив реально происходившие в истории России события с сатирическими фантазиями Щедрина, критик задается вопросом: для чего это написано? В реальной истории страны не было всей этой фантазмагии, да и русский народ вовсе не таков, чтобы по воле начальства дать себя «в кучу сложить и с четырех концов запалить». И, стало быть, написано это «для забавы и смеха, рассчитанных на читателей, снисходительных к здравому смыслу, к художественной правде и неразборчивых на юмор»¹. Суворин даже пытается укорить Щедрина, обращая наше внимание на высоты мировой сатиры — произведения Рабле, Свифта и Гоголя. Нельзя, говорит он, «отвергать народ, отвергать его здравый смысл и даже простую его житейскую сообразительность... Юмор не значит ни смех для смеха, ни карикатура для карикатуры»². И отчего Щедрин, которому, как признает Суворин, свойствен высокий талант, вдруг опустился до небывальщины и пустого высмеивания?

В этом же ключе, хотя и с более серьезным подтекстом, обрушивается на врага русского народа М.Е. Салтыкова-Щедрина его присяжный защитник Ф.М. Достоевский. (Слова «враг» и «защитник» не присутствуют в тексте Федора Михайловича, однако именно так выходит по содержанию его «критики».) В отличие от Суворина он не признает автора «города Пупова» (так он пытается лишний раз «уколоть» Щедрина) сколько-нибудь талантливым литератором. Более того: Щедрин, оказывается, только мелкая и злобная «шавка», которая ждала и наконец обрела своих литературных хозяев. Исполняя их волю, Щедрин «бросался на людей без причины, ни за что, а так, чтобы исполнить долг юмористики. Иногда его хвалили и гладили по головке», а «...он без зазору лял, глумился и срамил самых

¹ Библиотека русской критики. Критика 70-х годов XIX века. М.: «Аст. Издательство «Олимп»», 2002. С. 342.

² Там же. С. 352.

честных и толковых людей, наряду с паскуднейшими; была бы только юмористика»¹. Щедрин, по мнению Достоевского, «роется в дрянном положении, он копается в нем, он *исчерпывает* его; он как бы наслаждается этим исчерпыванием, нюхает это дрянное положение и рад тому, что нюхает, "скверно, так пусть же вот еще скверней будет!"².

Я думаю, что к теме о том, как русская литература «роется в скверном положении», у меня скоро будет возможность обратиться вполне содержательно, поскольку впереди анализ творений самого Федора Михайловича. А вот что касается глумления и лая без причины, то здесь провидец Достоевский хотя и сообщил миру о рождении в святой Руси бесовского отродья, все же своей фантазией не достиг провидения всех тех кошмаров, которые бесы, используя многие исконные характеристики этого самого народа, устроили-таки в XX столетии ад на одной шестой части земной суши. И даже провидения Щедрина (по воле начальства «нас в кучу сложи и с четырех концов запали») на самом деле окажутся недостаточно реалистичными: не «нас сложи», а сами себя по воле начальства в кучу складывали и с четырех концов зажигали. Впрочем, все это еще впереди, в веке XX-ом.

* * *

Завершая работу над творчеством «раннего» Щедрина, хотел бы отметить следующее. В анализ заявленной темы «новых» людей автор «Истории одного города» не вносит нового с точки зрения изобретения человеческих или профессиональных типов, неизвестных ранее в общественной жизни. Новаторами в этом отношении могут считаться, например, Чернышевский с его героями — Верой Павловной, Лопахиным, Кирсановым и Рахметовым, равно как и Гончаров с образом Андрея Ивановича Штольца.

«Новые» люди, «по Щедрину», — это хорошо известные русскому читателю «старые» типы, взятые, однако, с прежде не рассматривавшейся столь подробно стороны — как управляющие и управляемые. При этом управляемость впервые анализируется как тотальность, как процесс, который охватывает все стороны не только деятельности, но самой жизни — всех сфер существования человека, вплоть до распоряжения его пребыванием

¹ Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1980. Т. 20. С. 119.

² Там же. С. 120.

на земле. Во всех произведениях Щедрина обыватели — только игрушки в руках всесильной и вездесущей власти, живущие «до поры, до времени». И власть, рассмотренная во многих вариантах, общим знаменателем имеет одно: прекратить это обывательское существование, саму жизнь людей по любому, самому пустяшному собственному произволу.

В этом ракурсе рассмотрения российской действительности Щедрин выступает как философствующий художник, впервые начавший в отечественной гуманитарной традиции анализ темы тоталитаризма, широко представленной в прозе и поэзии XX столетия, когда тоталитаризм из первых ростков самодержавного деспотизма разросся в до сей поры невообразимые и тем более невиданные заросли коммунистического произвола. Таким образом, герои Щедрина, сами по себе являющиеся вполне «старыми» русскими художественными типами, вместе с тем оказываются вполне «новыми», будучи представлены с необычной стороны.

Глава 8

ЛЮБОВЬ И ДЕЛО В СИСТЕМЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ СМЫСЛОВ И ЦЕННОСТЕЙ РУССКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ: «АННА КАРЕНИНА» Л.Н. ТОЛСТОГО

Анализ фундаментальных смыслов и ценностей русского мировоззрения в философско-художественном творчестве Льва Толстого, начатый в предыдущей книге и ориентированный на период 40—60-х годов XIX столетия (и главное произведение этого периода — роман «Война и мир»), будет продолжен на материале позднейших периодов творчества автора, одним из центров которого стал роман «Анна Каренина». И хотя дата окончания работы над этим романом — 1878 год — выходит за заявленные книгой временные рамки, логика рассмотрения тем любви (страсти) и дела (не просто как занятия, а как смысла бытия) логично встраивается именно в избранную мной логику анализа содержания русского мировоззрения. Кроме того, образами Анны Карениной и Константина Левина Толстой вводит в русскую литературу то, что также вполне может быть названо типами «нового человека».

Сравнивая ведущие темы двух великих творений Льва Толстого — любви и дела, жизни и смерти (или, как это было в заданной «Войной и миром» интерпретации — мертвого и живого), отмечу следующее. В ряде ключевых пунктов роман «Анна Каренина» является не просто произведением, написанным вслед за «Войной и миром», но его развитием. Один из таких продолжающихся сюжетов — любовь женщины в высшей и аномальной, выходящей за пределы рационального форме ее проявления — страсти.

В «Войне и мире» к предмету этому — любви-страсти — Толстой только прикоснулся. И тому, очевидно, было несколько причин. Прежде всего, собственная эволюция автора еще не приблизила его к изучению этого феномена. (Напомню, что кроме «Анны Карениной» в позднейшие периоды теме страсти и связанной с ней похотью посвящены «Крейцера соната», «Дьявол», «Отец Сергий».) К исследованию этой темы Толстого,

далее, не располагал возраст, характер и опытность главных героев «Войны и мира» — Наташи и Андрея. Для князя Андрея страсть была невозможна в силу прожитого и перенесенного, того, что можно было бы назвать спокойствием опытности. Для Наташи — как в период ее отношений до несчастья, увлечения Анатодем Курагиным, так и после второй встречи с Андреем Болконским, — в силу ее молодости. Также нельзя назвать страстью и увлечение Наташи Курагиным. Впрочем, для различения этих явлений следует дать их понимание.

Автор «Войны и мира» не приблизился к подробному изучению этого феномена, вероятно, и в силу своей собственной эволюции. Как отмечают исследователи жизни и творчества Толстого, одной из его личных проблем, изжитых, может быть, лишь к старости, всегда была проблема телесного зова, любовного влечения, овладеть, подчинить своей воле которые великий мыслитель и жизнелюб с переменным успехом стремился всю жизнь, но, похоже, так до конца и не смог¹. И в период написания «Войны и мира» эта внутренняя борьба, происходившая в писателе, склонялась в его сознании к единственно верному и разумному, как он тогда думал, исходу. Пережившая внутреннее метания, Наташа превращалась Толстым в его тогдашний идеал женщины — матери многочисленного семейства, «плодотворной самки», не имеющей «собственных слов», но радующейся,

¹ В том, что это «пограничное» состояние было судьбой человека по имени Лев Николаевич Толстой, оказалось одним из величайших достижений русской классической литературы. «Л. Толстой есть величайший изобразитель этого не телесного и не духовного, а именно телесно-духовного — "душевного человека", той стороны плоти, которая обращена к духу, и той стороны духа, которая обращена к плоти — таинственной области, где совершается борьба между Зверем и Богом в человеке: это ведь и есть борьба и трагедия всей его собственной жизни, он ведь и сам по преимуществу человек "душевный", ни язычник, ни христианин до конца, а вечно воскресающий, обращающийся и не могущий воскреснуть и обратиться в христианство, полуязычник, полухристианин». (Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М.: Республика, 1995. С. 85). И еще: «Чем ближе Л. Толстой к телу или к тому, что соединяет тело с духом — к животностихийному, "душевному человеку", — тем вернее и глубже его психология или, точнее, его *психофизиология*. Но, по мере того, как, покидая эту, всегда под ним твердую и плодотворную, почву, переносит он свои исследования в область независимой, отвлеченной от тела духовности, сознательности — не страстей сердца, а *страстей ума* (ибо у человеческого ума есть так же, как у человеческого сердца, свои страсти, не менее сложные и глубокие: Достоевский — великий изобразитель этих именно *страстей ума*), — «психология» Л. Толстого становится сомнительной». Там же. С. 94.

когда зеленое пятно на пеленке младенца сменяется, наконец, желтым. Что же такое страсть?

Размышляя над природой этого феномена, в том числе адресуясь и к образцам мировой литературы, — Шекспиру, прежде всего, — несомненным мне представляется следующее. От любви страсть отличается прежде всего тем, что при ее появлении в человеке не затрагиваются его фундаментальные, сущностные нравственные качества, то есть те, которые дают ему о себе знать в виде постоянных размышлений и, что самое важное, не ведут его к поискам ответов на вопросы о добродетели, истине и красоте. (Впрочем, если таковые размышления и имеют место, то, как это показано, к примеру, в «Дьяволе» или «Отце Сергии», логический их итог не отменяет силы чувства.) Находясь под влиянием страсти, человек, как правило, обретает ложную уверенность в том, что в размышлении об этих предметах он не нуждается, что он уже априори обладает их истинным пониманием. И в этой связи человек, как ни странно, обретает способность и склонность действовать безоглядно, не рефлексировав и, в конце концов, иррационально. Вспомним, что, описывая Наташу в период ее увлеченности (преддверия страсти) Курагиным, Толстой изображает героиню как будто заколдованную, окутанную злыми чарами. Чары, овладевшие Наташей, начинают властвовать над ней с момента встречи с Курагиным в театре, что также не случайно. Театр, по определению, — мир сказочный. Под влиянием чар, потеряв способность не только к рефлексии, но и к здравому смыслу, Наташа теряет и волю. Ее увлечение обнаруживает себя как результат влияния чего-то внешнего, нападающего снаружи и овладевающего ее разумом, но не сердцем. (В этом, кстати, вновь дает о себе знать также очень русский, характерный для национального мировоззрения, дихотомический смысл «разум — сердце», с которым мы уже сталкивались при анализе образов Обломова и Штольца.)

Будучи лишеной в это время способности к нравственной рефлексии, Наташа, как помним, заболевает. Но она и выздоравливает по мере того, как в ней пробуждаются истинные, разумные ценности, то есть когда она вновь обретает способность быть нравственным человеком. И происходит это, опять же, как с внешней помощью, исходящей от разговоров (то есть через разум) с Пьером, и еще сильнее — после встречи и беседы с раненым Андреем Болконским, так и по мере того, как в ней просыпается способность подлинной любви. Таким об-

разом, увлечение, приходя извне, с помощью внешнего же, но уже с противоположным, нравственным знаком, и проходит. Страсть, как мы это увидим на примере Анны, разумом, здравыми разговорами и нравственными «инъекциями», как в случае Наташи (когда Пьер, например, сказал ей, что он не знает человека лучше нее и что он был бы счастлив быть ее мужем), не излечивается. Я еще продолжу в дальнейшем (в особенности, на примере творчества Достоевского и Островского) исследование этого феномена, но, похоже, заболевание от этого вируса почти всегда ведет к смертельному исходу.

В «Войне и мире» также нет ничего, имеющего отношения к страсти и в иных любовных историях — любви Николая Ростова и княжны Марьи Болконской и тем более — брака Пьера Безухова и Элен Курагиной.

Страсть и исследование ее природы появляются у Толстого лишь в «Анне Карениной». При этом центр страсти размещается внутри, в сердце героини романа, которое постоянно являет себя как овеществленное в отдельном человеке животное-природное вселенское начало. В отличие от Наташи, увлекаемой внешней злой силой, Анна пытается размышлять, но ничего не может поделать со своим сердцем, плененным (заболевшим) страстью¹. Охватившая Анну страсть начинает бурно прогрес-

¹ «Сколько незабываемых, лично-особенных чувств и ощущений Анны Карениной сохранилось в нашей памяти — но ни одной мысли, ни одного человечески-сознательного, личного, особенного, только ей принадлежащего слова, хотя бы о любви. А между тем, она не кажется глупою; напротив, мы угадываем, что она умственнее сложнее и значительнее Долли, Кити, Вронского, — кто знает? — может быть, даже значительнее столь много — увы! — слишком, кажется, много говорящего Левина. Но ее положение в действии романа, ее совершенная поглощенность стихией страсти таковы, что они заслоняют ее от нас именно с этой стороны — со стороны ума, сознания, высшей бескорыстной и бесстрастной духовной жизни. Кто и что она, помимо любви? Мы только знаем, что она петербургская великосветская женщина. Но кроме сословия — из какого исторического быта, из какой культуры вышла она? Где корни существа ее, уходящие в русскую землю? А ведь оно достаточно глубоко и первозданно, чтобы корни эти были. Что она думает не только о своей, но и вообще о любви, не только о своей, но и вообще о семье, о детях, о людях, о долге, о природе, об искусстве, о жизни, о смерти, о Боге? Мы этого не знаем или почти не знаем. Зато мы знаем, как именно выются и выбиваются у нее на затылке и на висках курчавые волосы, как тонкие пальцы суживаются в конце, и какая у нее круглая, крепкая, словно точеная, шея — каждое выражение лица ее, каждое движение тела мы знаем. Тело отчасти со стихийно-животной стороны, душу ее — "ночную душу", по слову Пютчева — мы видим с поразительною ясностью. Но ведь, может быть, с неменьшею ясностью видим мы тело и душу,

сировать с того момента, когда для ее, расположенного в самом сердце, центра обнаруживается иной центр, находящийся в сердце Вронского. И когда этот иной центр откликается на страсть Анны, страсть Анны начинает бурно развиваться.

На протяжении романа нас не покидает ощущение, что Вронский для Анны — своеобразный, облеченный в человеческую оболочку резонатор ее собственной, бурно прогрессирующей и не менее бурно проявляющейся сущности. Она, например, постоянно нуждается в физическом присутствии Вронского, озабочена тем, чтобы он исключительно жил во взаимодействии с ее страстью, чтобы у него не было никаких независимых от нее интересов и отношений. Вспомним, что даже в период их наиболее спокойной совместной жизни в деревне любая отлучка Вронского по делам приводит к напряжению, подозрениям, конфликтам. Кажется, что Анна материально, как плод пуповиной, соединена с предметом своей страсти.

Вспомним также ощущения и реакцию Анны на падение Вронского на скачках: «...она совершенно потерялась. Она стала биться, как пойманная птица: то хотела встать и идти куда-то, то обращалась к Бетси.

...Офицер принес известие, что ездок не убился, но лошадь сломала спину.

Услышав это, Анна быстро села и закрыла лицо веером. Алексей Александрович видел, что она плакала и не могла удержать не только слез, но и рыданий, которые поднимали ее грудь»¹. В цитируемом мной знаменитом исследовании Д.С. Мережковский точно проводит параллель между двумя существами женского рода, с которыми тесно переплелась судьба Вронского: Фру-Фру "по статьям была не безукоризненна". Но именно эти единственные, кажущиеся неправильными, "личные" особенности и пленяют в ней Вронского. При первом взгляде на Анну его поражает во всей ее наружности "порода", "кровь". И у Фру-Фру "в высшей степени было качество, заставляющее забывать все недостатки":

даже «личность» Фру-Фру, ибо у лошади Вронского есть тоже своя «ночная душа», свое стихийно-животное лицо, и это лицо — одно из действующих лиц трагедии. Если правда, как кто-то утверждал, что Вронский кажется жеребцом во флигель-адъютантском мундире, то лошадь его кажется прелестною женщиной. И недаром выступает сначала едва уловимое, потом все более и более углубляющееся, полное таинственных предзнаменований, сходство «вечно-женственного» в прелести Фру-Фру и Анны Карениной». Там же. С. 100.

¹ Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 тх. М.: Художественная литература, 1981. Т. 8. С. 233—234.

это качество была "кровь", "порода", то есть аристократизм тела. У них обеих — и у лошади, и у женщины — одинаковое *определенное выражение* телесного облика, в котором соединяется сила и нежность, тонкость и крепость. У Анны маленькая рука «с тонкими в конце пальцами», «энергическая» и «нежная». Кости ног и у Фру-Фру «ниже колен казались не толще пальца, глядя спереди, но зато были необыкновенно широки, глядя сбоку». «Резко выступающие мышцы из-под сетки жил, растянутой в *тонкой*, подвижной и гладкой как атлас коже, казались *столь же крепкими как кость*... Во всей фигуре и в особенности в голове ее было *определенное, энергическое и вместе нежное выражение*». У них обеих — одинаковая стремительная легкость и верность, как бы окрыленность движений, и вместе с тем, слишком страстный, напряженный и грозный, грозовой, оргийный избыток жизни. «Сухая голова Фру-Фру с выпуклыми блестящими, веселыми глазами (у Анны тоже глаза "блестящие и веселые") расширялась у храпа в выдающиеся ноздри, с налитой внутри кровью перепонкою». Она, так же как и Анна, «без слов» понимает господина своего. «Вронскому, по крайней мере, казалось, что она поняла все, что он теперь, глядя на нее, чувствовал». Между ними странная, не только телесная, стихийно-животная, но и как бы «душевная» связь. Она знает и любит любовь его, желает и боится этой любви: «Как только Вронский вошел к ней, она глубоко втянула в себя воздух и, скашивая свой выпуклый глаз так, что белок налился кровью, с противоположной стороны глядела на вошедших, потряхивая намордником и упруго переступая с ноги на ногу» (у Анны тоже «упругая поступь»).

«— О, милая! О! — говорил Вронский, подходя к лошади и уговаривая ее. Но чем ближе он подходил, тем более она волновалась. Только когда он подошел к ее голове, она вдруг затихла и мускулы ее затряслись под *тонкою* нежною шерстью. Вронский погладил ее *крепкую* шею, поправил на остром загривке перекинувшуюся на другую сторону прядь гривы и придвинулся лицом к ее растянутому, *тонким*, как крыло летучей мыши, ноздрям. Она звучно втянула и выпустила воздух из напряженных ноздрей, вздрогнув, прижала острое ухо и вытянула *крепкую* — черную губу к Вронскому, как бы желая поймать его за рукав. Но, вспомнив о наморднике, она встряхнула им и опять начала переставлять одна за другую свои *точеные* ножки». Слова «точный», «тонкий», «крепкий» одинаково повторяются в описании наружности Фру-Фру и Анны.

Вронский любит лошадь не как животное, а как почти разумное существо, как женщину, словно влюблен в нее.

«— Успокойся, милая, успокойся, — сказал он, погладив ее еще рукой... Волнение лошади сообщилось Вронскому: он чувствовал, что кровь прилиwała ему к сердцу и что ему так же, как и лошади, хочется двигаться, кусаться; было и страшно, и весело». От прелести Анны, в которой есть что-то «бесовское», «жестокое», ему тоже «и страшно, и весело». После свидания с Фру-Фру отправляется он на свидание с Анною. И тот же хищный, грозовой, оргийный избыток животной жизни, который он только что чувствовал в себе и в звере, в прекрасной «Божьей твари», соединит его с другою, столь же прекрасною Божьей тварью — Анною.

Фру-Фру, как женщина, любит власть господина своего и, как Анна, будет покорна этой страшной и сладостной власти — даже до смерти, до последнего вздоха, до последнего взгляда. и над обеими совершится неизбежное злодеяние любви, вечная трагедия, детская игра смертоносного Эроса.

Во время скачек, когда Вронский уже обогнал всех, и, достигая цели, напрягая последние силы, Фру-Фру летит под ним, как птица — «О, прелесть моя!» — думает он о ней с бесконечной лаской и нежностью. Она угадывает каждое движение, каждую мысль, каждое чувство всадника; у них — одна воля, одно тело, одна душа, между ними — «связь души с телом»; они — одно. И в восторге как бы сверхъестественной окрыленности, в сладострастном упоении полета, человек и животное сливаются. О, в это мгновение он, может быть, любит Фру-Фру больше, чем Анну, более чудесною и таинственную любовью.

Но вот — одно неловкое движение, «скверное, непростительное: не поспев за движением лошади, он опустил на седло, и вдруг положение его изменилось, и он понял, что случилось что-то ужасное... Вронский касался одной ногой земли, и его лошадь валилась на эту ногу. Он едва успел выпростать ногу, как она упала на один бок, тяжело хрипя и делая, чтобы подняться, тщетные усилия своей тонкою потною шеей, она затрепыхалась на земле у его ног, как подстреленная птица. Неловкое движение, сделанное Вронским, сломало ей спину. Но это он понял гораздо после... а теперь он, шатаясь, стоял на грязной неподвижной земле, и перед ним, тяжело дыша, лежала Фру-Фру и, перегнув к нему голову, смотрела на него своим прелестным глазом. Все еще не понимая того, что случилось, Вронский тянул лошадь за повод. Она опять забила как рыбка, треща крыльями седла,

выпростала передние ноги, но, не в силах поднять зада, тотчас же замоталась и опять упала на бок. С изуродованным страстью лицом, бледный и с трясущеюся нижнею челюстью, Вронский ударил ее каблуком в живот и опять стал тянуть за поводья. Но она не двигалась, а, уткнув хrap в землю, только смотрела на хозяина своим говорящим взглядом.

— Ааа! — промычал Вронский, схватившись за голову. — Ааа! — что я сделал! — прокричал он. — И проигранная скачка! И своя вина, постыдная, непростительная! и эта несчастная, милая, погубленная лошадь!.. Ааа! что я сделал!

...В первый раз в жизни он испытал самое тяжелое несчастье, несчастье неисправимое, и такое, в котором виною сам».

Да, он прочел и понял страшный укор в последнем, «говорящем», человеческом взгляде зверя, понял, что совершил действительно непоправимое злодеяние, принес в жертву своей тщеславной прихоти, в жестокой игре, живую, прекрасную Божью тварь, которую любил.

И как знать, не послала ли ему судьба предостережения в гибели Фру-Фру? Не погубит ли он точно так же и Анну в жестокой игре? И здесь, как там, — «одно неловкое движение, скверное, непростительное», но ведь невольное, нечаянное — и слишком напряженное существо ее сломится под непосильною тяжестью, упадет, «затрепыхается у ног его, как подстреленная птица».

Этот неумолимый закон слепого Бога-Младенца — играющего смертью и разрушением, Эроса, эта жестокость сладострастия, которая делает любовь похожей на ненависть, телесное обладание похожим на убийство, — сказывается и в самых страстных ласках любовников.

При взгляде на Анну Вронский «чувствовал то, что должен чувствовать убийца, когда видит тело, лишенное им жизни... Было что-то ужасное и отвратительное в воспоминаниях о том, за что было заплачено этою страшною ценою стыда. Стыд перед духовною наготою своей давил ее и сообщался ему. Но, не смотря на весь ужас убийцы перед *телом* убитого, надо резать на куски, прятать это *тело*, надо пользоваться тем, что убийца приобрел убийством. И с озлоблением, как будто со страстью, бросается убийца на это *тело*, и тащит, и режет его; так и он покрывал поцелуями ее лицо и плечи»¹.

¹ Мережковский Д.С. Цит. соч. С. 100—102.

Страсть непрестанно прогрессирует, делает Анну эгоцентричной и деспотичной. Она не может унять ее даже тогда, когда видит вред, очевидно наносимый ее отношениям с Вронским. И, в конце концов, в своем крайнем развитии страсть убивает.

Сравнение «Войны и мира» и «Анны Карениной» в отношении глубины проработки некоторых проблем оказывается в пользу более позднего произведения и в другой теме. Это так занимавшая Толстого тема дела, творческой реализации человека в его хозяйственной деятельности. Если в «Войне и мире» это направление только обозначено в финале романа в связи с практическими занятиями Пьера после женитьбы на Наташе, то в «Анне Карениной» это почти столь же глубоко прописанная линия, как и тема страсти.

Константин Левин — не менее значимый герой романа, чем Анна Каренина. И не случайно, оба они, хотя и в разных отношениях, обладают собственным недюжинным масштабом. Как верно отмечали, например, известные исследователи творчества Льва Толстого А. Зверев и В. Туниманов, «...эти персонажи (Каренина и Левин. — С.Н.) существенно близки, пусть диаметрально разными оказываются итоги их жизненной одиссеи. ... Ведь главным сюжетным узлом этой одиссеи и в том, и в другом случае становятся кризис привычных ценностей и жажда жизни в согласии с требованиями естественного морального чувства, а не под властью общепринятой ложной нормы»¹.

Оставим до поры тезис исследователей о «естественном моральном чувстве» в его отношении к страстям Анны. О них речь впереди. Пока лишь отмечу еще раз: роман «Анна Каренина» является органическим и более глубоким исследованием намеченных в «Войне и мире» фундаментальных для русского мировоззрения таких смыслов и ценностей, как любовь, дело, жизнь и смерть. Более того, между ними Толстой намечает связи и взаимовлияния.

В дальнейшем, при анализе этих смыслов, мне представляется важным не столько следовать за развитием романного сюжета «Анны Карениной», сколько стараться найти скрытую в произведении авторскую логику философского анализа выделенных мировоззренческих феноменов. И вот как, например, замысловато раскрывается авторский замысел в связи с анализом темы

¹ Зверев А., Туниманов В. Лев Толстой. ЖЗЛ. М.: Молодая гвардия, 2007. С. 294.

страсти, в котором, на мой взгляд, очевидны несколько важных посылов.

Посыл первый: скандал в доме Облонских в связи с открывшимся фактом измены Стивы, который дает зачин рассмотрению темы страсти и супружеской неверности. Причина скандала — привычка женатого помещика Облонского жить, не отказывая себе в плотских удовольствиях «на стороне», снисходительно допускаемых для мужчин русской традицией вообще и светским обществом второй половины XIX столетия в частности.

Посыл второй: Вронский не имеет представления не только о жизни со страстной женщиной, но и вообще о семейной жизни — его родители не вели таковой, а его собственная была жизнью холостяка-военного со всем присущим ей «набором» «забав» богатого, свободного и преуспевающего светского человека.

Посыл третий: ценности настоящего жизненного дела и связанных с ними ценностей идеальной семейной жизни, постоянно исповедуемые Львом Толстым и рассматривающиеся в том числе посредством его «второго Я», Константина Левина, отвергаются Кити Щербацкой, которой он предлагает руку и сердце. В своем первом опыте серьезного общения с мужчиной Кити, как и Наташа, отдает предпочтение ценностям бездумного светского жизнепрживания, олицетворяемых в ее глазах Алексеем Вронским.

И наконец, посыл четвертый, касающийся предыстории героини романа. В прошлом Анна — молодая, неискушенная в любви провинциальная девушка, следуя совету тетушки, дает согласие на брак по расчету с нелюбимым и пожилым, но важным, состоятельным и преуспевающим Алексеем Александровичем Карениным. То есть ее первые шаги, так же как у Кити и Наташи, совершаются по общепринятым стандартам, но, что важно отметить, вне поля любви и тем более страсти.

Этот последний посыл очень важен, поскольку наряду с прочим позволяет представить степень того общественного напряжения, которое возникает вокруг Анны после открытой связи с Вронским. Ведь изначально она — плоть от плоти света, жившая и вышедшая замуж, согласно общепринятым представлениям. И вдруг, после любовной связи с Вронским, Анна неожиданно и демонстративно отвергает еще недавно принимаемые светские правила. Неудивительно, что это рассматривается обществом не только как открытое и вызывающее отступление от нормы, но вообще как измена и общее публичное оскорбление,

тем более что не так давно Анна, став женой Каренина, из безвестной провинциалки была в свет принята и заняла высокое место в его иерархии.

Именно в такой системе посылов, которая ни в одном своем проявлении не может стать основой для здорового и жизнеспособного любовного чувства, Толстой начинает исследование страсти. В заданной автором системе координат для нас, читателей, изначально очевидно, что в этих дисгармоничных отношениях со смещенными в сторону от нормы осями по определению не может родиться и существовать нормальное любовное чувство. И что Анна — не только сильная натура, возникшая в поле нашего зрения как бы сама по себе, но так же и неотъемлемая часть лживой и порочной в своей основе системы существующих общественных отношений, которым она, совершенно неожиданно для них, а возможно, и для себя, вдруг решает бросить вызов. И что ее страсть — не только самостоятельный внутренний порыв, но и неизбежная реакция, а в некоторых отношениях и продукт борьбы против больного общества.

Говоря об исследовании страсти Толстым, следует признать, что явление это он рассматривает в заведомо невозможных для существования этого чувства условиях. И уже по этой причине страсть такого рода и в таких обстоятельствах сродни той страсти, которую Шекспир представляет и исследует в величайших трагедиях — «Ромео и Джульетта», «Отелло» или «Король Лир».

Очевидно, что, чтобы выжить и успешно противостоять враждебным обстоятельствам, страсть должна быть аномально сильна и до болезненности изощрена. В нездоровой среде личные качества людей, пережитый ими опыт не позволяют их чувству любви быть жизнеспособным, в меру (то есть не переходя границы, за которой начинается саморазрушение) быть сильными и гармоничными. Более того: чтобы вообще быть, страсть должна выстоять в противостоянии и, значит, во-первых, одолеть враждебные силы и, во-вторых, не разрушиться после неизбежной деформации в борьбе с тем, что ей противостоит.

Сказанное, как представляется, позволяет сформулировать первое предварительное наблюдение в отношении природы страсти в русском мировоззрении как любви в ее аномальном проявлении. Наблюдение это заключается в том, что явленная человеком любовная страсть — столь же имманентно присущее индивиду свойство, сколь и результат реакции индивида с сильными чувствами на ненормальные общественные отно-

шения. Применительно к толстовской героине это означает, что страсть Анны неуклонно усиливается и доходит до самоуничтожения не только в силу ее конкретного наличия в сердце женщины по имени Анна Каренина, но и по внешним причинам. И к числу последних следует отнести те, что ее любовник не имеет достаточных представлений и не умеет жить семейной жизнью. Муж Анны — прежде всего преуспевающая на государственном поприще механическая машина, только один раз являющая человеческие чувства, а брат — эгоистичный, не способный к сопереживанию сибарит. Также следует помнить и о том, что в принятых светским обществом понятиях скрываемая супружеская измена княжны Бетси — норма, а стремление Анны открыто отстаивать свое право на жизнь по любви — патология.

Развернутая в романе трагедия Анны представляется даже более существенной, чем ее пытался первоначально изобразить Лев Толстой, когда он, как пишут об этом Зверев и Туниманов, ставил перед собой задачу «сделать эту женщину только жалкой и не виноватой»¹. Ведь если сравнить столкновение Анны с миром неживого, с тем, который изображался Толстым в «Войне и мире», а точнее — со столкновением с этим миром Наташи Ростовской, то здесь различие огромно. Наташа — лишь жертва, слабое существо, попавшее в сети мертвечины, зараженное ее ядом, которое благодаря обстоятельствам счастливо спасается и постепенно, медленно выздоравливает. Мщения от этого мира Наташе нет, потому что она не только не воевала с ним, но даже и не пыталась противостоять. У внешнего мира нет цели уничтожить Наташу.

Иное — Анна. В глазах света и на самом деле она — изменница, пользовавшаяся изначально возможностями и силой этого мира для собственного возвеличивания. Она — вознесенная на самый верх, признанная этим миром королева. Она — плоть от его плоти. Вспомним, что до решающего шага — признания Анны мужу в своей измене — и последовавшей за тем открытой любви к Вронскому Анна не выходила за пределы общепринятых в обществе измен. Не случайно ее подругой была скрытно, «в пределах приличий» изменяющая мужу княжна Бетси. И вдруг — Анна решается изменять открыто. Чему же изменяет Анна? Почему она хочет открытого и естественного проявления

¹ Зверев А., Туниманов В. Цит. соч. С. 295.

своего нового чувства любви-страсти? Какие отношения она тем самым разрушает, какие границы переходит?

Несомненно, не только поставлен в унижительное положение, но оскорблен и действительно страдает от незаслуженной обиды ее муж. Алексей Александрович никогда не обманывал Анну. Он никогда не стремился казаться лучшим, чем был на самом деле. Тому порукой его природная ограниченность. Он просто не додумался бы до этого. Он также ни на йоту не отступал и не обманывал Анну в своей верности и следовании законам светской жизни. Это Анна изменила первоначально и негласно заключенному между ними договору. Поэтому ненависть Анны персонально к мужу хотя и несправедлива, но понятна. В муже Анна ненавидит собственное предательство, изначально заключенную сделку со «светом».

Вот ее размышления накануне признания мужу в своей измене: "Я дурная женщина, я погибшая женщина..., но я не люблю лгать, я не переносу лжи, а *его* (мужа) пища — это ложь. Он все знает, все видит; что же он чувствует, если может так спокойно говорить? Убей он меня, убей он Вронского, я бы уважала его. Но нет, ему нужны только ложь и приличие", — говорила себе Анна, не думая о том, чего именно она хотела от мужа, каким бы она хотела его видеть. Она не понимала и того, что эта нынешняя особенная словоохотливость Алексея Александровича, так раздражавшая ее, была только выражением его внутренней тревоги и беспокойства. Как убившийся ребенок, прыгая, приводит в движение свои мускулы, чтобы заглушить боль, так для Алексея Александровича было необходимо умственное движение, чтобы заглушить те мысли о жене, которые в ее присутствии и в присутствии Вронского и при постоянном повторении его имени требовали к себе внимания. А как ребенку естественно прыгать, так ему было естественно хорошо и умно говорить¹.

Другое дело (и это обнаруживает одна из великих сцен романа — сцена прощения Карениным Вронского и своей жены в момент, когда она почти умирает от «послеродовой горячки»), что Алексей Александрович вдруг оказывается способным высидеть над условностями — ложными установлениями света — и находит в себе силы превратить свое убеждение в поступок, к сожалению, временный. «Душевное расстройство Алексея Александровича все усиливалось и дошло теперь до такой степе-

¹ Толстой Л.Н. Там же. С. 230.

ни, что он уже перестал бороться с ним; он вдруг почувствовал, что то, что он считал душевным расстройством, было, напротив, блаженное состояние души, давшее ему вдруг новое, никогда не испытанное им счастье. Он не думал, что тот христианский закон, которому он всю жизнь свою хотел следовать, предписывал ему прощать и любить своих врагов; но радостное чувство любви и прощения к врагам наполняло его душу. Он стоял на коленях и, положив голову на стиб ее руки, которая жгла его огнем через кофту, рыдал, как ребенок. Она обняла его плешивеющую голову, подвинулась к нему и с вызывающею гордостью подняла вверх глаза.

... — Помни одно, что мне нужно было одно прощение, и ничего, больше я ничего не хочу.. Отчего ж *он* не придет? — говорила она, обращаясь в дверь к Вронскому. — Подойди, подойди! Дай ему руку.

Вронский подошел к краю кровати и, увидев ее, опять закрыл лицо руками.

— Открой лицо, смотри на него. Он святой, — сказала она. — Алексей Александрович, открой ему лицо! я хочу его видеть.

Алексей Александрович взял руки Вронского и отвел их от лица, ужасного по выражению страдания и стыда, которые были на нем.

— Подай ему руку. Прости его.

Алексей Александрович подал ему руку, не удерживая слез, которые лились из его глаз.

— Слава богу, слава богу, — заговорила она, — теперь все готово»¹.

В этой сцене Толстой открывает нам великую истину, касающуюся природы страсти. Страсть либо лечится милосердием и прощением, либо изживается посредством смерти. То же говорит и Шекспир: со смертью Ромео и Джульетты стихает война семейств Монтекки и Капулетти, со смертью Дездемоны умирает страсть Отелло, со смертью Корделии гаснет страсть короля Лира. К сожалению, в этой цепи есть и еще одна закономерность: страсть умирает вместе с тем, в ком она жила. И, очевидно, иного способа избавления от нее не существует.

Вовлеченный в логику развития страсти, Каренин скоро отрывается от своего христианского поступка, равнозначного бунту против принятых в его обществе понятий, и возвращается

¹ Там же. С. 452—453.

в лоно своих привычных ложных установлений. Личностная позиция Каренина — простить жену и даже ее любовника — конечно же была бы высмеяна, а сам он, если бы вздумал отстаивать ее, в глазах света был бы уничтожен. На это мужественное решение у Алексея Александровича сил недостает. Да и само такое решение было бы сродни страсти, хотя и иного рода. Но Каренин — человек без страстей. И вскоре он быстро, с облегчением и даже с удовольствием переходит под влияние графини Лидии Ивановны и принимает одну из светских форм защитной реакции, целиком располагающейся в логике войны со страстью: ни в чем Анне на уступки не идти, развода не давать, сына от матери отстранить.

Назвав Каренина человеком без страстей, я тем самым подал это как некое осуждение. Вместе с тем смысл моих размышлений выводит на то, что страсть — чувство аномальное и потому пагубное. В этой связи требуется пояснение. Нельзя полагать, что страсть — это вообще то, что должно быть исключительно осуждаемо. Страсть — одна из высот человеческого если не духа, то чувства и уже в силу этого не может быть однозначной. Великие страсти, равно как и великие идеи, в конечном счете движут миром. Однозначно в них, на мой взгляд, только одно — их пагубность, то есть гибельность для их носителя. А вот то, какие отношения или процессы оказываются вовлеченными в поле воздействия страстей, и заслуживает оценки и притяжения (либо осуждения и отторжения) со стороны других.

Готовясь приступить к анализу природы страсти, Толстой посредством других героев вводит нас в сходную со страстью пограничную область — область сильной любви. Делает он это двояко: позитивно, передавая переживания Левина, вознамерившегося сделать предложение Кити Щербацкой, и негативно, от противного — повествуя о характере, интересах и даже гастрономических пристрастиях Стивы Облонского, из чего мы легко можем заключить и о природе его так называемых любовных переживаний.

Левин, как помним, приехав в Москву, направляется на каток, где, как он знает, развлекается Кити. Принять решение — подойти к Кити, для него очень сложно. Наконец, «он сошел вниз, избегая подолгу смотреть на нее, как на солнце, но он видел ее, как солнце, и не глядя. ...Все казались Левину избранными счастливыми, потому что они были тут, вблизи от нее. ... Ее улыбка, всегда переносившая Левина в волшебный мир, где

он чувствовал себя умиленным и смягченным, каким он мог запомнить себя в редкие дни своего раннего детства»¹.

Два полюса: один — сугубо чувственный, низменный, и второй — духовно возвышенный обозначают в нашем дальнейшем восприятии границы того поля, которое называется любовная страсть. И еще до того, как на этом поле безраздельной хозяйкой сделается Анна Каренина, почувствовать его природу Толстой дает нам с помощью Кити. Как помним, она догадывалась о любви к ней Левина, но отдавала предпочтение Вронскому. Между тем в ее ощущениях к тому и другому была существенная разница, и разница эта была не в пользу Алексея Кирилловича: «Воспоминания детства и воспоминания о дружбе Левина с ее умершим братом придавали особенную поэтическую прелесть ее отношениям с ним. Его любовь к ней, в которой она была уверена, была лестна и радостна ей. И ей легко было вспоминать о Левине. К воспоминаниям о Вронском, напротив, примешивалось что-то неловкое, хотя он был в высшей степени светский и спокойный человек; как будто фальшь какая-то была, — не в нем, он был очень прост и мил, — но в ней самой, тогда как с Левиным она чувствовала себя совершенно простою и ясною»².

Что стоит за словом «фальшь»? Очевидно, и Толстой косвенно дает это понять, речь идет о присутствии в человеке чего-то внешнего, какого-то инородного тела, имплантированного в него и удерживаемого в нем помимо его воли. Это — из той сферы, которая признана «светом» высоким и ценным. Это то, что ценила во Вронском мать Кити — «Вронский удовлетворял всем желаниям матери. Очень богат, умен, знатен, на пути блестящей военно-придворной карьеры и обворожительный человек. Нельзя было ничего лучшего желать»³.

И вновь, как и в «Войне и мире», в судьбе Кити Щербацкой, как и Наташи Ростовской, возникает момент, когда неживое временно одерживает верх над живым. Сразу после отказа Кити Левину перед нами возникает одна из теней того «света», в котором органично живет Вронский, — графиня Нордстон. Фигура эта, отдаленно напоминающая хозяйку модного салона Анну Павловну Шерер, — одна из придворных дам, которая желала бы своей властью определить судьбу Кити — выдать ее замуж

¹ Там же. С. 37–38.

² Там же. С. 57.

³ Там же. С. 53.

по своему идеалу. И так же как Анна Павловна панически боялась несоответствия Пьера своему кружку, Нордстон находится в презрительно-конфронтационных отношениях с Левиным, столь же естественным и «живым», как и молодой Безухов.

И еще один образ завершает предварительное обозначение Толстым того, что я условно назвал «полем страсти». Это передаваемый через реакцию других образ раздавленного на станции сторожа. Говоря о происшедшем, Толстой употребляет слова «случилось необыкновенное». Глагол неопределенного действия «случилось» точно подходит и к описанию феномена страсти. И как же случилось? Оказывается, то ли сторож был сильно укутан от мороза, то ли он был пьян, но он не слышал звука подаваемого назад поезда и его раздавили. То есть гибель произошла от того, что человек не заметил приближения чего-то внешнего, какой-то неосознаваемой опасности до тех пор, пока это внешнее напрямую физически его не уничтожило. И случилось это либо из-за его собственного состояния, либо по внешней причине. Какого-либо иного дополнительного смысла в изложенном автором факте нет. Так как же этот смысл коррелирует с излагаемой историей страсти Анны?

Очевидно, то же, что и в случае со сторожем, происходит при действии страсти. Анна несет в себе готовность к появлению страсти. (В другом примере — это возможность того, что сторож был пьян.) Анна не слышит предостерегающих слов Алексея Александровича, не замечает упреждающих останавливающих реакций общества. (В другом примере — это возможность того, что сторож был сильно укутан.) Накатывающееся внешнее — появление Вронского в поезде — так же неожиданно. (В другом примере — это возможность того, что сторож не заметил приближения поезда.) Итог: «дурное предзнаменование», — говорит Анна. Но, согласимся, слова эти могут быть отнесены как к гибели сторожа, так и к факту встречи с Вронским, хотя для этого, кажется, нет пока никаких причин, а есть лишь обозначенные только что аллюзии. Однако в итоге центр страсти Анны оказывается готовым к тому, чтобы быть приведенным в действие — вступить во взаимодействие с центром страсти внутри Вронского.

Уже при первой встрече-свидании во время возвращения Анны в Петербург с едущим вслед за ней Вронским Анна демонстрирует полную готовность отдаться рождающейся в ней страсти. Вспомним, как Толстой говорит о ее состоянии в этот

момент: в ответ на восхищение Вронского, которое она читала в его взгляде, ее «охватило чувство радостной гордости. ... Неудержимая радость и оживление сияли на ее лице. ...Весь ужас метели показался ей еще более прекрасен теперь. Он сказал то, чего желала ее душа, но чего она боялась рассудком. ...Она поняла, что этот минутный разговор страшно сблизил их; и она была испугана и счастлива этим. ...В тех грезах, которые наполняли ее воображение, ...не было ничего неприятного и мрачного, напротив, было что-то радостное, жгучее и возбуждающее»¹.

В этой связи отметим и еще одно сопутствующее страсти чувство — гордость, чувство, близкое к гордыне — традиционно осуждаемому христианством греху.

Страсть охватывает и Вронского. Он переполнен счастьем и гордостью. «...Все счастье жизни, единственный смысл жизни он находил теперь в том, чтобы видеть и слышать ее. ...Что из этого всего выйдет, он не знал и даже не думал»². Слова эти, как очевидно, подтверждают правильность моего предположения о том, что во Вронском страсть Анны находит отклик и взаимодействие этих «центров» страсти происходит без участия не только нравственных чувств, но и рациональной рефлексии. И еще одно. Страсти принципиально не свойственно какое-либо «планирование» будущего. Возможно, потому, что почти единственным ее всегдашним итогом оказывается смерть.

Поддавшись чарам поселившейся в ней страсти, Анна как бы обретает новое зрение. Многое ей начинает видеться в ином свете. Даже ее любимый сын Сережа кажется ей хуже, чем она воображала его во время разлуки. То же относится и к вовсе далеким людям, как, например, к приехавшей в гости графине Лидии Ивановне. «Анна любила ее, но нынче она как будто в первый раз увидела ее со всеми ее недостатками. ...Ведь это было прежде; но отчего я не замечала этого прежде? — сказала себе Анна»³. Страсть изменила состояние Анны, сделала ее в каком-то смысле вовсе новым человеком. В этом, кстати, на мой взгляд, состоит и еще одна из увлекающих человека прелестей страсти: личность получает возможность «нового рождения» и «нового жизнепроживания». К прежней жизни «добавляется» новая, жизнь «удваивается», что создает ощущение ничем иным не доставляемого богатства. Однако по характеру своего

¹ Там же. С. 11—118.

² Там же. С. 119.

³ Там же. С. 123.

протекания эта «новая жизнь» похожа на последнюю вспышку спичечной серы, перед тем как спичка погаснет вовсе и все погрузится во мрак.

Толстой точно описывает это явление. Отдавшись страсти, толстовская Анна делается другим человеком. А вот Вронский в состоянии страсти — вовсе иное существо. В сравнении с Анной он менее тонок, развит, глубок, и потому в его изображении Толстой краток и беспощаден. «В его петербургском мире все люди разделялись на два совершенно противоположные сорта. Один низший сорт: пошлые, глупые и, главное, смешные люди, которые веруют в то, что одному мужу надо жить с одной женой, с которой он обвенчан, что девушке надо быть невинною, женщине стыдливою, мужчине мужественным, воздержанным и твердым, что надо воспитывать детей, зарабатывать свой хлеб, платить долги, — и разные тому подобные глупости. Это был сорт людей старомодных и смешных. Но был другой сорт людей, настоящих, к которому они все принадлежали, в котором надо быть, главное, элегантным, красивым, великодушным, смелым, веселым, отдаваться всякой страсти не краснея и над всем остальным смеяться»¹. И тем не менее оказывается, что страсть может овладевать и такими людьми. Страсть, стало быть, универсальна?

И далее — четкое обозначение отношений: подлинная страсть у Анны и, первоначально, подобие страсти (страсти, как бы санкционированной светом, родственной волокитству Стивы), у Вронского. Но в этом — страстей разной природы — еще один конфликт. Анна обнаруживает, что «преследование» Вронского не только не вызывает в ней недовольства, «не только не неприятно ей, но что оно составляет весь интерес ее жизни». В то же время Вронский (и это Толстой снова демонстрирует, как и «Войне и мире» на фоне театра, то есть того места, где безраздельно по обе стороны рампы властвует притворство), предпринимает усилия достичь своей цели и, что очень важно для него, «не рисковать быть смешным». Напротив, «он знал очень хорошо, что в глазах этих лиц роль несчастного любовника девушки и вообще свободной женщины может быть смешна: но роль человека, приставшего к замужней женщине и во что бы то ни стало положившего свою жизнь на то, чтобы вовлечь ее в прелюбодеяние, что роль эта имеет что-то красивое, величественное

¹ Там же. С. 129.

и никогда не может быть смешна, и потому он с гордою и веселою, игравшею под его усами улыбкой опустил бинокль и посмотрел на кузину (княжну Бетси. — С.Н.)»¹. Впрочем, вскоре Вронский претерпевает глубокую эволюцию. И случается она, видимо, оттого, что в столкновении страстей двух родов страсть Анны, оказавшись сильнее, подчиняет и в какой-то мере преобразует по стандартам своей природы страсть Вронского.

Впрочем, нельзя с точностью утверждать, оказался ли Вронский сам по себе способен выйти за пределы пошлого волокитства или тому была причиной сила страсти Анны, так преобразовавшей Вронского, но все равно скоро его отношение к связи с Анной переменилось. Толстой дает об этом знать читателям сначала посредством восприятия матери Вронского. Первоначально она была довольна историей любовного похождения сына, которая, на ее взгляд, «давала последнюю отделку блестящему молодому человеку». Но когда Вронский, чтобы быть рядом с Анной, отказался от предложения воинского начальства принять должность в другом месте и этим вызвал недовольство, которое неминуемо должно было сказаться на его карьере, мать свое мнение переменяла. В любви Вронского она распознала «какую-то вертеровскую, отчаянную страсть, ... которая могла вовлечь его в глупости». Так же об этом судил и старший брат Алексея Кирилловича, который «знал, что это любовь, не нравящаяся тем, кому нужно нравиться, и потому он не одобрял поведения брата»².

Вронский отмечает негативное отношение к нему и Анне со стороны близких. Более того, он, как дает знать Толстой, укрепляется в своем противостоянии этому отношению. «Все, его мать, его брат, все находили нужным вмешиваться в его сердечные дела. Это вмешательство возбуждало в нем злобу — чувство, которое он редко испытывал. "Какое им дело? Почему всякий считает своим долгом заботиться обо мне? и отчего они пристают ко мне? Оттого, что они видят, что это что-то такое, что они не могут понять. Если б это была обыкновенная пошлая светская связь, они бы оставили меня в покое. Они чувствуют, что это что-то другое, что это не игрушка, эта женщина дороже для меня жизни. И это-то непонятно и потому досадно им. Какая ни есть и ни будет наша судьба, мы ее сделали, и мы на нее не

¹ Там же. С. 145.

² Там же. С. 194.

жалуемся, — говорил он, в слове *мы* соединяя себя с Анной. — Нет, им надо научить нас, как жить. Они и понятия не имеют о том, что такое счастье, они не знают, что без этой любви для нас ни счастья, ни несчастья — нет жизни», — думал он»¹.

Толстой не изображает процесс произошедшей с Вронским перемены. Но то, что она состоялась, несомненно. И вот каким предстает перед нами в своих размышлениях уже переменившийся Вронский. Наиболее внятно осознаваемо им самим одно — чувство любви к Анне, ради которого он готов идти на любые жертвы. Но есть и противоположные, хотя и менее осознаваемые им, внешние препятствия, которые существуют для него в виде чувствования того, «что они, эти все, были правы». Права его мать, прав брат, начальство, прав весь высший свет. А им, если они продолжают жить в свете, ему и Анне, не остается ничего иного, как только лгать, скрывать свою любовь, обманывать.

Вронский не расшифровывает, не раскрывает самому себе, что то явление, которое он называет «правотой всех», есть заведенный порядок отношений, построенный на несравненно более глубоких и прочных основаниях, чем принятые в свете «правила любви и измен». Отчасти этот порядок проявляет себя в заведенных в обществе отношениях и понятиях относительно любви. Так, в то время право развестись должно быть предоставлено церковным иерархом. А есть и право царя, равно как и есть почитаемая обществом незыблемой общественной традиция. Не осознает Вронский и того, что их с Анной желание пойти против существующего порядка в одном отношении с неизбежностью ставит под сомнение их общественную правоспособность в иных отношениях. Что, например, Вронскому по этой причине не будут способствовать в карьерном росте, а скорее, напротив, станут чинить преграды.

Вронский не сознает, что зреющее в обществе недовольство, кроме характерного для всякого общественного организма свойства отрицательно реагировать на нарушения установленного порядка вещей, подпитывается и в известной мере справедливым негодованием по поводу пренебрежения им, обществом. Ведь и Вронский, а еще более Анна с ее историей замужества и перехода из провинциальной глуши в высший свет, были и по праву рассматриваются обществом как его, общества, не только

¹ Там же. С. 204.

равноправные члены, но и люди, в чем-то у общества одолжившиеся или что-то от общества по иной причине получившие. и в качестве таковых они имели от общества известные выгоды и помощь, за которые следует быть благодарными и послушными, то есть жить по законам общества, а не нарушать их. Тем более делать это так демонстративно, в то время как есть вполне испытанные, санкционированные светом и вполне безопасные и удобные для всех отношения адюльтера.

Впрочем, невозможность полного осознания всего, что пришло в движение вследствие поступка Анны и Вронского, не мешает Вронскому интуитивно нащупать верный по отношению к страсти Анны выход. «...Ему в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что необходимо прекратить эту ложь, и чем скорее, тем лучше. «Бросить все ей и мне и скрыться куда-нибудь одним с своею любовью», — сказал он себе»¹.

В самом деле, позиция отшельничества, сознательного удаления от мира, например, жизни помещиком в провинциальной глуши — реальный выход, во всяком случае — возможная альтернатива зреющему общественному остракизму. В том, как общество воспринимает и оценивает связь Вронского и Анны, несомненно, проявляется тот дворянский «сословный инстинкт», понимание того, «что должно или не должно», понимание совершенно определенного способа того, «как огонь блюсти», — как говорит Толстой в ином месте. И недооценивать это можно, лишь пребывая в состоянии сильной страсти, что, собственно, и характеризует состояние Анны, но не Вронского.

Впрочем, и строгого отшельничества как такового, как видим из дальнейшего изложения, не требуется. Ведь после переезда в деревню, где Вронский окунулся в стихию не только хозяйствования, но и общественной губернской жизни, он почувствовал себя вполне удовлетворенным. Вспомним, как проходило его включение в дворянское деревенское сообщество. Избрав для себя строгое исполнение обязанностей дворянина и землевладельца, Вронский никак не ожидал, чтоб это новое дело «так забрало его за живое и чтоб он мог так хорошо делать это дело. Он был совершенно новый человек в кругу дворян, но, очевидно, имел успех и не ошибался, думая, что приобрел уже влияние между дворянами. Влиянию его содействовало: его богатство и знатность; прекрасное помещение в городе, которое

¹ Там же.

уступил ему старый знакомый, Ширков, занимавшийся финансовыми делами и учредивший процветающий банк в Кашине; отличный повар Вронского, привезенный из деревни; дружба с губернатором, который был товарищем, и еще покровительствуемым товарищем Вронского; а более всего — простые, ровные ко всем отношения, очень скоро заставившие большинство дворян изменить суждение о его мнимой гордости¹. Но почему же тогда эта вполне жизнеспособная форма мирного разрешения зреющего конфликта с обществом не была закреплена?

Вронский, и это мы увидим снова и снова, не мог в полной мере отрешиться от своей привычной жизни в «свете». В деревне «ему было скучно». И, что не менее важно для понимания логики непрерывно назревающей в романе трагедии, ему «нужно было заявить свои права на свободу перед Анной». Собственная страсть Вронского представляет собой страсть меньшего накала или, что также возможно, в какой-то мере вторична — существует лишь «в ответ», в связи со страстью Анны. У Анны же страсть активная, непрерывно разрастающаяся, находящая все новую подпитку и вместе с тем приближающаяся к неминуемому концу, то есть она не признает никаких спасительных паллиативов.

Чего же хочет и ставит условием жизни Анна? Развода с Алексеем Александровичем, его согласия на отказ от Сережи и на жизнь Сережи с матерью и, наконец, безраздельного обладания Вронским. Столкновение двух страстей открывает еще одну грань природы страсти: она не терпит свободы вблизи себя и потому, борясь против желающей свободы стоящей рядом с ней живой сущности, она вскоре получает вместо живого — труп.

Но если первые две вещи (привычка и желание свободы) понятны и при известных условиях могут быть осуществлены, то что значит последнее («страсть в ответ», страсть, подчиненная другой страсти)? Как должен жить Вронский, чтобы Анна считала свою власть над ним удовлетворяющей ее и приемлемой для Вронского?

Если попытаться смотреть на поведение Вронского глазами не страсти, а беспристрастно (как, кстати, само слово передает суть положения: «бес-при-страстно», то есть помимо присутствия страсти. — *С.Н.*), то мы вряд ли найдем в нем повод для

¹ Там же. С. 251.

слов упрека. Вронский старается быть нормальным человеком, который любит Анну. Это Анна увлечена потоком и не в силах управлять собой. То, что это так, Толстой косвенно дает понять разными способами, в том числе и очень странным для способной к любви женщины, каковой является Анна, способом — ее равнодушием, если не сказать безразличием, нелюбовью к дочери. Дочь — возможность будущей жизни, в том числе и с любимым человеком, ее отцом, Вронским, — как бы не существует для Анны. Она вся во власти сжигающего ее чувства, которое столь сильно, что, кажется, остановило ее дальнейшее развитие, закрыло для нее будущее, заставляет вновь и вновь как бы по кругу проходить и заново переживать однажды возникшую страсть. В этом, как представляется, обнаруживается еще одна черта страсти — возможность ее развития лишь на основе и за счет тех чувств, сознания и опыта, которые были характерны для человека в момент, когда страсть им овладевает. Покоренный страстью человек не способен к развитию, он попадает в неразрывный волевым усилием круг постоянного переживания того опыта и полноты сознания, которые были застигнуты в нем в момент его покорения страстью. Он как бы консервируется в этом своем состоянии, и для него из этого состояния есть только один выход — в смерть.

Лишение способности к дальнейшему развитию — само по себе одна из форм смерти, и потому все, кого настигает страсть, становятся персонажами трагедии, а их физическая смерть — лишь материализация состоявшейся ранее смерти сознания и чувств, ума и сердца, если прибегнуть к терминам русской литературно-философской традиции. Вспомним, к примеру, последние годы жизни Ильи Ильича Обломова в супружестве с вдовой Пшеницыной: он как будто закаменеет, что особенно остро видно во время посещения его Штольцем. То есть в случае Обломова, страсть убивает Илью Ильича (или, что то же самое, Илья Ильич убивает в себе любовь — страсть к Ольге) мгновенно, но при этом процедура ритуала погребения откладывается и какое-то время труп продолжает лежать на видном всем месте.

Возможность по мере чтения и истолкования литературного произведения «домысливания», проработки глубинных смысловых ходов и направлений, которые логически просматриваются читателем или допускаются автором, хотя и не всегда им реализованы и потому не могут быть показаны в тексте как

результат работы именно его ума и души, — это, собственно, одна из отличительных черт подлинно крупного литературно-философского произведения. «Анна Каренина» Толстого в полной мере этим критериям отвечает. В подтверждение правильности наблюдения о «большей смысловой широте теста, чем его словесная выраженность», приведу размышления Иосифа Бродского: «Пишущий стихотворение пишет его прежде потому, что язык ему подсказывает или просто диктует следующую строчку. Начиная стихотворение, поэт, как правило, не знает, чем оно кончится, и порой оказывается очень удивлен тем, что получилось, ибо часто получается лучше, чем он предполагал, часто мысль его заходит дальше, чем он рассчитывал. Это и есть тот момент, когда будущее языка вмешивается в его настоящее. ...Пишущий стихотворение пишет его прежде всего потому, что стихотворение — колоссальный ускоритель сознания, мышления, мироощущения»¹.

Думаю, что эта мысль поэта в полной мере относится и к литературно-философскому тексту Толстого. Предположение это мне кажется верным, поскольку, как известно, первоначально автор «Войны и мира» задумывал написать роман о «мысли семейной» и при этом придать ему несколько ироничное толкование. Об этом говорит тот отмечаемый литературоведами факт, что первоначальное название романа было «Молодец баба» и повествовать он должен был о «барских амурах». Однако по мере погружения в проблему любви и страсти Толстой, возможно следуя за логикой проблематики или даже тем путем, о котором говорит Бродский, создал нечто совершенно иное. У него, как точно называют результат А. Зверев и В. Туманинов, получилась «поэма страсти». И в качестве таковой она «действительно превосходит все, что было создано до Толстого русскими авторами»².

О существовании принципа непреднамеренности письма, собственной воли слов Бродский заявлял неоднократно. «Рано или поздно — скорее раньше, чем позже — пишущий обнаруживает, что его перо достигает гораздо больших результатов, нежели душа. Это открытие часто влечет за собой мучительную раздвоенность, и именно на нем лежит ответственность за де-

¹ *Сочинения Иосифа Бродского*. Санкт-Петербург, МСМСХVIII, 1997. Т. 1. С. 16.

² *Зверев А., Туманинов В.* Цит. соч. С. 304.

моническую репутацию, которой литература пользуется в некоторых широко расходящихся кругах»¹.

Впрочем, что касается прямого отношения Анны к Вронскому, то ярко поданная в романе страстность Анны, посредством которой она пытается довлеть над волей Вронского, вполне Толстым осознается. Вот, к примеру, описание так приятно прошедшего для Вронского посещения выборов губернского председателя и его финал, отражающий одно из проявлений деспотического желания Анны видеть его рядом с собой как можно скорее. Как помним, выборы несколько затянулись и на заключительном вечере, который состоялся на следующий день после того, как Вронский обещал вернуться, он получает тревожно-требовательное письмо от Анны. В нем — косвенные укоры за то, что он оставил ее одну с ребенком, который «серьезно» заболел и наедине с которым Анна совершенно беспомощна. Его задержкой на день она встревожена до того, что даже хочет ехать к нему сама. «Это невинное веселье выборов и та мрачная, тяжелая любовь, к которой он должен был вернуться, поразили Вронского своею противоположностью»². К этому следует добавить и очевидно различную «степень накала» любовных чувств, которыми обладают Анна и Вронский. Поведение Анны Толстой характеризует словами: она «сжигает за собой мосты». В то время как Вронский чаще думает о том, как сгладить негативные оценки, вызываемые их поведением в мнениях «света». Впрочем, в поведении Вронского довлечет не забота о мнении общества. Анна верно угадывает его главное подспудное чувство, отчасти характеризующее, кстати, любые любовные отношения: оставаясь с любимой, мужчина тем не менее не может не быть озабочен и вопросом о степени своей личной свободы. Возможно, у Вронского это желание было несколько выше нормы, допустимой для гармоничных отношений.

Инстинктивное желание Вронского, любя Анну, продолжать оставаться свободным, с одной стороны, не может быть им преодолено, поскольку Алексей Кириллович не желает этого, а с другой — не может вызвать согласия Анны. С маниакальной настойчивостью, даже четко предвидя новую, становящуюся тяжелее раз от разу размолвку, Анна тем не менее не только создает ситуации, в которых Вронский оказывается вынужден

¹ *Сочинения Иосифа Бродского*. Т. 5. С. 118.

² *Толстой Л.Н.* Там же. С. 254.

подчиняться ее эгоистической страсти или идти на обострение отношений, но и ищет своим поступкам разумных оправданий. Рассуждая о свободе Вронского и собственной несвободе, она нравственно и справедливо отказывается принимать во внимание мнение «света» о допустимости адюльтера для мужчины, что дает ему известную степень свободы. Вместе с тем она настаивает на том, что Вронский также должен отказаться от возможности свободы для себя, коль скоро такая свобода невозможна для нее. Впрочем, за этими словами о свободе, возможно, стоит иное: Вронский из любви к ней должен добровольно опуститься (или, кто знает: может быть, возвыситься) до той степени страданий, которые создает «свет» для Анны и которые она своим порой вызывающим поведением создает для себя сама.

Справедливы ли такие ожидания или требования, Толстой не обсуждает. Он только отмечает сам факт их наличия, дает понять об их потенциальной неприемлемости для Вронского, равно как и невозможность изменения поведения Анны. «Теперь Анна уж признавалась себе, что он тяготится ею, что он с сожалением бросит свою свободу, чтобы вернуться к ней, и, несмотря на то, она была рада, что он приедет. Пускай он тяготится, но будет тут с нею, чтоб она видела его, знала его каждое движение»¹.

И здесь, хотя и несколько в ином контексте, Толстой роняет страшное и точное для влияния на поведение Анны слово: морфин. Истолкование его у Толстого может быть двояким: как средство заглушить страдание, а впоследствии, возможно, способствовать появлению страданий новых; но и в продолжение логики изложения — как определение для характеристики состояния страсти героини.

Это второе толкование возникает, например, из изложения разговора Анны с возвратившимся с выборов Вронским. Вспомним. Вронский не оставляет надежду быть свободным. Но и Анна не может отказаться от своей цели. В ответ — «...холодный, злой взгляд человека преследуемого и ожесточенного блеснул в его глазах...

Она видела этот взгляд и верно угадала его значение.

«Если так, то это несчастье!» — говорил этот его взгляд»².

Для понимания степени ненормальности Анны (то есть ее отклонения от «нормы», «нормальности» и ее подвластности

¹ Там же. С. 255.

² Там же. С. 257.

страсти) Толстой уже на следующих страницах сводит свою героиню с Левиным, фактически с самим собой. И встреча эта знаменательна и важна для понимания смыслов романа прежде всего по следующим из этого эпизода выводам.

Вот как сюжетно разворачивает эту линию автор. Вместе со Стивой Левин посещает Анну — знакомится с ней. И его сразу же поражает то количество достоинств, которые он видит в этой вызывающей чувство жалости женщине. «Кроме ума, грации, красоты, в ней была правдивость. Она от него не хотела скрывать всей тяжести своего положения.

...Левин все время любовался ею — и красотой ее, и умом, образованностью, и вместе простотой и задушевностью. Он слушал, говорил и все время думал о ней, о ее внутренней жизни, стараясь угадать ее чувства. И, прежде так строго осуждавший ее, он теперь, по какому-то страшному ходу мыслей, оправдывал ее и вместе жалел и боялся, что Вронский не вполне понимает ее».

На вопрос Стивы, какой ему показалась Анна, Левин отвечает: «...необыкновенная женщина! Не то что умна, но сердечная удивительно. Ужасно жалко ее!»¹ Точно обозначен центр страсти — сердце. Но поскольку Левин не выступает объектом страсти и вообще не имеет к этому явлению отношения, то он и не может постигнуть всей пагубности этого чувства. Он видит лишь красоту страсти, наблюдая ее со стороны. Это как если бы Левин имел возможность наблюдать с большого расстояния извержение вулкана. Оно, без сомнения, казалось бы ему захватывающей и красивой картиной. Иное дело — «наблюдения» людей, на которых движется лава или из-под ног которых уходит почва.

Вот почему, по словам Толстого, Левин замечает, чувствует, что в «нежной жалости», которую он испытывал к Анне, было «что-то *не то*». И это «не то» — в качестве одного из объяснений феномена под названием «Анна Каренина» для Толстого, строящего свой собственный тип русского мировоззрения, означает тлетворное влияние города, жизнь человека вне природы и потому ради одних лишь плотских потребностей и удовольствий. Для этого-то Толстой и сталкивает Анну с Левиным (собой), создавая возможность в этом анализе извергающегося вулкана сказать и свое слово. «Естественный» и «нормальный» человек, Левин, живя в городе, говоря словами Толстого, «шалеет». Он

¹ Там же. С. 290—291.

понимает, что тем, чем он занят здесь, в Москве, он никогда не стал бы заниматься в деревне, поскольку это одни разговоры, еда и питье. Он понимает, что живет в Москве «бесцельною, бестолковою жизнью, притом жизнью сверх средств». А ненормальная жизнь рождает ненормальные отношения людей. И это — одна из сторон объяснения, в том числе и феномена Анны, исследование которого Толстой не оставляет ни на минуту.

Ненормальная и неестественная жизнь в городе, ее подчиненность правилам и законам «света», в разной мере затрагивает всех героев романа. Городская жизнь нравственно калечит добряка Стиву Облонского, чуть не стоит жизни Кити Шербацкой. Жизнь в городе убивает брата Левина, которому, как он полагал, природой было назначено нечто более высокое, нежели то, что он в своей жизни делал. В конце концов Левин приходит к неутешительному выводу: так прожить жизнь, как его брат, нельзя. Как и Анна, брат Левина в своей логике жизни дошел до предела, сжег за собой мосты, но, к несчастью, потерпел поражение в сражении на том берегу. За всем этим для Толстого стоит город. Город же, наконец, мешает и Алексею Александровичу христиански простить Анну и, прежде всего, дать ей возможность обрести горячо любимого сына.

Как следствие ненормальной и неестественной жизни в городе и в Анне не просыпается (умерло, не родившись) материнское чувство к их общей с Вронским дочери. И возможно, одной из причин этой аномалии Толстой полагал то, что Анна, как было заведено прежде всего у городских дам, сама не кормит ребенка, а поручает это специально подобранной для этого кормилице. (Сам граф Толстой, как известно, настаивал и добивался того, чтобы его жена сама кормила всех их тринадцать детей, несмотря на тяжкие боли, которые Софья Андреевна испытывала каждый раз в процессе кормления грудью.)

Ненормальная и неестественная городская жизнь, согласно Толстому, не позволяет Анне отказаться от сложившихся у нее с Вронским «отношений борьбы» за его, Вронского, свободу и против ее, Анны, фактически крепостного общественного состояния. Очевидно, Толстой вновь имеет в виду влияние городских условий светской жизни, когда пишет: «...какая-то странная сила зла не позволяла ей отдаться своему влечению, как будто условия борьбы не позволяли ей покориться».

...Она чувствовала, что рядом с любовью, которая связывала их, установился между ними злой дух какой-то борьбы, кото-

рого она не могла изгнать ни из его, ни, еще менее, из своего сердца»¹.

Но город не только уродует не умеющие приспособиться к нему недюжинные натуры. Он создает и свои, вполне благополучные, дюжинные. Таков, к примеру, сводный брат Константина и Николая Левиных — Сергей Иванович Кознышев. Его уравновешенность, гармония и спокойствие — результат отказа от поисков любимых толстовских героев высшего смысла своего существования. Целя в брате стремление служить общему благу, Константин все же не может до конца поверить в искренность его намерений. (У Толстого это вновь выражается популярной в русском мировоззрении дихотомией: идет ли стремление к высшим целям от рассудка или от сердца.) «А рассудок говорит, — подхватывают эту мысль А. Зверев и В. Туманинов, — что заниматься такой деятельностью хорошо и достойно, тем более что ею заслоняется необходимость ответить для себя на самые главные вопросы — о долге личности перед своей бессмертной душой»².

Как бы желая укрепить свои представления о «нормальности» и «ненормальности» (в терминологии «Войны и мира» — естественном — живом и неживом — искусственном), Толстой сразу после тягостных страниц о «злом духе» и «силе зла», постепенно овладевавшими Анной, дает изображение вершины семейной жизни Левиных — рождении ребенка. Событие это мы воспринимаем через видение Левина — самого Толстого. И подается оно как поистине эпическое явление и переживание.

Вначале как бы для того, чтобы отстраниться от предыдущего, связанного с назревающей трагедией Анны, автор итожит левинские размышления о ней. Приходят они «после пьянства, ...нескладных дружеских отношений с человеком, в которого когда-то была влюблена жена, и еще более нескладной поездки к женщине, которую нельзя было иначе назвать, как потерянную, и после увлечения своего этою женщиной и огорчения жены» и сменяются ожидаемо, но все-таки неожиданно начавшимися родами Кити.

Событие это, как это всегда бывает у Толстого, подается не только само по себе, но и через сопоставление с чем-то равнозначным по содержательному наполнению. Причем это равно-

¹ Там же. С. 295—296.

² Зверев А., Туманинов В. Цит. соч. С. 318.

значное может быть как с положительным (и тогда сравнивается его сила), так и с противоположным знаком (и в этом случае речь чаще всего идет о чем-то третьем, стоящем над сравниваемыми явлениями). В данном случае, рождение Левин в своих воспоминаниях сопоставляет с недавней смертью брата Николая. «Но то было горе, — это была радость. Но и то горе, и эта радость одинаково были вне всех обычных условий жизни, были в этой обычной жизни как бы отверстия, сквозь которые показывалось что-то высшее. И одинаково тяжело, мучительно наступало совершающееся, и одинаково непостижимо при созерцании этого высшего поднималась душа на такую высоту, которой она никогда и не понимала прежде и куда рассудок уже не поспевал за нею»¹. И неверующий прежде Левин начинает твердить неожиданно пришедшие ему слова: «Господи, помилуй! Прости, помоги!».

Масштабность события, как и в многочисленных случаях, описанных Толстым, например в сценах боя и смерти на бастионах защитников Севастополя, рождает в подлинно «положительных» толстовских героях одинаковые чувства. У Левина это выражается словами: надо действовать спокойно, обдуманно и решительно, не торопиться и ничего не упускать. а когда делать уже больше ничего нельзя, то терпеть. При этом терпение дается столь тяжело, что каждую минуту ему кажется, что он дошел до его последних пределов и что сердце вот-вот разорвется от страдания. Но сердце выдерживало, и приходили минуты нового страдания, и чувства страдания и ужаса напрягались еще более.

Опять же, в том числе и в противоположность сцене родов и близкой опасности смерти Анны, в эпизоде рождения сына Левина Толстой дает изображение одной из вершин человеческого счастья. «И вдруг из того таинственного и ужасного, нездешнего мира, в котором он жил эти двадцать два часа, Левин мгновенно почувствовал себя перенесенным в прежний, обычный мир, но сияющий теперь таким новым светом счастья, что он не перенес его. Натянутые струны все сорвались. Рыдания и слезы радости, которые он никак не предвидел, с такой силой поднялись в нем, колебля все его тело, что долго мешали ему говорить.

Упав на колени перед постелью, он держал перед губами руку жены и целовал ее, и рука эта слабым движением пальцев отве-

¹ Толстой Л.Н. Там же. С. 304.

чала на его поцелуи. А между тем там, в ногах постели, в ловких руках Лизаветы Петровны, как огонек над светильником, колебалась жизнь человеческого существа, которого никогда прежде не было и которое так же, с тем же правом, с тою же значительностью для себя, будет жить и плодить себе подобных»¹.

С этого поворотного для течения романа момента Толстой начинает приближать неизбежную развязку истории страсти Анны. Вначале происходит разговор Стивы с Карениным, в котором Алексей Александрович, коренным образом переродившийся в сравнении с минутной «слабостью» — сострадательным милосердием — у постели умирающей Анны, решительно, хотя и казуистически, отказывается дать Анне развод, несмотря на отчаянные доводы Степана Аркадьевича:

«...Может быть, я обещал то, что не имел права обещать. ...

— Я никогда не отказывал в исполнении возможного, но я желаю иметь время обдумать, насколько обещанное возможно»². Формой «обдумывания» Алексей Александрович, в это время под руководством графини Лидии Ивановны с головой окунувшийся в мистические опыты в исполнении заезжего шарлатана, избирает вопрошание погруженного в сон «медиума» — француза: давать развод или не давать. И решение «отказать», принятое, как это происходит в романе, в крайне издевательски-гротескной форме, только подчеркивает всю невозможность дальнейшей жизни Анны в этой среде, в этом городе, на этом свете.

Развязка романа с неотвратимостью приближается. Случается разговор Стивы с племянником Сережей — повзрослевшим сыном Анны, в котором Сережа вполне осознанно артикулирует и тем самым материализует разрыв своей связи с матерью. Воспоминания о матери по прошествии года больше не занимают его.

Со своей стороны, свои отношения с миром — вынужденно сконцентрированные на Вронском — начинает трагически сужать и Анна. Подчиняясь логике развития страсти, она теперь ревнует Алексея Кирилловича не к женщинам или к какой-то воображаемой женщине. Страсть, все больше начинающая принимать форму психоза, приводит к тому, что Анна начинает ревновать Вронского «к уменьшению его любви» к ней. Не имея явного предмета для ревности, она отыскивает его в вооб-

¹ Там же. С. 307.

² Там же. С. 316.

ражении, выдумывает его. Постепенно она начинает обвинять Вронского во всем, что было в ее собственном положении тяжелого: это и мучительное состояние ожидания развода, и неопределенность жизни в Москве, и вынужденное затворничество. И в итоге Анна оказывается наедине с давно зреющим и теперь осознанным чувством — решением, которое наконец-то «все разрешает»: умереть. «Все спасается смертью», — постепенно формулируется в ней приговор самой себе.

И, как перед всякой физической кончиной, которую не раз описывал Толстой, у находящегося на грани жизни-смерти (смертельно раненного, больного или неотвратно изживающего себя человека, как это происходит в случае Анны), вдруг наступает временное облегчение, так часто принимаемое страдальцем за надежду: «кризис миновал», и дальше будет выздоровление. Это, однако, лишь иллюзия. Похоже, этим временным облегчением Бог дает несчастному всего лишь возможность в последний раз спокойно проститься с близкими и материальным миром. Так это происходит и с Анной, когда они с Вронским принимают решение ехать в деревню.

Но владеющий Анной «злой дух» в очередной раз берет верх. «И смерть, как единственное средство восстановить в его сердце любовь к ней, наказать его и одержать победу в той борьбе, которую поселившийся в ее сердце злой дух вел с ним, ясно и живо представилась ей.

... Нужно было одно — наказать его»¹.

Ночью после двукратного приема опиума ей опять приснился старый сон-кошмар, в котором уже неоднократно являвшийся в ее сонном сознании старичок-мужичок, наклонившись, не обращая на нее внимания и бормоча какие-то бессмысленные французские слова, что-то творил с железом.

Анна делает последние шаги к смерти. Уезжает из дома, который стал ей страшен... Отрешается от детских и далеких воспоминаний... Вновь растревляет в своем сердце нескончаемый и бессмысленный спор-соперничество с Вронским: «...я докажу ему...» Видится с Долли и Кити и уезжает от них с нелепой, но важной для ее решения умереть мыслью, что они радуются ее несчастью.

Анна итожит свои счета с жизнью: «...все мы ненавидим друг друга»; «Никогда никого не ненавидела так, как этого

¹ Там же. С. 345.

человека!», — думает она о Вронском. «Если бы я могла быть чем-нибудь кроме любовницы, страстно любящей одни его ласки; но я не могу и не хочу быть ничем другим», — открывается ей страшная правда довлеющей над ней страсти. «Сережа? — вспомнила она. — Я тоже думала, что любила его, и умилялась над своею нежностью. А жила же я без него, променяла же его на другую любовь и не жаловалась на этот промен, пока удовлетворялась той любовью». И она с отвращением вспоминала про то, что называла той любовью»¹.

Все и всё вокруг ей кажутся «уродливыми и изуродованными». Последнее слово знаменательно. Оно, вполне в согласии с толкованием Бродского о самостоятельности текста под пером автора, означает переход к приближающейся развязке: через некоторое время тело Анны будет в самом деле изуродовано, и, опережая этот ужас, Анна подсознательно начинает привыкать к тому, что то, что с ней сделается, есть типичная характеристика, чуть ли не обыденность земной жизни, то есть то, что она видит постоянно, к чему привыкла и что, по этой причине, уже не должно быть страшно.

Но привыкнуть к этому нельзя. И последней попыткой — возвратом к жизни все же становится ее инстинктивное движение выхватить назад из-под едущего вагона свое тело, под который она его только что бросила. Поздно. «И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла»². Анны не стало. Страсть загасила свечу-жизнь.

Так, впервые в «Войне и мире» в образе Наташи Ростовой приблизившись к проблематике любви, выходящей на одну из своих границ, но смертельную границу страсти, Лев Толстой во всей полноте раскрыл природу этого явления в романе «Анна Каренина».

Знал ли это чувство сам Толстой или оно было навеяно становившейся «модной» в то время темой адюльтера, широко обсуждавшейся в мировой литературе? На этот счет мы имеем компетентное свидетельство В.Б. Шкловского в его более раннем, чем цитирувавшаяся монография А. Зверева и В. Туманинова, исследовании о Толстом. Согласно Шкловскому в годы напи-

¹ Там же. С. 359.

² Там же. С. 364.

сания «Анны Карениной» тема адюльтера активно обсуждалась, в частности, во Франции, в том числе в произведениях Дюма-сына. Так, в книге «Мужчина — женщина», изданной в 1872 году, рассматривался вопрос: убивать или прощать неверную жену? Однако при том, что Толстого, как он признавался в письме к Т.А. Кузминской, «поразила эта книга», для сюжета своего романа он не мог сразу найти однозначного решения. В первоначальном варианте муж Анны Михаил Михайлович (Каренин) дает жене развод, но при этом «становится «привидением»: это «осунувшийся, сгорбленный старик, напрасно старавшийся выразить сияние счастья жертвы в своем сморщенном лице».

В первоначальном варианте романа участвовали и модные тогда в общественном сознании нигилисты, которые полагали, что все происходящее — таково, каким и должно быть. Муж Анны (тогда еще — Татьяны) был выписан идеальным человеком. Он сразу соглашался на развод, принимал в своем доме любовника жены, а затем брал на воспитание чужого ребенка. Сама Татьяна — Анна обладает дурными манерами: она берет жемчуг в губы, слишком громко разговаривает. Автор прямо говорит: «отвратительная женщина». Что касается Вронского, то первоначально он — не блестящий аристократ, а чудаковатый казачий офицер, не без напряжения принятый в высшем свете.

Но Толстой, кажется, чувствует недопустимую для подлинно философского заострения проблемы простоватость такой трактовки характеров. Продолжая колебаться в размышлениях над развязкой, он задается вопросом: не использовать ли «французское решение» конфликта? Шкловский пишет: «Один раз он (муж, давший развод. — *В.Ш.*) пошел в комитет миссии. Говорили о ревности и убийстве жен. Михаил Михайлович ... встал медленно и поехал к оружейнику, зарядил пистолет и поехал к ней».

Слова «к ней» написаны по зачеркнутому «к себе».

Разведенные супруги не могут помочь друг другу. «Связь наша не прервана, — говорит Михаил Михайлович. — Я сделал дурно. Я должен был простить и прогнать, но не надсмеяться над таинством...»¹ Но все же выстрел не раздался. Толстой вы-

¹ Шкловский В. Лев Толстой. М.: Изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1967. С. 345. Впрочем, и такой чудовищный исход не был искусственно сконструирован писателем. Шкловский отмечает, что «Лев Николаевич сам видал, как бросилась в 1872 году мучимая ревностью Анна Степановна Зыкова, дочь полковника, под поезд. Ее любовник А.Н. Бибиков сделал предложение гувер-

брал самоубийство женщины как единственно возможный выход. Далее Шкловский утверждает, что в таком выборе решения проблемы на Толстого решающее влияние оказал Пушкин, предостерегавший от ложных развязок. В похожей коллизии — незаконченном фрагменте «Гости съезжались на дачу» — он переносил читательский интерес на саму женщину, а не на ее вину.

Вполне возможно, что это так и было. Однако вместе с тем нельзя отрешиться и от того, что и Толстой в своем жизненном опыте знал чувства, которые если и не вполне заслуживали именованья страстей, то в чем-то к ним были близкие.

В этой связи особенно ценны наблюдения В.А. Жданова, одного из глубоких исследователей творчества великого писателя, знатока и хранителя его рукописей, к тому же более полувека проработавшего в Государственном музее Л.Н. Толстого в Москве. Приведу одно из них, имеющее прямое отношение к теме любви-страсти и исходящее от супруги Толстого Софьи Андреевны Берс. Уже в первые годы семейной жизни в своем дневнике она записала: «Лева все больше и больше от меня отвлекается. У него играет большую роль физическая сторона любви. Это ужасно; у меня никакой, напротив»¹.

Впрочем, это отдельное наблюдение органично встраивается и в более общую, чрезвычайно важную для Толстого тему семьи. И именно она, являющаяся, с одной стороны, продолжением темы любви-страсти, с другой — по мере развития сюжета постепенно оказывается доминантой романа. Сравнивая роман об Анне с «Войной и миром», Толстой четко сформулировал: «...в "Анне Карениной" я люблю мысль *семейную*»². И именно под этим более широким углом зрения и нужно, на мой взгляд, смотреть на центральную проблему самой Анны — проблему любви-страсти.

Как легко заметить, в «Анне Карениной» в полной мере развернуты три семейные истории: семьи Долли, семьи Кити и разрушенной старой, но так и не построенной семьи Анны.

нантке, приглашенной к сыну. Анна Степановна взяла узелок, перемену белья и платье и поехала в Тулу, потом вернулась в Ясенки: эта станция в пяти верстах от Ясной Поляны. Здесь Анна бросилась под товарный поезд, потом ее анатомировали. Лев Николаевич видел ее с обнаженным черепом, всю раздетую и разрезанную в ясенской казарме. Об этом записано у Софьи Андреевны под заглавием «Почему Каренина Анна и что навело на мысль о подобном самоубийстве?». Там же. С. 341.

¹ Жданов В. Толстой и Софья Берс. М.: Алгоритм, 2008. С. 97.

² Там же. С. 211.

И если Долли, сохраняя семью, вся уходит в воспитание детей, то Кити вместе с Константином Левиным строит идеальную модель семейного счастья. При этом, сравнивая этот нарисованный Толстым идеал с трагической попыткой создания новой семьи Анной Карениной, ясно видишь принципиальное между ними различие, всячески подчеркиваемое автором романа. Для Кити любовь хотя и важнейшее, но все же средство строительства семьи. В то время как для Анны любовь — самоцель, которая именно в этом своем качестве и ведет к гибели.

Сколь тонка, возвышенна и даже совершенна Анна в любви, столь же неудачлива и невосприимчива она к строительству семьи как органического продолжения любви, как дома, в котором только и может жить это чувство. Гениальная в одном, Анна неудачлива и не способна к другому. Целиком поглощенная личными переживаниями, она не может возвыситься до восприятия ценности и общих радостей семьи.

Да, создание семьи для толстовской героини со столь сложной психической структурой было сопряжено с большими трудностями. Этот путь не мог не быть тернистым и долгим. Но это был всего лишь путь. Анна не прошла его, и ее трагедия воплотилась в форму невозможности переиначить себя для достижения семейной цели. В этом и лежит объяснение того, что в «Анне Карениной» Толстой, наряду с проблемой любви-страсти, исследовал и любил «мысль семейную»¹.

Конечно, для нас навсегда останется загадкой, как и из каких собственных переживаний художник строит внутренний мир и тем более выводит трагедию своей героини. С определенностью можно, наверное, сказать лишь то, что если бы собственная семейная жизнь Толстого была безоблачна и счастлива, то романа под названием «Анна Каренина» не появилось.

Одиночество и постоянно испытываемые страдания Толстого от жизни в собственной семье, которые с течением времени становились все невыносимее, отмечаются всеми его исследо-

¹ «Дом — дом — дом: колокольный звон семейной темы — дом, домочадцы. Толстой откровенно дает нам ключ на первой же странице романа: тема дома, тема семьи». (Из записных книжек Набокова). И еще из его же «Комментариев»: «Слово *дом* (*в доме, домочадцы, дома*) повторяется восемь раз в шести предложениях. Этот тяжеловатый и торжественный звон над обреченной семейной жизнью (одна из главных тем книги) — откровенный стилистический прием». *Набоков В.* Лекции по русской литературе. Чехов, Достоевский, Гоголь, Горький, Толстой, Тургенев. М.: Независимая газета, 1996. С. 233, 284.

вателями. Он не в силах смириться, не может «пассивно покоряться, не может учесть состояния Софьи Андреевны, и каждое действующее лицо — и жена и взрослые дети — вызывают его гнев. Он становится невыносим для семьи. Семья делается невыносимой для него». «...Очень тяжело в семье, — записывает он. — Тяжело, что не могу сочувствовать им. Все их радости, экзамен, успех света, музыка, обстановка, покупки — все это я считаю несчастьем и злом для них и не могу этого сказать им. Я могу, я говорю, но мои слова не захватывают никого. Они как будто знают не смысл моих слов, а то, что я имею дурную привычку это говорить. В слабые минуты — теперь такая — я удивляюсь их безжалостности. Как они не видят, что я: не то, что страдаю, а лишен жизни...»¹ И еще о трагическом для отца и мужа восприятии семьи: «Дети — сонные, жрущие». «Дома — праздность, обжорство и злость». «Жена очень спокойна и довольна и не видит всего разрыва»². «Только что я написал это, она пришла ко мне и начала истерическую сцену. ...Она до моей смерти останется жерновом на шее моей и детей. Должно быть, так надо. Выучиться не тонуть с жерновом на шее»³. Страшные слова о жуткой жизни, из которых возникла «Анна Каренина». И как Анна не в силах обрести ценность семьи в уединении деревенской глуши, как Анне нужен свет, место в театральной ложе, в которой бы она располагалась вместе с Вронским, так и Толстому, при всем его понимании своей личности и одиночества в кругу домочадцев, все же нужно это свое место в Ясной Поляне, хотя бы как несбыточная гармония, невозможная для него. «Если бы она ушла из этого театра, — замечает Шкловский, — если бы покинула его, то была бы спасена; но Лев Николаевич сам не может покинуть свое место в Ясной Поляне, он сам пленник семьи, благополучия, славы»⁴. Если не каждодневный ад, то, по меньшей мере, ежедневные и постоянно усиливающиеся переживания были той питательной почвой, на которой рос один из величайших русских романов XIX столетия — «клубок этических мотивов»⁵, как называл его Владимир Набоков.

¹ *Жданов В.* Цит. соч. С. 264.

² Там же. С. 266.

³ Там же. С. 267.

⁴ *Шкловский В.* Цит. соч. С. 365.

⁵ *Набоков В.* Цит. соч. С. 227.

* * *

От кошмара постоянно усиливающейся и неуклонно стремящейся к роковой черте любви-страсти Анны Толстой искал и находил отдохновение в истории своих идеальных представлений об истинной любви Кити Щербацкой и Константина Левина, своего художественного «Я»¹.

Я уже отмечал, что, для того чтобы чувство Кити окрепло и развилось в истинное, тем более — идеальное или идеализируемое автором чувство любви, органически перетекающее в высшее — согласно Толстому — семейное чувство, Кити, подобно Наташе Ростовской, также необходимо пройти свой «круг ада». Круг этот — увлечение Алексеем Вронским, тогда еще не преображенным любовью-страстью Анны, а вполне заурядным повесой, в чем-то даже напоминающим Анатоля Курагина.

Кстати, в то время еще не представлял собой идеального героя и Левин, который, подобно его создателю-автору, в молодости не был чужд праздности и плотских утех. И Левин, и Толстой знакомят супруг с содержанием своих откровенных холостяцких дневников. На Кити, как и на Софью Андреевну, эти неожиданные свидетельства производят угнетающее впечатление. И оно тем более сильно, что в жене Толстого, тогда еще восемнадцатилетней девушке, нет ничего, что хотя бы отдаленно могло соответствовать чувственным переживаниям мужа. Софья Андреевна, напротив, думает о другом. «Всегда, с давних пор, я мечтала о человеке, которого я буду любить, как о совершенно целом, новом, *чистом* человеке». А тут — «просто баба, толстая, белая, — ужасно»², — записывает она об одном из увлечений Толстого — простой крестьянкой Степанидой, от которой у него был сын. (Вспомним, что развитие некоторых линий этой проблематики мы находим и в повести «Дьявол», в которой ее герой помещик Иртенев, так же как и сам автор «Анны Карениной», оказывается во власти плотской страсти к простой крестьянке Степаниде, к тому же гулящей.)

¹ Говоря так, я прежде всего имею в виду данную В. Набоковым оценку Константина Левина как «самого автобиографического героя» Толстого. Однако вместе с тем следует помнить и о точном замечании В. Шкловского: «Левин не имеет прототипа, он не Толстой, потому что он — Толстой без силы анализа, без гения. ...То, что не вышло у Льва Николаевича Толстого с Софьей Берс, выходит у Левина». (*Шкловский В.* Цит. соч. С. 365—366).

² *Жданов В.* Цит. соч., с. 67, 72.

Приведенное в данном месте замечание мне представляется уместным в связи с только что обозначенной темой глубинных размолвок Толстого с женой. Я думаю, что, не прощая мужу признанных им и предъявленных к покаянию грехов молодости, Софья Андреевна обнаружила отсутствие в себе способности прислушаться к «пульсу» прошлой жизни мужа. Более того, закрепила, по крайней мере в своей душе, убеждение, что этот пульс не переменялся, что он чужд ей и, более того, покаяние не принимается. Очевидно, душевной близости между супругами это не прибавило, но, к пользе русской словесности, явилось дополнительным импульсом для Толстого искать в мире своих фантазий идеальную любовь. Так в романе появляется линия Константин Левин — Кити Щербацкая.

Высказывая суждение о глубине предпринятого Толстым анализа, В. Набоков в своей лекции о писателе, оставляя за скобками оценки Пушкина и Лермонтова и выстраивая собственную иерархию классиков русской литературы XIX столетия, на первое место ставит Толстого. При этом одним из критериев для создаваемой им «лестницы» он называет присущее толстовскому письму «уникальное равновесие времени», благодаря которому любой читатель любого времени получает ощущение того, что «проза Толстого течет в такт нашему пульсу, его герои движутся в том же темпе, что прохожие под нашими окнами, пока мы сидим над книгой»¹.

Это качество романа, однако, не лишает его другого важного свойства — аберрации времени, проживаемого разными героями. Так, с одной стороны, например, пары (мужчина и женщина) движутся быстрее, чем одиночки, а с другой — также, к примеру, есть разница между физическим временем Анны и духовным временем Левина². Очевидно, что с помощью такого эффекта Толстому подспудно удается создать у нас желаемые им восприятия героев романа. Например, более быстрое движение пары Левин — Кити в стадии супружества усиливает возникающее у нас чувство гармоничности отношений между ними: у них все как будто слажено, пригнано, и их общее движение ничто не тормозит.

В то же время одиночка Каренин в процессе своих переживаний, для усиления вызываемого у читателя тягостного чувства

¹ Набоков В. Цит. соч. С. 225.

² Там же. С. 275, 276.

недовольства героем и одновременно сочувствия ему, движется более медленно: ведь чувства недовольства и сочувствия требуют от нас внутреннего согласования, взаимной уживчивости, и писатель предоставляет нам для этого время.

Точно так же духовное время Левина, требующее осмысления героем жизненно ценных для него истин, тем более таких, которые важны и для самого автора, намеренно Толстым замедляется: нам дается возможность подольше поразмышлять над авторскими идеями. И напротив, предрешенность вопроса о физической кончине Анны как единственно возможном способе решения проблемы с помощью использования Толстым метода ускорения времени готовит нас к тому, что уже ничто не может быть изменено. Корзина, в которую упадет отсеченная голова, придвинута, нож гильотины поднят на высоту и вот-вот обрушится на шею жертвы.

С особой силой время начинает ускоряться для Анны в последний день ее жизни. Толстой тщательно готовил нас именно к этому концу. В особенности значимы для нашего приятия именно этого рокового финала сны Анны и Вронского, в которых действует карлик-мужичок, копошащийся в мешке, звякающий чем-то железным и при этом бормочущий бессмысленные французские слова. Из других произведений Толстого, в том числе из знаменитого салона Анны Павловны Шерер в романе «Война и мир», французский в устах русского — один из синонимов фальши. (Вспомним, что любимые герои Толстого в общении между собой им почти не пользуются. Тем более странно было бы услышать его в минуты либо смертельной опасности, либо любовных отношений.) А звякающее в руках мужичка железо отзывается щелчком затворов в сцене расстрела пленных, при котором присутствует Пьер, равно как и вызывает в воспоминаниях скрежет и громыханье подаваемого паровоза в начале романа об Анне. Да и кто знает, какие звуки слышит приговоренный к смерти, когда изготавливаемый для казни нож гильотины возносится на высоту?

Кульминация неумолимого вторжения смерти в пространство последнего дня жизни Анны, как точно подмечает В. Набоков, Толстым создается особым средством, впервые (задолго до Джеймса Джойса) примененным в мировой литературе, — непрерывным внутренним монологом героини, потоком ее сознания. «Этот естественный ход сознания, то натянувшийся на чувства и воспоминания, то уходящий под землю, то,

как скрытый ключ, бьющий из-под земли и отражающий частицы внешнего мира; своего рода запись сознания действующего лица, текущего вперед и вперед, перескакивание с одного образа или идеи на другую без всякого авторского комментария или истолкования»¹.

Классически точную оценку двух главных любовных линий: Анны — Вронского и Кити — Левина вновь встречаем у В. Набокова. О первом союзе Набоков говорит как о построенном лишь на физической любви и потому обреченном. Женитьба же Левина «основана на метафизическом, а не физическом представлении о любви, на готовности к самопожертвованию, на взаимном уважении»². Но, добавлю от себя, за этой духовно богатой и личностно наполненной метафизикой конечно же незримо стоят ценности семьи и дома. В русском мировоззрении, как это уже много раз показывалось классиками отечественной литературы до Льва Толстого, Дом — не просто общее теплое место, где у каждого есть свое пространство для тела и души, где согласованно перемещающиеся тела родственны, а души звучат в унисон. Без этого, конечно, нет подлинного Дома, но этого, как показал в романе Толстой и к чему он неустанно стремился всю жизнь, все равно недостаточно. Согласимся, что при таком лишь понимании мы с неизбежностью могли бы прийти и к признанию наличия Дома у других «домочадцев», совсем не отвечающих подлинному смыслу этого высокого слова. Ведь гармонично существуют в своем доме, например, гоголевская чета — Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна — герои «Старосветских помещиков», равно как и тихо изживают в своем доме отмеренный земной срок Фимушка и Фомушка Субочевы из тургеневской «Нови». Вспомним, что их своеобразной любовью и взаимной заботливостью восхищались оба великих автора. Но они же отчетливо понимали растительный характер бытия и взаимных симпатий этих персонажей.

На самом же деле продолжением, а с другой стороны, фундаментальной основой Дома в высоком его смысле, как это глубоко понимал Толстой, является Дело, которым живет глава Дома и которое именно в его подлинном, изначально высоком смысле понимается и принимается как таковое хозяйкой, равно как и остальными «чадами Дома» — домочадцами. Да и сама хо-

¹ Там же. С. 263.

² Там же. С. 230.

зайка должна иметь такое фундаментальное для Дома — Семьи дело: как правило, это воспитание детей.

Не только метафизический, в набоковском понимании, смысл (взаимное уважение и готовность к самопожертвованию) держит и питает подлинную любовь. Источником ее жизни и непрерывного развития с неизбежностью выступает тот каждодневный способ обоюдной самореализации, который избирают для себя и которому согласно следуют муж и жена. Это то, чего, к несчастью, не смогли обрести Анна и Вронский. Это то, к чему отчаянно стремился всю жизнь Толстой. Это то, чего желали и что обрели Кити и Левин.

Для Левина, как и для самого Толстого, дело, которым держится Дом, было крестьянствование, сельские занятия. Как мы помним, занятия эти, а точнее, присущее этому занятию разнообразие, целиком заполняющее жизнь человека, возможное лишь в коллективном гармоничном осуществлении многих людей и в непосредственном контакте с природой, в русской литературе издавна было одним из излюбленных позитивных примеров идеально организованного человеческого бытия. Начиная с Фонвизина с его «государственным предпринимателем» Стародумом, через образы «примерных помещиков» во втором томе гоголевских «Мертвых душ» сельские «люди дела» все активнее осваивают пространство русской классической прозы и поэзии. В особенности, как мы писали об этом ранее, эта проблематика исследовалась и была широко представлена в рассказах и романах И. Тургенева. Не только в городскую, но и в деревенскую среду помещал своих успешных предпринимателей И. Гончаров. Все эти примеры неуклонно развеивают до недавнего времени прочно бытовавший в отношении русской классики миф о ее населенности исключительно «мертвыми душами» и «лишними людьми».

Веское слово в пользу делового начала в русском земледельце своим творчеством, равно как и самой жизнью, сказал и Лев Толстой. После отказа в сватовстве, полученного в доме Кити Щербацкой, после посещения брата, Левин как мы помним, возвращается к себе в деревню. И уже по дороге от станции он невольно начинает ощущать начавшее происходить с ним чувство нравственного очищения. Он решает, что с этого дня будет надеяться только на возможное и реальное, а не на фантастическое, как он считает, желание счастья женитьбы на девушке, которой, как он полагает, он недостоин. Он обещает не забы-

вать и всячески помогать своему несчастному брату. Он, наконец, дает себе слово (хотя он и прежде много работал и не жил роскошно) работать теперь еще больше и еще сильнее умерять свои жизненные потребности, чтобы скрасить «несправедливость своего избытка в сравнении с бедностью народа». При этом, что важно для понимания того, что Толстой рисует образ не «говоруна», а действительно делового человека, его охватывает чувство, «что с собой сделать все возможно»¹.

Откуда же такая неожиданная сила и вера в себя и в свои возможности? Вспомним прежде всего, что в отличие от Кити и тем более от Анны и Вронского Левин — органическое продолжение веками заведенного земледельческого уклада народной жизни. Дом, в котором он живет, был домом и одновременно частью мира, в котором жили, работали и умерли его отец и дед и в котором и он сам хочет прожить свою жизнь. И хотя он едва помнил свою мать, понятие о ней было для него священным и его будущая жена в его воображении должна была быть повторением «того прелестного, святого идеала женщины, каким была для него мать». И здесь же, словами Левина, Толстой формулирует свою принципиальную жизненную позицию, свое нравственное кредо: «Любовь к женщине он не только не мог себе представить без брака, но он прежде представлял себе семью, а потом уже ту женщину, которая даст ему семью. Его понятия о женитьбе поэтому не были похожи на понятия большинства его знакомых, для которых женитьба была одним из многих общежитейских дел; для Левина это было главным делом жизни, от которого зависело все ее счастье»².

Как это кажется далеким от главной темы романа — трагедии любви-страсти и ее эпиграфа «Мне отмщение, и Аз воздам», что, как, безусловно, опять же прав Набоков, означает: общество не имело права судить Анну, но и Анна не имела права наказывать Вронского, совершая самоубийство³. Однако «далекость» эта — всего лишь кажущаяся. Дело как основа семьи есть прямое продолжение любви, что, к несчастью, не соответствовало базовым представлениям описываемого в романе высшего света. Толстой, как великий художник, постоянно и разнообразными способами занят анализом настоящих и фальшивых смыслов и ценностей современного ему общества, в том числе и посред-

¹ Толстой Л.Н. Цит. соч. Т. 8. С. 106, 107.

² Там же. С. 108—109.

³ Набоков В. Цит. соч. С. 231.

ством созидания своего мировидения, создания собственной мировоззренческой системы, в которой воззрения земледельца Константина Левина — центральное звено¹.

Следует отметить, что позиция, в которую ставит себя Левин в отношении с крестьянами, уже имела традицию в русской литературе. И если во втором томе гоголевских «Мертвых душ» Чичиков еще только собирается стать помещиком и примеряет на себя одежды будущих отношений с крестьянами по мере знакомства с разными типами увиденных им помещиков, если в «Записках охотника» Тургенева хозяйствуют не только помещики, но и сами крестьяне, а в его романной прозе герои-помещики лишь объявляются автором «рациональными» и «успешными» хозяевами без показа того, как они ими становятся, то линия, которую продолжает Лев Толстой, иная. Свое начало в русской литературной традиции, на мой взгляд, она берет от «Письма сельского жителя» Н.М. Карамзина (1803 г.) и главы «Русский помещик» из «Выбранных мест из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя (1847 г.). Также не следует забывать и собственный, в этом же ключе написанный почти за двадцать

¹ Вопрос «Как долго представления Толстого об идеальном и нравственном хозяине, которого олицетворял Левин, оставались в его мировидении неизменными?» заслуживает специального рассмотрения, выходящего за пределы моего анализа. Но то, что они продолжали эволюционировать, не вызывает сомнений. Так, приводя пример глубины погружения великого писателя в позицию «опрошения», состоявшегося значительно позднее написания «Анны Карениной», приведу свидетельство встречавшегося с ним в Ясной Поляне в 1888 году уже цитировавшегося ранее чешского исследователя Т.Г. Масарика. В ответ на сообщение одного из молодых толстовских последователей, который жил в деревне à la мужик и пешком пришел в Москву (Толстой тоже несколько раз пытался не пользоваться железной дорогой), что ему первым делом пришлось избавляться от насекомых, которых он набрался в дороге, Толстой «с каким-то радостным удовлетворением» заметил следующее: «Современная чистота — нечто противоестественное и возможна лишь потому, что другие люди работают за нас; чистоплотность актрис, полусвета и т.п. неизбежно способствует тому, что у мужика есть вши; зато ...этот мужик чист душой, только тело у него не чисто, в то время как у цивилизованных чистых (людей) нечиста душа». «В ответ, — сообщает Масарик, — я вспомнил ту местность в Индии, где вшей считают священными насекомыми, которым фанатичные аскеты отдают себя на съедение, чтобы приобщиться к святости».

«- Да, святость вшей, — задумчиво повторил Толстой и попытался опровергнуть мои доводы в пользу американской cleanliness is (next to) godliness (Чистота — половина здоровья)». Масарик Т.Г. Россия и Европа. Эссе о духовных течениях в России. Книга III, части 2—3. Санкт-Петербург, издательство Русского Христианского гуманитарного института, 2003. С. 361.

лет до «Анны Карениной» рассказ Толстого «Утро помещика» (1856 г.), о котором речь шла ранее. Что же было общего в этой традиции и что нового в эту теоретическую конструкцию вносит Толстой образом Левина?

Как помним, в форме письма близкому другу Карамзин описывает печально начавшийся и счастливо завершившийся опыт помещичьего переустройства сельской жизни. Молодой помещик начинает с того, что, сделавшись господином изрядного имения и будучи напитан духом ненависти к злоупотреблениям власти, отдал крестьянам всю землю, совсем как пушкинский Онегин, ввел умеренный оброк и уволил прежних крестьянских притеснителей — управителя и приказчика. Сам же, в порыве человеколюбия, написал крестьянам: «Добрые земледельцы! Сами изберите себе начальника для порядка, живите мирно, будьте трудолюбивы и считайте меня своим верным заступником во всяком притеснении».

Каково же было его удивление и разочарование, когда по прошествии некоторого времени он посетил деревню и увидел неожиданное: всюду бедность, весьма худо обработанные поля, пустые житницы и гниющие хижины. Опрошенные им старики объяснили, что в прежние изобильные времена помещик сам жил в деревне и смотрел не только за своими, но и за крестьянскими полями, равно как и за всеми другими сторонами сельского бытия. «Реформатор» пришел к выводу, что воля, данная им крестьянам, обратилась для них в величайшее зло — то есть вволю лениться и предаваться «гнусному пороку» пьянства. Что нынче будни сделались для крестьян праздниками, а люди услужливые, «под вывескою орла», везде предлагают им средство избавляться от денег, ума и здоровья, ибо в редкой деревне нет питейного дома. Дарованную помещиком землю крестьяне отдавали внаймы и брали по пяти рублей за десятину, притом, что она могла бы принести от тридцати до сорока рублей, если к ней применить собственный труд. Но им даже и для своей выгоды работать не хотелось.

Что было делать? И «реформатор» возобновил господскую пашню, сам сделался усердным экономом, начал входить во все подробности, наделил бедных всем нужным для хозяйства и объявил войну ленивым. При этом он вместе со всеми трудился, на полях встречал и провожал солнце, требовал от крестьян во всем строгого отчета, перестроил всю деревню самым удобнейшим образом и даже ввел по возможности опрятность

и чистоту в крестьянских избах, не столько приятную для глаз, сколько нужную для сохранения жизни и здоровья. Наконец, — без всяких английских мудростей, то есть без хитрых машин, не усыпая земли ни золою, ни известью, ни толчеными костями, сумел добиться высоких урожаев, что обеспечило всеобщее благополучие. Крестьяне из бедных сделались зажиточными, у них в достатке появился хлеб, лошади, развилось скотоводство и реальной стала надежда со временем сделаться сельскими богачами. «Один опыт, — заключает Карамзин, — мог уверить их в счастье трудолюбия. Принудите злого делать добро: отвечаю, что он скоро полюбит его. Заставьте ленивого работать: он скоро удивится своей прежней ненависти к трудам. Сократ называл добродетель *знанием*: всякий порок можно назвать *невежеством*, — ибо он есть слепота ума; ибо в нем гораздо более страдания, нежели приятности»¹.

Наставительно-назидательным духом, как известно, пронизано и гоголевское обращение к русскому помещику. Быть помещиком над своими крестьянами, обращается Гоголь к земледельцу-хозяину, повелел тебе Бог, и он взыщет, если помещик променяет свое звание на другое. «...Не служа доселе ревностно ни на каком поприще, сослужив такую службу государю в званье помещика, какой не сослужит иной высокочиновный человек. Что ни говори, но поставить 800 подданных, которые все, как один, и могут быть примером всем окружающим своей истинно примерною жизнью, — это дело не бездельное и служба истинно законная и великая»².

Как и Карамзин, Гоголь призывает помещика быть не только управляющим, но истинным жизненным наставником, живущим с крестьянами одной жизнью. Отсюда — его советы по поводу устройства «пира на всю деревню» перед всякими большими общими делами, как то: посевов, покосов, уборки, чтобы в эти дни «был общий стол для всех мужиков на твоём дворе, как бы в день самого Светлого Воскресенья, и обедал бы ты сам вместе с ними, и вместе с ними вышел бы на работу, и в работе был бы передовым, подстрекая всех работать молодцами, похваливая тут же удальца и укоряя тут же ленивца»³. Заводя речь о сельской школе, Гоголь, подобно Карамзину, поругивает «иностранных филантропов» и воздает должное правилам исконно

¹ Карамзин Н.М. Избр. соч.: В 2 т. Л., 1964. Т. 2. С. 291.

² Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. М., 1952. Т. 8. С. 328.

³ Там же. С. 324.

православной, а не книжной морали. Аналогичную роль оба автора отводят и фигуре сельского священника — первого советчика и помощника помещика. Завершаются оба текста торжеством (реальным и обещанным) помещичьих задумок и личных усилий, всеобщим процветанием, духовным родством помещика и крестьян и, наконец, чувством честно исполненного господского долга.

Стремясь продолжить традицию обнаружения совместно приемлемого поведения как в отношении главного крестьянского дела, так и во взаимоотношениях между помещиком и крестьянами, Толстой посвящает этому замыслу многие страницы романа «Анна Каренина». Каковы же были надежды писателя? Что грезилось ему в идеальном согласованном труде помещика и крестьян? Лучше всего на этот вопрос отвечают заключительные страницы рассказа «Утро помещика». После обхода нескольких дворов своей деревни молодой помещик Нехлюдов, «увернувшись с головой в армяк, засыпает здоровым, беззаботным сном сильного, свежего человека. И вот видит он во сне города: Киев с угодниками и толпами богомольцев, Ромен с купцами и товарами, видит Одесу и далекое синее море с белыми парусами, и город Царьград с золотыми домами и белогрудыми, чернобровыми турчанками, куда он летит, поднявшись на каких-то невидимых крыльях. Он свободно и легко летит все дальше и дальше — и видит внизу золотые города, облитые ярким сияньем, и синее небо с частыми звездами, и синее море с белыми парусами, — и ему сладко и весело лететь все дальше и дальше...

"Славно" — шепчет себе Нехлюдов; и мысль: зачем он не Илюшка — тоже приходит ему»¹.

Знаковое для отечественной словесности слово «тройка» вновь прозвучало. И вспоминается бессмертный Гоголь с его обращенными к несущейся (по дороге ли, по небу?) птице-тройке словами: «Русь! Куда же несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа...» Мечется на земле и мечтает воспарить русский человек. И в мечтах погружается он в сон — как Павел Иванович Чичиков, Илья Ильич Обломов, герой соллогубовского «Тарантаса» Иван Васильевич². Мечтает очередной добрый русский помещик и в рассказе молодого хозяина Ясной Поляны.

¹ Там же. С. 372.

² «Иван Васильевич, нагнувшись через тарантас, смотрел с удивлением: под ним расстиралось панорамой необозримое пространство, которое все станови-

Но не хочет оставаться только мечтателем мятущийся в вечных вопросах бытия опытный помещик Толстой. И со своими вопросами голосом Константина Левина он вновь обращается к современникам и к нам, потомкам. Что же мы слышим?

* * *

Как дельный и рациональный человек, Левин начинает свое дело с обдумывания плана хозяйственного реформирования крестьянской жизни. Он справедливо приходит к мысли, что при обсуждении вопроса об организации и ведении рационального хозяйства в числе неизменно важных и постоянных факторов нужно принимать во внимание не только почву и климат, но и характер рабочего, причем, как он полагает, характер «неизменный».

Но Левин — не просто рациональный хозяин, которого многократно пытались изобразить и изобрести в русской литературе. Он, прежде всего, хозяин «органичный», то есть глубоко понимающий, эмоционально сопереживающий и интуитивно верно угадывающий все относящееся к крестьянскому делу и, что не менее важно, все, что может иметь отношение к попытке реформы в России. Он к тому же, что, возможно, самое главное — Россию любящий. Такова уж, как мне представляется, наша страна, что в ней ничего нельзя сделать без любви. Кстати, в контексте этой мысли не лишней кажется и столь тщательно проработанная в русском мировоззрении тема любви, в том числе и только что рассматривавшаяся ее разновидность любви-страсти.

То, что Левин действительно Россию любит, видно и из того, как Толстой, глазами Левина, сообщает нам об обыденных деталях. Лужи и грязь режут (но не слепят, не заставляют жмуриться или слезиться) Левину глаза своим «блеском на солнце». Коровы, выпущенные на варок, «сияют переливающейся глад-

лось явственнее при первом мерцании восходящего солнца. Семь морей бушевали кругом, и на семи морях колебались белые точки парусов на бесчисленных судах. Гористый хребет, сверкающий золотом, окованный железом, тянулся с севера на юг и с запада к востоку. Огромные реки, как животворные жилы, вились по всем направлениям, сплетаясь между собой и разливая повсюду обилие и жизнь. Густые леса ложились между ними широкой тенью. Тучные поля, обремененные жатвой, колыхались от предутреннего ветра. Посреди них города и селения пестрели яркими звездами, и плотные ленты дорог тянулись от них лучами во все стороны. Сердце Ивана Васильевича забилося». См.: *Соллогуб В.А.* Три повести. М.: Советская Россия, 1978. С. 258.

кою шерстью». (Само слово «сияют», синоним «сияние», настраивает нас на созерцание чего-то чуть ли не высшего.) Он наблюдает «за мычавшими, ошалевшими от весенней радости телятами». (Слово «шальной» несет в себе признак удалства, шалости, безобидной и неопасной игривости, радости.)

Впрочем, идиллия быстро заканчивается, как только хозяин сталкивается с плодами трудов рук человеческих. Левин обнаруживает, что требуемые для корма решетки поломаны и не починены с зимы. Он послал за плотником, который в это время должен был чинить молотилку. Но тот чинил бороны, до которых руки не дошли еще с масленицы. Встретившийся приказчик доложил, что и клевера сеяли не на двадцати, как велел Левин, а лишь на шести десятинах, и что «овес пересыпают; как бы не тронулся», что верно означало, что, не пересыпанный своевременно, он уже пророс. Само собой, приказчик уговаривал не беспокоиться и уверял, что все будет сделано вовремя, но при этом имел всегдашний свой вид, который как бы говорил: все хозяйские затеи и планы, это хорошо, но что выйдет на деле, — то это — как бог даст. Левин видел: «...повторялось это вечное неряшество хозяйства, против которого он столько лет боролся всеми своими силами»¹. Нельзя сказать, что Левину с приказчиком просто не повезло. У него перебивало их много. Но всем им было свойственно одно общее, вселенное в них как бы какой-то стихийной силой убеждение, согласно которому что ни делай, а все равно выйдет — «как бог даст».

Приехав на поле, где шел сев клевера, Левин обнаружил, что работники разбрасывают не размятые семена. Они не были виноваты в том, что им насыпали семена именно в таком виде, но Левину все же было досадно, что они заведомо портили дело. При этом один из работников, само собой, уверяет Левина, что старается «как отцу родному». Приехав домой, Левин немного успокаивается, так как встречает нечаянного и желанного гостя — Степана Павловича. Но вскоре в разговоре выясняется, что тот за бесценок продал лес своей жены купцу Рябинину. Эта новая, на этот раз «барская» бесхозяйственность выводит Левина из себя. Но и Стива стоит на своем:

« — Так что же? Считать каждое дерево?

— Непременно считать. А вот ты не считал, а Рябинин считал. У детей Рябинина будут средства к жизни и образованию,

¹ Толстой Л.Н. Цит. соч. Т. 8. С. 172.

а у твоих, пожалуй, не будет!»¹ — жестко заключает Левин спор с Облонским.

При этом Левин — вовсе не косный ретроград. Он даже не против, когда у бездельных и бесхозяйственных дворян скупают землю богатеющие мужики. По его понятиям, раз это на пользу делу, то так и должно быть. «Мужик работает и вытесняет праздного человека. Так должно быть. И я очень рад мужику», — итожит он. И хотя на этом тема доходов в соответствии с затратами прервана, она имеет принципиальное значение для хозяйственных реформаторских взглядов Левина. Ведь по этой логике он, применимо к собственному хозяйству, скоро должен будет с неизбежностью проводить грань между усердным работником и бездельным крестьянином. И, возвращаясь к «Утру помещика», это означает делать выбор между Дутловыми, с одной стороны, и Чурисенком, Юхванкой Мудреным и Давыдкой Белым, — с другой. А придет время — и вставать на сторону одного из двух непримиримых лагерей.

Пока Толстой не развивает далее эту тему. Но именно в ней, — в неизбежно разном отношении к делу, за что — в логике дела — разные работники или хозяева должны получать и разный доход, и коренится вопрос, неразрешимый для толстовской теории хозяйствования на основе всеобщего равенства и любви. У Толстого выходит, что одинаково надо любить и поровну воздавать и усердному, и ленивому.

Впрочем, эта проблема еще впереди. А пока автор романа об Анне вводит нас в святая святых своих сокровенных мыслей об общем помещичье-крестьянском земледельческом труде. И здесь прежде всего важно открывающее третью часть романа знаменательное сравнение взглядов на народ Константина Левина и его брата городского жителя Сергея Ивановича Кознышева. Приведем уместную здесь обширную выдержку.

«Для Константина Левина деревня была местом жизни, то есть радостей, страданий, труда; для Сергея Ивановича деревня была, с одной стороны, отдых от труда, с другой — полезное противоядие испорченности, которое он принимал с удовольствием и сознанием его пользы. Для Константина Левина деревня была тем хороша, что она представляла поприще для труда несомненно полезного; для Сергея Ивановича деревня была особенно хороша тем, что там можно и должно ничего не делать.

¹ Там же. С. 190.

Кроме того, и отношение Сергея Ивановича к народу несколько коробило Константина. Сергей Иванович говорил, что он любит и знает народ, и часто беседовал с мужиками, что он умел делать хорошо, не притворяясь и не ломаясь, и из каждой такой беседы выводил общие данные в пользу народа и в доказательство, что знал этот народ. Такое отношение к народу не нравилось Константину Левину. Для Константина народ был только главный участник в общем труде, и, несмотря на все уважение и какую-то ровную любовь к мужику, всосанную им, как он сам говорил, вероятно, с молоком бабы-кормилицы, он, как участник с ним в общем деле, иногда приходивший в восхищение от силы, кротости, справедливости этих людей, очень часто, когда в общем деле требовались другие качества, приходил в озлобление на народ за его беспечность, неряшливость, пьянство, ложь. Константин Левин, если бы у него спросили, любит ли он народ, решительно не знал бы, как на это ответить. Он любил и не любил народ так же, как и вообще людей. Разумеется, как добрый человек, он больше любил, чем не любил людей, а потому и народ. Но любить или не любить народ, как что-то особенное, он не мог, потому что не только жил с народом, не только все его интересы были связаны с народом, но он считал и самого себя частью народа, не видел в себе и народе никаких особенных качеств и недостатков и не мог противопоставлять себя народу. Кроме того, хотя он долго жил в самых близких отношениях к мужикам как хозяин и посредник, а главное, как советчик (мужики верили ему и ходили верст за сорок к нему советоваться), он не имел никакого определенного суждения о народе и на вопрос, знает ли он народ, был бы в таком же затруднении ответить, как на вопрос, любит ли он народ. Сказать, что он знает народ, было бы для него то же самое, что сказать, что он знает людей. Он постоянно наблюдал и узнавал всякого рода людей и в том числе людей-мужиков, которых он считал хорошими и интересными людьми, беспрестанно замечал в них новые черты, изменял о них прежние суждения и составлял новые. Сергей Иванович напротив. Точно так же, как он любил и хвалил деревенскую жизнь в противоположность той, которой он не любил, точно так же и народ любил он в противоположность тому классу людей, которого он не любил, и точно так же он знал народ как что-то противоположное вообще людям. В его методическом уме ясно сложились определенные формы народной жизни, выведенные отчасти из самой народной жизни, но пре-

имущественно из противоположения. Он никогда не изменял своего мнения о народе и сочувственного к нему отношения.

...Константину Левину скучно было сидеть и слушать его, особенно потому, что он знал, что без него возят навоз на неразлешенное поле и навалят бог знает как, если не посмотреть; и резцы в плугах не завинтят, а поснимают и потом скажут, что плуги выдумка пустая и то ли дело соха Андреевна, и т. п.»¹.

Толстовская идея поиска пути единения с народом, присутствующая практически во всех его произведениях (вспомним хотя бы «Казаков» и «Севастопольские рассказы»), впервые масштабно была заявлена в «Войне и мире». Прибывший на Бородинское поле Пьер, не покидающий на протяжении всего сражения батареи и чем только возможно помогавший солдатам, продолжает свой путь к народу через свое сближение в плену с Платоном Каратаевым. Результатом этого сближения оказывается его новый взгляд на мир, выраженный ликующим криком и смехом: «Не пустил меня солдат... Поймали меня, заперли меня. Кого меня? Меня? Меня — мою бессмертную душу! Ха, ха, ха!»²

Но если в «Войне и мире» единение любимых толстовских героев господ и крестьян, как правило, происходит перед лицом высшей силы в облике смерти, то в «Анне Карениной» единение Левина с мужиками обнаруживает себя перед лицом природы, но не в период ее бездельного созерцания, а в момент трудовой деятельности.

Вообще, несколько отвлекаясь от толстовской проблематики, замечу следующее. Как бы в процессе развития аграрного производства ни менялись технологии, включая современные нам высочайшие и сложнейшие способы взаимодействия с развивающимся природным целым, тем не менее любая форма аграрного труда (в том числе и крестьянский труд) предполагает гармоничное встраивание человеческих усилий в неуклонно развивающийся по своим собственным законам природный цикл. Для Толстого, например, это момент заготовки сена³. Трава

¹ Там же С. 263—264, 266.

² Там же. Т. 4, часть 2.

³ То, что это один из высших пиков природного цикла, воспринимаемый крестьянином именно как радостное событие, имеет и документальное подтверждение в печальных страницах отечественной аграрной истории. Уже после раскулачивания и насильственного утверждения в СССР колхозов трудовой энтузиазм людей некоторое время все еще сохранялся. По прошествии многих лет, в период перестройки, на вопрос социологов, почему они после коллективизации продолжали работать столь же интенсивно, хотя их вновь сделали кре-

выросла, и, как у роженицы на последних днях беременности, окружающие ее близкие не могут не принять рождающегося ребенка. Вот в такой-то момент Левин и оказывается на лугу вместе с косцами.

Эти ставшие классическими страницы тем не менее до сих пор содержат в себе нераскрытые тайны. Одна из них — блаженные моменты, возникающие вовсе не тогда, когда приходят минуты отдыха — и Левин пьет воду с брусницей или с неба льет долгожданный дождик. Это, напротив, минуты действия. Но действия такого, когда наступает «бессознательное состояние», «когда можно было не думать о том, что делаешь. Коса резала сама собой. Это были счастливые минуты.

...Чем долее Левин косил, тем чаще и чаще он чувствовал минуты *забытья*, при котором уже не руки махали косой, а сама коса двигала за собой все сознающее себя, полное жизни тело, и, как будто *по волшебству, без мысли о ней*, работа правильная и отчетливая делалась *сама собой*. Это были блаженные минуты.

Трудно было только тогда, когда надо было прекращать это сделавшееся *бессознательным* движение и думать, когда надо было окашивать кочку..(выделено мной. — С.Н.)»¹.

Впрочем, идущий рядом с Левиным старик даже кочки окашивал не думая. То есть, будучи не только, несомненно, более опытным косцом, он в то же время был и ближе к тому порогу, когда человека покидает сознание и когда (вспомним рефлексию пережившего близость смерти Пьера), он, человек, перестает быть физическим телом, а делается бессмертной душой. Бессмертная душа не подвластна смерти, и потому это то состояние, для которого Толстой и употребляет единственно точное здесь слово «блаженство».

Возвращаясь к неизбежной для хозяйственной практики теме соразмерности затрат (в том числе физических усилий) и дохода, в центральной теме косьбы Толстой намечает свой, кажущийся ему верным, выход. Как помним, ближе к вечеру, оценив большой масштаб проделанного и верно чувствуя настрой крестьян, Левин предлагает закончить косить луг полностью. Идея приобретает лозунговую форму «Машкин Верх скосить — водка будет». И с новой энергией косцы принимаются за работу вновь.

постными, они (абсолютно алогично с точки зрения рациональности) отвечали: «потому что трава выросла».

¹ Там же. С. 279—280.

И дело здесь, конечно, не в банальном пристрастии русского крестьянина к спиртному. Страда — в полном разгаре, и в работающей деревне до полного завершения всех полевых работ праздников не было. Несомненно, что левинские крестьяне из такой «правильной» деревни. В чем же дело?

Думаю, оно в ключевом для толстовского мировоззрения слове «бессознательное». Но теперь оно может возникнуть не как характеристика упорной работы в согласованном природно-человеческом ритме (отдавая созревшую траву, природа как бы отдает человеку рожденного ребенка). Теперь это «бессознательное» — лучший способ во время отдыха вспомнить о только что пережитом, гармоничном и радостном труде, отлично прошедших «родах», здоровом «ребенке», которому радуются отец и мать. Это «бессознательное» — вновь воспроизводимый в памяти радостный момент жизни, который лучше закрепляет пережитое и одновременно дает силы для новой жизни, нового труда.

И еще. Как и в поведении солдат на бастионах Севастополя или на Бородинском поле, у Левина, как у необстрелянного молодого офицера в Крыму или у Пьера на батарее, просто нет возможности долго сомневаться в собственных силах, рефлексировать «получится — не получится», «смогу — не смогу». Левин шел за мужиками и «часто думал, что он непременно упадет, поднимаясь с косою на такой крутой бугор, куда и без косы трудно влезть; но он влезал и делал что надо. Он чувствовал, что какая-то внешняя сила двигала им»¹.

В дальнейшем, основываясь на такого рода примерах хозяйственной жизни, Толстой и формулировал свое основное философское кредо. Согласно ему, если для человека сложно определить, что он должен делать, то существенно проще для него знать, чего он делать не должен. А знать это, то есть не делать, лучше всего не в индивидуальном размышлении, а присоединяясь к коллективному народному бессознательному. Отсюда — назначение человека — самоотречение и подчинение массовой, роевой жизни. И хотя в массе преобладает бессознательное, инстинкт, но это такое бессознательное и такой инстинкт, который прошел проверку веков совместной жизни и потому истинен и непреложен.

В особенности убедительно толстовская философия изложена, как мы старались показать ранее, в эпопее «Война и мир». Но

¹ Там же. С. 283.

если раньше в центре рассмотрения автора были князь Андрей, Наташа Ростова и Пьер Безухов, то теперь, в связи с темой позитивного дела жизни и образом Константина Левина, нужно еще раз обратиться к еще одной важной фигуре «Войны и мира» — образу Михаила Илларионовича Кутузова, конечно, безотносительно к его непосредственным полководческим делам.

В литературном творчестве вообще и у Толстого в особенности образы персонажей манифестируют создаваемую автором мировоззренческую систему. Иногда мировоззренческая система прописывается, как, например, в романной прозе Н.Г. Чернышевского, как декларация. Но в этом случае назидательности и нравоучительства — этих состоящих на твердой зарплате могильщиков литературы — не избежать. Особенность же литературного философствования, на мой взгляд, состоит в том, что его продукты — философемы берут начало и прочитываются не столько на рациональном (идейном) уровне, сколько на уровне эмоциональном и даже интуитивном. В этой связи жестко, но точно высказался Владимир Набоков: «...мы должны обратить внимание не на *идеи*. В конце концов, необходимо иметь в виду, что *идеи* в литературе не так важны, как образы и магия стиля». Предоставим «идеям карабкаться друг на друга как им угодно. Слово, выражение, образ — вот истинное назначение литературы. Но *не* идеи»¹.

Кутузов в «Войне и мире» Толстого на первый взгляд фигура странная. Он не пользуется популярностью в высшем свете, критикуем двором и императором, в 12—13-х годах его прямо обвиняют за ошибки, в том числе и за сдачу Москвы. Не выдерживает он сравнения и с непререкаемым кумиром русской знати до нападения на Россию — Наполеоном. Но если в изображении Толстого великий француз постоянно озабочен тем, как себя подать, как в каждый момент сделать нечто, что должно войти в историю, то Кутузов — нечто совершенно иное. Он, полководец, явно производит впечатление человека подчиненного. Кажется — абсурд. Но дело — в подчинении чему? Ведь его явно не заботит карьера, мало беспокоит расположение к нему двора и императора. Он даже, как бы забывая, что он — истинный спаситель России, заискивает перед Александром.

Разгадка этого кажущегося парадоксальным изображения Кутузова в том, что, по мысли Толстого, он — один из редких,

¹ Набоков В. Цит. соч. С. 248.

всегда одиноких людей, которые, «*постигая волю Провидения, подчиняют ей свою личную волю*». Это подчинение, являя себя в личном характере полководца, оборачивается покорностью воле событий, отсутствием тщеславия, самоотречением. Кутузов, как помним, признает верховенство лишь двух великих сил Провидения — времени и терпения. И не эти ли черты типичны и обнаруживаются Толстым практически в каждом из его народных характеров — от защитников Севастополя до последнего слуги дома Каренина или крестьянина из имения Левина? Кутузов — этот Каратаев в мундире генералиссимуса — толстовский идеал и одновременно реальное отражение современного ему народа, по крайней мере того, который Толстой хотел видеть и перед образом которого преклонялся, вскапывая огород вдове-крестьянке или лично сооружая для себя уродливые сапоги.

Кутузов, как помним, знаменит и своим «ничегонеделанием», расцениваемым свитой как бездарность или неспособность руководить армией. Он равнодушно, скептически или даже гневно-отрицательно относится ко всякого рода диспозициям, составляемым генералами перед сражением. Угадать, где и в какое время окажется та или иная войсковая часть, не перепутают ли маршрут командир, успеют ли добраться вовремя части или адъютант с приказом, не сообразится ли в заполненной туманом низине пехота, не попадет ли русское пешее воинство под огонь своей же артиллерии или под атаку гусар, — занятие гадательное, а будучи возведенным в ранг правил войны, и вовсе губительное. Кутузов, как, кстати, и Багратион, знает, что военачальнику *нельзя* управлять людьми, проектировать события и на этой основе рассчитывать на победу. Он, напротив, уверен, что в сражении решающую роль играет дух войска, способность каждого солдата к самоотверженности, пренебрежение опасностью, личная стойкость.

Но как можно пренебрегать видимой опасностью? Толстой приводит один из таких случаев — когда князь Андрей смотрит на вертящееся вблизи него пушечное ядро. Очевидно, что опасностью видимой, без серьезной причины, отвергая собственный принцип «не кланяться ядрам и пулям» на виду у своих солдат, все же пренебрегать нельзя. Другое дело, и это, в частности, обнаруживается на примере косьбы травы Левиным, можно впасть или достичь состояния бессознательного (термин Толстого) и в этом самозабвении — самоотречении забыть в том

числе и о том, о чем сам Толстой помнил всю жизнь, — о страхе смерти и делать то единственное, что должно делать. Не в этом ли и разгадка того, почему так спокойно, как это неоднократно наблюдал Толстой, умирают русские солдаты? Бессознательное следование высшему, с которым, в исполнение его повеления, человек соприкасается, делает для него это высшее уже отчасти знакомым. И потому переход в это высшее — через смерть — перестает быть страшным. «Душа бессмертна», — сознает Пьер. «Душа бессмертна», — бессознательно ощущает Платон Каратаев. «Душа, частью которой для князя Андрея является честь, бессмертна», — знает Андрей Болконский, равно как и напуганный его на войну отец. Провидение — это вместилище душ и бессмертия через умирание тела — прозревает и старый полководец Кутузов.

«Бессознательное» — центральная категория философии Толстого. Восхищаясь бессознательностью Каратаева, он формулирует: *«Только одна бессознательная деятельность приносит плоды, и человек, играющий роль в историческом событии, никогда не понимает его значения. Ежели он пытается понять его, он поражается бесплодностью»*¹.

В «Анне Карениной» Толстой продолжает развивать свою категорию бессознательного, роевого, радостного труда. Но как истинный реалист он не может позволить себе не замечать очевидных и все усиливающихся от года к году, от события к событию нравственных и рациональных несообразностей. Такова, например, история с покосом в сестриной деревне, которую Левин взял в управление. Как помним, заливные луга разбирались для обработки окрестными мужиками по двадцати рублей за десятину. Осмотрев их лично, Левин обнаружил их явную де-

¹ В ведущей роли в человеческой жизни бессознательного Толстой убеждался и на других примерах. Так, работая над романом о декабристах, он поражался протекающей из бессознательной веры в бессмертие души несокрушимую энергией и сарказмом, которые демонстрировал на каторге кавалергардский полковник Лунин. В одном из писем к сестре он, узнав о назначении военным министром графа Киселева, осмеял его. Содержание письма было доложено императору, и тот распорядился приковать Лунина к тачке навсегда. Это, впрочем, никак не изменило психологический настрой декабриста. Так, майор, смотритель каторжных работ, немец по происхождению, ежедневно уходил с работ, продолжая по дороге смеяться лунинским шуткам. (см.: *Е. Соловьев Л.Н. Толстой // Державин, Жуковский, Лермонтов, Тургенев, Лев Толстой. Биографические повествования. Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова. Челябинск: Урал LTD, 1998. С. 474*).

шевизну, поднял цену до двадцати пяти рублей. Мужики с новой ценой не согласились и, более того, стали отбивать покупателей из других мест. Так продолжалось больше года и кончилось тем, что Левин сдал луга частично наймом, а частично прежним мужикам из доли: две копны — ему, одна — мужикам.

Уже через год Левиным за луга было получено дохода вдвое больше. Когда же на следующий год вновь пришло время убирать сено, то, вопреки установленному порядку, к Левину явился староста с известием, что покосы убраны без его, левинского, присутствия и уже сметаны в стога. Ему, стало быть, оставалось приехать и принять разделенное без его участия. По неопределенным ответам старосты, сколько было сена на лугу и по поспешности произведенного раздела, Левин понял, что в дележе что-то нечисто.

Приехав на луг, он увидел, что в его стогах, в которых, как уверяют мужики, было по пятидесяти возов, недоставало минимум трети. Проверка показала, что, действительно, в его стогах было не более тридцати двух возов. Староста божился, что сено сперва было «пухлявое», а потом «улеглось». После долгих споров сошлись на том, что стога, в которых было, как уверяли мужики, по пятидесяти возов, отойдут в их пользу, а господскую долю выделяют вновь. И вновь, как и после общего с мужиками покоса, Левин предается восхищенному созерцанию двигающейся с поля толпы весело и дружно поющих мужиков и баб. При этом «некоторые из тех самых мужиков, которые больше всех с ним спорили за сено, те, которых он обидел, или те, которые хотели обмануть его, эти самые мужики весело кланялись ему и, очевидно, не имели и не могли иметь к нему никакого зла или никакого не только раскаяния, но и воспоминания о том, что они хотели обмануть его. Все это потонуло в море веселого общего труда. Бог дал день, бог дал силы. И день и силы посвящены труду, и в нем самом награда. А для кого труд? Какие будут плоды труда? Эти соображения посторонние и ничтожные.

Левин часто любовался на эту жизнь, часто испытывал чувство зависти к людям, живущим этой жизнью, но нынче ... Левину в первый раз ясно пришла мысль о том, что от него зависит переменить ту столь тягостную праздную, искусственную и личную жизнь, которою он жил, на эту трудовую, чистую и общую прелестную жизнь»¹.

¹ Толстой Л.Н. Цит. соч. Т. 8. С. 303—304.

На ночь Левин остается в поле на копне и смотрит в небо. И, подобно князю Андрею, небо открывает ему рубежи его прошлой и будущей жизни. И если в прошлой жизни он не сомневается (надо отречься от бесцельных занятий, от ненужного образования, от бесполезных знаний), то в отношении будущей на ум ему пока не приходит ничего существенного. Впрочем, провидение не оставляет героя, и, возвращаясь пешком к себе в деревню, на дороге он встречает карету, в окне которой узнает Кити. «Я люблю ее», — говорит себе Левин.

Однако вернемся к хозяйственным заботам как толстовской основе благополучного существования семьи и семейного счастья. В рассмотренной сцене с дележом сена чуть намеченный реальный хозяйственный конфликт помещика Левина и крестьян по поводу затрат и доходов автором романа до времени отводится в сторону. Но это не значит, что Толстой вовсе отказывается от его рассмотрения. Новыми гранями и в более обобщенной форме конфликт этот всплывет вновь в сцене ночного разговора Левина и Стивы Облонского на сеновале во время охоты. Но прежде Толстой предоставляет Левину высказаться по вопросу промышленного прогресса и земледелия вообще. Происходит это в спокойной обстановке — размышлений Левина-Толстого во время уединенных занятий в деревне за письменным столом. В это время Левин «писал теперь новую главу о причинах невыгодного положения земледелия в России. Он доказывал, что бедность России происходит не только от неправильного распределения поземельной собственности и ложного направления, но что этому содействовали в последнее время ненормально привитая России внешняя цивилизация, в особенности пути сообщения, железные дороги, повлекшие за собою централизацию в городах, развитие роскоши и вследствие того, в ущерб земледелию, развитие фабричной промышленности, кредита и его спутника — биржевой игры. Ему казалось, что при нормальном развитии богатства в государстве все эти явления наступают, только когда на земледелие положен уже значительный труд, когда оно стало в правильные, по крайней мере в определенные условия; что богатство страны должно расти равномерно и в особенности так, чтобы другие отрасли богатства не опережали земледелия; что сообразно с известным состоянием земледелия должны быть соответствующие ему и пути сообщения, и что при нашем неправильном пользовании землей железные дороги, вызванные не экономической, но

политической необходимостью, были преждевременны и, вместо содействия земледелию, которого ожидали от них, опередив земледелие и вызвав развитие промышленности и кредита, остановили его, и что потому, так же как одностороннее и преждевременное развитие органа в животном помешало бы его общему развитию, так для общего развития богатства в России кредит, пути сообщения, усиление фабричной деятельности, несомненно необходимые в Европе, где они своевременны, у нас только сделали вред, отстранив главный очередной вопрос устройства земледелия»¹.

Этим главным и очередным вопросом устройства земледелия был и, как показала история, до сих пор в полной мере остается все еще не разрешенный вопрос о собственнике и хозяине земли, то есть о совпадении фигуры человека, обладающего землей как капиталом, и земельного производителя. Должен ли собственник непременно быть производителем? Должен ли производитель непременно быть собственником? Каково в этой оппозиции место земельного арендатора? В решении этих вопросов в России всегда переплетались не только экономические, технологические, правовые, религиозные, философские, исторические, но также моральные и даже эстетические вопросы. В их рассмотрении всегда была разница не только между отдельными мыслителями, но и целыми философскими школами и направлениями. Не остался в стороне от их рассмотрения и Толстой.

В знаменитом споре Левина и Облонского на сеновале как в капле воды отразилось метание самого Льва Николаевича между его многолетним стремлением «оумжичиться», раздать землю, с одной стороны, и продолжать жизнь созерцателя-мыслителя, что было невозможно без наличия личного значительного состояния — с другой.

Впрочем, в его жизни, как известно, бывали периоды, когда он оставлял писательский труд и целиком отдавался делу реальной помощи крестьянству. Но работы по сбору средств на помощь голодающим или устройству для них общественных столовых по мере прекращения бедствия сходили на нет. Равно как и по прошествии нескольких лет сама собой прекратила существование Яснополянская школа для крестьянских детей, поскольку при полуторасотенном населении села все дети, кото-

¹ Там же. Т. 9. С. 58.

рых можно было обучить, были обучены, а новых не было. Так о чем же спорят Левин и Стива и есть ли между ними сколь-нибудь принципиальное различие?

Стива — откровенный рационально мыслящий сибарит — прямо заявляет: живу в свое удовольствие, понимаю в делах меньше моего столоначальника, но вознаграждаем несравненно более него, и так должно быть, потому что так устроено. На вопрос Левина, как он может получать удовольствие от общения с людьми, состояние которых наживается нечестным путем (таковым, как я только цитировал, Левин, в частности, считает преждевременные для России банки и строительство железных дорог), Стива отвечает в том смысле, что любой дворянский труд одного рода, то есть нажит усилиями и умом. Левин пытается ввести разницу между «честным» помещичьим трудом и трудом строителя железных дорог или банкира. Но провести грань между «нечестностью и хитростью» и «прямодушием и честностью», разумеется, ему не удастся. Остается лишь его голое убеждение, что банки — это «нажива без труда».

В пылу спора Стива переводит разговор на личность самого Левина: справедливо ли, что он, Левин, получает за свой труд пять тысяч, а его труженик-мужик, сколь бы ни старался, больше пятидесяти рублей не получит? Левин вынужден согласиться, что он чувствует, что это несправедливо.

«— Да, ты чувствуешь, но ты не отдаешь ему свое имение, — сказал Степан Аркадьевич...

— Я не отдаю потому, что никто это от меня не требует, и если бы я хотел, то мне нельзя отдать, — отвечал Левин, — и некому.

— Отдай этому мужику; он не откажется.

— Да, но как же я отдам ему? Поеду с ним и совершу купчую?

— Я не знаю; но если ты убежден, что ты не имеешь права...

— Я вовсе не убежден. Я, напротив, чувствую, что не имею права отдавать, что у меня есть обязанности и к земле и к семье.

— Нет, позволь; но если ты считаешь, что это неравенство несправедливо, то почему же ты не действуешь так?..

— Я и действую, только отрицательно, в том смысле, что я не буду стараться увеличить ту разницу положения, которая существует между мною и им.

— Нет уж, извини меня; это парадокс», — завершает Стива. И возразить Левину-Толстому нечего. «Неужели только отрица-

тельно? — повторял он себе. — Ну и что ж? Я не виноват»¹, — думает Левин, засыпая.

Не разрешив лично для себя и не соотнеся собственную позицию с личной ответственностью, Левин-Толстой, несомненно, сознает это и, надо отдать должное, в собственной оценке себя-Левина беспощаден. Это видно хотя бы на примере нарисованных буквально через несколько глав эпизодов участия Левина в гражданской активности местного дворянства во время выборов губернского предводителя. По тому, как практический человек Левин долгое время не может взять в толк смысла происходящих между дворянами дебатов и нешуточной выборной борьбы, по тому, какие ошибки он совершает, становится ясна вся искусственность и бессмысленность этой так называемой гражданской активности. Дошло даже до того, что комиссия, назначенная для проверки потраченных сумм, не стала этого делать, считая таковое действие оскорблением губернскому предводителю. До исполнения процедур, тем более сколько-нибудь строгих правил, здесь не доходит. Да и особого желания у дворян к этому нет. «А черта мне в статье! Я говорю по душе. На то благородные дворяне. Имей доверие», — формулирует преобладающее мнение один из спорщиков. И здесь, как и в случае с примерами крестьянского хозяйствования, Левин оказывается бессилён и, понимая происходящее, ограничивается ролью пассивного регистратора событий.

Впечатление это усиливается после откровенного разговора Левина на собрании с помещиком о том, что и он тоже ведет свое хозяйственное дело без прибыли, а то и прямо в убыток. Да для чего же так? — задается вопросом Левин и сам же отвечает: «...мы без расчета и живем, точно приставлены мы, как весталки дровне, блюсти огонь какой-то.

Помещик усмехнулся под белыми усами.

— Есть из нас тоже, вот хоть бы наш приятель Николай Иваныч или теперь граф Вронский поселился, те хотят промышленность агрономическую вести; но это до сих пор, кроме как капитал убить, ни к чему не ведет.

— Но для чего же мы не делаем как купцы? На лубок не срубам сад? — возвращаясь к поразившей его мысли, сказал Левин.

— Да вот, как вы сказали, огонь блюсти. А то не дворянское дело. И дворянское дело наше делается не здесь, на выборах,

¹ Там же. С. 172.

а там, в своем углу. Есть тоже свой сословный инстинкт, что должно или не должно. Вот мужики тоже, посмотрю на них другой раз: как хороший мужик, так хватает земли нанять сколько может. Какая ни будь плохая земля, все пашет. Тоже без расчета. Прямо в убыток.

— Так, так и мы, — сказал Левин»¹.

Не вписывается Левин и в новомодные в то время общественные учреждения вроде мирового суда. На вопрос Вронского, как это так случилось, что Левин в своей местности не мировой судья, следует безапелляционный ответ: « — Оттого, что я считаю, что мировой суд есть дурацкое учреждение, — отвечал мрачно Левин, все время ждавший случая разговориться с Вронским, чтобы загладить свою грубость при первой встрече.

— Я этого не полагаю, напротив, — со спокойным удивлением сказал Вронский.

— Это игрушка, — перебил его Левин. — Мировые судьи нам не нужны. Я в восемь лет не имел ни одного дела. А какое имел, то было решено навыворот. Мировой судья от меня в сорока верстах. Я должен о деле в два рубля посылать поверенного, который стоит пятнадцать.

И он рассказал, как мужик украл у мельника муку, и когда мельник сказал ему это, то мужик подал иск в клевете. Все это было некстати и глупо, и Левин, в то время как говорил, сам чувствовал это»².

Напротив, Вронский, приехавший на выборы оттого, что ему было скучно в деревне, и оттого, что он положил себе строго исполнять обязанности помещика и дворянина, все больше оказывается затягиваемым их своеобразной игровой природой.

Отчего же глубоко чувствующий крестьянство и крестьянский труд Левин, подлинно живущий радостями и горестями деревенской жизни и без усилий долженствующий делаящийся настоящим сельским хозяином, оказывается лишним, коль скоро он выходит за рамки самой деревенской общины и окунается в нарождающиеся формы дворянских аграрных преобразований? И отчего, с другой стороны, намеренно ставящий себе «головную», слабо соотносящуюся с реальностями цель Вронский столь органичен в этих вновь учреждаемых формах деревенской дворянской жизни?

¹ Там же. С. 245—246.

² Там же. С. 247.

Очевидно, два разных мировоззрения стоят за этими фигурами. Одно, толстовское, крестьянско-общинное. И другое, новомодное, личностно-прагматическое, чуждое, согласно Толстому, подлинной жизни русской деревни. Не следует, как представляется, думать, что эта новая линия, если не противостояния, то глубокого различия Левина и Вронского, идет мимо и помимо отношений Вронского и Анны. На самом деле оппозиция Левин — Вронский подкрепляется оппозицией Кити — Анна. И как Вронский искусственен в своих хозяйственных начинаниях, а Левин органичен и счастлив, несмотря на работу «себе в убыток», так же и Кити счастлива в своем семейном бытии, а Анна движется к неумолимо надвигающемуся концу.

Столь же различны эти пары и в своем восприятии деревенской и городской жизни. Анна, как помним, готова идти на риск и даже публичный скандал, борясь за свое если не прежнее, то, по крайней мере, все же достойное место в свете. Вспомним также, что главным местом этой схватки у Толстого, как и во многих случаях прежде, вновь оказывается театр — место искусственное, нежизненное, обитель всего ненастоящего, поддельного и злого.

Левины же в период своей жизни в городе откровенно скучают и даже мучаются вынужденным бездельем. Кити, например, жизнь в городе не доставляла удовольствия потому, что «муж ее был не тот, каким она любила его и каким он бывал в деревне».

Она любила его спокойный, ласковый и гостеприимный тон в деревне. В городе же он постоянно казался беспокоен и насто-роже, как будто боясь, чтобы кто-нибудь не обидел его и, главное, ее. Там, в деревне, он, очевидно зная себя на своем месте, никуда не спешил и никогда не бывал не занят. Здесь, в городе, он постоянно торопился, как бы не пропустить чего-то, и делать ему было нечего. И ей было жалко его. Для других, она знала, он не представлялся жалким; напротив, когда Кити в обществе смотрела на него, как иногда смотрят на любимого человека, стараясь видеть его как будто чужого, чтоб определить себе то впечатление, которое он производит на других, она видела, со страхом даже для своей ревности, что он не только не жалок, но очень привлекателен своею порядочностью, несколько старомодною, застенчивою вежливостью с женщинами, своею сильною фигурой и особенным, как ей казалось, выразительным лицом. Но она видела его не извне, а изнутри; она видела, что он здесь не настоящий; иначе она не могла определить себе его

состояние. Иногда она в душе упрекала его за то, что он не умеет жить в городе: иногда же сознавалась, что ему действительно трудно было устроить здесь свою жизнь так, чтобы быть ею довольным.

В самом деле, что ему было делать? В карты он не любил играть. В клуб не ездил. С веселыми мужчинами вроде Облонского водиться, она уже знала теперь, что значило... это значило пить и ехать после питья куда-то. Она без ужаса не могла подумать, куда в таких случаях ездили мужчины. Ездить в свет? Но она знала, что для этого надо находить удовольствие в сближении с женщинами молодыми, и она не могла желать этого. Сидеть дома с нею, с матерью и сестрами? Но, как ни были ей приятны и веселы одни и те же разговоры, — «Алины-Надины», как называл эти разговоры между сестрами старый князь, — она знала, что ему должно быть это скучно. Что же ему оставалось делать? Продолжать писать свою книгу? Он и попытался это делать и ходил сначала в библиотеку заниматься выписками и справками для своей книги; но, как он говорил ей, чем больше он ничего не делал, тем меньше у него оставалось времени. И, кроме того, он жаловался ей, что слишком много разговаривал здесь о своей книге и что потому все мысли о ней спутались у него и потеряли интерес»¹.

* * *

Неумоимо изобретает и облекает в стройную систему свои представления об идеальном помещике, столь же идеальной любви и необходимых, с его точки зрения, семейных отношениях Лев Толстой. Но не менее глубоко, проникновенно и дотошно, как в писательском труде, так и в собственной жизни, он исследует бездны вышедшей из-под контроля разума любовной страсти, разрушающей и семью, и помещичье дело. (Вспомним хотя бы во многом автобиографичную повесть «Дьявол».) И, похоже, обе темы пресытят его как человека и литератора в будущем. По крайней мере, его последний роман «Воскресение», завершённый в 1899 году, по многим, на мой взгляд, верным оценкам, не может быть поставлен в один ряд с «Войной и миром» и тем более с «Анной Карениной»². Обе темы, плавно перетекающие

¹ Там же. С. 258—259.

² Относительно «Анны Карениной» Ф.М. Достоевский, например, писал: «Книга эта, — читаем в "Дневнике" за 1877 год по поводу только что появившегося романа, — прямо приняла в глазах моих размер факта, который бы мог

из текстов в жизнь и обратно, гению, сделавшему их своей собственной судьбой, в конце концов окажутся не по плечу.

Известно суждение И.С. Тургенева о романе «Война и мир»: «Вещь удивительная, но самое слабое в нем именно то, чем восторгается публика: историческая сторона и психология»¹. Психология — внутренний мир героев, как справедливо, на мой взгляд, отмечает и Мережковский, — не та область, в которой являет себя гений Льва Толстого.

Что же до практических проектов — реализации в общественной жизни идей опрощения, ненасилия, отношений между полами и прочих установлений, к которым под конец жизни приходил автор «Анны Карениной», то, не затрагивая до времени эти обширные темы, приведу наблюдения младшей дочери писателя Александры Львовны Толстой, переданные Иваном Буниным. Однажды в имении Толстого хозяин и гости «обедали на террасе, было жарко, комары не давали покоя. Они носились в воздухе, пронзительно и нудно жужжа, жалили лицо, руки, ноги. Отец разговаривал с Чертковым², остальные слушали. Настроение было веселое, оживленное, острили, смеялись. Вдруг отец, взглянув на голову Черткова, быстрым, ловким движением хлопнул его по лысине. От налившегося кровью, раздувшегося комара осталось кровавое пятнышко. Все расхохотались, засмеялся и отец. Но внезапно смех оборвался. Чертков, мрачно сдвинув красивые брови, с укоризной смотрел на отца:

— Что вы наделали? — проговорил он. — Что вы наделали, Лев Николаевич! Вы лишили жизни живое существо! Как вам не стыдно?

Отец смутился. Всем стало неловко...»³.

отвечать за нас Европе, того искомого факта, на который мы могли бы указать Европе. Анна Каренина есть совершенство, как художественное произведение, с которым ничто подобное из европейских литератур в настоящую эпоху не может сравниться, а во-вторых, и по идее своей это уже нечто наше, наше *свое, родное*, и именно то самое, что составляет нашу особенность перед европейским миром. Если у нас есть литературные произведения такой силы мысли и исполнения, то почему нам отказывает Европа в самостоятельности, в нашем *своем собственном* слове, — вот вопрос, который рождается сам собою». (*Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 25. Л.: Наука, 1983. С. 199).

¹ Цит. по: *Мережковский Д.С.* С. 86.

² В.Г. Чертков, многолетний товарищ Л.Н. Толстого, как известно, слыл толстовцем больше Толстого.

³ *Бунин И.А.* Окаянные дни. М.: Лисс, Бионт, 1994. С. 4—5.

И еще один бунинский пример, тем более знаменательный, что был заявлен публично и эпатажно. «Был некто Клопский, человек довольно известный в то время среди толстовцев и даже попавший в герои нашумевшей тогда повести Каронина "Учитель жизни". Это был высокий, худой человек в длинных сапогах и в блузе, с узким серым лицом и бирюзовыми глазами, хитрый нахал и плут, неутомимый болтун, вечно всех поучавший, наставлявший, любивший ошеломлять неожиданными выходками, словом, всей той манерой вести себя, при помощи которой он довольно сытно и весело шатался из города в город». Об одной из своих поездок на поезде Клопский рассказал следующее: «...ехал я сюда из Харькова. Приходит человек, называемый почему-то кондуктором, и говорит: "Ваш билет". Я его спрашиваю: "А что это значит, какой, собственно, билет?" Отвечает: "Но билет, по которому вы едете?" А я ему опять свое: "Позвольте, я не по билету, а по рельсам еду". — "Значит, говорит, у вас билета нету?" — "Конечно, говорю, нету". — "В таком случае мы вас на следующей станции высадим". — "Прекрасно, говорю, это ваше дело, а мое дело ехать". На следующей станции действительно являются: "Пожалуйста выходите". — "Но зачем же, говорю, выходить, мне и тут хорошо". — "Тогда мы вас выведем". — "Выведете? Но я не пойду". — "Тогда вытащим, понесем". — "Что ж, выносите, это ваше дело". И вот меня действительно тащат: несут на руках, на диво всей почтенной публике, два рослых бездельника, два мужика, которые с гораздо большей пользой могли бы землю пахать!»¹

Не думаю, что и сам Лев Николаевич был очень далек от подобных экспериментов, хотя и декларировал за собой исключительно теоретическое поле.

¹ Там же. С. 5.

Глава 9

«ПОДПОЛЬНЫЙ» ЧЕЛОВЕК Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО



Жизнь и творения одного из великих русских писателей XIX столетия, **Федора Михайловича Достоевского**¹ (11 ноября 1821—27 января 1881), могут служить иллюстративным фрагментом той общей картины назревающей социальной и мировоззренческой катастрофы, к которой Россия шла давно и которая разразилась в период с 1905 по 1917 год. Остро ощущая эту общественную тенденцию, вернее, ту ее часть, которая исходила от отечественной интеллигенции и продуцировалась ею, Достоевский, наряду

с прочим, откликался на нее и тем, что во многих художественных типах отражал все то духовно-ущербное, что было в человеке.

Вместе с тем писатель шел дальше: не только угадывал сокрытое в подсознании низменное и ущербное, но иногда и моделировал его. В этом случае его произведения, подобно реальным явлениям, становились креативной частью действительности, выходили за рамки литературной жизни. Нарушая законы материального бытия, его герои проделывали обратный путь: сходили с книжных страниц и обретали телесную жизнь в реальных человеческих личностях. Этому в существенной степени способствовал разработанный Достоевским и выявленный в его творчестве М.М. Бахтиным принцип «множественности самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний, подлинная полифония полноценных голосов»², благодаря которому

¹ В главе будут рассмотрены первые значительные произведения Ф.М. Достоевского — «Записки из мертвого дома» (1860), «Униженные и оскорбленные» (1862), «Записки из подполья» (1864), «Крокодил» (1865), «Игрок» (1866), «Преступление и наказание» (1866), «Идиот» (1869).

² Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского // Собр. соч. М.: Русские

представленное в его романной прозе мировоззрение перестало быть монологичным, авторским. У Достоевского, отмечал Бахтин, «слово героя о себе самом и о мире так же полновесно, как обычное авторское слово; оно не подчинено объектному образу героя, как одна из его характеристик, но и не служит рупором авторского голоса. ...Оно звучит как бы рядом с авторским словом и особым образом сочетается с ним и с полноценными голосами других героев.

...Мысль, вовлеченная в событие, становится сама событийной и приобретает тот особый характер "идеи-чувства", "идеи-силы", который создает неповторимое своеобразие "идеи" в творческом мире Достоевского»¹.

«Неповторимое своеобразие "идеи"» определяется тем, что в отличие, например, от Гоголя или Толстого у Достоевского весь мир, вся действительность становятся «самосознанием героя». «...Герой интересует Достоевского как особая точка зрения на мир и на себя самого, как смысловая и оценивающая позиция человека по отношению к себе самому и по отношению к окружающей действительности. Достоевскому важно не то, чем его герой является в мире, а то, чем является для героя мир и чем является он сам для себя самого. ...То, что должно быть раскрыто и охарактеризовано, является ...последним итогом его сознания и самосознания, в конце концов — последним словом героя о себе самом и о своем мире»².

И еще одну особенность романов Достоевского отмечает Бахтин. Это не встроенное в течение времени (временное), а пространственное видение и изображение романских героев. «Основной категорией художественного видения Достоевского было не становление, а сосуществование и взаимодействие. Он видел и мыслил свой мир по преимуществу в пространстве, а не во времени»³. Когда же Достоевскому требовалось показать развитие, становление своего героя, то есть когда ему нужно было прибегнуть к категории времени, то он, согласно Бахтину, дает героям их двойников: Раскольникову — Свидригайлова, Ивану Карамазову — черта и Смердякова. «Поэтому в романах Достоевского нет причинности, нет генезиса»

словари, 2000. Т. 2. С. 12.

¹ Там же. С. 13, 15.

² Там же. С. 43—44.

³ Там же. С. 36.

са, нет объяснений из прошлого, из влияний среды, воспитания и пр. Каждый поступок героя весь в настоящем и в этом отношении не предопределен; он мыслится и изображается автором как свободный»¹.

Эти наблюдения, подчеркивающие принципиальную философичность произведений Достоевского, их нацеленность на исследование самосознания (мировоззрения) тех персонажей русского мира, которые были им увидены и изображены, чрезвычайно важны для предприняемого мной исследования.

Вместе с тем что касается наблюдения М.М. Бахтина о выключении героев из течения времени, их нерассмотрения в становлении (развитии), то это, на мой взгляд, не совсем так. Во-первых, что касается рассматриваемого в настоящей главе романа «Преступление и наказание», его главный герой Раскольников свое развитие в позиции права на убийство все же демонстрирует. Как будет показано, в эпилоге он все же раскаивается — переходит от позиции страдания от того, что не оказался человеком, право имеющим на убийство, к позиции раскаяния за убийство как постулируемый христианством смертный грех. Конечно, сделано это «скороговоркой», авторскими словами, но все же сделано и тем самым эволюция героя намечена.

И во-вторых, герои Достоевского претерпевают существенную эволюцию, если рассматривать их не в пределах рамок отдельных произведений, но и в их переходах от одного произведения к другому. Конечно, это касается лишь тех, которыми Достоевский отводит роли «сквозных» героев. К таковым, как я буду говорить об этом позднее, без сомнения, относится «подпольный человек». Роль этого персонажа, кочующего по всем творениям Достоевского, не только отмечалась самим автором, но была подмечена исследователями его творчества. Так, тот же М.М. Бахтин высоко ставит значение «подпольного человека» в творчестве Достоевского: он «искал такого героя, который был бы сознающим по преимуществу, такого, вся жизнь которого была бы сосредоточена в чистой функции сознания себя и мира. И вот в его творчестве появляется "мечтатель" и "человек из подполья"²". И этот кочующий персонаж не может не развиваться. Вспомним, что герой «Записок из подполья» годами мечтает о своем действии, о выходе из

¹ Там же. С. 38.

² Там же. С. 47.

подполья на свет и материализации своих желаний. А «подпольный человек» Родион Раскольников начинает с того, что материализует свою «мечту», а вот дальше уходит в «подполье» размышлять — что теперь с материализованной мечтой делать. Или Смердяков, воспринявший «мечту» — «идею» от брата Ивана, воплотивший ее, а далее не вынесший ее последствий. Все это — примеры становления, которых, как полагал Бахтин, у героев Достоевского нет.

Сказанное, конечно, не снижает значимости бахтинского исследования. И одно из его следствий, это, конечно, особая роль (даже миссия) слова у Достоевского. Скажу более. В случае Достоевского воистину «вначале было слово» — слово изошренное, проникновенное и пронизывающее, слово больное и из себя, своей болезнью творящее материю. То, чем русский человек иногда мучился, не зная, что именно у него болит, как это больное именуется и что случится, если это больное (не дай Бог!) возьмет над ним верх, — все это благодаря писателю было извлечено на свет, объяснено, сделалось одним из фактов жизни, а иногда даже служило примером. Самим писателем это называлось «предвидением», и он этим особенно гордился¹.

Словом, томившаяся в запечатанной старой бутылке темная сила была выпущена на волю и начала завоевывать себе место в душах людей. Об одном из изобретенных им самим и, похоже, центральном своем герое — «подпольном человеке» Ф.М. говорил едва ли не с гордостью: «Подпольный человек есть *главный человек в русском мире*. Всех более писателей говорил о нем я, хотя говорили и другие, ибо не могли не заметить»². (выделено мной. — С.Н.) И еще: «Я горжусь, что впервые вывел настоящего человека *русского большинства* и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону. ...Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его...»³

¹ Как на подтверждения «предвидения» можно указать на следующие факты. Публикация первых глав «Преступления и наказания» совпала с убийством, совершенным московским студентом А.М. Даниловым ростовщика Попова и его служанки. Спустя несколько месяцев студент Д.В. Каракозов стрелял в Александра II, а дело «нечаевцев» об убийстве студента И.И. Иванова совпало с выходом романа «Бесы».

² *Достоевский Ф.М.* Литературное наследие. Т. 83. С. 314. Цит. по: *Громова Н.А.* Достоевский. Документы, дневники, письма, мемуары, отзывы литературных критиков и философов. М.: Аграф, 2000. С. 87.

³ *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1980. Т. 16. С. 329.

Какова была дальнейшая историческая траектория этой «подпольной» субстанции, мне еще предстоит попробовать понять в дальнейшем исследовании. А пока гипотетически укажу на ее возможную траекторию, обратившись к свидетельству одного из наиболее проницательных аналитиков эпохи надлома и последующего крушения русской жизни вообще и культуры в частности — Федора Августовича Степуна, жившего сознательной жизнью от начала XX века до 1965 года. По его оценке, сущность слома русской жизни точно определил Бердяев, когда сказал, что большевизм «есть не что иное, как смесь подсознательного извращенного апокалипсиса с нигилистическим бунтарством»¹. Думаю, значительную часть работы по актуализации этого подсознательного выполнил именно столь высоко чтимый в российской интеллигентской среде Ф.М.

Пытаясь давать предварительную общую оценку творчества Достоевского, к чему непременно придется вернуться в дальнейшем после завершения аналитической работы, я беру на себя смелость высказывать и еще несколько пока не обоснованных суждений, к тому же иногда расходящихся с признанными мнениями высоких авторитетов.

Так, В.С. Соловьев, сравнивая творчество Ф.М. с произведениями других классиков русской литературы, отмечает, что в их случае предметом исследований было состояние общества, то есть быт, в то время как у Достоевского мы находим анализ «общественного движения». В статье «Три речи в память Достоевского (1818—1883)» читаем: лучшие «произведения Тургенева, в особенности «Записки охотника» и «Дворянское гнездо», представляют чудесные картины никак не общественного движения, а лишь общественного *состояния*, — того же старого дворянского мира, который мы находим у Гончарова и Л. Толстого. Хотя затем Тургенев постоянно следил за нашим общественным движением и отчасти подчинялся его влиянию, но смысл этого движения не был им угадан, и роман, специально посвященный этому предмету («Новь»), оказался совершенно неудачным»².

Позволю себе два возражения. Первое: анализом движения общества в русской классике занимался отнюдь не один Достоевский. Достаточно упомянуть его великого современника

¹ Федор Степун. Бывшее и несбывшееся. СПб.: Алетей, 2000. С. 509.

² Соловьев В.С. Литературная критика. М.: Современник, 1990. С. 39.

Н.С. Лескова с его романами «На ножах» и «Некуда», в которых пагубность начатого в российском обществе революционного движения, которому сопутствовало усиление варваризации и аморализма, показана столь отчетливо, что, по обнаружению советской цензурой, последовал запрет на публикации в СССР этих произведений. И второе, что касается собственно творчества Тургенева. В представленном в предыдущих двух томах исследования анализе его творчества было показано, что одной из главных разрабатывавшихся им проблем была как раз проблема развития в стране «позитивного» дела. И то, как Россия шла по этому пути, как раз и служит примером исследования не столько общественного состояния, сколько общественного движения. К тому же Тургенев великолепно не только «угадал», но и точно зафиксировал параллельно идущий с этим позитивным движением иной, революционаристски-разрушительный процесс, об опасности которого он попытался сообщить. Отчего «смыслом общественного движения» следует считать извлечение на свет грязи подсознательного и не считать действительно имевшие место попытки сделать упор на рассмотрении и утверждении примеров позитивного воздействия на действительность, непонятно.

И наконец, третье: упоминаемые Соловьевым романы Тургенева — не только самостоятельные произведения, в которых, как он полагает, Тургенев лишь фиксировал «общественное состояние», но и звенья единой цепи. Звенья этой цепи символизируют именно «общественное движение», а именно процесс перехода наиболее просвещенной и активной части русского общества от «состояния болтовни» (первый роман «Рудин») к «состоянию дела» (шестой роман «Новь»). А вот почему этот процесс не стал определяющим, действительно, требующий ответа вопрос.

Однако отчего писатель Достоевский полагал «подпольного человека главным человеком в русском мире»? Ведь болезнь и прямое, в том числе авторское, указание на вырождение, которое обозначается этими персонажами, никак не обещают будущего. Ответ, на мой взгляд, нужно начинать искать уже в личности самого писателя. Ведь, подобно хожденцам в народ из тургеневской «Нови», карликам и мужеподобным барышням в том числе, Ф.М. с самого своего рождения также был человеком «ущемленным», очень близко стоящим к «униженным и оскорбленным» разного рода. Ущемлен и уязвлен он был скандалами, постоянно сопровождавшими жизнь его родите-

лей¹, агрессивной-непредсказуемой обстановкой учебного класса состоявшего к тому же, на треть из поляков, а еще на треть из немцев. Не добавили душевного спокойствия беспорядочная жизнь в период учебы в Инженерном училище² и мечты о будущем величии. Обухом по голове был арест всего лишь за участие в кружке и за произнесенные неосторожные слова³. Он, кажется, навсегда был оглушен объявленным и тут же (как в насмешку) отмененным смертным приговором (было ему в это время 27 лет), ссылкой, солдатской лямкой, неудачной первой женитьбой и последовавшей тягостной семейной жизнью⁴. Его снедала разрушающая человеческое достоинство и самую личность страсть к азартной игре, зависть к литературным «барам» (Тургеневу и Толстому⁵), в то время как он был обречен еженощно за письменным столом отбывать литературную барщину, средств от которой доставало лишь на кусок хлеба. И так всю жизнь.

Литератора с подобными Достоевскому взглядами на жизнь и с такой судьбой в отечественной словесности до него не было. К тому же столь свойственные русскому духу апокалиптические предчувствия и пророчества, причудливо уживающиеся с трезвым взглядом на действительность, в его лице нашли действительно глубокого выразителя.

Иногда его язвительность и интерес ко всему болезненному связывают с желанием защитить «родную почву» от «разлагаю-

¹ Подросток Федя, как свидетельствуют родственники, не любил младшего брата и сестру, боялся отца. Отец, врач больницы для бедных, страдавший эпилепсией, постоянно ревновал жену, а после ее смерти вышел в отставку и уехал в купленное имение. Там, предаваясь разврату и пьянству, он бесчинствовал столь изрядно, что в конце концов был убит собственными крестьянами. (Достоевскому в это время было 18 лет, что означает, что пик папашиных «похождений» приходился на период подросткового созревания Ф.М.)

² Азартные игры и кутежи были постоянным явлением.

³ В 1847 году Достоевский вошел в кружок Петрашевского, но вскоре, в 1848 году, присоединился к его более радикальному ответвлению — кружку Дурова, в котором обсуждались идеи освобождения крестьянства, как говорил Ф.М., «хотя бы путем восстания». Весной 1849 года последовал арест членов кружка, Достоевского в том числе.

⁴ Француженка по происхождению, Мария Дмитриевна Исаева — вдова, имела детей от первого брака, была истерична и больна туберкулезом. Вскоре после женитьбы их жизнь с Достоевским стала мучением.

⁵ Впрочем, известны и мнения Толстого о Достоевском, не всегда лестные. Одно из них доносил М. Горький: «Он (Достоевский. — С.Н.) был человек буйной плоти. ...Чувствовал многое, а думал — плохо». (Горький М. Собр. соч. М., 1963. Т. 18. С. 83).

щего» воздействия мысли иноземной. Вряд ли это однозначно так. Приписываемая писателю склонность к славянофильству сильно преувеличена и им же самим часто опровергалась. По адресу ортодоксальных приверженцев этой мировоззренческой позиции он высказывался, например, так: «...что за террор мысли? Чуть мыслит человек не по-вашему — губить его, чем другим нельзя, так хоть клеветой. ...Славянофилы имеют редкую способность не узнавать своих и ничего не понимать в современной действительности. Одно худое видеть — хуже, чем ничего не видеть. А если и останавливает их когда что хорошее, то если чуть-чуть это хорошее не похоже на раз открытую когда-то в Москве формочку их идеалов, то оно безвозвратно отвергается и еще ожесточеннее преследуется, именно за то, что оно смело быть хорошим не так, как раз навсегда в Москве приказано. ... Смотрите, как тот же Аксаков в 1 № "Дня" относится сплошь ко всей русской литературе. Он смотрит на нее враждебно-скептически, он отрицает в ней все свое с легкостью, нестерпимую от серьезно болеющего сердцем человека, с улыбкой с высокооскорбительной... у него вся литература наша — сплошь подражание и стремление к иноземному идеалу»¹

Творчество Достоевского множество раз было и не перестает оставаться предметом не только литературного, но и философского исследования. О большой литературе Достоевского на русском написано никак не меньше, если не больше, чем о творчестве Толстого и уж наверняка многократно более, чем о Тургеневе, Лескове или Чехове. Сам по себе этот факт симптоматичен. Однако среди всех авторов, писавших о Достоевском, может быть, одним из самых глубоких мыслителей, чьи взгляды в то же время были во многом созвучны автору «Бесов», справедливо считать Н.А. Бердяева. в дальнейшем я буду неоднократно обращаться к его труду «Миросозерцание Достоевского». Теперь же, в начале исследования литературного творчества автора «Преступления и наказания», полагаю полезным обратить внимание на некоторые самые общие замечания философа.

В главе с примечательным названием «Достоевский и мы» Бердяев ни много ни мало признает за Достоевским авторство той «внутренней катастрофы», которая последовала за «спокойной и счастливой» эпохой 40-х годов. Он прямо пишет: «Наше

¹ *Достоевский Ф.М.* Время. 1861. Т. 11—12. С. 65—66, 69—70. Цит. по: *Громова Н.А.* Цит. соч. С. 70.

мироощущение сделалось катастрофическим. Это Достоевский нам его привил»¹.

Вряд ли слова Бердяева можно считать абсолютно точными. При всей силе таланта, даже такого, какой был у Достоевского, «привить» читателю нечто, если на то не будет воли читающего, писатель не может. А вот обнаружить, извлечь на свет нечто темное, где-то глубоко в самом человеке спрятанное, но до поры не извлеченное на свет, не названное и потому как бы не существующее, представить его чуть ли не главным, увериться в этом самому и убедить в этом расположенного к этому читателя и в итоге сделать реальной возможность материализации этого темного и больного, это Достоевский мог и делал.

Как гениальный философствующий писатель, Достоевский не просто «расширил» восприятие русского мира. Прав Бердяев, когда говорит, что он «сменил ткань души». «Души, пережившие Достоевского, обращаются к неведомому и жуткому грядущему, души эти пронизываются апокалиптическими токами, в них совершается переход от душевной середины к окраинам души, к полюсам»². К сожалению, от «полюсов» нельзя ожидать нормальности — залога здорового развития общества или человека. Достоевский же — открыватель, толкователь и литературный пропагандист «полюсов», к тому же как писатель, всегда претендующий на роль гения³, вовсе не против их материализации.

В самом деле, безвестный домашний учитель Алексей Иванович — герой автобиографического романа «Игрок» — не просто одна из многих фигур, составляющая тот обобщающий тип русского человека, который созидает своим творчеством каждый отечественный писатель и Достоевский в том числе. Этот тип — концентрированное выражение многих сторон природы русского человека, о которой, при доброжелательном столкновении с ней, другой герой этого романа — лишенный «болезней» игрока нормальный человек англичанин мистер Астлей — говорит: «Да, вы погубили себя. Вы имели некоторые способности, живой характер и были человек недурной; вы даже могли быть полезны вашему отечеству, которое так нужда-

¹ Бердяев Н. Миросозерцание Достоевского. М.: Изд-во «Хранитель», 2006. С. 179.

² Там же. С. 180.

³ Известно, что свои первые литературные опыты он ставил не иначе как в соперничестве с великими: писал «Марию Стюарт», уже написанную Шиллером, и «Бориса Годунова», написанного Пушкиным.

ется в людях, но — вы останетесь здесь, и ваша жизнь кончена. Я вас не виню. На мой взгляд, все русские таковы или склонны быть таковыми. Если не рулетка, так другое, подобное ей. Исключения слишком редки. Не первый вы не понимаете, что такое труд (я не о народе вашем говорю). Рулетка — это игра по преимуществу русская. До сих пор вы были честны и скорее захотели пойти в лакеи, чем воровать... но мне страшно подумать, что может быть в будущем»¹.

Бездны иррациональных человеческих начал, которые открыл и исследовал Достоевский, полагает Бердяев, «опрокидывают истины гуманизма. В человеке открываются новые миры, и меняется вся перспектива. Гуманизм не измерял всей глубины человеческой природы, не измерял не только материалистический, плоский гуманизм, но и более глубокий идеалистический гуманизм, даже христианский гуманизм. В гуманизме было слишком много благодушия и прекраснодушия. Реализм действительной жизни, как любил говорить Достоевский, действительность человеческой природы более трагичны, включают в себе большие противоречия, чем это представляется гуманистическому сознанию. После Достоевского нельзя уже быть идеалистами в старом смысле слова, нельзя уже быть "Шиллерами", — мы роковым образом обречены на то, чтобы быть трагическими реалистами. Этот трагический реализм характерен для духовной эпохи, которая наступает после Достоевского. Это налагает тяжкую ответственность, которую люди последующего поколения с трудом могли нести. "Проклятые вопросы" сделались слишком жизненными, слишком реальными вопросами, вопросами о жизни и смерти, о судьбе личной и судьбе общественной. Все стало слишком серьезным»².

Конечно, если отнести к творчеству Достоевского как к такому, которое «опрокидывает истины гуманизма», то есть окончательно и бесповоротно отвергает гуманистическое сознание, то здесь и следовало бы поставить точку, в том числе и в попытке реализации с помощью его произведений замысла реконструкции русского мировоззрения. Однако, к счастью, это не так. Русская литература не началась и не закончилась Достоевским, а в его творчестве нет столь сильного антигуманистического посыла. Русский человек, притом, что Достоевский,

¹ *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 5. С. 317.

² *Бердяев Н.* Цит. соч. С. 181.

несомненно, открыл в нем ранее не исследованные океанские бездны и космическую беспредельность, все же оказался еще более «широк», чем говорил о нем устами одного из героев автор «Братьев Карамазовых». Что же до «проклятых вопросов», которые сделались «слишком жизненными, ...вопросами о жизни и смерти, о судьбе личной и судьбе общественной», то ими в не меньшей степени заботился, например, и Лев Толстой. Однако, в отличие от Достоевского и Бердяева, он не считал, что эти вопросы выводят нас за пределы гуманистического сознания. Более того: настаивал, что именно в пределах этого сознания их и надо пытаться решать.

Впрочем, для Бердяева — современника переломной эпохи рубежа XIX—XX столетий, родоначальника отечественного религиозного экзистенциализма — явление Достоевского, без сомнения, представлялось альфой и омегой того катастрофического сознания, которое Федор Михайлович, согласно Бердяеву, не только провидел и пророчествовал, но даже и в действительность «воплотил».

С Бердяевым, опять же, можно согласиться и в том, что «для творческой религиозной мысли Толстой был почти бесплоден и необычайно плодоносен был Достоевский». Но, подчеркну, именно для религиозной мысли в том понимании, которое ей придавал Бердяев. Что же до размышлений о конечных вопросах человеческого бытия, то определять фигуру Толстого как «бесплодную» вряд ли справедливо. Впрочем, и тезис — «Все эти Шатовы, Кирилловы, П. Верховенские, Ставрогины, Иваны Карамазовы появились уже в XX веке. Во время самого Достоевского они были не реальной действительностью, а предвидением и пророчеством»¹ — также спорен. Даже не акцентируя вопроса о реальности исторических прототипов «бесов» — Нечаева и компании или фигур семейства Карамазовых, нельзя согласиться, что на отечественную сцену они явились лишь в XX столетии. Вспомним хотя бы достаточно типичный для российской действительности образ Михайлы Куролесова из «Семейной хроники» С.Т. Аксакова — самодура и садиста рангом никак не ниже Карамазова-отца. В этом — возникающем время от времени «незамечании» грязи смрада современной ему действительности — у Бердяева явная передержка, обусловленная близостью его собственного «творческого религиоз-

¹ Там же. С. 183.

ного» духа и духа Достоевского, откуда — схожесть в их оценках России прошлой, равно как и их мыслей о России будущей.

Возвышаясь, как ему кажется, до оценки Достоевского в категории абсолютного, Бердяев итожит: Достоевский — «величайший русский метафизик. И все наши метафизические идеи идут от Достоевского. Он живет в атмосфере страстных, огненных идей. Он заражает этими идеями, вовлекает в их круг. Идеи Достоевского — духовный хлеб насущный. Без них нельзя жить. Нельзя жить, не решив вопроса о Боге и дьяволе, о бессмертии, о свободе, о зле, о судьбе человека и человечества. Это не роскошь, это — насущное. Если нет бессмертия, то не стоит жить. Идеи Достоевского — не абстрактные, а конкретные идеи. У него идеи живут. Метафизика Достоевского — не абстрактная, а конкретная метафизика. Достоевский научил нас этому конкретному, жизненно-насущному характеру идей. Мы — духовные дети Достоевского. Мы хотели бы ставить и решать «метафизические» вопросы в том духе, в котором их ставил и решал Достоевский»¹.

Природа «страстных, огненных идей» Достоевского — любимая тема многих исследователей его творчества. Откуда брали они свое начало? Находил ли их Достоевский в современном ему обществе или они рождались из глубин его собственного большого сознания? (То, что Ф.М. сильно и постоянно страдал от «падучей» — эпилепсии, общеизвестно.) Не отрицая значимости его болезни, приведу мнение одного из самых авторитетных его исследователей. «Достоевский, — писал Ю.И. Селезнев, — почти физически, как бы на себе самом ощущал зародыши начинающегося «химического распада» общества»². Действительно, распадался старый мир «дворянских усадеб», появлялись «новые» люди и укреплялось мнение, что буржуа в России, как и в Европе, вскоре станут основным социальным классом. Что же тревожило Достоевского?

Ему не давало спокойно жить сознание, что возможное завтра России — это сегодня Европы, которую он находил умирающей и жизнь в которой представлялась ему постоянной борьбой «всеобщезападного личного начала с необходимостью хоть как-нибудь ужиться вместе, устроиться в одном муравейнике, не поедая друг друга...»³. Но как избежать этого и как сделать так,

¹ Там же. С. 184—185.

² Селезнев Ю. Достоевский. ЖЗЛ. М.: Молодая гвардия, 2007. С. 234.

³ Цит. по: Селезнев Ю. Достоевский. С. 267.

чтобы люди желали стать такими «Я», которые были бы готовы всего себя пожертвовать обществу? Убежденность в единственности этого выхода и его явный утопизм не давали Ф.М. покоя.

Проза Достоевского с точки зрения исследования на ее материале мировоззренческой проблематики трудна и имеет ряд особенностей. Во-первых, изображаемые писателем герои практически лишены тех связей с миром, на которых до него всегда акцентировала внимание русская классика. Персонажи автора «Униженных и оскорбленных», живущие, за редким исключением, только в городах, не подозревают (в отличие от героев Тургенева, Гончарова или Толстого) о возможных глубоких связях человека с природным миром — лесом, степью, полем, рекой, садом. Они, кажется, никогда не поднимают голову и потому не знают о существовании неба. Даже деревья для них, как правило, закрыты заборами и домами. У них, далее (в противоположность героям Соллогуба, Григоровича и Аксакова), нет забот о согласовании своих взглядов, привычек и способов жить с традицией предков, с предшествующими поколениями: часто они люди почти безродные. Тем более они, вслед за героями Тургенева, не мечтают о краях, куда «кулички летят», не боятся домовых (часто, напротив, с нечистью общаются), не размышляют о смерти как жизни в ином мире и не думают о том, как умереть спокойно и достойно.

Да и нельзя ожидать такого рода размышлений от писателя, который жил не просто в городском мире, но в мире стоящего на болоте Петербурга. «Танцевали люди где-то в дворцах около Невы, а новый писатель смотрел через крыши, сквозь узкие, как щели, чердачные окна, на эти далекие дворцы с широкими, запертыми для него дверями». Эта новая литература «хотела выразить *новую жизнь*, говорить от лица *нового человека*, судить во имя этого человека и одновременно его *разыскивала* (выделено мной. — С.Н.)». Говорит это Виктор Шкловский¹. Точно говорит.

Один из серьезных зарубежных исследователей творчества Достоевского, японец Кэнноскэ Накамура, поставив перед собой цель раскрыть проблему восприятия природы в романе «Преступление и наказание» и подошедший к задаче со всей возможной тщательностью и ответственностью, в конце концов вынужден был признать, что чувство близости смерти, которое

¹ См.: Шкловский В. За и против. Заметки о Достоевском. М.: Советский писатель, 1957. С. 18.

рождает произведение, не может быть преодолено ничем, в том числе и редкими картинами живой природы. «"Преступление и наказание", — пишет он, — является романом, автор которого, если так можно выразиться, вел тщательное "экологическое" наблюдение за холодным полумертвым настроением, пронизывающим героя до мозга костей. Вот почему этот роман производит на меня неприятное, тяжелое впечатление, и, когда я листаю его, меня словно охватывают холодные руки. Сильное чувство отчужденности и неодолимая апатия, охватившие Раскольникова, всегда представляют собой страшную муку для человека как живого существа. Мы вынуждены встретить нечто мучающее нас, когда мы ранены или принуждены стоять перед лицом какого-либо кризиса. Но всякий человек, пока он жив, желает по мере возможности избежать этой темной и холодной ямы»¹.

Более того, природа у Достоевского нередко отождествляется с самой смертью. Вот Ипполит Терентьев говорит о картине «Смерть Христа» Гольбейна, увиденной в доме Рогожина: «... природа мерещится при взгляде на эту картину в виде какого-то огромного, неумолимого и немного зверя или, вернее, гораздо вернее сказать, хоть и странно, — в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное существо — такое существо, которое одно стоило всей природы и всех законов ее, всей земли, которая и создавалась-то, может быть, единственно для одного только появления этого существа! Картиной этою как будто именно выражается это понятие о темной, наглой и бессмысленно-вечной силе, которой всё подчинено, и передается вам невольно»².

Герои Достоевского, далее, почти никогда не имеют отношения к тому, что в предыдущем томе исследования именовалось и рассматривалось как «позитивное дело». Даже когда они заняты «службой» или «уроками», это вряд ли можно назвать конструктивным, созидающим делом. Верно, хотя и в агрессивной манере, отмечает эту особенность прозы Достоевского в своей вызывающе-эпатирующей книге крупный современный российский писатель Эдуард Лимонов: «...он никогда не умел занять этих героев (Раскольникова, Мышкина, Верховенского, Настасью Филипповну. — С.Н.) героическим делом. Они

¹ *Кэнноскэ Накамура*. Чувство жизни и смерти у Достоевского. СПб, ДБ, 1997. С. 38.

² *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 5. С. 339.

у него по большей части болтают и рисуются, а их покаяние невыносимо»¹.

А что обнаруживают литературоведы у молодого Достоевского внутри? В год выпуска из Инженерного училища пришло известие: отец убит крестьянами. Исследователи утверждают, что вернувшийся в деревню лекарь не только злоупотреблял спиртным, но и не упускал ни одного случая в отношении женского пола. И что в образе Карамазова-отца Ф.М. не преминул употребить черты отца собственного. Как бы то ни было, в стычке с крепостными он погиб. Перед властями встала дилемма. Если разбирать дело по существу, то ссылать надо многих крестьян — били скопом, и ссылать всех означало малую деревню — наследство детей-сирот — разорить. Потому решили (ради детей) признать смерть помещика результатом апоплексического удара. Младшие дети про то не ведали, а Ф.М., знавшему все, каково было? Вот он и настоял на том, чтоб получить свою долю тут же деньгами, хотя и сравнительно малыми — всего тысяча рублей. Да и из той тысячи девятьсот потратил в один день, а оставшуюся сотню проиграл на биллиарде. При любом варианте размышления — ситуация не из легких, в особенности для Ф.М. К тому же деньги-то он (грязные и с отцовской кровью) все-таки взял. Чем не благодатная почва для подсознательных артикулируемых мучений Ивана и Дмитрия Карамазовых на тему кровавых денег, выведенных на страницах романа по поводу убийства Карамазова-отца.

Герои Достоевского, как правило, внутренне глубоко противоречивы, стороны «pro» и «contra» их раздробленных личностей постоянно спорят и конфликтуют между собой. Так, например, сообщая Н.Н. Страхову о замысле романа «Игрок», Достоевский пишет о главном герое: «Я беру натуру непосредственную, человека, однако же много развитого, но во всем недоконченного, изверившегося и не смеющего не верить, восстающего на авторитеты и боящегося их»². Но даже и внутренне цельные герои Ф.М. (и в этом случае почти всегда «положительные», как, например, alter ego писателя — герой «Униженных и оскорбленных» Иван Петрович) — и те все время пребывают в состоянии сомнения, исканий, терзаний, если не по поводу самих себя, то в отношении близких им людей. При этом внутренние (на грани драмы)

¹ Лимонов Э. Священные монстры. М.: Ad Marginem, 2004. С. 17.

² Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 5. С. 398.

конфликты — только часть свойственного им общего состояния постоянного «внешнего» противоборства, доходящего иногда до войны всех против всех. (Конечно, конфликт — основная пружина любого произведения. Однако у Достоевского это больше, чем литературный прием, — это способ жизни, воздух, который проникает всюду.)

Наконец, значительное место в произведениях Достоевского занимают так называемые «идеальные» (не только от слова «прекрасные», сколько от слова «идея») художественные типы (князь Мышкин, например), то есть сочиненные писателем для материализации любимой мысли. И это — «четвертое» измерение, добавляемое писателем к анализу действительности, свойство, которым он хочет наделить ее. От этих типов, кстати, и исходит та духовная аура, то долженствующее морализаторство, которое, наряду с миазмами из подполья, и претендует на формирование читательского мировоззрения и делает его, как отмечает Бердяев, «катастрофическим». Как? А так, что если подпольные испарения отравляют напрямую, то испарения, так сказать, благовонные, вызывают в нас чувство их собственной несбыточности и тем самым еще сильнее перенаправляют наше мировоззренческое «обоняние» в сторону подлинных миазмов. При этом если у Толстого (не менее активно практикующего морализатора) мы находим только отдельные попытки мировоззренческого «преобразования» действительности посредством навязывания ей идеальных типов — будь то Платон Каратаев или Константин Левин, то у Достоевского такие попытки постоянны, превращаются в основной принцип его творчества, делаются системой.

И наконец, последнее предварительное замечание. Оно связано с той ролью, которая отводится творчеству Ф.М. Достоевского в культуре России. Когда говорят о ней, то, как правило, сразу называют наиболее известные на Западе два имени: Достоевский и Толстой. И так считают не только на Западе. Известный российский исследователь профессор Б.В. Соколов прямо пишет: «Федор Михайлович Достоевский — не просто один из величайших русских писателей. Это тот человек, по произведениям которого весь мир судит о России, о таинственной русской душе»¹.

Но можно ли отождествлять русскую душу с тем, что в ней обнаружил или приписал Достоевский? Во многом это наблю-

¹ Соколов Б.В. Расшифрованный Достоевский. М.: Эксмо: Яуза, 2007. С. 5.

дение, к счастью, не верно. Не только ради перемены мнения о нас других народов, но и для нашей собственной пользы нам еще предстоит преодолеть этот искажающий реальность центризм. Думаю, этой бытующей традиции способствует и разработанность в отечественной мысли прежде всего религиозной составляющей творчества Достоевского, равно как и «народопоклонство» Льва Толстого. В отечественной философствующей литературе есть множество иных, не менее значимых вопросов и магистральных тем. Мировоззренческие системы Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Гончарова, Салтыкова-Щедрина и Лескова с точки зрения философии важны не менее, чем размышления Достоевского или Толстого, составляющие гигантское, все еще мало исследованное мыслительное пространство. Интерпретируя известную политическую формулу, пришло время подумать о расширении фактически сложившегося в нашей культуре «двуполярного» понимания российского литературно-философского мира до «многополярного».

Высказав предварительные замечания о творчестве писателя, равно как и о мировоззрении, которое созидает Достоевский своими героями, перейду к анализу конкретных произведений.

* * *

«Игрок» (1866) — один из ключевых ранних романов, позволяющий в определенной мере понять личность самого Достоевского. Игра для его центрального героя, во многих чертах коррелирующего с личностью автора, — не столько страсть к возможному мгновенному обогащению, не надежда «выдержать характер» в любых обстоятельствах, в том числе и при огромном проигрыше, и даже не психологическая возможность нестись как на «американских горках» и тем самым проживать жизнь в особом, подобно наркотическому, состоянии. Достоевского, на мой взгляд, страсть к рулетке поглощала прежде всего потому, что с помощью игры его с неизбежностью выбрасывало на «полюса», о которых говорит Бердяев. Ощущение могущества, которое дает обладание шальным образом доставшегося богатства, опасность в каждую следующую минуту потерять его и, наконец, действительная потеря, создающая ощущение собственного ничтожества, — эти материализованные в рулетке «качели» — альфа и омега творчества Достоевского-писателя и, возможно, природы Достоевского-человека.

Но так ли это? Вот что пишет по этому поводу Ю. Селезнев. Он «ощутил невозможность и даже совершенное нежелание противиться этой страсти: в ней была своя поэзия риска и поэзия надежды, то всеохватывающее состояние переступания¹ словом за очерченную судьбой черту, леденящее душу и вместе доводящее до восторга, о котором Пушкин писал: "Есть упование в бою и бездны мрачной на краю..." Да, игра — это бой, схватка с невидимым, но могучим и коварным противником — вечно усмевающимся над человеком слепым роком; это дерзкий вызов случаю, отчаянная попытка своей собственной волей изменить круг предначертанности. И разве же не были в этом смысле игроками и Магомет, и Наполеон? Разве не поставили они на карту и собственную жизнь, и жизни миллионов людей, круто изменив привычный ход истории? А Гомер и Шекспир? Да и сам он не переступил ли черту судьбы, предуготовившую ему путь военного чиновника, но он поставил на «Бедных людей» и выиграл. ...Нет, тут не просто корысть, тут в несколько минут переживаешь ощущение вечности...»²

Идея игры с судьбой, шутовских забав с самой вечностью посредством рулетки звучит и у самого Достоевского. Например, главный герой «Игрока» Алексей Иванович так описывает один из моментов своей игры: «Тут бы мне и отойти, но во мне родилось какое-то странное ощущение, какой-то вызов судьбе, какое-то желание дать ей щелчок, выставить ей язык»³.

Итак, в предложенной интерпретации игра — попытка посмеяться или даже освободиться от рока? Но в чем доказательства, что и в этом случае не рок решает, выиграл ты или проиграл? Не он ли определяет так же одно из решений: не входить в игорный зал; войти, но только смотреть; войти и начать игру? И мог ли Наполеон отменить «желание» французской нации, материализованное в воле гвардии, — идти покорять монархистскую Европу и, далее, Россию? Волен ли был сам Ф.М. не писать «Бедных людей»? Где тут рок: в свободном решении писать или в невозможности не писать? Проблема, как это неоднократно показывали, в частности, Пушкин и Лев Толстой, в том, что рок (судьбу) в принципе нельзя обнаружить и адекватно истолковать. Любого, даже самого искушенного «испыта-

¹ Обращу внимание на этимологическую, да и сущностную близость этого слова с другим, ключевым для Достоевского словом — «преступление».

² Там же. С. 278—279.

³ *Достоевский Ф.М.* Цит. соч. С. 224.

теля-исследователя» никогда не покидает сомнение — правильно ли он объясняет нечто испытываемое именно этим, а не прямо противоположным образом.

А вот в том, что касается «переживания ощущения вечности», то тут Ю. Селезнев, пожалуй, отчасти прав: с поправкой, что дело не в ощущении масштаба (вечность как временную бесконечность переживать нельзя). В процессе игры содержащиеся в вечности крайности сжаты в «точку», в то время как в «нормальном» вечном бытии они свободно рассредоточены по всему ее «пространству». Страсть игры — в ее абсолютной непредсказуемости, в том, что она действует мгновенно и неожиданным образом как «живая» и «мертвая» вода, при том, что пользующийся ею «богатырь» в каждом случае не знает, какая именно вода у него в руках и что случится после того, как кувшин опрокинется ему на голову.

То, насколько игра захватывает людей, Достоевскому было известно не только по собственному опыту, но и потому, что он, в частности, прочитал в одной из статей под названием «Из записок игрока»: «В Висбадене еще очень недавно молодой человек, проигравший там все состояние, в порыве отчаяния застрелился в игорной зале в виду многочисленной публики, столпившейся вокруг рулетки. Замечательно, что печальное событие это не прервало даже хода игры, и выкликавший нумера продолжал вертеть цилиндр с таким же хладнокровием, с каким приказал служителю вычистить зеленое поле стола, на который брызнул мозг из размозженной головы игрока»¹.

Дьявольское место и деяния. Люди одержимы столь часто вспоминаемым Ф.М. чертом. И тем не менее у него, человека по имени Достоевский, не сложилось решения не участвовать в этом предприятии. Засвидетельствовано, что играл он безрассудно (хотя и утверждал иногда, что знает секреты и играть умеет), проигрывал свои и заемные деньги, принадлежащие жене (второй, любимой Анне Сниткиной. — С.Н.) средства и драгоценности, в том числе подаренные им самим.

«Жить, играя» было одной из черт натуры Достоевского. Например, сам роман «Игрок» объемом в 12 авторских листов под очень невыгодную статью договора автора с издателем Стелловским был обещан к 1 ноября 1866 года. Однако к его написанию Ф.М. приступил лишь в начале октября и пото-

¹ Селезнев Ю. Цит. соч. С. 279.

му вынужден был написать его за двадцать шесть дней, рискуя оказаться в кабале. И подходил он к этому предприятию вполне осмысленно: «Я хочу сделать небывалую и эксцентрическую вещь — написать в 4 месяца 30 печатных листов, в двух разных романах, из которых один буду писать утром, а другой вечером и кончить к сроку»¹, — сообщалось в письме А.В. Корвин-Круковской от 17 июня 1866 года. Впрочем, перейдем к роману «Игрок», еще раз отметив, что мысли главного героя — во многом мысли самого автора.

Понятие игры в романе, на мой взгляд, не сводится к рулетке, а философски многозначно. Игра разворачивается не только в залах вокзала Рулетенбурга. Это и способ жизни почти всех героев, в основном русских. Герои романа таковы: молодящийся глава русского семейства генерал, покинувший страну после отмены крепостного права с двумя детьми подросткового возраста, до которых ему нет дела; приемная дочь генерала Полина Александровна, своенравная до непредсказуемости, в которую влюблен семейный учитель Алексей Иванович; сам Алексей Иванович, игрок, обслуга и приживал, слепо следующий воле Полины; прибившийся к семейству мерзавец — французский маркиз, которому генерал значительно задолжал; молодая авантюристка мадемуазель Бланш, жениться на которой рассчитывает после получения наследства стареющий генерал; и, наконец, неожиданно наехавшая из России семидесятипятилетняя бабушка — богатая помещица Тарасевич, родственница генерала, смерти которой с целью получения наследства он с нетерпением дожидается.

Игра в романе — та мировоззренческая основа жизни некоторых русских, которую обнаружил и исследует Достоевский. Это не отдельные черты личности, не способы взаимодействия с миром в определенные моменты человеческого бытия (будь то война или последствия неожиданно выпавшего на долю человека крупного несчастья). Это, как показывалось ранее, составляло предмет исследования других отечественных классиков. У Достоевского подход существенно иной. Для него русские — такой человеческий тип, который желает и способен преодолеть узость сложившихся на Западе общественных форм. В этом Ф.М. видел историческое преимущество России и верил, что в будущем она сможет отыскать пути к более высоким че-

¹ *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 5. С. 399.

ловеческим идеалам. В этой связи, замечает автор примечаний к роману в томе Полного собрания сочинений Достоевского, «в идейно-художественной концепции романа важное место имел не лишенный символики образ русской "бабушки" Антонида Васильевны»¹. Да, судя по тому как именно бабушка включилась в игру и как она играла двое суток, проиграв все состояние, я не ошибаюсь, когда оцениваю русскую страсть к игре как один из национальных способов взаимодействия наших соотечественников с миром и с самими собой.

В своих произведениях Достоевский определенно пытается изучать русских как отличный от прочих народов, человеческий образец. При этом речь, конечно, не идет о некоей одной, всеобъемлющей, типично русской черте. Таковых — как настаивает Ф.М. — собственно русских черт много. Но «жизнь в состоянии игры» со свойственной игре скоростью и непредсказуемостью — одна из наиболее важных. Вот как, например, по этому поводу высказывается Алексей Иванович. «...В катехизис добродетелей и достоинств цивилизованного западного человека вошла исторически и чуть ли не в виде главного пункта способность приобретения капиталов. А русский не только не способен приобретать капиталы, но даже и расточает их как-то зря и безобразно. Тем не менее нам, русским, деньги тоже нужны, — прибавил я, — а следственно, мы очень рады и очень падки на такие способы, как, например, рулетки, где можно разбогатеть вдруг, в два часа, не трудясь. Это нас очень прельщает; а так как мы и играем зря, без труда, то и проигрываемся!

— Это отчасти справедливо, — заметил самодовольно француз.

— Нет, это несправедливо, и вам стыдно так отзываться о своем отечестве, — строго и внушительно заметил генерал.

— Помилуйте, — отвечал я ему, — ведь, право, неизвестно еще, что гаже: русское ли безобразие или немецкий способ накопления честным трудом?

— Какая безобразная мысль! — воскликнул генерал.

— Какая русская мысль! — воскликнул француз.

Я смеялся, мне ужасно хотелось их раззадорить.

— А я лучше захочу всю жизнь прокочевать в киргизской палатке, — вскричал я, — чем поклоняться немецкому идолу.

— Какому идолу? — вскричал генерал, уже начиная серьезно сердиться.

¹ Там же. С. 402.

— Немецкому способу накопления богатств. Я здесь недолго, но, однако ж, все-таки, что я здесь успел подметить и проверить, возмущает мою татарскую породу. Ей-богу, не хочу таких добродетелей! Я здесь успел уже вчера обойти верст на десять кругом. Ну, точь-в-точь то же самое, как в нравоучительных немецких книжечках с картинками: есть здесь везде у них в каждом доме свой фатер, ужасно добродетельный и необыкновенно честный. Уж такой честный, что подойти к нему страшно. Терпеть не могу честных людей, к которым подходить страшно. У каждого эдакого фатера есть семья, и по вечерам все они вслух поучительные книги читают. Над домиком шумят вязы и каштаны. Закат солнца, на крыше аист, и все необыкновенно поэтическое и трогательное...

— Уж вы не сердитесь, генерал, позвольте мне рассказать потрогательнее. Я сам помню, как мой отец, покойник, тоже под липками, в палисаднике, по вечерам вслух читал мне и матери подобные книжки... Я ведь сам могу судить об этом как следует. Ну, так всякая эдакая здешняя семья в полнейшем рабстве и повиновении у фатера. Все работают, как волю, и все копят деньги, как жида. Положим, фатер скопил уже столько-то гульденов и рассчитывает на старшего сына, чтобы ему ремесло аль землишку передать; для этого дочери приданого не дают, и она остается в девках. Для этого же младшего сына продают в кабалу аль в солдаты и деньги приобщают к домашнему капиталу. Право, это здесь делается; я расспрашивал. Все это делается не иначе, как от честности, от усиленной честности, до того, что и младший проданный сын верует, что его не иначе, как от честности, продали, — а уж это идеал, когда сама жертва радуется, что ее на заклание ведут. Что же дальше? Дальше то, что и старшему тоже не легче: есть там у него такая Амальхен, с которою он сердцем соединился, — но жениться нельзя, потому что гульденов еще столько не накоплено. Также ждут благонравно и искренно и с улыбкой на заклание идут. У Амальхен уж щеки ввалились, сохнет. Наконец, лет через двадцать, благосостояние умножилось; гульденны честно и добродетельно скоплены. Фатер благословляет сорокалетнего старшего и тридцатипятилетнюю Амальхен, с иссохшей грудью и красным носом... При этом плачет, мораль читает и умирает. Старший превращается сам в добродетельного фатера, и начинается опять та же история. Лет эдак чрез пятьдесят или чрез семьдесят внук первого фатера действительно уже осуществляет значительный капитал и пере-

дает своему сыну, тот своему, тот своему, и поколений чрез пять или шесть выходит сам барон Ротшильд или Гоппе и Комп., или там черт знает кто. Ну-с, как же не величественное зрелище: столетний или двухсотлетний преемственный труд, терпение, ум, честность, характер, твердость, расчет, аист на крыше! Чего же вам еще, ведь уж выше этого нет ничего, и с этой точки они сами начинают весь мир судить и виновных, то есть чуть-чуть на них не похожих, тотчас же казнить. Ну-с, так вот в чем дело: я уж лучше хочу дебоширить по-русски или разживаться на рулетке. Не хочу я быть Гоппе и Комп. чрез пять поколений. Мне деньги нужны для меня самого, а я не считаю всего себя чем-то необходимым и придаточным к капиталу. Я знаю, что я ужасно наврал, но пусть так оно и будет. Таковы мои убеждения»¹.

Отношение к жизни как к игре — я бы сказал «к игре в широком смысле» — действительно типично для русских и заслуживает пристального исследования. При этом говорить нужно не об играх вообще, каждая из которых имеет определенные правила, которые должны участниками соблюдаться и которые если и нарушаются, то все играющие это считают отклонением от нормы и тем самым норма признается, а именно об игре типа рулетки. В рулетке правил, в соответствии с которыми играющий может вмешаться, после того как сделаны ставки, нет и все отдается на волю случая. (Конечно, и в этой игре есть определенные правила-условия — например, не ставить за раз денег больше определенной суммы. Но их действие также ограничивается моментом запуска шарика по кругу.) Зададимся вопросом: отчего рулетка и в самом деле столь близка именно русским?

Если посмотреть на самые общие и устойчивые условия жизни в нашем отечестве — условия природные и социальные, то на поверхности лежит следующее. Природа России, в целом не слишком располагающая к продуктивной деятельности человека (не под крышей, а под открытым небом), задает в своих «правилах» высокую степень неопределенности. К примеру, при работе на земле практически нет четких устойчивых алгоритмов в температурных режимах тепла и холода, в их временной продолжительности, в количестве и интенсивности выпадения осадков. И по мере усиления антропогенного воздействия, что в особенности типично для XX столетия, неопределенность эта возрастает. Да и сегодня, чем как не страстью к игре в совокуп-

¹ *Достоевский Ф.М.* Цит. соч. С. 225—226.

ности с расчетом «на авось» можно объяснить нашу национальную неповоротливость в очевидной необходимости уходить от сырьевой зависимости в экономике, при том, что если и в самом деле разведанных запасов нефти и газа хватит еще на несколько поколений, то вовсе не факт, что человечество очень скоро, совершив очередные научно-технологические прорывы, не перейдет от нефти и газа к использованию возобновимых источников энергии, и тогда Россия останется без средств к существованию. Впрочем, мы можем еще продавать лес и пресную воду, а потом, может быть, и сдадим в аренду или продадим сельскохозяйственные угодья. Чем не благая перспектива в контексте национальной «игровой» стратегии?

То же — в обществе. Превалирующая в нашей истории организация социальной жизни, с одной стороны, изобиловала военными столкновениями (преимущественно на почве защиты народом своей территории), а с другой — протекала в условиях разного рода самовластья, отсутствия закона или его привычного неисполнения — нарушения. Естественно, закон нарушался не только властью, но и подданными. Отсюда — при отсутствии в стране свободы как установленных и признанных рамок инициативной деятельности каждого — общественной нормой и идеалом стала воля — ничем не ограниченная и не признающая никаких рамок необузданная активность, покоящаяся на силе.

Исходя из этого, как в сфере природной деятельности человека, так и в социальных условиях у русских господствовали неопределенность и случай. Думаю, что наиболее точным именем для желанного разом, одним махом выскочить из такого исторически сформированного образа жизни и поведения вполне подходит именно слово «рулетка». А раз так, то стоит ли искать какие-либо рациональные основания или, наоборот, осуждать «игровое» поведение соотечественников, в том числе и представленное героями романа? Ведь они — всего лишь живущие в определенных условиях русские, а осуждать за «русскость» вряд ли можно. Вот Достоевский никого и не осуждает, а только изображает.

Следуя глубокой национальной привычке, главный герой романа учитель Алексей Иванович превратил игру в рулетку в содержание своей жизни. Его отношения с семьей генерала и самим хозяином неопределенны до того, что на общий обед он является без приглашения, не уверен, включен ли он в список гостей и дадут ли ему место за столом. Генерал не регулярно и не полностью платит ему за обучение детей. Полина

Александровна, зная, что он в нее влюблен, беззастенчиво пользуется этим, в частности велит ему делать то, чего ей надобно, — идти и выиграть для нее на рулетке.

«Полина захохотала:

— Вы мне в последний раз, на Шлангенберге, сказали, что готовы по первому моему слову броситься вниз головою, а там, кажется, до тысячи футов. Я когда-нибудь произнесу это слово единственно затем, чтоб посмотреть, как вы будете расплачиваться, и уж будьте уверены, что выдержу характер. Вы мне ненавистны, — именно тем, что я так много вам позволила, и еще ненавистнее тем, что так мне нужны. Но покамест вы мне нужны — мне надо вас беречь.

Она стала вставать. Она говорила с раздражением. В последнее время она всегда кончала со мною разговор со злобою и раздражением, с настоящею злобою.

— ...Слушайте и запомните: возьмите эти семьсот флоринов и ступайте играть, выиграйте мне на рулетке сколько можете больше; мне деньги во что бы ни стало теперь нужны»¹.

Кажется, в отношении Алексея Ивановича к жизни только любовь к Полине и составляет тот твердый островок, на котором он удерживается среди бурлящего моря. Однако стоит ему случайно выиграть столько, чтобы оказаться объектом интереса со стороны авантюристки Бланш, то есть вовлечься в новую «рулетку», как его любовь к Полине тотчас же улетучивается. Уступив чарам француженки, которая ставит перед ним свою собственную цель — промотать в Париже выигранные им огромные деньги за месяц, в течение которого она обретет репутацию и знакомства (совершит «первую постановку себя в Париже»), а ему покажет «дневные звезды», — он без колебания включается в новую игру.

«...Я вошел к ней. Она валялась под розовым атласным одеялом, из-под которого выставлялись смуглые, здоровые, удивительные плечи, — плечи, которые разве только увидишь во сне, — кое-как прикрытые батистовою отороченною белейшими кружевами сорочкою, что удивительно шло к ее смуглой коже.

— Mon fils, as-tu du coeur?² — вскричала она, завидев меня, и захохотала. Смеялась она всегда очень весело и даже иногда искренно.

¹ Там же. С. 214.

² Сын мой, храбр ли ты? (франц.).

— Tout autre¹... — начал было я, парафразируя Корнеля.

— Вот видишь, vois-tu, — затараторила она вдруг, — во-первых, сыщи чулки, помоги обуться, а во-вторых, si tu n'es pas trop bête, je te prends à Paris². Ты знаешь, я сейчас еду.

— Сейчас?

— Через полчаса.

Действительно, все было уложено. Все чемоданы и ее вещи стояли готовые. Кофе был уже давно подан.

— Eh bien! хочешь, tu verras Paris. Dis donc qu'est-ce que c'est qu'un outchitel? Tu étais bien bête, quand tu étais outchitel³. Где же мои чулки?

Обувай же меня, ну!

Она выставила действительно восхитительную ножку, смуглую, маленькую, неисковерканную, как все почти эти ножки, которые смотрят такими миленькими в ботинках. Я засмеялся и начал натягивать на нее шелковый чулочек. M-lle Blanche между тем сидела на постели и тараторила.

— Eh bien, que feras-tu, si je te prends avec? Во-первых, je veux cinquante mille francs. Ты мне их отдашь во Франкфурте. Nous allons à Paris; там мы живем вместе et je te ferai voir des étoiles en plein jour⁴. Ты увидишь таких женщин, каких ты никогда не видывал. Слушай...

— Постой, эдак я тебе отдам пятьдесят тысяч франков, а что же мне-то останется?

— Et cent cinquante mille francs⁵, ты забыл, и, сверх того, я согласна жить на твоей квартире месяц, два, que sais-je!⁶ Мы, конечно, проживем в два месяца эти сто пятьдесят тысяч франков. Видишь, je suis bonne enfant⁷ и тебе вперед говорю, mais tu verras des étoiles.⁸

— Как, все в два месяца?

¹ Всякий другой...

² Если ты не будешь слишком глуп, я возьму тебя в Париж.

³ Ты увидишь Париж. Скажи-ка, что это такое учитель? Ты был очень глуп, когда ты был учителем.

⁴ Ну что ты будешь делать, если я тебя возьму с собой? ...Я хочу пятьдесят тысяч франков... Мы едем в Париж... И ты у меня увидишь звезды среди бела дня.

⁵ А сто пятьдесят тысяч франков.

⁶ Почему я знаю!

⁷ Я добрая девочка.

⁸ Но ты увидишь звезды.

— Как! Это тебя ужасает! Ah, vil esclave!¹ Да знаешь ли ты, что один месяц этой жизни лучше всего твоего существования. Один месяц — et après le déluge! Mais tu ne peux comprendre, va!² Пошел, пошел, ты этого не стоишь! Ай, que fais-tu?³

В эту минуту я обувал другую ножку, но не выдержал и поцеловал ее. Она вырвала и начала меня бить кончиком ноги по лицу. Наконец она прогнала меня совсем. "Eh bien, mon outchitel, je t'attends, si tu veux"⁴; чрез четверть часа я еду!" — крикнула она мне вдогонку⁵.

В Париже Алексей Иванович, как и при настоящей игре, ни на минуту не теряет голову, сознает, что эти три недели были сплошь «бред и дурачество», что он живет «в самой буржуазной, в самой меркантильной среде, где каждый су был рассчитан и вымерен». От этого ему постоянно «очень грустно и до крайности скучно», и потому он весьма часто стал прибегать к шампанскому. Тем не менее другой жизни он не ищет и, очевидно, удовлетворяется сознанием «широты» своей русской природы в сравнении с жизнью буржуа. Он не допускает мысли о каком-либо морализаторстве со стороны кого бы то ни было и все-речь убежден, что если теперь, когда у него кончились деньги и он пребывает «в ничтожестве», его готовы учить морали, то, коль скоро «колесо фортуны» повернется в другую сторону, все кардинально поменяется местами. Эти же самые «моралисты» «первые (я в этом уверен) придут с дружескими шутками поздравлять меня»,⁶ поскольку дело в том, что всего лишь один оборот колеса — и все изменится. «Я завтра могу из мертвых воскреснуть и вновь начать жить! Человека могу обрести в себе, пока еще он не пропал!»⁷ А в этом случае и Полина бы увидела, что герой «выше всех этих нелепых толчков судьбы...».

В героях Достоевского, пребывающих в разных видах нравственного падения, поразительна неуничтожимая ни при каких обстоятельствах вера, что, во-первых, они могут, стоит только захотеть, в любой момент свое падение прекратить и, во-вторых, после этого могут в себе вновь «человека обрести». Как будто нет

¹ А, низкий раб!

² а потом хоть потоп! Но ты не можешь понять, пошел!

³ что ты делаешь?

⁴ Ну, мой учитель, я тебя жду, если хочешь.

⁵ Там же. С. 302.

⁶ Там же. С. 311.

⁷ Там же.

гадкого багажа, как будто недавнее прошлое моментально «отпустит», и человек вновь по одному слову делается нормальным.

Так же живет игрою, то есть строит свою жизнь в соответствии с «правилами» рулетки, хотя на ней и не играет, генерал. Нет за ним прошлых подвигов и завоеванного службой достоинства. Одни амбиции да неоплаченные долги авантюристу-маркизу, которые он намерен гасить последним заложенным имением, оставляя детей без средств к жизни. Он волочитя за Бланш и одну за другой шлет в Россию телеграммы с вопросом «не умерла ли тетушка?», наследником которой он числится.

Да и генеральская тетушка, бабушка, как ее все зовут, приехав неожиданно в Рулетенбург, столь увлекается рулеткой, что в два дня проматывает свое немалое состояние. (Церковь из деревянной в каменную перестроить обещалась, да вместо того деньги-то на рулетке и профукала, итожит помещица). Поведение ее, при всей выказываемой автором симпатии к ней за ее «русскость», — это постоянная бравада, грубая определенность в оценках, даже некоторого рода смелость, в целом — поведение самовластной деспотической особы, не привыкшей ни с чем считаться, кроме своего «Я». Окружающих ее людей она сразу и однозначно делит на угодных и негодных. И хотя это деление практически совпадает с авторскими симпатиями, согласимся, что такого рода поведение далеко от стандартов культуры.

Роман «Игрок», может быть помимо замысла автора, задает новый ракурс анализа русской жизни. Этот ракурс отличается от тех, которые избирают, например, Тургенев, Гончаров, Толстой или Салтыков-Щедрин. У Тургенева русские, наряду с прочими темами, рассматриваются в культурной связи с Западом. и даже тогда, когда напрямую этот фон не воспроизводится, все же выписанные автором ранее образы и стандарты в читательском поле зрения его удерживают. У Гончарова и Толстого больший акцент сделан на русскости в двух аспектах — как продолжении отечественных традиций, так и в контексте органической связи человека с природным миром. Изнутри отношений власти и, в частности, через призму действия бюрократической машины, в том числе через последствия ее разрушающего влияния на человека, анализирует русский мир Салтыков-Щедрин. Иное у Достоевского.

Хотя действие романа и жизнь его героев протекает на Западе, западный мир и мир, который русские создают для себя и вокруг себя, миры не пересекающиеся, параллельные. В гостини-

це они живут, занимая отдельный этаж. Их круг (компания) непроницаем для чужих, которые бы вдруг осмелились проявить склонность к сближению, исключая тех, кого они сами назначили в нее принять. Их поведение иногда до того странно¹, что иностранцы смотрят на них как на нечто диковинное (точнее, дикое, некультуренное). Но еще более загадочен и непостижим для иностранцев русский культурно-духовный мир. Он, как показывает автор, во многом живет по законам мира рулетки — без рационально устанавливаемых и регулируемых правил, вне закона, по произволу сильнейших, пренебрегая слабыми. Ужас его в том, что все обитатели этого мира к нему привыкли, считают единственно возможным и истинным. Они даже, как начинает ощущаться у Достоевского уже в этом романе, по воле автора обосновывают и превозносят этот тип русскости, и даже его якобы более высокую ценность в сравнении с другими, иноземными способами жить. Далее эта идеология писателем будет развиваться и в конце концов станет одной из главных отличительных особенностей создаваемого им типа мировоззрения.

Но об этом позднее. А пока перейду к рассмотрению другого произведения Достоевского — написанного в 1861 году романа «Униженные и оскорбленные».

* * *

В связи с анализом творчества Н.Г. Чернышевского указывалось, что намеченная ранее в русской литературе и философии линия на поиск для страны «новых людей», идущих по «своему пути», отличному от пути Запада, который некоторых отечественных мыслителей «разочаровал» и которому сулили скорую культурную смерть, в период начала либеральных реформ Александра II была продолжена. Россия шла к капитализму. Авторами, настроенными ортодоксально-православно (что, прежде всего, означало — агрессивно антикатолически и протипротестантски), капиталистическое развитие России воспринималось как национальная катастрофа. Само собой, место Достоевского в этом движении было в первом ряду².

¹ Например, когда бабушка была внесена на своем кресле в парк возле гостиницы и на большом расстоянии, не обращая внимания на отдыхающих, начала громко окликать Алексея Ивановича или когда Алексей Иванович поговору с Полиной неприличными словами задел прогуливающуюся немецкую чету.

² В содержательном, прекрасно написанном романе малоизвестного в настоящее время в России, чудом выжившего при советской власти эсера

Суждение это в отношении Ф.М., высказываемое до того, как проведен мировоззренческий анализ основных его произведений и, прежде всего, до рассмотрения его, как говорил известный историк литературы К.В. Мочульский, «пятиактной трагедии» — «Записок из подполья», «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов» и «Братьев Карамазовых», — можно было бы посчитать преждевременным¹. Однако в данном случае это необходимо. Так, в данном месте уместно адресоваться к авторитету В.С. Соловьева, который, оценивая творчество Достоевского, отмечал, что, хотя в его произведениях противоречие между «лучшими идеалами» и «темным игом действительности» не было разрешено отречением от идеалов, вместе с тем неукоснительное следование идеалам не всегда выглядит убедительно. Так, «если мы согласны с Достоевским, что истинная сущность русского национального духа, его великое достоинство и преимущество состоит в том, что он может внутренне понимать все чужие элементы, любить их, перевоплощаться в них, если мы признаем русский народ вместе с Достоевским способным и призванным осуществить в братском союзе с прочими народами идеал всечеловечества — то мы уже никак не можем сочувствовать выходкам того же Достоевского против "жидов", поляков, французов, немцев, против всей Европы, против всех чужих исповеданий». И далее: «Если русский национальный идеал действительно христианский (а в другом месте Соловьев уточняет: «превознесение идеи "православия" над идеею "христианства" и учением Христа» «чужды истинному духу русского христианского народа». — С.Н.), то он тем самым должен быть идеалом общественной правды и прогресса, т.е. практического осуществления христианства в мире»².

С.Д. Мстиславского — теоретика и практика — есть прекрасная сцена случайной встречи одного из народолюбцев с Ф.М. Достоевским. Разговаривая с молодым человеком, писатель поучает: «Железнодорожник и жид занимают место, которое по праву принадлежит только земледельцу. И в этом вся задача времени. А либерализм наш — шелудивый русский либерализм, напроповеданный г.. вроде букашки навозной Белинского и прочих, а ныне усовершенствованный беложилетниками — кричит об увенчании здания». (*Мстиславский С. Партионцы*. М.: Советская литература, 1933. С. 134).

¹ Замечание о «пятиактности трагедии» мне кажется особенно важным в смысле рассмотрения ее — трагедии — основных мировоззренческих идей.

² *Соловьев В.С.* Русский национальный идеал // *Соловьев В.С.* Соч.: В 2 т. М.: Правда, 1989. Т. 2. С. 290, 293.

И в продолжение этих мыслей, намечая задачи культурного развития на будущее, приведу наблюдение Г.П. Федотова, высказанное уже в 1929 году, то есть спустя почти семьдесят лет, что говорит о том, что сделанные Соловьевым пожелания то ли не были услышаны, то ли по каким-то причинам не реализовались и задача материализации русского национального идеала осталась не решенной. Проблему эту Федотов в одной из наиболее важных и глубоких своих статей, «Будет ли существовать Россия?», сформулировал так: «Задача культурных работников, каждого русского в том, чтобы расширить свое русское сознание (без ущерба для его «русскости») в сознание российское. Это значит воскресить в нем в какой-то мере духовный облик всех народов России. ...Пусть каждый маленький народ, т.е. его интеллигенция, не только не чувствует унижения от соприкосновения с национальным сознанием русских (великоросса), но и находит у него помощь и содействие своему национально-культурному делу»¹. Сделав эти предварительные замечания, перейду к текстам Ф.М.

Главный герой романа «Униженные и оскорбленные» — несомненно, не только второе «Я» Федора Михайловича, но и его представление об идеале человека, существующего в мире неправды и нищеты. Нужно отметить, что образ молодого писателя Ивана Петровича — первая масштабная попытка Ф.М. придать человеку «четвертое измерение» — вывести его как идеальный «проективный» тип. И хотя в дальнейшем такое занятие сделается у Достоевского в его литературном творчестве одним из любимых, о первом опыте, хотя и не слишком удачном, нужно сказать особо.

События этого мелодраматического романа — непрерывно развивающаяся катастрофа, конец которой, кажется, наступает только со смертью. Так и происходит в отношении одной из героинь — внебрачной малолетней дочери негодяя-князя. Но остаются жертвы нравственного катаклизма, изуродованные событиями «калеки» — брошенный невестой герой — молодой писатель, потерявшие имение и вынужденные на старости лет искать на чужбине заработок для прокормления старики Ихменевы, их дочь Наташа.

Иван Петрович, посредством которого автор и ведет повествование, все время оказывается если не центром, то активным

¹ Федотов Г.П. Собр. соч.: В 12 т. М.: «Мартис» SAM & SAM, 1998. Т. 2. С. 137.

участником происходящего. Тематика событий — душераздирающая. Это и безумная любовь, ради которой оставляются родители. В одном случае возлюбленный вероломно крадет деньги у невесты (которая в свою очередь ради него, похитила деньги у отца), а затем бросает ее, беременную и пребывающую на чужбине. Ограбленный и ставший нищим отец не прощает дочь до самой ее смерти. А после ее кончины умирает и сам.

В другом случае родители Наташи, старики Ихменевы, оставленные дочерью ради ее возлюбленного Алеши, не перестают жить надеждой на ее возвращение, при том что Алеша находит другую девушку, а Наташа это ему прощает и, более того, благословляет на новую любовь.

В романе присутствует и олицетворение зла — князь Валковский, который ставит перед собой и неуклонно достигает все новых целей, перешагивая через униженных и оскорбленных, доводя свои жертвы до смерти. Но зато подросток-девочка Елена-Нелли, чья мать ограбила отца и умерла, и которая, кажется, умеет только ненавидеть, в конце концов усилиями неутомимого милосердия и любви, проявленными Иваном Петровичем, а затем и остальными униженными и обиженными, перед смертью вновь обретает способность любить.

Как бы постоянно держится в центре, но на самом деле все время выступает не более как фоном сын негодяя-князя — органический эгоист Алеша, ради которого Наташа сперва перестает любить Ивана Петровича, а затем и оставляет отчий дом. В чем причина страсти Наташи к этому недалекому, себялюбивому до бессознательности и постоянно причиняющему другим людям страдания человеку, Достоевский так и не объясняет. Однако первый опыт создания идеального героя в образе Ивана Петровича как одной из задач писательского творчества, которую формулировал для себя Достоевский, в романе состоялся.

Критика по-разному отнеслась к этому произведению. Однако, поскольку оно не кажется мне значительным в плане рассмотрения тематики русского мировоззрения, подробно на нем я останавливаться не буду и приведу лишь мнение Н.А. Добролюбова, смысл которого сводится к тому, что автор, столь успешно дебютировавший романом «Бедные люди», на этот раз обнаружил отсутствие художественного таланта: «...бедность и неопределенность образов, эта необходимость повторять самого себя, это неумение обработать каждый характер даже настолько, чтобы хоть сообщить ему соответственный способ

внешнего выражения, — все это, обнаруживая, с одной стороны, недостаток разнообразия в запасе наблюдений автора, с другой стороны, прямо говорит против художественной полноты и цельности его созданий...»¹ Вывод критика следующий: новый роман Достоевского стоит «ниже эстетических требований».

В этой связи уместно и справедливо привести и мнение самого автора, высказанное через несколько лет после его публикации. В нем Ф.М., во-первых, определяет жанр произведения как роман-фельетон, то есть печатающуюся в ежедневной газете из номера в номер историю с продолжением и, кроме того, рассчитанную на непритязательную публику. И во-вторых, дает ему следующую оценку: «Совершенно сознаюсь, что в моем романе выставлено много кукол, а не людей, что в нем ходячие книжки, а не лица, принявшие художественную форму.. в то время, как я писал, я, разумеется, в жару работы этого не сознавал, а только разве предчувствовал... Вышло произведение дикое, но в нем есть с полсотни страниц, которыми я горжусь»².

Присоединяясь к этим суждениям, хотел бы обратить внимание и на то, что начинать рассмотрение текстов Ф.М. Достоевского в данном исследовании в строго хронологической последовательности означало бы, наряду с прочим, ставить рассмотрение «Униженных и оскорбленных» (1861) ранее «Игрока» (1866). Однако «Игрок», несомненно, более важен не только с точки зрения художественности, но прежде всего именно в мировоззренческом отношении и, кроме того, как роман автобиографический, который дает известное представление об одной из существенных сторон личности самого автора. Последнее, согласимся, важно для понимания его творчества в целом.

* * *

Наряду с «Игроком» повесть «Записки из подполья» (1864), к тому же как первую часть «пятиактной трагедии», в известном смысле тоже можно считать автобиографической. Но если в «Игроке» Ф.М. говорит о части своей «внешней» биографии, через нее раскрывая личные переживания и движение мыслей, то в «Записках» внешнее по большому счету не существенно и только иногда создает предлоги для раскрытия внутренних движений сознания. Признать и эту повесть автобиографиче-

¹ Добролюбов Н.А. Собр. соч.: В 9 т. М; Л., 1963. Т. 7. С. 239.

² Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 3. С. 531—532.

ской мне представляется допустимым с той лишь поправкой, что сами внешние движения и поступки героя не стоит рассматривать как имеющие отношение к жизни ее автора. Но вот то, что переживает герой, до чего додумывается, как рассуждает — автобиографично в том смысле, что придумано или извлечено из глубин собственного сознания человеком по имени Ф.М. Достоевский и несомненно, что до него такое содержание в своем сознании никто из известных писателей в таком объеме и глубине не обнаруживал, а если и обнаруживал, то «до конца» не извлекал.

Термином «подпольный» человек Ф.М. принимает и утверждает собственное самоназвание, фиксирует свое отношение к миру, положение в нем. Без этого он никогда не сумел бы в столь детальных подробностях представить читателю сознание своих «подпольных» героев. Он писал: «Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться!»¹

Говоря о «подполье» как глубинах сознания, а возможно, и подсознания, я тем самым вступаю в противоречие с той имеющейся в отечественном литературоведении традицией, согласно которой герой "подполья", — это "книжник", "мечтатель", "лишний человек", утративший связь с народом и осужденный за это автором-шестидесятником, стоящим на "почвеннических" позициях. ...Создавая "подпольного" героя, Достоевский имел в виду показать самосознание представителей одной из разновидностей "лишних людей" в новых исторических условиях»². И еще, со ссылкой на литературоведа А.П. Скафтымова: «...герой подполья воплощает в себе конечные результаты "оторванности от почвы", как она рисовалась Достоевскому»³.

Также встречаются определения, которые удивляют непониманием содержательных линий развития русской классики. Так, соглашаясь с позицией, согласно которой «подпольный» человек — инобытие человека «лишнего», литературовед В.А. Кашина итожит: «В литературу за Онегиным и Печориным при-

¹ Там же. Т. 16. С. 329.

² *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 5. Примечания. С. 376.

³ Там же. С. 378.

шел Обломов и, наконец, *имеющие ту же природу* (?! — С.Н.) "подпольные" люди Достоевского»¹.

Определения эти мне представляются «внешними», сделанными в связи с признанными в литературоведении штампами типа «лишних людей», не затрагивающими существа дела. На самом деле «подпольность» — свойство и качество намного более глубокое, о чем я и буду говорить далее.

«Записки из подполья», которые вначале симптоматично и точно именовались «Исповедь», имели в литературе конкретный предмет для своего обращения, и к нему повесть, по крайней мере в своей первой части («Подполье»), напрямую адресуется. Этим предметом, по общему признанию историков и критиков литературы, было вышедшее годом ранее творение Чернышевского «Что делать?»².

Конечно, аналогии между романом Чернышевского и некоторыми произведениями Достоевского просматриваются не только здесь. Так, в рассказе «Крокодил» (1865), как и в «Записках», главный герой — чиновник также размещается автором вне божьего мира. Как помним, попав внутрь крокодила, он начинает общаться с окружающей действительностью из

¹ *Кашина В.А.* Человек в творчестве Ф.М. Достоевского. М.: Художественная литература, 1986. С. 198.

² Идеино-тематическое «пересечение» Чернышевского и Достоевского в их произведениях уже имело место ранее. Вспомним о «любовных треугольниках» героев «Что делать?» — реально обсуждавшегося треугольника «Вера — Лопахин — Кирсанов» и гипотетического треугольника героев «Униженных и оскорбленных» — «Наташа — Иван Петрович — Алеша». Однако в этих предметах более всего интересно не их художественное разрешение, а позиция их творцов — авторов. А поскольку на эту коллизию обратил внимание известный литературовед В.А. Туниманов, то ему и слово. «С точки зрения Чернышевского и Рахметова, такой мирный союз (жизнь втроем. — С.Н.) был бы наилучшим разрешением проблемы, но он является вызовом лицемерному (так у автора. — С.Н.) обществу и ветхозаветной морали, которая еще имеет власть над разумными эгоистами, сравнительно недавно распростившимися с «подвалом» и духовно еще не до конца свободными. Идеальный союз, как явствует из одного интереснейшего замысла Чернышевского, возможен лишь на необитаемом острове, а не в современном обществе. По Достоевскому, такое гармоническое общество вообще немислимо, ибо противоречит вечным законам человеческой природы; оно возможно не для эгоистического современного человека, а для существа неземного, бесполого, чуждого ревности и сладострастия». (Туниманов В.А. Творчество Достоевского. 1854—1862. Л.: Наука, 1980. С. 266). Чья точка зрения и связанные с ней мировоззренческие пласты ближе к действительности — конструктора «светлого будущего» или певца «подполья» — судить читателю.

этого органического «подполья» так же, как общаются с миром и герои Чернышевского: посредством теорий, проектов «справедливо устроенных» мастерских, просто снов. Да и по содержанию излагаемые «теории» не слишком отличны. Вот как формулирует из чрева крокодила свою реформаторскую программу герой рассказа Иван Матвеевич.

« — ...Завтра соберется целая ярмарка. Таким образом, надо полагать, что все образованнейшие люди столицы, дамы высшего общества, иноземные посланники, юристы и прочие здесь перебивают. Мало того: станут наезжать из многосторонних провинций нашей обширной и любопытной империи. В результате — я у всех на виду, и хоть спрятанный, но первенствую. Стану поучать праздную толпу. Наученный опытом, представлю из себя пример величия и смирения перед судьбою! Буду, так сказать, кафедрой, с которой начну поучать человечество. Даже одни естественнонаучные сведения, которые могу сообщить об обитаемом мною чудовище, — драгоценны. И потому не только не ропщу на давешний случай, но твердо надеюсь на блистательнейшую из карьер.

— Не наскучило бы? — заметил я ядовито.

Всего более обозлило меня то, что он почти уже совсем перестал употреблять личные местоимения — до того заважничал. Тем не менее все это меня сбило с толку. «С чего, с чего эта легкомысленная башка куражится! — скрежетал я шепотом про себя. — Тут надо плакать, а не куражиться».

— Нет! — отвечал он резко на мое замечание, — ибо весь проникнут великими идеями, только теперь могу на досуге мечтать об улучшении судьбы всего человечества. Из крокодила выйдет теперь правда и свет. Несомненно изобрету новую собственную теорию новых экономических отношений и буду гордиться ею — чего доселе не мог за недосугом по службе и в пошлых развлечениях света. Опровергну все и буду новый Фурье.

...Полагаю, что хозяин согласится иногда приносить и меня, вместе с крокодилом, в блестящий салон жены моей. Я буду стоять в ящике среди великолепной гостиной и буду сыпать остротами, которые подберу еще с утра. Государственному мужу сообщу мои проекты; с поэтом буду говорить в рифму; с дамами буду забавен и нравственно-мил, — так как вполне безопасен для их супругов. Всем остальным буду служить примером покорности судьбе и воле провидения. Жену сделаю блестящею литературною дамою.

...Подобно тому как надувают геморроидальную подушку, так и я надуваю теперь собой крокодила. Он растяжим до невероятности. Даже ты, в качестве домашнего друга, мог бы поместиться со мной рядом, если б обладал великодушием, и даже с тобой еще достало бы места. Я даже думаю в крайнем случае выписать сюда Елену Ивановну.

...Я изобрету теперь целую социальную систему, и — ты не поверишь — как это легко! Стоит только уединиться куда-нибудь подальше в угол или хоть попасть в крокодила, закрыть глаза, и тотчас же изобретешь целый рай для всего человечества. Давеча, как вы ушли, я тотчас же принялся изобретать и изобрел уже три системы, теперь изготавливаю четвертую. Правда, сначала надо все опровергнуть; но из крокодила так легко опровергать; мало того, из крокодила как будто это виднее становится...»¹

Как мы помним, автор теории «разумного эгоизма» был всерьез убежден в том, что разнообразные беды человечества, равно как и далекие от благодати отношения людей, имеют причиной незнание и непонимание ими своей выгоды от следования принципам справедливости и добра. И говорилось это на фоне обещанного в снах Веры Павловны хрустального дворца и счастливых людей-муравьев, спаянных в едином прагматичном и целесообразном движении-действии на благо общего дома-муравейника. Точно так же герой «Крокодила» жаждет просвещения для человечества, мечтает изобрести спасительную экономическую теорию и в своей похожести на героев Н.Г.Ч. доходит до прямой аналогии с ними, в частности — в предположении жизни втроем внутри крокодилова чрева, исходя при этом из целесообразности, равно как и Лопухин, делая похожее предложение Вере Павловне, прежде всего так же был озабочен практической стороной жизни.

Далее, как бы продолжая полемику с Чернышевским, Достоевский предлагает послушать героя «подполья», которое, очевидно, и в эпоху хрустальных дворцов не исчезнет. Вот что говорит «подпольный» человек:

«О, скажите, кто это первый объявил, кто первый провозгласил, что человек потому только делает пакости, что не знает настоящих своих интересов; а что если б его просветить, открыть ему глаза на его настоящие, нормальные интересы, то человек тотчас же перестал бы делать пакости, тотчас же стал бы добрым

¹ Там же. С. 194—197.

и благородным, потому что, будучи просвещенным и понимая настоящие свои выгоды, именно увидел бы в добре собственную свою выгоду, а известно, что ни один человек не может действовать зазнамо против собственных своих выгод, следовательно, так сказать, по необходимости стал бы делать добро? О младенец! о чистое, невинное дитя! да когда же, во-первых, бывало, во все эти тысячелетия, чтоб человек действовал только из одной своей собственной выгоды? Что же делать с миллионными фактов, свидетельствующих о том, как люди зазнамо, то есть вполне понимая свои настоящие выгоды, отставляли их на второй план и бросались на другую дорогу, на риск, на авось, никем и ничем не принуждаемые к тому, а как будто именно только не желая указанной дороги, и упрямо, своевольно пробивали другую, трудную, нелепую, отыскивая ее чуть не в потемках. Ведь, значит, им действительно это упрямство и своеволие было приятнее всякой выгоды... Выгода! Что такое выгода? Да и берете ли вы на себя совершенно точно определить, в чем именно человеческая выгода состоит? А что если так случится, что человеческая выгода иной раз не только может, но даже и должна именно в том состоять, чтоб в ином случае себе худого пожелать, а не выгодного? А если так, если только может быть этот случай, то все правило прахом пошло. Как вы думаете, бывает ли такой случай? Вы смеетесь; смейтесь, господа, но только отвечайте: совершенно ли верно сосчитаны выгоды человеческие? Нет ли таких, которые не только не уложились, но и не могут уложиться ни в какую классификацию? Ведь вы, господа, сколько мне известно, весь ваш реестр человеческих выгод взяли средним числом из статистических цифр и из научно-экономических формул. Ведь ваши выгоды — это благоденствие, богатство, свобода, покой, ну и так далее, и так далее; так что человек, который бы, например, явно и зазнамо вошел против всего этого реестра, был бы, по-вашему, ну да и, конечно, по-моему, обскурант или совсем сумасшедший, так ли? Но ведь вот что удивительно: отчего это так происходит, что все эти статистики, мудрецы и любители рода человеческого, при исчислении человеческих выгод, постоянно одну выгоду пропускают? Даже и в расчет ее не берут в том виде, в каком ее следует брать, а от этого и весь расчет зависит. Беда бы не велика, взять бы ее, эту выгоду, да и занести в список. Но в том-то и пагуба, что эта мудреная выгода ни в какую классификацию не попадает, ни в один список не умещается.

У меня, например, есть приятель... Эх, господа! да ведь и вам он приятель; да и кому, кому он не приятель! Приготовляясь к делу, этот господин тотчас же изложит вам, велеречиво и ясно, как именно надо ему поступить по законам рассудка и истины. Мало того: с волнением и страстью будет говорить вам о настоящих, нормальных человеческих интересах; с насмешкой укорит близоруких глупцов, не понимающих ни своих выгод, ни настоящего значения добродетели; и — ровно через четверть часа, без всякого внезапного, постороннего повода, а именно по чему-то такому внутреннему, что сильнее всех его интересов, — выкинет совершенно другое колено, то есть явно пойдет против того, об чем сам говорил: и против законов рассудка, и против собственной выгоды, ну, одним словом, против всего... Предупрежду, что мой приятель — лицо собирательное, и потому только его одного винить как-то трудно. То-то и есть, господа, не существует ли и в самом деле нечто такое, что почти всякому человеку дороже самых лучших его выгод, или (чтоб уж логики не нарушать) есть одна такая самая выгодная выгода (именно пропускаемая-то, вот об которой сейчас говорили), которая главнее и выгоднее всех других выгод и для которой человек, если понадобится, готов против всех законов пойти, то есть против рассудка, чести, покоя, благоденствия, — одним словом, против всех этих прекрасных и полезных вещей, лишь бы только достигнуть этой первоначальной, самой выгодной выгоды, которая ему дороже всего.

...Но прежде чем я вам назову эту выгоду, я хочу себя компрометировать лично и потому дерзко объявляю, что все эти прекрасные системы, все эти теории разъяснения человечеству настоящих, нормальных его интересов с тем, чтоб оно, необходимо стремясь достигнуть этих интересов, стало бы тотчас же добрым и благородным, покамест, по моему мнению, одна логистика! Да-с, логистика! Ведь утверждать хоть эту теорию обновления всего рода человеческого посредством системы его собственных выгод, ведь это, по-моему, почти то же ...ну хоть утверждать, например, вслед за Боклем, что от цивилизации человек смягчается, следственно, становится менее кровожаден и менее способен к войне. По логике-то, кажется у него и так выходит. Но до того человек пристрастен к системе и к отвлеченному выводу, что готов умышленно исказить правду, готов видом не видать и слыхом не слыхать, только чтоб оправдать свою логику. Потому и беру этот пример, что это слишком яркий пример. Да оглянитесь кругом: кровь рекою льется, да

еще развеселым таким образом, точно шампанское. Вот вам все наше девятнадцатое столетие, в котором жил и Бокль. Вот вам Наполеон — и великий, и теперешний. Вот вам Северная Америка — вековечный союз. Вот вам, наконец, карикатурный Шлезвиг-Гольштейн... и что такое смягчает в нас цивилизация? Цивилизация вырабатывает в человеке только многосторонность ощущений и... решительно ничего больше. А через развитие этой многосторонности человек еще, пожалуй, дойдет до того, что отыщет в крови наслаждение. Ведь это уж и случилось с ним. Замечали ли вы, что самые утонченные кровопроливцы почти сплошь были самые цивилизованные господа, которым все эти разные Атиллы да Стеньки Разины иной раз в подметки не годились, и если они не так ярко бросаются в глаза, как Атилла и Стенька Разин, так это именно потому, что они слишком часто встречаются, слишком обыкновенны, примелькались. По крайней мере, от цивилизации человек стал если не более кровожаден, то уже, наверно, хуже, гаже кровожаден, чем прежде. Прежде он видел в кровопролитии справедливость и с покойною совестью истреблял кого следовало; теперь же мы хоть и считаем кровопролитие гадостью, а все-таки этой гадостью занимаемся, да еще больше, чем прежде. Что хуже? — сами решите. Говорят, Клеопатра (извините за пример из римской истории) любила втыкать золотые булавки в груди своих невольниц и находила наслаждение в их криках и корчах. Вы скажете, что это было во времена, говоря относительно, варварские; что и теперь времена варварские, потому что (тоже говоря относительно) и теперь булавки втыкаются; что и теперь человек хоть и научился иногда видеть яснее, чем во времена варварские, но еще далеко не приучился поступать так, как ему разум и науки указывают. Но все-таки вы совершенно уверены, что он непременно приучится, когда совсем пройдут кой-какие старые, дурные привычки и когда здравый смысл и наука вполне перевоспитают и нормально направят натуру человеческую. Вы уверены, что тогда человек и сам перестанет добровольно ошибаться и, так сказать, поневоле не захочет роднить свою волю с нормальными своими интересами. Мало того: тогда, говорите вы, сама наука научит человека (хоть это уж и роскошь, по-моему), что ни воли, ни каприза на самом-то деле у него и нет, да и никогда не бывало, а что он сам не более, как нечто вроде фортепьянной клавиши или органного штифтика; и что, сверх того, на свете есть еще законы природы; так что все, что он ни делает, дела-

ется вовсе не по его хотенью, а само собою, по законам природы. Следственно, эти законы природы стоит только открыть, и уж за поступки свои человек отвечать не будет и жить ему будет чрезвычайно легко. Все поступки человеческие, само собою, будут расчислены тогда по этим законам, математически, вроде таблицы логарифмов, до 108000, и занесены в календарь...

Тогда-то, — это все вы говорите, — настанут новые экономические отношения, совсем уж готовые и тоже вычисленные с математическою точностью, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец. Тогда... Ну, одним словом, тогда прилетит птица Каган. Конечно, никак нельзя гарантировать (это уж я теперь говорю), что тогда не будет, например, ужасно скучно (потому что что ж и делать-то, когда все будет расчислено по табличке), зато все будет чрезвычайно благоразумно. Конечно, от скуки чего не выдумаешь! Ведь и золотые булавки от скуки втыкаются, но это бы все ничего. Скверно то (это опять-таки я говорю), что чего доброго, пожалуй, и золотым булавкам тогда обрадуются. Ведь глуп человек, глуп феноменально. То есть он хоть и вовсе не глуп, но уж зато неблагодарен так, что поискать другого, так не найти. Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливою физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтоб все эти логарифмы отправились к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить! Это бы еще ничего, но обидно то, что ведь непременно последователей найдет: так человек устроен. И все это от самой пустейшей причины, об которой бы, кажется, и упоминать не стоит: именно оттого, что человек, всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода; хотеть же можно и против собственной выгоды, а иногда и положительно должно (это уж моя идея). Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, — вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту. И с чего

это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно выгодного хотенья? Человеку надо — одного только самостоятельного хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела. Ну и хотенье ведь черт знает...»¹

Я привел столь длинную цитату из повести не только для того, чтобы указать на существо возражений Достоевского по поводу идей Чернышевского. Размышления эти интересны и в другом отношении — с точки зрения только что рассматривавшейся в связи с романом «Игрок» идеи о возможности отношения к жизни как к игре, о глубинном желании человека, постоянно вынужденного «соизмеряться с обстоятельствами», в чем-то смиряться и не жить «по воле», но все же — о, сладость! — иметь возможность иногда «показать судьбе язык».

Следует отметить, что в таком ракурсе вопрос о «полемике» между Н.Г. и Ф.М. в литературоведении не ставился. Более того, само обоснование того, почему такая полемика не последовала, получает объяснение, хотя и довольно странное. Вновь слово В.А. Туниманову. «Чернышевский-романист не вступает в полемику с Достоевским. Просто у него другие художественные и пропагандистские цели, требующие создания оригинального, нового универсума: одновременно типической и образцовой модели нового жизнеустройства. в полемику с автором "Что делать?" вступает Достоевский, но это уже особая и весьма сложная проблема, которая не стала яснее и после многочисленных попыток понять смысл и объяснить интенсивность идейного спора Достоевского с Чернышевским»². И далее: бунт Парадоксалиста (героя «Записок из подполья») был борьбой «Достоевского главным образом с идеями революционных демократов и, естественно, с их вождями (или «богами») — Чернышевским и Добролюбовым»³.

Констатация факта, что в спор вступает именно Достоевский, что спорил он с революционными демократами и что смысл спора так и остался невыясненным, — свидетельство, которым не следует пренебрегать. Кроме того, если Ф.М. в спор все же вступил, то, значит, посчитал его важным. В чем же? Вот в этом я и попытаюсь разобраться.

¹ *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 5. С. 110—113.

² *Туниманов В.А.* Цит. соч. С. 269.

³ Там же. С. 283.

Затеянный с Чернышевским спор Достоевский не ведет напрямую и не переводит в публицистику. Ф.М. сдвигает его в сугубо художественную плоскость, рисуя образ «человека из подполья» не только изнутри, через его размышления, как это дано в первой части «Записок», но и через мысли, реализуемые в поступки. (Именно этот технологический ход «от размышления — к поступку» герой несколько раз реализует, акцентируя и как бы давая читателю знать, что он делает именно это, и, главное, делает сознательно и глубоко обдуманно.) Остановимся на второй части повести, озаглавленной «По поводу мокрого снега», имея в виду незримый идейный спор с творцом «справедливых мастерских» и «хрустальных дворцов».

Во-первых, «подпольный» человек без обвиняков отклоняет нечто позитивное, что можно было бы принять на Западе. Он заявляет: «У нас, русских, вообще говоря, никогда не было глупых надзвездных немецких и особенно французских романтиков, на которых ничего не действует, хоть земля под ними трещи, хоть погибай вся Франция на баррикадах, — они все те же, даже для приличия не изменятся, и все будут петь свои надзвездные песни, так сказать, по гроб своей жизни, потому что они дураки. (То есть, невзирая на обстоятельства, останутся верны своим принципам, так надо полагать. — С.Н.) У нас же, в русской земле, нет дураков; это известно; тем-то мы и отличаемся от прочих немецких земель. Следственно, и надзвездных натур не водится у нас в чистом их состоянии. Это все наши "положительные" тогдашние публицисты и критики, охотясь тогда за Костанжоглами да за дядюшками Петрами Ивановичами¹, сдуру приняв их за наш идеал, навывдумали на наших романтиков, сочтя их за таких же надзвездных, как в Германии или во Франции. Напротив, свойства нашего романтика совершенно и прямо противоположны надзвездно-европейскому, и ни одна европейская мерочка сюда не подходит».

Наши «широкие натуры» «даже при самом последнем падении никогда не теряют своего идеала; и хоть и пальцем не по-

¹ Вот и мы для себя через сто пятьдесят лет привет получили: я говорю о проблематике «позитивного дела», о которой шла речь во втором томе исследования «Русское мировоззрение» и одними из героев которой были Костанжогло и Петр Иванович. Напомню, что Костанжогло — из «правильных» помещиков, которого разыскал гоголевский Чичиков, а Петр Иванович — дядя Александра Адуева из «Обыкновенной истории» Гончарова.

шевелият для идеала-то, хоть разбойники и воры отъявленные, а все-таки до слез свой первоначальный идеал уважают и необыкновенно в душе честны. Да-с, только между нами самый отъявленный подлец может быть совершенно и даже возвышенно честен в душе, в то же время нисколько не переставая быть подлецом. Повторяю, ведь сплошь да рядом из наших романтиков выходят иногда такие деловые шельмы (слово "шельмы" я употребляю любя), такое чутье действительности и знание положительного вдруг оказывают, что изумленное начальство и публика только языком на них в остолбенении пощелкивают.

Многосторонность поистине изумительная, и бог знает во что обратится она и выработается при последующих обстоятельствах и что сулит нам в нашем дальнейшем? А недурен материал-с! Не из патриотизма какого-нибудь, смешного или квасного, я так говорю»¹.

Обобщающая характеристика так называемых «русских романтиков», то есть тех, кто делает подлости, унижает и эксплуатирует близких и дальних, вообще — творит зло, но при этом в так называемой душе якобы сохраняет «прекрасное и высокое» — это, пожалуй, в то же время и портрет «человека из подполья». И пусть «человек из подполья» мелок. Дело не в масштабе. Ведь неважно, что он на поприще не преуспел и в нищете живет. Важно, что он так же подло думает и так же подло поступает, как только получает к тому возможность.

Не буду говорить о его ущемленном самолюбии в знаменитом случае с офицером, который им публично пренебрег (будучи десяти вершков роста, взял и отставил со своего пути), а «подпольный» четыре года мщение готовил. И не важно, как он в мечтах воспарял, а вот посмотрим, как действовать начал.

Начало — история со школьными товарищами. Не любили они его, а он их. Презирали друг друга. Так нет же! Однажды, не выдержав одиночества, подпольный герой отправляется к одному из них и застаёт разом всю компанию, которая договаривается об устройстве прощального обеда для приятеля, отбывающего на Кавказ абреков стрелять и черкешенок соблазнять. Неприязненно встретили они гостя, а он тем не менее на их обед напросился. Вот разговор:

¹ *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 5. С. 126—127.

« — Что ж, коль по семи рублей, — заговорил Трудолюбов, — нас трое, двадцать один рупь, — можно хорошо пообедать. Зверков, конечно, не платит.

— Уж разумеется, коль мы же его приглашаем, — решил Симонов.

— Неужели ж вы думаете, — заносчиво и с пылкостию ввязался Ферфичкин, точно нахал лакей, хвастающий звездами своего генерала барина, — неужели вы думаете, что Зверков нас пустит одних платить? Из деликатности примет, но зато от себя полдюжины выставит.

— Ну, куда нам четверым полдюжины, — заметил Трудолюбов, обратив внимание только на полдюжину.

— Так, трое, с Зверковым четверо, двадцать один рубль в Hôtel de Paris, завтра в пять часов, — окончательно заключил Симонов, которого выбрали распорядителем.

— Как же двадцать один? — сказал я в некотором волнении, даже, по-видимому, обидевшись, — если считать со мной, так будет не двадцать один, а двадцать восемь рублей.

Мне показалось, что вдруг и так неожиданно предложить себя будет даже очень красиво, и они все будут разом побеждены и посмотрят на меня с уважением.

— Разве вы тоже хотите? — с неудовольствием заметил Симонов, как-то избегая глядеть на меня. Он знал меня наизусть.

Меня взбесило, что он знает меня наизусть.

— Почему же-с? Я ведь, кажется, тоже товарищ, и, признаюсь, мне даже обидно, что меня обошли, — заклокотал было я опять.

— А где вас было искать? — грубо ввязался Ферфичкин.

— Вы всегда были не в ладах с Зверковым, — прибавил Трудолюбов, нахмурившись. Но я уж ухватился и не выпускал.

— Мне кажется, об этом никто не вправе судить, — возразил я с дрожью в голосе, точно и бог знает что случилось. — Именно потому-то я, может быть, теперь и хочу, что прежде был не в ладах.

— Ну, кто вас поймет.. возвышенности-то эти... — усмехнулся Трудолюбов.

— Вас запишут, — решил, обращаясь ко мне, Симонов, — завтра в пять часов, в Hôtel de Paris; не ошибитесь.

— Деньги-то! — начал было Ферфичкин вполголоса, кивая на меня Симонову, но осекся, потому что даже Симонов сконфузился.

— Довольно, — сказал Трудюлюбов, вставая. — Если ему так уж очень захотелось, пусть придет.

— Да ведь у нас кружок свой, приятельский, — злился Ферфичкин, тоже берясь за шляпу. — Это не официальное собрание. Мы вас, может быть, и совсем не хотим...

Они ушли; Ферфичкин, уходя, мне совсем не поклонился, Трудюлюбов едва кивнул, не глядя. Симонов, с которым я остался с глазу на глаз, был в каком-то досадливом недоумении и странно посмотрел на меня. Он не сел и меня не приглашал.

— Гм... да... так завтра. Деньги-то вы отдадите теперь? Я это, чтоб верно знать, — пробормотал он, сконфузившись.

Я вспыхнул, но, вспыхивая, вспомнил, что с незапамятных времен должен был Симонову пятнадцать рублей, чего, впрочем, и не забывал никогда, но и не отдавал никогда.

— Согласитесь сами, Симонов, что я не мог знать, входя сюда... и мне очень досадно, что я забыл...

— Хорошо, хорошо, все равно. Расплатитесь завтра за обедом. Я ведь только, чтоб знать...»¹

Что движет героем «подполья»? Не простой вопрос. Но подход к его разрешению, на мой взгляд, уже был намечен в «Игроке». Учитель надеялся с помощью игры решить все проблемы сразу, махом. (Напомню его рассуждения о том, что эти же самые «моралисты» «первые (я в этом уверен) придут с дружескими шутками поздравлять меня», поскольку дело в том, что всего лишь один оборот колеса — и все изменится. «Я завтра могу из мертвых воскреснуть и вновь начать жить! Человека могу обрести в себе...»²)

Так же и «подпольный». В «Записках» звучит та же ключевая фраза: «Мне показалось, что вдруг и так неожиданно предложить себя будет даже очень красиво, и они все будут разом побеждены и посмотрят на меня с уважением». Разница лишь в том, что вместо рулетки — три человека, три сознания «школьных товарищей» и шарик-слово «на удачу» запускается в их круг. В вдруг выигрыш?

И далее — вновь та же схема игры: «ни на чем не основанная уверенность — разочарование — новая уверенность». Вверх — вниз — снова вверх — кубарем вниз. «Американские горки». Вот отрывки из мятушегося сознания «подпольного игрока».

¹ Там же. С. 137—138.

² Там же. С. 311.

« — Ведь дернуло же, дернуло же выскочить! — скрежетал я зубами, шагая по улице, — и этакому подлецу, поросенку, Зверкову! Разумеется, не надо ехать; разумеется, наплевать: что я, связан, что ли? Завтра же уведомя Симонина по городской почте...

Но потому-то я и бесился, что наверно знал, что поеду; что нарочно поеду; и чем бестактнее, чем неприличнее будет мне ехать, тем скорее и поеду»¹. Те же надежды — не идти больше играть и — одновременно — знание-уверенность, что все равно играть пойдет, и от этого злость на себя — испытывает и игрок.

И далее: «С отчаянием представлял я себе, как свысока и холодно встретит меня этот "подлец" Зверков; с каким тупым, ничем неотразимым презрением будет смотреть на меня тупица Трудолюбов; как скверно и дерзко будет подхихикивать на мой счет козявка Ферфичкин, чтоб подслужиться Зверкову; как отлично поймет про себя все это Симонин и как будет презирать меня за низость моего тщеславия и малодушия, и, главное, — как все это будет мизерно, не литературно, обыденно. Конечно, всего бы лучше совсем не ехать. Но это-то уж было больше всего невозможно: уж когда меня начинало тянуть, так уж я так и втягивался весь, с головой. Я бы всю жизнь дразнил себя потом: «А что, струсил, струсил действительности, струсил!» Напротив, мне страстно хотелось доказать всей этой «шушере», что я вовсе не такой трус, как я сам себе представляю. Мало того: в самом сильнейшем пароксизме трусливой лихорадки мне мечталось одержать верх, победить, увлечь, заставить их полюбить себя — ну хоть «за возвышенность мыслей и несомненное остроумие». Они бросят Зверкова, он будет сидеть в стороне, молчать и стыдиться, а я раздавлю Зверкова»².

«Одержать верх, победить, увлечь, заставить... полюбить себя», — разве не этого же желает и игрок Алексей Иванович в отношении Полины?

Разумеется, «школьные товарищи» и «подпольный человек» провели вечер в том же духе, в каком шли договоренности о его организации.

Следующий пример действия героя по императивному принципу «от размышления — к поступку» еще более показателен. Как помним, вслед за «товарищами» герой устремляется в публичный дом (« — *Туда!* — вскрикнул я. — Или они все на ко-

¹ Там же. С. 138.

² Там же. С. 141.

ленах, обнимая ноги мои, будут вымалывать моей дружбы, или... или я дам Зверкову пощечину!»), но не застает их там, а вместо этого знакомится с проституткой Лизой.

Разговор начинается с выпытывания Лизиного прошлого. Но очень скоро в «подпольном человеке» проснулось то же, что и прежде, что было и у «игрока», — желание возвыситься над собеседником посредством его принижения.

« — Ты не смотри на меня, что я здесь, я тебе не пример. Я, может, еще тебя хуже. Я, впрочем, пьяный сюда зашел, — поспешил я все-таки оправдать себя. — К тому ж мужчина женщине совсем не пример. Дело розное; я хоть и гажу себя и мараю, да зато ничей я не раб; был да пошел, и нет меня. Страхнул с себя и опять не тот. А взять то, что ты с первого начала — раба. Да, раба! Ты все отдаешь, всю волю. И порвать потом эти цепи захочешь, да уж нет: все крепче и крепче будут тебя опутывать. Это уж такая цепь проклятая. Я ее знаю. Уж о другом я и не говорю, ты и не поймешь, пожалуй, а вот скажи-ка: ведь ты, наверно, уж хозяйке должна? Ну, вот видишь! — прибавил я, хотя она мне не ответила, а только молча, всем существом своим слушала; вот тебе и цепь! Уж никогда не откупишься. Так сделают. Все равно что черту душу...

...И к тому ж я... может быть, тоже такой же несчастный, почему ты знаешь, и нарочно в грязь лезу, тоже с тоски. Ведь пьют же с горя: ну, а вот я здесь — с горя»¹.

Разговаривая с Лизой, «подпольный человек» принижает не только ее, но для более полного доверия к себе принижает и себя, хотя и не взаправду, а на показ. Расчет точен. В этом случае его собеседник-жертва перестает чувствовать естественную для малого знакомства границу и начинает доверять «подпольному» чуть не полностью. Это и происходит с Лизой. Прощаясь, она показывает любовное письмо, которое написал ей малознакомый студент, — единственную ценность, единственное свидетельство ее честности, которое она имеет. «Подпольный человек» приглашает ее к себе и уходит.

«На другой день я уже опять готов был считать все это вздором, развозившимися нервами, а главное — преувеличением. Я всегда сознавал эту мою слабую струнку и иногда очень боялся ее: "все-то я преувеличиваю, тем и хромаю", — повторял я себе ежечасно.

¹ Там же. С. 155.

...И таков проклятый романтизм всех этих чистых сердец! О мерзость, о глупость, о ограниченность этих "поганных сантиментальных душ"! Ну, как не понять, как бы, кажется, не понять?.." — Но тут я сам останавливался и даже в большом смущении.

"И как мало, мало, — думал я мимоходом, — нужно было слов, как мало нужно было идиллии (да и идиллии-то еще напускной, книжной, сочиненной), чтоб тотчас же и повернуть всю человеческую душу по-своему. То-то девственность-то! То-то свежесть-то почвы!"

Иногда мне приходила мысль самому съездить к ней, «рассказать ей все» и упросить ее не приходить ко мне. Но тут, при этой мысли, во мне подымалась такая злоба, что, кажется, я бы так и раздавил эту «проклятую» Лизу, если б она возле меня вдруг случилась, оскорбил бы ее, оплевал бы, выгнал бы, ударил бы!»¹

Какую цель преследует герой повести? Для чего это «сближение»? Действительное ли это понимание и сострадание или имитация сопереживания с чувствами девушки с целью отвлечь от истинного намерения и тем больнее ударить? (Лиза, как помним, все-таки пришла к «подпольному», а он и в самом деле над ней насмеялся, надругался и попытался унижить — всучить пятерку, чтоб подчеркнуть ее положение проститутки.)

Я думаю, для лучшего понимания феномена «подпольного человека» и поиска ответов на задаваемые ему вопросы нужно вернуться к началу произведения, где от имени «подпольного» Достоевский рассуждает о «людях с крепкими нервами», «умеющих за себя постоять», «за себя отомстить», «нормальных людях», и о «людях думающих, следственно, ничего не делающих», о людях «из реторты».

Дальнейшее раскрытие низости «подпольного человека» — вовсе не мечтателя и книжника, каким его иногда пытается представить автор — важно еще и потому, что некоторыми исследователями он воспринимался еще более «позитивно». Так, известный теоретик либерального народничества, публицист и критик Н.К. Михайловский писал о нем так: «...разница между подпольным человеком и большинством образованных людей девятнадцатого столетия состоит в том, что он яснее сознает истекающее из злобы наслаждение, а пользуются этим наслаждением все. Такое обобщение смягчает самобичевание

¹ Там же. С. 166.

подпольного человека. На людях и смерть красна. Не очень уже, значит, скверен подпольный человек, если все таковы; он даже выше остальных, потому что смелее и умнее всех. Пусть же кто-нибудь из "образованных людей девятнадцатого столетия" попробует бросить в него камнем»¹.

В «Записках» читаем: «Ведь у людей, умеющих за себя отомстить и вообще за себя постоять, — как это, например, делается? Ведь их как обхватит, положим, чувство мести, так уж ничего больше во всем их существе на это время и не останется, кроме этого чувства. Такой господин так и прет прямо к цели, как взбесившийся бык, наклонив вниз рога, и только разве стена его останавливает. (Кстати: перед стеной такие господа, то есть непосредственные люди и деятели, искренно пасуют. Для них стена — не отвод, как, например, для нас, людей думающих, а следственно, ничего не делающих; не предлог воротиться с дороги, предлог, в который наш брат обыкновенно и сам не верит, но которому всегда очень рад. Нет, они пасуют со всею искренностью. Стена имеет для них что-то успокоительное, нравственно-разрешающее и окончательное, пожалуй, даже что-то мистическое... Но об стене после.) Ну-с, такого-то вот непосредственного человека я и считаю настоящим, нормальным человеком, каким хотела его видеть сама нежная мать — природа, любезно зарождая его на земле. Я такому человеку до крайней желчи завидую. Он глуп, я в этом с вами не спорю, но, может быть, нормальный человек и должен быть глуп, почему вы знаете? Может быть, это даже очень красиво. И я тем более убежден в злом, так сказать, подозрении, что если, например, взять антитез нормального человека, то есть человека усиленно сознающего, вышедшего, конечно, не из лона природы, а из реторты (это уже почти мистицизм, господа, но я подозреваю и это), то этот ретортный человек до того иногда пасует перед своим антитезом, что сам себя, со всем своим усиленным сознанием, добросовестно считает за мышшь, а не за человека. Пусть это и усиленно сознающая мышшь, но все-таки мышшь, а тут человек, а следственно..., и проч. И, главное, он сам, сам ведь считает себя за мышшь; его об этом никто не просит; а это важный пункт»².

«Нормального» человека останавливает стена, а «ретортного» — сознание возможной стены. И если первый движется до

¹ Михайловский Н.К. Достоевский в русской критике. С. 312—313. Цит. по: Громова Н.А. Цит. соч. С. 88.

² Там же. С. 103—104.

тех пор, пока не упрется в реальную стену, то второй вовсе не начинает движения, опасаясь стены в перспективе, но при этом все — и возможность движения, и отказ от него — сознает. То есть выходит, что второй и не живет, а лишь имитирует жизнь, страшно завидует тем, которые живут, но сам к этому не способен. Это-то и говорит автор: «Взглянем же теперь на эту мышь в действии. Положим, например, она тоже обижена (а она почти всегда бывает обижена) и тоже желает отомстить. Злости-то в ней, может, еще и больше накопится, чем в l'homme de la nature et de la vérité. Гадкое, низкое желаньице воздать обидчику тем же злом, может, еще и гаже скребется в ней, чем в l'homme de la nature et de la vérité, потому что l'homme de la nature et de la vérité, по своей врожденной глупости, считает свое мщение просто-запросто справедливостью; а мышь, вследствие усиленного сознания, отрицает тут справедливость. Доходит наконец до самого дела, до самого акта отмщения. Несчастливая мышь кроме одной первоначальной гадости успела уже нагородить кругом себя, в виде вопросов и сомнений, столько других гадостей; к одному вопросу подвела столько неразрешенных вопросов, что поневоле кругом нее набирается какая-то роковая бурда, какая-то вонючая грязь, состоящая из ее сомнений, волнений и, наконец, из плевков, сыплющихся на нее от непосредственных деятелей, предстоящих торжественно кругом в виде судей и диктаторов и хохочущих над нею во всю здоровую глотку. Разумеется, ей остается махнуть на все своей лапкой и с улыбкой напускного презренья, которому и сама она не верит, постыдно проскользнуть в свою щелочку. Там, в своем мерзком, вонючем подполье, наша обиженная, прибитая и осмеянная мышь немедленно погружается в холодную, ядовитую и, главное, вековечную злость. Сорок лет сряду будет припоминать до последних, самых постыдных подробностей свою обиду и при этом каждый раз прибавлять от себя подробности еще постыднейшие, злобно поддразнивая и раздражая себя собственной фантазией. Сама будет стыдиться своей фантазии, но все-таки все припомнит, все переберет, навдумает на себя небывальщины, под предлогом, что она тоже могла случиться, и ничего не простит. Пожалуй, и мстить начнет, но как-нибудь урывками, мелочами, из-за печки, инкогнито, не веря ни своему праву мстить, ни успеху своего мщения и зная наперед, что от всех своих попыток отомстить сама выстрадает во сто раз больше того, кому мстит, а тот, пожалуй, и не почешется. На

смертном одре опять-таки все припомнит, с накопившимися за все время процентами...»¹

Так как же могут жить «подпольные люди»? На что они надеются? Как пробуют высвободиться из состояния «подполья», и пробуют ли высвободиться вообще? Ф.М. подробно и неоднократно в разных произведениях пишет о них. Ведь и «игрок» — «подпольный человек». И «игрок» дает свой «рецепт» выхода из «подполья» — удачная игра. А вот герой «Записок» не играет и потому его «выход» — это унижение и закабаление, другими словами — принудительное помещение другого человека в еще более низкое «подземелье», на расположенный под ним «этаж подполья», чтобы при случае и нечистоты на него сливать было сподручно. Природа «подпольного человека», таким образом, в том, что, будучи порождением зла, он может существовать только в непрерывном производстве зла нового, только умножая его и — непременно! — сознавая, предвидя или даже планируя все совершаемое. Лиза, однако, не поддается. «Подполье» преодолевается любовью, а ее у нее, очевидно, с избытком. И потому ускользает она от «подпольного».

Н.А. Бердяев задается принципиальным вопросом: «Был ли сам Достоевский человеком из подполья, сочувствовал ли он идейной диалектике человека из подполья? ...Мирозозерцание человека («подпольного». — С.Н.) не есть положительное мирозозерцание Достоевского. В своем положительном религиозном мирозозерцании Достоевский изображает пагубность путей своеволия и бунта подпольного человека. Это своеволие и бунт приведет к истреблению свободы человека и к разложению личности. Но подпольный человек со своей изумительной идейной диалектикой об иррациональной человеческой свободе есть момент трагического пути человека, пути изживания свободы и испытания свободы. ...То, что отрицает подпольный человек в своей диалектике, отрицает сам Достоевский в своем положительном мирозозерцании. Он будет до конца отрицать рационализацию человеческого общества, будет до конца отрицать всякую попытку поставить благополучие, благоразумие и благоденствие выше свободы, будет отрицать грядущий Хрустальный Дворец, грядущую гармонию, основанную на уничтожении человеческой личности. Но он поведет человека дальнейшими путями своеволия и бунта, чтобы открыть, что в своеволии ис-

¹ Там же. С. 104—105.

требляется свобода, в бунте отрицается человек»¹. Так о «главной фигуре русского мира» думает Бердяев. Остается, однако, вопрос: почему Ф.М. все же считал подпольного человека «главным человеком русского мира»? Отчего «главным» героем писателя назначается тот, кому предназначено гибнуть на заведомо пагубном пути? Ради каких «настоящих» героев этот гибельный путь столь тщательно исследуется? Есть ли они у Достоевского и из чего произошли, как возникли?

От самого Достоевского на вопрос о «подпольном» напрасно ожидать ответа. Прав В. Шкловский: «противоречия действительности автором познаются, но решения этих противоречий автором не достигается»². И хотя сложилась в литературоведении устойчивая традиция, согласно которой «Записки» написаны как антитеза «Что делать?», а герой «подполья» — контр-герой по отношению к рахметовым — лопухиным, все же такое объяснение представляется узким. «Подполье» — не столько место, сколько тип жизнепонимания значительного слоя людей, состояние их сознания, возможно, его больная подоснова. а этими структурами Ф.М. интересовался всегда — как до, так и после того, как отношение к Чернышевскому и его героям как к «подъемному крану», возвышающемуся над стройкой русской литературы (образ В. Шкловского), да и русской жизни в целом, прошло. В процессе «строительства» выяснилось, что обращать внимание нужно не только на этажность, но и на фундамент, качество строительства и подвальные помещения. И «кран», при этих работах оказавшийся невостребованным, отъехал на «запасной путь» — ждать своего часа, откуда его в свое время извлекут строители нового, социалистического мира.

Коль скоро разговор затронул тему новаторства в творческой работе Достоевского, приведу еще одну ее оценку. Довольно точно по этому поводу, сопоставляя Достоевского со Львом Толстым, высказывается Д.С. Мережковский: «Так же как Л. Толстой в бездну плоти, заглянул Достоевский в бездну духа, и показал, что верхняя бездна равняется нижней, что одну ступень человеческого сознания от другой, одну мысль от другой отделяет иногда точно такая же "пучина", "непостижимость", как "человеческий зародыш — от небытия". И он боролся с неменьшим, чем ужас плоти, ужасом духа — слишком яркого

¹ Бердяев Н. Мирозерцание Достоевского. Цит. соч. С. 43—44.

² Шкловский В. За и против. Заметки о Достоевском. М.: Советский писатель, 1957. С. 140.

и острого сознания ("слишком сознавать — это болезнь"), с ужасом всего отвлеченного, призрачного, фантастического и, в то же время, беспощадно-реального, действительного. Люди боялись или надеялись, что когда-нибудь разум иссушит родники сердца, что сознание убьет чувство, в особенности, религиозное чувство, что свет сознания осветит до конца, до дна все тайны Непознаваемого и Бессознательного, так что уже не останется сумрака, нужного для веры. Достоевский показал, что это ошибка, что человеческое сознание — подобно лучу самого яркого света, направленному в ночное небо: пока земные туманы и облака все еще покрывали небо, луч света ими задерживался, и людям казалось, что у неба есть дно, что свету сознания идти дальше некуда; но когда облака рассеялись, и за ними открылось темное, ясное небо, то управлявшие светом увидели, что чем ярче и длиннее луч, тем глубже мрак неба, и что у этой глубины нет дна. Достоевский, один из первых, понял окончательно, что между разумом и сердцем есть согласие, соединение, что лишь высшая степень научного сознания может дать людям высшую степень религиозного чувства¹. Не забудем этот тезис, имея в виду поиск ответа на вопрос: так ли это?

* * *

Убедившись, что Достоевский способен безоглядно проваливаться в подпольные глубины, полагая все обнаруженное в них атрибутивными характеристиками (качествами) русского человека², в том числе напрямую связанными с его мировоззрением, обратимся к другой, не менее развитой у него художественно-интеллектуальной интенции. Речь о светлом начале, присутствующем всякому человеку. В полной мере реализация этой «идеи» Ф.М. была осуществлена в романах «Идиот» (1869) и «Братья Карамазовы» (1881), хотя первый подход предпринимался уже в автобиографических каторжных очерках — «Записках из мертвого дома» (1860). И чтобы оттенить созданную Достоевским картину русской каторги, время от времени я буду обращаться к не менее масштабному полотну, принадлежащему кисти другого великого русского литератора. Я имею в виду написанные

¹ *Мережковский Д.С.* Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., 1995. С. 155.

² И хотя Достоевский часто имеет в виду человека не обязательно русского, а человека «вообще», тем не менее в связи с конкретными его героями мы будем подразумевать в первую очередь человека русского.

спустя тридцать лет очерки А.П. Чехова «Остров Сахалин. (Из путевых записок)».

Конечно, писательская установка «конструировать и впоследствии экстраполировать в действительность светлое начало», не работает грубо. Достоевский — не только «конструирующий идеолог», но и глубокий реалист. Его описания «мертвого дома» — сибирского острога — психологически глубоки и беспощадно-подробны. Вот, например, описание самого острога: «Острог наш стоял на краю крепости, у самого крепостного вала. Случалось, посмотришь сквозь щели забора на свет божий: не увидишь ли хоть чего-нибудь? — и только и увидишь, что краешек неба да высокий земляной вал, поросший бурьяном, а взад и вперед по валу, день и ночь, расхаживают часовые; и тут же подумаешь, что пройдут целые годы, а ты точно так же подойдешь смотреть сквозь щели забора и увидишь тот же вал, таких же часовых и тот же маленький краешек неба, не того неба, которое над острогом, а другого, далекого, вольного неба. Представьте себе большой двор, шагов в двести длины и шагов в полтора ширины, весь обнесенный кругом, в виде неправильного шестиугольника, высоким тыном, то есть забором из высоких столбов (паль), врытых стойком глубоко в землю, крепко прислоненных друг к другу ребрами, скрепленных поперечными планками и сверху заостренных: вот наружная ограда острога. В одной из сторон ограды вделаны крепкие ворота, всегда запертые, всегда день и ночь охраняемые часовыми; их отпирали по требованию, для выпуска на работу»¹.

А вот жилище арестантов — так называемая казарма. «Это была длинная, низкая и душная комната, тускло освещенная сальными свечами, с тяжелым, удушающим запахом. Не понимаю теперь, как я выжил в ней десять лет. На нарах у меня было три доски: это было все мое место. На этих же нарах размещалось в одной нашей комнате человек тридцать народу. Зимой запирали рано; часа четыре надо было ждать, пока все засыпали. А до того — шум, гам, хохот, ругательства, звук цепей, чад и копоть, бритые головы, клейменные лица, лоскутные платья, все — обруганное, ошельмованное... да, живуч человек! Человек есть существо ко всему привыкающее, и, я думаю, это самое лучшее его определение»².

¹ *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 4. С. 9.

² Там же. С. 10.

Каторга — это, прежде всего, люди. Давая им общую характеристику, Достоевский не изменяет запечатленной в памяти реальности, проведенным в неволе годам, и потому характеристика эта для русского народа в его несвободном состоянии нелицеприятна. «Весь этот народ», — обобщает Ф.М., — был народ угрюмый, завистливый, страшно тщеславный, хвастливый, обидчивый и в высшей степени формалист». Все были помешаны на том, чтобы казаться достойнее, чем были на самом деле. Все держались «заносчиво». Впрочем, этот вид даже при небольшом внешнем давлении тут же сменялся на самый малодушный. Большинство «было развращено и страшно исподлилось. Сплетни и пересуды были непрерывные: это был ад, тьма кромешная». Характерен для всех был тон какого-то даже «собственного достоинства», как будто звание каторжного означало признание каких-то заслуг. Но при этом ни у кого не было никаких признаков стыда за содеянное и раскаяния. Вместо него присутствовало какое-то показное резонерство, вроде того, что мы-де понимаем, что было и что есть, и этого с нас довольно. Понимание это сопровождалось несерьезными прибаутками вроде «Не слушался отца и матери, послушайся теперь барабанной шкуры» или «Не хотел шить золотом, теперь бей камни молотом».

Вряд ли, — и это значимое признание в устах идеализирующего «народопоклонника», каким был Достоевский — «хоть один из них сознавался внутренно в своей незаконности». Опыта раскаяния людей, совершивших преступления, Достоевский в окружающих не находил. Запомнить этот факт на будущее тем более важно, что впереди у нас знаменитый роман «Преступление и наказание», который, по сути, есть роман о «преступлении — раскаянии — покаянии» как едином целом с сопровождающими эту целостность авторскими реминисценциями о свойственности этого неразрывного (в предельном значении — единого) процесса для русского сознания и мировоззрения. Реалистичность «Записок» оттеняет известную фантазийность и православный идеологизм, свойственные роману о Родионе Раскольникове.

И еще: отсутствие раскаяния в реальных преступниках, каких Достоевский наблюдал в остроге, к сожалению, скорее норма, чем массовая патология. Что же до героя «Преступления и наказания», то его раскаяние есть не столько логическая ступенька в процессе движения от совершения преступления, через

страдание от содеянного к раскаянию, сколько иное. Это иное будет рассмотрено далее, но пока обращу внимание лишь на знаковость фигуры Раскольникова как одного из «подпольных» персонажей, кочующих у Достоевского по обозначенному ранее «пятикнижию» — «Записки из мертвого дома» — «Преступление и наказание» — «Идиот» — «Бесы» — «Братья Карамазовы». В серьезнейшей степени все главные их герои в той или иной степени люди «из подполья», и в этом смысле «подпольный» — действительно главный персонаж и герой прозы Достоевского.

Но вернемся к «Запискам из мертвого дома». В реальности острога любой намек (тем более со стороны человека, не являющегося каторжным) на совершенное кем-то из осужденных преступление как минимум вызывал бурю ненависти, облеченную в изощренную брань. «А какие были они все мастера ругаться! Ругались они утонченно, художественно. Ругательство возведено было у них в науку; старались взять не столько обидным словом, сколько обидным смыслом, духом, идеей — а это утонченнее, ядовитее».

Бесперывные ссоры еще более развивали эту науку между узниками. К тому же «весь этот народ работал из-под палки, — следственно, он был праздный, следственно, развращался: если и не был прежде развращен, то в каторге развращался. Все они собрались сюда не своей волей; все они были друг другу чужие»¹.

Достоевский признает, что в продолжение всех лет пребывания в остроге не видел ни у кого ни малейших признаков раскаяния, а большая часть и вовсе считала себя правыми. Конечно, заметить что-либо в чужой душе — дело не простое. Но ведь можно было увидеть хоть что-то, что свидетельствовало бы о «внутренней тоске», о «страдании», замечает автор «Мертвого дома». Этого не было. Напротив, в преступнике «острог и самая усиленная каторжная работа развивают только ненависть, жажду запрещенных наслаждений и страшное легкомыслие»². Как дают себя знать эти качества в разного рода острожных человеческих типах?

Следуя за изложением автора, в романе обнаруживаются так называемые нищие. «В нашей комнате, так же как и во всех других казармах острога, всегда бывали нищие, байгуши, проигравшиеся и пропившиеся или так просто, от природы, нищие.

¹ Там же. С. 12—13.

² Там же. С. 15.

Я говорю "от природы" и особенно напираю на это выражение. Действительно, везде в народе нашем, при какой бы то ни было обстановке, при каких бы то ни было условиях, всегда есть и будут существовать некоторые странные личности, смиренные и нередко очень неленивые, но которым уж так судьбой предназначено на веки вечные оставаться нищими. Они всегда бобыли, они всегда неряхи, они всегда смотрят какими-то забитыми и чем-то удрученными и вечно состоят у кого-нибудь на помывке, у кого-нибудь на посылках, обыкновенно у гуляк или внезапно разбогатевших и возвысившихся. Всякий почин, всякая инициатива — для них горе и тягость. Они как будто и родились с тем условием, чтоб ничего не начинать самим и только прислуживать, жить не своей волей, плясать по чужой дудке; их назначение — исполнять одно чужое. В довершение всего никакие обстоятельства, никакие перевороты не могут их обогатить. Они всегда нищие. Я заметил, что такие личности водятся и не в одном народе, а во всех обществах, сословиях, партиях, журналах и ассоциациях. Так-то случалось и в каждой казарме, в каждом остроге, и только что составлялся майдан (азартная карточная игра. — *С.Н.*), один из таких немедленно являлся прислуживать. Да и вообще ни один майдан не мог обойтись без прислужника. Его нанимали обыкновенно игроки все вообще, на всю ночь, копеек за пять серебром, и главная его обязанность была стоять всю ночь на карауле. Большую частью он мерз часов шесть или семь в темноте, в сенях, на тридцатиградусном морозе, прислушиваясь к каждому стуку, к каждому звону, к каждому шагу на дворе. Плац-майор или караульные являлись иногда в острог довольно поздно ночью, входили тихо и накрывали и играющих, и работающих, и лишние свечки, которые можно было видеть еще со двора. По крайней мере, когда вдруг начинал греметь замок на дверях из сеней на двор, было уже поздно прятаться, тушить свечи и улегаться на нары. Но так как караульному прислужнику после того больно доставалось от майдана, то и случаи таких промахов были чрезвычайно редки. Пять копеек, конечно, смешно ничтожная плата, даже и для острога; но меня всегда поражала в остроге суровость и безжалостность нанIMATEЛЕЙ, и в этом и во всех других случаях. "Деньги взял, так и служи!" Это был аргумент, не терпевший никаких возражений. За выданный грош нанIMATEТЕЛЬ брал все, что мог брать, брал, если возможно, лишнее и еще считал, что он одождает наемщика. Гуляка, хмельной, бросающий деньги направо и налево без сче-

ту, непременно обсчитывал своего прислужника, и это заметил я не в одном остроге, не у одного майдана»¹.

Близкими к типу нищих были и так называемые «стряпки» — каторжане, добровольно определившиеся в повара, чтобы готовить тем, у кого были средства, «особое» кушанье. (Примечательно, что в отличие от арестантов, описываемых Чеховым, которых он наблюдал на Сахалине спустя тридцать с небольшим лет, у сидевших в сибирском остроге была такая возможность и привилегия.) Впрочем, в остроге Достоевский пользовался более широким спектром услуг, нежели услуги простой «стряпки». У него был «прикомандированный» некто Сушилов, который в своем усердии служить «сам изобретал тысячи различных обязанностей». «Характеристика этих людей — уничтожать свою личность всегда, везде и чуть не перед всеми, а в общих делах разыгрывать даже не второстепенную, а третьестепенную роль. Все это у них уж так по природе. Сушилов был очень жалкий малый, вполне безответный и приниженный, даже забитый, хотя его никто у нас не бил, а так уж, от природы забитый»².

Арестант этот, поясняет автор, был известен тем, что на этапе «сменился» своей жизненной и преступной историей с другим, за которым числились значительно более тяжкие провинности. Сделал он это за ничтожную мзду — красную рубашку и рубль серебром, кои и были в непродолжительное время пропиты потворствовавшей «смене» заинтересованной в выпивке арестантской компанией. Поскольку фотографий в арестантских делах в то время не было, а «паспорт» состоял из описания внешнего вида человека и каких-либо свойственных ему особых примет (если они были), сделать это было довольно легко, чем иногда и пользовались наиболее бессовестные из осужденных, подставляя вместо себя под свое тяжкое наказание доверчивых простаков. Таким и был Сушилов.

Среди соседей Достоевского по казарме был и молодой человек из дворян, некто А-в. «Это был пример, до чего могла дойти одна телесная сторона человека, не сдержанная внутренно никакой нормой, никакой законностью. И как отвратительно мне было смотреть на его вечную насмешливую улыбку. Это было чудовище, нравственный Квазимодо. Прибавьте к тому, что он был хитер и умен, красив собой, несколько даже образован, имел способно-

¹ Там же. С. 49—50.

² Там же. С. 58.

сти. Нет, лучше пожар, лучше мор, чем такой человек в обществе!»¹ В остроге он подвизался на ниве доносительства с неугасаемой постоянной «жаждой наигрубейших, самых зверских телесных наслаждений», ради которых он способен был на все»².

В изображении многих острожных типов Достоевский отмечает одну объединяющую их характеристику — идущее изнутри, из их природы желание разом «перескочить» какую-то черту, символизирующую законность и власть, и «насладиться самой разнузданной и беспредельной свободой», насладиться ужасом, который человек не может при этом не испытывать. И к тому же знает он, что ждет его неминуемое наказание, может быть, даже казнь. Но все это владеет человеком вплоть до эшафота, а потом — как рукой снимает. И приходит он в острог «такой слюнявый, такой сопливый, забитый даже, так что даже удивляешься на него: "Да неужели это тот самый, который зарезал пять-шесть человек?"»³

В такого рода превращениях, в переходах от человеческого облика в облик звериный и обратно к человеку, как это бывает с оборотнем, Достоевский предполагает действие не только внутренних особенностей природы людей определенного рода, но и влияние среды, в какую такой «оборотень» попадает, в том числе среды его родной, простонародной, а впоследствии и среды острожной, отличающейся от среды народной немногим. В этих «родных» ему внешних условиях для такого «оборотня» главное то, что «преступник знает притом и не сомневается, что он оправдан судом своей родной среды, своего же простонародья, которое никогда, он опять-таки знает это, его окончательно не осудит, а большею частью и совсем оправдает, лишь бы грех его был не против своих, против братьев, против своего же родного простонародья. Совесть его спокойна, а совестью он и силен и не смущается нравственно, а это главное. Он как бы чувствует, что есть на что опереться, и потому не ненавидит, а принимает случившееся с ним за факт неминуемый, который не им начался, не им и кончится и долго-долго еще будет продолжаться среди раз поставленной, пассивной, но упорной борьбы»⁴.

Сколь удалено описанное Достоевским народное самосознание от самосознания развитой личности, впитавшей в себя осно-

¹ Там же. С. 62.

² Там же. С. 62.

³ Там же. С. 88.

⁴ Там же. С. 147.

вы христианства, этой личностной религии, пришедшей на смену языческому варварству? Удалено чрезвычайно. Не перестало быть варварским. Оно незатейливо и примитивно: не осуждается средой, собратьями, соплеменниками — так и греха нет.

Вывод этот, к которому подводит Достоевский, им самим не анализируется, остается за полем внимания писателя. Более того. Автор идет дальше и отмечает как родовую характеристику присущую каждому русскому склонность быть... палачом. «Свойства палача в зародыше находятся почти в каждом современном человеке»¹, — четко определяет он.

Очевидно, по этой причине Ф.М. идет дальше и делает еще более поразительное наблюдение — утверждает, что добровольным палачом народ гнушается меньше, чем подневольным.

Отчего так? Ведь, кажется, сделаться истязателем и убийцей добровольно есть тяжкий нравственный грех. Но это верно для общества, состоящего из личностей, исповедующих ценности христианства. У Достоевского же русский народ — явный язычник, наполовину варвар, имеющий в каждом своем члене зародыш палача. Добровольный палач выполняет свою работу как бы в продолжение всем понятных и «почти каждому» присущих свойств — чувства власти и даже господства над другим человеком, сладкого ощущения собственной способности причинения боли другому. В этой связи, отмечает автор, обязательной частью «ритуала» наказания должно быть публичное моление о пощаде. «Я знавал людей даже добрых, даже честных, даже уважаемых в обществе, и между тем они, например, не могли хладнокровно перенести, если наказуемый не кричит под розгами, не молит и не просит о пощаде. Наказуемые должны непременно кричать и молить о пощаде. Так принято; это считается и приличным и необходимым, и когда однажды жертва не хотела кричать, то исполнитель, которого я знал и который в других отношениях мог считаться человеком, пожалуй, и добрым, даже лично обиделся при этом случае. Он хотел было сначала наказывать легко, но, не слыша обычных "ваше благородие, отец родной, помилуйте, заставьте за себя вечно бога молить" и проч., расвирепел и дал розог пятьдесят лишних, желая добиться и крику и просьб, — и добился. "Нельзя-с, грубость есть", — отвечал он мне очень серьезно»².

¹ Там же. С. 155.

² Там же. С. 150.

Подневольного же палача народ боится, так как видит в нем прежде всего проявление власти, проявление иной природы, ничем не связанной с его собственной природой и потому непонятной. По отношению к подневольному палачу народ испытывает суеверный страх, старается его всячески задобрить, а если удастся, то и подкупить. Что же до самого подневольного палача как элемента власти, то он вполне соответствует своему статусу, сознает его и даже преисполнен собственного достоинства.

Относясь к подневольному палачу как к элементу власти, народ, свидетельствует Достоевский, даже находит в некоторых из палачей нечто, вызывающее симпатию. Примечательна зарисовка о поручике Смекалове, о котором «вспоминали у нас с радостью и наслаждением. Дело в том, что это вовсе не был какой-нибудь особенный охотник высечь; ...в том-то и дело, что самые розги его вспоминались у нас с какою-то сладкою любовью, — так умел угодить этот человек арестантам! А и чем? Чем заслужил он такую популярность? Правда, наш народ, как, может быть, и весь народ русский, готов забыть целые муки за одно ласковое слово; говорю об этом как об факте, не разбирая его на этот раз ни с той, ни с другой стороны. Нетрудно было угодить этому народу и приобрести у него популярность. Но поручик Смекалов приобрел особенную популярность — так что даже о том, как он сек, припоминалось чуть не с умилением. "Отца не надо", — говорят, бывало, арестанты и даже вздыхают, сравнивая по воспоминаниям их прежнего временного начальника, Смекалова, с теперешним плац-майором. "Душа человек!" Был он человек простой, может, даже и добрый по-своему. Но случается, бывает не только добрый, но даже и великодушный человек в начальниках; и что ж? — все не любят его, а над иным так, смотришь, и просто смеются. Дело в том, что Смекалов умел как-то так сделать, все его у нас признавали за своего человека, а это большое уменье или, вернее сказать, прирожденная способность, над которой и не задумываются даже обладающие ею. Странное дело: бывают даже из таких и совсем недобрые люди, а между тем приобретают иногда большую популярность. Не брезгливы они, не гадливы к подчиненному народу, — вот где, кажется мне, причина! Барчонка-белоручки в них не видать, духа барского не слышать, а есть в них какой-то особенный просто-народный запах, прирожденный им, и, боже мой, как чуток народ к этому запаху! Чего он не отдаст за него! Милосерднейшего человека готов променять даже на самого старого, если этот

припахивает ихним собственным посконным запахом. Что ж, если этот припахивающий человек, сверх того, и действительно добродушен, хотя бы и по-своему? Тут уж ему и цены нет! Поручик Смекалов, как уже и сказал я, иной раз и больно наказывал, но он как-то так умел сделать, что на него не только не злоствовали, но даже, напротив, теперь, в мое время, как уже все давно прошло, вспоминали о его штучках при сечении со смехом и с наслаждением. Впрочем, у него было немного штук: фантазии художественной не хватало. По правде, была всего-то одна штучка, одна-единственная, с которой он чуть не целый год у нас пробавлялся; но, может быть, она именно и мила-то была тем, что была единственная. Наивности в этом было много. Приведут, например, виноватого арестанта. Смекалов сам выйдет к наказанию, выйдет с усмешкою, с шуткою, об чем-нибудь тут же расспросит виноватого, об чем-нибудь постороннем, о его личных, домашних, арестантских делах, и вовсе не с какою-нибудь целью, не с заигрыванием каким-нибудь, а так просто — потому что ему действительно знать хочется об этих делах. Принесут розги, а Смекалову стул; он сядет на него, трубку даже закурит. Длинная у него такая трубка была. Арестант начинает молить... "Нет уж, брат, ложись, чего уж тут..." — скажет Смекалов; арестант вздохнет и ляжет. "Ну-тка, любезный, умеешь вот такой-то стих наизусть?" — "Как не знать, ваше благородие, мы крещеные, сыздетства учились". — "Ну, так читай". И уж арестант знает, что читать, и знает заранее, что будет при этом чтении, потому что эта штука раз тридцать уже и прежде с другими повторялась. Да и сам Смекалов знает, что арестант это знает; знает, что даже и солдаты, которые стоят с поднятыми розгами над лежащей жертвой, об этой самой штуке тоже давно уж наслышаны, и все-таки он повторяет ее опять, — так она ему раз навсегда понравилась, может быть именно потому, что он ее сам сочинил, из литературного самолюбия. Арестант начинает читать, люди с розгами ждут, а Смекалов даже принагнется с места, руку подымет, трубку перестанет курить, ждет известного словца. После первой строчки известных стихов арестант доходит наконец до слова "на небеси". Того только и надо. "Стой! — кричит воспламененный поручик и мигом с вдохновенным жестом, обращаясь к человеку, поднявшему розгу, кричит: — А ты ему поднеси!"

И заливается хохотом. Стоящие кругом солдаты тоже ухмыляются: ухмыляется секущий, чуть не ухмыляется даже секомый,

несмотря на то что розга по команде "поднеси" свистит уже в воздухе, чтоб через один миг как бритвой резнуть по его виноватому телу. И радуется Смекалов, радуется именно тому, что вот как же это он так хорошо придумал — и сам сочинил: "на небеси" и "поднеси" — и кстати, и в рифму выходит. И Смекалов уходит от наказания совершенно довольный собой, да и высеченный тоже уходит чуть не довольный собой и Смекаловым. И, смотришь, через полчаса уж рассказывает в остроге, как и теперь, в тридцать первый раз, была повторена уже тридцать раз прежде всего повторенная шутка. "Одно слово, душа человек! Забавник!"

Даже подчас какой-то маниловщиной отзывались воспоминания о добрейшем поручике.

— Бывало, идешь этга, братцы, — рассказывает какой-нибудь арестантик, и все лицо его улыбается от воспоминания, — идешь, а он уж сидит себе под окошком в халатике, чай пьет, трубочку покуривает. Снимешь шапку. — Куда, Аксенов, идешь?

— Да на работу, Михаил Васильич, перво-наперво в мастерскую надоть, засмеется себе... То есть душа человек! Одно слово душа!

— И не нажить такого! — прибавляет кто-нибудь из слушателей¹.

Такова власть. Таков подвластный ей народ. С «радостью и наслаждением», со «сладкою любовью», с «умилением» припоминается порка. И, кажется, от этого всего один шаг, чтобы согласиться с Лермонтовым, Герценом и Чернышевским относительно рабства, сделавшегося частью народного нутра и надолго, если не навсегда, превратившего Россию в рабское царство.

Но не все у Достоевского на этом кончается. В другом месте «Записок» Ф.М. дает нам понять, что такого рода вещи, как любовь к кнуту, он все же считает за внешнее. Им неустанно проводится мысль о том, что «высшая и самая резкая характеристическая черта нашего народа — это чувство справедливости и жажда ее. ...Стоит только снять наружную, наносную кору и посмотреть на самое зерно повнимательнее, поближе, без предрассудков — и иной увидит в народе такие вещи, о которых и не предугадывал. Немногому могут научить народ мудрецы наши. Даже, утвердительно скажу, — напротив: сами они еще должны у него поучиться»².

¹ Там же. С. 151—152.

² Там же. С. 121—122.

Достоевский, конечно, не только знает народ, но и, следуя за славянофилами и Толстым, не может удержаться от соблазна народопоклонства. Что же до того, кто, у кого и чему может и должен учиться — то это отдельный большой сюжет. Пока отмечу важное для темы палачества: подмеченной Достоевским расположенностью русских к этой «профессии», к этому «делу», в чем, справедливости ради сказать — они среди других народов не исключение, к счастью, исчерпывается не все. А, кроме того, если провести обещанное ранее сравнение с каторгой, описанной А.П. Чеховым, то со временем цивилизация и вырабатываемые ею в человеке качества все более одерживают верх над изначальным варварством. Вот мнение о каторге самого Антона Павловича, которому нельзя не доверять: «...как бы то ни было, «Мертвого дома» уже нет. На Сахалине среди интеллигенции, управляющей и работающей в канцеляриях, мне приходилось встречать разумных, добрых и благородных людей, присутствие которых служит достаточной гарантией, что возвращение прошлого уже невозможно. Теперь уже не катают каторжных в бочках и нельзя засечь человека или довести его до самоубийства без того, чтобы это не возмутило здешнего общества и об этом не заговорили бы по Амуру и по всей Сибири. Всякое мерзкое дело рано или поздно всплывает наружу, становится гласным, доказательством чему служит мрачное онорское дело, которое, как ни старались скрыть его, возбудило много толков и попало в газеты благодаря самой же сахалинской интеллигенции. Хорошие люди и хорошие дела уже не составляют редкости. Недавно в Рыковском скончалась фельдшерица, служившая много лет на Сахалине ради идеи — посвятить свою жизнь людям, которые страдают. При мне в Корсаковске однажды унесло каторжного в море на сеноплавке; смотритель тюрьмы майор Ш. отправился в море на катере и, несмотря на бурю, подвергая свою жизнь опасности, плывал с вечера до двух часов ночи, пока ему не удалось отыскать в потемках сеноплавку и снять с нее каторжного»¹.

* * *

Заявленная в «Записках из подполья» тема «подпольного человека» органично продолжается во «втором акте» «пятиактной

¹ Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем в тридцати томах. М.: Наука, 1987. Т. 14—15. С. 320—321.

трагедии» — романе «Преступление и наказание». Дело, впрочем, не только в том, что в пяти романах («Записки из подполья», «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы») исследуется одна и та же философская тема борьбы добра со злом. Моя гипотеза состоит в том, что в названных произведениях Достоевского, так же как и в шеститомной романной эпопее И.С. Тургенева, читатель прежде всего может наблюдать разные стадии развития, разные формы жизненного воплощения центрального героя всего творчества Достоевского — «подпольного» человека. В «Записках из подполья» герой прямо заявляет о себе как о новом, возможно, центральном, с точки зрения Ф.М., лице русской жизни, однако его переход от мыслей к поступкам, «материализация» его слов в действия, которые бы нечто меняли в реальной жизни, в этом произведении пока были слишком незначительны. Герой «Записок» был своего рода традиционным героем-идеологом. Иное, несравненно более серьезное его воздействие на мир и других людей мы увидим в последующих романах, в которых «подпольный» начинает действовать и сразу — уже в «Преступлении и наказании», что называется, берет верхнее «до» — материализуя темные начала своего разума, совершает убийство.

«Подпольный» человек — не отдельный персонаж или их некоторый особенный ряд. Это — вообще все самое низкое, подкорковое, что, как полагает Достоевский, присуще человеку XIX столетия. И в этом смысле этот обнаруженный в России тип всечеловечен¹.

Но с другой стороны, «подпольный» человек — это и отражение реально существующего очень широкого, собственно, петербургского социального слоя, это собирательный образ населяющих Петербург «новых» людей (еще одна, наряду с Чернышевским, интерпретация «нового». — С.Н.) — «город семинаристов и канцеляристов», город «самый отвлеченный и умышленный»². Таков, без сомнения, «подпольный» человек

¹ Думаю, что наряду с писательским талантом, может быть, не менее существенной причиной признания и известности Достоевского в мировой культуре было именно это — обнаружение им чего-то универсального, что свойственно всем людям вообще.

² По оценке Мережковского, «град Петра» и в XX веке являл собой «не только "самый фантастический", но и самый прозаический из всех городов земного шара. Рядом с ужасом бреда — не меньший ужас действительности. (Мережковский Д.С. Цит. соч. С. 136).

Родион Романович Раскольников. Таковы многие центральные персонажи романов, вышедших позднее. Что же объединяет «подпольных» людей и позволяет говорить о них как об особом культурном и метафизическом типе?

Оставляя за собой право дать ответ на поставленный вопрос в дальнейшем, приведу пока мнение Д.С. Мережковского на этот счет. Правда, этот исследователь не видит в Раскольнике и других, близких ему по духу романских героях Достоевского именно «подпольного» человека, выявляющего в себе и затем выводящего наружу все, даже самые темные свои мысли и чувства-страсти. Вопрос: нужно ли это делать, то есть стараться подчинить и поработить этими мыслями-чувствами других, находить способы покорения себе мира и пытаться осуществить это на практике, вопрос этот для Мережковского не существует. Для него «подпольные» — это такие люди, которые решаются и предоставляют себе право на все ими совершаемое и тем самым «право имеют». Они вовсе не «подпольные», а те, чья человеческая личность доводится до своих «последних пределов», — личность «растущая, развивающаяся из темных, стихийных, животных корней до последних лучезарных вершин духовности»¹. «Я обязан заявить своеволие», — говорит в «Бесах» Кириллов, для которого самоубийство, кажущийся предел самоотрицания, есть в действительности высший предел самоутверждения личности, предел "своеволия" — и все герои Достоевского могли бы сказать то же самое»².

Итак, вопрос «нужно или нет выводить наружу и материализовать растущую из темного мысль-страсть» не ставится, так как признается «право» и даже необходимость такого действия. Это, следуя логике Мережковского и вводя отвергаемый им термин, можно считать первой атрибутивной характеристикой «подпольных» людей.

Далее Мережковский определяет еще одну общую (родовую) черту особых («подпольных») людей. Темное извлекается наружу посредством разума, вооруженного неумолимой диалектикой и логикой. Право же на логику своевольного извлечения из

¹ По ходу замечу, что в данном случае Достоевскому приписывается желаемое. Его Раскольников, как и другие «подпольные», ни до каких «последних лучезарных вершин духовности» не дорастают. О Родионе Романовиче известно лишь, что под воздействием Сони он раскаялся. Но сказано это, что называется, «через запятую» и то — в заключительном писательском конспективном изложении этой истории — в «Эпilogue».

² Мережковский Д.С. Цит. соч. С. 118.

себя темного им не только не оспаривается, но и приветствуется как особый отличительный знак людей высшего порядка. Это извлечение и материализация называется Мережковским «героической борьбой» (отсюда: все романы Достоевского — не эпос, но трагедии).

«Существуют мысли, — читаем у Мережковского, — которые подливают масла в огонь страстей, зажигают человеческую плоть и кровь сильнее, чем самые неудержимые похоти. Существует логика страстей; но существуют и *страсти логики*. И это — по преимуществу наши, особые, чуждые людям прежних культур, новые страсти¹. Прикосновение голого тела к самому холодному производит иногда впечатление обжога: прикосновение сердца к самому отвлеченному, метафизическому производит иногда действие раскаляющей страсти, он и в действительной жизни обрежется чуть не до смерти.

Его преступление (речь о Раскольникове. — С.Н.) есть плод, как выражается судебный следователь Порфирий, «теоретически раздраженного сердца». Точно то же можно бы сказать о всех героях Достоевского: их страсти, их преступления, совершаемые или только «разрешаемые по совести», суть неизбежные выводы из диалектики. Ледяная, отточенная, как бритва, она не гасит, а разжигает, раскаляет страсть. В ней — огонь и лед вместе. Они глубоко чувствуют, потому что глубоко думают; бесконечно страдают, потому что бесконечно сознают; смеют хотеть, потому что смеют мыслить. И чем, по-видимому, дальше от жизни, отвлеченнее — тем пламеннее мысль, тем глубже войдет она в жизнь, тем неизгладимее запечатлеется выжженный ею след на живой человеческой плоти и крови»².

¹ Отмечу, что подобно Чернышевскому, озабоченному конструированием «новых» людей и прибегнувшего для этого к рассмотрению способов изменения обстоятельств, к которым люди приспособятся и тем самым себя изменят, Достоевский — и это точно интерпретирует Мережковский — идет другим путем. У него «новые» люди — те, которые как паук паутину плетут из себя и развешивают вокруг «логику страстей» и «страсти логики». Для этого они дали себе «право», и у них в избытке наличествует темное нутро. Достоевский, таким образом, с другой, чем Чернышевский, стороны делает одно с ним общее дело: подтачивает устои культуры, разрушает историю, деморализует человека. Правда, только этим Достоевский не исчерпывается. На место разрушенного он будет пытаться поместить своих «святых» — Мышкина и Алешу Карамазова. Но знакомая со времен Базарова установка «сперва нужно место расчистить» принимается им вполне.

² Там же. С. 122.

Отметим не только трезвый анализ, но и моральную симпатию, звучащую в суждении Мережковского: «разрешаемые по совести» преступления — неизбежные выводы из диалектики. «Особые» — «подпольные» глубоко чувствуют и думают, бесконечно сознают и страдают потому, что «смеют мыслить», и, значит, оставленный ими в жизни «выжженный след» — страдания других и даже этих других убийства — естественные функция и следствие их природы.

И все же (Мережковский, кажется, чувствует это) нам чего-то не хватает для того, чтобы смириться с правом «особых» естественно проявлять свою природу со всей ее глубинной диалектикой и чувствами, потому что те, кто «особыми» — «подпольными» не является, ничем не защищены и даже не подозревают о необходимости защищаться от того, чтобы не превратиться в «выжженный след». В этой связи, хотя и по другому поводу, однажды верно заметил В.Г. Белинский в частном письме: «Говорят, что дисгармония есть условие гармонии: может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии»¹. Впрочем, «особые» потому и «особые», что такими мелочами не заботятся.

Создается впечатление, что перед Мережковским стоит незримая задача — сделать идею «дисгармонии» выгодной и усладительной не только для «подпольных», но и для кандидатов на превращение в «выжженный след». И он находит блестящий выход, одновременно являющийся еще одной характеристикой «особого» — «подпольного» человека. «Подпольность» объявляется качеством, присущим всем и каждому. Вывод этот столь существен, что я позволю себе привести на этот счет обширную обосновывающую выдержку из его сочинения.

«Существуют простодушные читатели, — поясняет он, — с размягченною дряблєю современною чувствительностью, которыми Достоевский всегда будет казаться "жестоким", только "жестоким талантом"».

И в самом деле, в какие невыносимо-безвыходные, невероятные положения ставит он своих героев. Чего он только над ними ни проделывает! Через какие бездны нравственного падения, духовные пытки, не менее ужасные, чем телесная пытка Ивана

¹ Цит. по: *Шестов Л.И.* Добро в учении гр. Толстого и Ницше. М.: Директмедиа Паблишинг, 2002. С. 4.

Ильича (речь о повести Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича». — С.Н.), доводит он их до преступления, самоубийства, слабоумия, белой горячки, сумасшествия. Не сказывается ли у Достоевского в этих страшных и унижительных положениях человеческих душ такое же циническое злорадство, как у Л. Толстого в страшных и унижительных положениях человеческих тел?¹ Не кажется ли иногда, что Достоевский мучит свои «жертвочки» без всякой цели, только для того, чтобы насладиться их муками? Да, воистину, это — палач, сладострастник мучительства. Великий Инквизитор душ человеческих — «жестокий талант».

И разве все это естественно, возможно, реально, разве это бывает в действительной жизни? Где это видано? И если даже бывает, то какое дело нам, здравомыслящим людям, до этих редких из редких, исключительных из исключительных случаев, до этих нравственных и умственных чудовищностей, уродств и юродств, подобных видениям горячечного бреда?

Вот главное, всем понятное обвинение против Достоевского — неестественность, необычность, искусственность, отсутствие так называемого «здорового реализма».

...Меня зовут психологом, — говорит он сам, — неправда, я лишь реалист в высшем смысле, т. е. изображаю все глубины души человеческой.

...Естествоиспытатель, тоже иногда "в высшем смысле реалист" — реалист новой, еще неизвестной, небывалой реальности, — делая научные опыты, окружает в своих машинах и приборах естественное явление природы искусственными, исключительными, редкими, необычайными условиями и наблюдает, как, под влиянием этих условий, явление будет изменяться. Можно бы сказать, что сущность всякого научного опыта заключается именно в преднамеренной искусственности окружающих условий.

Так, химик, увеличивая давление атмосфер до степени невозможной в условиях известной нам природы, постепенно сгущает

¹ Удивительное замечание! Несколько ранее Мережковский приводил эпизод из «Смерти Ивана Ильича», в котором больной для временного облегчения невыносимых болей просит своего слугу сесть на постель и положить его ноги себе на плечи. Поза не для стороннего наблюдателя, но Толстой все равно подробно описывает ее, дабы позволить нам понять ужас болей несчастного. Допускаю, что в этом описании у Толстого нет сочувствия. Но в чем здесь можно подозревать авторское «злорадство» и почему это положение человеческих тел называется «унижительным»?

воздух и доводит его от газообразного состояния до жидкого. Не кажется ли «нереальной», неестественною, сверхъестественною, чудесною эта темно-голубая, как самое чистое небо, прозрачная жидкость, испаряющаяся, кипящая и холодная, холоднее льда, холоднее всего, что мы можем себе представить? Жидкого воздуха не бывает, по крайней мере, не бывает в доступной нашему исследованию, земной природе. Он казался нам чудом, — но вот он оказывается самую реальную научную действительностью. Его «не бывает», но он есть.

Не делает ли чего-то подобного и Достоевский — «реалист в высшем смысле» — в своих опытах с душами человеческими? Он тоже ставит их в редкие, странные, исключительные, искусственные условия, и сам еще не знает, ждет и смотрит, что из этого выйдет, что с ними будет. Для того чтобы не проявившиеся стороны, силы, сокрытые в «глубинах души человеческой», обнаружались, ему *необходима такая-то степень давления нравственных атмосфер*, которая в условиях теперешней «реальной» жизни никогда или почти никогда не встречается, или разреженный, ледяной воздух отвлеченной диалектики, или огонь стихийно-животной страсти, *огонь белого каления*. В этих опытах иногда получает он состояние души человеческой, столь же новые, кажущиеся невозможными, «неестественными», сверхъестественными, как жидкость воздуха. Подобного состояния души не бывает; по крайней мере в доступных нашему исследованию, культурно-исторических и бытовых условиях не бывает; но оно может быть, потому что мир духовный так же, как вещественный, "полон, — по выражению Леонардо да Винчи, — неисчислимыми возможностями, которые еще никогда не воплощались". Этого не бывает, и, однако, это более чем естественно, это есть.

Так называемая психология Достоевского напоминает огромную лабораторию с тончайшими и точнейшими приборами, машинами для измерения, исследования, испытывания душ человеческих. Легко себе представить, что непосвященным лаборатория эта должна казаться чем-то вроде «дьявольской кухни» средневековых алхимиков.

Впрочем, некоторые из его научных опытов действительно могут быть и не совсем безопасны для самого исследователя. Нам, по крайней мере, иногда становится страшно за него. Ведь глаза его впервые видят то, что, казалось, не позволено видеть глазам человеческим. Он сходит в "глубины", в кото-

рые еще никогда никто не сходил. Вернется ли? Справится ли с теми силами, которые вызвал? Что, если они прорвут очерченный им заколдованный круг? Нам страшно за бесстрашно-го. В этой *отваге исследования, которая ни перед чем не останавливается*, в этой потребности доходить во всем до конца, до "последней черты", переступить за пределы есть нечто в высшей степени современное, свойственное если еще не всей европейской культуре, то, по крайней мере, уже европейской науке, и в то же время в высшей степени русское — то самое, что есть и у Л. Толстого: не с таким же ли дерзновенным любопытством, как Достоевский в "глубины души человеческой", в бездны духа, заглянул Л. Толстой в противоположные, но не меньшие бездны плоти? Впоследствии мы увидим, как они отвечают друг другу, точно сговорившись — как из их произведений чуждыми и все-таки родными голосами эти две бездны перекликаются.

...И вот все-таки — "жестокий талант". Упрек этот, как бы чувство неясной, но личной досады, остается в сердце читателей, одаренных так называемую "душевною теплотою", которую иногда хотелось бы назвать "душевною оттепелью". Зачем эти острые «жала», эти крайности, этот "лед и огонь"? Зачем не по-добрее, не потеплее или не попрохладнее? — Что ж, может быть, они и правы, может быть, действительно, Достоевский — "жесток", даже более жесток, хотя уж, конечно, и более милосерд, чем они могут себе представить. И если даже цель его жестокости — знание, то ведь в глазах людей с теплыми, не холодными и горячими, а именно только теплыми душами, эта цель не оправдывает средства. Не позволено ли было бы, однако, усомниться: такой ли уж он, в самом деле, "жестокий талант" и для них, как они уверяют? Существуют яды, которые убивают человека, но не действуют на животных. *Может быть, именно для тех, кому Достоевский кажется жестоким, только «жестоким талантом», — самые главные жестокости его, самые смертельные жала и яды останутся навеки безвредными...»¹.*

И еще: «Свидригайлов выходит из сна; и сам он весь точно сон, точно густой, грязно-желтый петербургский туман. Но если это и "призрак", то призрак с плотью и кровью. В этом главный ужас его. В нем нет ничего романтического, неясного, неопределенного, отвлеченного. В действии романа Свидригайлов все более

¹ Мережковский Д.С. Цит. соч. С. 123—125.

и более воплощается, так что в конце концов он оказывается реальнее, чем "кровяные", "мясистые", задушенные кровью и мясом герои Л. Толстого — какой-нибудь Левин или Пьер Безухов. Те состоят лишь из геометрически правильных, простых, прямых, параллельных, а этот из живых, бесконечно сложных, извилистых, как будто противоречивых, на самом деле только противоположных и переплетающихся, пересекающихся черт, как все живое. Так, мы узнаем, что этот "самый порочный из людей", "мерзавец", способен на рыцарское великодушие, на утонченное и бескорыстное чувство: когда сестра Раскольникова, Дуня, невинная девушка, которую Свидригайлов заманил, чтобы изнасиловать, в западню, — уже в совершенной власти его, он вдруг отпускает ее, не тронув, хотя знает наверное, что это насилие над собою будет ему стоить жизни, что он убьет себя. Перед самою смертью он заботится просто и самоотверженно, как о родной дочери, о почти незнакомой ему девочке-сиротке, которую сначала хотел растлить, и обеспечивает ее судьбу. Вместе с тем на совести Свидригайлова — уголовное дело, "с примесью зверского и, так сказать, фантастического душегубства, за которое он весьма и весьма мог бы прогуляться в Сибирь". Ну, как не поверить нам, что он есть? Мы слышим звук его голоса, видим лицо его, так что сразу "из тысячи узнаем". Он для нас живее, действительнее, чем множество лиц, которых мы каждый день встречаем в так называемой "жизни" и "действительности". Да разве мы и не встречали Свидригайлова на улицах Петербурга? В наши самые отвратительные дни, когда падает "мокрый, точно теплый, снег", когда от оттепели душно, словно парит, — не он ли наполняет "фантастический" город? Не им ли пахнет грязно-желтый петербургский туман? *Как это ни странно и ни страшно, а ведь кровь и плоть этого "призрака" в значительной мере — наша собственная кровь и плоть*¹. (выделено мной. — С.Н.).

Так реальные и потенциальные жертвы «особого подпольного» человека сами превращаются в «подпольных» людей. «Подпольность» становится одним из общечеловеческих качеств и тем самым принимает универсальный облик. Спасение от этой эпидемии «подпольности» Мережковский видел в повороте нашего сознания к созидающей религиозной мысли. Но такова ли оценка «подпольности» и вывод самого Достоевского? Обратимся к тексту романа «Преступление и наказание».

¹ Там же. С. 139—140.

С самого его начала, на мой взгляд, обнаруживается, что Раскольников — духовный «родственник» семейного учителя Ивана Алексеевича — героя «Игрока». Разрушить логику неудовлетворяющей его жизни, не «постепенством» дел, а одним рывком, «показав судьбе язык», вырваться из круга жизни — его цель. « — Ну зачем я теперь иду?», — спрашивает себя Раскольников, направляясь к дому старухи-процентщицы «сделать пробу». « — Разве я способен на *это*? Разве это серьезно? Совсем не серьезно. Так, ради фантазии сам себя тешу; игрушки! Да, пожалуй что и игрушки!»¹ Снова «игрушки», «игра», «игрок»...

Однако «игрушки» не оставляют его. Вот уж месяц, с горечью сознается он себе, он обдумывает свое предприятие (а учитель Иван Алексеевич от мыслей об игре так и во всю жизнь не избавился. — С.Н.) и в одной из бесед с посторонним человеком — хозяйкиной служанкой Настасьей — формулирует определенно:

«— За детей (уроки, даваемые детям. — С.Н.) медью платят. Что на копейки сделаешь? — продолжал он с неохотой, как бы отвечая собственным мыслям.

— А тебе бы сразу весь капитал?

Он странно посмотрел на нее.

— Да, весь капитал, — твердо отвечал он, помолчав»².

Увиденные Мережковским на улицах Петербурга «призраки Свидригайлова» плотно населяют все романное пространство Достоевского. «Подпольные» люди не только центральные герои Ф.М., но и, по его убеждению, часть фактически любого человека, стоит лишь ему в себе самому или с чьей-нибудь помощью поглубже покопаться. (Впереди у нас «Братья Карамазовы» и пока лишь к слову замечу, что даже и Алеша — один из сконструированных почти что святых «новых» людей — в разговоре с братом Иваном на его вопрос, что нужно было бы сделать с помещиком, затравившим собаками ребенка, отвечает: «убить». А от этого словца — всего лишь шаг до подпольного «своеволия» и превращения кого-нибудь в «выжженный след». — С.Н.) Какая-то «степень давления нравственных атмосфер», какой-то примененный к любому человеку «огонь белого каления», полагает Достоевский, с неизбежностью позволит докопаться до самого низменного.

¹ Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 6. С. 6.

² Там же. С. 27.

Метафизическую природу Раскольникова с его «идеей» в романе предваряет сжато обрисованная, но от этого не менее интересная и сложная фигура титулярного советника Мармеладова. В конструировании образа центрального героя он выполняет двойную роль. Во-первых, своими откровениями и житейскими наблюдениями помогает нам создать более глубокое представление об образе бывшего студента. И, во-вторых, в своей интерпретации знакомит нас с тем, что намерен совершить Раскольников, поскольку сам Мармеладов в известном смысле нечто похожее над своими близкими уже совершил. Не в этом ли кроется и одна из причин симпатии, которую Раскольников к нему испытывает?

Нищета вообще, в том числе и та, в которой пребывает Раскольников, в убеждении и трактовке бывшего чиновника, есть основание, по которому другие люди выметают нищего из человеческой компании метлой. Очевидно, что это несправедливо и косвенно нам дается понять, что у потерпевшего появляется законное право на удовлетворение за содеянную несправедливость. (При этом грань о «законности» удовлетворения за несправедливость, которую проповедует Мармеладов и которую, кажется, разделяет сам Достоевский, оказывается чрезвычайно тонкой.)

Мармеладов, далее, своей манерой вести беседу задает один логический ход, который играет важную роль и даже выступает концептуальным основанием, на котором в дальнейшем строит свое самооправдание сам Раскольников. На вопрос хозяина трактира, «почему Мармеладов не служит» или, иными словами, «почему живет так, как живет», тот отвечает: «А разве сердце у меня не болит о том, что я пресмыкаюсь втуне?» Замечу, что и Раскольников в «обоснование» убийства старухи ставит необходимость проверки самого себя: способен ли он быть «особым» человеком? Только если Мармеладов основанием избирает чувство, то Раскольников — «идею». Очевидно, что у обоих «подпольных» персонажей, равно как и у «подпольных» людей вообще, действие, произошедшее и произведенное на основе чего-то темного и внутреннего, имеет только один источник и «оправдание» в их собственных глазах — его (этого темного) желательность и органичность для них самих. При этом эти «особые» в своей эгоистичности натуры таковы, что любые другие люди, «внешние» по отношению к их собственному внутреннему состоянию и интересу, во внимание не принимаются.

И сравнивая Раскольникова с Мармеладовым, можно было бы и заключить, что Родион Романович, пожалуй, и меньший злодей, чем Семен Захарыч: он чужих людей убил и притом сразу, а Мармеладов убивает собственную жену и детей и, к тому же, постепенно, то есть многократно. (Вспомним подробные описания нравственных страданий ставшей проституткой Сони, «красные пятна и кашель» Катерины Ивановны, голод и слезы детей, о которых живописует пропивший украденные у семьи деньги Мармеладов. — С.Н.)

«Подпольные», что далее демонстрирует опять-таки Мармеладов, весьма неохотно соглашаются принять содеянное ими над другими людьми зло на свой собственный счет. Весь роман Раскольников страдает от того, что... «принципа не выдержал», не «оказался Наполеоном». Ни разу мы не слышим от него раскаяния в том, что он отнял чужие жизни. Да и само повествование о его так называемом раскаянии ведется Достоевским в «Эпилоге», то есть в кратком конспективном пересказе завершающей части истории. (Вспомним о верном замечании В. Шкловского, что писатели тогда прибегают к «договариванию» своих произведений, то есть к эпилогам, когда их произведение на самом деле "не кончено, недорешено"¹. Наверное, и для Достоевского осталась неразрешимой проблема истинного раскаяния Раскольникова — признание им вины не за то, что ошибся, причислив себя к «избранным», а за то, что отнял не им данное — жизни других людей).

Впрочем, эта особенность «подпольных» не признавать содеянного ими зла столь не вписывается в человеческую логику, в обычные представления людей, что этот факт — «ненаправленности» раскаяния Раскольникова на других людей, а лишь

¹ «Очень часто идеологическая нерешенность темы, сомнения писателя заставляют автора в конце или отсылать читателя к следующим романам, к следующим частям, которые он не напишет (так, не написал Толстой истории Нехлюдова, хотя и обещал это сделать), иногда же давать ироническую оценку конца».

Вальтер Скотт в одном своем романе сравнивал эпилоги с остатками зеленого чая в чашке, который не допила женщина: на дне чашки осталось немного чая и слишком много сахара». И еще: «В эпилоге устраивается жизнь людей, уже умерших для писателя. Там сводятся концы с концами».

Про эпилоги писал Теккерей, что в них писатель наносит удары, от которых никому не больно, и выдает деньги, на которые ничего нельзя купить». (Шкловский В. За и против. Заметки о Достоевском. М.: Советский писатель, 1957, с. 176, 185).

объяснением самому себе логики совершенного — многими исследователями оставляется без внимания. Так, даже такой глубокий знаток философии и литературы, как Ю.Н. Давыдов, отмечает: «Когда же наступил момент раскаяния, побудившего убийцу с ясностью и отчетливостью осознать истинные мотивы своего преступления, кульминационным пунктом которого был разговор с Соней Мармеладовой, Раскольников ... заговорил иначе». Как же иначе? В чем раскаивается Раскольников? Выясняется, что убийство «был единственно возможный способ доказать собственную гениальность самому себе. ... Смогу ли я переступить или не смогу? Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или *право* имею...»¹.

Но, согласимся, без адресации раскаяния не только к себе, но и в первую очередь к другим (убитым), и осуждение себя именно и прежде всего за то, что отнял чужие жизни, — именно это и должно быть основой подлинного раскаяния. У Раскольникова же в основном тексте романа есть лишь раскаяние — понимание себя как «слабого». Что же до раскаяния, адресованного к жертвам, и осуждение себя, то об этом мы узнаем лишь в авторском пересказе, в «договаривании» — эпилоге.

Вот и Мармеладов тот факт, что его дочь «пошла по желтому билету», найдя в этом единственное средство вместо пьяницы-отца содержать семью, преподносит это Раскольникову не напрямую, а как-то косвенно: «со смирением к сему отношусь». И его последующий, казалось бы, прямой вопрос: «Ну не свинья ли я?», — звучит вполне оправдательно, поскольку тут же к этой справедливой констатации он добавляет (на самом деле перескакивает на новую тему, уведящую в сторону от того факта, что он и в самом деле мерзавец), что его жена — дама, образованная особа и штаб-офицерская дочь.

Избегают «подпольные» прямоты в отношении себя самих. И вряд ли ошибкой будет предположить, что эта их боязнь от того, что за такого рода прямотой для них неминуемо последовал бы вопрос: зачем же свое грязное и темное на свет тащите, сообразно с ним поступаете и других в «выжженный след» превращаете? Но не хотят они слышать вопроса, стараются не допустить даже возможность его.

Впрочем, именно в этом последнем проявлении «подпольных» Мармеладов выказывает отличие от Раскольникова. Когда

¹ Давыдов Ю.Н. Любовь и свобода. М., Астрель, 2008. С. 359—360.

же вопрос о причине выпуска темного на свет и страданий от него, не столько для «подпольных», сколько для других, все же возникает, Мармеладов — надо отдать ему должное — осмеливается заключить: «...такова уж черта моя, а я прирожденный скот!»¹ Не доходит до этого Родион Романович, и в этом Мармеладов оказывается честнее.

И еще одну черту «подпольных» раскрывает Мармеладов Раскольникову. Черта эта обнаруживается в истории о том, как после его краткого возвращения на службу он снова начал пить и как ходил к Соне за деньгами на похмелье. Говорит он об этом «с каким-то напускным лукавством и выделанным нахальством» и заключает вопросом: «Жаль вам теперь меня, сударь, али нет?»

Раскольников не отвечает, и Мармеладов сообщает ему свою мечту о втором пришествии Христа и о неизбежном прощении его и ему подобных потому, что они сами не считают себя достойными прощения. А когда прощение все же последует (в этом и смысл второго пришествия), то и они, грешные, и прочие «разумные», которые теперь их осуждают, «все поймут».

Что же «поймут» те, кто творит зло по отношению к ближним, и те, кто это зло претерпевает? Где же в этой мармеладовской уравнилельной апокалиптике место для раскаяния и покаяния? Не от этого ли — сознавая шулерское сокрытие ключевых вопросов — Мармеладов и держится «с каким-то напускным лукавством и выделанным нахальством»?

Вопросы эти имеют прямое отношение к теме «подпольного» человека, поскольку Семен Захарович этому типу полностью соответствует: непрерывно извлекает из себя темное, всю свою подлость отчетливо сознает и тем не менее продолжает так «сострадать» своим ближним, что оставляет от них только «выжженный след».

По выходе романа тема «подпольного» и материализации темных глубин его сознания не ускользнула от внимания критиков. И среди наиболее значимых откликов нельзя не назвать рецензию постоянного «друга-врага» Достоевского — публициста, литературного критика и писателя Н.Н. Страхова². Не рассма-

¹ *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 6. С. 15.

² О взаимоотношениях этих людей стоит упомянуть для лучшего понимания не столько Страхова, сколько Достоевского. Друг к другу ими было написано множество писем, — Страхов был свидетелем на свадьбе автора «Преступления и наказания», часто бывал в его доме. Вместе с тем в своих письмах к близким

тривая страховские статьи о романе подробно, отмечу лишь два симптоматичных утверждения. Первое: «Совершенно ясно, что автор изображает своего героя с полным состраданием к нему». И второе: «С невыразимым мучением он (Раскольников. — С.Н.) чувствует, что насилие, совершенное им над своей нравственной природой, составляет больший грех, чем самый акт убийства. Оно-то и есть настоящее преступление.

"Разве я старушку убил, — говорит он Соне. — Я себя убил, а не старушку. Так-таки разом и ухлопал себя навеки!.. А старушонку эту черт убил, а не я..." В этом заключается смысл романа...»,¹ — итожит критик.

Отмечу очень важный, поставленный Страховым вопрос. А именно: является ли убийство в себе заповеди Христа боль-

критик отзывался о Достоевском как об «ужасно самолюбивом и себялюбивом» человеке. Достоевский же характеризовал Страхова как человека, который всю жизнь «сидит на мягком, кушать любит индеек, и не своих, а за чужим столом». У него нет «никакого гражданского чувства и долга, никакого негодования к какой-нибудь гадости, а, напротив, он и сам делает гадости; несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную грубо-сладострастную пакость готов продать всех и все, и гражданский долг, которого не ощущает, и работу, до которой ему все равно, и идеал, которого у него не бывает, и не потому, что он не верит в идеал, а из-за грубой коры жира, из-за которой не может ничего чувствовать».

Предполагается, что, когда при разборке архива Страхов прочел это письмо, он в отместку написал Л. Толстому свое письмо о Достоевском. Говоря о написании им биографии Достоевского, он сообщает Толстому и о том «чувстве отвращения», которое неотступно сопровождало его во время работы. Достоевский, по его словам, был «зол, завистлив, развратен», «всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен. ...В Швейцарии, при мне, он так помыкал слугою, что тот обиделся и выговорил ему: "Я ведь тоже человек!" ...Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся, что...в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка. Заметьте при этом, что при животном сладострастии у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести. Это видно в его романах. Лица, наиболее на него похоже, — это герой «Записок из подполья», Свидригайлов в «Преступлении и наказании» и Ставрогин в «Бесах».

...При такой натуре он был расположен к сладкой сентиментальности, к высоким и гуманным мечтаниям, и эти мечтания — его направление, его литературная музыка и дорога. В сущности, впрочем, все его романы составляют самооправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости». Цит. по кн.: Достоевский. Энциклопедия. Составитель Н.Н. Наседкин. М.: Эксмо, 2008. С. 73—734.

¹ *Страхов Н.Н.* Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание. Статья первая // Библиотека русской критики. Критика 60-х годов XIX века. М.: Астрель, 2003. С. 379.

шим преступлением, чем убийство конкретное? В дальнейшем, в особенности при разборе романа «Братья Карамазовы», этот вопрос нам очень понадобится. А пока вернусь к полемике.

Следует отметить, что сам Родион Романович, поданный Страховым как персонаж, встроенный в контекст христианства, в романе в таком качестве не представлен. Исключением может служить, пожалуй, сделанное одно Раскольниковым признание в приятии христианства во время разговора со следователем Порфирием Петровичем. И хотя критиками акцентируется и сильно преувеличивается роль Сони в возвращении Раскольникова на путь веры, в том числе и до такой степени, что его «ожесточенная душа не выдерживает и размягчается до чувства умиления», а сам Раскольников якобы переживает даже «воскресение»¹, на самом деле этого в произведении нет.

В романе читаем: «Под подушкой его лежало Евангелие. Он взял его машинально. Эта книга принадлежала ей, была та самая, из которой она читала ему о воскресении Лазаря. В начале каторги он думал, что она замучит его религией, будет заговаривать о Евангелии и навязывать ему книги. Но, к величайшему его удивлению, она ни разу не заговаривала об этом, ни разу даже не предложила ему Евангелия. Он сам попросил его у ней незадолго до своей болезни, и она молча принесла ему книгу. До сих пор он ее и не раскрывал.

Он не раскрыл ее и теперь, но одна мысль промелькнула в нем: «Разве могут ее убеждения не быть теперь и моими убеждениями? Ее чувства, ее стремления, по крайней мере...»

...Но тут уж начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою действительностью»².

При всей кажущейся ясности случившегося в романе единодушия по поводу убийства старухи и ее сестры все-таки нет. Я только что ссылался на мнение Страхова о том, что насилие над своей нравственной природой составляет большой грех, чем самый акт убийства. В подкрепление этому критик приводит слова Сони, сказанные Раскольникову: «Что вы над собой сделали! ...Нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете!»³

¹ Там же. С. 392—393.

² *Достоевский Ф.М.* Цит. соч. С. 422.

³ *Страхов Н.Н.* Цит. соч. С. 379.

А вот как понимает убийство Д. Мережковский: «Раскольников убивает старуху, чтобы доказать себе самому, что он уже "по ту сторону добра и зла", что он — не "дрожащая тварь", а "властелин". Но Раскольников, по замыслу Достоевского, должен понять, что ошибся, убил не "принцип", а только старуху, не «переступил», а только хотел переступить. И когда он это поймет, — должен ослабеть, испугаться, выйти на площадь и, став на колени, исповедываться перед толпою»¹. В первой трактовке (по Страхову) Раскольников убивает свой нравственный принцип. Во второй (по Мережковскому) — не принцип, а «только» старуху.

Метафизический замысел Раскольникова был изложен в его статье, о которой в известном месте романа у него происходит разговор со следователем Порфирием Петровичем. «Всё дело в том, — говорит Порфирий, — что в ихней статье все люди как-то разделяются на «обыкновенных» и «необыкновенных». Обыкновенные должны жить в послушании и не имеют права переступать закона, потому что они, видите ли, обыкновенные. А необыкновенные имеют право делать всякие преступления и всячески преступать закон, собственно потому, что они необыкновенные. Так у вас, кажется, если только не ошибаюсь?»

— Да как же это? Быть не может, чтобы так! — в недоумении бормотал Разумихин.

Раскольников усмехнулся опять. Он разом понял, в чем дело и на что его хотят натолкнуть; он помнил свою статью. Он решился принять вызов.

— Это не совсем так у меня, — начал он просто и скромно. — Впрочем, признаюсь, вы почти верно ее изложили, даже, если хотите, и совершенно верно... (Ему точно приятно было согласиться, что совершенно верно.) Разница единственно в том, что я вовсе не настаиваю, чтобы необыкновенные люди непременно должны и обязаны были творить всегда всякие бесчинства, как вы говорите. Мне кажется даже, что такую статью и в печать бы не пропустили. Я просто-запросто намекнул, что «необыкновенный» человек имеет право... то есть не официальное право, а сам имеет право разрешить своей совести перешагнуть... через иные препятствия, и единственно в том только случае, если исполнение его идеи (иногда спасительной, может быть, для всего человечества) того потребует. Вы изволите говорить, что статья моя неясна; я готов ее вам разъ-

¹ Мережковский Д.С. Цит. соч. С. 120.

яснить, по возможности. Я, может быть, не ошибусь, предполагая, что вам, кажется, того и хочется; извольте-с. По-моему, если бы Кеплеровы и Ньютоновы открытия вследствие каких-нибудь комбинаций никоим образом не могли бы стать известными людям иначе как с пожертвованием жизни одного, десяти, ста и так далее человек, мешавших бы этому открытию или ставших бы на пути как препятствие, то Ньютон имел бы право, и даже был бы обязан... *устранить* этих десять или сто человек, чтобы сделать известными свои открытия всему человечеству. Из этого, впрочем, вовсе не следует, чтобы Ньютон имел право убивать кого вздумается, встречаемых и поперечных, или воровать каждый день на базаре. Далее, помнится мне, я развиваю в моей статье, что все... ну, например, хоть законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и так далее, все до единого были преступники, уже тем одним, что, давая новый закон, тем самым нарушали древний, свято чтимый обществом и от отцов перешедший, и, уж конечно, не останавливались и перед кровью, если только кровь (иногда совсем невинная и доблестно пролитая за древний закон) могла им помочь. Замечательно даже, что большая часть этих благодетелей и установителей человечества были особенно страшные кровопроливцы. Одним словом, я вывожу, что и все, не то что великие, но и чуть-чуть из колеи выходящие люди, то есть чуть-чуть даже способные сказать что-нибудь новенькое, должны, по природе своей, быть непременно преступниками, — более или менее, разумеется. Иначе трудно им выйти из колеи, а оставаться в колее они, конечно, не могут согласиться, опять-таки по природе своей, а по-моему, так даже и обязаны не соглашаться.

...Преступления этих людей, разумеется, относительноны и многообразны; большую частью они требуют, в весьма разнообразных заявлениях, разрушения настоящего во имя лучшего. Но если ему надо, для своей идеи, перешагнуть хотя бы и через труп, через кровь, то он внутри себя, по совести, может, по-моему, дать себе разрешение перешагнуть через кровь, — смотря, впрочем, по идее и по размерам ее, — это заметьте. В этом только смысле я и говорю в моей статье об их праве на преступление»¹.

¹ *Достоевский Ф.М.* Цит. соч. С. 199—200.

На вопрос Порфирия, как отличить людей «первого разряда», обыкновенных, от «разряда второго» — особенных, Раскольников поясняет, что право «второго разряда» на кровь принимается и ими самими, и обществом как естественное. А если кто-либо из «первого разряда» ошибочно отнес себя к особенным и кровь пролил, то они настолько «благодетельны», что и сами раскаются, и сами себя высекут, то есть свою ошибку включения во «второй разряд» тут же обнаружат.

В трактовках Страхова и Мережковского оказывается, что Раскольников страдает от разных вещей. У Мережковского — оттого, что оказался из «первого разряда» — «права не имеющих». И это верно. Страхов же полагает, что Раскольников под влиянием Сони раскаялся в самом убийстве и страдает, потому что убил. Когда Страхов излагает разговор Раскольникова с Соней, то он не замечает, что его слова «я себя убил» — крик отчаяния от несбывшейся собственной надежды, прощание с мечтой принадлежать ко «второму», высшему разряду. Соня же смотрит на это иначе — с позиций христианского принципа «не убий» и потому ее слова «что вы с собой сделали, нет тебя несчастнее никого в целом свете» — слова об ином. Для Раскольникова они пусты, и произносящая их Соня мало для него значит. Поэтому слова Страхова: «...в первый раз перед нами изображен нигилист несчастный, нигилист глубоко человечески страдающий»¹ — далеки от истины.

В связи с квалификацией Раскольникова в качестве «нигилиста» или разновидности «подпольного» любопытно задать вопрос, который лишь на первый взгляд кажется очевидным: если Раскольников понимает, что право быть в числе особых имеют люди, действительно имеющие в себе нечто особенное, обусловленное тем, что они в самом деле могли бы сообщить или сделать для человечества нечто выдающееся, то почему он надеется на особость со своими вполне обыденными мотивировками убийства: помочь матери и сестре; облегчить себе первые шаги в жизни; убить «вошь» зловредную, от которой всем только несчастья? Иными словами, где те признаки гениальности, которые, как полагает Раскольников в качестве автора статьи, право дают и даже требуют в иных случаях кровь пролить? Не находит их в себе и потому не говорит о них Родион Романович

¹ *Страхов Н.Н.* Цит. соч. С. 379.

и тогда, когда развернуто формулирует свое деяние и наступившее за тем положение:

«Нет, те люди не так сделаны; настоящий *властелин*, кому всё разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, *забывает* армию в Египте, тратит полмиллиона людей в московском походе и отделяется каламбуром в Вильне; и ему же, по смерти, ставят кумиры, — а стало быть, и всё разрешается. Нет, на таких людях, видно, не тело, а бронза!»

Одна внезапная посторонняя мысль вдруг почти рассмешила его:

"Наполеон, пирамиды, Ватерлоо — и тощая гаденькая регистраторша, старушонка, процентщица, с красною укладкою под кроватью, — ну каково это переварить хоть бы Порфирию Петровичу!.. Где ж им переварить!.. Эстетика помешает: полезет ли, дескать, Наполеон под кровать к "старушонке"! Эх, дрянь!..»

Минутами он чувствовал, что как бы бредит: он впадал в лихорадочно-восторженное настроение.

"Старушонка вздор! — думал он горячо и порывисто, — старуха, пожалуй что, и ошибка, не в ней и дело! Старуха была только болезнь... я переступить поскорее хотел... я не человека убил, я принцип убил! Принцип-то я и убил, а переступить-то не переступил, на этой стороне остался... Только и сумел, что убить. Да и того не сумел, оказывается... Принцип? За что давеча дурачок Разумихин социалистов бранил? Трудолюбивый народ и торговый; "общим счастьем" занимаются... Нет, мне жизнь однажды дается, и никогда ее больше не будет: я не хочу дожидаться "всеобщего счастья". Я и сам хочу жить, а то лучше уж и не жить. Что ж? Я только не захотел проходить мимо голодной матери, зажимая в кармане свой рубль, в ожидании "всеобщего счастья". "Несу, дескать, кирпичик на всеобщее счастье и оттого ощущаю спокойствие сердца". Ха-ха! Зачем же вы меня-то пропустили? Я ведь всего однажды живу, я ведь тоже хочу... Эх, эстетическая я вошь, и больше ничего, — прибавил он вдруг рассмеявшись, как помешанный. — Да, я действительно вошь, — продолжал он, с злорадством прицепившись к мысли, роясь в ней, играя и потешаясь ею, — и уж по тому одному, что, во-первых, теперь рассуждаю про то, что я вошь; потому, во-вторых, что целый месяц всеблагое провидение беспокоил, призывая в свидетели, что не для своей, дескать, плоти и похоти предпринимаю, а имею в виду великолепную и приятную цель, — ха-ха! Потому, в-третьих, что возможную справедливость положил наблюдать

в исполнении, вес и меру, и арифметику: из всех вшей выбрал самую наименее полезную и, убив ее, положил взять у ней ровно столько, сколько мне надо для первого шага, и ни больше ни меньше (а остальное, стало быть, так и пошло бы на монастырь, по духовному завещанию — ха-ха!)... Потому, потому я окончательно вошь, — прибавил он, скрежеща зубами, — потому что сам-то я, может быть, еще сквернее и гаже, чем убитая вошь, и заранее *предчувствовал*, что скажу себе это уже *после* того, как убью! Да разве с таким ужасом что-нибудь может сравниться! О, пошлость! О, подлость!.. О, как я понимаю "пророка", с саблей, на коне. Велит Аллах, и повинуйся, "дрожащая" тварь! Прав, прав "пророк", когда ставит где-нибудь поперек улицы хор-р-рошую батарею и дует в правого и виноватого, не удостоивая даже и объясниться! Повинуйся, дрожащая тварь, и — *не желай*, потому — не твое это дело!.. О, ни за что, ни за что не прощу старушонке!"¹.

Мне представляется, что приведенные мысли вполне укладываются в предлагаемую мной трактовку: «подпольные» в обоснованиях, тем более в фундаментальных, не нуждаются. Раскольникову они не нужны. Мармеладов обоснований не ищет. Напротив, говорит: скот я. Не нужны обоснования и Свидригайлову, бывшему шулером в столице, куролесившему в деревне, очевидно, отравившему жену и пытавшемуся обмануть Дуню. И таким образом оказывается, что без обязательности умствований и обоснований, «подпольность» — признак не только деспотов и злодеев. Она и в самом деле универсальная человеческая черта, становящаяся характеристикой отдельной личности при определенном с ее стороны моральном попустительстве и при определенных обстоятельствах. К этому и еще один пример.

Есть ли свойства «подпольного» человека у жены раздавленного Мармеладова — несчастной Катерины Ивановны? В определенном смысле — «да». Вспомним ее намерение устроить поминки по покойному мужу и ее поведение за столом. Вопреки здравому смыслу на них «ухлопана» половина денег, оставленных Раскольниковым. Они — явное «своеволие» вдовы, использующей для его (своеволия) обоснования изошренные, логически безупречные только для нее одной доводы. По отношению к приглашенным «гостям» она не только не гостеприимна или хотя бы терпима, но прямо — чувствуя свое минутное «право»

¹ Достоевский Ф.М. Цит. соч. С. 211—212.

на своеволие — изощренно-язвительна, нарочито-оскорбительна, вызывающе-безжалостна.

Послушаем автора: «Катерине Ивановне захотелось, именно при этом случае, именно в ту минуту, когда она, казалось бы, всеми на свете оставлена, показать всем этим "ничтожным и скверным жильцам", что она не только «умеет жить и умеет принять», но что совсем даже не для такой доли и была воспитана, а воспитана была в "благородном, можно даже сказать, в аристократическом полковничьем доме", и уж вовсе не для того готовилась, чтобы самой мести пол и мыть по ночам детские тряпки. Эти пароксизмы гордости и тщеславия посещают иногда самых бедных и забытых людей и, по временам, обращаются у них в раздражительную, неудержимую потребность.

...От природы была она характера смешливого, веселого и миролюбивого, но от непрерывных несчастий и неудач она до того *яростно* стала желать и требовать, чтобы все жили в мире и радости и *не смели* жить иначе, что самый легкий диссонанс в жизни, самая малейшая неудача стали приводить ее тотчас же чуть не в иступление, и она в один миг, после самых ярких надежд и фантазий, начинала клясть судьбу, рвать и метать всё, что ни попадало под руку, и колотиться головой об стену.

...Катерина Ивановна положила до времени не высказывать своих чувств, хотя и решила в своем сердце, что Амалию Ивановну непременно надо будет сегодня же осадить и напомнить ей ее настоящее место, а то она бог знает что об себе замечает, покамест же обошлась с ней только холодно.

...Не явилась тоже и одна тонная дама с своею "перезрелую девою", дочерью, которые хотя и проживали всего только недели с две в номерах у Амалии Ивановны, но несколько уже раз жаловались на шум и крик, подымавшийся из комнаты Мармеладовых, особенно когда покойник возвращался пьяный домой, о чем, конечно, стало уже известно Катерине Ивановне через Амалию же Ивановну, когда та, бранясь с Катериной Ивановной и грозясь прогнать всю семью, кричала во всё горло, что они беспокоят "благородных жильцов, которых ноги не стоят". Катерина Ивановна нарочно положила теперь пригласить эту даму и ее дочь, которых "ноги она будто бы не стоила", тем более что до сих пор, при случайных встречах, та высокомерно отвертывалась, — так вот чтобы знала же она, что здесь «благороднее мыслят и чувствуют, и приглашают, не помня зла», и чтобы видели они, что Катерина Ивановна и не в такой доле

привыкла жить. Об этом непременно предполагалось им объяснить за столом, равно как и о губернаторстве покойного папеньки, а вместе с тем косвенно заметить, что нечего было при встречах отворачиваться и что это было чрезвычайно глупо»¹. Разве не «подпольные» рассуждения?

А вот одна из сцен за столом:

« — Во всем эта кукушка виновата. Вы понимаете (обращается она к Раскольникову. — *С.Н.*), о ком я говорю: об ней, об ней! — и Катерина Ивановна закивала ему на хозяйку. — Смотрите на нее: вытаращила глаза, чувствует, что мы о ней говорим, да не может понять, и глаза вылупила. Фу, сова! ха-ха-ха!.. Кхи-кхи-кхи! И что это она хочет показать своим чепчиком! кхи-кхи-кхи! Заметили вы, ей всё хочется, чтобы все считали, что она покровительствует и мне честь делает, что присутствует. Я просила ее, как порядочную, пригласить народ получше и именно знакомых покойного, а смотрите, кого она привела: шуты какие-то! чумички! Посмотрите на этого с нечистым лицом: это какая-то сопля на двух ногах! А эти полячишки... ха-ха-ха! Кхи-кхи-кхи! Никто, никто их никогда здесь не видывал, и я никогда не видала; ну зачем они пришли, я вас спрошу? Сидят чинно рядышком. Пане, гей! — закричала она вдруг одному из них, — взяли вы блинов? Возьмите еще! Пива выпейте, пива! Водки не хотите ли? Смотрите: вскочил, раскланивается, смотрите, смотрите: должно быть, совсем голодные, бедные! Ничего, пусть поедят. Не шумят, по крайней мере, только... только, право, я боюсь за хозяйские серебряные ложки!.. Амалия Ивановна! — обратилась она вдруг к ней, почти вслух, — если на случай покрадут ваши ложки, то я вам за них не отвечаю, предупреждаю заранее! Ха-ха-ха! — залилась она, обращаясь опять к Раскольникову, опять кивая ему на хозяйку и радуясь своей выходке. — Не поняла, опять не поняла! Сидит разиня рот, смотрите: сова, настоящая, сычиха в новых лентах, ха-ха-ха!»²

Впрочем, приступы, а иногда и припадки «подпольности» случаются и у таких вполне достойных людей, как, например, Разумихин. Вот он сопровождает мать и сестру Раскольникова и, будучи сильно навеселе, откровенничает в отношении жениха Авдотьи Романовны: «...вы не можете на меня сердиться за то, что я так говорю! Потому я искренно говорю, а не оттого, что...

¹ Достоевский Ф.М. Цит. соч. С. 290—293.

² Там же. С. 294.

гм! это было бы подло; одним словом, не оттого, что я в вас... гм!.. ну, так и быть, не надо, не скажу отчего, не смею!.. А мы все давеча поняли, как он вошел, что этот человек не нашего общества. Не потому что он вошел завитой у парикмахера, не потому что он свой ум спешил выставлять, а потому что он соглядатай и спекулянт; потому что он жид и фигляр, и это видно. Вы думаете, он умен? Нет, он дурак, дурак! Ну, пара ли он вам? О боже мой! Видите, барыни, — остановился он вдруг, уже поднимаясь на лестницу в номера, — хоть они у меня там все пьяные, но зато все честные, и хоть мы и врем, потому ведь и я тоже вру, да до времся же наконец и до правды, потому что на благородной дороге стоим, а Петр Петрович... не на благородной дороге стоит»¹.

Как видим, внешнее проявление «подпольности» у собственно «подпольного» и нормального человека сходно. Однако в отличие от подлинно «подпольного», у нормального человека за приступом «подпольности» неизбежно следует осознание случившегося, раскаяние, а возможно, и покаяние, которое с большой долей вероятности исключает подобное поведение в будущем. У «подпольного» же раскаяние вовсе не означает зарок повторения в будущем. Напротив, «подпольный» часто и завершает «раскаяние» обещанием нового приступа «подпольности» в будущем и свою даже гордыню по поводу неизменности своей природы.

Вернемся, однако, к проявлению «подпольности» и раскаянию в ней у нормального человека. Вот как это происходит с Разумихиным. На следующий за случившимся у него приступом «подпольности» день «самым ужаснейшим воспоминанием его было то, как он оказался вчера "низок и гадок", не по тому одному, что был пьян, а потому, что ругал перед девушкой, пользуясь ее положением, из глупо-поспешной ревности, ее жениха, не зная не только их взаимных между собой отношений и обязательств, но даже и человека-то не зная порядочно. Да и какое право имел он судить о нем так поспешно и опрометчиво? И кто звал его в судьи! И разве может такое существо, как Авдотья Романовна, отдаваться недостойному человеку за деньги? Стало быть, есть же и в нем достоинства. Нумера? Да почему же он в самом деле мог узнать, что это такие номера? Ведь готовит же он квартиру... фу, как это всё низко! И что за

¹ Там же. С. 156.

оправдание, что он был пьян? Глупая отговорка, еще более его унижающая! В вине — правда, и правда-то вот вся и высказалась, «то есть вся-то грязь его завистливого, грубого сердца высказалась!» И разве позволительна хоть сколько-нибудь такая мечта ему, Разумихину? Кто он сравнительно с такою девушкой, — он, пьяный буян и вчерашний хвостун? "Разве возможно такое циническое и смешное сопоставление?" Разумихин отчаянно покраснел при этой мысли, и вдруг, как нарочно, в это же самое мгновение, ясно припомнилось ему, как он говорил им вчера, стоя на лестнице, что хозяйка приревнует его к Авдотье Романовне... это уж было невыносимо. Со всего размаху ударил он кулаком по кухонной печке, повредил себе руку и вышиб один кирпич»¹.

Утверждая, что «подпольность» не только отличительный признак деспотов и злодеев, но, к сожалению, одна из универсальных человеческих черт, становящаяся характеристикой личности как при некоторых, иногда трагичных, обстоятельствах, так и при определенной с ее (личности) стороны моральной нечуткости и моральном попустительстве, я, наряду с прочим, соглашаюсь и с Д. Мережковским в том, что эту черту следует отнести не только на счет художественных персонажей Федора Михайловича, но и на его личный счет. «Самый необычайный из всех типов русской интеллигенции, — утверждал Мережковский, — человек из подполья, с губами, искривленными как будто вечною судорогою злости, с глазами, полными любви новой, еще неведомой миру... с тяжелым взором эпилептика, бывший петрашевец и каторжник, будущая противоестественная помесь реакционера с террористом, полубесноватый, полусвятой, Федор Михайлович Достоевский»².

Надо отметить, что эту точку зрения отстаивал и Лев Шестов, полагавший, что Европа признала Достоевского не столько как художника, сколько как апостола «подпольных» идей³. Вряд ли апостол может представлять и выражать нечто чуждое, инородное ему. Именно так, через познание самого себя и на основе знания о себе самом, художник создает свое представление (видение), свой образ современного ему мира.

¹ Там же. С. 160.

² *Мережковский Д.С.* Полн. собр. соч. Т. XI. Изд. М.О. Вольф. СПб; М., 1914. С. 24.

³ *Шестов Л.* Достоевский и Ницше. Философия трагедии. М.: АСТ, 2001. С. 51.

Гениальность Достоевского в том, что ему удалось найти в человеке такие черты, которые если и не являются в полном смысле слова универсальными и вневременными (иными словами, родовыми), то, по крайней мере, сопутствуют человеку длительный временной отрезок его исторического существования. И неважно, какие это были черты — добрые или злые, заслуживающие подражания или по мере возможности всяческого избегания или изживания.

Вместе с тем нужно отметить, что точка зрения Мережковского и Шестова относительно «личной причастности» Федора Михайловича к создаваемым им персонажам неприемлема для многих исследователей творчества автора «Записок из подполья». И феномен этот нуждается в разъяснении, поскольку от верного ответа — как было или могло быть на самом деле — зависит не только взгляд на собственное творчество Достоевского, но и адекватность картины развития русского мировоззрения, которую я пытаюсь нарисовать.

В этой связи можно упомянуть об одной из знаковых фигур в ряду исследователей творчества великого писателя — о Валерии Яковлевиче Кирпотине, известном историке литературы, литературном критике и идеологическом функционере, писавшем от начала советских времен до конца XX столетия. Член ВКП(б) с 1918 года Кирпотин известен как секретарь Максима Горького. Но он не был простым исполнителем. Ему, например, принадлежала идея создания Союза писателей. Позднее он становится заместителем директора Ленинградского отделения института литературы и языка Комкадемии, членом редакции главного теоретического журнала большевиков «Проблемы марксизма», работает в ЦК партии, является секретарём оргкомитета Союза писателей СССР. Сделав карьеру в качестве ученого-идеолога, он, в частности, по заданию партии писал о Писареве, Салтыкове-Щедрине, Шолохове, в 1930 году выпустил книгу «Идейные предшественники марксизма-ленинизма в России», а в 1937 году по заданию Сталина — «Наследие Пушкина и коммунизм».

После войны Кирпотин возглавил Институт мировой литературы, но увлёкся полузапрещённым Достоевским, за что был уволен. По этому случаю он униженно каялся, а заодно клеймил литературных «врагов» советской власти, в том числе М.М. Зощенко, во время известного партийного шабаша 1946 года.

В период хрущевской оттепели, вернувшись к преподавательской работе, он выпустил шесть монографий о творче-

стве Достоевского, в которых в корне пересмотрел свои былые марксистские взгляды, много внимания уделил запретному Евангелию и утверждал, что без Христа нельзя понять ни автора «Преступления и наказания», ни мировую историю. В известном смысле Кирпотин, на мой взгляд, был типичным «человеком из подполья» советской эпохи и благодаря этому своему качеству глубоко ощущал творчество своего кумира — «подпольного человека» Достоевского.

Нетипичное для настоящего исследования подробное обращение к судьбе одного из ученых понадобилось мне для того, чтобы подчеркнуть простую мысль. Собственный жизненный путь определенным образом фокусирует зрение художника, создает угол зрения исследователя, вплоть до того, что заставляет одно видеть преувеличенно, а другое вовсе не замечать. И применительно к данному автору важное значение имеет его собственная «смена вех» — переход от ортодоксального марксизма к богоискательству. В этом контексте для «раскаявшегося грешника» жизненно важно было нахождение в своем предмете исследования идейно-теоретической опоры собственных сокровенных новых взглядов. Открыв для себя Достоевского, Кирпотин, как и некоторые другие исследователи творчества Ф.М., не могли в чем-либо не то что допустить разрушения образа своего кумира, но и поставить под сомнение какую-то часть его мировоззрения, так как в этом случае сами рисковали остаться в этом мире без веры.

Вот почему Кирпотин не может принять (и вопреки даже заявлениям самого Достоевского не принимает) тезиса о тождестве автора с его «главным персонажем». Он прямо пишет: «Люди, стремившиеся превратить наследие Достоевского в исключительное достояние реакции, в непреложный аргумент против гуманизма, сливали Достоевского с подпольным человеком и отождествляли его мировоззрение с мирочувствованием подполья. Но, создавая свою повесть, Достоевский имел в душе — пусть спорный! — идеал совершенного, прекрасного и свободного человека, антиподом которого и является «подпольный»! Подпольный человек был ему отвратителен, и если он мог заниматься им как художник, то только потому, что страдал ему, несчастному»¹.

¹ Кирпотин В. Достоевский в шестидесятые годы. М.: Художественная литература, 1966. С. 471.

Чтобы подкрепить тезис об авторском сострадании, требовалось соответственно, во-первых, подтвердить, что «подпольные» Достоевскому «отвратительны», и, во-вторых, обнаружить у них такие качества, которые можно было посчитать заслуживающими сострадания. Представить свидетельства «отвращения» (при всем старании) Кирпотину не представилось возможным. Их просто не было. Достоевский вообще очень скуп на обнаружение личных пристрастий. Редко он говорит о них напрямую (как, например, в некоторых местах «Записок из мертвого дома»). Обычно они обнаруживаются другими способами, косвенно. «Отвращение» же, как и раскаяние, требует внятного рассмотрения, анализа и неизбежного за ним покаяния и изменения. Этой цепочки у Достоевского нет. Правда, первый шаг на этом пути — отвращение «подпольных» к самим себе — почти всегда обнаруживается. Но за этим — также всегда — следует нечто подобное сентенции «полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит». «Подпольные» любят на свое собственное мерзкое, вызывающее отвращение нутро, даже ставят его (это нутро) себе чуть не в заслугу¹. Поэтому «подпольный» человек Раскольников не кается в отнятии жизней, а лишь страдает от того, что сам оказался «не избранным», который может легко через кровь переступить. Его страдание — от того, что он «открыл себя» всего лишь ничтожным «обыкновенным» человеком, каких миллионы, человеком, который даже из-за «малой» крови страдает. «Я не старуху убил. Я себя убил» — такова сентенция, знаменующая апофеоз себялюбия и эгоизма. И нигде в романе мы не находим намека на авторское «отвращение» по этому поводу к Раскольникову. И это, как представляется, не только потому, что изображает «подпольных» перо беспристрастного художника-реалиста, но и потому, что «подпольность» — часть природы самого автора.

Впрочем, для доказательства авторского сострадания к «подпольным» есть и иной путь — найти в них качества людей достойных. И добросовестный исследователь творчества Достоевского Кирпотин старательно ищет. У него, в частности, оказывается, что «подпольный» человек настолько человек образованный, что, например, не может брать и не берет взятки. Он представляется Кирпотинным ни много ни мало «аналитиком», чьи рефлексивные способности проистекают «из самых

¹ Забегая несколько вперед, укажу на наиболее рельефные в этом отношении фигуры — на героев «Идиота» — Лебедева и Ипполита.

высоких философских конструкций века». Достоевский, оказывается, выбрал своего героя из начитанного, мыслящего меньшинства поколения сороковых годов¹.

Относительно этой явной исследовательской фантазии замечу, что «подпольные» у Достоевского никогда не изображались как сколько-нибудь образованные люди. И это относится не только к героям «Записок из подполья» и «Преступления и наказания», но также и к «подпольным» из других произведений. Таковы, например, «подпольные» из романа «Идиот» — «мальчишки» Бурдовский и Ипполит, не говоря уж об аналитических способностях и приязненности к «высоким философским конструкциям века» со стороны еще одного персонажа — полуграмотного Парфена Рогожина.

Но если образованность — не сильная сторона «подпольного» человека, то в отношении его личных переживаний он, в самом деле, не может считаться человеком ординарным. Он, как мы видим, прежде всего глубоко чувствителен. И это — один из источников его нешуточного страдания.

«Подпольный» человек, далее, страдает также и от того, что не может сопрячь воедино слово и дело. И он не может сделать этого не только в своих отношениях с другими, но и в отношении самого себя, своей собственной жизни. «Болезнь подпольного человека заключалась не в самом сознании, а в противоречии между словом и делом, между убеждениями и поведением, в угрызениях совести, вызванных неспособностью подтвердить слово делом»², — отмечает Кирпотин.

Со своей стороны замечу, что в этом утверждении исследователь прав лишь отчасти. «Подпольный» человек рассматривается Достоевским в его эволюции. И если «подпольный» в «Записках» действительно страдает от невозможности соединить слово с делом, годами мечтая о мести офицеру, отодвинувшему его от биллиардного стола, то далее «подпольный» соединяет и даже увлекается реальным процессом соединения слова и дела. Первым эту границу перешагивает Раскольников, а вслед за ним все «подпольные» только и делают, что воплощают в жизнь свое грязное внутреннее содержимое. Этим, например, заняты все «подпольные» герои романа «Идиот», о чем буду говорить далее.

¹ Там же. С. 474.

² Там же. С. 480.

Продолжать перечень примеров, свидетельствующих о том, что «подпольные» люди порой действительно страдают, можно было бы долго. Однако, на мой взгляд, при анализе вопроса о страдании «подпольных» людей есть и иной путь — проверка страдания «подпольных» посредством обращения читателя к самому себе: сострадает ли он страдающим героям «подполья»? Испытывает ли он, например, чувство сострадания к Раскольникову, который — по собственным переживаниям — всего лишь ошибся в том, что не оказался принадлежащим к когорте «право имеющих», притом, что ценой его ошибки стали две смерти? Сострадаем ли мы Мармеладову, живущему так, что от своих родных он оставляет только «выжженный след»? А вслед за этим неизбежно возникнут и вопросы о сострадании самому Федору Михайловичу. Во-первых, разделяем ли мы, читатели, его сострадание «подпольным» людям¹, если оно в самом деле имеет место, и, во-вторых, сострадаем ли мы самому Достоевскому, доводившему, например, свою безропотную жену Аню до отчаяния своей «слабостью» — игрой в рулетку?²

Очевидно, что в тяжкие минуты своей жизни писатель совершал поступки, в чем-то родственные поступкам своих «подпольных» героев. Так, например, известно, что «от кредиторов,

¹ В том числе верим ли мы им как, например, верил Раскольников любви покойного Мармеладова к своей жене: «Раскольников подошел к Катерине Ивановне.

— Катерина Ивановна, — начал он ей, — на прошлой неделе ваш покойный муж рассказал мне всю свою жизнь и все обстоятельства... Будьте уверены, что он говорил об вас с восторженным уважением. С этого вечера, когда я узнал, как он всем вам был предан и как особенно вас, Катерина Ивановна, уважал и любил, несмотря на свою несчастную слабость...» (*Достоевский Ф.М.* Цит. соч. С. 145).

² Весь ужас такой жизни Анна Григорьевна переносила стоически. Достоевский писал: «Аня, милая, друг мой, жена моя, прости меня, не называй меня подлецом. Я сделал преступление, я все проиграл, что ты мне прислала, все, все, до последнего крейцера, вчера же получил и вчера проиграл!»; «Аня, милая, я хуже, чем скот! Вчера к 10 часам вечера был в чистом выигрыше 1300 фр. Сегодня — ни копейки. Все! Все проиграл!»; «Аня, милая, бесценная моя, я все проиграл, все, все! О, ангел мой... теперь... не буду более тебя обкрадывать, как скверный, гнусный вор!...»; «Милый мой ангел Нютя, я все проиграл, как приехал, в полчаса все и проиграл... Прости, Аня, я тебе жизнь отравил!...» (*Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г.* Переписка. Л., 1976. С. 21, 25, 27, 29).

Анна Григорьевна по этому поводу замечала: «Я никогда не упрекала мужа за проигрыш, никогда не ссорилась с ним по этому поводу (муж очень ценил это свойство моего характера) и без ропота отдавала ему наши последние деньги». (*Достоевская А.Г.* Воспоминания. М., 1987. С. 184).

описи имущества и долговой тюрьмы Достоевский бежит за границу со 175 рублями в кармане. В конце июня 1865 года он приезжает в Висбаден и в пять дней проигрывает на рулетке все свои деньги¹. Конечно, нельзя вообразить себя судьей Федору Михайловичу. Но то, что он, как утверждал Мережковский, прямой родственник «подпольных», и обуславливает поиск ответа на вопрос об отношении не только к его героям, но и к их создателю, тем более что их и его мировоззрение в существенной степени схожи².

Этим своим качеством Достоевский при необходимости умело пользовался. Так, в «разумности» своей «слабости» — игре на рулетке — он не только убедил Анну Григорьевну, но и сделал ее своей сторонницей. Вот ее признание: «Все рассуждения Федора Михайловича по поводу возможности выиграть на рулетке при его методе игры были совершенно правильны, и удача могла быть полная, но при условии, если бы этот метод применял какой-нибудь хладнокровный англичанин или немец, а не такой нервный, увлекающийся и доходящий во всем до самых последних пределов человек, каким был мой муж»³.

Достоевский — глубокий писатель, и в своих исследованиях «подпольного» человека он следует не только по пути прямого анализа героев такого рода. Параллельно он избирает и окольный путь — рассматривает их через призму людей нормальных, а иногда и идеальных. Так, для того чтобы оттенить «подпольного» человека Раскольников в «Преступлении и наказании», в качестве его антипода писатель создает образ пристава следственных дел полицейской части Порфирия Петровича. Герой этот, как и другой явно «положительный» персонаж — товарищ Раскольникова Разумихин, нормален настолько, что не только умело противостоит всяческого рода «подпольности», но и выражает, кажется, единственно приемлемую и трезвую в этой ситуации точку зрения. Порфирий Петрович открыто заявляет, что, по его мнению, внешние обстоятельства лишь в малой степени

¹ Белов С.В. Вокруг Достоевского. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2001. С. 33.

² В. Шкловский отмечает: «У Раскольникова, как и Достоевского, не только одинаковые враги, но и похожие мечты. Раскольников имеет социальный опыт Достоевского: в его биографии есть мысли, которые Достоевский знал, как свои собственные, но не развернул, скрыл, потому что иначе они привели бы студента к другим поступкам». (Шкловский В. Цит. соч. С. 211).

³ Достоевская Анна. Воспоминания. СПб.: Азбука-классика, 2011. С. 165—166.

руководят человеком, решившимся переступить закон. Главным образом решение проистекает из мировоззрения и нравственных качеств человека. Конечно, Порфирий Петрович хитер, иезуитски ловок и психологически изощрен, что может побудить иного читателя к его неприятию. Но не будем забывать, что он — профессиональный следователь, который имеет дело не с примитивным убийцей, совершившим свое деяние ради простого грабежа.

В лице Раскольникова¹ мы наблюдаем изощренный ум, прослеживаем не только выход «подпольного» человека из «извращенно-рационального подполья» в реальность, но и еще нечто более важное — осуществленное единство «слова и дела», которое до сей поры никак не могло реализоваться у заурядных «подпольных» людей. От мечтаний о мести героя «Записок из подполья», от психологических пыток, изобретаемых и даже производимых Мармеладовым, поступок Раскольникова отличается в корне. В его образе «подпольный» человек пробует себя не только на роль властелина над отдельными людьми, но и на роль властелина мира. Да, у Раскольникова «сорвалось», «кишка оказалась тонка», но ведь попытку он все же совершил, слово и дело соединил. И отсюда, из сырого и почти непригодного для жизни Петербурга XIX столетия, от него, от русского человека Родиона Романовича Раскольникова протянется незримая ниточка сперва к отечественным «бомбистам», а затем и к немецкому ефрейтору Адольфу Алоизовичу Шикльгрубелю (Гитлеру).

Читая роман, чувствуешь, что не любит Федор Михайлович следователя Порфирия Петровича. Однако при том, что касается данного персонажа, то в справедливом к нему отношении со стороны автора сомневаться тем не менее нельзя. По воле Достоевского сдержал слово Порфирий Петрович — оформил Раскольникову явку с повинной, снизив, а в чем-то и вовсе скрыв свою решающую роль расследователя, не соорудил из

¹ Хотел бы обратить внимание на еще одну характеристику «подпольного» человека, которую мы наблюдали ранее и которая присуща Раскольникову. Речь о желании «показать язык» судьбе. Вот это место в романе: «Неподвижное и серьезное лицо Раскольникова преобразилось в одно мгновение, и вдруг он залился опять тем же нервным хохотом, как давеча, как будто сам совершенно не в силах был сдержать себя. И в один миг припомнилось ему до чрезвычайной ясности ощущения одно недавнее мгновение, когда он стоял за дверью, с топотом, запор прыгал, они за дверью ругались и ломились, а ему вдруг захотелось закричать им, ругаться с ними, высунуть им язык, дразнить их, смеяться, хохотать, хохотать, хохотать!» (*Достоевский Ф. М.* Цит. соч. С. 126).

этого случая для себя очередную ступеньку в карьере. И потому на свадьбе Разумихина и Авдотьи Романовны, сестры Раскольниковы, Порфирий Петрович — свидетель со стороны жениха, то есть принят среди порядочных людей.

А вот кого решительно (словом и делом) не любит Федор Михайлович, так это жениха Авдотьи Романовны — Петра Петровича Лужина. Впрочем, и выведен этот персонаж таким образом, что любить его действительно не за что. Однако не утерпел Федор Михайлович и присовокупил к этому образу ненавистные ему либеральные взгляды, существенно их исказив. Обнаруживаются они в разговоре Лужина с Раскольниковым, Разумихиным и Зосимовым во время его знакомства с больным Родионом.

« ...Рад встречать молодежь: по ней узнаешь, что нового. — Петр Петрович с надеждой оглядел всех присутствующих.

— Это в каком отношении? — спросил Разумихин.

— В самом серьезном, так сказать, в самой сущности дела, — подхватил Петр Петрович, как бы обрадовавшись вопросу. — Я, видите ли, уже десять лет не посещал Петербурга. Все эти наши новости, реформы, идеи — всё это и до нас прикоснулось в провинции; но чтобы видеть яснее и видеть всё, надобно быть в Петербурге. Ну-с, а моя мысль именно такова, что всего больше заметишь и узнаешь, наблюдая молодые поколения наши. И признаюсь: порадовался...

— Чему именно?

— Вопрос ваш обширен. Могу ошибаться, но, кажется мне, нахожу более ясный взгляд, более, так сказать, критики; более деловитости...

— Это правда, — процедил Зосимов.

— Врешь ты, деловитости нет, — вцепился Разумихин. — Деловитость приобретается трудно, а с неба даром не слетает. А мы чуть не двести лет как от всякого дела отучены... Идеи-то, пожалуй, и бродят, — обратился он к Петру Петровичу, — и желание добра есть, хоть и детское; и честность даже найдется, не смотря на то что тут видимо-невидимо привалило мошенников, а деловитости все-таки нет! Деловитость в сапогах ходит.

— Не соглашусь с вами, — с видимым наслаждением возразил Петр Петрович, — конечно, есть увлечения, неправильности, но надо быть и снисходительным: увлечения свидетельствуют о горячности к делу и о той неправильной внешней обстановке, в которой находится дело.

Если же сделано мало, то ведь и времени было немного. О средствах и не говорю. По моему же личному взгляду, если хотите, даже нечто и сделано: распространены новые, полезные мысли, распространены некоторые новые, полезные сочинения, вместо прежних мечтательных и романических; литература принимает более зрелый оттенок; искоренено и осмеяно много вредных предубеждений... Одним словом, мы безвозвратно отрезали себя от прошедшего, а это, по-моему, уж дело-с...

— Затвердил! Рекомендуются, — произнес вдруг Раскольников.

— Что-с? — спросил Петр Петрович, не расслышав, но не получил ответа.

— Это всё справедливо, — поспешил вставить Зосимов.

— Не правда ли-с? — продолжал Петр Петрович, приятно взглянув на Зосимова. — Согласитесь сами, — продолжал он, обращаясь к Разумихину, но уже с оттенком некоторого торжества и превосходства, и чуть было не прибавил: «молодой человек», — что есть преуспеяние, или, как говорят теперь, прогресс, хотя бы во имя науки и экономической правды...

— Общее место!

— Нет, не общее место-с! Если мне, например, до сих пор говорили: "возлюби", и я возлюблял, то что из того выходило? — продолжал Петр Петрович, может быть с излишнею поспешностью, — выходило то, что я рвал кафтан пополам, делился с ближним, и оба мы оставались наполовину голы, по русской пословице: "Пойдешь за несколькими зайцами разом, и ни одного не достигнешь". Наука же говорит: возлюби, прежде всех, одного себя, ибо всё на свете на личном интересе основано. Возлюбишь одного себя, то и дела свои обделаешь как следует, и кафтан твой останется цел. Экономическая же правда прибавляет, что чем более в обществе устроенных частных дел и, так сказать, целых кафтанов, тем более для него твердых оснований и тем более устраивается в нем и общее дело. Стало быть, приобретая единственно и исключительно себе, я именно тем самым приобретаю как бы и всем и веду к тому, чтобы ближний получил несколько более рваного кафтана и уже не от частных, единичных щедрот, а вследствие всеобщего преуспеяния. Мысль простая, но, к несчастью, слишком долго не приходившая, заслоненная восторженностью и мечтательностью, а казалось бы, немного надо остроумия, чтобы догадаться...»¹

¹ Там же. С. 115—116.

Однако если Достоевский в принципе отказывается признать пагубность идеи разрывания кафтана пополам¹, то, похоже, у Разумихина иная точка зрения. Во-первых, он считает, что деловитость, о которой говорит Петр Петрович, не только не плоха, но, напротив, хороша и что ее в России даже и мало. И во-вторых, несомненно радуя за развитие этой самой деловитости, Разумихин огорчен тем, что к этому «общему делу» «в последнее время прицепилось» много «разных промышленников», которые «исказили все, к чему ни прикоснулись»².

Отмечу, что и нелюбимый автором Порфирий Петрович — тоже человек дела, профессионал. И молится он богу по имени «закон», а не рассчитывает на христианское покаяние преступника и его прощение. Стало быть, в своем деле Порфирий Петрович как раз против того, чтобы кафтан разрывать, и стоит за то, что всякий человек главным образом сам ответствен за то — в кафтане он или без него.

В связи с идеей христианского всепрощения как действительный противовес «подпольности» Достоевский выводит в романе идеальную героиню Соню Мармеладову. Ее главная особенность — страдание за других. Для прокорма семьи и смягчения последствий «слабости» своего отца она идет «на панель», становится «желтобилетницей». Сделавшись невольной поверенной греха Раскольникова, решает поддерживать его ради возвращения на христианский путь всем, в том числе и своей жизнью, решая быть рядом с ним на каторге. Достоевский намекает невозможность принятия Раскольниковым поступка Сони (страдания за других). Это противоположно его мировоззрению,

¹ Мысль о сбережении собственного кафтана прежде всего остального и любовью ценой — один из тезисов, приписываемый автором «Преступления и наказания» ненавидимому им экономическому либерализму. Идея эта, имеющая к моему контексту анализа пока лишь косвенное отношение, тем не менее должна быть отмечена, так как понадобится в дальнейшем. Попутно замечу, что отчаянная борьба Достоевского против «экономического человека» вообще приветствуема не только его современниками, но и живущими сегодня исследователями, исхитрившимися так ничего и не понять в реалиях развивающегося мира. Так, в недавно вышедшей работе литературоведа Л. Сараскиной по поводу критики Достоевским мифа об Америке читаем: «Бегство в Америку, по Достоевскому, — это прежде всего либеральный миф, распространяющийся в русской среде как пожар. Достоевский высмеивает тех, кто готов пресмыкаться перед либеральным вздором, у кого закрыты глаза на истинное положение вещей». (Сараскина Л.С. Испытание будущим. Ф.М. Достоевский как участник современной культуры. М.: Прогресс — Традиция, 2010. С. 138).

² Достоевский Ф.М. Цит. соч. С. 116.

частью которого является право на убийство. Ради утверждения своего поступка, своего «права», он, не задумываясь, отвергает отношение Сони, ради отстаивания собственной правоты бессердечно идет на все. Вот этот разговор.

« — Катерина Ивановна в чахотке, в злой; она скоро умрет, — сказал Раскольников, помолчав и не ответив на вопрос.

— Ох, нет, нет, нет! — И Соня бессознательным жестом схватила его за обе руки, как бы упрашивая, чтобы нет.

— Да ведь это ж лучше, коль умрет.

— Нет, не лучше, не лучше, совсем не лучше! — испуганно и безотчетно повторяла она.

— А дети-то? Куда ж вы тогда возьмете их, коль не к вам?

— Ох, уж не знаю! — вскрикнула Соня почти в отчаянии и схватилась за голову. Видно было, что эта мысль уж много-много раз в ней самой мелькала, и он только вспугнул опять эту мысль.

— Ну а коль вы, еще при Катерине Ивановне, теперь, заболете и вас в больницу свезут, ну что тогда будет? — безжалостно настаивал он.

— Ах, что вы, что вы! Этого-то уж не может быть! — И лицо Сони искривилось страшным испугом.

— Как не может быть? — продолжал Раскольников с жесткой усмешкой, — не застрахованы же вы? Тогда что с ними станется? На улицу всею гурьбой пойдут, она будет кашлять и просить, и об стену где-нибудь головой стучать, как сегодня, а дети плакать... а там упадет, в часть свезут, в больницу, умрет, а дети...

— Ох, нет!.. Бог этого не попустит! — вырвалось наконец из стесненной груди у Сони. Она слушала, с мольбой смотря на него и складывая в немой просьбе руки, точно от него всё и зависело.

Раскольников встал и начал ходить по комнате. Прошло с минуту. Соня стояла, опустив руки и голову, в страшной тоске.

— А копить нельзя? На черный день откладывать? — спросил он, вдруг останавливаясь перед ней.

— Нет, — прошептала Соня.

— Разумеется, нет! А пробовали? — прибавил он чуть не с насмешкой.

— Пробовала.

— И сорвалось! Ну, да разумеется! Что и спрашивать!

И опять он пошел по комнате. Еще прошло с минуту.

— Не каждый день получаете-то?

Соня больше прежнего смутилась, и краска ударила ей опять в лицо.

— Нет, — прошептала она с мучительным усилием.

— С Полечкой, наверно, то же самое будет, — сказал он вдруг.

— Нет! нет! Не может быть, нет! — как отчаянная, громко вскрикнула Соня, как будто ее вдруг ножом ранили. — Бог, бог такого ужаса не допустит!..

— Других допускает же.

— Нет, нет! Ее бог защитит, бог!.. — повторяла она, не помня себя.

— Да, может, и бога-то совсем нет, — с каким-то даже зло-радством ответил Раскольников, засмеялся и посмотрел на нее.

Лицо Сони вдруг страшно изменилось: по нем пробежали судороги. С невыразимым укором взглянула она на него, хотела было что-то сказать, но ничего не могла выговорить и только вдруг горько-горько зарыдала, закрыв руками лицо.

— Вы говорите, у Катерины Ивановны ум мешается; у вас самой ум мешается, — проговорил он после некоторого молчания.

Прошло минут пять. Он всё ходил взад и вперед, молча и не взглядывая на нее. Наконец подошел к ней; глаза его сверкали. Он взял ее обеими руками за плечи и прямо посмотрел в ее плачущее лицо. Взгляд его был сухой, воспаленный, острый, губы его сильно вздрагивали... Вдруг он весь быстро наклонился и, припав к полу, поцеловал ее ногу. Соня в ужасе от него отшатнулась, как от сумасшедшего. И действительно, он смотрел как совсем сумасшедший.

— Что вы, что вы это? Передо мной! — пробормотала она, побледнев, и больно-больно сжало вдруг ей сердце.

Он тотчас же встал.

— Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился, — как-то дико произнес он и отошел к окну. — Слушай, — прибавил он, воротившись к ней через минуту, — я давеча сказал одному обидчику, что он не стоит одного твоего мизинца... и что я моей сестре сделал сегодня честь, посадив ее рядом с тобою.

— Ах, что вы это им сказали! И при ней? — испуганно вскрикнула Соня, — сидеть со мной! Честь! Да ведь я... бесчестная... Я великая, великая грешница! Ах, что вы это сказали!

— Не за бесчестие и грех я сказал это про тебя, а за великое страдание твое. А что ты великая грешница, то это так, — прибавил он почти восторженно, — а пуще всего, тем ты грешница, что *понапрасну* умертвила и предала себя. Еще бы это не ужас! Еще бы не ужас, что ты живешь в этой грязи, которую так ненавидишь, и в то же время знаешь сама (только стоит глаза раскрыть), что никому ты этим не помогаешь и никого ни от чего не спасаешь! Да скажи же мне наконец, — проговорил он, почти в исступлении, — как этакой позор и такая низость в тебе рядом с другими противоположными и святыми чувствами совмещаются? Ведь справедливее, тысячу раз справедливее и разумнее было бы прямо головой в воду и разом покончить!»¹

В конце романа Достоевский заставляет Раскольникову под влиянием Сони перемениться. Но делается это не через показ этого процесса, а пересказом, авторским проговором, что, без сомнения, снижает читательскую веру в такой исход дела, в целом — в достоверность финала истории. Впрочем, что касается героев-антиподов «подпольных», то надо отметить и следующее. В отличие от других (будущих) идеальных героев — князя Льва Николаевича Мышкина и Алеши Карамазова — Соня Мармеладова, возможно, наиболее слабо выполненный писателем образ. Из романа мы не узнаем ни о глубинных христианских основаниях, обусловивших ее столь жертвенное поведение, ни о процессе укоренения этих оснований в Соне, ни о том, как эта жертвенность уживается в ней с присущими каждому человеку импульсами, идущими от инстинкта самосохранения. Образ выписан как данность и потому довольно схематичен. Не будем, однако, забывать, что это первый крупный идеальный образ, создаваемый Федором Михайловичем.

Завершая анализ романа «Преступление и наказание» как очередного произведения Ф.М. Достоевского, посвященного главной его находке как мыслителя — героям его творчества «подпольным» людям, отмечу следующее. Образ «подпольного» человека Раскольникова знаменателен в галерее героев Достоевского прежде всего тем, что он попытался и успешно преодолел, казалось бы, непреодолимый родовой порок более ранних «подпольных» людей. В лице бедного питерского студента «подпольный» человек не только вдали от мира лелеял

¹ Там же. С. 245—246.

в себе и переживал, но соединил в поступке и явил миру свое собственное «подпольное» слово и дело. Дело это оказалось не менее ужасным, чем стоящее за ним внутреннее слово. Однако и оно, как мы увидим в дальнейшем, не исчерпало собой бездну мутной грязи и смешанной с гноем темной крови, которой был наполнен, подобно отвалившемуся от жертвы клопу, «подпольный» человек.

В чередѣ рассматриваемых мной персонажей русской литературы 40—60-х годов XIX столетия «подпольный» человек тоже был «новым» человеком. И, к несчастью, за ним теснились и готовились ступить на свет его еще более темные собратья. Правда, в отличие от героя «Записок из подполья» или сделавшего «опыт» Родиона Раскольникова они уже не испытывали мучений из-за невозможности соединения «слова» и «дела». Они ни минуты не сомневались и были уверены, что имеют право на все. Более того: они сделали это своим чуть ли не ежедневным занятием. Этих «подпольных» мы увидим в «Идиоте», в «Бесах», в «Братьях Карамазовых». И им будут противостоять другие «новые» люди — выдуманные писателем идеальные персонажи. Что произойдет между ними? Чем кончится?

* * *

Роман «Идиот» начинается ночной сценой в вагоне поезда, среди пассажиров которого главный герой — князь Лев Николаевич Мышкин. В детстве князь сильно болел, был признан «идиотом» и отправлен на лечение в Швейцарию. Там он выздоровел и вот теперь возвращается в Россию. По тому, какие персонажи окружают князя на родине с первых шагов и как они себя ведут, ясно, что это глубоко «подпольные» люди, которые, выйдя из подвалов на поверхность земли, настолько освоились, что и ее начали превращать в «подполье». Герои эти — главные спутники дальнейших приключений князя — молодой купец Парфен Рогожин¹, только что получивший огромное наследство умершего отца и угреватый чиновник по фамилии Лебедев. Вяжавшись в разговор князя с Рогожиным, Лебедев сразу обнаруживает свой к миллионщику интерес, который незамедлительно ставит для себя превыше всякого другого:

¹ Фамилия Рогожин, вероятно, является производным от названия московского Рогожского кладбища для сектантов. Сектанты, согласно В.И. Далю, — братство, принявшее своё, отдельное учение о вере, которое «ортодоксальными» верующими трактуется как ересь или раскол.

« ...А теперь миллиончик с лишком разом получить приходится, и это по крайней мере, о господи! — всплеснул руками чиновник.

— Ну чего ему, скажите, пожалуйста! — раздражительно и злобно кивнул на него опять Рогожин, — ведь я тебе ни копейки не дам, хоть ты тут вверх ногами предо мной ходи.

— И буду, и буду ходить.

— Вишь! Да ведь не дам, не дам, хошь целую неделю пляши!

— И не давай! Так мне и надо; не давай! А я буду плясать. Жену, детей малых брошу, а пред тобой буду плясать. Польсти, польсти!»¹

Но если «подпольные» люди взяты Достоевским из реальности, то князь Мышкин — не навеянный действительностью, а целиком вымышленный образ. Он — созданное писателем идеальное образование, продолжающее линию, намеченную образом Сони Мармеладовой. Он — искусственная конструкция, составленная из философских и моральных идей, в том числе и некоторых черт образа жизни Запада, где и происходило становление Мышкина — личности. То, что князь — пришелец, путешественник в чужой для него России, дает прекрасные возможности для показа нравов страны достаточно объективно, так как Мышкина с ней ничто не связывает и он в ней ни от чего не зависит. (В дальнейшем независимое положение князя усилится получением неожиданного наследства.) Даже его родство с генеральшей Епанчиной — лишь повод для его знакомства с семейством. Больше тема родства не будет акцентирована в романе ни разу.

Князь сразу ставится Достоевским в ситуацию тесного контакта, постоянного взаимодействия с вышедшим на свет «подпольем». В контексте романа это имеет несколько прочтений. Это и столкновение говорящего на русском языке христианского западного мира с растекшимся по России «подпольем». Это и противодействие христианства традиционному российскому язычеству. Это, наконец, подобие нового пришествия в мир Христа и его последняя битва с Сатаной в образе названного брата Льва Николаевича Парфена Рогожина.

Вагонный знакомец князя Рогожин — фигура, отвечающая всем перечисленным трактовкам «подполья» при свете дня. Он купец и потому социальная фигура, тесно связанная с традици-

¹ *Достоевский Ф.М.* Цит. соч. Т. 8. С.10.

ями нашей страны. В то же время он уже и «новый» капиталистический человек, делающий деньги в современной экономической среде. Он, наконец, необразован и по своему духовному миру и образу жизни русский язычник.

Лебедев — чиновник из мелких, то есть почти социальный маргинал, каких в стране сотни тысяч. Его легко причислить как к когорте вчерашних дворовых крепостных из числа приближенных к помещику, так и к разряду мелких управляющих, недавно вышедших из крепостного состояния, но все равно по сути своей оставшихся рабами. Оба они — плоть от плоти России, и оба, включаясь в отношения с князем, представляют «подполье», столкнувшееся с неизвестно как занесенным в Россию светлым началом. Завершает эту первоначальную личностную рекогносцировку диагноз — второе имя князя — «идиот».

Контакт князя с «подпольными» людьми после знакомства в вагоне по-новому продолжается в доме генерала Епанчина, куда Лев Николаевич попадает со своим узелком. (Узелок — все его имущество, что лишний раз подчеркивает его неприкрытость и даже обнаженность в столкновении с его друзьями-недругами.) И здесь же обозначается один из главных «предметов» проводимого Достоевским исследования столкновения христианского начала с «подпольем» — личность Настасьи Филипповны Барашковой¹.

О красавице Настасье Филипповне известно, что она еще девочкой была взята в «опеку» богачом, «членом компаний и обществ», «сластолюбцем закоренелым, который в себе не властен», Афанасием Ивановичем Тоцким, решившим вырастить красавицу «для себя». Однако, несмотря на свое презираемое обществом положение, Настасья Филипповна сумела так поставить себя, что Тоцкий начал бояться этой выросшей из ребенка женщины. Какова стала эта женщина-содержанка, что сделало с ней «подполье» и в какой мере она сама теперь тоже «подпольный» человек? Вопросы эти той самостоятельностью и независимостью, которую Настасья Филипповна завоевала для себя, как мы поймем, не снимаются.

Увидев ее портрет, князь сразу влюбляется. Но во что? В образ, в пережитое страдание? Знаменательны первые сказанные им слова:

¹ Имя Настасья Барашкова несет в себе смысл «агнец воскресения».

« — Удивительное лицо! — ответил князь, — и я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят, вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек. Это гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Всё было бы спасено!»¹ И, далее, на вопрос Ганечки о том, женился ли бы на ней Рогожин, князь дает провидческий ответ: «Женился бы, а чрез неделю, пожалуй, и зарезал бы ее»².

Как завязка, так и последующее изложение укрепляют читателя романа в мысли, что «подпольность» — универсальная человеческая черта, свойственная едва ли не всем людям вообще. В трактовке Достоевского, «подпольность» — это невыход человека из первобытного язычества, это глухота или неприятие христианства и Христа, это неумение или нежелание проявлять милость к ближним и дальним, нежелание прощать, неумение постоянно бороться и изживать в себе грязное и низменное. Это, наконец, кураж и любование собственным низменным началом, психологическая игра со всевозможными проявлениями низменного и даже любование своими пороками и мерзостями. Все это в полной мере демонстрируют «подпольные» люди, от всего этого — терпеливо и сострадательно — пытается освободить их князь — христианин и «идиот».

«Подпольность» многогранна. Дикарски-«подполен» увлеченный страстью к Настасье Филипповне Парфен Рогожин. Низменно-«подполен» сладострастник Афанасий Иванович Тоцкий. Трусливо-«подполен» водящий с ним дружбу отец семейства генерал Иван Федорович Епанчин, «человек умный и ловкий», который, однако, на старости лет «соблазнился сам Настасьей Филипповной». Проективно-«подполен» молодой человек Гаврила Ардалионович Иволгин (Ганечка), мечущийся между Настасьей Филипповной и младшей дочерью генерала Епанчина красавицей Аглаей. По-разному «подпольна» многочисленная рогожинская бесовская «свита», постепенно, по мере развертывания роковой «сцепки» князя и Рогожина перетекающая в его окружение, с тем чтобы ежечасно, как ржавчина, разъедать его самого.

Роман может служить своего рода хрестоматией, составленной из сюжетов — проявлений «подпольности», нравственных

¹ Там же. С. 31—32.

² Там же.

мерзостей разного рода. Так, Тоцкий, дабы быть уверенным, что в канун затеянной им выгодной женитьбы от Настасьи Филипповны не последует какой-либо неприятности, предлагает ей плату в размере семидесяти пяти тысяч «за девичий позор, в котором она не виновата», равно как и «вознаграждение за исковерканную судьбу». Здесь же, в этом сюжете, рассчитывающий на согласие Настасьи Филипповны выйти за него замуж, Ганя тем не менее в качестве «страховочного» варианта пытается заручиться положительным ответом и от Аглаи¹. Вот как он сам в связи с Настасьей Филипповной объясняет свой «расчетец»:

« — А, нравственность! Что я еще мальчишка, это я и сам знаю, — горячо перебил Ганя, — и уж хоть тем одним, что с вами такой разговор завел. Я, князь, не по расчету в этот мрак иду, — продолжал он, проговариваясь, как уязвленный в своем самолюбии молодой человек, — по расчету я бы ошибся наверно, потому и головой и характером еще не крепок. Я по страсти, по влечению иду, потому что у меня цель капитальная есть. Вы вот думаете, что я семьдесят пять тысяч получу и сейчас же карету куплю. Нет-с, я тогда третьегодний старый сюртук донашивать стану и все мои клубные знакомства брошу. У нас мало выдерживающих людей, хоть и всё ростовщики, а я хочу выдержать. Тут, главное, довести до конца — вся задача! Птицын семнадцати лет на улице спал, перочинными ножичками торговал и с копейки начал; теперь у него шестьдесят тысяч, да только после какой гимнастики! Вот эту-то я всю гимнастику и перескочу и прямо с капитала начну; чрез пятнадцать лет скажут: «Вот Иволгин, король иудейский». Вы мне говорите, что я человек не оригинальный. Заметьте себе, милый князь, что нет ничего обиднее человеку нашего времени и племени, как сказать ему, что он не оригинален, слаб характером, без особенных талантов и человек обыкновенный. Вы меня даже хорошим подлецом не удостоили честь, и, знаете, я вас давеча съестъ за это хотел! Вы меня пуще

¹ Редкий для Достоевского случай — прямого разоблачения «подпольности» — демонстрирует в силу своего характера Аглая, когда объясняет князю уловку Ганечки: «...у него душа грязная; он знает и не решается, он знает и все-таки гарантии просит. Он на веру решиться не в состоянии. Он хочет, чтоб я ему, взамен ста тысяч, на себя надежду дала. Насчет же прежнего слова, про которое он говорит в записке и которое будто бы озарило его жизнь, то он нагло лжет. Я просто раз пожалела его. Но он дерзок и бесстыден: у него тотчас же мелькнула тогда мысль о возможности надежды; я это тотчас же поняла. С тех пор он стал меня улавливать; ловит и теперь». Там же. С. 72.

Епанчина оскорбили, который меня считает (и без разговоров, без соблазнов, в простоте души, заметьте это) способным ему жену продать! Это, батюшка, меня давно уже бесит, и я денег хочу. Нажив деньги, знаете, — я буду человек в высшей степени оригинальный. Деньги тем всего подлее и ненавистнее, что они даже таланты дают. И будут давать до скончания мира. Вы скажете, это всё по-детски или, пожалуй, поэзия, — что ж, тем мне же веселее будет, а дело все-таки сделается. Доведу и выдержу. *Rira bien qui rira le dernier!*¹

В связи с четким формулированием Ганечкой цели отмечу, что все сколько-нибудь масштабные «подпольные» люди, начиная с Родиона Романовича Раскольников, выбираясь из сумрака на свет, утверждают (или пытаются утвердиться) на поверхности посредством «капитальной», как они полагают, цели. Для Ганечки эта цель, диктуемая «страстью и влечением», — деньги. Он (как мы увидим в дальнейшем, в этом не одинок) всерьез считает, что деньги «даже таланты дают». Ради денег он готов в буквальном смысле на все. Впрочем, «на все» по-своему готовы и прочие «подпольные»: Лебедев, как он манифестировал это Рогожину при первом же знакомстве, так же за деньги готов на все². Рогожин ради удовлетворения своей сумасшедшей страсти, как это открывается в романе, готов на убийство — сперва князя, а затем Настасьи Филипповны.

В разворачивающуюся на протяжении нескольких глав сцену первого столкновения «подпольности» и христианства Рогожин включается со своим откровенным и примитивным желанием тут же, не сходя с места, «покорить щедростью» — купить любовь Настасьи Филипповны. К нему органично в роли наставника пытается примкнуть Лебедев:

« — ...Ну!.. Настасья Филипповна! Они говорят, что вы помолвились с Ганькой! С ним-то? Да разве это можно? (Я им всем говорю!). Да я его всего за сто рублей куплю, дам ему тысячу, ну, три, чтоб отступился, так он накануне свадьбы бежит, а невесту всю мне оставит. Ведь так, Ганька, подлец! Ведь уж взял бы три тысячи! Вот они, вот! С тем и ехал, чтобы с тебя подписку такую взять; сказал: куплю — и куплю!

— Ступай вон отсюда, ты пьян! — крикнул красневший и бледневший попеременно Ганя.

¹ Хорошо смеется тот, кто смеется последним! (*франц.*) Там же. С. 105.

² При этом «подпольный» Лебедев убежден, что «рожден Талейраном и неизвестно каким образом остался лишь Лебедевым». Там же. С. 487.

За его окриком вдруг послышался внезапный взрыв нескольких голосов: вся команда Рогожина давно уже ждала первого вызова. Лебедев что-то с чрезвычайным старанием нашептывал на ухо Рогожину.

— Правда, чиновник! — ответил Рогожин, — правда, пьяная душа! Эх, куда ни шло. Настасья Филипповна! — вскричал он, глядя на нее как полоумный, робея и вдруг ободряясь до дерзости, — вот восемнадцать тысяч! — И он шаркнул пред ней на столик пачку в белой бумаге, обернутую накрест шнурками, — вот! И... и еще будет!

Он не осмелился договорить, чего ему хотелось.

— Ни-ни-ни! — зашептал ему снова Лебедев с страшно испуганным видом; можно было угадать, что он испугался громадности суммы и предлагал попробовать с несравненно меньшего.

— Нет, уж в этом ты, брат, дурак, не знаешь, куда зашёл... да, видно, и я дурак с тобой вместе! — спохватился и вздрогнул вдруг Рогожин под засверкавшим взглядом Настасьи Филипповны. — Э-эх! Соврал я, тебя послушался, — прибавил он с глубоким раскаянием.

Настасья Филипповна, взглядевшись в опрокинутое лицо Рогожина, вдруг засмеялась.

— Восемнадцать тысяч, мне? Вот сейчас мужик и скажется! — прибавила она вдруг с наглою фамильярностью и привстала с дивана, как бы собираясь ехать. Ганя с замиранием сердца наблюдал всю сцену.

— Так сорок же тысяч, сорок, а не восемнадцать! — закричал Рогожин, — Ванька Птицын и Бискуп к семи часам обещались сорок тысяч представить. Сорок тысяч! Все на стол.

Сцена выходила чрезвычайно безобразная, но Настасья Филипповна продолжала смеяться и не уходила, точно и в самом деле с намерением протягивала ее. Нина Александровна и Варя тоже встали с своих мест и испуганно, молча ждали, до чего это дойдет; глаза Вари сверкали, но на Нину Александровну всё это подействовало болезненно; она дрожала, и казалось, тотчас упадет в обморок.

— А коли так — сто! Сегодня же сто тысяч представлю! Птицын, выручай, руки нагреешь!»¹

¹ Там же. С. 97—98.

Достоевский как на хирургическом столе пластает перед читателем существо с именем «подполье», и постепенно мы видим его анатомию, начинаем понимать способ взаимосвязи между его органами. Вот грубая страсть, вырастающая из безудержных низменных инстинктов; вот тщеславие и инстинкт властвования, вызревающие из уверенности, что деньги — высшая и универсальная сила; вот убежденность, что все люди — рабы инстинктов, похоти и жажды власти, лишь с разной степенью умелости скрывающие друг от друга свои неискоренимые базовые влечения.

Впрочем, и скрывают иногда свою низость «подпольные» всего лишь понарошку, потому как она — низость — и есть их главное отличие от прочих людей, их главная «оригинальность» (по словам Ганечки), без которой они просто были бы серой массой. Одна из фундаментальных сцен демонстрации «подпольности» — чтение клеветнической статьи из газеты о князе его «подпольными» гостями у него на веранде. По масштабу раскрытия «подпольности» сцена эта — «битва при Бородино» Достоевского.

«...— Он говорит, что этот вот кривляка, твой-то хозяин... тому господину статью поправлял, вот что давеча на твой счет прочитали.

Князь с удивлением посмотрел на Лебедева.

— Что ж ты молчишь? — даже топнула ногой Лизавета Прокофьевна.

— Что же, — пробормотал князь, продолжая рассматривать Лебедева, — я уж вижу, что он поправлял.

— Правда? — быстро обернулась Лизавета Прокофьевна к Лебедеву.

— Истинная правда, ваше превосходительство! — твердо и непоколебимо ответил Лебедев, приложив руку к сердцу.

— Точно хвалится! — чуть не привскочила она на стуле.

— Низок, низок! — забормотал Лебедев, начиная ударять себя в грудь и всё ниже и ниже наклоняя голову.

— Да что мне в том, что ты низок! Он думает, что скажет "низок", так и вывернется. И не стыдно тебе, князь, с такими людишками водиться, еще раз говорю? Никогда не прошу тебе!

— Меня прости князь! — с убеждением и умилением проговорил Лебедев.

— Единственно из благородства, — громко и звонко заговорил вдруг подскочивший Келлер, обращаясь прямо к Лизавете

Прокофьевне, — единственно из благородства, сударыня, и чтобы не выдать скомпрометированного приятеля, я давеча утаил о поправках, несмотря на то что он же нас с лестницы спустить предлагал, как сами изволили слышать. Для восстановления истины признаюсь, что я действительно обратился к нему, за шесть целковых, но отнюдь не для слога, а, собственно, для узнания фактов, мне большею частью неизвестных, как к компетентному лицу. Насчет штиблетов, насчет аппетита у швейцарского профессора, насчет пятидесяти рублей вместо двухсот пятидесяти, одним словом, вся эта группировка, всё это принадлежит ему, за шесть целковых, но слог не поправляли»¹, — спешит присоединиться к признанию-похвальбе Лебедева Келлер.

Впрочем, Лебедев и Келлер — не самые крупные фигуры из «подпольных». Подлинный исполин «подпольности» в романе — медленно умирающий от чахотки молодой человек Ипполит Терентьев. О собственной общественной значимости и способностях его оценка такова:

« — ...хотел вас спросить, господин Терентьев, правду ли я слышал, что вы того мнения, что стоит вам только четверть часа в окошко с народом поговорить, и он тотчас же с вами во всем согласится и тотчас же за вами пойдет?

— Очень может быть, что говорил... — ответил Ипполит, как бы что-то припоминая. — Непременно говорил!»² И далее: «...я хотел быть деятелем, я имел право... О, как я много хотел! Я ничего теперь не хочу, ничего не хочу хотеть, я дал себе такое слово, чтоб уже ничего не хотеть; пусть, пусть без меня ищут истины! Да, природа насмешлива! Зачем она, — подхватил он вдруг с жаром, — зачем она создает самые лучшие существа с тем, чтобы потом насмеяться над ними? Сделала же она так, что единственное существо, которое признали на земле совершенством... сделала же она так, что, показав его людям, ему же и предназначила сказать то, из-за чего пролилось столько крови, что если б пролилась она вся разом, то люди бы захлебнулись, наверно! О, хорошо, что я умираю! Я бы тоже, пожалуй, сказал какую-нибудь ужасную ложь, природа бы так подвела!»³

«Подпольный» не может не сознавать спрятанные в действительности (реальности) великие силы, которым он не может соответствовать или противостоять со своими претензиями на

¹ *Достоевский Ф.М.* Цит. соч. С. 241, 242.

² Там же. С. 244—245.

³ Там же. С. 247.

истину и величие. Эта реальность (в терминологии Ипполита — «природа») беспощадно смеется над ним. И он не может ей этого простить.

Так же он не может простить и перестать ненавидеть своего злейшего врага, по замыслу автора почти повторяющего на земле путь того «единственного существа, которое признали на земле совершенством» — проявляющего безграничное милосердие князя, отчетливо напоминающего нам Христа и, возможно, изображенного Достоевским как раз в момент его второго пришествия. Происходит это потому, что князь не заблуждается относительно «подпольного» ни в чем — видит его ничтожество и мерзость, но, что наиболее нестерпимо для «подпольных», прощает. Именно прощение, невозможное без адекватного понимания, и возвышение прощающего над прощаемым, а значит, и лишение «подпольных» «оригинальности», которой они вожделяют, — самый тяжкий удар по их самолюбию и мечтам о господстве над миром. Этого — их низведения до ранга обыкновенных ничтожеств,— «подпольные» перенести не в силах. Это, вслед за Ганечкой, формулирует Ипполит:

« ...Вдруг Ипполит поднялся, ужасно бледный и с видом страшного, доходившего до отчаяния стыда на искаженном своем лице...

— Ну, вот этого я и боялся! — воскликнул князь. — Так и должно было быть!

Ипполит быстро обернулся к нему с самою бешеною злобой, и каждая черточка на лице его, казалось, трепетала и говорила.

— А, вы этого и боялись! "Так и должно было быть", повашему? Так знайте же, что если я кого-нибудь здесь ненавижу, — завопил он с хрипом, с визгом, с брызгами изо рта (я вас всех, всех ненавижу!), — но вас, вас, иезуитская, паточная душонка, идиот, миллионер-благодетель, вас более всех и всего на свете! Я вас давно понял и ненавидел, когда еще слышал о вас, я вас ненавидел всею ненавистью души... Это вы теперь всё подвели! Это вы меня довели до припадка! Вы умирающего довели до стыда, вы, вы, вы виноваты в подлом моем малодушии! Я убил бы вас, если б остался жить! Не надо мне ваших благодетний, ни от кого не приму, слышите, ни от кого, ничего! Я в бреду был, и вы не смеете торжествовать!.. Проклинаю всех вас раз навсегда!»¹

¹ Там же. С. 249.

Отчего «подпольные» ищут «оригинальности»? Причина — жажда отличиться «чем бог послал», хотя бы и низостью — лишь одна часть объяснения. Другая же — в их органическом стремлении не быть похожими (и непременно — не вообще не быть похожими на кого-нибудь, а именно на кого-нибудь по их сознательному взыскательному выбору), в том числе и на людей «практических», то есть имеющих положение и состояние. Конечно, русские так называемые «практические» люди вряд ли заслуживают того, чтобы на них в чем-то равняться. Но они — одна из действительных «вершин» на скудном отечественном пейзаже и потому для «подпольных» — объект соперничества.

В начале третьей части романа Достоевский дает подробное описание так называемых практических людей. Из длинного определения следует, что «практические» люди по-русски — это — заурядные фигуры из родовой знати или из состоятельных слоев. Что прививаемое таким людям с молодости смысловое выражение стремления к практичности — «Будешь в золоте ходить, генеральский чин носить!», собственно, только этим и исчерпывается. Что вставший на «практический» путь, к примеру, русский вельможа за тридцать пять лет безупречной и столь же бесполезной службы скапливал известную сумму в ломбарде, получал генеральский чин и вождевленное общественное звание человека «дельного и практического». А между тем сыскать «порядочного администратора» для какого-либо предприятия или хоть прислугу для железной дороги в стране было задачей невыполнимой.

Чахоточный Ипполит, уже фактом своей болезни поставленный в исключительно удобное для откровенности положение (он знает, что скоро умрет, знает, что к нему испытывают сострадание и многое за его положение прощают), в письменном пересказе одного из своих снов дает зримое представление, которое могло бы послужить образом «подпольности». Это сон о фантастической гадине. Вот он. «...Я видел один хорошенький сон (впрочем, из тех, которые мне теперь снятся сотнями). Я заснул ...и видел, что я в одной комнате (но не в моей). Комната больше и выше моей, лучше меблирована, светлая; шкаф, комод, диван и моя кровать, большая и широкая и покрытая зеленым шелковым стеганым одеялом. Но в этой комнате я заметил одно ужасное животное, какое-то чудовище. Оно было вроде скорпиона, но не скорпион, а гаже и гораздо ужаснее, и, кажется, именно тем, что таких животных в природе нет, и что оно *нарочно* у меня

явилось, и что в этом самом заключается будто бы какая-то тайна. Я его очень хорошо разглядел: оно коричневое и скорлупчатое, пресмыкающийся гад длиной вершка в четыре, у головы толщиной в два пальца, к хвосту постепенно тоньше, так что самый кончик хвоста толщиной не больше десятой доли вершка. На вершок от головы из туловища выходят, под углом в сорок пять градусов, две лапы, по одной с каждой стороны, вершка по два длиной, так что всё животное представляется, если смотреть сверху, в виде трезубца. Головы я не рассмотрел, но видел два усика, не длинные, в виде двух крепких игл, тоже коричневые. Такие же два усика на конце хвоста и на конце каждой из лап, всего, стало быть, восемь усиков. Животное бегало по комнате очень быстро, упираясь лапами и хвостом, и когда бежало, то и туловище и лапы извивались как змейки, с необыкновенною быстротой, несмотря на скорлупу, и на это было очень гадко смотреть. Я ужасно боялся, что оно меня ужалит; мне сказали, что оно ядовитое, но я больше всего мучился тем, кто его прислал в мою комнату, что хотят мне сделать и в чем тут тайна? Оно пряталось под комод, под шкаф, заползло в углы. Я сел на стул с ногами и поджал их под себя. Оно быстро перебежало наискось всю комнату и исчезло где-то около моего стула. Я в страхе осматривался, но так как я сидел поджав ноги, то и надеялся, что оно не всползет на стул. Вдруг я услышал сзади меня, почти у головы моей, какой-то трескучий шелест; я обернулся и увидел, что гад всползает по стене и уже наравне с моею головой и касается даже моих волос хвостом, который вертелся и извивался с необычайною быстротой. Я вскочил, исчезло и животное. На кровать я боялся лечь, чтобы оно не заползло под подушку. В комнату пришли моя мать и какой-то ее знакомый. Они стали ловить гадину, но были спокойнее, чем я, и даже не боялись. Но они ничего не понимали. Вдруг гад выполз опять; он полз в этот раз очень тихо и как будто с каким-то особым намерением, медленно извиваясь, что было еще отвратительнее, опять наискось комнаты, к дверям. Тут моя мать отворила дверь и кликнула Норму, нашу собаку, — огромный тернёф, черный и лохматый; умерла пять лет тому назад. Она бросилась в комнату и стала над гадиной как вкопанная. Остановился и гад, но всё еще извиваясь и пощелкивая по полу концами лап и хвоста. Животные не могут чувствовать мистического испуга, если не ошибаюсь; но в эту минуту мне показалось, что в испуге Нормы было что-то как будто очень необыкновенное, как будто тоже

почти мистическое, и что она, стало быть, тоже предчувствует, как и я, что в звере заключается что-то роковое и какая-то тайна. Она медленно отодвигалась назад перед гадом, тихо и осторожно ползшим на нее; он, кажется, хотел вдруг на нее броситься и ужалить. Но, несмотря на весь испуг, Норма смотрела ужасно злобно, хоть и дрожала всеми членами. Вдруг она медленно оскалила свои страшные зубы, открыла всю свою огромную красную пасть, приноровилась, изловчилась, решила и вдруг схватила гада зубами. Должно быть, гад сильно рванулся, чтобы выскользнуть, так что Норма еще раз поймала его, уже на лету, и два раза всю пастью вобрала его в себя, всё на лету, точно глотая. Скорлупа затрещала на ее зубах; хвостик животного и лапы, выходявшие из пасти, шевелились с ужасною быстротой. Вдруг Норма жалобно взвизгнула: гадина успела-таки ужалить ей язык. С визгом и воем она раскрыла от боли рот, и я увидел, что разгрызенная гадина еще шевелилась у нее поперек рта, выпуская из своего полураздавленного туловища на ее язык множество белого сока, похожего на сок раздавленного черного таракана... Тут я проснулся, и вошел князь»¹

Сознавая, что в нем есть много грязного, от которого ему следовало бы избавиться, но тем не менее не желая признавать это, Ипполит в своем письменном рассказе исключает для себя возможность самоочищения. Забегая несколько вперед, отмечу, что по Достоевскому, поступая так, Ипполит тем самым отвергает единственно христианский верный путь. Путь этот — всеобщее признание каждым собственной вины перед другими, взаимное покаяние и прощение всех всеми. В «Дневнике писателя» за 1877 год о романе «Анна Каренина» во второй главе под названием «Один из главнейших современных вопросов» о сцене прощения Карениным Вронского у постели умирающей Анны Ф.М. писал: «Вместо тупых светских понятий явилось лишь человеколюбие. Все простили и оправдали друг друга. Сословность и исключительность вдруг исчезли и стали немыслимы, и эти люди из бумажки стали похожи на настоящих людей! Виноватых не оказалось: все обвинили себя безусловно и тем тотчас же себя оправдали»². У Ипполита же в статье — в насмешку над этим идеалом — написано: я «...мечтал, что все они вдруг растопырят руки, и примут меня в свои объятия,

¹ Там же. С. 323—324.

² *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 25. С. 52.

и попросят у меня в чем-то прощения, а я у них; одним словом, я кончил как бездарный дурак»¹.

Чтобы не выглядеть «дураком», Ипполит избирает другой выход.

«Вот что случилось:

Подойдя вплоть ко сходу с террасы, Ипполит остановился, держа в левой руке бокал и опустив правую руку в правый боковой карман своего пальто. Келлер уверял потом, что Ипполит еще и прежде всё держал эту руку в правом кармане, еще когда говорил с князем и хватал его левою рукой за плечо и за воротник, и что эта-то правая рука в кармане, уверял Келлер, и зародила в нем будто бы первое подозрение. Как бы там ни было, но некоторое беспокойство заставило и его побегать за Ипполитом. Но и он не поспел. Он видел только, как вдруг в правой руке Ипполита что-то блеснуло и как в ту же секунду маленький карманный пистолет очутился вплоть у его виска. Келлер бросился схватить его за руку, но в ту же секунду Ипполит спустил курок. Раздался резкий, сухой щелчок курка, но выстрела не последовало. Когда Келлер обхватил Ипполита, тот упал ему на руки, точно без памяти, может быть действительно воображая, что он уже убит. Пистолет был уже в руках Келлера. Ипполита подхватили, подставили стул, усадили его, и все столпились кругом, все кричали, все спрашивали. Все слышали щелчок курка и видели человека живого, даже не оцарапанного. Сам Ипполит сидел, не понимая, что происходит, и обводил всех кругом бессмысленным взглядом. Лебедев и Коля вбежали в это мгновение.

— Осечка? — спрашивали кругом.

— Может, и не заряжен? — догадывались другие.

— Заряжен! — провозгласил Келлер, осматривая пистолет, — но...

— Неужто осечка?

— Капсюля совсем не было, — возвестил Келлер.

— Трудно и рассказать последовавшую жалкую сцену. Первоначальный и всеобщий испуг быстро начал сменяться смехом; некоторые даже захохотали, находили в этом злорадное наслаждение. Ипполит рыдал как в истерике, ломал себе руки, бросался ко всем, даже к Фердыщенко, схватил его обеими руками и клялся ему, что он забыл, «забыл совсем нечаянно, а не нарочно» положить капсюль, что «капсюли эти вот все тут, в жилетном его

¹ Там же. Т 8. С. 325.

кармане, штук десять» (он показывал всем кругом), что он не насадил раньше, боясь нечаянного выстрела в кармане, что рассчитывал всегда успеть насадить, когда понадобится, и вдруг забыл. Он бросался к князю, к Евгению Павловичу, умолял Келлера, чтоб ему отдали назад пистолет, что он сейчас всем докажет, что "его честь, честь"... что он теперь "обесчещен навеки!..".

Он упал наконец в самом деле без чувств»¹.

Роман не дает однозначного ответа на вопрос, действительно ли Ипполит забыл положить капсуль или только имитировал попытку самоубийства. Это, однако, не важно, поскольку несостоявшимся поступком Ипполит еще раз подтверждает одну из характерных черт «подпольных» вообще — их способность в чем-то мелком соединять «слово» и «дело», но в крупном — неготовность идти до конца. Естественное подтверждение этого качества обнаруживает, как помним, и Раскольников, не сумевший в убийстве до конца сделать все «как надо», то есть и дверь запереть, и деньги, а не безделушки из комода взять, и не раскаяться. Трагедия Раскольникова — та же, что и Ипполита, не сумевшего застрелиться взаправду. Это трагедия мелкого беса, страдающего, что не дорос до ранга беса крупного.

По этому поводу — недоделании до конца — переживает и Гаврила Ардалионович, о чем прямо свидетельствует автор:

«Действующее лицо нашего рассказа, Гаврила Ардалионович Иволгин ...с ног до головы, был заражен желанием оригинальности. ...Глубокое и непрерывное самоощущение своей бесталанности и в то же время непреодолимое желание убедиться в том, что он человек самостоятельнейший, сильно поранили его сердце, даже чуть ли еще не с отроческого возраста. Это был молодой человек с завистливыми и порывистыми желаниями и, кажется, даже так и родившийся с раздраженными нервами. Порывчатость своих желаний он принимал за их силу. При своем страстном желании отличиться он готов был иногда на самый безрассудный скачок; но только что дело доходило до безрассудного скачка, герой наш всегда оказывался слишком умным, чтобы на него решиться. Это убивало его. Может быть, он даже решился бы, при случае, и на крайне низкое дело, лишь бы достигнуть чего-нибудь из мечтаемого; но, как нарочно, только что доходило до черты, он всегда оказывался слишком честным для крайне низкого дела. (На маленькое низкое дело он, впро-

¹ Там же. С. 348—349.

чем, всегда готов был согласиться.) С отвращением и с ненавистью смотрел он на бедность и на упадок своего семейства. Даже с матерью обращался свысока и презрительно, несмотря на то что сам очень хорошо понимал, что репутация и характер его матери составляли покамест главную опорную точку и его карьеры. Поступив к Епанчину, он немедленно сказал себе: "Коли подличать, так уж подличать до конца, лишь бы выиграть", — и почти никогда не подличал до конца. Да и почему он вообразил, что ему непременно надо будет подличать? Аглаи он просто тогда испугался, но не бросил с нею дела, а тянул его, на всякий случай, хотя никогда не верил серьезно, что она снизойдет до него. Потом, во время своей истории с Настасьей Филипповной, он вдруг вообразил себе, что достижение *всего* в деньгах. "Подличать, так подличать", — повторял он себе тогда каждый день с самодовольствием, но и с некоторым страхом; "уж коли подличать, так уж доходить до верхушки, — ободрял он себя поминутно, — рутина в этих случаях оробеет, а мы не оробеем!". Проиграв Аглаю и раздавленный обстоятельствами, он совсем упал духом и действительно принес князю деньги, брошенные ему тогда сумасшедшею женщиной, которой принес их тоже сумасшедший человек. в этом возвращении денег он потом тысячу раз раскаивался, хотя и непрестанно этим тщеславился. Он действительно плакал три дня, пока князь оставался тогда в Петербурге, но в эти три дня он успел и возненавидеть князя за то, что тот смотрел на него слишком уж сострадательно, тогда как факт, что он возвратил такие деньги, «не всякий решился бы сделать». Но благородное самопризнание в том, что вся тоска его есть только одно непрерывно раздавливаемое тщеславие, ужасно его мучило. Только уже долгое время спустя разглядел он и убедился, как серьезно могло бы обернуться у него дело с таким невинным и странным существом, как Аглая. Раскаяние грызло его; он бросил службу и погрузился в тоску и уныние. Он жил у Птицына на его содержании, с отцом и матерью, и презирал Птицына открыто, хотя в то же время слушался его советов и был настолько благоразумен, что всегда почти спрашивал их у него. Гаврила Ардалионович сердился, например, и на то, что Птицын не загадывает быть Ротшильдом и не ставит себе этой цели. "Коли уж ростовщик, так уж иди до конца, жми людей, чекань из них деньги, стань характером, стань королем иудейским!" Птицын был скромн и тих; он только улыбался, но раз нашел даже нужным объяс-

ниться с Ганей серьезно и исполнил это даже с некоторым достоинством. Он доказал Гане, что ничего не делает бесчестного и что напрасно тот называет его жидом; что если деньги в такой цене, то он не виноват; что он действует правдиво и честно, и, по-настоящему, он только агент по «этим» делам, и, наконец, что благодаря его аккуратности в делах он уже известен с весьма хорошей точки людям превосходнейшим, и дела его расширяются¹.

Боязнь ординарности, быть «серым», таким, как все, — это чувство, похоже, преследует всех «подпольных». Вот и Ипполит высказывает об этом Гане, совершенно сознавая, что и сам такой же «серый», и ненавидя Ганю за то, что он этим своим качеством ему, Ипполиту, о нем самом постоянно напоминает. «Ненавижу я вас, Гаврила Ардалионович, единственно за то, — вам это, может быть, покажется удивительным, — *единственно за то*, что вы тип и воплощение, олицетворение и верх самой наглой, самой самодовольной, самой пошлой и гадкой ординарности! Вы ординарность напыщенная, ординарность несомневающаяся и олимпийски успокоенная; вы рутина из рутин! Ни малейшей собственной идее не суждено воплотиться ни в уме, ни в сердце вашем никогда. Но вы завистливы бесконечно; вы твердо убеждены, что вы величайший гений, но сомнение все-таки посещает вас иногда в черные минуты, и вы злитесь и завидуете. О, у вас есть еще черные точки на горизонте; они пройдут, когда вы поглупеете окончательно, что недалеко; но все-таки вам предстоит длинный и разнообразный путь, не скажу веселый, и этому рад»².

«Подпольные» люди узнают друг друга по делам своим. Примечательно, что при этом оценивают они друг друга вполне объективно, называя вещи своими именами, то есть подлость — подлостью... Однако то, что хотя бы отдаленно свидетельствовало о рефлексии, у них напрочь отсутствует. Вот Ганя говорит об Ипполите своей сестре: «...представить не можешь, до какой степени это хитрая тварь; какой он сплетник, какой у него нос, чтоб отыскать чутьем всё дурное, всё, что скандально. Ну, верь не верь, а я убежден, что он Аглаю успел в руки взять! А не взял, так возьмет. Рогожин с ним тоже в сношения вошел. Как это князь не замечает! И уж как ему теперь хочется меня подсидеть!

¹ Там же. С. 386—387.

² Там же. С. 399.

За личного врага меня почитает, я это давно раскусил, и с чего, что ему тут, ведь умрет, — я понять не могу! Но я его надую; увидишь, что не он меня, а я его подсижу.

— Зачем же ты переманил его, когда так ненавидишь? И стоит он того, чтоб его подсизживать?

— Ты же переманить его к нам посоветовала.

— Я думала, что он будет полезен; а знаешь, что он сам теперь влюбился в Аглаю и писал к ней? Меня спрашивали... чуть ли он к Лизавете Прокофьевне не писал.

— В этом смысле не опасен! — сказал Ганя, злобно засмеявшись. — Впрочем, верно что-нибудь да не то. Что он влюблен, это очень может быть, потому что мальчишка! Но... он не станет анонимные письма старухе писать. Это такая злобная, ничтожная, самодовольная посредственность!.. Я убежден, я знаю наверно, что он меня пред нею интриганом выставил, с того и начал. Я, признаюсь, как дурак ему проговорился сначала; я думал, что он из одного мщения к князю в мои интересы войдет; он такая хитрая тварь! О, я раскусил его теперь совершенно. А про эту покражу он от своей же матери слышал, от капитанши.

Старик если и решился на это, так для капитанши. Вдруг мне, ни с того ни с сего, сообщает, что «генерал» его матери четыреста рублей обещал, и совершенно этак ни с того ни с сего, безо всяких церемоний. Тут я всё понял. И так мне в глаза и заглядывает, с наслаждением с каким-то; мамаше он, наверно, тоже сказал, единственно из удовольствия сердце ей разорвать. И чего он не умирает, скажи мне, пожалуйста? Ведь обязался чрез три недели умереть, а здесь еще потолстел! Перестает кашлять; вчера вечером сам говорил, что другой уже день кровью не кашляет.

— Выгони его.

— Я не ненавижу его, а презираю, — гордо произнес Ганя. — Ну да, да, пусть я его ненавижу, пусть! — вскричал он вдруг с необыкновенною яростью. — И я ему выскажу это в глаза, когда он даже умирать будет на своей подушке! Если бы ты читала его исповедь, — боже, какая наивность наглости! Это поручик Пирогов, это Ноздрев в трагедии, а главное — мальчишка! О, с каким бы наслаждением я тогда его высек, именно чтоб удивить его. Теперь он всем мстит за то, что тогда не удалось...»¹

Может быть, одно из самых любимых дел «подпольных» — выискивание черт «подпольности» у других, нормальных лю-

¹ Там же. С. 392—393.

дей, может быть только чуть-чуть имеющих в себе черты «подпольности», и способствование их развитию в полноценных «подпольных» людей. Иными словами — низведение сколько-нибудь оскользнувшегося в грязь человека на самое глубокое место в грязной луже, чтобы получше грязью измазать. В этом ключе — попытки Ипполита свести, «соединить» Аглаю с Настасьей Филипповной. В этом — «игра» Лебедева с генералом Иволгиным, укравшим у него бумажник, а затем устыдившимся своего поступка и подбросившим его назад хозяину. (Вспомним, что генерал сперва кладет бумажник под стул, на котором висел сюртук, будто бумажник просто выпал из кармана, а затем, когда Лебедев сделал вид, что бумажника «не видит», засовывает его под подкладку лебедевского сюртука, предварительно ножичком прорезав карман, чего Лебедев так же «не замечает» и даже выставляет «незамеченную» полу сюртука генералу на обозрение.) Знаменателен ответ Лебедева князю на этот рассказ: «...впрочем, завтра намерен бумажник найти, а до завтра еще с ним вечерок погуляю.

— За что вы так его мучаете? — вскричал князь.

— Не мучаю, князь, не мучаю, — с жаром подхватил Лебедев, — я искренно его люблю-с и... уважаю-с; а теперь, вот верьте не верьте, он еще дороже мне стал-с; еще более стал ценить-с!

Лебедев проговорил всё это до того серьезно и искренно, что князь пришел даже в негодование.

— Любите, а так мучаете! Помилуйте, да уж тем одним, что он так на вид положил вам пропажу, под стул да в сюртук, уж этим одним он вам прямо показывает, что не хочет с вами хитрить, а простодушно у вас прощения просит. Слышите: прощения просит! Он на деликатность чувств ваших, стало быть, надеется; стало быть, верит в дружбу вашу к нему. А вы до такого унижения доводите такого... честнейшего человека!

— Честнейшего, князь, честнейшего! — подхватил Лебедев, сверкая глазами, — и именно только вы одни, благороднейший князь, в состоянии были такое справедливое слово сказать!»¹

В этом разговоре явно слышатся голоса христианского бога, взывающего к милости, и дьявола, поймавшего согрешившую христианскую душу и не желающего ее отпустить. Покаянию и прощению сатана противопоставляет издевку и нравственную пытку. К тому же в его словах слышна явная радость по пово-

¹ Там же. С. 408—409.

ду низвержения еще одного человека в бездну «подпольности»: «вот верьте не верьте, он еще дороже мне стал-с; еще более стал ценить-с!».

Впрочем, хотя «подпольные» сродни сатане, но все же не достигают до уровня истинных его проявлений. (Мелким бесам не суждено стать крупными.) Вспомним, что они все-таки не могут «переступить» последней черты, недостаточно в своей подлости сильны, чтобы вершить зло в полной мере и до конца, страдают от «ординарности» — нехватки «оригинальности» во зле.

Еще раз обратимся к термину «подпольность». В обозначении духовной структуры человека он не только точен, но и образен. Это в самом деле характеристика тех людей, мир которых составляет грязное и низменное. Да и живут они если и не собственно в «подполье», то в подвале или на таком чердаке (как Раскольников), которому и иной житель подвала ужаснется. «Подпольные» — от недостатка солнца — люди серые в прямом и в переносном смысле, в том числе в смысле нехватки «оригинальности». Их «подполье» — не сама преисподняя, не сам ад, но его земное преддверие, прихожая, сродни той, в которой прятался Раскольников после убийства старухи и ее сестры Лизаветы. Это и та ниша под лестницей, в которой притаился Рогожин, подстерегающий с ножом князя. Оно, наконец, сам рогожинский дом с окнами, наглухо задернутыми тяжелыми шторами, и его спальня, на кровати которой лежит труп Настасьи Филипповны. За ее душу, зараженную «подпольностью», боролся и проиграл битву с «подпольем» князь.

Вторично явившийся на землю князь — Христос сходит с ума от вида бесконечных битв между собой людей, болеющих «подпольностью» его любимых чад. Сатана одерживает верх, даже не вводя в действие основных своих сил. Ему не понадобились новые талейраны и наполеоны. Довольно было того, что начали действовать, сводить воедино «слово» и «дело» заурядные, вышедшие из «подполья» люди, заражающие своим зловонным дыханием сам воздух¹.

¹ В глубоком исследовании «Введение в философию права» В.В. Библихин, разбирая сюжеты, похожие на представленные Достоевским, в одном месте замечает в том смысле, что в России, кажется, сам воздух разносит болезни крепостничества, бесправия, угнетения. Об этих сюжетах я буду говорить подробно в своем месте.

Завершая первую часть большого разговора о мировоззрении Ф.М. Достоевского и его центральной фигуре «подпольном» человеке, приведу слова В. Шкловского, написанные по поводу похорон писателя: «Все концы, которых при жизни не мог свести Достоевский, были спрятаны в могилу, засыпаны цветами и глиной и прикрыты гранитным памятником. Так умер драматургический жанр. Творчество А.Н. Островского, целиком состоящее из драматургических произведений, является ярким дополнением общей картины и потому не обратиться к нему, имея в виду анализ четко прочерченных и характерных для российской городской среды 60-х годов персонажей, было бы упущением. Кроме того, такое обращение тем более важно, что населяющее русскую сцену купечество и мещанство требуют сравнения с изображениями этих социальных слоев как у его современников (Н.С. Лескова и Ф.М. Достоевского, прежде всего), так и у следующих за ним авторов — А.П. Чехова и Максима Горького, также в немалой степени драматургов.

Переходя к разговору о творчестве А.Н. Островского, следует отметить, что оно интересно и тем, что в разворачивающейся литературной панораме российской жизни он первым обратил внимание и сделал предметом анализа новый русский социальный тип — «денежного» человека, вышедшего не из первого ряда, а из «низов» народной жизни¹. Конечно, образы состоятельных людей в русской литературе были и прежде. Однако человек, делающий деньги не на производстве, а в торговой сфере, допускающей значительные степени свободы обращения с деньгами, равно как и произвольно устанавливаемую значительную неадекватность прибылей и затрат, — такой художественный тип до Островского русская классика не знала. Вдвойне он интересен и потому, что именно с этим типом некоторые современные автору «Грозы» русские мыслители, равно как и последующие исследователи, связывали надежды на сохранение и воспроизводство в новых жизненных условиях так называемой русской старины. Именно ими Островский в силу его интереса к корневым основам русской жизни записывался ими в лагерь славянофилов.

Рядом с художественным типом торговца-предпринимателя, впервые в полный голос заявившим о собственном, осно-

¹ В этой связи отмечу, что почти в каждой пьесе Островского в формирова-

ванном на власти денег своеволии как «законном» поведении, органично возник и еще один, новый для русской классики, Достоевский, ничего не решив, избегая развязок и не приминаясь со стеной.

Он видел угнетенного человека, извращенные страсти, предчувствовал приближение конца старого мира и мечтал о золотом веке и сбился в мечте»¹.

Впрочем, удостоенные внимания автора «Записок из подполья», «Преступления и наказания» и «Идиота» сюжеты этими произведениями не исчерпываются. Они будут развиваться и достигнут своего апогея в финальных романах — «Бесы» и «Братья Карамазовы», о которых речь впереди.

нии конфликта используется понятие «благородный» человек, употребление которого подразумевает не только и не столько образование, сколько происхождение. Как правило, этот смысл вводится в содержательную структуру произведения либо мотивом, исходящим от девушки (она, например, желает выйти замуж за «благородного»), либо в форме аргумента, высказываемого каким-либо «завидным» женихом из «благородных».

¹ Шкловский В. Цит. соч. С. 258.

Глава 10

«ЧЕЛОВЕК С ДЕНЬГАМИ» И «СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК» В ДРАМАТУРГИИ А.Н. ОСТРОВСКОГО

Начатое в предыдущих книгах исследование характерных черт мировоззрения русского человека, представленных классиками отечественной литературы, будет продолжено на материале драматургии **Александра Николаевича Островского**



(1823—1886), часто называемой «великой». Полагая не вполне адекватной столь высокую оценку, тем не менее обозначаю причины, побудившие адресоваться к автору хрестоматийно известной «Грозы».

Прежде всего, в творческой работе по выявлению смыслов и ценностей, характерных для русского взгляда на мир, которую выполняли писатели XIX столетия, драматургия как жанр хотя и присутствовала, но не занимала сколько-нибудь существенного места. Это в особенности заметно, если взглянуть на ситуацию в историческом ракурсе. Ведь и Д.И. Фонвизин, и А.С. Грибоедов, стоявшие у истоков отечественного литературно-художественного процесса, вошли в культурную жизнь страны как драматурги. В дальнейшем, однако, основные интеллектуальные опыты литературы почти полностью переместились из сценическо-публичного жанра в жанры индивидуально-повествовательные. В этой связи выявление и представление особенностей национального мировоззрения, с одной стороны, получило дополнительные возможности, но с другой — лишилось многих важных средств. Так, например, если в драматургии присутствовала требуемая сценой и не всегда свойственная прозе четкая рельефность характеров изображаемых персона-

жей, то в ней же исчез авторский голос, психологические описания, картины природы как участника чувственно-мыслительного процесса, а также передаваемые словом полутона.

То есть, адресуясь к драматургии Островского, исследование тем самым если не ликвидирует реально имеющийся в отечественной литературе акцент на жанре повествования, то, по крайней мере, не углубляет его тем, что обходит вниманием художественный тип. Это была женщина, чье отчетливо выраженное стремление быть равноправной с мужчиной человеком натолкнулось на множество серьезных, а порой и непреодолимых препятствий¹. При этом нужно отметить, что если женщины у Островского не всегда трагически-позитивны, подобно Катерине из «Грозы», то почти всегда они являют собой форму зафиксированной художником реакции на свободу, реализуемую в рамках домостроевской традиции «денежным» человеком. И порой не столько мужское своеволие, сколько женская реакция на него исполняет в произведении основную роль.

Островский, далее, при изображении своих типов четко обозначил, к сожалению, не фиксируемое нашими исследователями, но философски важное и художественно ярко выраженное противостояние между людьми, чья свобода истекает из своеволия, основанного на власти денег, и людьми, чья свобода исходит из нравственных оснований. (Отмечу, что свободные люди, например, у Тургенева, силы для свободы берут либо из собственной нравственности, окрепшей в культуре, как, например, Лаврецкий из «Дворянского гнезда», либо из нравственности, питающейся соками природы. Вспомним Герасима из «Муму».)

Попытка развернутого ответа на вопрос, из чего черпают свои нравственные силы герои Островского, будет сделана позднее. Сейчас же отмечу, что Островский в принципе берет иной срез проблемы свободного человека. В отличие от своих литературных предшественников и современников он впервые «сталкивает» свободу, находящую опору в деньгах, со свободой, покоящейся на человеческих чувствах. Думаю, что и сегодня

¹ Конечно «равные» или даже в чем-то превосходящие мужчин женщины были в русской литературе почти с момента ее возникновения. Вспомним о пушкинской Татьяне Лариной, о женщинах И.С. Тургенева, И.А. Гончарова и Л.Н. Толстого. Однако женщины из «простых» впервые в полный рост изображены только А.Н. Островским.

такого рода «поворот» в рассмотрении тематики автора «Грозы» выглядит вполне актуально.

В проводимом исследовании А.Н. Островский интересен, наконец, и как автор, чье творчество подвергается постоянной идеологической интерпретации сегодняшними борцами с «тлетворным влиянием Запада» — поборниками «русской старины», в отношении которого постоянно предпринимаются попытки использования его в качестве примера и образца для переустройства нашей современной жизни¹.

Сделав эти предварительные замечания, перейду к рассмотрению творчества драматурга, ограничившись в данной книге наиболее примечательными, на мой взгляд, пьесами, написанными до 1860 года.

* * *

Повторю: Островский в контексте рассматриваемой темы русского мировоззрения интересен прежде всего своим опытом исследования свободного человека в его противостоянии «денежному насилию», существующему к тому же в рамках домо-строевской традиции. Так, сопоставляя его с другими авторами, описывавшими русскую жизнь накануне отмены крепостного права, мы должны признать, что их художественные типы почти всегда принадлежали либо к угнетенным, либо к угнетателям, и, таким образом, каждый по-своему несли на себе печать явной несвободы. В этой связи уместен вопрос: в чем специфика несвободы персонажей, изображаемых Островским?

Первая пьеса драматурга, после которой он, по его собственному признанию, «стал считать себя русским писателем», — «Семейная картина», созданная в 1847, но, по цензурным соображениям, увидевшая свет лишь в 1855 году. Уже в ней, как в матрице, закладываются основные, идущие с небольшими вариациями через все творчество автора, темы и образы. Это тягостная судьба женщин в купеческом доме, от которой они стремятся освободиться либо женитьбой, либо связями с молодыми людьми на стороне (мотив, в классическом виде представленный образами Катерины и Варвары в «Грозе»); это конечно же отмеченная еще Н.А. Добролюбовым тема «самодурства»; это, далее, нравоучительство матери по отношению к сыну-купцу

¹ В этом отношении в первую очередь я буду адресоваться к работам известного литературного критика М.П. Лобанова, в частности к его изданной в серии ЖЗЛ книге «Островский».

как в связи с тем, как нужно вести дела, так и в том, как следует «держат» жену (опять же известная тема из «Грозы»); это, наконец, попытка женитьбы на деньгах и зреющий между заинтересованными сторонами конфликт по поводу характера и размера приданого¹. В «Семейной картине» также впервые намечается и присущая почти всем драмам Островского тема безысходности. В этом «темном царстве», как подметил Добролюбов, «не может быть иных отношений, как основанных на обмане и хитрости, с одной стороны, при диком и бессовестном деспотизме — с другой...»².

Сюжет «Семейной картины» незатейлив и, как это часто бывает у Островского, откровенно назидателен. Глава семейства, тридцатипятилетний купец Антип Антипыч Пузатов, озабочен лишь идеей обогащения. При этом как намечающееся новое, так и происходившее в прошлом обогащение в существенной мере основывается на обмане. Пузатов откровенничает: «... недавно немца Карла Иваныча рубликов на триста погрел. Вот смеху было! Матрена Савишна тряпья разного у него из магазина забирала, а он мне счетец и выписал тысячи в две.

...Что ж! Ничего. Пусть щеголяет! А вот я думаю: неужли, мол, немцу все деньги отдать. Как же, мол, не так! Нет-с, жирно будет. Вот и не додал ему рублей триста с небольшим. Остальные, говорю, мусье, после. Хорошо, говорит, хорошо, как путный. Да потом, сударыня ты моя, и начал он приставать. Как встретится, так только и слов у него: а что ж деньги? Надоел до смерти. Как-то под сердитую руку подвернулся этот немец. Что ж, говорит, деньги? Какие, говорю, деньги? Я тебе, брат, отдал давно, и отстань ты от меня, христа-ради. Вот и взбеленился мой немец. Это, говорит, купцу нехорошо; это, говорит, фальшь; у меня, говорит, в книге записано. А я говорю: да ты чорт знает что там в книге-то напишешь — тебе все и плати! Так, говорит, русский купец делает, немец никогда; я, говорит, в суд пойду. Вот и толкуй с ним, словно больной с подлекарем! (Смеются.) Поди, я говорю — немного возьмешь! Потащил в суд. Что ж, матушка! ведь отперся, право, отперся. Говорю: знать не знаю, я ему запластил. Что ж такое, что за важность!.. Уж что с этим немцем смеху было — беда! Так и тарашится: это, говорит, бесчестно!

¹ В своей знаменитой статье «Темное царство» Н.А. Добролюбов в качестве основных тем Островского отмечает отношения по поводу семьи и имущества.

² *Добролюбов Н.А.* Собр. соч.: В 3 т М.: Художественная литература, 1987. Т. 2. С. 338.

А я ему после-то и говорю: я бы тебе и отдал, Карл Иваныч, да деньги, говорю, брат, нужны. Наши-то рядские животики надорвали со смеху. (Смеются.) А то все ему и отдать? Да за что это? Нет, уж опосля честь будет. Они там ломают цену, какую хотят, а им сдуру-то и верят. И в другой раз то же сделаю, коли векселя не возьмет. Так я, матушка, вот как»¹.

Таков же и затеявший жениться на сестре Пузатова купец Ширялов. Его радостный рассказ об удачном обмане не многим отличен от признаний Пузатова: «Завалаялась у нас штука материи. Еще в третьем году цена-то ей была два рубля сорок за аршин. А в нынешнем-то поставили восемь гривен. Вот, сударь ты мой, сижу я в лавке. Идут две барыни. Нет ли у вас, говорят, материи нам на блузы, дома ходить? Как, мол, не быть, сударыня. Достань-ка, говорю, Митя, модную-то. Вот, говорю, хорошая материя. А как, говорит, цена? Говорю, два с полтиной себе, а барыша, что пожалеете. А вы, говорит, возьмите рубль восемь гривен. Слышишь, Антип Антипыч, рубль восемь гривен? Помилуйте, говорю, да таких и цен нет. Стали торговаться: два рубля дают. Слышишь, Антип Антипыч, два рубля! (Смеется.) Да вам, говорю, много ли нужно? Да, говорит, аршин двадцать пять. Нет, говорю, сударыня, несходно. Извольте всю штуку брать, так уж так и быть, по два рублика, говорю, возьму. А я, сударь ты мой Антип Антипыч, боюсь шевелить-то ее (смеется), шевелить-то боюсь. Кто ее знает, что там в середке-то! может быть, сгнила давно. Что ж, мои барыни потолковали, да и взяли всю штуку. Молодцы-то мои так и ахнули. (Смеется.)»².

Не отстают от Пузатова и его молодая жена, вместе с его сестрой использующая частые отлучки мужа для свиданий на стороне с молодыми людьми. При этом «кавалеры» не стыдятся передавать дамам наказ, «чтобы мадеры привезли», коя хороша «на вольном воздухе».

«Конфликт» пьесы, связанный с жизненными целями героев — это задуманный Пузатовым обман: обещать Ширялову свою сестру в невесты со значительным денежным приданым, а после деньги не дать... Завершается история диалогом жены Пузатова с его сестрой — они отправляются на свидание с молодыми людьми, «отпросившись в Симонов монастырь к вечерне».

¹ *Островский А.Н.* Полн. собр. соч. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1949. Т. 1. С. 16.

² Там же. С. 23.

Подробно рассматривая все характеры пьесы, Н.А. Добролюбов в своей знаменитой, посвященной творчеству А.Н. Островского статье «Темное царство» (1859), говорит о ее главном предмете так: «Обман и притворство полноправно господствуют в этом доме и представляют нам как будто какую-то особенную религию, которую можно назвать религиею лицемерства»¹.

Обозначенное Добролюбовым «лицемерство» — лишь приспособительная форма в пределах определенного типа отношений между людьми. Сами же эти отношения Добролюбов называет «самодурством». «Быт этого темного царства так уж сложился, что вечная вражда господствует между его обитателями. Тут все в войне: жена с мужем — за его самовольство, муж с женой — за ее непослушание или неугодие; родители с детьми — за то, что дети хотят жить своим умом; дети с родителями — за то, что им не дают жить своим умом; хозяева с приказчиками, начальники с подчиненными воюют за то, что одни хотят все подавить своим самодурством, а другие не находят простора для самых законных своих стремлений; деловые люди воюют из-за того, чтобы другой не перебил у них барышей их деятельности, всегда рассчитанной на эксплуатацию других; праздные шатуны бьются, чтобы не ускользнули от них те люди, трудами которых они задаром кормятся, шеголяют и богатеют. И все эти люди воюют общими силами против людей честных, которые могут открыть глаза угнетенным труженикам и научить их громко и настоятельно предъявить свои права»².

Думаю, что представленные в пьесах Островского «лицемерство» и «самодурство» даже при поправке на «грубость», неизбежную драматургического изображения подобного рода тем, видятся не слишком интересными не только с позиций сегодняшнего дня, но и в контексте времени, в котором жил автор. Прав Добролюбов, формулирующий критерии оценки величия таланта писателя: «Признавая главным достоинством художественного произведения жизненную правду его, мы тем самым указываем и мерку, которою определяется для нас степень достоинства и значения каждого литературного явления. Судя по тому, как глубоко проникает взгляд писателя в самую сущность явлений, как широко захватывает он в своих изображениях раз-

¹ Добролюбов Н.А. Собр. соч.: В 3. т. М.: Художественная литература, 1987. Т. 2.

² Там же. С. 328—329

личные стороны жизни,— можно решить и то, как велик его талант. Без этого все толкования будут напрасны. Например, у г. Фета есть талант, и у г. Тютчева есть талант: как определить их относительное значение? Без сомнения, не иначе как рассмотрением сферы, доступной каждому из них. Тогда и окажется, что талант одного способен во всей силе проявляться только в уловлении мимолетных впечатлений от тихих явлений природы, а другому доступны, кроме того, — и знойная страстность, и суровая энергия, и глубокая дума, возбуждаемая не одними стихийными явлениями, но и вопросами нравственными, интересами общественной жизни. В показании всего этого и должна бы, собственно, заключаться оценка таланта обоих поэтов. Тогда читатели и без всяких эстетических (обыкновенно очень туманных) рассуждений поняли бы, какое место в литературе принадлежит и тому и другому поэту. Так мы полагаем поступить и с произведениями Островского. Все предыдущее изложение привело нас до сих пор к признанию того, что верность действительности, жизненная правда — постоянно соблюдаются в произведениях Островского и стоят на первом плане, впереди всяких задач и задних мыслей. Но этого еще мало: ведь и г. Фет очень верно выражает неопределенные впечатления природы, и, однако ж, отсюда вовсе не следует, чтобы его стихи имели большое значение в русской литературе. Для того чтобы сказать что-нибудь определенное о таланте Островского, нельзя, стало быть, ограничиться общим выводом, что он верно изображает действительность; нужно еще показать, как обширна сфера, подлежащая его наблюдениям, до какой степени важны те стороны фактов, которые его занимают, и как глубоко проникает он в них. Для этого-то и необходимо реальное рассмотрение того, что есть в его произведениях¹. По мере возможности последуем этим советам.

* * *

Написанная в 1850 году пьеса «Свои люди — сочтемся» — первое многомерное произведение Островского, в котором характеры не только поданы в их сиюминутном «срезе», но содержат и некоторое объяснение своего исторического становления. В отличие от первой комедии «Свои люди» — не просто зарисовка с натуры, но во многом удачная попытка создать типич-

¹ Там же. С. 328.

ческие образы, дающие представление о русском купечестве — общественных отношениях, покоящихся на определенных понятиях (смыслах), пронизанных специфическими ценностями. Эта особенность комедии, позволяющая подняться над сугубо бытовым уровнем до уровня философствования, была в полной мере и блестящим образом исследована Добролюбовым в его знаменитой статье о «темном царстве».

Впрочем, то, что увидел в комедии критик XIX столетия, противоречит как самой пьесе, так и добролюбовской статье, когда обращаешься к хитрому «анализу» нашего современника — славянофильствующего литературного критика М.П. Лобанова. По понятным причинам (первое издание книги «Островский» вышло в серии ЖЗЛ в глухом 1979 году) не осмеливаясь полемизировать с непреерекаемым в советские времена авторитетом, «русским революционным демократом», Лобанов прибегает к уловке: сужает предлагаемое Добролюбовым поле анализа, подставляя на место определенного, характерного для широких слоев русского общества типа мировоззрения (названного у Добролюбова «самодурством»), якобы всеисчерпывающий конфликт между отцами и детьми на почве «просвещения» и «образованности»¹. Не споря с Добролюбовым по существу, Лобанов косвенным образом пытается снизить авторитет этого, как он выражается, «молодого человека» тем, что он якобы не был способен к глубоким чувствам, чрезвычайно увлекался рациональной стороной проблем, вплотную приближался к плоскому позитивизму. К тому же Добролюбову ставится в упрек и то, что он отошел от православия. Что же собственно до комически представленного в пьесе стремления к «образованности», то само просвещение и образованность подаются Лобановым не иначе как уничижительно, противопоставляются благим русским домостроевским традициям, народному опыту, почти приравниваются (остается всего один шаг) к «лакейскому пресмыкательству перед иностранным». В этой связи приведу одно из характерных для книги содержательных «отступлений».

Так, ценнейшей для себя находкой М.П. Лобанов считает известного профессора зоологии К.Ф. Рулье. Рожденный в Нижнем Новгороде в семье сапожника и повивальной бабки, профессор, в целях дальнейшего, более глубокого уязвления тех, кто интересуется не только Россией, но и Западом, подается

¹ Лобанов М.П. Островский. М.: Молодая гвардия, 1989. С. 35.

Лобановым читателю не иначе как ученый «французского происхождения». Оказывается, что он (как может подумать неискушенный читатель, — выходец из Франции, для чего нам и сообщается о его происхождении) якобы стоял на вполне домостроевских позициях не только в жизни, но и в науке. Цитирую Лобанова: «В познании своего отечества видел он первейший долг ученого. «Изучи свое отечество, а после можешь путешествовать», — любил он повторять. Достойными осмеяния называл он тех биологов, которые гордятся тем, что они внесли в науку новое название животного Новой земли или Филиппинских островов, которые прочтут вам целую лекцию о «бразильских жуках» и «новоголландских пташках» и не смущаются «перед смышленным крестьянином, перед последним продавцом живности», знающими о местных животных неизмеримо больше, чем эти ученые-специалисты. «Не завидую, — писал Рулье, — ни одному путешественнику, он поехал далеко от родины оттого, что не занялся достаточно изучением своей родины, которая, конечно, его бы и заняла, и привязала».

...Человек живых общественных интересов, Рулье и науку не отделял от практической потребности людей, народа, принимая активное участие в исследовании опыта сельского хозяйства, которое он называл «первой из первых наук, первым из первых искусств». Он знал и любил народный быт, народную поэзию, прекрасно чувствовал народное слово, его меткость и красоту, употребляя его в своих научных трудах, в своей разговорной речи»¹.

Изобретаемый Лобановым «домострой в науке» — это, примерно, следующее. Превыше всего для ученого должна быть не истина, поиск которой рождается из глубокого личного интереса, а безотносительный к интересу труд на благо родины, работа в отечестве. Внимание к «бразильским жукам», далее (коих, кстати сказать, очевидно, имеется никак не меньше нескольких тысяч, но поскольку в глазах российского «патриота-домостроевца» они не заслуживают различения, то отсюда и общее имя «жуки»), должно быть осуждено, по крайней мере в случае, если не знаешь фауны своего района. «Смышленный крестьянин» всегда умнее специалиста по «бразильским жукам». А уж не интересоваться сельским хозяйством — и вовсе Родину не любить.

¹ Там же. С. 77.

Все это я привожу, преследуя цель дальнейшей работы с текстами А.Н. Островского, поскольку их анализ давался не только Н.А. Добролюбовым и другими современниками драматурга, но и М.П. Лобановым. Вот почему иметь на будущее пример того, как подходит к анализу русского драматурга современный идеологически ангажированный литературный критик, — вовсе нелишне.

В том, как создавать видимость якобы присущей Островскому позитивной оценки изображаемой им российской действительности, М.П. Лобанов неистощим. При анализе очень важной для творчества драматурга пьесы «Свои люди — сочтемся» (1853), в которой, по словам Добролюбова, изображается, как «порядочная натура находится в положении самодура», этой сложной для идеологии славянофилов ситуации современный критик избегает. Вместо содержательного рассмотрения представленного Островским русского мировоззрения в его домостроевском варианте нам предлагается вымышленная литературная зарисовка о сценическом представлении, в которую косвенным образом вплетаются позитивные оценки «положительных» персонажей комедии — купцов Русакова и Бородкина. Так, к образу первого относятся лобановские оценки: «ласковый», «внушительный», обладающий «непреклонным характером», способный на «теплоту благодарности», «величавую иронию», «неподдельное горе». Об образе второго купца сообщается, что в нем есть «прямотушие», «глубокая тоска» и даже «величественность», когда играющий Бородкина актер «объявляет, что берет обесславленную Дуню»¹. Ко всему этому добавляются восторженные оценки комедии в целом, в которой русская жизнь, наконец, «нашла своего поэта». Заключает главу обращение к несомненному для Лобанова авторитету: «Достоевский, как никто из современников, обостренно чувствующавший дисгармоничность современной личности, жаждавший цельности, увидел в "прямоте" чувств и поведения героев Островского воплощение цельного характера...»² Согласимся, что, прочитав такое, кто из несведущих читателей усомнится в благостности изобра-

¹ О том, какую величественность можно обнаружить в том, что молодой человек решает жениться на девушке, накануне сбежавшей от отца с ветреником-женихом, нужно спрашивать М.П. Лобанова, поскольку в моих далеких от домостроевских традиций представлениях такая оценка представляется почти дикой.

² Лобанов М.П. Островский. М: Молодая гвардия, 1989.

женной Островским картины, равно как и в достоинствах центрального персонажа — купца Русакова? И если не знать пьесы и тем более игнорировать, как это намеренно делает Лобанов, глубокий анализ Добролюбова, то иного представления и не возникнет. Но вот этого-то — приукрашивать (если не подтасовывать) представления о действительности, ставя цель рассмотрения русского мировоззрения, в частности, в интерпретации Островского, — делать ни в коем случае нельзя.

Как бы предвидя заячьи петли, которые выписывает на занесенной снегом равнине отечественной словесности М.П. Лобанов, Добролюбов в статье «Темное царство» подает читателю комедию «Не в свои сани» в совершенно иной интерпретации. Произведение для него — очередной важный эпизод в рассмотрении Островским того, что представляет собой феномен русского самодурства. И за сто с лишним лет до современного критика пишет слова, звучащие как отповедь апологетам домостроя: есть такие, которые «превознесли его (Островского. — С.Н.) за то, что он усвоил себе прекрасные воззрения славянофилов на прелести русской старины» и за этими рассуждениями забыли «о лицах и явлениях, выведенных им»¹. И в самом деле: в «анализе» Лобанова анализа самодурства как явления нет. Отчего бы это?

Ответ, на мой взгляд, следует искать в том факте, что обозначенный Добролюбовым тип русского мировоззрения растет из домостроя. Вспомним, что сложившаяся в эпоху Ивана Грозного в середине XVI века книга «Домострой» представляла собой своеобразную энциклопедию русской семейной жизни, домашних обычаев, традиций хозяйствования. Завершителем текста, писавшегося многие годы, был известный церковный и государственный деятель того времени священник Сильвестр. Как говорилось в предисловии, «...в этой книге найдешь ты некий устав о мирском строении: о том, как жить православным христианам в миру с женами и с детьми и с домочадцами, как наставлять их и поучать, и страхом спасать и запрещать строго и во всех их делах сохранять их в чистоте, душевной и телесной, и о них заботиться, как о собственной части тела, ибо сказал Господь: "Да будете оба в едину плоть", ибо апостол сказал: "Если страдает один член — то все с ним страдают"; так же и ты, не о себе одном пекись, но и о жене и о детях своих и обо

¹ Добролюбов Н.А. Цит. соч. С. 372.

всех остальных — до самого последнего домочадца, ибо все мы связаны единою верой в Бога. И с добрым таким прилежанием неси любовь всем, живущим по-божески, точно око сердечное, на Бога взирающее, и будешь как сосуд избранный, не себя одного несущего к Богу, но многих, и услышишь: "Добрый рабе, верный рабе, будь в радости Господа своего!" А еще в этой книге отыщешь устав о домовном строении, как учить жену и детей и слуг, и как всякий запас собирать — и хлебный, и мясной, и рыбный, и овощной, и о домашнем хозяйстве, особенно в сложных делах».

Кроме неких общих установок морального характера, этот «устав», являвшийся примечательным документом своего времени, за последующие триста лет, безусловно, утратил свое полезное наставительное значение не только по причине чрезмерной претензии на обобщение и составление набора советов с «учетом» множества конкретных ситуаций, но и в силу неизбежного развития личностного начала тех, кому «устав» предназначался. «Домострой» категорически не предполагал в читателе (последователе) сколько-нибудь свободного человека, за исключением некоторой свободы для главы семейства, которому вменялась обязанность командования и неукоснительного контроля за домочадцами. Отсюда — постоянная для драм и комедий Островского звучащая в разных вариантах тема следования заветам, наставлениям и приказаниям стариков (старших), которую развивают сохранившиеся до середины XIX столетия почитатели домостроя. Отсюда — не только общий, но личностный, мелочный (вплоть до требования ритуала) контроль с их стороны за любыми поведенческими проявлениями остальных, их детей и родственников прежде всего. Вершиной этих изображений в рассматриваемый период были Кабаниха и Дикой из «Грозы». Однако домостроевское (самодурное) начало отчетливо видно во всех образах «старших» и более ранних произведений Островского.

Утверждая в человеческих отношениях главенство традиции, домострой тем самым устранял в обществе возможность не только личных, сколько-нибудь оригинальных, а не ритуализированных, отношений, но и отношений правовых. О самодурстве Добролюбов пишет: «...будучи само бессмысленно и несправно, оно искажает здравый смысл и понятие о праве во всех, входящих с ним в соприкосновение. Мы видели, что под влиянием самодурных отношений развивается плутовство и пронири-

вость, гложут все гуманные стремления даже хорошей природы и развивается узкий, исключительный эгоизм и враждебное расположение к ближним. Нужно иметь гениально светлую голову, младенчески непорочное сердце и титанически могучую волю, чтобы иметь решимость выступить на практическую, действительную борьбу с окружающей средой, нелепость которой способствует только развитию эгоистических чувств и вероломных стремлений во всякой живой и деятельной природе.

Но чтобы выйти из подобной борьбы непообежденным, — для этого мало и всех исчисленных нами достоинств: нужно еще иметь железное здоровье и — главное — вполне обеспеченное состояние, а между тем, по устройству "темного царства" все его зло, вся его ложь тяготеет страданиями и лишениями именно только над теми, которые слабы, изнурены и не обеспечены в жизни; для людей же сильных и богатых — та же самая ложь служит к услаждению жизни»¹.

Самодурство не только искажает человеческие личности, как это происходит со способным к самостоятельным рассуждениям приказчиком Подхалузиным из пьесы «Свои люди — сочтемся». Будучи человеком неглупым и вполне усвоив все уроки самодурства, он делает для себя закономерный вывод: когдаходишь в силу, следует заставлять других так же бояться, подличать, фальшивить и страдать, как он сам.

Не составляет исключения и тенденциозно-умело поданный М.П. Лобановым «добрый» купец Русаков, этот, напомним, «ласковый», «внушительный», обладающий «непреклонным характером», способный на «теплоту благодарности», «величавую иронию», «неподдельное горе». А вот как отзывается об этом типе не случайно обойденный вниманием Лобанова Добролюбов. Изложив фабулу пьесы, критик задается главным вопросом: дает ли рассмотренный в пьесе факт послушания родителя «хоть какой-нибудь повод к развитию темы о преимуществах старого быта, к выражению славянофильских тенденций? Кажется, нет. Смысл его тот, что самодурство, в каких бы умеренных формах ни выражалось, в какую бы кроткую опеку ни переходило, все-таки ведет, по малой мере, к обезличению людей, подвергшихся его влиянию; а обезличение совершенно противоположно всякой свободной и разумной деятельности; следовательно, человек обезличенный, под влиянием тяготеющего над ним само-

¹ Там же. С. 369—370.

дурства, может нехотя, бессознательно совершить какое угодно преступление и погибнуть — просто по глупости и недостатку самобытности».

И далее собственно о честном купце. «Максим Федотыч Русаков — этот лучший представитель всех прелестей старого быта, умнейший старик, *русская душа*, которую славянофильские и кошихинствующие критики¹ кололи глаза нашей послепетровской эпохе и всей новейшей образованности, — Русаков, на наш взгляд, служит живым протестом против этого темного быта, ничем не осмысленного и безнравственного в самом корне своем. В Больпове мы видели дрянную натуру, подвергшуюся влиянию этого быта; в Русакове нам представляется: а вот какими выходят при нем даже честные и мягкие натуры!.. И действительно, природная доброта и даже деликатность пробивается в Русакове сквозь грубые формы. Он обходится со всеми ласково, о жене и дочери говорит с умилением; когда Дуня, узнав о его решительном отказе Вихореву, падает в обморок (сцена эта нам кажется, впрочем, утрированную), он пугается и даже тотчас соглашается изменить для нее свое решение. Мало этого: у него голова сложена довольно хорошо, и из нее не выбить здравый смысл. Он не говорит просто: "Так должно быть *потому*, что я так хочу", — а старается отыскивать резоны для своих решений. Но этим и ограничивается то, что мог он сохранить из добрых качеств своей натуры; далее начинаются приобретения самодурства. Видно, что Русаков, по мягкости своей природы, с самого начала кротко покорился существующему порядку, признав его законность; значит, не было нужды доказывать ему эту законность пинками и колотушками. Оттого в нем и в старости нет той враждебности и крутости, какую замечаем в других самодурах, выводимых Островским; оттого он не отвергает даже резонов в разговоре с низшими и младшими. Но быт "темного царства", в котором он вырос, ничего не дал ему в отношении резонности: ее нет в этом быте, и потому Русаков впадает в ту же бессмысленность, в тот же мрак, в каком блуждают и другие собратья его, хуже одаренные природою.

Любопытно послушать мораль, до которой успел он возвыситься. Покорность, терпение, уважение к опыту и преданию, ограничение себя своим кругом — вот его основные положе-

¹ "Кошихинствующие критики" — наивные апологеты Московского царства.

ния. Дошел он до них грубо эмпирически, сопоставляя факты, но ничем их не осмысливая, потому что мысль его связана в то же время самым упорным, фаталистическим понятием о судьбе, распоряжающейся человеческими делами»¹.

Воспроизводя вокруг себя атмосферу самодурства, Русаков и дочь свою воспитал в таком качестве, что «в глазах у нее только любовь да кротость: она будет любить всякого мужа», какого ни назначит ей опытный в жизни отец. «Для человека, не зараженного самодурством, — читаем у Добролюбова, — вся прелесть любви заключается в том, что воля другого существа гармонически сливается с его волей без малейшего принуждения. Оттого-то очарование любви и бывает так неполно и недостаточно, когда взаимность достигается какими-нибудь вымогательствами, обманом, покупается за деньги или вообще приобретается какими-нибудь внешними и посторонними средствами. Чувство любви может быть истинно хорошо только при внутренней гармонии любящих, и тогда оно составляет начало и залог того общественного благоденствия, которое обещается нам, в будущем развитии человечества водворением братства и личной равноправности между людьми. Но самодурство и этого чувства не может оставить свободным от своего гнета: в его свободном и естественном развитии оно чувствует какую-то опасность для себя и потому старается убить прежде всего то, что служит его основанием, — личность. Для этого самодуры сочиняют свою мораль, свою систему житейской мудрости, и по их толкованиям выходит, что чем более личность стерта, неразличима, неприметна, тем она ближе к идеалу совершенного человека»². Русаков свято следует домостроевским традициям и знай твердит: «Все зло на свете — от необузданности и надо старших уважать». «Так вот каково положение и развитие двух главных лиц комедии "Не в свои сани не садись". Нравится оно вам? Хотели бы вы сами быть на месте Авдотьи Максимовны? Или, может быть, вам было бы приятно играть роль Русакова и довести кого-нибудь из близких вам до того положения, в каком представляется нам дочь Максима Федотыча? Если так, то, конечно, вы должны восхищаться патриархальностью, чистотою и счастьем того быта, который изображен Островским в этой комедии. Но если нет, то и эта пьеса должна вам представляться

¹ Там же. С. 377—378.

² Там же. С. 379—380.

сильным протестом, захватившим самодурство в таком его фазисе, в котором оно может еще обманывать многих некоторыми чертами добродушия и рассудительности»¹.

Видя в стремлении к просвещению и образованности зло, которое ведет к разрушению «благих» традиций русской старины, озаботившийся этими вопросами человек должен сделать для себя выбор, к примеру, из такого силлогизма: «Грамотные мужики обманывают и наживаются за счет неграмотных. Следовательно, грамотность — зло». Но возможен и другой вывод: «Следовательно, грамоте должны быть обучены все мужики, чтобы обман на основе неграмотности перестал быть возможным». При этом нужно помнить, что уничтожением права личности, делая страх и покорность основой воспитания и нравственности, в обществе культивируются произвол, угнетение и обман. Неразвитая личность, как, например, дочь Русакова, легко становится жертвой как примитивной «просвещенной особы», коей мнит себя пожившая в Москве сестра Русакова, так и пустого прощельги, «красавца» Вихорева, с коим дочь Русакова бежит от отца.

«Таким образом, — итожит Добролюбов, — мы можем повторить наше заключение: комедию "Не в свои сани не садись" Островский намеренно, или ненамеренно, или даже против воли показал нам, что пока существуют самодурные условия в самой основе жизни, до тех пор самые добрые и благородные личности ничего хорошего не в состоянии сделать, до тех пор благосостояние семейства и даже целого общества непрочно и ничем не обеспечено даже от самых пустых случайностей. Из анализа характера и отношений Русакова мы вывели эту истину в приложении к тому случаю, когда порядочная натура находится в положении самодура и отуманивается своими правами»².

Самым широким мировоззренческим основанием рассматриваемых в драматургии Островского проявлений русской жизни вслед за Добролюбовым нужно признать глубоко укоренившееся в ней самодурство. Однако, говоря о нем, необходимо, на мой взгляд, сделать следующее уточнение. В качестве своей признанной идеологии самодурство берет вполне кон-

¹ Там же. С. 384.

² Там же. С. 388—389.

кретный отечественный социально-философский документ — «Домострой». Именно на этой идеологической основе в своих конкретных интерпретациях, как показывает Островский, оно ведет к угнетению слабых сильными, к удушению всякого личностного начала, к игнорированию закона и, как следствие, к несправедливости, а в целом — к несвободе.

Вместе с базовыми атрибутами самодурству присущи и конкретные особенности. Так, в описываемой автором «Грозы» исторической ситуации, прежде всего в связи с жизнью купечества, мы можем говорить о его (самодурства) особом, в сравнении с прежними временами, состоянии. В связи с началом становления в России капитализма уровень общественного производства в целом стал значительно более существенным и торговое сословие (наряду с банкирами и ростовщиками) начало превращаться в держателя значительных финансовых средств. Понятие «денежный человек» все точнее передавало суть этих новшеств, которые постепенно делались предметом пристального внимания русской литературы, драматургии в том числе. «Денежные люди» в прямом и в переносном смысле выходят на авансцену русской жизни. Кроме отмеченных произведений 50-х годов, у Островского эти персонажи главенствуют в пьесах 60 — 70-х годов («Бесприданница», «Волки и овцы» и др.). Точно так же у Чехова и Горького состоятельные люди (причем не получившие деньги в наследство, а именно «сделавшие» их сами) нередко оказываются центральными героями. Новое материальное положение «денежных людей» по-новому начинает определять как их собственную свободу, так и их отношение к возможности предоставления свободы другим.

В этой ситуации идеи и принципы «Домостроя» обретают не только «новое дыхание», но и новые формы выражения, новые возможности для материализации. Существовавшее ранее самодурство в новые времена получает и новую легитимацию. Если прежде оно искало оснований в традиции, укладе, находило религиозную опору в православии, то теперь к имеющемуся «арсеналу» добавляются основания финансовые. В этой связи доводы Добролюбова в отношении поиска выхода из «темного царства», о которых он рассуждает на примере пьесы «Бедность не порок» по поводу Гордея Торцова — а именно доводы о том, что его, как и его «излечившегося» от самодурства брата Любима, стоило бы «проучить на хлебе, выпрашиваемом Христа ради, — тогда бы и он, вероятно, почувствовал желание "иметь работишку", чтобы

жить честно¹, доводы эти звучат утопично. Денежные возможности самодуров не только не скудеют, но, напротив, возрастают. Точно так же и упование на образование, просвещение самодуров, как состоявшихся, так и только вступающих на это путь, как это признает сам Добролюбов, фантастично. Многим героям (Вихорев и Арина Федотовна — «Не в свои сани не садись», Липочка — «Свои люди — сочтемся» и другими) Островский показывает иллюзорность такого рода надежд.

Единственный раз, когда самодур вдруг перерождается, случается тогда, когда Гордей Карпыч Торцов (пьеса «Бедность не порок») под влиянием примера, проповедей брата Любима и конкретного разоблачения самодура Коршунова вдруг отменяет свое решение о насильственном браке дочери и решает отдать ее замуж по любви. В финале пьесы на доводы — «бедность не порок» и «неужели в тебе чувства нет» — он неожиданно заявляет: «А что вы и в самом деле думали, что нет? ... Просите все, кому что нужно: теперь я стал другой человек»². Ответа на вопрос, отчего внезапно происходит такая метаморфоза, у Островского нет, что, впрочем, дает нам основание рассматривать в том числе и этот поступок как проявление необузданной самодурной воли: хоть и не злое, а доброе дело, но все равно делаю все равно по собственному нраву и только тогда, когда именно мне это взбретет в голову.

Новым поворотом темы самодурства и противостояния ему со стороны «свободного человека» стала драма «Гроза» (1859). Вложенное в пьесу Островским содержание, равно как и вообще тема противостояния главной героини Катерины самодурам Кабанихе, Дикому и им подобным, рассматривалось в нашей литературно-философской критике неоднократно и подробно. в череде этих исследований в первую очередь конечно же нужно указать на знаменитую статью Н.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве» (1860), хорошо известную еще со школьных лет. Ее центральная мысль заключалась в том, что в этой пьесе, «самом решительном произведении Островского», «взаимные отношения самодурства и безгласности доведены ...до самых трагических последствий», а характер Катерины «составляет шаг вперед не только в драматической деятельности Островского, но и во всей нашей литературе» и вполне соответствует «новой фазе

¹ Там же. С. 446.

² *Островский А.Н.* Полн. собр. соч. Т. 1. С. 318.

нашей народной жизни»¹. Дошедшему до крайности, до отрицания самого здравого смысла «темному царству» в пьесе противопоставлен характер героини, поражающий нас решительной и бескомпромиссной противоположностью всем самодурным началам, коему «лучше гибель», чем жизнь в предлагаемых самодурством условиях. В отличие от «цены» конфликта, обозначившейся в предыдущих произведениях Островского, в «Грозе» битва идет в прямом смысле за «место под солнцем». Катерина способна и идет до конца, не останавливаясь ни перед чем. «... Закон, родство, обычай, людской суд, правила благоразумия — все исчезает для нее перед силою внутреннего влечения; она не щадит себя и не думает о других. Такой именно выход представился Катерине, и другого нельзя было ожидать среди той обстановки, в которой она находится. ...В этой личности мы видим уже возмужалое, из глубины всего организма возникающее требование права и простора жизни»². Своим поступком героиня ясно дает нам знать, что жить в поле действия самодурной силы более нельзя, что нельзя продолжать мириться с ее насильственными, мертвящими началами.

Революционный демократ Добролюбов не мог не закончить статью вопросом о том, действительно ли в «Грозе» верно передана готовность русской жизни к переменам? Точно ли русская живая натура выразилась в характере Катерины? И если «да», то, как подразумевает статья, очередь теперь за самим этим народным «решительным делом»³.

Какое же собственно добролюбовское «решительное дело» читатель может предполагать после прочтения пьесы? Ответа на этот вопрос у Островского, как и у Добролюбова, естественно,

¹ Добролюбов Н.А. Луч света в темном царстве. // Библиотека русской критики. Критика 50-х годов XIX века. М.: Олимп, 2002. С. 207.

² Там же. С. 217—218.

³ Впрочем, такого рода вопросы и столь глубокий анализ «Грозы», к сожалению, находишь лишь в XIX веке. А вот скрытый оппонент Добролюбова, уже упоминавшийся наш современный критик Лобанов, и в конце XX века тосковавший по домострою, думает совершенно иначе. Верный своей манере «толкования исподтишка», он и о «Грозе» высказывается посредством изложения истории ее постановки на парижской сцене. С почти неприкрытым презрением сообщается, что «парижская публика» осталась в недоумении от «Грозы». «Драма показалась парижанам произведением не современным, а относящимся к далекому прошлому, применительно к Франции — чуть ли не к XIV веку. Как, оказывается, отстали от цивилизации, от европейской моды душевная цельность, искренность переживания, все подлинно замечательное в человеке!» (Лобанов М.П. Цит. соч. С. 199—200).

нет. Драматург ни в одном месте своих комедий и драм ни разу не предаётся фантазиям на тему «позитивных» преобразований, тем более революционных. Более того, то «позитивное», которое таковым может именоваться, представлено у него либо в ироническом, либо в близком к трагическому ключе. Вновь обращаясь к «Грозе», вспомним, что среди второстепенных героев драмы есть и фигура изобретателя Кулигина. Связанная с ним одна из «позитивных» идей звучит так: «Только б мне, сударь, перпету-мобиль найти!» А на вопрос Бориса, что бы тогда он сделал, следует ответ: «Как же, сударь! Ведь англичане миллион дают; я бы все деньги для общества и употребил, для поддержки. Работу надо дать мешанству-то. А то руки есть, а работать нечего»¹.

Обратим внимание на предлагаемую в данном примере «схему» «позитивных» преобразований. Есть пассивный народ и никак о себе не заявляющий (более того: терпящий самодурство народ), о благе которого заботится уникум — ученый-чуждак, мечтающий о чуде. В случае явления чуда оно, как предполагается, не может быть использовано на родине, то есть самим народом и изобретателем. На свете есть некие иные люди — «англичане», которые способны купить и использовать (с выгодой, естественно) это чудо у себя. А вот полученные средства Кулигин рассчитывает обратить на пользу русских тем, что даст мешанам (городским жителям) работу. Какую, как она поспособствует возрождению российской жизни — бог весть. На этом, собственно, и тормозится в 60-е годы одна из линий русской классики, ставящей перед собой философский вопрос о «позитивном» в собственно русском понимании. Само собой этот тематически-идейный поворот не отменяет того продвижения, о котором говорилось во второй книге исследования, посвященной проблематике «позитивного дела». Однако намечающаяся, в частности у Островского, в этой связи линия несколько не отменяет имеющуюся, уже намеченную. К этому надо добавить, что эта линия, которая может быть условно названа «надеждой на англичан», была подхвачена другими литераторами. Вспомним, что лесковский левша с чудом в кармане и для знакомства с чудесами заморскими путешествует именно в Англию и оттуда привозит для государя наказ-секрет не чистить ружья кирпичом. А спустя несколько десятилетий в чеховском «Вишневом саде» англичане косвен-

¹ *Островский А.Н.* Пьесы. М.: ОЛМА — ПРЕСС Образование, 2003. С. 286.

но упоминаются как народ предприимчивый, кои у одного из персонажей белую глину в усадьбе нашли и стали высокую аренду платить, чем предотвратили от неминуемого разорения. «Предприимчивость» наша, таким образом, далее изобретения чуда или продажи ресурсов не продвигается.

В связи с Кулигиным в «Грозе» есть и второй, связанный с идеей позитивного дела сюжет. Речь, само собой, о громоотводах. Тема надвигающейся на город грозы возникает в пьесе с самого начала и довольно часто, и в этой связи образ громовых отводов («шестов» да «рожнов» каких-то, в транскрипции Дикого) звучит символически. Гроза знаменует собой хотя и неизвестные, но, скорее, угрожающие перемены, и либо люди найдут способы изменить свою жизнь в связи с неотвратимостью этого явления, либо их ждет расплата. И в этом случае поступок Катерины звучит как раскат сопутствующего грозе грома. Впрочем, гроза как предупреждение, это одна трактовка. А вот гроза и возможность защиты от нее — совершенно иное. На это, что особенно символично, и требуется-то ничтожная сумма — каких-то десять рублей. Но ни общество, ни Дикой не желают даже этой малости дать. Вряд ли только собственное мнение выражает Дикой, когда в споре с Кулигиным говорит, что гроза — никакое не электричество, а то, что «нам в наказание посылается, чтобы мы чувствовали». Вот почему надежды на кулигинскую «схему» продажи вечного двигателя англичанам и возрождения посредством даваемой «обществу» работы звучат, как представляется, почти утопически, а если и не так, то все же надежд у Островского в этом отношении, думаю, было не много.

* * *

Драматургия А.Н. Островского с момента своего возникновения оказалась важным и существенным дополнением той большой работы по осмыслению феномена русского мировоззрения, которая велась в отечественной литературе с самых первых шагов. Велик ли в эту работу был вклад драматурга?

«Не хотим делать никаких общих выводов о таланте Островского, — писал о нем Добролюбов. — Мы старались показать, *что* и *как* охватывает он в русской жизни своим художническим чувством, *в каком виде* он передает воспринятое и прочувствованное им и какое значение в наших понятиях должно придавать явлениям, изображаемым в его произведениях. Мы

нашли у Островского полноту изображения русской жизни...»¹ И еще: «Не сравнивая значения Островского с значением Гоголя в истории нашего развития, мы заметим, однако, что в комедиях Островского, под влиянием каких бы теорий они ни писались, всегда можно найти черты глубоко верные и яркие, доказывающие, что сознание жизненной правды никогда не покидало художника и не допускало его исказить действительность в угоду теории. А если так, то, значит, и основные черты мирозерцания художника не могли быть совершенно уничтожены расщудочными ошибками. Он мог брать для своих изображений не те жизненные факты, в которых известная идея отражается наилучшим образом, мог давать им произвольную связь, толковать их не совсем верно; но если художническое чутье не изменило ему, если правда в произведении сохранена, — критика обязана воспользоваться им для объяснения действительности, равно как и для характеристики таланта писателя, но вовсе не для брани его за мысли, которых он, может быть, еще и не имел»². Думаю, что эти добролюбовские мысли вполне применимы не только для оценки творчества А.Н. Островского, но и для завершения той полемики, которую в данном разделе пришлось вести. Впрочем, анализ его творчества в контексте тем «денежного» и «свободного человека» в произведениях 70 — 80-х годов будет продолжен в дальнейшем.

¹ Добролюбов Н.А. Цит. соч. С. 447.

² Там же. С. 374.

Глава 11

«НОВЫЕ ЛЮДИ» КАК ПРЕСТУПНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ: РАССЛЕДОВАНИЕ А.В. СУХОВО-КОБЫЛИНА



Творчество **Александра Васильевича Сухово-Кобылина (1817—1903)** в отечественной гуманитарной мысли, к сожалению, существенно недооценено. Значительная часть посвященных ему исследований в неоправданно большой мере интересуется связанным с его именем преступлением — убийством его любовницы француженки Луизы Симон-Деманш. Между тем событие это, при всей его тягостности (для Кобылина, прежде всего), не должно отвлекать внимание от главного в его жизни — сделанного художником интеллектуального вклада в со-

кровищницу отечественной гуманитарной мысли. Согласимся, что даже признание той наиболее тяжелой для Кобылина с точки зрения морали версии, согласно которой Симон застала драматурга наедине с другой женщиной, устроила скандал и стала его случайной жертвой, после чего драматург за деньги уговорил крепостных людей принять вину на себя (!), — даже эта касающаяся вопроса о моральности самого Кобылина версия никак не влияет на главный, интересующий исследователя вопрос: чем обогатил русскую культуру этот мыслитель?¹

¹ Конечно, личное уголовное дело Сухово-Кобылина имело серьезное влияние на его творчество. По точной оценке Л. Гроссмана, «знаменитое дело 50-х годов оставило свои неизгладимые рубцы на личности и судьбе Сухово-Кобылина. Оно дало ему новый и необычайный опыт, потрясло его нравственный мир, переломило судьбу и стало первым источником его напряженной, судорожной и страшной драматургии». (*Гроссман Леонид. Нераскрытое убийство. Чем мешала Александру Сухово-Кобылину Луиза Деманш. М.: Алгоритм,*

Ранее я уже приводил мысль Ю.М. Лотмана о том, что каждое время по-своему прочитывает действительно серьезные произведения, находя в них незамечаемое ранее содержание. В полной мере это наблюдение относится и к осознанию автором ценности его собственных творений. Уже будучи стариком, Александр Васильевич глубоко сокрушался по поводу того, что сценических подмостков и, значит, широкого влияния на массы достигла только одна комедия — «Свадьба Кречинского»: «Какая волокита: прожить 75 лет на свете и не успеть провести трех пьес на сцену! Какой ужас: надеть пожизненный намордник на человека, которому дана способность говорить! И за что? За то, что его сатира на порок производит не смех, а содрогание... Какая нежность полиции; какой чиновничий сентиментализм, или лучше: какое варварство в желтых перчатках... Не имею ли я право в конце моей жизни и в глуши такой ночи закричать, как цезарь Август: "Вар, Вар, отдай мне мои годы, молодость и невозвратно погибшую силу"»?¹

Между тем ставшие достоянием читающей публики все три пьесы («Свадьба Кречинского» (1854), «Дело» (1861) и «Смерть Тарелкина» (1869)) — не только каждая по отдельности, но прежде всего как целостная трилогия — делали свое важное, никем до него не замечаемое и не исполняемое дело. Более того, о Кобылине следует сказать и как о первооткрывателе столь важной для XX столетия темы всемогущества государства, которая стала центральной не только для Франца Кафки с его романом «Процесс», но и для нашего великого земляка писателя Андрея Платонова. Что же, на мой взгляд, не осознавалось современниками и потомками и что на самом деле стоит за этим трехчастным драматургическим явлением?

Ранее я уже говорил о новом, характерном для предреформенной гуманитарной мысли России явлении — поиске образа «нового человека». Он шел на смену как глубоко изученных литературой феноменов, так и тех, которые анализировались литературой пока еще «в первом приближении». В интеллектуальном пространстве «новый человек» менял или теснил так называемых «лишних людей», «героев-идеологов» и даже сравнительно новую фигуру — «человека дела». В прозе

Эксмо, 2008. С. 18).

¹ Дризен Н.В. Материалы к истории русского театра. М., 1913, с. 189. Цит. по: Сухово-Кобылин А.В. Трилогия. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1955. С. XI.

Чернышевского «новые люди» получали откровенно фантазийные черты. В творчестве Льва Толстого они облекались в идеальные одежды, в которых было удобно бить поклоны народу. В творениях Достоевского «новые люди» предстали в двух ипостасях. Сперва они робко выглядывали, но вскоре начали выбираться на свет из своего «подполья». В выбравшись из него, «новый человек» Достоевского, доселе всецело поглощенный рефлексией, начал действовать, а именно, творить всяческого рода насилие и даже убивать во имя идей своего «подпольного» мира и не менее «подпольного» собственного нутра.

Далее, если перейти от линии русской прозы к драматургии, нужно вспомнить о пьесах А.Н. Островского. К сожалению, в первый период его творчества, закончившийся знаменитой «Грозой», мы не находим у него сколько-нибудь глубоких образов, позволяющих включить их в линию нашего рассуждения о «новых людях». В написанных для театра произведениях «новые люди» в полный рост возникают лишь в драматургии Сухово-Кобылина. Причем если раньше они изображались главным образом по отдельности, что в какой-то мере позволяло объяснять или оправдывать их негативные качества личностными особенностями, воспитанием, образованием, индивидуальной средой обитания, то у Кобылина «новый человек» недвусмысленно и жестко выступает прежде всего как частица единого страшного целого. Целое это — преступная корпорация, порожденная и действующая от имени государства. Кобылинский «новый человек» предстает перед нами не игрушечными злодеями автора «Грозы» (всякого рода жадными и грубыми купцами и купчихами, прежде всего), не глубоко больным, вызывающим не только отвращение, но и сострадание студентиком Раскольниковым, изобретенным Достоевским. Он заявляет о себе весомо прежде всего потому, что представляет существующую реальность. За этим героем (героями) просматриваются государственные чины, члены корпорации, которая в то же время являет собой не что иное, как организованное преступное сообщество, умело, всесторонне и изобретательно манипулирующее российской законностью, насквозь пронизанной личным чиновным произволом. «Новый человек» Сухово-Кобылина сразу перешагивает несколько ступеней злодейской иерархии и тут же оказывается не только человеком XIX столетия, но и в полной мере хорошо узнаваемым нашим российским современником.

Так, если этот «новый человек» — квартальный надзиратель или следователь, то они представляют собой главные устремления полицейской и досудебной власти. Если этот «новый человек» — прокурорский или судейский чиновник, то за ним стоит надзорная и репрессивная российская власть. Таким образом, Кобылин впервые и в крупном масштабе ставит не только проблему отношения личности и государства, власти и отдельного человека, но и организованного государственно-преступного сообщества, с одной стороны, и разрозненных индивидов так и не сложившегося в России гражданского общества — с другой.

Более того. Все три пьесы, как по своей тематике, так и по заявленному жанру, акцентируют наше внимание на универсальной формулировке своей основной идеи. Идея эта проста и ужасна: власть в России может сделать с человеком все; жизнь в стране под пятой государства опасна, трагична либо вовсе невозможна; честному человеку в этой стране нужно умирать или из этой страны бежать. В одиночку борьба со злом бессмысленна.

Столь широкое обобщение — не преувеличение и тем более не мой домысел в качестве почитателя большого таланта. Хорошо известно, что Кобылин всю жизнь неустанно занимался философией, строил свою собственную философскую систему, к сожалению, до нас не дошедшую. Тем не менее влияние философских занятий на художественное творчество отмечалось самим автором «Смерти Тарелкина»: «Если пьесы мои носят специальный характер богатства содержания и особенно концентрации формы, я думаю, я не только этим, но и самим созданием этих пьес обязан философии»¹.

Что ожидает нашего читающего современника, когда он берет в руки трилогию Кобылина? Комедия «Свадьба Кречинского» — об обмане в самом святом для начинающей жизнь девушки — любви. Драма «Дело» — о возможности уничтожения любого человека, которым «заинтересуется» не признающая право и легко сминающая все государственная машина. Так называемая «комедия-шутка» «Смерть Тарелкина» — о безграничности как властных (чиновных) возможностей и людоедских фантазий «государственных людей», так и их реальных действий, простирающихся даже в создаваемый главным героем потусторонний

¹ Цит. по: *Бессараб М. Сухово-Кобылин. М.: Современник, 1981. С. 210.*

мир. (В этой связи «Смерть Тарелкина», для которой, возможно, из цензурных соображений автором был сделан такой странный жанровый выбор, следовало бы считать обличительной фантазмагорией.) Таким образом, развернутое трехчастное повествование Кобылина о человеческом бытии идет по нарастающей в своей безысходности линии: комедия с элементами драмы — драма — фантазмагория.

Триада, как это отмечал Л. Гроссман, ясно видна и в основном композиционном законе кобылинской драматургии: «Тонкий расчет — срыв замысла — спасение в момент катастрофы — такова тройственная схема "Кречинского". Ей соответствует в драме "Дело": искание правосудия — крушение надежд — гибель героя, а в "Смерти Тарелкина" — бегство от травли — разоблачение и пытки — освобождение и примирение врагов»¹. Впрочем, «примирение» врагов, на мой взгляд, недвусмысленно оттеняет главную характерную черту государственной власти в кобылинской трактовке, а именно власти как организованного явления — ее уголовно-корпоративный (связанный порукой составляющих ее людей) характер. Эта корпорация столь сильна, что даже входящие в нее враги могут быть только врагами временными, поскольку принцип единства ставится всеми ее участниками превыше всего. Однажды принятый в корпорацию человек покинуть ее может только одним способом — уйдя в могилу. Это, кстати, прекрасно известно главному герою «Смерти Тарелкина», который, пытаясь из корпорации выйти, именно с этого начинает — имитирует собственную кончину и для правдоподобия подкладывает в стоящий в его квартире гроб с муляжом трупа тухлую рыбу.

Корпоративное единство чиновников не изобретено ими, не висит в воздухе, а покоится на более широкой основе — традиционном социально-культурном укладе жизни российского общества. В дневнике Кобылина записано: «Русскому — чиновничество сродственно и свойственно. Даже помещик, поступивший на должность, тотчас линяет в чиновника. Отличительная черта чиновника в том и состоит, чтобы справедливости или лучше — положительного закона ради — попирает личность. От этого это попирание так легко и родственно извращается во взятку (10 сентября 1861 г.)»².

¹ Гроссман Леонид. Цит. соч. С. 238—239.

² Цит. по: Бессараб М. Сухово-Кобылин. М.: Современник, 1981. С. 215.

Изображая на сцене эту российскую национальную черту — попираание личности как способ укрепления собственного сообщества (корпорации), Кобылин, будучи в изображении этого открытия первым, тем не менее его (открытия) не делал. Всем в России об этом было отлично известно многие века, а если уж говорить о первенстве в изображении этого явления, то оно, без сомнения, принадлежит Гоголю с его бессмертным «Ревизором».

Но Кобылин, хотя и шел вслед за Гоголем, не просто его повторял. Дело было в том, что со времен Гоголя прошло почти пятьдесят лет. В России состоялась отмена крепостного права и шли другие либеральные реформы Александра II. Но при всем этом в устройстве государственного механизма, в его работе, ничего не менялось. Это, кстати, подтвердил и цензурный отказ на постановку пьесы «Дело», посланной автором летом 1863 года сначала в театрально-литературный комитет, а затем и цензору Нордштрему. «Настоящая пьеса, — писал цензор в своем заключении, — изображает, как по придирчивости полицейских и судебных властей, из самого ничтожного обстоятельства, по ложному перетолкованию слов, возникают дела, доводящие до совершенной гибели целые семейства. Недальновидность и непонимание обязанностей своих в лицах высшего управления, подкупность чиновников, от которых зависит направление и даже решение дел, несовершенство законов наших (сравниваемых в пьесе с капканами), безответственность судей за их мнение и решение — все это представляет крайне грустную картину и должно произвести на зрителя самое безотрадное впечатление, которое еще усиливается возмутительным окончанием пьесы»¹. О личном разговоре с цензором в дневнике Кобылина читаем: «...он просто и прямо запрещает пиесу. Его слова: мы на себя руку поднять не можем! ...Он сам генерал и обиделся. Думаю, его друзья генералы просили. ... — Да кто же не поймет, что это Министерство, Министр, его товарищ — правитель дел и т.д. ... Дело мое потерянное»². Что же за «дело» осмелился раскрыть Кобылин в так испугавшем власть «Деле»?

Начав в «Свадьбе», как мы помним, с вполне невинной по своим масштабам проделке — «затеи» Кречинского, во второй пьесе автор переходит к самому российскому государственному

¹ Там же. С. 220.

² Там же.

зданию. Отчего же оно сделалось объектом критического и даже разоблачительного рассмотрения?

Как известно, государство как система общественных институтов первоначально возникает в обществе из политических отношений свободных граждан¹. Однако по мере усложнения его функций, а также увеличения времени, необходимого на отправление властных дел, возникает необходимость в создании его специальных профессиональных органов — постоянно действующего государственного аппарата, судебной и надзорной систем, полицейской власти и тюрем, армии. Государство становится особой машиной, требующей поддержания и обслуживания, одно из назначений которой — сделать так, чтобы в столкновении интересов противоборствующих общественных групп они «не пожрали друг друга». В России с ее проявляющимися в течение многих веков родовыми особенностями быть империей и обеспечивать контроль над огромными пространствами, равно как и с постоянной необходимостью свои неохватные рубежи защищать, возобладали и утвердились различные варианты всего одной формы общественного устройства — тоталитаризма: от самодержавной тирании Ивана IV Грозного до просвещенного авторитаризма Александра II. Государство сделалось машиной настолько самостоятельной, что стали требоваться значительные усилия для ее защиты от общества, а составляющее сердцевиной этой машины чиновничество настолько укрепилось в своих властных функциях и необъятных по отношению к частному человеку возможностях, что беззастенчиво использовало любой повод, чтобы пожрать каждого, кто проявит малейшую неосторожность в контакте с ним.

Собственно, с этого — предупреждения о готовящейся со стороны властной машины атаке, подготовляемой для того, чтобы уничтожить семейство героя Отечественной войны 1812 года помещика Муромцева, — и начинается вторая часть трилогии Кобылина. Друг семьи Нелькин, вернувшийся в Россию из путешествий за границей, — герой, представленный автором в перечне действующих лиц в IV разряде, озаглавленном «Ничтожества,

¹ Государство Аристотель определяет как политические отношения, а свою задачу в знаменитом исследовании видит в изучении «человеческого общения в наиболее совершенной его форме, дающей людям полную возможность жить согласно их стремлениям». (*Аристотель*. Политика. М.: АСТ, 2010. С. 49).

или частные лица»¹, читает написанное Муромцеву из тюрьмы проходимцем Кречинским письмо-предупреждение: «С вас хотят взять взятку — дайте; последствия вашего отказа могут быть жестоки. Вы хорошо не знаете ни той взятки, ни как ее берут; так позвольте, я это вам поясню. Взятка взятке рознь: есть *сельская*, так сказать, пастушеская, аркадская взятка; берется она преимущественно произведениями природы и по столько-то с рыла; — это еще не взятка. Бывает *промышленная взятка*; берется она с барыша, подряда, наследства, словом приобретения, основана она на аксиоме — возлюби ближнего твоего, как самого себя; приобрел — так поделись. — Ну, и это еще не взятка. Но бывает *уголовная*, или *капканная, взятка*; — она берется до истощения, догола! Производится она по началам и теории Стеньки Разина и Соловья Разбойника; совершается она под сению и тению дремучего леса законов, помощью и средством капканов, волчьих ям и удилиц правосудия, расставляемых по полю деятельности человеческой, и в эти-то ямы попадают без различия пола, возраста и звания, ума и неразумия, старый и малый, богатый и сирий... Таковую капканную взятку хотят теперь взять с вас; в такую волчью яму судопроизводства загоняют теперь вашу дочь. Откупитесь! Ради бога откупитесь!.. С вас хотят взять деньги — дайте! С вас их будут драть — давайте!..»²

Поставленная на службу профессиональных стяжателей-чиновников государственная власть в пьесе Кобылина изображается как неотвратимая и непобедимая, почти природная сила. Государство, не имеющее в общественной жизни противовеса в лице сколько-нибудь серьезно организованного общества, не подчиненное власти законов (в силу их намеренного отсутствия или игнорирования), не контролируемое независимой печатью, делающей поступки чиновников известными обществу и потому потенциально наказуемыми, — такое государство превращается в монстра, олицетворяющего произвол стоящего во главе его самодержавного монарха и его ближайших слуг.

Обсуждая предложение — предостережение Кречинского, родственница Муромцева апеллирует к реальности: дочь по-

¹ Свою пьесу Кобылин даже по форме выдерживает в антигосударственном духе, помещая ее главных персонажей, не принадлежащих к категории чиновников, в раздел с соответствующим названием.

² *Сухово-Кобылин А.В.* Трилогия. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1955. С. 93—94.

мещика зла не делала. Что же до друга семейства Нелькина, то он, будучи наполнен впечатлениями о верховенстве стоящего на стороне добропорядочных граждан закона, полученными во время путешествия по Европе, также не принимает письмо Кречинского всерьез.

Постепенно, однако, знающие российскую чиновную практику люди переубеждают Муромцева, и он решается собрать требуемую огромную сумму, разоряющую его, и в качестве взятки передать высокому начальнику. Но, как оказалось, дело это уже вышло из-под контроля взяточника и повернуть его даже за взятку в пользу Муромцева нельзя. Тем не менее огромная «капканная» взятка принимается, а затем, оставив себе ее львиную часть, взяточник публично и со скандалом разыгрывает свою неподкупность и обличение-обвинение Муромцева. Капкан захлопывается, помещик уничтожен.

Последняя часть трилогии — «Смерть Тарелкина» — апофеоз корпоративного чиновного братства, скрепленного совместными бесчестными делами. Сценически оно ярко обозначается уже в одной из первых сцен, когда чиновники под водительством одного из главных героев «Дела», Варравина¹, приходят на квартиру якобы умершего Тарелкина. Дабы даже в эту торжественную минуту прощания никто из членов корпорации никого не обманул, Варравин выстраивает из чиновников цепь, дабы каждый извлек из кармана своего соседа бумажник, а из него три рубля, отдаваемых в «общий котел». Только такая форма «круговой поруки», придуманная Варравиным, хорошо знающим своих молодцов, обеспечивает надежность точного сбора пожертвований на похороны.

Чиновничество, представленное преимущественно в своем полицейском проявлении, с одной стороны, оказывается послушным инструментом в руках стоящего над ними начальника, а с другой стороны, являет себя неправосудной силой, преследующей исключительно корыстные личные интересы. В данном сюжете оба этих начала совпадают, и сила их действия против жертвы удваивается.

¹ Обратим внимание на почти полное сходство имени Варравин с библейским персонажем разбойником Варравой, которого Понтий Пилат по требованию толпы освобождает от казни вместо Христа. Проповеди Иисуса Христа и Иисуса Варравы — проповеди антиподов. У одного — ненависть, у другого — любовь, у одного — разрушение, у другого — созидание. Подобие это вряд ли случайно. Варравин у Кобылина — воплощение зла государственного.

Не удовлетворяясь разоблачительным пафосом и безысходностью, которыми пронизана пьеса, Кобылин помещает после нее «Послесловие» со следующими словами: «Если бы, за всем этим, мне предложен был вопрос: где же это я так-таки такие *Картины* видел?.. — то я должен сказать, положи руку на сердце:

Нигде!!! ...и — везде...»¹

И в дополнение, как бы обращаясь к возможным единомышленникам в будущем: «...пора публике самой в тайне своих собственных ценных ощущений и в движениях своего собственного нутра искать суд тому, что на сцене хорошо и что дурно»².

С тех пор минуло более полутора веков. Пора?

¹ Там же. С. 260.

² Там же. С. 86.

III.

РУССКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ
В ЭКРАНИЗАЦИЯХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Глава 12

«НОВЫЕ ЛЮДИ» ПРОЗЫ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 1840—1860 гг. В ЭКРАНИЗАЦИЯХ РУССКОГО, СОВЕТСКОГО И РОССИЙСКОГО КИНО

В киноведении советского периода Ф.М. Достоевский считался вполне «киногеничным» автором. Его проза «остросюжетна, изобилует драматичными конфликтами, населена мятущимися героями, фанатически ослепленными страстотерпцами, жертвами вопиющего произвола, неутомимыми искателями истины»¹. И в реальной практике нашего кинематографа до середины 1980-х нашли путь к экрану едва ли не все крупные романы писателя, исключая разве что трудно воспринимаемых в советское время «Бесов».

Но легкость эта, как, впрочем, и легкость освоения экраном любого классика масштаба Достоевского, была иллюзорна, о чем говорит, например, опыт Андрея Тарковского. Выдающийся кинорежиссер едва ли не на протяжении всей своей кинематографической жизни и особенно в 1970-е годы мечтал обратиться к Ф.М. Достоевскому. В чтении, в теоретическом, культурно-историческом плане он давно и увлеченно над ним работал, проникая в тайны творчества писателя, осваивая литературоведческие и историко-биографические исследования, связанные с именем классика. Более всего режиссера привлекали три романа: «Преступление и наказание» (1866) и «Идиот» (1968), объединенные внутренним сюжетом, а также «Подросток» (1875), оказавший на него сильнейшее влияние еще в ранней юности. Но в какой-то момент размышлений над перспективами переноса их на экран Тарковский вдруг охладевает к повествованию о Льве Николаевиче Мышкине, находя его сюжет слишком грубо делящимся на «сцены» и на «описание сцен». Перечитывая роман, он обнаруживает, что ему скуч-

¹ Гуральник У.А. Русская литература и советское кино. Экранизация классической прозы как литературоведческая проблема. М.: Наука, 1968. С. 209.

но. Идея постановки блекнет и увядает, хотя позднее он вновь вернется к этому замыслу.

После «неудачного» повторного чтения «Идиота» Тарковский обращается к любимому «Подростку», а затем и вообще говорит, что Достоевского экранизировать невозможно, а ставить перед собой такую задачу может лишь недалекий и самонадеянный человек. И это после того, как он уже сценарно разбил роман «Идиот» на эпизоды, точно определил, что Настасью Филипповну у него должна сыграть Маргарита Терехова, Парфена Рогожина — А. Кайдановский, а самого Мышкина — актер непрофессиональный. Для реализации замысла задумывалась телевизионная интерпретация произведения в двух фильмах по несколько серий.

Позднее его захватила другая, может быть, и не менее, а более сложная, с точки зрения воплощения, идея — экранизировать жизнь и творческие, мировоззренческие поиски писателя, включая в фильм фрагменты произведений. В начале 1973-го он даже отправляет редактору «Мосфильма» творческую заявку с просьбой закрепить за ним тему, рассчитанную на двухсерийный фильм по оригинальному сценарию «о творчестве и существовании характера великого русского писателя Ф.М. Достоевского». Сценарий задумывается как «поэтическое исследование, а не как биография», анализ творческих предпосылок, заложенных в самом характере Достоевского, как «увлекательное путешествие в область замыслов его самых значительных произведений».

Как нам кажется, Тарковский стремится уйти от соблазнительной фабульной прямолинейности в экранизации Достоевского и намеревается пойти более сложным путем в художественном освоении его творчества — через противоречивое целое его жизни. Роль мученика русской литературы должен был исполнить любимый актер Тарковского — Анатолий Солоницын. Он и сыграл эту роль. Но в фильме совершенно другого режиссера.

Мы думаем, что преградой к экранизациям произведений любимого писателя стала для Тарковского не столько, как принято думать, бюрократическая непробиваемость чиновников от кино, сколько действительная сложность перенесения на экран прозы писателя, к которой режиссер искал пути, соответствующие и его взглядам на Ф.М. Достоевского.

Иллюзия легкости воплощения на экране произведений Достоевского часто возникает в силу их внешней жанровой

определенности. В основе многих из них лежат факты, почерпнутые просто-напросто из уголовной хроники. «Преступление и наказание», например, по фабульной линии целиком, кажется, укладывается в жанр уголовно-криминального романа. «Униженные и оскорбленные» (1861) — типичная мелодрама с элементами уголовного сюжета и т.д. В то же время даже средний режиссер не может не заметить масштабность и сложность художественной мысли писателя и наверняка в душе лелеет тайное намерение сохранить все это одновременно с доступностью восприятию «широкого зрителя».

Примечательно, что автор процитированного выше фундаментального труда, посвященного экранизациям отечественной классики, У. Гуральник, полагает, что судьба Достоевского на киноэкране приобретает принципиальное значение, поскольку обнаруживаемые здесь достоинства и недостатки, укрупнены в силу масштабности самого предмета. «Соотношения русской классической литературы и современного искусства кино (советского в первую очередь), — читаем в исследовании конца 1960-х годов, — в итоге анализа «достоевских фильмов» выступают более очерченными... Достоевский принадлежит к числу тех классиков, которые продолжают оказывать наиболее заметное воздействие на современную духовную культуру и служат предметом непрекращающихся ожесточенных идейно-эстетических споров»¹.

К моменту выхода добротной книги У. Гуральника каталог экранных воплощений Достоевского выглядел довольно скромно. Самым среди них значительным была только-только завершенная экранизация «Братьев Карамазовых» (1969). Привлекая к себе заслуженное внимание как зрителей, так и специалистов, она отличалась неизбежной неровностью уже хотя бы потому, что начинал над ней работу И. Пырьев, а заканчивали по его смерти актеры К. Лавров и М. Ульянов. Станным покажется, если вспомнить другие картины Пырьева, скажем, его колхозные музыкальные комедии, что он в советском кино к концу 1960-х считался самым крупным специалистом по Достоевскому, поскольку уже успел вынести на экран и «Белые ночи» (1960), и первую часть романа «Идиот» — «Настасья Филипповна» (1958). Однако страстность этой легендарной личности была едва ли не конгениальной той страстности, с которой герои

¹ Там же. с. 213.

Достоевского всякий раз стремятся «идею разрешить», без чего, кажется, и дальнейшая их жизнь теряет смысл.

Значительным явлением советского искусства кино в «оттепелный» период могла стать экранизация рассказа Достоевского «Скверный анекдот», написанного в 1862 году и поставленного режиссерами А. Аловым и В. Наумовым в 1966-м, если бы фильм не был положен на «полку» вплоть до второй половины 1980-х.

Большинство картин, созданных по Достоевскому в советский период, пренебрегают существенной стороной прозы писателя — ее идейно-художественной полифонией. Происходит это, вероятно, по той причине, что сюжетно-жанровая и стилевая многослойность делают произведения классика весьма затрудненными для экранизации, поскольку нарушают (если не разрушают) однозначность жанрового каркаса и превращают текст в столкновение, спор, противостояние «голосов» персонажей, за каждым из которых — пережитая в опыте данного человека и определяющая его судьбу идея.

Полифоническое построение текста приводит к тому, что каждый персонаж Достоевского обретает некую самостоятельность, суверенность в переживании, отстаивании своей жизненной позиции, идеи, на которую не посягает даже автор. Сохранить эту самостоятельность и внятность каждого «голоса», включая в текст фильма и голос самого Достоевского, не забывая и о своем присутствии в этой многоголосости, — трудная задача для экранизатора.

Более или менее заметные кинопрочтения Достоевского советского периода чаще всего склоняются к сюжетно-фабульной прямолинейности, к акцентам на социально-классовых отношениях героя с миром, приглушая сложную внутреннюю борьбу, происходящую, как правило, в герое Достоевского на всем протяжении сюжета и составляющую главное содержание произведения. Именно поэтому в экранизациях советского периода хорошо уловимо тенденциозно-оценочное восприятие писателя со стороны, так сказать, главных идеологических установок времени.

Один из первых советских фильмов по мотивам Достоевского — «Мертвый дом» (1932), поставленный В. Федоровым по сценарию В. Шкловского. «Записки из Мертвого дома» (1861—1862) — книга итоговая для писателя, квинтэссенция духовного опыта, вынесенного из Омского острога, куда он был препровожден в качестве осужденного по делу петрашевцев. Именно на катор-

ге Достоевский понял, как далеки идеи «нового христианства» от «сердечного» чувства Христа, каким обладает народ.

С каторги писатель вынес свой «символ веры», который был очень прост и состоял в том, чтобы верить, что нет и не может быть ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа. Эта убежденность Достоевского была настолько сильной, что если бы кто-то даже доказал ему, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то он оставался бы с Христом, а не с истиной. Здесь было начало тех почвеннических убеждений, формирование которых завершилось в 1860-е годы.

Произведение Достоевского автобиографично, но его фигура уходит вглубь сюжета, а на первый план выдвигаются народные типы, населяющие острог. Писатель видел свою задачу в правдивом свидетельстве о людях из народа, «не испорченных цивилизацией». По выходе из каторги в первом же письме к брату от 22 февраля 1854 года он писал: «Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров! я сжился с ними и потому, кажется, знаю их порядочно. Сколько историй бродяг и разбойников и вообще всего черного, горемычного быта. На целые томы достанет. Что за чудный народ»¹.

Авторы фильма положили в его основу отдельные периоды жизни и творчества писателя. Фильм открывал вступительным словом профессор П.С. Коган. Действие начиналось в 1880 году с речи «Смирись, гордый человек...». Далее шла сцена в кабинете Победоносцева (Н. Подгорный). Здесь Достоевского (Н. Хмелев) настигал приступ болезни и перед его взором проходило прошлое: 40-е годы, молодость в Петербурге, кружок Петрашевского, арест, пережитый во время несостоявшейся казни ужас смерти, каторга, снова столица, после чего действие вновь возвращается в кабинет обер-прокурора светлейшего синода.

«История советского кино» так комментирует фильм: «Задуманная В. Шкловским кольцевая композиция, построенная в виде воспоминаний, опиралась, скорее, на возможности немного кино. Лишь спустя много лет звуковое кино обрело необходимую гибкость, близкую к течению мысли. «Мертвый дом» распался на несколько разговорных сцен и сцен, рисовавших приемами немой символики николаевскую эпоху. Лучшая разговорная сцена фильма воскрешает в памяти знаменитые

¹ *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 4. Л.: Наука, 1972. С. 275.

диалоги «Братьев Карамазовых». Эта сцена — допрос шефом жандармов Дубельтом (Н. Радин) арестованного писателя. Центральным в ней был превосходный актерский диалог..

Льстя, уговаривая, восхищаясь «психологическим пером» и угрожая, шеф жандармов пытался завербовать могучий талант в интересах «отечества» и «престола», а поверивший было в участливость жандарма молодой Достоевский развертывал перед генералом свои взгляды и вдруг, постигнув суть предложения, отступал к стене: «Вы не смеете...»

Сцена зажила отдельно, она перешла в документальные и телевизионные картины, не связанные с забытым «Мертвым домом». Между тем основной мотив — человек и эпоха — был в этом фильме заложен¹.

Эпоха здесь понимается как эпоха торжества самодержавия в России, притесняющего демократически ориентированного художника. Авторы фильма оставляют в стороне не только тему религии, но и неоднозначность отношений народа и дворянского интеллигента, острую конфликтность которых Достоевский не только особо подчеркивает в «Записках...», но и переносит в роман «Преступление и наказание». Речь идет о недоверии и даже ненависти арестантов из простонародья к нему как к «барину», к «политическому» из дворян.

Вот повествователь в романе беседует с кем-то из заключенных дворянского происхождения и спрашивает, почему другие заключенные смотрят на него с такой враждебностью. Ему отвечают: «Они злятся на вас за то, что вы дворянин и на них не похожи. Многие из них желали бы к вам придраться. Им бы очень хотелось вас оскорбить, унижить. Вы еще много увидите здесь неприятностей. Здесь ужасно тяжело для всех нас. Нам всех тяжелее во всех отношениях. Нужно много равнодушия, чтоб к этому привыкнуть...»².

Трагедия дворянского интеллигента, перепахавшая его мировидение, обернулась в фильме противостоянием иного рода, более близким эпохе социализма. Здесь конфликт пролегал между народом и пострадавшим за него писателем-демократом, с одной стороны, и самодержавием — с другой. Но сочувственное отношение авторов к фигуре «чуждого пролетарской революции» писателя вызвало все же резкую критику в цен-

¹ История советского кино. 1917—1967: В 4 т. Т. 2. 1931-1941. С. 93—94.

² Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 32.

тральной партийной прессе. Фильм ругали за то, что его создатели не могли «пропитать свою картину живой враждой к политическим идеалам Достоевского, потому что такой вражды не испытывали»¹. Даже и в конце 1960-х годов автор цитированного выше труда полагает, что и для современной ему кинематографической интерпретации творчества Достоевского не безразличен вопрос, поставленный критиком «Правды»: если советский киноэкран решил показать Достоевского, то какого и для чего? И ответ, в свете требований советской идеологии, должен быть ясным и недвусмысленным.

Таким образом, официальная коррекция точки зрения авторов картины категорически противостояла той полифонии, которая является сущностным признаком прозы Достоевского. И даже робкая попытка взглянуть с сочувствием на «чуждые» идеи автора «Записок...» вызвала недвусмысленный запретительный окрик.

Примечательно, что и в период «оттепели», правда, на ее закате, демонстративно самостоятельный взгляд отечественных кинематографистов на Достоевского вызвал реакцию «держат и не пущать». В данном случае речь идет об уже упомянутой выше картине Алова и Наумова «Скверный анекдот».

Выбор материала для экранизации был явно направленным. Авторы обнаруживали аналогию между современностью 1960-х и эпохой столетней давности. Ключевой для режиссеров (они же и сценаристы в соавторстве с Л. Зориным) стала фраза, открывающая рассказ: «Этот скверный анекдот случился именно в то самое время, когда началось с такою неудержимою силою и с таким трогательно-наивным порывом возрождение нашего любезного отечества и стремление всех доблестных сынов его к новым судьбам и надеждам...»² Ироничность фразы приобрела в атмосфере фильма интонации щедринской сатиры. Более того, кинематографисты использовали весь свой зрительский опыт знакомства с зарубежным кинематографом, чтобы насытить свою сатиру, явно обращенную к их современности, гротесковой образностью.

«Скверный» же анекдот заключался в том, что либерально настроенный сравнительно молодой генерал Иван Ильич Пралинский, сорока пяти лет и приятной наружности, проповедующий гуманное отношение к низшим чинам, решил до-

¹ Правда. 1932. 19 мая.

² *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Т. 5. С. 6.

казать правоту своих принципов на деле и заглянул на убогий свадебный пир своего подчиненного Пселдонимова. Он был несколько навеселе, поскольку перед этим побывал на дне рождения своего бывшего начальника, тоже генерала, но уже не статского, как Иван Ильич, а тайного советника. Кстати, спор, завязавшийся там, и спровоцировал поступок Пралинского, ибо тайный советник никак не мог согласиться с аргументами своего младшего коллеги, обронив краткое: «Не выдержим». Вот Пралинский и решил доказать, что уж он-то «выдержит».

Он даже предварительно продумал свое появление и дальнейшее поведение на упомянутом мероприятии, но все получилось с точностью до наоборот. Мало того что у Пселдонимова его восприняли не так, как он желал. Дело обернулось тем, что Иван Ильич упился и в болезненном состоянии был препровожден восвояси, а затем целую неделю не появлялся на службе, ибо долго не мог прийти в себя ни в нравственном, ни в физическом смысле. Словом, действительно не выдержал. В этом и состояла главная мысль рассказа: либеральные идеи «деловых» людей никак не соответствуют их «натуре», обнаруживающейся в поступках, которые противоречат принципам гуманизма.

Как отмечал исследователь творчества писателя Р.Г. Назиров, трагикомический контраст между иллюзиями российского либерализма 1860-х годов (которые в известной мере в 1860—1861 годах разделял и сам автор) и реальной жизнью с ее «нелепым и страшным кошмаром» «определяет структуру рассказа: ступенчатую композицию с катастрофическим провалом героя, а также всю атмосферу действия, напоминающую постыдное сновидение...»¹.

А «реальная жизнь» у Достоевского свидетельствовала о том, что взаимопонимание между «высшими» и «низшими» в российской действительности никак невозможно. Хотя в пьяной толпе мелких чинов, собравшихся у Пселдонимова, нашлась все-таки капля человечности для несчастного Ивана Ильича, что он и оценил по достоинству. Речь идет о матери чиновника, простой русской женщине, бесконечно доброй и самоотверженной.

Нужно сказать, что и социально противостоящие друг другу Пралинский и Пселдонимов психологически вовсе не однозначны в своем противостоянии. Иван Ильич по-своему искренен в своих побуждениях и довольно чутко реагирует на двусмыслен-

¹ Там же. С. 354.

ность ситуации, в которой оказался. Не прост и Пселдонимов, в котором, кроме безропотной покорности «маленького человека», обнаруживается и внутренний протест. Персонаж обрисован вполне реалистично, насколько это возможно в рамках рассказа. И наконец, не менее важное: оба героя стыдятся происшедшего с ними! Рассказ как раз и заканчивается констатацией стыда, переживаемого неудавшимся либералом Пралинским.

Фильм был избавлен от этих психологических тонкостей. Его авторы суровы и беспощадны ко всем персонажам картины без исключения. Л. Аннинский, блистательно проанализировавший картину, писал уже на рубеже 1990-х: «Гоголевское и щедринское, увиденное в Достоевском, — это ведь не просто "не весь" Достоевский; это и некий отказ прочесть в Достоевском то, что мы по традиции у него ищем: жалость и милосердие, понимание и надежду. Здесь отсутствие этих качеств становится творческим знаком, отрицательным деянием, которое вряд ли состоялось бы в случае "чистой сатиры". А разве перед нами не сатира? Нет. Перед нами — мистерия, символом которой становится как раз то, чего нет: вопиюще нет, скандально нет, убийственно нет.

Нет надежды, нет проблеска, нет в человеке облика человеческого. Об этом фильм!..

...Красота словно отслоена от этого мира, и разум отслоен, и чувства отслоены, и все это механически перемешивается, как бы не узнавая друг друга. Воздух выкачан. Маски. Монстры. Глубинная последовательность чувствуется в этом тяжелом ермаше, какой-то потаенный смысл (или антисмысл!) — в этой бессмыслице, система — в безумии: безостаточное расслоение мироздания...»¹ Критик видит в этой картине разрушение иллюзий либеральной отечественной интеллигенции. Фильм издевается над либеральными порывами своего героя, хоть и начальника, но «интеллектуала», отправившегося сливаться с народом в «нравственных объятиях».

Но рушится не только иллюзия либерального «верха», а и иллюзия демократического «низа», что кажется Аннинскому еще более страшным. С точки зрения советского зрителя, не впервой осуждать генералов и всякие другие правящие классы, но оказалось, по фильму, что и «народ» — такая же иллюзия, что на его месте взбесившиеся рабы, готовые подчиниться кнуту, но

¹ Аннинский Лев. Шестидесятники и мы. Кинематограф, ставший и не ставший историей. М.: Киноцентр, 1991. с. 206.

при малейшем послаблении выпускают на поверхность жизни все свои комплексы, все свое плебейское хамство.

Однако же, поправляет критик, не народ представлен в фильме. В фильме представлен «прекраснодушный миф» о народе, вывернутый наизнанку, превращенный в карикатуру и шарж.

Миф о «нравственном начале», о «богоносце», миф о «почве», на которой «все строится».

Нет нравственного начала. Нет почвы. Не на чем строить...

...Смысл картины страшен: самоотрицание интеллигенции. Вопль о ее бессилии, о ее безнадежности. «Упреждающая капитуляция»...¹

Аннинский не принимает этих идей фильма. Однако признает, что картина Алова и Наумова — замечательное явление отечественного искусства, необходимая веха в наших раздумьях о самих себе.

Критик называет фильм акцией отчаянной смелости, поскольку в обстановке застарелого народопоклонства его авторы попытались сказать страшную правду о состоянии народа, в первых.

А во-вторых, попытались сказать правду об интеллигенции: об ее иллюзиях, бессилии, зараженности общим рабским духом.

«И наконец, само отчаяние художников, попытавшихся справиться со своими (и нашими) иллюзиями, сама их безнадежность — это тоже ведь духовный опыт, опыт огромной важности»².

Увлеченность Аннинского разбором чужой ему картины покоряет. Но признать отчаянную искренность авторов фильма мешает какая-то нарочитая, рассудочно-избыточная его загроможденность символикой. Настырная и холодноватая, эта образность почерпнута из самых разных, как литературных, так и кинематографических, источников, а позднее откликнувшаяся в их же довольно громоздком фильме о Тиле Уленшпигеле. В фильме, сказали бы мы, маловато живого отчаяния, ужаса от собственной безысходности, а может быть, и совсем ничего этого нет.

Вспоминая о настойчивом стремлении официальной идеологии вытеснить из экранизируемой прозы Достоевского всякий намек на то, что этой идеологии чуждо, мы видим в «Скверном анекдоте» своеобразную реакцию на «официоз». Маятник резко

¹ Там же. С. 207.

² Там же. С. 208.

качнулся в противоположную сторону. Авторы «Павла Корчагина» и «Мира входящему» сжигают все, чему поклонялись, но делают это, как нам кажется, слишком демонстративно, с холодноватой рассудочностью, притесняющей в их картине живое чувство.

Но вернемся к эпохе 1930-х. В тех же условиях, что и «Мертвый дом», оказалась следующая попытка прочесть Достоевского с помощью экрана. Речь идет о заметном явлении в нашем кино — фильме Г. Рошаля и В. Строевой «Петербургская ночь» (1934), материалом для которого послужили «Белые ночи» и неоконченная «Неточка Незванова» (отсюда в фильм переключилась линия музыканта-разночинца Егора Ефимова). В строгом смысле картина не была экранизацией собственно этих произведений, так как ставилась, скорее, по мотивам Достоевского, чем по его повестям. Но при этом «Петербургская ночь» вошла в историю отечественного кино как произведение, довольно точно воссоздающее дух оригинала.

Мечтательного повествователя из «Белых ночей» вполне можно было срассить с Ефимовым из «Неточки Незвановой» и сделать этот гибрид главным героем картины и, следовательно, жертвой «эпохи и режима крепостной России». Да, Егор Ефимов действительно становится в фильме жертвой «режима крепостной России», что, по существу, не имеет отношения к произведению Достоевского. В повести «режим» (т. е. люди, обличенные властью и достатком) относится вполне снисходительно и даже с сочувствием к одаренному музыканту, который губит свой талант из-за пьянства и непомерного болезненного самомнения, оборотной стороной которого часто становится обыкновенная зависть к «баловням судьбы».

Существенной стороной экранизации становится вынесение конфликта во внешнее относительно героя пространство. Конфликт приобретает исключительно классовые черты противостояния героя и враждебного ему мира самодержавной России. Выстраивается повествование о крепостном музыканте Егоре Ефимове (Б. Добронравов), который отправляется в Петербург, чтобы с помощью музыки рассказать о народном горе и страдании. Еще находясь в оркестре помещика, он как скрипач получает высокую оценку из уст крепостника-меломана. Но содержание его музыки, почерпнутое из глубин народных, есть, по определению, бунт, о чем и сообщает народному таланту тот же помещик.

Ефимовская скрипка в фильме «вскрывала» суть социальных типов, на которые подразделялись персонажи. Появлялся анти-

под «народного» Ефимова скрипач Шульц (у Достоевского положительный Б.), в исполнении А. Горюнова, который, будучи абсолютной, но упорной бездарностью, добивался успеха с помощью покровителей из высших слоев общества. Бросая вызов притеснителям, Ефимов стремится в Петербург, надеясь там найти признание своей музыке. Отвергая соблазны легкого пути к славе, используемого тем же Шульцем, Ефимов настороженно относится и к призывам прогрессивной молодежи. Он встречает революционера, но не идет за ним, уверенный в своем призвании гения-одиночки. Пожалуй, в намеках на тему «одинокого гения» в фильм проникает дух Достоевского, но быстро подавляется тяжелой демонстрацией социальных тягот России XIX века.

Отвергаемый классово чуждой публикой, не находя признания, сторонясь революционно-демократических ценителей его таланта, Ефимов переживает глубокий кризис. Но спустя десять лет после появления в Петербурге он, казалось, все потерявший, неожиданно слышит, как идущие в ссылку поют его песню на новые слова о «всероссийском бунте». И народный талант духовно возрождается. Таким образом, картина не столько рассказывала о герое Достоевского, одиноким мечтателе в выморочном мире неласкового Петербурга, художнике, заблудившемся, по словам Достоевского, в собственном сознании о самом себе, сколько повествовала о пути таланта из народа, понятого с точки зрения официальной идеологии эпохи.

Произведения Достоевского, положенные в основу «Петербургской ночи», есть, по существу, монологи от первого лица: от лица сентиментального мечтателя, оторванного от жизни («Белые ночи»), и от лица падчерицы скрипача Ефимова, перекочевавшего в фильм («Неточка Незванова»). Как это часто бывает у Достоевского, монологи произносятся людьми, которым «надобно идею разрешить». А «идея» — не только мысль, но и чувство, до страстной одержимости в героев проникшие, усиленные бедственностью их положения в мире. Всецело овладевая героем (или героиней), «идея» превращает его (ее) в фигуру «не от мира сего», погруженную без остатка в свой духовный мир.

Собственно, в этом «внутреннем пространстве» и происходит мучительное испытание «идеи». Если герой и «выныривает» из глубины своего я на поверхность довольно унылого бытия, то только для того, чтобы еще раз ощутить свою неприкаянность и оказаться с этим бытием в непримиримом противостоянии.

Но вовсе не по социально-политическим мотивам, а из оригинальности собственной природы, из каких-то своих глубинных побуждений. Поэтому в прозе Достоевского именно внутреннее пространство героя формирует сюжет, подчиняя себе и пространство внешнее. Можно сказать, что весь предметно-вещный мир у него, где природа встречается крайне редко, целиком подчинен воздействию мира внутреннего, по сути являясь его материализацией. Возможно, с легкой руки Достоевского такие неприкаянные бескорыстные рабы собственной «идеи», вступающие в безуспешную схватку с миром, и заняли в мировой литературе положение «русских типов».

Что касается неоконченного романа «Неточка Незванова», впоследствии превращенного автором в повесть, то его сюжетное пространство формируется мировидением героини, всецело отданным «идее» жертвенной любви, в которой находят прибежище и другие, более поздние героини Достоевского. Вначале это любовь к отчиму — к тому самому Егору Ефимову, — возникшая у Неточки в трехлетнем возрасте.

Жила семья в крайней бедности, чему способствовал сам отчим, сильно пьющий и пренебрегающий из-за дьявольского самомнения какой-либо деятельностью, кроме игры на скрипке. Мать Неточки страдала от того, что ей приходилось тащить груз нелегких семейных забот исключительно на собственных плечах. Героиня вспоминает, как одна из частых ссор родителей ее особенно напугала. Она заплакала, закричала и в «ужасном испуге» «крепко обняла батюшку, чтоб заслонить его собою». Ей почему-то показалось, что «матушка на него напрасно сердится, что он не виноват»; девочке «хотелось просить за него прощения, вынести за него какое угодно наказание». Она «ужасно боялась матушки и предполагала, что и все так же боятся ее...»¹. Матушка, конечно, не заслуживала такого отношения со стороны дочери. Но любовь малолетней Неточки к отцу безрассудна и не знает пощады, «чудная любовь, как будто вовсе не детская». «Я бы сказала, — размышляет повзрослевшая Неточка, — что это было скорее какое-то сострадательное, материнское чувство, если б такое определение любви моей не было немного смешно для дитяти. Отец казался мне всегда до того жалким, до того страдальцем, что для меня было страшным, неестественным

¹ *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Т. 2. Повести и рассказы. 1848—1859. Л.: Наука, 1972. С. 159.

делом не любить его без памяти, не утешать его, не ласкаться к нему, не стараться об нем всеми силами...»¹

Исследователи находят в ранней прозе Достоевского влияние Ж-Ж. Руссо, Гофмана. Но при этом очевидно, что в Неточке Незвановой воплощен женский образ, выросший именно в лоне отечественной литературной классики XIX века и обостренно представший в прозе Достоевского. Не та ли жертвенная любовь, нерассуждающая, безотчетная, откликнется потом в Соне Мармеладовой или уж совсем скоро — в героинях «Униженных и оскорбленных»?

Неточка Незванова живет неиссякаемыми источниками этой любви, оказываясь по своей сиротской судьбе в других семьях. Трудно разобрать иногда, счастливы ли этой любовью «предметы», на которые она направлена, или, напротив, они жертвы жертвенной же любви? Явление в романе такой фигуры, как отчим Неточки, скрипач Ефимов, окрашено субъективным восприятием рассказчицы. Она сама признается, что не понимает, почему ей пришло в голову, что ее отец такой страдалец, такой несчастный человек в мире. Будучи вполне зрелым человеком, она задает себе безответные вопросы: «Кто мне внушил это? Каким образом я, ребенок, могла хоть что-нибудь понять в его личных неудачах?»

Автор «Петербургской ночи» как бы заимствует Неточкин взгляд на героя, но истолковывают его в духе идей советской эпохи. Мистика необъяснимой любви героини испаряется, а с нею вместе и та атмосфера, которой живет произведение Ф.М. Достоевского. Между тем Егор Ефимов у Достоевского — личность малосимпатичная, борьба которой с самой собой и с миром замешана на абсолютной убежденности в собственной гениальности.

Однако если и были у Ефимова для этого основания, то они скоро пошатнулись, поскольку слишком сильна оказалась его тяга к чарке. К тому же в Ефимове жило что-то страстно противостоящее его намерению «выбиться в люди». И тут никак не замешаны были ни самодержавие, ни крепостное право, ни «сильные мира сего». Напротив, все, что происходит с талантливым скрипачом после того, как он покидает своего помещика-меломана, — дело его, Егоровых, рук. И пьянство, и позорное иждивенчество в семье, где он живет на жалкие гроши своей

¹ Там же. С. 160.

больной супруги, большую часть из них пропивая, и оскорбительное отношение к своему другу скрипачу Б., который всеми силами стремится ему помочь. И смерть жены, и его собственная смерть, и сиротство дочери — все дело и его рук.

Вот как толкует ситуацию друг Ефимова — прямая ему противоположность: «...я не мог не удивляться странной натуре моего товарища. Передо мной совершалась въявь *отчаянная, лихорадочная борьба судорожно напряженной воли и внутреннего бессилия*. Несчастный семь лет до того удовлетворялся *одними мечтами о будущей славе* своей, что даже не заметил, как потерял самое первоначальное в нашем искусстве... а между тем *в его беспорядочном воображении поминутно создавались самые колоссальные планы для будущего*. Мало того, что он хотел быть первоклассным гением, одним из первых скрипачей в мире; мало того, что уже почитал себя таким гением, — он, сверх того, думал еще сделаться композитором, не зная ничего о контрапункте. Но всего более изумляло меня... то, что *в этом человеке, при его полном бессилии, при самых ничтожных познаниях в технике искусства, — было такое глубокое, такое ясное и, можно сказать, инстинктивное понимание искусства*. Он до того сильно чувствовал его и понимал про себя, что не диво, если заблудился в собственном сознании о самом себе и принял себя, вместо глубокого, инстинктивного критика искусства, за жреца самого искусства...»¹

Перед нами вполне национальный литературный тип — мечтатель с чрезвычайно развитым художественным инстинктом, подтачиваемый непрекращающейся внутренней борьбой «судорожно напряженной воли и полного бессилия». Здесь и Левша, и Обломов, другие герои русской классической литературы, таинственные корни которых питаются почвой такого же таинственного национального бытия («Умом Россию не понять...»).

Может быть, младенческо-материнская любовь Неточки Незвановой, само прозвание которой таит в себе символику вполне угадываемой безымянности, есть любовь родины к своему неприкаянному сыну? Любовь такая же неразгаданная, как его инстинктивный губительный дар, такая же нерассуждающая, пылкая, но и опасная в то же время...

Нужно сказать, что уже в ранних произведениях Достоевского возникает если не открытый именно им, то у него получивший

¹ Там же. С. 149.

полное развитие мистический образ Петербурга, одновременно и порожденный, и отторгнутый отечественной почвой. Ефимов стремится в Петербург, где должны, в соответствии с его представлениями, осуществиться все его мечты. Но именно здесь и иссякают окончательно его силы, именно здесь он прозревает призрачность всех своих надежд и здесь же гибнет.

Петербург как бы поглощает его своим холодным, омертвевшим нутром. Ранним-ранним утром вместе с малолетней дочерью он покидает свое жалкое жилище, оставляя там мертвую жену. Идет мелкими хлопьями первый снег. Холодно. Девочка, продрогшая до костей, бежит за отчимом, уцепившись в полы его фрака, в котором он совсем недавно был на концерте известного скрипача, открывшего своей игрой всю бездну падения Егора. Музыкант-мечтатель оставляет ребенка, исчезая в зимнем тумане раннего петербургского утра.

Вряд ли возможно было в фильме Рошаля и Строевой воплотить мистику Достоевского во всей ее фантастической и одновременно абсолютно реальной образности, да еще связать этот «фантастический реализм», наследовавший гофмановско-гоголевскую традицию, с идеей России, какой она формировалась в мировидении писателя. Не было условий и для переноса на экран рождающейся голосовой полифонии писателя, о чем уже шла речь выше. Но «петербургская» атмосфера прозы Достоевского тем не менее проникла на экран благодаря добросовестности авторов картины и, главным образом, благодаря игре Бориса Добронравова.

Фильм все же, по мнению историков кино, передавал атмосферу творчества Достоевского, «боль писателя и его сострадание к людям, окруженным тьмой, живущим отторгнутыми от действительности призрачными мечтами»¹.

Современная картине критика по-своему понимала актуальность произведения. Писали, в частности, что «Петербургская ночь» стала фильмом «большого социального диапазона, большой идейной и эмоциональной емкости. Ее материал — прошлое. Но на материале прошлого в ней находят разрешение проблемы сегодняшнего дня. Разве все мелкобуржуазные художники нашей страны изжили свои настроения, сходные с Ефимовскими?»².

¹ История советского кино. Т. 2. С. 91—92.

² Плиско Н. Классики и кино // Литературная газета, 1934. 26 февр.

Обратим внимание на существенную тенденцию в истории экранизаций отечественной литературной классики в советскую эпоху, проявившуюся и в «Петербургской ночи». По существу, история этих экранизаций — это история борьбы с художественными идеями классической литературы, борьбы более или менее «успешной». Богатство, многоплановость, художественная перспективность этих идей, характеризующих становление национального мировидения, так или иначе, подвергалась суровой корректировке и «исправлению». «Петербургская ночь» в меньшей мере пострадала от такой редактуры со стороны авторов, чем их же экранизация фонвизинского «Недоросля», о чем шла речь в первом томе нашего исследования.

Но обратимся к более поздним по времени экранизациям Ф.М. Достоевского в советский период.

* * *

Стремление привязать Достоевского к конкретике определенной социально-исторической реальности мало изменилось по прошествии времени. Экранизации классики в советский период, за редким исключением, остаются в рамках узкосциологической трактовки крупных произведений словесности XIX века. Особенно это касается тех авторов, которые тяготеют к масштабной общечеловеческой проблематике, как Толстой или Достоевский, творчество которых невозможно воспринимать без учета религиозности авторов, их особых отношений с Богом.

Ярким примером остаются попытки классика советского кино Ивана Пырьева проникнуть в творчество Достоевского — от «Идиота» («Настасья Филипповна», 1958) и «Белых ночей» (1959) до незаконченного им фильма «Братья Карамазовы». Во многом это касается и экранизации «Преступления и наказания» (1970), созданной Л. Кулиджановым.

Фильм «Белые ночи», поставленный Пырьевым по раннему «сентиментальному роману» Достоевского после экранизации «Идиота», должен был прозвучать антитезой истории Настасьи Филипповны, стать «картиной о чистой, полной красоты любви».

Предваряя работу над произведением, Иван Пырьев недвусмысленно формулировал идейно-политическое направление экранизации в противовес тому, что, на его взгляд, наблюдалось за рубежом¹. Пырьев отметал «элементы модернизма, искус-

¹ А за рубежом к тому времени уже был поставлен «Идиот» (1951)

ственное раздувание самых темных сторон психологии героев Ф.М. Достоевского», поскольку «все это создает искаженное, а иногда совершенно превратное представление о творчестве гениального художника»¹. «Долг работников советского кино», как и свой, естественно, Пырьев видел в том, чтобы «дать *правильное* толкование произведений Достоевского»².

«Правильное толкование» лишь отчасти совпадало с прозой Достоевского, пытающегося «опредметить» мечтания своего героя, вступившего в неравную схватку с мрачной мистикой Петербурга. «Сентиментальный роман» — исповедь героя. Его «внутреннее» слово целиком формирует сюжет. В этой исповеди есть и скрытая полемика, реакция на чужую речь. Кажется, в этом направлении и выстраивает сюжет Пырьев. С первых кадров зритель знакомится с героем как с повествователем. Видеоряд картины организуется как «овеществленное» слово рассказчика.

Но вот как комментирует «прием» У. Гуральник. «Фантастические мечтания героя «Белых ночей», воспроизведенные на экране буквально, кинематографически подчеркнуто, утрировано, при ослаблении их связей с многозвучным контекстом первоисточника затемняют идейный смысл повествования, лишаются поэтического значения. Нагромождение фантастических и галлюцинативных эпизодов, длинная цепь которых, нанизанная без достаточной внутренней логики и опоры на поэтику повести, составляет едва ли не добрую треть ленты, отвлекает зрителя от реальной действительности, проходящей невнятным фоном. Сама же эта действительность, вопреки стилистике повести, воспроизведена... преимущественно в бытовом плане, что явно диссонирует с мироощущением главных героев, живущих, по Достоевскому, как бы в призрачном мире»³.

Комментарий Гуральника справедлив. Для Пырьева, как нам кажется, невнятно полифоническое слово Достоевского. Его привлекают фабульные возможности, предоставляемые, на его взгляд, повестью. У Пырьева мечтатель видит себя в роли Дон Жуана, похитителя женщин и неукротимого фехтовальщика вроде Дугласа Фербенкса. У Достоевского Мечтатель грезит о роли поэта, сначала не признанного, а потом увенчанного;

А. Курсовой и «Белые ночи» (1957) Л. Висконти.

¹ Пырьев И.А. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М.: Искусство, 1978. С. 194.

² Там же. (Выделено нами. — С.Н., В.Ф.)

³ Гуральник У. Русская литература и советское кино. С. 238.

о дружбе с Гофманом; о Варфоломеевской ночи; о героической роли при взятии Казани Иваном Васильевичем; наконец, о домике в Коломне, о своем уголке с милым созданием рядом.

Репертуар грез у Достоевского есть свидетельство, по крайней мере, начитанности героя, сложности и прихотливости его мечтательного мира, в то время как мечтания у Пырьева отдают хлестаковщиной. Герою Пырьева, сыгранному весьма популярным на рубеже 1960-х годов Олегом Стриженовым, противостоит Жилец, полюбившийся Настеньке. Жилец в исполнении мужественного А. Федоринова явно воплощал образ революционного демократа. Он наверняка должен был вовлечь Настеньку в борьбу с «мерзостями капиталистического города», от которых пытался уйти Мечтатель, но был, напротив, ими поглощен.

Критика не без оснований отнесла ленту к числу экранизаций, которые, повторяя известные литературные сюжеты, лишь внешне схожи с оригиналом, ибо непонятным образом лишают этот оригинал его обаяния, поэтичности и глубины. С другой стороны, фильму Пырьева нельзя было отказать в том, что он вслед за революционно-демократической критикой в лице Добролюбова и Писарева увидел в героях «Белых ночей» «людей реальных и типических, драматическая судьба которых — прямой результат социальных условий, изменивших, застрашавших, унижавших и оскорблявших человека»¹.

В результате фильм распался на части, одна из которых была мелодрамой с тяжеловато воспроизведенными мечтаниями героя, другая же кренилась в сторону социальной критики тех условий, которые подавили душу Мечтателя, не нашедшего в себе сил для борьбы с несправедным устройством жизни.

* * *

Ранняя проза Достоевского стала предметом освоения и на рубеже 1990-х годов. На экранах появился фильм молодого режиссера А. Эшпая «Униженные и оскорбленные» (СССР — Швейцария, 1990), поставленный по сценарию драматурга А. Володина. Перемены в трактовке прозы Достоевского, в сравнении с предыдущим периодом, в этой картине были хорошо заметны. Зритель встретился с добросовестной экранизацией, скромной, но выразительно снятой и не претендующей на что-то большее, чем хорошая мелодрама. Этому обстоятельству

¹ Там же. С. 236.

способствовали профессионально выполненные актерские работы. Роль Наташи Ихметевой тонко, со сдержанной эмоциональностью сыграла Настасья Кински. Ее «оппонента» — князя Валковского с присущей ему увлеченностью воплотил Никита Михалков. Бедняжку Нелли убедительно показала Анастасия Вяземская. Роль повествователя Ивана Петровича досталась молодому актеру Сергею Перелыгину, который органично вписался в ансамбль уже признанных мастеров экрана.

Словом, во всех отношениях зритель мог бы порадоваться картине, выполненной с добросовестной профессиональностью, что для этого довольно непростого периода нашего кино тоже было поступком, если бы не слишком уж большая сдержанность авторов в воспроизведении пафоса оригинала и трактовке таких фигур, как князь Валковский.

Освободив сюжет от романной разветвленности и многослойности, Александр Володин сосредоточился на его магистральных, которые, собственно, и позволили создать крепкую мелодраму, не лишенную вместе с тем и отзвука тех серьезных размышлений об агрессивности «разумного эгоизма», попирающего в своих интересах всякую живую, незащищенную жизнь.

Крупные планы актеров, скупая декорация среды позволили сосредоточить внимание на конфликтном столкновении этих начал, на нравственном превосходстве тех, кто способен искренне отдаваться чувству, любить беззаветно, но главное — по-христиански прощать. И для Достоевского пафос любви и всепрощения в романе был главным уже хотя бы потому, что он сам совсем недавно пережил последствия человеческой жестокости и эгоизма, оказавшись в роли государственного преступника.

Не случайно повествователь в романе — молодой писатель Иван Петрович. Это сам Достоевский эпохи «Бедных людей», усиленный типическими характеристиками полунищего начинающего писателя, по полгода питающегося одним чаем, живущего в «раскольниковской» каморке и т.д.

У Достоевского автобиографическая фигура писателя приобретает одновременно и некие символические черты. Ведь он, по сути, сосредоточивает в себе весь пафос милосердия, сострадания и понимания, формирующий гуманистическую атмосферу романа. Несмотря на удивительную достоверность петербургской среды, гораздо менее разработанной в фильме, на подробности быта, характеров персонажей, в романе присутствует одновременно и атмосфера «фантастического реализма», сви-

детельствующая о следовании писателя традициям Гофмана и Гоголя.

Наэлектризованность «идейных» столкновений героев произведения настолько высока, что далеко выхлестывает за рамки прозаической повседневности, благодаря чему создается поле высокого напряжения и кажется, как это часто бывает у Достоевского, каждый из героев только тем и живет, чтобы насущный свой «вопрос разрешить», забывая обо всем прочем, даже и о хлебе насущном.

Проза Достоевского преодолевает узость социальных мотиваций происходящего и выводит сюжет к библейско-притчевым обобщениям, не утрачивая, под черкнем, живую конкретность.

Князь Валковский у Достоевского исповедует философию, близкую теории М. Штирнера. Он — идеолог безусловно оправдания своекорыстных устремлений личности, являя крайнее выражение «разумного эгоизма». Аргументация его безнравственных поступков, выдвигаемая князем, по-своему безупречна и даже изощрена, но чудовишна в своей животной изворотливости и приобретает в романе вполне сатанинский облик. Валковский — монстр, подавляющий все трепетное, беззащитное вокруг себя, но одновременно и в себе. Социальное зло в коже оборотня, а потому фактически непреодолимое.

От посягательств Валковского вряд ли можно защитить старика Ихметева, которого князь несправедливо обвиняет в присвоении или растрате крупной суммы на должности управляющего. Не защитить от него и Наташу Ихметеву, в которую влюблен сын Валковского Алеша (в фильме эту роль исполняет Виктор Раков) и которой князь грозит привлечением к суду за «совращение несчастного юноши» и выуживание из него денег. В прошлом у Валковского еще более страшные преступления. Охотясь за деньгами, он довел до смерти влюбленную в него женщину, оставив ее в полной нищете вместе с рожденной от него дочерью. Противостояние этому абсолютному злу, сознательно и твердо отстаивающему свои позиции, возможно только в такой же фанатичной, даже фантастической преданности противоположной идее — идее милосердия и всепрощения, воплощенной в образе повествователя. Существенно и то, что Достоевского если не привлекает, то сильно интересуется зло, сосредоточенное в фигуре Валковского, а иногда и увлекает настолько, что эта фигура заслоняет и подавляет положительных героев романа, в том числе и самого Ивана Петровича.

Здесь дает о себе знать формула, воспроизведенная позднее устами Дмитрия Карамазова: в мире идет борьба Сатаны с Богом, а поле битвы — души человеческие. В данном случае, как, впрочем, и всегда, когда речь идет о прозе Достоевского, таким «полем битвы» становится душа писателя. Отсюда наэлектризованность его художественного мира, здесь формируется почва, из которой произрастает «русский тип» индивидуальности, открытый писателем.

Фильм Андрея Эшпая далеко не достигает того градуса столкновения страстей, которым живет проза Достоевского, а поэтому он и не выходит за рамки мелодраматического жанра, даже с холодной профессиональной сознательностью не покидая их. Тем не менее в фильме видны ростки формирующегося мировоззрения новой эпохи, в границах которого удастся разглядеть появление в реальной жизни человеческого типа, близкого по характеристикам Валковскому или более позднему Петру Лужину из «Преступления и наказания».

Отчетливо проступает в фильме, созданном на рубеже 1990-х, и острый дефицит сострадания в обществе, равнодушие к слабым и беззащитным, то есть все к тем же униженным и оскорбленным, как раз не столько даже в материальном, сколько в нравственном смысле. Наступление эпохи «пользы» без «добра», в отличие от слияния того и другого в этике разумного эгоизма Фейербаха, чувствуется в нравственных предостережениях скромной картины А. Эшпая.

* * *

Подступая к характеристике экранизаций наиболее крупных явлений творчества Достоевского указанного периода, а именно к экранизациям романов «Преступление и наказание» и «Идиот», остановимся на фильме Алексея Баталова «Игрок» (1972), поставленном совместно с чехословацкой киностудией по роману Достоевского, созданному в трудный период его жизни.

Можно было бы сказать, что роман посвящен специфике русского национального характера, острее всего проявляющейся в контактах с представителями других народов, на их фоне и в их среде. Еще в первоначальных своих замыслах осенью 1863 года Достоевский говорил, что речь в будущем романе должна идти о «типе заграничного русского», о «заграничных русских», о «современной минуте» внутренней жизни рус-

ских. Причем существо национального характера выявляется, проходит своеобразную испытательную проверку в игре. Речь идет не просто о примитивной рулетке в изобретенном писателем городе Рулетенбурге, а об игре с судьбой, как это всегда и было в русской прозе, посвященной этой теме (вспомним, например, «Пиковую даму» Пушкина). Предполагаемый герой Достоевского задумывался как поэт игры, хотя и стыдящийся этой «низменной» поэзии. Рядом с главным героем в романе изображается семья русского генерала, находящаяся на грани разорения вследствие крестьянской реформы, и несколько типов иностранцев: французы, немцы, англичанин, поляки...

В известном смысле роман автобиографичен. В нем отразились отношения Достоевского с Аполлинарией Суловой, превратившейся в романе в падчерицу генерала Полину, в которую влюблен главный герой — домашний учитель Алексей Иванович. Нашла отражение в «Игроке» и страсть самого Федора Михайловича к игре, о чем он неоднократно сообщал в письмах к своим близким, например об удачной игре в Висбадене. Поэтому образ «игрока» был близок писателю и любим им.

Совершенно очевидно, что в «Игроке» Достоевский хочет противопоставить современную ему Россию Европе. И европеец в таком противопоставлении не выглядит привлекательным. Образы семейства барона фон Вурмергельма, француза Де-Грие и мадемуазель Бланш, то и дело возникающие возле игорного стола «полячишки», — образы, созданные с примесью сарказма, сатиры. Единственно, кто из иностранцев заслуживает доброго слова со стороны героя, «бабушки», Полины, так это англичанин Астлей, который при всем западноевропейском рационализме сохраняет в душе бескорыстие.

В чем же преимущество русского характера перед европейцами, по Достоевскому? Это преимущество ясно формулирует герой через феномен самой рулетки, которая, по его мнению, «только и создана для русских». И мнение это основано на том, что «в катехизис добродетелей и достоинств цивилизованного западного человека вошла исторически и чуть ли не в виде главного пункта способность приобретения капиталов. А русский не только не способен приобретать капиталы, но даже и расточает их как-то зря и безобразно. Тем не менее нам, русским, деньги тоже нужны..., а следственно, мы очень рады и очень падки на такие способы, как, например, рулетки, где можно разбогатеть-

вдруг, в два часа, не трудясь. Это нас очень прельщает; а так как мы и играем зря, без труда, то и проигрываемся!»¹

Но с точки зрения Алексея Ивановича, «немецкий способ накопления честным трудом» более гадок, чем «русское безобразие». Русский игрок лучше всю жизнь прокочует в киргизской палатке, чем будет поклоняться немецкому идолу накопления богатства. «Ну-с, как же не величественное зрелище: столетний или двухсотлетний преемственный труд, терпение, ум. Честность, характер, твердость, расчет, аист на крыше! Чего ж вам еще, ведь уж выше этого нет ничего, и с этой точки они сами начинают весь мир судить и виновных, то есть чуть-чуть на них не похожих, тотчас же казнить. Ну-с, так вот в чем дело: я уж лучше хочу дебоширить по-русски или разживаться на рулетке. Не хочу я быть Гоппе и Комп. Через пять поколений. Мне деньги нужны для меня самого, а я не считаю всего себя чем-то необходимым и придаточным к капиталу...»²

«Да все русские таковы, и знаете почему: потому что русские слишком богато и многосторонне одарены, чтоб скоро приискать себе приличную форму. Тут дело в форме. Большею частью мы, русские, так богато одарены, что для приличной формы нам нужна гениальность. Ну, а гениальности-то всего чаще и не бывает, потому что она и вообще редко бывает. Это только у французов и, пожалуй, у некоторых других европейцев так хорошо определилась форма, что можно глядеть с чрезвычайным достоинством и быть недостойным человеком. Оттого так много форма у них и значит...»³

По существу поведение и судьба русских, показанных в романе, и есть не что иное, как разнообразное иллюстрирование декларированной писателем «бесформенности», с чем связано и оправдание их страсти к игре с судьбой. Особенно ярко эта черта просматривается даже не в фигуре Алексея Ивановича, а в образе семидесятипятилетней московской барыни Антонида Васильевна Тарасевичева, неожиданно прибывшей в Рулетенбург «на воды» и проигравшей в одночасье сто тысяч. Эта существенная, качественно определяющая примета современной внутренней жизни русских, по Достоевскому, и создает особое напряжение в романе, поскольку образ национального

¹ *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Т. 5. С. 225.

² Там же. С. 226.

³ Там же. С. 230.

мировидения подвигается к какой-то катастрофической границе, с чем так любят заигрывать герои Федора Михайловича.

А. Баталов не рискнул ввести в свой фильм эту тему. Во всяком случае, не дал ей достаточно развиться, а потому на первый план у него вышла вполне отвлеченная идея игры — игры с судьбой. Идея лишается своей конкретики как раз потому, что не связывается напрямую с имманентно присущим русскому характеру качеством, как это происходит у Достоевского. Поэтому образ Алексея Ивановича (Николай Бурляев) становится одномерным. Герой превращается в романтически настроенного влюбленного, готового для любимой на все, в том числе и на рискованную игру в рулетку. Из ряда актерских работ картины на первый план выбивается роль «бабуленьки», великолепно сыгранная, пожалуй, гораздо шире режиссерского замысла и с приближением к прозе Достоевского. Эту роль исполнила Любовь Добржанская, как раз и продемонстрировав русскую «бесформенность» на грани карнавала и трагедии.

Фильм Алексея Баталова еще раз показывает, насколько опасной становится для отечественного кинематографа указующая десница официальной идеологии, когда речь идет о необходимости развернутого диалога в пространстве национальной культуры с помощью освоения киноискусством классического художественного наследия XIX века. Нам представляется, что установленные здесь государством ограничения отучили кинематограф в течение известных семидесяти лет внимать этим культурным «голосам». При этом не только кинематограф утратил способность внимать литературной классике и понимать ее, но и зритель, прежде утративший читательскую способность самостоятельно, а не по школьной колодке осваивать литературу XIX века.

* * *

Остановимся теперь на фильмах, пытавшихся вступить в мировоззренческий диалог с двумя романами Ф.М. Достоевского, обозначившими начало нового идейно-художественного периода в его творчестве. Это «Преступление и наказание» и своеобразное продолжение этого произведения — роман о «положительно-прекрасном» человеке «Идиот».

Речь идет об уже упоминавшихся фильмах И. Пырьева и Л. Кулиджанова, а также о гораздо более поздней телеверсии «Идиота», созданной сценаристом и режиссером В. Бортко, и те-

левизионной же экранизации Д. Светозаровым «Преступления и наказания».

В романах этих, во всяком случае в первом, очевидно недвусмысленное развенчание героя-идеолога отечественной литературы, точнее говоря, сугубой подчиненности мыслящего человека любой идеологеме, так или иначе обнаруживающей свою ограниченность, враждебность живой жизни. У самого Федора Михайловича одним из первых героев-идеологов был князь Валковский из «Униженных и оскорбленных», проповедующий идею беззастенчивой эгоистической пользы. Но это, так сказать, носитель идеи, в самой своей основе отрицательной, в то время как у Достоевского есть и носители в каком-то смысле положительных идей. Таков отчасти Роман Родионович Раскольников. Переступив через кровь, он тем не менее готов трудиться и жить во благо человечества.

Герою-идеологу, намеревающемуся на свой лад и с благими намерениями перекроить мир, каковым у Достоевского становится Раскольников, писатель противопоставляет идиота Мышкина, пришедшего в мир эгоизма, жестокости и корысти с наивно-детским, то есть по-христиански прозрачно истинным, взглядом на вещи, не ограниченным никакими «умными» теориями.

Не случайно своеобразным прототипом Мышкина становится литературный «тезка» героя Лев Николаевич Толстой. Русский гений еще в «Воине и мире» отринул рациональный разум в качестве инструмента постижения мира. Толстой выдвинул взамен ему стихийное «роевое» чувство «подводной» правды, во всей наготе и детской наивности проступающее в самой природе, народе, а вслед за тем — в Безухове, Каратаеве, Кутузове.

Корневая особенность романов Достоевского, как уже отмечалось, — полифония, открытая М.М. Бахтиным¹, то есть множественность самостоятельных голосов и сознаний, формирующих речевую плоть произведения. Символ, к которому тяготеет мир романа Достоевского, — церковь как общение неслиянных душ, где сойдутся грешные и праведники.

Художественный мир Достоевского, по Бахтину, разворачивается не столько во времени, сколько в пространстве. Самые этапы развития писатель воспринимает в их одновременности, а не в некоем становящемся ряду. Даже внутренние противоречия

¹ См. изданные в разное время его «Проблемы поэтики Достоевского».

и внутренние этапы развития одного человека он драматизирует в едином пространстве, заставляя героев беседовать со своим двойником, с чертом, со своим «вторым Я» и т.п. Отсюда — пристрастие к массовым сценам, катастрофическая быстрота действия. Так, событие «Преступления и наказания» перемещается в вечность («века Авраама и стад его»), ибо в вечности, по Достоевскому, все одновременно, все сосуществует. Поэтому и герои его ничего не вспоминают. У них нет биографии в смысле прошлого и вполне пережитого. Они помнят только то, что для них не перестало быть настоящим: неискупленный грех, преступление, непрощённая обида.

Герой интересует Достоевского как особая точка зрения на мир и на себя самого. Описываемая реальность полностью входит в кругозор героя и поглощается им. Всепоглощающему сознанию героя автор может противопоставить лишь другие равноправные с ним сознания. Этот большой диалог сознаний в романе Достоевского художественно организован как незакрытое целое становящейся жизни. И сам автор не воспринимает чужие сознания как объекты, а диалогически общается с ними, отчего они и обретают жизнь.

Достоевский никогда не оставляет ничего существенного за пределами сознания своих ведущих героев. Он приводит их в диалогическое соприкосновение со всем существенным, что входит в мир его романов. Каждая чужая «правда» вводится в кругозор других ведущих героев романа. В этой связи в качестве примера можно вспомнить первый большой внутренний монолог Родиона Раскольникова, связанный с решением его сестры Дуни выйти замуж за Лужина. Монолог происходит перед последним шагом на пути к убийству старухи-процентщицы. Раскольников получил подробное письмо матери с историей Дуни и Свидригайлова и с сообщением о сватовстве Лужина. А накануне встретился с Мармеладовым и узнал от него историю Сони. И вот все эти намеком возникшие ведущие герои полноценно отражаются в сознании Раскольникова вместе со своими «правдами».

Его внутренний монолог превращается в многоголосый внутренний диалог, диалог последних вопросов и последних жизненных решений. Герой вступает в полифоническое соприкосновение со всей окружающей его жизнью. И вне этого диалогического противоборства «правд» не происходит ни один существенный поступок, ни одна существенная мысль ведущих геро-

ев. Да, герой Достоевского — идеолог. Его идея почти «героиня» произведения. Но главное — самосознание героя. М. Бахтин подчеркивает, что слово героя о мире сливается с исповедальным словом о себе.

В романе «Преступление и наказание» Достоевский изображает чужую идею. Образ идеи неотделим от образа человека — ее носителя. Раскольников — человек идеи. Бахтин полагает, что нелегко было бы сочетать идею Родиона Романовича, которую мы понимаем и чувствуем с его завершенным характером или с его социальной типичностью как разночинца 1860-х годов. Она утратила бы свою значимость как полноценная идея и вышла бы из того спора, в котором живет в непрерывном диалогическом взаимодействии с другими полноценными идеями — Сони, Порфирия Петровича, Свидригайлова и др.

Ведущим героям Достоевского прежде всего «надобно мысль разрешить» (Иван Карамазов). И в этом разрешении мысли (идеи) — вся их подлинная жизнь и собственная незавершенность. Мы видим героя в идее и через идею. А идею видим в нем и через него. Идея — живое событие, разыгрывающееся в точке диалогической встречи двух или нескольких сознаний.

Раскольников еще до начала действия романа опубликовал статью с изложением основ своей «теории». Но Достоевский нигде не излагает эту статью в форме монолога. Мы впервые знакомимся с ее содержанием в напряженном и страшном для Раскольникова диалоге с Порфирием Петровичем в присутствии Разумихина и Заметова. Сначала статью излагает Порфирий в нарочито утрированной и провоцирующей форме. Это изложение перебивается вопросами Разумихина к Раскольникову и репликами последнего. Затем свою статью излагает сам Раскольников, перебиваемый провоцирующими вопросами и замечаниями Порфирия. И само изложение Раскольникова проникнуто внутренней полемикой с точкой зрения Порфирия и ему подобных. Подает свои реплики и Разумихин. В результате идея Раскольникова появляется перед читателем в борьбе сознаний, утрачивая свою диалогическую абстрактность.

Та же идея появляется в не менее напряженных диалогах с Соней, раскрывая иные свои грани. Звучит она в диалогизированном изложении Свидригайлова, когда он беседует с Дуней. Вступает идея Раскольникова в своеобразный диалог с различными явлениями жизни, испытывается, проверяется, подтверждается или опровергается ими.

М.М. Бахтин трактует художественный мир Достоевского как мир взаимопроникающих, взаимоосвещающих сознаний, мир сопряженных смысловых человеческих установок. Среди них он ищет авторитетнейшую установку и ее воспринимает не как свою истинную мысль, а как другого истинного человека и его слово. В образе идеального человека или в образе Христа представляется ему разрешение идеологических исканий. К такому идеальному человеку приближается Лев Николаевич Мышкин — своеобразная антитеза Раскольникову.

Истинность или неистинность теории Раскольникова проверяется, таким образом, в ее испытаниях в самой жизни, нравственным мерилom для которой выступает фигура Христа, отраженная в евангельском учении Спасителя, которое, так или иначе, возникает на страницах романов Достоевского. Испытание идеи Раскольникова начинается в пространстве его повседневного бытия. Вот его каморка «от жильцов», напоминающая то ли гроб, то ли шкаф. Находится она под самой кровлею. Выходя из своего жилища, Раскольников движется мимо хозяйкиной кухни с ее запахами, далее — лестница, двери выходят на лестницу. В странствиях по городу Раскольников получает физическое и духовное отдохновение только на островах — там зелень, свежесть, нет городских духоты и вони.

Пространство романа, конечно, символично. Каморка — символ крайней неустроенности, неукорененности героя, душевной разлаженности. У него не только нет своего дома, но он нанимает каморку у тех, кто сам не имеет дома и в свою очередь снимает квартиру.

Исследователи прозы Достоевского отмечают, что в области такого рода символики у писателя занимает особое место лестница. Большинство физических и психических движений героя происходит как нисхождение и восхождение по лестнице. Лестница — это подъем, усилие и даже борьба. Путь Раскольникова — это буквально путь «вверх» и «вниз».

Произведение также насыщено символикой определенных чисел. Приводя многочисленные примеры «поразительно устойчивого образа» четырехэтажных домов и четвертого этажа в «Преступлении и наказании», В. Топоров делает вывод: «Эта *четырёхчленная* вертикальная структура семантически приурочена к мотивам узости, ужаса, насилия, нищеты и тем самым противопоставлена *четырёхчленной* горизонтальной структуре

(на все четыре стороны), связываемой с идеей простора, доброй воли, спасения...»¹

Устойчиво и символично в «Преступлении и наказании» число «семь» — символ святости, здоровья и разума, «истинно святое число», символ союза Бога с человеком. Так, в Эпиллоге романа читаем: «Им (Соне и Родиону. — *В.Ф.*) оставалось еще семь лет; а до тех пор столько нестерпимой муки и столько бесконечного счастья!.. Семь лет, только семь лет! В начале своего счастья, в иные мгновения, они оба готовы были смотреть на эти семь лет, как на семь дней»².

Таким образом, мир, предстающий в романе, — не внешний по отношению к герою. Он — мир мучительных испытаний идеи, поэтому он и сам идеологичен (или — символичен). Нет ни одной детали этого мира, выпадающей из символического кругозора Раскольникова. Отсюда следует одно из важнейших условий аутентичного кинопрочтения прозы Достоевского: его успех зависит от воплощения образной символики писателя на экране.

Достоевский не дает «голой» формулировки раскольниковского замысла. Его идея обрастает хотя и больной, но живой плотью среди людей, в гуще их позиций, отношений, взглядов на жизнь. Раскольников ходит среди людей, погруженный в себя, отключенный от мира, занятый своей думой. Но он вынужден все время впускать в себя мир, откликаться на его «голоса», которые подтверждают или опровергают его позицию.

Все, что связано с убийством старухи и Лизаветы, есть опровержение теории. Одна мысль при этом вызывает в Раскольникове почти органическое отвращение: «О Боже! Как это отвратительно!.. На какую грязь способно, однако, мое сердце! Главное: грязно, пакостно, гадко...»

Встреча с Мармеладовым, рассказ о Соне откликаются в Родионе Романовиче одновременным опровержением и утверждением его теории. Так же происходит с любым новым событием уже в первой части произведения: получение письма от матери; встреча на бульваре с оскорбленной девушкой («третья Соня»); приход Разумихина; сон на Островах и т.д.

Раскольников находится на границе, готовый преступить. Он захотел войти в преступную идею, а значит, должен ее пере-

¹ *Топоров В. Н.* Поэтика Достоевского и архаичные схемы мифологического мышления («Преступление и наказание») // Проблемы поэтики и истории литературы: Сб. статей. Саранск, 1973. С. 51.

² *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 6. Л.: Наука, 1973. С. 422.

жить, рассчитаться всем своим существованием, сам. Он сделал выбор уже в тот момент, когда об этом подумал.

При этом автор следующим образом комментирует происходящее в Раскольникове: «Заметим одну особенность по поводу всех окончательных решений, уже принятых им в этом деле. Они имели одно странное свойство: чем окончательнее они становились, тем безобразнее, нелепее тотчас же становились и в его глазах»¹. Предельного окончания, совершенного, так сказать, безобразия идея не получает, поскольку живет в живом человеке. Она превращается, как топор в руках Раскольникова.

В течение всей сцены убийства лезвие топора обращено к Родиону, как бы приглашая его занять место жертвы. Не топор во власти Раскольникова, а он во власти топора. Лизавету же Раскольников убивает «по черепу, острием». Бессилие Раскольникова — его же крушение. Он уже не выбирает, — его втягивает преступление.

Раскольников заражен злобой против «твари дрожащей» в себе. У него нет сил и терпения для диалога, прежде всего, с собой. Он хочет все сбросить решительно, одним махом, переступить через то, что считает своей слабостью.

Наказание Раскольникова начинается с совершением первого шага в направлении преступного замысла. И состоит это наказание в мучительности спора Раскольникова с самим собой, с миром задолго до фактического убийства старухи. Это совесть — болезнь совести. Свет совести рифмуется в романе, вероятно, с солнечным светом, то и дело возникающим в произведении. Вот на островах он наблюдает «яркий закат яркого, красного солнца». А позднее солнце ярко блещет ему в глаза, «так что больно стало глядеть».

Раскольников все время на грани, все время в споре с миром и с собой. В конторе, когда он узнает, что его вызвали всего лишь по поводу просроченного заемного письма, им вдруг овладевает «торжество самосохранения, спасение от давившей опасности». Оно наполняет в эту минуту «все его существо, без предвидения, без анализа, без будущих загадываний и отгадываний, без сомнений и без вопросов. Это была минута полной, непосредственной животной радости»².

¹ Там же. С. 36.

² Там же. С. 78.

Вслед за этим он бросается в безудержную исповедь, а потом погружается в бесконечное уединение и отчуждение. Он все время балансирует на грани признания, но тут же отказывается от него, озлобляясь на весь мир: «Просто наплевал бы на кого-нибудь, укусил бы, кажется, если бы кто-нибудь с ним заговорил...»¹ А то вдруг подвергается публичному осмеянию, но почти одновременно и милостыню получает. И опять как далекая надежда ему сияет купол собора. Бог будто следит за Раскольниковым. Однако Раскольников выбрасывает случайно поданную ему милостыню и в тот же момент чувствует, что как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего в эту минуту.

Жизнь то и дело подсказывает Раскольникову праведный выход. «Подсказку» слышим и в истории Миколая, который выступает как пример совестливого самомучения. Он мучается только от одной думы о грехе, на самом деле не совершив его. Думы доводят его едва ли не до самоубийства. А Свидригайлов, один из многих «двойников» Раскольникова, действительно кончает с собой. Это еще один «выход».

Полновесный «двойник» и Лужин. Его «теория» рифмуется с «теорией» Раскольникова: «... возлюби, прежде всех, одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано. Возлюбишь одного себя, то и дела свои обделаешь как следует, и кафтан твой останется цел. Экономическая же правда прибавляет, что чем более в обществе устроенных частных дел... тем более для него твердых оснований и тем более устраивается в нем и общее дело...»² Это еще один пример преступления «по совести» — в его, так сказать, экономической ипостаси. Не зря же Раскольников отвечает Лужину на его «теорию»: «... доведите до последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать...»³

После гибели Мармеладова, после встречи с Соней и Поленькой, которая обещает всю свою будущую жизнь за него молиться, Раскольников делает вывод, что для спасения сила нужна. А силу нужно добывать силой. «Вот этого-то они и не знают!» — восклицает про себя Родион.

«Гордость и самоуверенность нарастали в нем каждую минуту; уже в следующую минуту это становился не тот человек, что был в предыдущую. Что же, однако, случилось такого особенного, что так перевернуло его? Да он и сам не знал; ему, как хватавше-

¹ Там же. С. 87.

² Там же. С. 116.

³ Там же. С. 118.

муся за соломинку (за Поленьку в данном случае. — В. Ф.), вдруг показалось, что и ему "можно жить, что есть еще жизнь, что не умерла его жизнь вместе со старою старухой". Может быть, он слишком поспешил заключением, но он об этом не думал¹.

По существу дела, раскаяние не наступает. Есть болезненная борьба с собой, спор с миром и озлобленное неприятие всякой его «слабости», злой протест против насилия, нежелание быть с людьми и в то же время жажда жизни. Авторский же голос как бы предупреждает: «Может быть, он слишком поспешил заключением...»

Разными сторонами поворачивается к Раскольникову его «теория» в живом человеческом диалоге. Поэтому он и сам мечется от одного посыла к другому. Неколебимой, помимо его точки зрения и чьей-либо иной, остается, кажется, природная основа человеческого единства — по крови. Здесь и начало воссоединяющей любви. Вот почему Раскольников особо болезненно переживает приезд матери и сестры. Он чувствует, что отрезает себя от почвы, замыслом и его исполнением он ставит себя вне почвенного человеческого единства.

Раскольников был готов принять преступную идею как раз из-за сдвигов в природной основе его существования. Разумихин говорит о нем матери и Дуне: «Полтора года я Родиона знаю: угрюм, мрачен, надменен и горд; в последнее время... мнителен и ипохондрик. Великодушен и добр. Чувств своих не любит высказывать и скорей жестокость сделает, чем словами выскажет сердце. Иногда, впрочем, вовсе не ипохондрик, а просто холоден и бесчувствен до бесчеловечья, право, точно в нем два противоположные характера поочередно сменяются. Ужасно иногда неразговорчив! Все ему некогда, все ему мешают, а сам лежит, ничего не делает. Не насмешлив, и не потому, чтобы остроты не хватало, а точно времени у него на такие пустяки не хватает. Не дослушивает, что говорят. Никогда не интересуется тем, чем все в данную минуту.. Ужасно высоко себя ценит и, кажется, не без некоторого права на то...»²

Противоестественность Раскольникова-идеолога с особой силой проявляется во время его встреч с Порфирием Петровичем. Порфирий — смеховой провокатор раскольниковской «теории», снижающий ее и в глазах Родиона, и в глазах тех, кто во вре-

¹ Там же, С. 147.

² Там же. С. 165.

мя их бесед присутствует. С другой стороны, Порфирий — еще один «двойник» героя наряду с Лужиным и Свидригайловым.

В самом начале первой встречи с Порфирием Разумихин воспроизводит предшествующую в их кругу дискуссию о социально-психологических корнях преступления. В его доводах против социалистов звучит прямое опровержение Раскольникова: «... и все у них потому, что "среда заела", — и ничего больше! Любимая фраза! Отсюда прямо, что если общество устроено нормально, то разом и все преступления исчезнут, так как не для чего будет протестовать, и все в один миг станут праведными. *Натура не берется в расчет, натура изгоняется, натуры не полагаются!* У них не человечество, развившись историческим, живым путем до конца, само собою обратится наконец в нормальное общество, а, напротив, социальная система, выйдя из какой-нибудь математической головы, тотчас же и устроит все человечество и в один миг сделает его праведным и безгрешным, *раньше всякого живого процесса, без всякого исторического и живого пути!* ...Оттого-то они так инстинктивно и не любят историю живого процесса жизни: не надо *живой души!* Живая душа жизни потребует, живая душа не послушается механики, *живая душа подозрительна, живая душа ретроградна!* ...*С одной логикой нельзя через натуру перескочить.*»¹

Это именно то, что собирается сделать Раскольников: с одной логикой через натуру перескочить. Но натура сопротивляется. Натура привязана к совести. «Ну-с, а насчет совести-то?» — вопрошает Порфирий. Для Раскольникова это и есть главный вопрос: совесть.

«Высокая» идея Раскольникова то и дело подвергается снижению в диалоге с живой жизнью: «Наполеоны, пирамиды, Ватерлоо — и тощая, гаденькая регистраторша, старушонка, процентщица, с красною укладкою под кроватью, — ну каково это переварить хотя бы Порфирию Петровичу!.. Где ж им переварить!.. Эстетика помешает: полезет ли, дескать, Наполеон под кровать к "старушонке!"»²

Но карнавальную эту ситуацию, смещающую верх и низ, не «переварить» как раз самому Раскольникову. Вот и получается, по его собственным словам, что он, убив старушонку, идею, принцип убил, не воплотив его в жизнь. в жизни принцип пре-

¹ Там же. С. 196—197. (выделено. — В.Ф.).

² Там же. С. 211.

вратился в мусть и гадость. Раскольников оказался «эстетической вошью», потому что все на самом деле для себя делал под видом высоких всечеловеческих порывов: «О, ни за что, ни за что не прошу старушонке!» И сама эта «старушонка» смеется над Раскольниковым в его вешем сне.

Новый этап испытания героя-идеолога — его встречи с Соней Мармеладовой. Соня — «ненасытимое сострадание». Воплощенная христианская любовь. Раскольников, ведомый своей «теорией», искушает «ненасытимое сострадание». Раскольников, видя в Соне «великую грешницу», хочет перетянуть ее в свое «преступное» пространство. Но она — «юродивая», живет безусловной верой в воскрешение человеческой души, а потому «перетягивает» Раскольникова.

«Идеологический» эксперимент Раскольникова — схватка «теории» с жизнью. Убийство — пре-ступление основ жизни. Пре-ступил, но в то же время мучительно остался в жизни, прикрепленный к ее основам большой совестью. Человек в жизни — не «тварь дрожащая», не «эстетическая вошь», а скорее дитя. Раскольников покусился на дитя в человеке, на природную невинность человека. Его настоящая жертва — Лизавета (она «Бога узрит»). Но для Раскольникова, в его слепоте, мучения совести не проявление живой природы, а обыкновенная слабость «твари дрожащей».

Направляясь к Соне, Раскольников хочет признаться в том, что убил Лизавету, то есть не голый принцип, а именно человека. Соня, по сути, готовит Раскольникова к грядущему покаянию и воскрешению, когда говорит: «Да ведь я Божьего промысла знать не могу... И к чему вы спрашиваете, чего нельзя спрашивать? К чему такие пустые вопросы? Как может случиться, чтоб это от моего решения зависело? И кто меня тут судьей поставил: кому жить, кому не жить?»¹

Во взгляде Сони Раскольников увидел любовь. С этого момента, с момента фактического признания в убийстве, возможно, началось возрождение Раскольникова как дитяти. «...Он смотрел на нее и вдруг, в ее лице, как бы увидел лицо Лизаветы. Он ярко запомнил выражение лица Лизаветы, когда он приближался к ней тогда с топором, а она отходила от него к стене, выставив вперед руку, с совершенно детским испугом в лице, точь-в-точь как маленькие дети, когда они вдруг начинают че-

¹ Там же. С. 313.

го-нибудь пугаться, смотрят неподвижно и беспокойно на пугающий их предмет, отстраняются назад и, протягивая вперед ручонку, готовятся заплакать. Почти то же самое случилось теперь и с Соней: так же бессильно, с тем же испугом, смотрела она на него несколько времени и вдруг, выставив вперед левую руку, слегка, чуть-чуть, уперлась ему пальцами в грудь и медленно стала подниматься с кровати, все более и более от него отстраняясь, и все неподвижнее становился ее взгляд на него. Ужас ее вдруг сообщился и ему: точно такой же испуг показался и в его лице, точно так же и он стал смотреть на нее, и почти даже с тою же *детской* улыбкой»¹.

В глубоком споре-диалоге с собой, спровоцированном Соней, Раскольников ищет формулу содеянного им, ищет причины: *не* голод, *не* безнадежное положение, *не* желание позднейшего блага другим — *не это* заставило совершить убийство. Обида на *весь* мир, на всех людей за свою ничтожность, отмщение *им* всем и им презрение.

Но в то же время в нем не иссякает и мучительная человечность, совесть не перестает требовательно жить в нем. Чтобы и этот мучительный груз совести сбросить, он пошел на преступление: «Соня, у меня сердце злое, ты это заметь: этим можно многое объяснить...»²

«...Не переменяйся люди и не переделай их никому, и труда не стоит тратить! ... Это их... Закон... И я теперь знаю... что *кто* крепок и силен умом и духом, *тот* над ними и властелин! Кто много посмеет, тот у них и прав. Кто на большее может плюнуть, тот у них и законодатель, а кто больше всех может поспеть, тот и всех правее! Так доселе велось и так всегда будет!...»³

Эта исходная идеологическая установка Раскольникова озвучивается чуть ли не впервые с такой определенностью. «Мне вдруг ясно, как солнце, представилось, что как же это ни единый до сих пор не посмел и не смеет, проходя мимо всей этой нелепости, взять просто-запросто все за хвост и стряхнуть к черту! Я... я захотел *осмелиться* и убил... я только осмелиться захотел, Соня, вот вся причина!»⁴

Но сама определенность формулы вновь подымает на поверхность его сознания мучительный спор с собой, бесчислен-

¹ Там же. С. 315.

² Там же. С. 318.

³ Там же. С. 321. (Выделено. — В.Ф.).

⁴ Там же.

ное количество вопросов, неразрешимых, прежде всего, в нем самом. Именно рядом живущая Соня делает очевидным многоголосие раскольниковского внутреннего мира, все вопросы, преследовавшие его, вероятно, с момента возникновения замысла. Раскольников никак не может преодолеть в себе дистанцию между «теоретическим» понятием «вошь» и живым человеком с больной совестью. Соня предлагает ему простое христианское решение: «Страдание принять и искупить себя им...». Но Раскольников не может идти к «ним» — это «вши». Он их позора, их презрения боится. Заканчивается пятая часть романа, в которой происходит этот мучительный диалог, но Раскольников не раскаивается: «... может, я *еще* человек, а не вошь и поторопился себя осудить... я *еще* поборюсь...»¹

Однако, погружаясь в «борения» героя, мы сознаем вместе с Соней, что так продолжаться не может. Он — человек и никогда не привыкнет к такому грузу страданий. Его болезнь на грани разрешения.

«Умная» мысль Раскольникова в самооценке и внешней оценке людей движется пока лишь в русле оппозиции «человек (сверхчеловек) — вошь». Но это, как подсказывает судьба его «двойников» Свидригайлова и Лужина, путь в бесчеловечность и самоуничтожение. Лужин просто растворяется в сюжете вещи, превращается в ничто. Показателен для Раскольникова путь не вполне утратившего человечность Аркадия Свидригайлова.

Раскольников «остановился на Свидригайлове», потому что в глубине своей предчувствовал направление и итог эксперимента. Он спешил к Свидригайлову, который имел какую-то необъяснимую власть над ним. Автор спрашивает: уж не ожидал ли Родион чего-нибудь нового от этого человека, указания, выхода? Соня была на этом этапе раскольниковского пути страшна герою определенностью и неумолимостью ее нравственного приговора. В Свидригайлове обещалась моральная лазейка, преодоление совести. После самоубийства Свидригайлова Раскольников бесповоротно уперся в Соню. И он идет в контору для официального признания.

На этом завершается фильм Л. Кулиджанова. Для режиссера в этой точке совпадают наказание и раскаяние. Но раскаивается ли герой Достоевского в финале последней, шестой части рома-

¹ Там же. С. 323.

на? Очевидно, что нет. Иначе не было бы Эпилога с его идеей христианского искупления вины.

Оставляя Раскольникову перед Эпилогом, читатель должен увидеть, что герой по-прежнему находится в точке пересечения множества романых «голосов», внутри многоголосия жизни. Раскаяния нет, но герой на пороге приятия этого многоголосия, неисчерпаемости жизни как ее закона, от которого его отсекал монологизм абстрактной «теории», идеи сверхчеловеческого преодоления человечности (предшественники — Печорин, Чичиков).

В точке пересечения «голосов» многоголосой жизни оживает совесть человека, Бог в нем. В толковании литературоведа Ю. Карякина¹, это такое осознание своих мыслей и чувств, будто о них знают все, будто все, что происходит с человеком, происходит на виду у всех, будто самое тайное становится явным. Это — внутреннее осознание человеком своего единства, своего родства со всеми людьми, дальними и близкими, умершими и даже еще не родившимися, сознание своей ответственности перед ними. Это — осознание себя в неразрывной связи со всем единым родом человеческим. Это — самоконтроль, критерием и ориентиром которого и является такая связь. Единство людей реально распалось, рознь между ними усиливается. Но усиливается одновременно и потребность в этом единстве, в его спасительном для рода человеческого восстановлении. Сознает все это человек, прежде всего, через связь с близкими, родными ему людьми.

Выражением единства, о котором пишет Карякин, явно подразумеваемая синонимом совести — Бога в человеке, можно считать и тот много- и разноголосый хор романа, звучащий в пространстве одного человеческого Я, так или иначе, открытого миру и высшему суду.

Если не внутри шестичастевого сюжета романа, где он упрям в многоголосии «правд», то в Эпилоге звучит довольно ясно авторский голос. Необходимость расслышать его вызвана разноречивостью трактовок мотивов преступления Раскольникова и отношения к этому преступлению самого Достоевского. Существует мнение, например, что мотивы эти двойственны: один — «негативный» (Наполеоном хотел стать), другой — «позитивный» (хотел добра людям). Находят и большее количество мотивов. Мы видели, что и в толковании самого героя они слишком разноречивы.

¹ См.: Карякин Ю. Самообман Раскольникова. М.: Худож. лит., 1976.

Нельзя не видеть, что внутренние поиски Раскольникова направлены в бесконечность. Его спор с самим собою кажется неразрешимым. Раскольников устает от этой борьбы, смиряется перед натиском, как бы застывает, закоченевает, но не раскаивается. И в том, что он идет за выпрямленным сюжетом следствия, который, по определению, пренебрегает сложной нравственной борьбой в человеке, видна все та же внешняя покорность, которая заставила его втянуться и в само преступление. На следствии и в суде утверждается ложная причина, ложное объяснение преступления: нищета и беспомощность, желание упрочить первые шаги жизненной карьеры. Свое решение пойти на убийство Раскольников на суде объяснял легкомысленностью и малодушием характера, раздраженного лишениями и неудачами. На вопросы же, что побудило его явиться с повинною, отвечал: чистосердечное раскаянье. И вот тут читатель слышит голос автора: «Все это было почти уже грубо».

Последний раз перед своим воскрешением герой умирает в матери, живущей в помешательстве его «теорией». «Теория» оборачивается в ней самой болезнью, а затем и смертью. Это еще одна жертва на алтарь «теории».

Смерть матери откликается перерождающей болезнью Родиона. «... Его гордость была уязвлена; он заболел от уязвленной гордости. О, как бы счастлив он был, если бы мог сам обвинить себя! Он бы снес тогда все, даже стыд и позор. Но он строго судил себя, и ожесточенная совесть его не нашла никакой особенно ужасной вины в его прошедшем, кроме разве простого *промаху*, который со всяким мог случиться. Он стыдился именно того, что он, Раскольников, погиб так слепо, безнадежно, глухо и глупо, по какому-то приговору слепой судьбы, и должен смириться и покориться перед "бессмыслицей" какого-то приговора, если хочет сколько-нибудь успокоить себя... .. Жить, чтобы существовать? Но он тысячу раз и прежде был готов отдать свое существование за идею, за надежду, даже за фантазию. Одного существования всегда было мало ему; он всегда хотел большего. Может быть, по одной только силе своих желаний он и счел себя тогда человеком, которому более разрешено, чем другому.

И хотя бы судьба послала ему раскаяние — жгучее раскаяние, разбивающее сердце, отгоняющее сон, такое раскаяние, от ужасных мук которого мерещится петля и омут! О, он бы обрадовался ему! Муки и слезы — ведь это тоже жизнь. Но он не раскаивался в своем преступлении... Ну чем мой поступок кажется

им так безобразен?.. Тем, что он — злодеяние? Что значит слово "злодеяние"? Совесть моя спокойна. Конечно, сделано уголовное преступление; конечно, нарушена буква закона и пролита кровь, ну и возьмите за букву закона мою голову.. и довольно! Конечно, в таком случае даже многие благодетели человечества, не наследовавшие власти, а сами ее захватившие, должны были быть казнены при самых первых своих шагах. Но те люди вынесли свои шаги, и потому они правы, а я не вынес и, стало быть, я не имел права разрешить себе этот шаг".

Вот в чем одном признавал он свое преступление: только в том, что не вынес его и сделал явку с повинною¹.

На самоубийство он не решился, как Свидригайлов, и оказался приговоренным к жизни, которую не любил. Во всяком случае, пока не мог полюбить. А окружающие его каторжане — любили. Любили жизнь, а поэтому не любили его в его гордом презрении к жизни («Ты безбожник! Ты в Бога не веруешь! Убить тебя надо»). Но при этом они любили Соню! И такое положение дел было неразрешимым для Раскольникова.

Как раз в этом состоянии болезни духа, совести настигает его пророческое видение. Его нравственное состояние видится ему в образе моровой язвы, «идушей из глубины Азии на Европу». «Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя такими умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали себя непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшевствовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины броса-

¹ *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 416—417.

лись друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, — но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спасти в во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слышал их слова и голоса»¹.

В финале Эпилога становится очевидной символика романа Достоевского. Большое видение Раскольникова, «подсказанное» автором, проявляет гибельную сущность «теории» героя-идеолога, ее ограниченность в сравнении с богатством жизни. Здесь авторский «голос» выдвигается на авансцену и толкует свое «видение предмета». Пробудившись после болезни и болезнью очистившись от своего преступного замысла, Раскольников воспринимает Соню во всей значительности ее образа как спасительницы. А затем заболевает и Соня. Их совместное возрождение происходит в знаменательной ситуации пасхальных праздников. Они оказываются на берегу реки, как на берегу новой жизни, посреди времени, мира, вселенной. «Они были одни, их никто не видел». Раскольников бросился к ее ногам. «...она все поняла. В глазах ее засветилось бесконечное счастье; она поняла... что он любит, бесконечно любит ее и что настала же наконец эта минута... Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого»². Диалог-спор идей переходит в слияние сердец.

Эпилог к своему финалу сдвигается в сторону утопии. Но именно в таком виде он и есть наиболее полное и ясное выражение мировоззренческих позиций Достоевского. Хотя окончательное решение судьбы героя выносится очень осторожно, поскольку Раскольников остается на берегу. «...Он ничего и не

¹ *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 419—420.

² Там же. С. 421.

разрешил теперь сознательно; он только чувствовал. *Вместо диалектики наступила жизнь*, и в сознании должно было выработаться что-то совершенно другое»¹.

Казалось бы, достаточно увидеть, независимо от дальнейшего пути Раскольникова, поражение его «теории» в напряженном споре с жизнью. И это поражение становится очевидным уже к завершению шестой части романа, несмотря на упорство героя-идеолога. Очевидной становится и гибельность избранной им дороги.

Однако Достоевскому, осужденному по делу петрашевцев и прошедшему каторгу, мало этого. Для него, как и для автора «Воскресения», важно провести героя путем евангельских испытаний к приятию всепобеждающей христианской любви, носительницей которой выступает здесь, конечно, Соня. Как только мы понимаем, что герой идет именно этим путем, уголовно-мелодраматическая история перерастает себя, приобретает другие, библейские масштабы, перетекает в вечность.

Как и в пространстве творчества Толстого, в романном сюжете Достоевского жизнь (точнее бы сказать, Высший суд) не прощает рациональный разум идеолога, порождающий абстрактные «теории» спасения мира. Спасение возможно только на евангельском пути, в нерассуждающей любви к жизни. А она, любовь, там — среди каторжан, в пространстве бытия семьи Мармеладовых. Словом, внизу, а неверху.

Экранизации Достоевского советской поры сужают обозначенные выше масштабы его прозы уже потому, что купируют религиозную тему в произведениях классика по причине идеологической невозможности интерпретировать библейский миф, на который твердо опирается писатель в своем мировидении после острога.

Мы уже отметили, что «Преступление и наказание» Льва Кулиджанова отсекает Эпilog романа, а поэтому окончательно гасит христианские мотивы произведения в целом. Так что эпизод чтения Соней евангельских страниц о воскрешении Лазаря становится в фильме просто невозможным.

Так история Раскольникова возвращается в рамки уголовно-криминального жанра. Идеиная подоплека преступления укладывается, кажется, в русло убогого наполеонизма, порожденного условиями подрастающего русского капитализма, а то

¹ Там же. С. 422.

и вовсе исчерпывается содержанием признаний героя на предполагаемом суде (см. выше).

Из поля зрения авторов исчезает разрушительная сила «разумного эгоизма», исповедуемого новыми поколениями с легкой руки как Чернышевского, так и ряда других идеологов эпохи. А здесь не только эгоизм делового человека Лужина из отряда «новых русских» предпринимателей. Здесь и эгоизм самого Раскольникова, его ровесников, рассуждающих на темы общественных корней преступления как такового. Здесь и эгоизм Свидригайлова, не знающего и не желающего знать укорот своим страстям.

Что-то подгнило в «датском королевстве», исчезла опасливая оглядка на высшие силы, ограничивающие непомерные человеческие притязания. Словом, Божий страх исчез. И об этом роман Достоевского.

Страх?

На протяжении картины видно, что герой (Г. Тараторкин) живет страхом преследования. В видениях молодого человека, которые, в сравнении с романом, сильно сокращены и однообразны, его то и дело преследует полиция. Рождается впечатление, что наказание Раскольникова не в том, что он мучим совестью от покушения на основы бытия, а только в предчувствии неизбежной поимки соответствующими службами. Поэтому из фильма исчезает и диалогическое противоборство «теории» Раскольникова и самой жизни в разнообразии ее проявлений.

Уже сказано было, что сюжет романа Достоевского есть, в образно-символическом смысле, выведенная наружу внутренняя жизнь героя, многоголосое пространство испытания его «теории», которая вовсе не является голой абстракцией, но объявляет о себе в живом существовании Родиона Романовича. Но как раз этим инструментом, воссоединяющим сюжет как целое, отказываются пользоваться авторы фильма. Картина строится как цепь встреч Раскольникова с другими персонажами. Каждая из них по-своему интересна, поскольку разыгрывается прекрасными актерами. Достаточно назвать только некоторых из исполнителей: Евгений Лебедев — Мармеладов, его супруга — Майя Булгакова, Владимир Басов — Лужин, Ефим Копелян — Свидригайлов, Иннокентий Смоктуновский — Порфирий Петрович и др. Но каждая из встреч предстает только лишь как актерский дуэт или соло, не объединяясь с другими в напряженное полифоническое целое.

Чрезвычайно важный для романа «двойник» Раскольникова Петр Петрович Лужин, например, утрачивает идейную значимость своей роли, а выглядит примитивным подлецом и жуликом, несмотря на все усилия актера. В романе же он — носитель некой вполне оформленной жизненной концепции. Его идеология — одно из превращений «теории» Раскольникова. Как Лужин, так и Свидригайлов — своеобразное инобытие Дьявола, бесы разной величины и силы, провоцирующие героя. Эта символика исчезает из картины, поскольку «идеологии» названных персонажей отсечены от их носителей. Максимум, для чего они нужны фильму, — обеспечить набор типажных характеристик тлетворной среды, в которой приходится жить герою.

Социально-психологическая, мировоззренческая ситуация Раскольникова не знает простых решений. В известном смысле она чревата безысходностью внутренней борьбы героя с самим собой. Но авторы экранизации начала 1970-х довольно быстро находят ответы на все вопросы.

Фильм Кулиджанова завершается кадрами, где Родион Романович, оказавшийся в конторе с целью признания в содеянном, колеблется, уходит, но, увидев внизу, на улице, Соню, ее вопрошающе-требовательные глаза, да к тому же узелок в ее руках, вновь поднимается наверх и делает признание. Вот и решение проблемы раскаяния Раскольникова. И не нужно никаких фундаментальных превращений в душе преступника. Герою же Достоевского на пути к раскаянию нужно пройти каторгу, потерять мать, пережить глубокую болезнь духа с апокалиптическими видениями и именно в дни пасхальных праздников почувствовать нарождающуюся в душе способность полюбить жизнь.

Вот почему напрашивается неизбежный вывод: экранизация «Преступления и наказания» в исполнении сценариста Н. Фигуровского и режиссера Л. Кулиджанова оказалась явлением случайным, никак не связанным со спецификой времени, с его, так сказать, дыханием. «Бытописатель» в кинематографе, Лев Кулиджанов не вышел за рамки своего амплуа. С экрана была рассказана история молодого человека приятной наружности, человека неплохого, по-своему честного, но по легкомыслию молодости заблудившегося. Убив старушку и Лизавету, он ужаснулся своему преступлению и под давлением обстоятельств, в том числе матери и сестры, приятеля Разумихина, а главное — чистой и благородной Сони Мармеладовой, сделал признание, а следовательно, раскаялся.

По существу, Кулиджанов экранизировал не роман Достоевского, а «грубую» речь Родиона Романовича на суде, внешне полную раскаяния, но, по сути, скрывающую действительные причины его преступления, а точнее говоря, существо его катастрофического мировидения.

* * *

Более чуткой и к Достоевскому, и к своему времени оказалась многосерийная телеверсия «Преступления и наказания» (2007), созданная Дмитрием Светозаровым. Правда, режиссер находился в более комфортных условиях уже хотя бы потому, что мог рассчитывать на масштабы сериала, включив гораздо больший объем текста в них, чем это удалось сделать Кулиджанову. Обстоятельство чрезвычайно важное. Ведь текст романов Достоевского, в том числе и «Преступления и наказания», — это, прежде всего, диалоги и монологи героев. Действующие лица в этих романах словоохотливы и многословны уже потому, что им необходимо высказаться до конца, чтобы обнаружить свою «правду». Так, например, монолог Мармеладова с прерывающимися его репликами окружающих и скупыми авторскими ремарками занимает не менее десяти страниц книжного текста. «Озвучивание» и обсуждение «теории» Родиона Романовича тоже занимает немало места, что неизбежно и естественно для прозы Достоевского.

Сериал оберегает текст писателя от купюр, что само по себе хорошо — да еще и в игре больших актеров вроде Юрия Кузнецова (Мармеладов) или Андрея Панина (Порфирий Петрович). А что написано пером, как говорится, того не вырubiшь топором. Иными словами, произнесенный многостраничный текст писателя потребует «ответа» и в изобразительно-выразительном решении эпизода, в котором он звучит, а вместе с тем, возможно, повлияет и на фильм как целое.

Несколько отвлекаясь, напомним, что в 2000-е годы, после долгого перерыва, пробудился вдруг ажиотажный интерес к многосерийным воплощениям на телеэкране отечественной литературной классики XIX — XX веков. Он возник, кажется, после очевидного успеха у зрителя десятисерийного «Идиота» (2003), поставленного Владимиром Бортко, несколько ранее удачно заявившим о себе на телевидении экранизацией «Собачьего сердца» (1988) М.А. Булгакова.

После этого тот же Бортко успел экранизировать «Мастера и Маргариту» Булгакова (2005), «Тараса Бульбу» (2009) Гоголя. Буквально в течение 5—6 лет на телеэкране появились лермонтовский «Герой нашего времени», «Братья Карамазовы» Достоевского, «Отцы и дети» Тургенева, «Доктор Живаго» Пастернака и т.д. и т.п.

Есть ли это выражение массового интереса к отечественной классике? Мы так не думаем. Скорее всего, это явление стихийного порядка и больше связано с внутренними механизмами деятельности российского телевидения. Но нельзя в то же время отрицать, что профессионально исполненные экранизации, вроде созданных В. Бортко, вносят свою лепту в дело просвещения и образования. Но являются ли они при этом авторским прочтением классического произведения, есть ли в них попытка выразить мировидение своего времени в диалоге с классиком? Вот главный для нас вопрос в обсуждении экранизаций Достоевского.

Какой изобразительно-выразительный контекст формируется в картине режиссера Дмитрия Светозарова для романного слова Достоевского? Как звучат в ней голоса героев, какие новые смыслы наращиваются на их диалоги и монологи? Возможность развернутой «речевой характеристики» классических героев, предоставляемая сериалом, таит и очевидную опасность, поскольку может и не обеспечить тексты писателя адекватным по смыслу изобразительным контекстом.

В фильме Светозарова попытка такого обеспечения явно сделана. Многосерийная картина обнаруживает единый звукозрительный образ сюжетного движения героя. Движение это не прерывисто-пунктирно, как в фильме Кулиджанова, а уподоблено бегу белки в колесе, в отчетливо замкнутом пространстве с то и дело возникающими в поле нашего зрения вехами, заставляющими вспомнить известные стихи А. Блока:

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет...

Безысходность этого движения может довести до безумия — не Лужина, конечно, который не замечает бытийного тупика, — точнее говоря, в этом тупике ему удобно. Он сам — вполне

ограниченная в движениях машина — именно таким и предстает в исполнении Андрея Зиброва. Он чувствует себя в этом закрытом пространстве комфортно, он свой здесь. Другое дело — Раскольников, каким он сыгран молодым актером Владимиром Кошевым. Но в том же переживании невыносимости тупика находятся, между прочим, и Аркадий Свидригайлов (Александр Балувев), и Мармеладов, и его супруга Катерина Ивановна (Светлана Смирнова). В таком контексте как-то по-особому звучит известная трактовка Свидригайловым вечности, которая нас ждет за гробом. Он произносит эту реплику в фильме: «Нам вот все представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится...»

Ощущение духовного тупика — физически, до отвращения — возникает еще и потому, что в кадре то и дело возникает облепленная мухами пища в грязной, вероятно, дурно пахнущей посуде, отчего невольно, вслед за Порфирием да и Свидригайловым, хочется потребовать: «Воздуху, воздуху!» И может быть, самое главное ощущение, которое порождает в зрителе организация времени и пространства картины, состоит в том, что этот тупик и есть действительно вечное состояние той среды, в которой происходят события фильма: так было, так есть и так будет всегда.

Если у Достоевского события привязаны все-таки и к определенному социально-историческому времени и к месту, то в картине Светозарова можно еще говорить о некоем конкретном месте, но время в этом «месте» утрачено. Это, вероятно, и есть специфическое переживание авторами фильма образности Достоевского в условиях начала нового тысячелетия в России.

В пространстве фильма и Соня, и Порфирий, так или иначе пытающиеся спасти Раскольникова, выглядят, каждый по-своему, пародийными юродивыми, как маляр Николка — святым, запрограммированным обязательно пострадать, независимо, где, когда и по какому случаю. В этом душном, вонючем, лишенном времени закупоренном пространстве-вечности, на свидригайловский лад, спасение невозможно. Ну, может быть, придет оно только к тем, чье безумие поведет их именно в эту

сторону, к вере, что Лазаря все-таки воскресили, а не туда, куда повело личное безумие Родиона Раскольникова. Авторы аккуратно, едва ли не буквально переносят на экран текст классика, но ровно до того момента, когда возникает событие Эпилога (он здесь есть в отличие от картины Кулиджанова) — Родион Романович в остроге. Сюжет делает неожиданный поворот, можно сказать, на 180 градусов.

Никакого преобразования с героем в Эпилоге не происходит, хотя мы и видим с ним рядом Соню. Вот последний внутренний монолог Раскольникова, звучащий в картине, когда герой оказывается на каторге: «... ну, чем мой поступок кажется им так безобразен? Тем, что он — злодеяние? Что значит слово "злодеяние"? Совесть моя спокойна. Конечно, сделано уголовное преступление; конечно, нарушена буква закона и пролита кровь, ну и возьмите за букву закона мою голову.. и довольны! Конечно, в таком случае даже многие благодетели человечества, не наследовавшие власти, а сами ее захватившие, должны были быть казнены при самых первых своих шагах. Но те люди вынесли свои шаги, и потому *они правы*, а я не вынес и, стало быть, я не имел права разрешить себе этот шаг..»

Никакой «зари обновленного будущего», ни «полного воскресения в новую жизнь» как результата христианской любви здесь нет. Здесь и сила Писания находится под сомнением, в отличие от того, что видим у Достоевского.

Финал Эпилога — заснеженное застывшее пространство до горизонта, застывшая же река и две застывшие фигуры — Родион и Соня в каторжной одежде — на ее берегу. Еще один вариант вечности — ледяное безмолвие. Из него никакое возрождение, никакое явление нового, преобразившегося Раскольникова невозможно.

По существу, авторы картины, люди рубежа XX—XXI века опровергают Достоевского, отменяя как совершенно утопичное для России явление Льва Николаевича Мышкина.

* * *

Роман «Идиот» Достоевский задумал как своеобразное продолжение «Преступления и наказания», финальный абзац которого намекает на новую жизнь преобразившегося героя: «Но тут уж начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новой,

доселе совершенно неведомою действительностью. Это могло бы составить тему нового рассказа...»¹

Новый герой «нового рассказа», исцелившийся от непомерной гордыни человек, носитель «положительно-прекрасного» идеала, в рукописи назывался иногда «князем-Христом». Ситуация, разворачивающаяся в романе, носит откровенно экспериментальный характер: что будет, если Спаситель войдет в современную жизнь, в цивилизацию эгоистическую, греховную?

И он является, как и Раскольников, возвращаясь из болезни, из другого мира, как будто с небес, во всяком случае со швейцарских Альп, где ему грезился в одиноких странствиях Новый Иерусалим. В наивной своей детскости он нисходит для исцеления человеческих душ от язв несправедливой жизни, в которую впала цивилизация второй половины XIX века. «Как христианство пустило корни в мире через проповедь двенадцати апостолов, так и Мышкин должен возродить в мире утраченную веру в высшее добро. Своим приходом и деятельным участием в судьбах людей он должен вызвать цепную реакцию добра, продемонстрировать исцеляющую силу великой христианской идеи. замысел романа скрыто полемичен: Достоевский хочет доказать, что учение социалистов о бессилии единичного добра, о неисполнимости идеи "нравственного самоусовершенствования" есть нелепость»².

Понимая так миссию Мышкина, читатель в сюжетном развитии романа должен будет с удивлением убедиться, что любое предприятие чистого душой и сердцем, открытого миру князя терпит крах, а в финале на алтарь его миссии одна за другой укладываются жертвы, и главная — Настасья Филипповна. Как выразился М.М. Бахтин, «высшая степень духовного совершенства», олицетворенная в князе Мышкине, не может найти воплощения в той жизни, где он оказывается. «Он вошел в жизнь, но места в ней занять не смог: не предотвратил преступления, не выбрал себе жены и ни к чему не пришел. Это святость, не имеющая места в жизни»³.

Проблема романа обнажается в первом развернутом его эпизоде. В эпизоде возвращения князя из Швейцарии в Россию, которую он совсем не знает. В вагоне поезда встречаются две

¹ Там же. С. 421.

² Лебедев Ю. В. Литература: Учеб. пособие для учащихся 10-х кл. сред. шк.: В 2 ч. Ч. 2. М.: Просвещение, 1992. С. 61.

³ Бахтин М. М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 2. М.: Русские словари, 2000. С. 276.

силы: светлая, в лице князя Мышкина, и темная, в образе Парфена Рогожина. Причем две эти силы влекутся друг к другу. Они даже становятся крестовыми братьями. Но как только Парфен покидает пространство контакта с Львом Мышкиным, он начинает злобно ненавидеть князя и в конце концов покушается на его убийство. Собственно, эти две силы символизируют борьбу России за себя самое. В романе это борьба за Настасью Филипповну, которая уже в первом эпизоде становится объектом духовного влечения князя. А когда в доме Епанчиных он видит ее портрет, то осознает внутреннее их единство, обреченность друг другу.

Вернувшись в мир России, князь хочет жизни во всей полноте ответственного нравственного существования, о чем свидетельствуют его рассказы о смертной казни и переживаниях смертника накануне. Но он тут же и сам подтверждает утопичность таких надежд, отвечая на вопрос Александры Епанчиной, можно ли жить, отсчитывая каждую минуту жизни. По замечанию Бахтина, «князь Мышкин до конца воплотиться не может и, как приговоренный к смертной казни, особенно остро чувствует ценность жизни»¹.

Может быть, как раз поэтому он все время находится на грани эпилептического припадка, на грани жизни и смерти. И особенно ценит последнюю минуту перед припадком. «Что же в том, что это болезнь? — говорит он себе. — Какое до того дело, что это напряжение ненормальное, если самый результат, если минута ощущения... дает неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и восторженного молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни?»²

Встреча князя с Настасьей Филипповной у Иволгиных втягивает Мышкина в перипетию живой жизни, начинается испытание его идеи совершенного существования по заповедям Христовым. Состояние Мышкина таково, что он то поддается требованиям реальности, втягивается в нее, то выныривает, образно говоря, на ее поверхность. Достоевский усложняет ситуацию, ставя своего героя между двумя женщинами: Настасьей Филипповной и Аглаей Епанчиной. И князь, конечно, любит их обеих, хотя не может разобраться в своей любви. Одна из сторон этой любви (Аглая) — светлая, ясная; другая

¹ Там же. С. 277.

² *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Т. 8. С. 188.

(Настасья Филипповна) — тревожная, темная, сострадательная. Князь, будто убеждая себя, то и дело повторяет, что Настасья Филипповна больная, помешанная, в лихорадке. Он жалеет ее и ходит за ней как за душевнобольной. Фактически она есть зеркальное отражение собственного состояния князя.

Искаженное отражение князя — чахоточный Ипполит, готовящийся оказаться на смертном ложе. По существу говоря, этот образ — продолжение истории Раскольникова, но в более заостренной образной форме, почти на грани пародии. В отличие от князя, пишет Бахтин, это озлобленный протестант, хотя так же, как и Мышкин, он жаден до жизни. Если князь идет навстречу людям с совершенно открытым забралом, чем потрясает их до глубины души, то Ипполита и его духовно более мелкое окружение терзает гордыня. Его бросает из огня да в полымя, — за свое неумение жить, как и неумение умереть, он мстит миру.

Достоевский, пользуясь по-детски неумной натурой генеральши Лизаветы Прокофьевны, низвергает нового Раскольникова с его идеологического пьедестала. В гневной речи генеральши открываются язвы национального мировидения, оказавшегося на грани эпох во время корневого перелома в истории России: «Сумасшедшие! Тщеславные! В Бога не веруют, в Христа не веруют! Да ведь вас до того тщеславие и гордость проели, что кончится тем, что вы друг друга переедите, это я вам предсказываю. И не сумбур это, и не хаос, и не безобразие это?.. Да много ли вас таких?..»¹

По существу, каждый из персонажей живет как бы на границе, кренясь то в сторону любовного и сострадательного приятия, то в сторону гордого неприятия мира. Князь Мышкин как-то удерживает это равновесие, открывая в людях для них самих источники гармонии и любви, но уже этим и кладет себя в жертву, играет, так сказать, на разрыв аорты. Особенно очевидным это трагическое обстоятельство становится на вечере с приглашением «старухи Белоконской» и «старичка сановника». В своей пламенной речи против католицизма он, между прочим, говорит о страстности русской природы, живущей «жаждой горячешной», а потому и бросающейся из огня да в полымя. «Наши как доберутся до берега, как уверуют, что это берег, то уж так обрадуются ему, что немедленно доходят до последних столпов; отчего это?.. И не нас одних, а всю Европу дивит в таких случаях

¹ Там же. С. 238.

русская страстность наша: у нас коль в католичество перейдет, то уж непременно иезуитом станет, да еще из самых подземных; коль атеистом станет, то непременно начнет требовать искоренения веры в Бога насилием, то есть, стало быть, и мечом! Отчего это, отчего разом такое исступление?.. Оттого, что он отечество нашел, которое здесь просмотрел, и обрадовался; берег, землю нашел и бросился ее целовать! Не из одного ведь тщеславия, не все ведь от одних скверных тщеславных чувств происходят русские атеисты и русские иезуиты, а из боли духовной, из жажды духовной, из тоски по высшему делу, по крепкому берегу, по родине, в которую веровать перестали, потому что никогда ее и не знали!.. Такова наша жажда!.. "Кто почвы под собой не имеет, тот и Бога не имеет"... ..Откройте жаждущим и воспаленным Колумбовым спутникам берег Нового Света, откройте русскому человеку русский Свет, дайте отыскать ему это золото, это сокровище, сокрытое от него в земле! Покажите ему в будущем обновление всего человечества и воскресение его, может быть, одною только русскою мыслью, русским Богом и Христом, и увидите, какой исполин могучий и правдивый, мудрый и кроткий вырастет под изумленным миром, изумленным и испуганным, потому что они ждут от нас одного лишь меча, меча и насилия, потому что они представить себе нас не могут, судя по себе, без варварства...»¹

Вероятно, миссия Мышкина в том и состоит, чтобы помочь жаждущему русскому человеку открыть «русский Свет», вернуть ему родину, — об этом мечтал и Гоголь, суля России Светлое Воскресение в своих «Выбранных местах из переписки с друзьями...».

Мышкин надрывается на этом пути. М.М. Бахтин так толкует финал романа: «Высшее выражение жизненной позиции князя дано в сцене в доме Рогожина, где он ласкает своего соперника и убийцу любимой женщины. Князь предугадывал это убийство, но предотвратить его не сумел. Он святой, прекрасный дух, но эта святость неудавшаяся, невоплотившаяся. Князь входит в жизнь, делает потуги воплотиться, казалось, что вот-вот они удадутся, но он не дотянулся, потому что не принял закона жизни. И как только определилось, что он места в жизни занять не может, автор снова возвращает его в швейцарское небытие»².

¹ Там же. С. 452—453.

² Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 2. С. 278.

С этой точки зрения, Мышкина «положительно-прекрасного» человека, побеждает закон многоголосой, горячешно существующей русской жизни. Побеждает точно так же, как этот закон побеждает и ослепленного гордыней Раскольников. Не сходятся полюса — актуальными остаются утопические надежды.

И здесь, возвращаясь к экранизации Дмитрия Светозарова, следует сказать, что в ней-то как раз, в споре с идеализациями романа Достоевского «Преступление и наказание», начисто отвергается возможность «князя-Христа» даже в смысле гипотезы, в смысле эксперимента. Экранизация полностью отказывается от утопических надежд оригинала. Хотя такой отказ подспудно подразумевался и самим романом. Достоевский, подступая к «Идиоту», знал, что герой его потерпит крах в русской действительности.

* * *

Первая экранизация «Идиота» «надорвалась», как и герой Достоевского, в попытке воплотить роман на экране. На экраны вышла только первая часть романа — «Настасья Филипповна», указывая лишь условия старта, от которого мог отталкиваться режиссер.

В истории отечественного кино советского периода экранизация Пырьева считается «серьезной и в основном успешной». Неприкрытая, иногда разрушительная страстность Пырьева как человека и художника, чувство карнавного праздника могли быть теми качествами, которые соответствовали духу прозы Достоевского. Но при этом следует отметить, что режиссер Пырьев всегда очень хорошо осязал идеологические границы, за которые не могла и не хотела выплеснуться его страстность и в которых карнавал оставался праздником официально дозволенным.

После «Петербургской ночи», поставленной за четверть века до фильма Пырьева, это было первое обращение к Достоевскому, фактически запрещенному в стране до 1956 года, когда широко было отмечено 75-летие со дня смерти (!) писателя¹.

В год выхода фильма на сцене Ленинградского БДТ появилась постановка Г. Товстоногова по роману Достоевского, где роль, сыгранная И. Смоктуновским, тогда мало кому известным актером, стала легендой. Увидела в это же время свет и инсце-

¹ Как это напоминает ситуацию с Пушкиным, — неожиданно громкие празднества в связи со столетием со дня гибели поэта, празднества, учрежденные государством в 1937 году.

нировка Ю. Олеси в Московском театре им. Вахтангова, где роль Настасьи Филипповны сыграла Ю. Борисова. В той же роли актриса выступила и в фильме Пырьева. Интерес к «забытому» классику был понятен как интерес ко всякому запретному до времени «плоду». Но историки экранизации отечественной классики находили в «пырьевской» увлеченности Достоевским и иные, в духе времени, мотивы. Писали, что Пырьев своей экранизацией «принял посильное участие в решении главной задачи советского искусства: в создании образа положительного героя». Оказывается, Мышкин, каким его увидел экранизатор, «во многом близок нашему идеалу человека». Двигаясь в русле советской идеологии, Пырьев старательно очищал Достоевского от «достоевщины». а это означало, что режиссер предавал забвению то, что «уже осуждено временем и ходом истории», решительно отбрасывал «болезни тела и духа» как «реакционную сторону творчества писателя».

Таким образом, на экране осталось разоблачение зарождающегося русского капитализма, а христианская миссия Мышкина погибла, так и не воплотившись. В «Размышлениях о поставленном фильме» режиссер писал: «Достоевский поднимал самые жгучие вопросы современности, и одним из них, быть может, наиболее важным, был вопрос о власти денег. Отношение к деньгам часто становится у него лакмусовой бумажкой, обнаруживающей сущность человека. Вспомним хотя бы испытание Ганечки Настасьей Филипповной, бросившей в пламя пачку в сто тысяч рублей. Женщина, способная так поступить из одного лишь презрения к деньгам и к человеку, для которого они являются предметом вождления, завоевывает огромное уважение и привлекает к себе наше искреннее сочувствие. Те же, кто позорно, униженно, дрожа от алчности, молят о разрешении ринуться в огонь, чтобы завладеть заветной пачкой, предстают во всей своей духовной нищете»¹.

Для изобличения губительной страсти к деньгам в фильме вполне достаточно было карикатурных образов из окружения Рогожина. В их сонме утопает и Лебедев (С. Мартинсон), занимающий в романе едва ли меньше места, чем сам Мышкин. Близок к карикатуре и генерал Епанчин вместе с Ганей Иволгиным, поскольку все это люди, обуянные жадной приобретения, наживы. Этой характеристикой и ограничивается

¹ Искусство кино. 1959. № 5. С. 101.

пространство развития образов, гораздо более сложных по сути. Тогда и образ Мышкина не то чтобы вовсе утрачивает необходимость присутствия на экране, но все же движется как бы параллельно главному для фильма мотиву. Для наведения же мостов между ним и средой картины Пырьев решительно разрывает «евангелические нити», которые протягиваются от Мышкина к религии. Режиссер убежден, что если эти «нити» «обрубить», то высокие нравственные качества героя станут еще более явственными и внушат к себе сочувствие советского зрителя, поскольку они безо всякой религии сами по себе прекрасны¹. Вот и получается, что три четверти романа Достоевского оказываются просто лишними, поскольку, исходя из концепции советского режиссера, оздоровление природы Мышкина избавляет его от переживания той глобальной катастрофы, которая обрушивается на героя в романе, когда он понимает, что не связать ему концов нити, объединяющей национальную душу русского.

* * *

Значительным достижением отечественного кино была признана десятисерийная телеэкранизация «Идиота» (2003) В. Бортко. Характерно, что едва ли не самым значительным приобретением экранизации критика сочла то обстоятельство, что массовый телезритель после появления фильма массовым же порядком обратился к чтению оригинала. Так акцентировался не столько художественный, сколько просветительно-пропагандистский момент проделанной работы. И в этом был свой смысл, — можно было сказать, выражение некоей общественной потребности времени.

Бортко не только получил возможность наиболее полного переноса на экран классического текста, но и не был ограничен идеологическими рамками. Сложилась, кажется, ситуация наибольшего благоприятствования, тем более что в фильме были заняты, без сомнения, выдающиеся актеры. Убедительным выглядел дуэт Е. Миронова (Лев Николаевич Мышкин) и В. Машкова (Парфен Рогожин). Узнаваема (сквозь текст Достоевского) семья Епанчиных, особенно выразительна роль Лизаветы Прокофьевны в исполнении Инны Чуриковой и т.д.

Бортко не боится переносить на экран затяжные монологи и диалоги героев, — во всем чувствуется пиетет перед класси-

¹ Там же. С. 93.

ческим текстом, уважение к нему. Но при этом, на наш взгляд, отсутствует концептуальное диалогическое вмешательство создателей картины в то, что они переносят на экран. В какие-то моменты (пусть довольно частые) фильма игра актеров убеждает в достоверности и важности происходящего на экране. Выразителен, например, эпизод с «сыном Павлищева», особенно если учитывать высокое мастерство Инны Чуриковой (Лизавета Прокофьевна). Но потаенность отношения создателей фильма как людей рубежа XX—XXI веков к тому, о чем говорит Достоевский, к его герою, делает размытой и мировоззренческую концепцию картины в целом. Что нам Мышкин? Что мы ему? Эти вопросы то и дело возникают при просмотре профессионально крепкого фильма и не находят ответа.

Описанная здесь ситуация кажется нам весьма симптоматичной для большинства экранизаций отечественного кино, и ее истоки находятся в опыте советского кинематографа, который приучил кинематографистов ко вполне определенному, идеологически четко обозначенному взгляду на произведения классической русской словесности. Эпоха социализма, оборачиваясь в историческое «вчера», требовала своего неизбежного утверждения в пространстве «самого важнейшего из искусств» на фоне, по определению, несовершенного прошлого. Так на экране возникал революционер Рудин или революционер Базаров, демократ, плоть от плоти страдающего народа; так «Анна Каренина» превращалась в гимн женщине, освободившейся от уз ханжеского общества эксплуататоров народа, а князь Лев Николаевич Мышкин, увиденный взором советского режиссера-атеиста, оптимистически смотрел в будущее, поскольку был твердо уверен, что авторы картины, в отличие от Достоевского, не вернут его в руки докторов в далекую и чужую Швейцарию.

Инерция советского кинематографа в толковании классики дает себя знать и в постсоветское время, когда большинство кинематографистов, за очень редким исключением, оказываются не готовыми к продуктивному мировоззренческому диалогу культуры XIX века и современности. Фильм В. Бортко и был совершенно точно ориентирован как киноиллюстрация к известному классическому роману¹. Здесь довольно подробно просле-

¹ Впрочем, фильм, кроме специальных наград «Золотой орел» и ТЭФИ, получил премию А. И. Солженицына «за вдохновенное кинопрочтение романа Достоевского "Идиот", вызвавшее народный отклик и воссоединившее современного читателя с русской классической литературой в ее нравственном служении».

живалась фабульная цепочка событий, крупные и менее крупные актеры добросовестно выполняли поставленную режиссером задачу. В итоге появился еще один крепко сбитый фильм, напомнивший зрителю о существовании в русской литературе «идеологического» (М. Бахтин) романа Достоевского. Отработанная В. Бортко манера актуализовать в своих картинах публицистическую сторону, овнешняя фабульный динамизм, минуя сложность психологических и философских построений, отразилась с особенной отчетливостью в экранизации Достоевского, а затем и «мистического романа» М.А. Булгакова. Философско-религиозная сторона вещей, их мистико-мифологическая сторона, сопротивление, как выражался М. Бахтин применительно к романной прозе Достоевского, «идеологических» голосов — все это ушло с экрана, возникая лишь пунктиром, как, например, монолог Мышкина (Евгений Миронов) о смертной казни.

* * *

Комментарий к холодному, внутренне не заинтересованному обращению к классике современных экранизаторов прозвучал неожиданно и в фильме Романа Качанова «Даун-хаус» — пародийном прочтении романа Достоевского. Надо думать, это — своеобразный отклик молодого поколения кинематографистов на место, которое классическая литература занимает в современном национальном мировидении наших соотечественников. Фильм заимствует фабулу романа и переводит ее в план современной криминальной ситуации, какой она то и дело возникает в довольно пошлых отечественных сериалах. Герои фильма говорят на соответствующем жаргоне и представляют собой группу клоунов, разыгрывающую фабулу «Идиота» в духе черной комедии, когда, например, в финале фильма Мышкин (Ф. Бондарчук) и Рогожин (И. Охлобыстин) со вкусом поедают свежеприготовленную плоть только что погубленной Парфеном Настасьи Филипповны.

Нельзя сказать, что фильм Качанова представляет собой приятное для глаза зрелище, но он, как нам кажется, указывает на одну важную характеристику современного отношения к классическому литературному слову человека XXI века, а именно нашего соотечественника, живущего в стране, в которой, по известному выражению известного советского стихотворца, поэт всегда был больше, чем поэт. Фильм этот делает совершенно очевидной ситуацию, в которой литературный, вообще художе-

ственный сюжет о втором пришествии ценностей классического XIX века утрачивает свою актуальность в современной России, что касается не только Льва Николаевича Мышкина.

Слово классической литературы перестает быть внятным для россиянина и может восприниматься не иначе, как в акцентированном пародийном прочтении, будто произносимое толпой кретинов. Так что ни о какой встрече в продуктивном диалоге сознаний разных эпох и речи быть не может. То, что возникает на экране в картине Качанова, никак не может быть названо выражением личностного мировидения, а скорее является, может быть, и неумышленной (поскольку авторы рассчитывали лишь на элементарное зубоскальство) констатацией убожества, до которого дожил на рубеже веков наш соотечественник, оставивший за плечами все прелести советского образа жизни.

Высокое слово литературной классики изжило себя в пространстве отечественной культуры советского и постсоветского времени, поскольку перестало играть роль слова вопрошающего, на которое обязательно должен прозвучать ответ современника, который, как предполагается в этом случае, тоже должен обладать способностью прибегать к прямой, лично окрашенной речи. В речи ушедшей эпохи вопрос, может быть, и живет, но отсутствует ухо, способное его услышать, и уста, готовые на него ответить.

Это обстоятельство проглядывает не только в «черной» клоунаде по роману Достоевского «Идиот», но и в добросовестном сериале В. Бортко. Проглядывает как раз в той добросовестности, с какой произносятся хорошо подготовленными актерами развернутые монологи из романа. Эти монологи остаются только монологами, которые в самом фильме не находят возможности обернуться репликой в диалоге с заинтересованными авторами экранизации, поскольку авторы здесь только профессионально грамотные ремесленники, хотя и это, прямо скажем, тоже немало.

В этом смысле картина И. Пырьева, при всей ее мировоззренческой ограниченности, представляется нам все-таки более живой, чем работа В. Бортко, поскольку темперамент Ивана Александровича не позволяет ему ограничиваться простой иллюстрацией к роману. Он расположен спорить с Достоевским, хотя и всего лишь на том уровне, который он воспринял от идеологии первой в мире Страны Советов.

Глава 13

«НОВЫЕ ЛЮДИ» «РУССКОЙ ТРАГЕДИИ» И «РУССКОЙ КОМЕДИИ» А.Н. ОСТРОВСКОГО НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЭКРАНЕ

Произведения А.Н. Островского переносятся на экран избирательно, хотя внимание театра к ним в целом не иссякает. Из пьес 1840—1860-х годов наиболее заметными были — в разное время — мало похожие друг на друга экранизации «Грозы» и «Женитьбы Бальзаминова». Фильм по первой пьесе еще в 1934 году снял Владимир Петров, вторую пьесу в 1965 году экранизировал Константин Воинов.

* * *

Мир Островского — это первоначальный «дикий» русский купеческий капитализм, произросший из крестьянства. Сам драматург, происходивший из семьи священника, начинал свою службу в московском совестном суде, занимавшемся в основном, домашними спорами. В суде Островский ведет записи дел, проходя таким образом школу познания драм купеческой жизни. Потом он переходит в коммерческий суд, и его клиентами становятся промышленявшие торговлей крестьяне, городские мещане, купцы, мелкое дворянство.

Признание драматургу принесла комедия «Свои люди — сочтемся!» («Банкрут»), созданная на рубеже 1850-х и впитавшая служебный опыт Островского. Пьеса открывает так называемый первый период творчества драматурга, в то время как «Гроза» (1959) его закрывает.

В произведениях, отражающих дореформенный период жизни России, Островский выступает продолжателем гоголевской традиции — как полагают исследователи, с ее обличительной стороны. В начале первого периода в его пьесах, по сути, отсутствует положительное начало. Пьесы отличает спокойная, внешне беспристрастная манера «физиологических очерков», черты, определившие особенности реализма драматурга: быто-

вая точность в изображении социальной среды, детальная разработка характеров.

После «Бедной невесты» (1851) в творчестве Островского происходит резкий поворот. «Пусть лучше русский человек радуется, видя себя на сцене, чем тоскует. Исправители найдутся и без нас», — писал он М. Погодину. Так в творчестве драматурга появились положительные «маленькие люди», а вслед за тем — и резко конфликтная ситуация между ними и «темным царством», по характеристике Н.А. Добролюбова. Высшая точка развития этой тенденции — в драме «Гроза», овеянной, по выражению А. Блока, дыханием сжигающей страсти.

«Женитьба Бальзаминова» — пьеса второго периода (1860—1875) творчества Островского, отразившего пореформенную эпоху жизни России. В то же время в основе большинства его пьес лежит постоянный конфликт между сильными мира сего и людьми подневольными. Тема «волков и овец» (пьеса с этим названием появилась в 1875 году) продолжает оставаться центральной. Пьесы Островского — это «сцены» или «картины из московской жизни», а иногда «из жизни захолустья». В них рассказывается о существовании мелкого люда, населявшего тогдашние московские окраины: маленьких чиновников, ходатаев и стряпчих, учителей, бегающих по домашним урокам, обедневших купеческих вдов с дочерьми на выданье...

К серии пьес о «маленьких людях» принадлежит и трилогия о Бальзаминове: «Праздничный сон — до обеда» (1857), «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» (1861), «За чем пойдешь, то и найдешь» (1861). Ее автор тоже отнес к жанру «картин из московской жизни».

Драму «Гроза» часто заслоняет привычная со школьных лет формула Н.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве», которая должна указывать на упомянутый выше конфликт «луча света» с «темным царством». Понятно, что конфликтная ситуация пьесы и шире, и глубже, нежели образная, почти афористическая формула критика-демократа, сама статья которого также избыточнее ее названия.

Пьесы Островского, как и его «Гроза», примечательны своим, если можно так выразиться, «голосовым» разнообразием и характерологической точностью «голосов», за которыми ясно угадывается социально-психологическая ситуация их бытия. Можно было бы сказать, что многочисленные и социально разнородные персонажи пьесы говорят с читателями и потенциаль-

ными зрителями от своего, первого лица и поэтому на определенном общественном уровне выражают время.

«Грозу» часто называют «русской трагедией». Таково, например, жанровое определение пьесы у А. Штейна. Трагедийную тему пьесы литературовед обозначает поэтической метафорой: «Гроза прошла над городом Калиновом»¹. Душевное состояние Катерины, читаем далее, таково, что «и гроза, и сумасшедшая бабыня приобретают в ее сознании как бы символическое значение. Реальная гроза становится символическим воплощением грозы, гремящей в душе Катерины, преддверием кары, которая грозит ей за ее преступление. Гроза — это страшное смятение ее души.

Иначе воспринимает грозу Кулигин. Для него гроза — мощное выражение красоты и могущества природы, гроза — благодать, осеняющая людей.

...Гроза — это стихия любви Катерины к Борису, это сила и правда ее покаяния. Это как бы очистительная гроза, которая пронеслась над погрязшим в пороках городом. Городу нужна такая гроза. Одной из картин, нарисованных на стенах разрушенной галереи, была картина литовского разорения, когда погибли и были разрушены многие русские города. Город Калинов. Город Калинов — этот отвернувшийся от правды и человечности город — тоже должна постигнуть кара. Гроза, прогремевшая над городом Калиновом, — гроза, освежающая и предвещающая эту кару, говорящая о том, что есть в русской жизни сила, способная оживить и обновить ее»². Мы будем исходить из того, что «Гроза» — действительно, национальная трагедия, а Катерина — трагедийная героиня.

Трагедия — жанр, в котором изображаются исключительно острые, непримиримые жизненные конфликты исторического масштаба. Они таят в себе катастрофические последствия и чаще всего завершаются гибелью героя.

Герой трагедии — человек, искренне заблуждающийся в начале сюжета в своих отношениях к миру и своих оценках мира. По мере развития сюжета герой прозревает истинное положение вещей. Теперь реальная картина мира явно не совпадает с той, какую герой рисовал в своем сознании и по которой строил свое поведение в жизни. Прозревая, герой совершает ряд катастрофических поступков и даже преступлений, а в итоге гибнет под

¹ Штейн А.Л. Мастер русской драмы. Этюды о творчестве Островского. М.: Советский писатель, 1973. С. 136.

² Там же. С. 156—157.

грузом вопросов, ответственности и трагедийной вины, свалившихся на него, на его совесть.

Трагедия рождает в сердцах зрителей сильный душевный подъем (катарсис), сложные чувства сопереживания происходящему на сцене, в котором переплетаются страх за героя, сострадание к нему и восприятие трагического зрелища как чего-то возвышенного и облагораживающего душу.

Классическая трагедия Шекспира, например, сфокусировала в себе конфликт на границе уходящего в историческое прошлое Средневековья и нарождающегося Нового времени. Сама граница — эпоха Возрождения, эпоха трагедийных сломов. Герой шекспировской трагедии — возрожденческий герой, стоящий на границе времен, то есть в прошлом и наступающем и уже заявившем о себе будущем. Отсюда и его заблуждения, и его прозрения — его трагедийная вина.

В «Грозе» очевидна гибель героического начала, связанная с противостоянием двух больших временных периодов русской истории. Рубеж здесь — конец 1850-х — начало 1860-х годов. Позади у России остается феодально-патриархальное прошлое, крепостное право, авторитет старшего. В прошлое трудно и медленно уходят устоявшиеся нормы семейного бытия, пренебрегающие как естественными, так и личностными порывами человеческой природы. Впереди — нарождающаяся эпоха буржуазно-капиталистических отношений, сложно прививающихся на национальной почве, — связанные с этим ростки индивидуального самостояния человека, пробуждающегося права выбора жизненного пути.

Конфликтная ситуация «Грозы» легко прочитывается и как столкновение поколений отцов и детей. Старшее поколение чувствует распад сложившегося национального дома, все более давит на молодых, ограничивая их самостоятельность, стараясь удержать дом от катастрофической разрухи. По Добролюбову, «самодуры русской жизни начинают.. ощущать какое-то недомольство и страх, сами не зная перед чем и почему. ... Они ожесточенно ищут своего врага, готовы напустить на самого невинного... но нет ни врага, ни виновного...: закон времени, закон природы и истории берет свое... есть сила выше их, которой они одолеть не могут...»¹. Поколение детей, так или иначе, протестует в индивидуально доступной форме и склонно покинуть стены рушащегося дома.

¹ Добролюбов Н.А. Собр. соч.: В 3 т. Том 3. М.: ГИХЛ, 1952. С. 187

В пьесе возникают образы почти подсознательного страха, ощущения конца времен, Страшного суда и т.п. В начале второго, а потом третьего акта странница Феклуша рисует в беседе с молодой служанкой в доме Кабановой, а затем и в разговоре с самой хозяйкой вполне апокалиптическую картину конца времен, причем Калинов кажется страннице пока что растворенным раем. А вот в Москве... «Ведь это суета!.. ... Бегают народ взад да вперед неизвестно зачем... Ему представляется-то, что он за делом бежит; торопится, бедный. Людей не узнает, ему мерщится, что его манит некто; а придет на место-то, ан пусто, нет ничего. Мечта одна. И пойдет в тоске... Суета-то ведь она вроде туману бывает. Вот у вас в этакой прекрасный вечер редко кто и за ворота-то выйдет посидеть; а в Москве-то теперь гульбища да игрища, а по улицам индо грохот идет. Стон стоит. Да чего... огненного змия стали запрягать: все, видишь, для-ради скорости... Уж и время-то стало в умаление приходиться...»¹

Молодая служанка Глаша и Кабанова по-разному реагируют на речи странницы. Глашу далекие чужие земли увлекают, хочется в них побывать: «А то мы тут сидим, ничего не знаем». Марфу Игнатьевну — настораживают и пугают: «Нам бы только не дожить до этого».

Эсхатологические картины Феклуши можно, конечно, воспринимать как пародийный знак невежества. Для этого есть основания в самой пьесе, и режиссер Владимир Петров так и трактует реплики этого персонажа в своем фильме. Однако хочется напомнить, каким образ железной дороги и «огненного змия», на которого отказывается садиться Кабанова, предстает в русской литературе XIX и даже XX века — от Некрасова и до Блока через Л.Н. Толстого. В нем действительно видны черты эсхатологического мифа. Вероятно, смена времен, отраженная в «Грозе», отложилась в национальном сознании как явление катастрофическое и так переживалась вплоть до рубежа XIX—XX веков, когда прозвучала реплика старика Фирса о нежданно нагрянувшей на них «беды», исполненная ужаса в связи с отменной крепостного права.

Приведем еще один пример реакции на время — в лирике А. Фета, правда относящийся уже к концу 1870-х годов, но все равно вполне неожиданный для этого поэта, а потому и пока-

¹ *Островский А.Н.* Полн. собр. соч.: В 12 т. Т. 2. Пьесы (1856—1866). М.: Искусство, 1974. С. 236, 237.

зательный. Стихотворение называется «Никогда»¹ и начинается восстанием лирического героя после гробового сна. Ему открывается картина едва ли не атомной зимы.

... Как ярок этот зимний свет
Во входе склепа! Можно ль сомневаться? —
Я вижу снег. На склепе двери нет.
Пора домой. Вот дома изумятся!..

Бегу. Сугробы. Мертвый лес торчит
Недвижными ветвями в глубь эфира,
Но ни следов, ни звуков. Все молчит,
Как в царстве смерти сказочного мира.
А вот и дом. В каком он разрушены!
И руки опустились в изумлены.

Селенье спит под снежной пеленой,
Тропинки нет по всей степи раздольной.
Да, так и есть: над дальнею горой
Узнал я церковь с ветхой колокольной.
Как мерзлый путник в снеговой пыли,
Она торчит в безоблачной дали.

Ни зимних птиц, ни мошек на снегу.
Все понял я: земля давно остыла
И вымерла. Кому же берегу
В груди дыханье? Для кого могила
Меня вернула? И мое сознание
С чем связано? И в чем его призвание?

Куда идти, где некого обнять, —
Там, где в пространстве затерялось время?
Вернись же, смерть, поторопись принять
Последней жизни роковое бремя,
А ты, застывший труп земли, лети,
Неся мой труп по вечному пути.

К разряду тех же «эсхатологических» образов относится и странная барыня, пророчащая кару Господню Катерине.

¹Фет А. Стихотворения. Проза. Письма. М.: Советская Россия, 1988. С. 101—102.

и сама Катерина в своей подкорке живет страхом будущей кары, хотя, казалось бы, ей чего страшится.

Страхом объята и Кабанова, и Дикой.

«Кабанова: "Хорошо еще, у кого в доме старшие есть, ими дом-то и держится, пока живы... .. так-то вот старина-то и выводится. В другой дом и взойти-то не хочется. А и взойдешь да вон скорее. А и взойдешь-то, так плюнешь да вон скорее. Что будет, как старики перемрут, как будет свет стоять, уж и не знаю"»¹.

Дикой домой не хочет, потому что у него там «война идет», которой он сам причина, но взрывы-то его горячей природы почти необъяснимы, выражение безотчетного сопротивления чему-то, чему он и сам не знает. Все новое поколение отщепляется от старого дома, и каждый в этом поколении по-своему дому противостоит. Робяя, — Тихон Кабанов и Борис Григорьевич. Правда, Тихон на стороне дает себе освободиться от страха перед маменькой. Он хорошо понимает, что происходит в доме, не готовый даже к глухому протесту, он покорно склонил голову перед катастрофой: «... все наше семейство теперь врозь расшиблось. Не то что родные, а точно вороги друг другу...».

Покорен, а скорее, безволен и Борис. Он не столько уходит из этого дома, сколько передвигается с места на место в замкнутом пространстве. Варвара и конторщик Кудряш — прагматики нового поколения, строят свои отношения со старшими на рациональном обмене и, пожалуй, никакого страха не испытывают. Их уход из дома лишен и намека на трагичность: «А что за охота сохнуть-то! Хоть умирай с тоски, пожалеют, что ль, тебя! Как же, дожидайся. Так какая же неволя себя мучить-то...» Они готовы как к обману, так и к компромиссу. Им все равно, где жить. Как ни странно звучит, но в своем бесстрашии они близки ученому — самоучке Кулигину, своеобразному представителю авторской идеи в пьесе.

Что же касается Катерины, то как раз в ней и заложен ступок конфликтности, как бы фокус всех начал и концов пьесы. Она — яркое выражение протеста, неприятия наличного своего состояния. Какова природа ее бунта?

Внесценичное прошлое Катерины — эпическое равновесие наивного единства с миром, пронизанное светом прямого контакта с Богом и природой. «... Я жила, ни об чем не тужила, точка птичка на воле...» — сообщает она. Ей Варвара возражает: "Да

¹ *Островский А.Н.* Пьесы. М.: ОЛМА — ПРЕСС Образование, 2003. С. 308.

ведь и у нас то же самое". Катерина не соглашается: "Да здесь все как будто из-под неволи..."

Между временем ее девичества и временем супружества — пропасть. То, что ранее переживалось как воля, теперь — неволя. И сама Катерина не может дать себе отчет в том — что, собственно, произошло. «И до смерти я любила в церковь ходить! Точно, бывало, я в рай войду, и не вижу никого, и время не помню, и не слышу, когда служба кончится. Точно, как все это в одну секунду было... а то, бывало, девушка, ночью встану, — у нас тоже везде лампадки горели, — да где-нибудь в уголке и молюсь до утра. Или рано утром в сад уйду, еще только солнышко восходит, упаду на колена, молюсь и плачу, и сама не знаю, о чем молюсь и о чем плачу; так меня и найдут... а какие сны мне снились... какие сны! Или хоромы золотые, или сады какие-то необыкновенные, и все поют невидимые голоса, и кипарисом пахнет. И горы и деревья будто не такие как обыкновенно, а как все на образах... а то будто я летаю, так и летаю по воздуху...»¹

Это состояние до замужества. «И теперь иногда снится, да редко. Да и не то». Что же? Катерина трудно объясняет свое состояние, в котором и сама еще не разобралась. Но становится ясно: в ней проснулась женская природа, которая просится из неволи на волю. Для Катерины это и душевная, и телесная дисгармония — катастрофа, преддверие гибели. На вопрос Варвары она отвечает, что умрет скоро, потому что с ней «что-то недоброе делается, чудо какое-то». «Никогда со мной этого не было. Что-то во мне такое необыкновенное. Точно я снова жить начинаю, или... уж не знаю... Такой на меня страх, такой-то на меня страх! Точно я стою перед пропастью, и меня кто-то туда толкает, а удержаться мне не за что... Ночью... не спится мне. Все мерещится шепот какой-то: кто-то так ласково говорит со мной, точно голубит меня, точно голубь воркует. Уж не снятся мне... как прежде, райские деревья да горы; а точно меня кто-то обнимает так горячо-горячо, и ведет меня куда-то, и я иду за ним, иду...»² Говоря словами Пушкина, «пришла пора, она влюбилась». Но Татьяна влюбилась девушкой, а Катерина замужней женщиной и не в мужа, за которого ее отдали по правилам ее же мира, то есть неволей. И это она сознала, когда в ней проснулась женщина, природа и потребовала свое.

¹ *Островский А.Н.* Полн. собр. соч.: В 12 т. Т. 2. Пьесы (1856—1866). — М.: Искусство, 1974. С. 221—222.

² Там же. С. 222.

Бытовая коллизия в художественном мире Островского перерастает в коллизию едва ли не глобальную, во всяком случае социально-историческую. Одновременно с пробуждением любви в Катерине в ней проклевывается и личностное начало. Она не может смирить в себе стихии страсти, влекущей ее к Борису, который играет здесь роль своеобразного Онегина, то есть чужака, не совпадающего с замкнутым миром Калинова, здесь говорит в ней пробуждающаяся жизнь личности, новая жизнь. Но она и страсти своей отдаться не может, как Варвара не сопротивляется своим влечениям, потому что слишком прочно связана с прошлым в силу своей почти фанатической религиозности.

Кроме всего прочего, Катерина еще и натура художественная, с чрезвычайно развитым воображением. Уходящий мир ее синкретной слитности со средой, искаженный до уродства в пространстве Калинова, цепко держит Катерину. Держит он, впрочем, и Тихона, и Бориса. Но они не способны к активному противостоянию. А вот Катерина способна.

Варвара на бытовом уровне вполне здраво объясняет ситуацию: «Молоду тебя замуж-то отдали, погулять-то тебе в девках не пришлось: вот у тебя сердце-то и не уходило еще». Но отнюдь не в рамках привычного быта чувствует себя Катерина: «И никогда не уходится... Такая уж я зародилась горячая! Я еще лет шести была, не больше, так что сделала! Обидели меня чем-то дома, а дело к вечеру, уж темно; а я выбежала на Волгу, села в лодку да и отпихнула ее от берега. На другое утро уж нашли верст за десять!»¹

Каково существо этой «горячности»? Оно сродни неумности «самодура» Дикого — ведь и у него «горячее сердце». Сказывается стихийная натура персонажей. В них говорит естественное, природное, не смиренное жесткими правилами социума.

Конфликт Катерины с миром усугубляется тем, что в ней с удесятеренной силой говорит женская природа, жаждущая любви и плодоношения, что как раз в браке, предусмотренном этой средой, невозможно. Вот Катерина после отъезда Тихона: «... ах, какая скука! Хоть бы дети чьи-нибудь! Эко горе! Деток-то у меня нет; все бы я сидела с ними да забавляла их. Люблю очень с детьми разговаривать, — ангелы ведь это...»²

¹ Там же. С. 227.

² Там же. С. 234.

Сила образа, созданного Островским, в том, что груз катастрофических социально-исторических превращений он возложил на плечи страстной, с воображением женщины, по сути, заставив саму натуру переживать сломы в человеческой истории. Отсюда — и символика грозы. Это ведь не только, а может быть, и не столько Бог грозит согрешившим, сколько стихия женской природы прорывается в Катерине наружу и готова обрушиться на Калинов, лишенный способности плодоносить и отгородившийся и от природы, и от Волги.

В истории жанра трагедии образ Катерины уникален, поскольку это именно женский образ. В нем говорит национальная специфика пьесы, как, впрочем, и в целом драматургии Островского. В дальнейшем, в наиболее крупных пьесах третьего периода (напр., «Последняя жертва», 1877; «Бесприданница», 1878; «Таланты и поклонники», 1881; «Без вины виноватые», 1883 и др.) в центре сюжета находится драматическая судьба женщины, испытывающей на себе давление нового времени, времени становления русского капитализма. Такое развитие получает образ, едва ли не впервые заявленный в «Грозе».

Если иметь в виду вопрос, какое место в русской классической литературе занимает женщина как мерило притязаний героя, высоты или, напротив, низости, его духовных (бездуховных) устремлений, то женский образ в его развитии в драмах Островского есть своеобразный символ России, ее судеб в национальной истории второй половины XIX века. «Решительный, цельный русский характер, — пишет Добролюбов, — является у Островского в женском типе, и это не лишено своего серьезного значения», поскольку «самый сильный протест бывает тот, который поднимается... из груди самых слабых и терпеливых. Поприще, на котором Островский... показывает нам русскую жизнь... ограничивается семейством; в семействе же кто более всего выдерживает на себе весь гнет самодурства, как не женщина... Она должна иметь много силы характера уже и для того, чтобы заявить свое недовольство, свои требования... Должна быть исполнена героического самоотвержения...». Отметим, что, по существу, Добролюбов говорит о формировании трагедийного характера в пьесах Островского и связывает его с «естественными стремлениями человеческой природы», которые «совсем уничтожить нельзя». «...Горжество ложных положений показывает только, до какой степени может доходить упругость человеческой природы...» Женщине, а вернее сказать, женской природе

«уже невозможно дольше выдерживать свое унижение, вот она и рвется из него уже не по соображению того, что лучше и что хуже, а только по инстинктивному стремлению к тому, что выносимо и возможно. Natura заменяет здесь и соображения рассудка, и требования чувства и воображения: все это сливается в общем чувстве организма, требующего себе воздуха, пищи, свободы...»¹

«Самодурной силе» сопротивляется естественное предназначение женщины быть супругой и матерью, с которым теперь слилось и духовное «Я» Катерины. Добролюбов специально подчеркивает известную ограниченность героини, которая, «не зная иного поприща, кроме семьи... начинает сознавать из всех человеческих стремлений то, которое всего неизбежнее и всего ближе к ней, — стремление любви и преданности»².

«В положении Катерины мы видим, что... все «идеи», внушенные ей с детства, все принципы окружающей среды — встают против ее естественных стремлений и поступков... Она решила умереть, но ее страшит мысль, что это грех... Ей хотелось бы пользоваться жизнью и любовью; но она знает, что это преступление... Ни на кого она не жалуется, никого не винит... напротив, она перед всеми виновата... мы видим, что Катерина — не убила в себе человеческую природу и что она находится только внешним образом... под гнетом самодурной жизни; внутренне же, сердцем... сознает всю ее нелепость...»³

Природное начало в Катерине — пружина, не вынесшая непрекращающегося на нее давления человеческой среды. Пружина распрямилась, произведя катастрофические разрушения и в самой героине, и вокруг. Но и сама эта среда находится в состоянии превращений, где во взаимопереплетении живут ценности разных уровней и разной значимости для человеческой индивидуальности. Ценности эти становятся в оппозицию друг к другу как раз потому, что проходит процесс их исторической ревизии. Катерина неизбежно должна пережить катастрофу своей трагедийной вины, прежде всего, перед собственной совестью, то есть перед Богом в себе. Противоречие между социумом и природой в этих условиях становится трагедийно неразрешимым без жертвы, которую должна принести на алтарь новых общественных взаимоотношений именно женщина.

¹ Добролюбов Н.А. Собр. соч. Т. 3. С. 198, 200.

² Там же, с. 204.

³ Там же. С. 211, 215, 216.

* * *

Снятый по «Грозе» фильм Владимира Петрова самим режиссером определен как «бытовая драма», отстраняясь, таким образом, от трагедийной коллизии. Он и начинается эпизодом, вполне соответствующим жанру. Не сценой в общественном саду «на высоком берегу Волги», задающей эпико-трагедийный простор вещи, а свадьбой в давящих интерьерах «темного царства».

Свадьба Тихона Кабанова и Катерины — эпизод довольно протяженный, может быть, избыточно протяженный. Но в нем режиссер Петров и оператор В. Гарданов во всей полноте своих представлений о «темном царстве» изображают его в совершенно гротесковой манере, скорее близкой Салтыкову-Щедрину, чем Островскому или даже Гоголю.

Опираясь на опыт кинематографа 1920-х годов, на его аттракционные изобразительность и монтаж, на выразительные крупные планы, авторы картины рисуют не столько «темное», сколько животное царство. Здесь правят бал самые низменные инстинкты. Такой и видится, вероятно, купеческая Русь середины XIX столетия из 1930-х годов, из времени активного становления социалистического государства. Потные жирные тела, искаженные ором и хохотом пьяные физиономии мужчин и женщин, замкнутые пространства с низкими потолками, — не жилища, а скорее, норы. Собственно, лица и глаза разглядеть почти невозможно — завешены бородами или заплыли жиром.

Даже центральные персонажи — Дикой (мхатовец М.Тарханов) и Кабанова (В. Массалитинова) — ограничены в репликах. Им вполне достает внешней фактурности, для того чтобы представить своих героев. Варвара Массалитинова, по существу, переносит в «Грозу» свою Простакову из экранизации фонвизинского «Недоросля» — «Господа Скотинины» (1927).

Тихон в исполнении Ивана Чувелева несколько более разнообразен, но авторы вводят в картину довольно большую сцену его забав на стороне (с цыганами, гулящими девками и проч.), отсутствующую у Островского, которая превращает персонажа в изошренного развратника, в то время как в пьесе это человек, не лишенный способности переживать, на своем уровне довольно глубоко чувствовать драму семейства и положение Катерины. Ведь именно ему принадлежит финальная реплика драмы Островского: «Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался на свете жить да мучиться!»

Снижена, низведена до животного, скотского уровня и Варвара в фильме Петрова — ее роль исполняет Ирина Зарубина. Вальняжная, какая-то вся лоснящаяся от избытка телесности девка, почти в клоунском наряде, занятая исключительно потреблением пищи, сном да забавами с Кудряшом. Она вряд ли могла быть confidentкой Катерины. в пьесе эта девушка достаточно умна или уж, во всяком случае, хитра; она себе на уме, мечтает покинуть дом Кабановой и устроить свою жизнь по собственным, пожалуй, весьма рациональным меркам.

Трагедийного столкновения времен, конфликта «отцов и детей», какой есть у Островского, здесь нет и в помине. В фильме наличествуют две противостоящие силы: с одной стороны, единое в своем животном, низменном существовании «темное царство», представляющее собой гомогенную избыточную плоть, в которой трудно различить индивидуальности и где выделяется, пожалуй, только Кудряш в исполнении М. Жарова.

Главный мотив многих киноролей этого артиста — природное, почти животное ощущение радости бытия даже тогда, когда Жаров играет таких несимпатичных персонажей, как Жиган в «Путевке в жизнь». И в «Грозе» Петрова, как и позднее в роли Артынова в «Анне на шее» (по Чехову) И. Аннинского, крен делается им в сторону веселого карнавального цинизма, несмотря ни на что вовлекающего зрителя в пространство праздника, творимого Кудряшом-Жаровым как бы для самого себя, «гуляющего по кладби-би-би-шам завсегда». Избыток натурального веселья в этом персонаже как бы сопротивляется режиссерской концепции, выделяя его из общей довольно мрачной массы персонажей.

Катерина, какой ее играет в фильме Алла Тарасова, — светлый, почти воздушный при всей тяжеловатости фигуры актрисы облик. Здесь даже подозрительная с точки зрения советского образа жизни религиозность героини вовсе не явно критически окрашивается, а подается как-то исподволь.

Переосмысляя Островского, который, по убеждению Аполлона Григорьева, никогда не был обличителем, авторы фильма убирают из своего сюжета и весьма важную для пьесы фигуру, некий авторский (для драматурга) рупор — часовщика-самоучку Кулигина, отыскивающего перпетуум-мобиле, отчего купеческий быт в картине становится еще более закупоренным, равно как и еще более одиноким и безысходным становится существование Катерины. Это мир настолько живоотно равнодушен к ней и не способен откликнуться на событие ее гибели, что вряд ли воз-

можно говорить о катастрофе свалившейся на него, — о «грозе, которая прошла над Калиновом». Собственно и сам образ грозы не играет здесь уже такой роли, как в пьесе Островского. Вся символика пьесы пригашена (нет здесь и сумасшедшей барыни), сюжет вполне однозначно решен как обличение купеческого быта середины XIX столетия, поданного с точки зрения официальной идеологии отечественного социализма 1930-х годов.

В киноведческой литературе советского периода такая трактовка пьесы оценивалась в целом положительно. «Фильм начинался со свадьбы, — читаем мы в киноведческом труде по вопросам экранизации. — Зритель увидел на экране события давно прошедшего времени, перед ним получили прямое воплощение истоки той драмы, которые во многом определили дальнейшие события.

Из пьесы мы лишь по монологам знаем, что замужество не принесло счастья Катерине. В фильме же прямо показано, какие грубые нравы и обычаи унизили и оскорбили Катерину уже в день свадьбы. Они наложили свой отпечаток и на последующие годы ее супружеской жизни...

...Полное и развернутое изображение быта при экранизации «Грозы» есть одно из достоинств фильма. В каждом бытовом эпизоде чувствуется идейная целеустремленность, развитие темы «темного царства»... Влияние социальной среды на судьбу героев драмы раскрыто с предельной конкретностью и наглядностью...»¹

Авторы вышедшей уже в 1970-е годы «Истории советского кино» подчеркивают «подлинную цельность всех компонентов и выразительность средств» фильма В. Петрова, достигнутую как раз выпрямлением конфликта пьесы Островского. «Образ Катерины один уравнивал всю тяжесть "темного царства", неожиданно увеличенную образами Тихона, Варвары и Кудряша. Фигура механика Кулигина... была сплющена натиском двух главных противоборствующих сил и отброшена. В одной из статей Кулигин был назван "великим утешителем". Такие люди не интересовали В. Петрова. Он видел прошлое в ином ракурсе — более жестком и без иллюзий...»² Здесь же находим положительную оценку изобразительно-выразительных средств, использованных при решении указанного конфликта, что со-

¹ Фрадкин Л. З. Второе рождение. Некоторые вопросы экранизации. М.: Искусство, 1967. С. 81, 82.

² История советского кино. 1917—1967: В 4 т. Т. 2. 1931-1941. М.: Искусство, 1971. С. 98.

вершенно справедливо. Изобразительная сторона картины делает ее заметным явлением в истории отечественного кино.

Авторы статьи останавливаются на характеристике нескольких сцен, отсутствующих у Островского или только намеченных им в ремарках. Эти сцены делают картину купеческого быта все более подробной и натуралистичной, тяжело напластовывая образ на образ. Например, в сцене «гостиного двора» зритель может наблюдать соло Михаила Жарова, Кудряш которого, «ловкий исследователь методов хищнического ведения торговли», обманывает своего хозяина, сам готовясь стать хозяином. «Без единого слова развертывалось шествие купцов над Волгой — одна из самых известных сцен фильма. Запрокинутые животы и подбородки, отделенные кромкой кадра от ног тучные фигуры двигались монументальной каруселью. Жанровая зарисовка... вырастала в образ прошлого...»¹

Достоинство «Грозы» В. Петрова и В. Гарданова видели в специфически кинематографическом прочтении текста Островского, в уходе от театральности, часто присущей экранизациям. С этой точки зрения примечательно, какое воплощение в фильме нашел образ природы, очень важный для пьесы, приобретающий в ней образно-символическое звучание, поскольку природа здесь есть выражение мятущейся природы героини. Появление в первой же ремарке пьесы Волги и простора за ней предоставляло будущему киноинтерпретатору «Грозы» возможность столкнуть душную декорацию мира «темного царства» с вольной естественностью природы, обозначить и этот конфликт.

Перед съемкой «Бесприданницы» (1936), по пьесе того же Островского, но уже третьего периода, Яков Протазанов писал: «... раньше всего должны были рухнуть театральные кулисы и вся вообще форма речевого театра. Так значительная часть диалога из речевого материала обратилась в материал пластический. Так явились не только новые места действия, но и ряд новых сцен, вещей, деталей и пр. Действие, оставаясь в общем русле замыслов Островского, пошло новым течением — кинематографическим»².

Кажется, в том же направлении происходило преобразование драматического материала и под рукой В. Петрова. Но режиссер слишком увлекся разоблачением «темного царства», доводя его

¹ Там же. С. 100.

² Цит. по: *Арлазоров М. Протазанов. М.: Искусство, 1973. С. 232.*

образ до сатирического гротеска, как бы выдавливая из текста пьесы массой этого образа всю ее символику, которая, прежде всего, связана с рвущейся на волю протестующей природной стихией как в самой Катерине, так и вне ее. Поэтому невнятным становится образный смысл самого названия пьесы, которое и отсылает нас как раз к природным стихиям, как к ним же отсылает и символика Волги.

Нужно отметить при этом, что режиссер не забыл о природном пространстве, о его конфликтном столкновении с тяжелыми, мрачными интерьерами обитания представителей «темного царства». В фильме гремит гром, возникает то и дело небо, покрытое тучами, сама Волга с лунной по ней дорожкой. Но в той сюжетно-смысловой конструкции, которую предлагает нам режиссер, это пространство утрачивает часть своей образной силы.

Мы уже говорили, что образ Катерины в исполнении А. Тарасовой слишком очевидно конфликтен по отношению к «темному царству» и в чисто изобразительном решении. Ее крупные планы, созданные оператором В. Гардановым, приобретают такую меру просветленности, одухотворенности и в то же время решимости, что кажется, героиня напрямую беседует с Богом. Оттого лейтмотивом, сопровождающим этот образ, становится не река, как у Островского, а простор неба над рекой. Оно возникает чаще всего на закате с потухающим оком заходящего солнца или тихой ясной ночью, а то и как грозное. Но в небе этом не столько зовущая воля, сколько, может быть, грозное око Божье.

Нет мотива вольного призыва и в образе реки. Здесь Волга — скорее могила, которую все кому не лень сулят Катерине, включая и ее мужа. Финал фильма безысходнее и, мы бы сказали, натуралистичнее, нежели более многозначный финал пьесы, показывающий, что жертва трагедийной коллизии не только Катерина, но и весь Калинов. В этом смысле гибель Катерины видится, по выражению того же Добролюбова, более отрадней, поскольку за ней — несмирность человеческой индивидуальности перед обрушившимся на ее плечи историческим роком.

Эта экранизация демонстрирует в очередной раз, насколько своевластно прерывает продуктивный диалог с классиком вульгарный классовый подход к решению коллизий, воспроизведенных литературой XIX века. Беда в том, что из поля зрения даже в талантливых экранизациях уходят вещи, без которых классическое произведение перестает быть тем, чем оно было заявлено в самом замысле его создателя.

* * *

В трилогию о Бальзаминове («Картины из московской жизни») входят пьесы «Праздничный сон — до обеда» (1857), «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» (1861) и «За чем пойдешь, то и найдешь» (1861). Все они полностью или частично стали сценарным материалом для фильма Константина Воинова «Женитьба Бальзаминоva» (1965).

Скромная картина Воинова, поставленная на излете «оттепели», на наш взгляд, не только нашла верную интонацию в передаче существа трилогии Островского, но и сумела отразить время, в которое вышла на экран. Фильм получился естественно смешным и на первый взгляд даже каким-то легкомысленным. Особенно если учесть, что главную роль Миши Бальзаминоva сыграл Георгий Вичин, ассоциирующийся в представлении отечественного зрителя с Трусом из буффонных комедий Леонида Гайдая. Продемонстрировали в очередной раз свой комедийный дар и Л. Шагалова (мать Бальзаминоva), Е. Савинова (кухарка Матрена), Л. Смирнова (сваха Красавина), Н. Крючков (купец Неуеденоv), Р. Быков (Лукьян Чебаков), Н. Мордюкова (Домна Белотелова) и другие. Комедия Воинова не боится открытой эксцентрики клоунады, отчасти даже петрушечного театра, «гэгов» в духе ранней комедии и проч. Но при этом в фильме не замутняется и печальная нота, которая к финалу становится все острее и, что самое существенное, соответствует настроению комедийной трилогии Островского.

Когда в финале фильма двое в черном подхватывают расшалившегося Мишу, утаскивают его с городской площади, где он пустился в пляс в кругу нищих, и бросают в коляску к его дебелой невесте Белотеловой, которая тут же дает ему затрепину, — когда это происходит, вас охватывает невесть откуда явившаяся жалость к этому человечку. Он, подобно знаменитой крыловской Стрекозе, отпел и отплясал свое «лето», а теперь для него наступила «зима», о которой он, вероятно, пока что не подозревает. Не на свадебный пир с богатой телесами и деньгами Домной Белотеловой, как кажется самому Бальзаминоvu, отправляют его сейчас, а похоже, на затворничество под зорким оком пышнотелой Домны, где исчезнет всякая пища для привычных Мишиных мечтаний, где не будет родственной заботы и теплоты маменькиной избушки. Завершилась Мишина «оттепель». Наступают другие времена.

Трилогия Островского при всей ее внешней незамысловатости глубоко переосмысляет уже ставшую традиционной к тому времени для отечественной литературы тему «маленького человека», заявленную Пушкиным и Гоголем, а затем подхваченную Достоевским. Гоголевское в пьесах Островского о Бальзаминоме лежит, кажется, на поверхности и проявляется в формуле комедийной интриги: чин, денежный капитал, выгодная женитьба.

Михаил Бальзаминов у Александра Островского очень напоминает одновременно и Хлестакова, и Подколесина, а чем-то, может быть, и Башмачкина. Правда, черты этих персонажей, наследуемые драматургом для своего героя, в нем смягчены, окрашены его мечтательностью и сентиментальностью, которые больше присущи, может быть, уже героям Достоевского, вроде Макара Девушкина из «Бедных людей» (1845) или мечтателя из «Белых ночей» (1848). Однако трилогия появилась полутора десятилетием позднее, и для нее «маленькие люди» — материал для художественной оценки и переоценки наравне с материалом самой действительности.

Итак, гоголевские и «достоевские» характеристики «маленького человека» у Островского переосмыслены и поданы в комедийном ключе. Отметим, что и действие комедийной трилогии разворачивается отнюдь не в «преднамеренном» Петербурге, в котором живет некая фантастическая потусторонность. Бальзаминов проживает в особой, едва ли не изобретенной самим драматургом стране — в Замоскворечье. Это закрытое, почти Берендеево, царство. Глухая сторона, где обитают богатые купчихи-невесты, глуповатые купеческие дочери, сами грубые купцы, чуждые «образованности».

Сам герой трилогии и глуповат, и ничтожен, но эти его качества, как справедливо замечают исследователи творчества Островского, «так велики, что составляют своеобразную величину, правда, со знаком минус». Бальзаминов наследует традиции сказочного Иванушки-дурачка или персонажа русского народного театра. Он, как и сказочный герой, находится в упорных, кажется, нескончаемых поисках своей красавицы-царевны. Точнее, даже не красавицы. Ему нужна богатая невеста. На этот счет у «Иванушки» — Бальзаминава есть своя теория, которая реализуется в его удивительных снах. Он и реальность-то, саму по себе достаточно фантастичную у Островского, чаще всего путает со своими снами. Беда только в том, что сны (во всяком случае до поры до времени) не сбываются. Бальзаминов

то и дело терпит крах в своих предприятиях. И в этом смысле он больше напоминает еще не рожденных «маленьких людей» А.П. Чехова. Каждое приключение Бальзаминова заканчивается тем, что его конфузят, оскорбляют, выгоняют. Но он, подобно Ваньке-встаньке, поднимается, отряхивается и начинает свое очередное поползновение на поиски богатой невесты.

Герой Островского уже в самой трилогии превращается в некий фольклорный персонаж, авторского тем не менее происхождения. Справедливо отмечают, что образ этот вырастает из пословиц, — его поступки в пьесах иллюстрируются пословицами, главная из которых — «дуракам счастье» — явно концентрирует в себе и теорию самого Бальзаминова. «Многokrатно битый, собаками травленный, в крапиву прыгавший, Бальзаминов является своеобразным Петрушкой.

Как в театре Петрушек, в каждой из пьес трилогии фигурируют постоянные персонажи, своеобразные маски народной комедии: искатель невест — дурачок Бальзаминов, его рассудительная мамаша, кухарка Матрена. Появляется говорливая продувная сваха Красавина, и завязывается комедийная интрига. Такое начало повторяется трижды. В каждой из трех комедий к постоянным персонажам присоединяются сменяющиеся маски. Начинается очередной эпизод сватовства Бальзаминова. Сюжет комедий Островского основан на отражении нелепости и безалаберности жизни, бестолкового существования замоскворецкой окраины. Именно поэтому сюжетное развитие лишено логики и последовательности, делает комические зигзаги, изобилует случайностями...»¹

Однако не следует забывать, что сказочным персонажем, то есть персонажем высокой степени обобщения, персонажем сказочной «серийности», обязательной воспроизводимости, то есть практически бессмертным, у Островского, безусловно, становится, собственно, национальный герой отечественной классической литературы — «маленький человек». И все те его качества, которые, так или иначе, подвергаются смеховой оценке у Островского — наивность, простодушие, переходящие в непродолимую слепоту, глупость; беспочвенная мечтательность, выключаящая человека из реального поля деятельности, делающая его практически не приспособленным к жизни; надежда на рус-

¹ Штейн А. Критический реализм и русская драма XIX века. М.: ГИХЛ, 1962. С. 245.

ский «авось», незыблемая вера в то, что дуракам в конечном счете обязательно должно повезти, — все эти свойства героя, доведенные в трилогии до сказочной гиперболы, суть качества в полном смысле бессмертно национальные, по Островскому, именно потому, что они приобретают такую степень обобщения в его пьесах. Причем эти качества, конкретизируясь в рамках человеческой индивидуальности, в дальнейшем становлении отечественной литературы не только будут приводить к катастрофе самих героев этого типа, но и станут взрывоопасными для реальности, в которой эти герои обитают. «Малость» «маленького человека» в конце концов станет глубинной миной для национального бытия.

У Островского — не маленький ли человек чиновник Карандышев из «Бесприданницы», обладая личной живучестью, становится убийцей Ларисы Огудаловой? Вспомним Пселдонимова из «Скверного анекдота» Ф. Достоевского или «маленького человека» Смердякова из «Братьев Карамазовых». У Чехова же «маленькие люди» превращаются в «мелюзгу», довольно опасную для окружающего их мира.

В последней части трилогии Островского Бальзаминов, случайно оказавшийся в саду Белотеловой, спасаясь от неминуемого наказания, должен сказать влюбленным, «от любви-с» проникшем в хоромы Домны. Вторая, предпоследняя картина пьесы заканчивается следующим диалогом:

«Белотелова. Он мне понравился. Ты мне его!

Красавина. Ну, а его, так его. Все это в наших руках. Вот у нас теперь и пированье пойдет, — дым коромыслом. А там и вовсе свадьба.

Белотелова. Свадьба долго; а он чтоб и прежде каждый день... ко мне...

Красавина. Стоит об этом толковать. Что ж ему делать-то! Так же бегают. А уж теперь пушай тут с утра до ночи.

Белотелова (смеется). Вот мне теперь гораздо веселей...¹

Так родство образа Бальзаминова с персонажами русского фольклора оборачивается тем, что он, по существу, должен стать игрушкой во вдовьей обители Домны Евсигневны, утратив свою человечность, перестав быть даже «маленьким» человеком.

Последняя картина удерживает сюжет до конца трилогии на грани реальности и сна-сказки, в комическом ключе, конечно. Но при этом подразумеваемая реальность довольно страшна.

¹ *Островский А.Н.* Полн. собр. соч. Т. 2. С. 373—374.

Бальзаминава обсуждает с Матреной очередной сон, по которому должно с Мишей произойти что-то необыкновенное. «Да чему быть-то! Быть-то нечему!» — трезво заявляет кухарка. Ну, как же? Ведь «разные перевороты» могут произойти с человеком, спорит Бальзаминава, «один из богатства в бедность приходит, а другой из бедности в богатство». Матрена почти афористично и опять же трезво опровергает хозяйку: «Не видать что-то этих переворотов-то: богатый богатым так и живет, а бедный, как ни переворачивай его, все бедный».

Является Миша, весь в мечтательном возбуждении. Он, во-первых, повстречался с Белотеловой, а во-вторых, ему предстоит участвовать в похищении сестер Пеженовых, одна из которых, по его мечтательным планам, должна стать его невестой. Причем Миша намерен взять в жены и Белотелову, и Пежену, тем более что они — соседи. Но похищение не удастся. Чебаков увозит Анфису, а Раиса Пеженова прогоняет Бальзаминава. Таким образом двоеженство отпадает.

Тут появляется сваха и рассеивает сомнения Бальзаминовых: Белотелова ждет не дождется жениха и посылает ему в подарок золотые часы покойного супруга. «Ну, что, ожил теперь?» — интересуется она у Миши. «Ожил! Ожил!» — радуется Бальзаминов. Бальзаминов на грани превращений: «Я теперь точно новый человек стал. Маменька, я теперь не Бальзаминов, я кто-нибудь другой!» По логике пьесы Островского, положительные превращения здесь вряд ли возможны, поскольку оживить или очеловечить этот персонаж уже нельзя, как бы ни заканчивался очередной с ним сюжет.

Константин Воинов, вероятно, хорошо чувствует логику комедийного сюжета Островского. Как мы помним, финалом он делает все-таки свадьбу. Бальзаминов в фильме венчается с Белотеловой и пускается в площадной пляс: «На что мне теперь ум? А давеча, маменька, обидно было, — как денег-то нет, да и ума-то нет, говорят. А теперь пускай говорят, что дурак: мне все одно». Но дело здесь даже не в деньгах и не в уме или глупости. В картине Воинова, как мы уже говорили, Бальзаминов лишается той сказочной, карнавальной свободы Иванушки-дурачка, которой он владел до этого и которая у Островского все-таки еще возможна, поскольку в финале третьей части трилогии нет такой жирной точки, какая есть в завершении фильма.

Наблюдая порхание белобрысого, завитого в мелкие кудряшки глупенького и сентиментального Бальзаминава-Вицина,

проникая в его простодушные, на манер русских сказок или анекдотов, фантазии, зритель, так или иначе, сочувствовал герою, во всяком случае не собирався, как и авторы фильма, сатирически клеймить и разоблачать его или затравить до смерти собаками, или заставить погибнуть под дубьем братьев Пеженовых. Зритель готов был наблюдать за этим порханием бесконечно, в глубине души понимая, что если Бальзаминов достигнет цели, то есть найдет себе богатую невесту, то его веселье, хоть иногда и опасные, странствия прекратятся.

Так и случилось. Бальзаминов пускается в свой последний пляс нищих, а далее — свадебная коляска Белотеловой, скорее напоминающая катафалк. Карнавальная «оттепель» Бальзаминова прекращается одновременно с прекращением его странствий.

Когда мы говорим, что в комедии К. Воинова откликнулась середина 1960-х — окончание хрущевской «оттепели», то имеем в виду не только этот фильм (в ряду экранизаций этого периода), но и другие. У того же Воинова мы находим экранизацию «Дядюшкиного сна» (по Ф.М. Достоевскому, 1967). А через десятилетие — «Рудина» (по И.С.Тургеневу). Трезво-печальный, исполненный иронии финал первого произведения говорит сам за себя. Что касается экранизации романа Тургенева, то нам уже приходилось упоминать о тех акцентах, которые расставляет в этой картине Воинов, когда говорит о крахе идеолога Рудина в исполнении О. Ефремова, одного из художественных лидеров шестидесятничества.

К тому, что происходит с Бальзаминовым в конце фильма, применима уже другая формула, других исследователей творчества драматурга, чем та, которая цитировалась выше. «Эпопея об анекдотических похождениях маленького чиновника в поисках богатой невесты начинается как забавный водевиль. Но постепенно водевильный образ Миши Бальзаминова при всем его бытовом правдоподобию расширяется, становится почти фантастическим, поднимаясь на высоту социально-психологического гротеска обобщающей гоголевской силы. Рассказ Бальзаминова о муках, которые он претерпевает в поисках счастья, перестает быть смешным; за ним открывается трагическая бессмыслица мира, одновременно анекдотического и страшного»¹.

¹ *Анекс Б.В.* Островский. Краткая литературная энциклопедия. Т. 5. М., 1968. С. 495.

Заключение

Изложенные размышления о феномене «новых людей» при всей их разнородности, обусловленной прежде всего разнообразием самих рассматриваемых субъектов — личностей и социальных типов, представляют из себя и нечто общее. Во-первых, большинство из них являют собой разнообразные проявления широко вошедшего в русскую словесность типа городского жителя — разночинца прежде всего. Во-вторых, литераторы 40 — 60-х годов обнаружили у этих субъектов черты национального сознания, ранее не замечаемые. Это, прежде всего, склонность не просто к рефлексии, но к рефлексии, зачастую переходящей в солипсизм; намерение и способность доведения отдельных своих желаний и интересов до состояния разрушительной страсти; использование внешних средств и возможностей (то есть не только личностных качеств, но денег и власти) для подчинения себе другого человека (людей) и — иногда — тотального господства над ним. При этом обнаружилось, что наличные общественные «рамки» (принятые в обществе традиции, людские привычки, формы поведения), которые раньше если не вполне удерживали, то все же заставляли личность субъекта-господина с собой как-то считаться, «рамки» эти теперь от «излишеств» (неудержимого распространения разного рода проявлений «я» человека-господина на внешний мир) ничего не удерживают, уничтожаются. В этом смысле явления Анны Карениной (разрушающей привычные «рамки» любовных отношений и материнской любви), Рахметова (сметающего «рамки» общепринятых норм морали, общежития и общения), градоначальника Щедрина (вообще беззастенчиво ставящего все вокруг себя с ног на голову), Раскольников (ради собственной «подпольной» мысли приносящего в жертву чужую жизнь), Катерины (ради свободы своей личности уничтожающей собственную жизнь) и Варравина (для удовлетворения собственной корысти организующего и использующего мощь государственной маши-

Заключение

ны) — все эти явления из одного ряда. Все эти герои, говоря словами Достоевского, «признали за собой право» и оказались способны «переступить».

При этом примечательно, что многие философствующие авторы, значительную часть своего творчества посвятившие изобретению нового «гомункулюса» (Чернышевский и Достоевский, прежде всего), почти не задаются вопросом: «имеет ли право» на такое «возведение в степень» своих личных качеств и желаний этот «новый человек»? Более того, это право молчаливо либо открыто, с обоснованием, признается, а иногда, как у автора «Что делать?», даже провозглашается правом единственно возможным, необходимым и полезным для «прогресса». В этом случае это «право» наиболее радикальной читающей публикой, которой было много в России во второй половине XIX — начале XX века, даже возводится в идеал¹. И тем самым ветхозаветный Адам, а равно и Христос, кажется, навсегда устраняются с подмостков общественной жизни, а их место занимают отчасти фанатично настроенные, отчасти больные, отчасти уголовные, но всегда морально ущербные Веры Павловны, Рахметовы, Раскольниковы, Тарелкины и Варравины. А с ними в российскую действительность широким потоком вливаются и распространяются их духовными родственниками новые, прежде невозможные формы социального бытия.

Забегая несколько вперед, выскажу предположение: то, что начало происходить со страной со времени второй (февраля 1917 года) революции и Октябрьского переворота, в немалой степени — идейно — готовилось именно фантазиями «изобретателей» разного рода «новых» и «подпольных» людей. Разрушительная активность низовых российских масс, с наслаждением громивших отечественное «сегодня», никогда бы не вышла за пределы очередного «стенкиразинского» бунта, если бы не руководилась повелениями, исходящими от литературно и философски обработанных мозгов разночинных российских «верхов» с их идеей светлого «завтра».

¹ В этом смысле — от студента Раскольникова до студента и письмоводителя мирового суда Каракозова, стрелявшего у ворот Летнего сада в Александра II, — короткий прямой путь.

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Сергей Анатольевич Никольский

РУССКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

**«НОВЫЕ ЛЮДИ» КАК ИДЕЯ И ЯВЛЕНИЕ:
ОПЫТ ОСМЫСЛЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
И КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
40—60-х ГОДОВ XIX СТОЛЕТИЯ**

Директор издательства *Б.В. Орешин*
Зам. директора *Е.Д. Горжевская*
Технолог *Е.А. Лобачева*

Формат 60х90/16
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Гарнитура Newton С. Объем 39,0 п.л.
Тираж 1000. Заказ №

Издательство «Прогресс-Традиция»
119048, Москва, ул. Усачева, д. 29, корп. 9
Тел. (495) 245-49-03

ISBN 978898263645



9 785898 263645